

ISSN 0130-7673

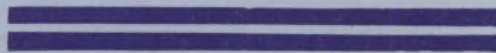
# НОВОБЫИ МИИР

7

НОВОБЫИ МИИР

1981

7



1981



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГРИГОРИЙ ПОЖЕЯН — Мост, стихи	3
А. КАШГАНОВ — Коробейники, повесть. Окончание	5
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ — Новые стихи	56
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Опрокинутый дом, рассказы	58
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — На запад, поэма	88
ВИКТОР ПОТИЕВСКИЙ — Август, стихи	97
А. ФАЙНБЕРГ — После зимы, стихи	98
ВИКТОР СМИРНОВ — Утро, стихи	99
ГРИГОРИЙ ЛЕВИН — Памяти поэта Алексея Жаврука, навшего смертью храбрых, стихотворение	100
ЧАРЛЬЗ СНОУ — Лакировка, роман. Продолжение. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская	101
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Наука и земледелец	137
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
АЛЕКСЕЙ АВДЕЕВ — Слово о дружбе	180
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
К. ДОЛГОВ — Ренессанс и политическая философия Маквавелли	187
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. КАМЯНОВ — Классика экзаменует. Проблема «проходного балла»	222
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
	241
И. Грекова. От драматургии к прозе.— Ст. Золотцев. Жизнь на родной земле.— Алла Марченко. Преодоление тяжести.— Л. Авининский. «Во- лик... ты меня не узнаешь?».— Леонид Бежин. Мысль и образ.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

*Политика и наука*

<b>С. Кондрашов.</b> Иметь или быть.— <b>А. Д. Михайлов.</b> Уроки алхимии.— <b>А. Шарков.</b> Труды и свершения российских Колумбов.	257
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b> <b>Арс. Рутько.</b> —Галина Демыкина. Просторный человек. Роман. ♦ <b>Д. Самойлов.</b> —Андрей Чернов. Городские портреты. ♦ <b>И. Дубашинский.</b> —Аркадий Адамов. Мой любимый жанр — детектив. Записки писателя. ♦ <b>О. Соловьева.</b> — <b>Ф. С. Наркирьер.</b> Французский роман наших дней. Нравственные и социальные искания. ♦ <b>В. Маркин.</b> — <b>Н. Н. Баранский.</b> Избранные труды. Становление советской экономической географии. ♦ <b>Г. Ерицян.</b> — <b>Ю. Н. Семенов.</b> Социальная философия А. Тойнби. Критический очерк	267
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

---

---

## ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

★

### МОСТ

\* \* \*

Зимою в Дели  
у распахнутых окон  
лежу, а надо мною небо синее.  
И та же тишина  
и тот же звон.  
У них ноябрь —  
как май у нас, в России.  
Не пробуждайся, время ворожбы  
пускай продлится.  
Слуху все знакомо:  
и мелкий щебет —  
это воробьи,  
и голубиный клеток  
словно дома.  
Вдруг сын ворвался в комнату:

— Пора!  
Мы через час должны лететь в  
Калькутту.—  
А я хочу продлить свою минуту.  
Хочу домой — в ноябрьские  
ветра.

В свои заботы,  
в хлопоты свои.  
И как порой ни горько,  
как ни больно,  
хочу домой!  
Наездился. Довольно.  
Домой хочу,  
господь, благослови!

### Береза и ель

Когда бы не береза,  
молоденькую ель  
сожгла бы страсть мороза  
за несколько недель.  
Во что б ее одели,  
спаленную дотла?  
Береза — шуба ели,  
покуда ель мала.  
...Ни спасших душу в полночь,  
ни отстоявших стих —  
никто не любит помнить  
спасителей своих.  
И вроде ненароком  
(ах, как это старо)  
не признано пороком  
наказывать добро...  
Напориста, ребриста,  
бестрепетна к листу,

ель набирает быстро  
с годами высоту.  
И вот уже березке,  
как шею ни тяни,  
и холодно и жестко  
искать тепло в тени.  
Над ней вершина ели  
раскинула свой зонт,  
и виден еле-еле  
и луч и горизонт.  
И, думая все чаще  
про юность и родню,  
береза стала чахнуть  
и сохнуть на корню.  
А было же, а было  
и звездно и бело...  
Куражилась, любила...  
Все былою поросло.

### В Неаполе...

Марцеллия — улитка счастья,  
морская тайна бытия.  
В те дни в Неаполе и я

был к таинству ее причастен  
и верил только потому,  
что мне тогда хотелось верить.



И заговорной мерой мерить  
явь, неподвластную уму.  
Хотелось верить, что строка  
еще задержит постаренье  
и жар невидимого зренья  
слепая ощутит рука.  
Хотелось верить, что и ей  
еще не страшен ветер встречный,  
когда порой нам ближе вечность,  
чем в дни разлуки даль морей.  
И в то, что не всеильно зло,  
что не напрасно тают годы,  
хоть видится канун исхода  
сквозь жизни мутное стекло.

Необходимо верить мне,  
что сохранится равновесье  
ушедших рано в поднебесье  
на нашей праведной войне  
и тех, что живы до сих пор  
и в разной мере виноваты,  
что небо и земля чреватые,  
пока не прекратился спор.  
...В Неаполе смягчился зной.  
Играл прибой арбузной коркой.  
Спала в тени собаки кошка,  
обманутая тишиной.

### Мост

Г. К.  
Одинокое множество звезд...  
*Гумбольдт.*

Одинокое множество звезд...  
*Мангельштам.*

Все, что было на нашем веку:  
перевалы, снега, холода —  
я несую, я тащу, волоку  
по морям, по земле, сквозь года.  
И куда бы ни шел я, ни плыл,  
в облаках, под водой, под ножом,  
я хочу, чтоб ты знала: я был  
без тебя, как с тобой, — обнажен.  
Защищенный любовью твоей,  
не страшусь тишины, темноты.  
Я приду из лесов, из морей.  
Не страшись ни людей, ни зверей.

Знай, что дух мой наводит мосты.  
А один — нависной, наплывной,  
в немирской полумгле голубой —  
он лежит меж тобою и мной.  
Между мною лежит и тобой.  
Он горбит, на ухабах скорбя.  
Он ликуя летит и звеня.  
Жесткий мост от меня до тебя.  
Грустный мост от тебя до меня.  
И не нужно ему ни крепил,  
ни охранников и ни опор.  
Это может понять, кто любил  
и кто может любить до сих пор.  
А когда за тропкою земной  
мой избывный обрушится мост,  
ты зажги хоть на миг надо мной  
одинокое множество звезд...

---

---

А. КАШТАНОВ

★

## КОРОБЕЙНИКИ\*

Повесть

Глава четвертая

Сашкино четырехлетие решили отметить на даче. Закуски готовили дома. Белан взялся отвезти их на машине. С пяти утра Ляля, повязавшись передником поверх ночной рубашки, смолила кур на газовой плите, варила овощи и яйца, и квартиру заволочло чадом. В комнате Юшков втискивал в баулы и рюкзак бутылки, консервы, буханки хлеба и трехлитровые бутылки с соленьями. Вот-вот должен был приехать Белан, куры только начали подрумяниваться в духовке, в баулы ничего уже не лезло, и тут еще явился Игорь Кацнельсон. Ляля, натянув халатик, выскочила из кухни, ошалело улыбаясь: «Игорь, давно вас не видно было».

Год или больше она вынуждена была терпеть Кацнельсона, а так как душевной раздвоенности не переносила, то и старалась полюбить того, с кем приходилось смиряться. Юшков уже знал: чем меньше ей нравится человек, которого она должна привечать, тем приветливее будет она улыбаться, внушая себе приязнь. Он сказал: «У тебя что-то горит». Убежала, еще раз улыбнувшись гостю. Переигрывала.

Игорь Кацнельсон работал мастером на сборке задних мостов. Мастеру нужна луженая глотка, а он был тихим и болезненным. В институте отличался как аналитик и эрудит. Юшков бывал по делам снабжения на его участке и однажды увидел там на обкаточном стенде задний мост, облепленный пьезодатчиками. Тонкие проводки тянулись в конторку мастера, к осциллографу. «Шумомер?» — спросил Юшков и угадал. Обкатчик, заправляя мост маслом, ухмылялся. Они, обкатчики, о работе шестерен судили на слух, по шуму: стучат, не стучат, — и не ошибались. С идеей шумомера Кацнельсон носился давно и наконец сумел заинтересовать ею кандидата наук из Политехнического, того самого Шумского, который так подвел Юшкова. Шумскому прибор мог пригодиться для докторской диссертации. Однако тратить на него время Шумский не собирался. Он достал Кацнельсону осциллограф и пообещал, если прибор получится, поговорить о заочной аспирантуре на кафедре. Кацнельсону этого было достаточно, чтобы начать работу. Понадобилось для прибора — взялся изучать электронику. Юшков в электронике не разбирался, а ухо у него оказалось не хуже, чем у старого обкатчика, диагноз по шуму он ставил безошибочно. У него тут же появились свои идеи по диагностике, выложил их однокурснику и не заметил, как втянулся.

Ляля не могла этого понять: ну сделают они с Кацнельсоном прибор — и что будет? Он сказал: «Считай, что я езжу на рыбалку». Кажалось, что самое главное у них с Кацнельсоном есть: они нашли человека, которому нужна настоящая работа. А уж работать-то они оба

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

могут сутками. Изредка Шумский появлялся на участке и торопил: «Давайте, ребята. Вы попали в струю, сейчас всюду занялись шумомерами, сейчас самое время». А потом охладевал, начинал избегать их и, бывая на заводе, не появлялся на сборке задних мостов. А потом снова начинал торопить.

Шумомер откликался на все шумы, даже подшипники стенда он «слышал», а до диагностики и через год было так же далеко, как вначале. Потому что каждый их шаг вперед приносил лишь новые вопросы, и, отвечая на них, приходилось уходить от главной задачи в сторону, строить новые приборы для побочных исследований, а те в свою очередь рождали новые вопросы, и дело начинало казаться безнадежным. Будь они институтскими работниками, все это имело бы ценность исследования, но им нужен был только окончательный результат. Несколько раз они упирались в тупик и начинали все сызнова, и наконец Кацнельсон сказал: «Тут лабораторное оборудование нужно, вдвоем кустарно это не осилить, надо кончать». Они сидели в его конторке, был обеденный перерыв второй смены, за стальной стенкой «забывали козла», последний вариант их прибора лежал в углу среди масляной ветоши, болтов и гаек, развороченные его внутренности торчали в разные стороны — трубки, панели, проводки с датчиками, — Юшкову был противен высокий, бабий голос Кацнельсона, но тот был прав. «Ну и черт с ним», — согласился Юшков, удивляясь своей способности всю жизнь делать одну и ту же ошибку — увлекаться работой. С тех пор они с Кацнельсоном не виделись.

Кацнельсон, озадаченный улыбками Ляли, топтался у порога. Все, что не поместилось в баулы и рюкзак, громоздилось посреди комнаты. Влезая в джинсы, Юшков сказал: «Вот тебе инженерная задача — куда рассовать все это добро». Он понимал, что гость пришел по делу и, наверно, их прибор срочно понадобился Шумскому.

Он угадал: у кандидата теперь свет клином сошелся на их работе. Два дня тот просидел в конторке Кацнельсона, понял, что без лаборатории им не обойтись, и предлагал теперь Юшкову место то ли лаборанта, то ли рабочего на сто рублей.

«Ты бы согласился?» — спросил Юшков. Кацнельсон сказал: «Он говорит, ты когда-то хотел». Ляля притихла на кухне, слушала. «Главное — зацепиться», — заметил Кацнельсон. «Тогда у меня не было семьи, — сказал Юшков. — А теперь долг за квартиру». Он старался не смотреть в кухню. «О деньгах не беспокойся, — подала голос Ляля. — С долгом нас не торопят». «Советуешь соглашаться?» — усмехнулся Юшков. Она погромыхла кастрюлями. «Конечно. Ты всегда этого хотел».

Кацнельсон чувствовал неприязнь хозяйки и понимал ее. Он знал, как живут на сто рублей. Не хуже Юшкова он знал, что от этого места — то ли лаборанта, то ли подсобника — к самостоятельной работе пути нет. Почти наверняка. Но у него были идеи, они не давали ему покоя, и отказаться от них было трудно. «В конце концов, — честно признался он, — Шумский мог бы и получше что-нибудь придумать». «Зачем ему думать, если на него бесплатно работают?» — сорвалось у Ляли. Мужчины промолчали. Она поправилась: «Дело не в деньгах. Неприятно, когда вас считают дураками». «Ты права», — сказал Юшков. Ляля расстроилась: «В чем права? Всегда ты так. Я тебе советую соглашаться. Конечно, тебе надо идти в институт».

Кацнельсон наконец сообразил, что накалил обстановку. «Я бы не согласился», — соврал он. Юшков зло рассмеялся. Он сам не знал, на кого сейчас злится. «Брось, Игорь. Конечно, нас считают дураками. Нужно быть идиотами, чтобы клонуть на это. Но ты бы клонул. И не потому, что здесь можно использовать данные богом извилины и все, что нанизал на них институт. А потому, что без дела у тебя начинает дергаться глаз». «У меня никогда не дергался глаз», — сказал Кацнельсон. «Разве? — Юшков пожал плечами. — Мне все же кажется,

что-то у тебя дергается. Но у меня-то точно ничего не дергается. И я на хлебный мякиш не клюю».

Ляля вышла из кухни. Глаза были красные — она резала лук. «Я же знаю, потом ты будешь считать, что я виновата. Ты сам отлично понимаешь, что тебя эксплуатируют, а потом выбросят, ты вовсе не из-за денег отказываешься, но тебе обязательно надо, чтобы я оказалась виновата. Обязательно же на меня свалишь!» Высказалась и закрыла за собой дверь. Он знал, что не на него она досадует, а на себя, и все же не мог не раздражаться. Это был заколдованный круг. Каждый досадовал сам на себя, и каждый говорил другому правду о нем. И оба из-за этого раздражались.

Кацнельсон заторопился, стал прощаться. Ляля выскочила к нему, наверстывая упущенное гостеприимство: «Игорь, ты уже уходишь? Как же так! Расскажи хоть, как дочка!..» Разогнавшись, уже не могла остановиться: «Сашке сегодня четыре года, может быть, заглянешь к нам на дачу с Надей, а? Как было бы хорошо!» Кацнельсон горбился, бормотал про дела, она сокрушалась: «Вот жалость... Всегда у тебя так... Ну, может, как-нибудь все-таки постарайешься, Игорь?..» Столько от нее и не требовалось. Закрыв дверь, она сказала: «Рубашку наконец надень. И... ты брился?» — «Брился». — «Что-то не видно». — «Что ж делаешь», — сказал он.

Тут и вправду ничего нельзя было поделать. Потому что шло — он заранее это знал — сравнение. Она ждала Белана и уже сравнивала их. Вдумчивый взгляд в зеркало мимоходом, взмах рук, поправляющих волосы, были для Белана. Как и салат с орехами, который она затеяла в последнюю минуту. Как и желание помириться: «Игорь очень похудел, правда? Он, наверно, болеет». Кацнельсону перепало сочувствия, а ему, Юшкову, великодушия — все из одного источника: она готовилась быть приветливой и приятной, ссора с мужем помешала бы этому.

Когда Белан впервые пришел к ним, Ляля бранилась: трепло, фанфарон, где Юшков только выкопал такого! Возмущение ее и выдало. Если с Кацнельсоном она внушала себе приязнь, то тут наоборот — убеждала себя, что Белан ей отвратителен. Юшков возразил тогда: «Что-то в нем есть». «Да, — тотчас согласилась она. — Он знает, чего хочет». Это для нее было очень много: знает, чего хочет. Все из-за того же прибора, с которым муж возился, как ребенок с игрушкой. Это шло сравнение. Потом оно все время чувствовалось. «Конечно, он умеет себя подать» значило «ты не умеешь». «Умеет жить весело» значило, что они жили тоскливо. А потом и ревность появилась: «У него, конечно, полно женщин». Это нельзя было назвать любовью. Шел простодушный баланс в графе «убытки».

Услышав звонок Белана, она юркнула в ванную. Мужчины долго ждали ее. Белан на кухне удивлялся салату, Юшков сказал: «У нее проснулось честолюбие». Она вышла, готовая к дороге, пряча руки за спину, потому что они были красные от воды. Перегацили припасы в машину и поехали. Становилось жарко. Пока выбрались из города на шоссе, кузов «Жигулей» нагрелся. Ляля беспокоилась, что прокиснут в кастрюлях салаты. Юшков снова — привязалась фраза — сказал: «Проснулось честолюбие». Белан сосредоточился на дороге: «О, женщины... они такие...» Ляля сказала: «Кто-то в семье должен быть честолюбивым». «Ну, Юра как раз...» — возразил Белан. Она нехорошо засмеялась: «Юра-то?» Белан кивнул: «Мужчины... они...» Дорога поглощала его целиком. Ляля не понимала этого: «Что мужчины?» «Не отвлекай его», — сказал Юшков. Она обиделась. Откинулась на сиденье, затихла.

Дача изменилась с тех пор, как в ней поселились Сашка и Алла Александровна. Алла Александровна не уставала подчеркивать, что она тут гостя, искренне считала, что всего лишь улучшает то одно, то другое, всего лишь делает то, чего нельзя не делать, чтобы внучек не простудился, и не напоролся бы на гвоздь, и не посадил бы занозу,

и не отравился бы химикатами, и приучался бы класть свои вещи на место, и еще что-то, и еще... И в результате все переделывалось по вкусу и желанию Аллы Александровны. Дорожка от калитки к веранде была выровнена и посыпана песком, на крыльце лежали тряпочки для ног, веранда, на которой прежде валялись ржавые банки из-под краски, мешки и садовый инструмент, теперь превратилась в комнатку, а в самой комнате вся мебель была переставлена. Доски, прежде лежавшие под яблоней у стены, лежали в сарае, который был выкрашен теперь в зеленый цвет. На месте досок принялись молоденькие кустики жасмина.

Все стало лучше, но прежние хозяева уже не чувствовали себя хозяевами и слушались во всем Аллу Александровну. Они стыдились своей лени, из-за которой пожилая и больная женщина вынуждена была столько работать, и спрашивали ее, что надо делать. «Ничего не надо,— говорила Алла Александровна.— Я ведь просто от скуки, пока Сашенька спит... Я вот хотела еще кафель отнести в сарай, а то он побьет». «Да пусть его бьет!»— смеялась теща. «Да, но он потом порежется осколками...»

Юшкову и Белану поручили убрать в сарай ящики с кафелем. Сашка вырывался из рук бабушки и терся около отца. Из комнаты слышалось мяуканье. Это в коробке из-под телевизора мяукал подарок бабушки Аллы. Бабушка считала, что пора уже прививать внуку любовь к животным. Сашка позорно боялся котенка. Его заставили подойти к коробке и погладить подарок. Но стоило котенку разинуть пасть, Сашка отскочил. «Что он тебе сделает?»— спросил Юшков. Сашка сказал: «Он хочет меня съесть». «Думаешь, он такой глупый? Ты вон какой большой, а пасть у него вон какая маленькая». Сашка умоляюще взглянул, и возразить нельзя было, и согласиться не мог. «Он привыкнет,— сказала Алла Александровна, торопливо закрывая от сквозняков окна.— Надо оставить их вдвоем и выпустить Трошку из коробки, чтобы не мяукал». Все послушно пошли к двери. Юшков остался из чувства протеста. Деятельная натура матери воспринималась им как семейная беда. Он старался убедить себя, что сам не такой.

Котенок лакал молоко из блюда. Сашка сидел в углу в обнимку с подарками и смотрел на него. Котенок облизнулся, сделал несколько шажков в сторону Сашки и зевнул. Сашка оцепенел. Юшков лежал на тахте. Он притворился спящим и затаил дыхание: что будет?

Сашка улыбался, как улыбалась Ляля тем, кто ей не нравился. Он старался внушить себе любовь к котенку. Это была его защита. Может быть, он верил, что любовь, зародившись в нем, перейдет к котенку. Он задабривал котенка и для этого задабривал сам себя. Как будто чувства заразительны. А ведь они заразительны, подумал Юшков, и Ляля, внушая себе любовь ко всем без разбора, поступает правильно, и ее все любят. А Аллу Александровну уважают, но не любят.

Котенок услышал жужжание мухи, подобрался. И сразу агрессивность его передалась Сашке. Улыбка исчезла. Но Сашка продолжал защищаться. Любовь не помогла, он строил новую оборону. Теперь он притворился, что забыл про котенка. Упорно рассматривал подаренный Беланом автомат с мигалкой. Это тоже был способ спастись. И у Ляли так бывало: забыть, не думать о неприятном, как будто его и нет. Он, Юшков, этого не умел. Он, как Алла Александровна, думал о неприятном раньше, чем оно начинало угрожать: разобьется кафель, поранит Сашку, кафель надо убрать...

А Сашка, притворяясь, что не думает о страшном звере, следил за ним боковым зрением. Котенок поднял голову, отыскивая муху. Она полетела к окну. Он устремился туда, пригнув голову, вытянув морду, прижимая к полу хвост. Так ей и надо, чтоб не жужжала, когда следует затаиться. Сашка теперь наблюдал за охотой как зритель, находящийся в безопасности. Кажется, он уже болея за котенка. Конеч-

но. Кто же играет в жертву, каждый играет в охотника. Юшков схватил победившего сына на руки и вынес из комнаты на солнце.

Ляля показывала Белану новые туфли. Поворачивалась то одним боком, то другим. Белан перевел взгляд с ее ног на Юшкова. «Да,— сказал солидно, как бесстрастный судья.— У нас таких не купишь». Безразличная ленца в голосе не обманула Юшкова. «Юра ничего в этом не понимает»,— сказала Ляля, целуя Сашку. Жар, с которым она целовала тугие и красные щеки, тоже показался преувеличенным. «Что я не понимаю?»— спросил Юшков. Белан ответил: «Женскую красоту».— Ляля воркующе рассмеялась. «Это ей Татка подарила»,— объяснила теща. Таткой звали Лялину сестру. Муж ее приехал из заграничной командировки. Алла Александровна сказала: «Дети, идите купайтесь. Мы тут без вас справимся».

Сразу за дачей начинался лес. Осины и орешник мешались со старыми елями, голубые темные лапы которых то тут, то там прорезали сплошную светло-зеленую стену. Здесь жужжали шмели и кисло пахло травой, а дальше тропка шла через редкий сосновый лес по сухой хвое, мимо зарослей черники и папоротника. Перевалило за полдень. «Сколько стоят туфли?»— спросил Юшков. Ляля ответила: «Это подарок».— «Разве у тебя день рождения?»— «Сестра сделала подарок, что тут такого?— Она старалась не рассердиться.— Ей малы. Почему тебе это не нравится?» «Потому что ты ей таких подарков не можешь делать». Она посмотрела и промолчала.

Тропка кончалась обрывом. Потянуло свежестью. Прямо под ногами, метрах в десяти внизу, среди осоки, камыша и лилий блестела зеленая вода. Тут была вытянутая рукавом бухточка. Заросшие березняком острова отделяли ее от озера, закрывали его, но близость холодной водной массы чувствовалась в воздухе.

Мелкий песок, обнажая корни крайних сосен, белой полосой сполз в воду и белел на дне, образуя коридор чистой воды. Белан, Ляля и Юшков спустились вниз, цепляясь за корни и обломанные кусты и увязая в песке. Полоска его между обрывом и водой была горячее, ветер не проникал к ней. Сюда можно было попасть только с обрыва, и другие дачники сюда не ходили, а параллельной тропкой шли дальше, где и пляж был большим, и водная гладь расстилалась на сотни метров, где скользили катера и торчали в лодках неподвижные рыбки. Тесть тоже сидел сейчас где-то там с удочкой, поскольку далеко удаляться от дома ему сегодня не разрешили.

Однако на этот раз их бухточка была занята. Хмурые полуголые парни затапывали костер, сворачивали палатку вялые, раздраженные: не вышла, видимо, у них ночевка, может быть, девушки бросили их — ни одной не было видно; может быть, перессорились друг с другом. Белан заговорил с ними. Отвечали ему нехотя, мол, что, дядя, остановился, не до тебя, иди своей дорогой, а он вытащил из кучи штормовок и рюкзаков гитару, потрогал струны. Кто-то буркнул: «Не балуйтесь с инструментом, товарищ». Белан сказал: «Сейчас я вам, Ляля, спою, даже если это будет стоить мне жизни». Песня была надрывной, под цыганский романс. «Четвертые сутки пылает станица, потеет дождями донская весна, содвиньте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». Белан пел хорошо. Он слегка показывал голосом, что дурачится, и все же, видно, казался себе забубенным поручиком из тех, которые стрелялись, проигрывая жизнь в карты, красивых и неприкаянных, он и был красив, с крупной, не по маленькому его росту, лохматой головой, с тяжелым подбородком и горбатым носом,— он любил шегольнуть иногда: «Я ведь немного еще и поляк, прошу пане». Он был сыном известного в свое время пианиста. Алла Александровна еще помнила афиши «Витольд Белан».

Юшков разделся, по горячему песку вошел в воду. Она оказалась ледяной. Он забредал все глубже и глубже. Песок под ногами кончил-

ся. Ступни погружались в мягкий, податливый ил, икры сводило от холода. Противоположный, островной берег, до которого с обрыва было рукой подать, отодвинулся далеко, заросли камыша и осоки остались позади, а вместо них открылась чистая протока. Юшков оттолкнулся и нырнул. Перехватило дыхание. Он открыл под водой глаза. Вода гудела, по всей ее толще колебалась, плясала зеленая, желтая, коричневая муть, сверкали пузырьки воздуха. Разгоняя озноб, отчаянно заработали руки и ноги. Юшков вдоль берега поплыл к озеру. Холод отпустил, словно бы свалилась с тела обжигающая скорлупа. Попадались под руки, обвиваясь вокруг них, рвались гибкие стебли лилий. Глаза стали зоркими. Берег уходил назад. Прямые полные стебли торчали прямо из воды, желтые чашки лилий колыхались на плоских, как столы, сердцевидных листьях, белый обрыв нависал над головой, над ним плыли в небе кроны сосен. Обострились запахи, напоминая о детстве, когда он также плыл в болотной свежести. Установился ритм, руки и ноги работали мерно, сами собой, и это было счастьем. Он плавал, пока не замерз.

Белан и Ляля лежали ничком на песке. Головы их почти прикасались друг к другу. Купальники были сухие. Туристы, навьюченные рюкзаками, карабкались на обрыв, поглядывали на Лялю. Рядом с коренастым Беланом она казалась совсем тоненькой. Юшков повалился на песок около жены. С него стекала вода. Ляля отстранилась. Разговор прервался. Белан посмотрел: «Ничего водичка?» Гости, наверно, уже приехали: Чеблаковы, Филины и Тамара. Ему все труднее становилось с друзьями. Год назад Чеблакова сделала начальником вместо Лебедева. Лебедев провинился не больше обычного, но директор был не в духе, а Хохлов не захотел вступиться. С Чеблаковым он ничем не рисковал. На освободившееся место тесть метил Юшкова, но тому опять не повезло: в самом разгаре была кампания по сокращению и место это сократили. И новая ступенька лестницы отделила друга. Теперь между ним и Юшковым был заместитель.

Этот компанейский дядька в прошлом занимал заметные посты и общался с заметными людьми, мог и любил порассказать о них, и единственной его целью было спокойно досидеть до пенсии. Он оказался заядлым рыбаком, это сдружило его с Хохловым, и где-нибудь на берегу Вилейки или Сожа, пристраиваясь около костерка с котелком ухи, Хохлов почтительно слушал рассказы о больших людях, которых сам видел только издали, из толпы. В общем, заместитель освоился в отделе быстро и устраивал всех. Лишнего он не требовал, и его любили. Над прибором Юшкова он посмеивался осторожно и необидно. А Чеблаков о приборе сказал: «Время одиночек, конечно, прошло, но трудовой энтузиазм у нас ненаказуем. Это, старик, лучше, чем менять в доме полы». Валя настилала ясеневый паркет поверх старого пола, и Чеблакову осточертело жить среди разора и спать на кухне.

Сопrotивляясь одури, Юшков поднялся. Белан посапывал, уткнувшись в песок. Тень обрыва надвинулась на его лохматую голову. Ляля, подхватив платье, пошла к кустам. Юшков забрел в озеро, ополоснул лицо и сел у самой воды. Было тихо. Ляля стягивала купальник и пугливо озиралась. Он пытался вспомнить, какой она представлялась ему прежде. В детстве он завидовал малоподвижным и немногословным людям, в каждом из них предполагал мудрость.

У Ляли это оказалось робостью. Юшков смотрел, как она торопливо натягивает платье, и думал, что в стыдливости есть своя чудесная тайна. Такое иногда находило на него — всюду виделась тайна. Дрожал знойный воздух над камышами. За головой Ляли на белом песке обрыва, как в искусственном археологическом срезе, торчал огромный темный камень. Вода и ветер (так знал Юшков) придали ему форму человека или чудища. Может быть, это случилось очень давно, и когда-нибудь камень служил языческим идолом. Тайна языческих страхов жила в Ляле, вот что. Как-то это вошло в сознание целиком,

неделимое: Ляля одергивает на себе платье, испуганно озирается, и каменный идол — то ли человек, то ли Сашкин котенок.

Юшкову сейчас казалось, что такая жизнь — робкая, медлительная, без лишних движений — единственно правильная.

Однажды у них с Кацнельсоном не ладился какой-то клапан. Тогда они считали: получится клапан — все получится. И вот ночью пришло решение. Он думал в это время о чем-то другом и вдруг увидел перед собой внутренность клапана. Отчетливо и ярко представился глухой цилиндрический тоннель, медленное и тяжелое вращение стального шара в густом темном масле, слабые блики, мягкое просвечивание в полумраке, песчинка и забоина на шлифованной поверхности, застывшая капля. Картина продолжалась мгновение и исчезла. Еще ничего не прояснилось, но он уже знал, что решение существует в нем. Он замер, усилием воли не допуская в себя новые мысли и впечатления, чтобы они не стерли ускользающую мысль. Осторожно, боясь спугнуть, вернулся назад, снова попал в то мгновение, в котором увидел клапан, и тут же вспыхнула вся цепочка ассоциаций, а с нею и решение. Каким богатством это казалось, когда утром затарахтел будильник! Как спешил рассказать это Кацнельсону! Тот умел смаковать удачную мысль, но тогда никак не мог понять. Морщил лоб, переспрашивал. Юшков горячился, объясняя, запутался и неожиданно понял, что ошибся — решения-то не было. Оно пришло через несколько дней. Он помнит, как этот клапан наконец заработал, и они сидели в пустой конторке, смотрели, кончалась вторая смена, и он выкладывал приятелю самое заветное про Лялю, про мать, про себя, в чем и себе не признавался, утром стыдно было вспомнить, несколько дней потом прятался от Игоря. Что это, безумие было? Порча?

Ляля повесила купальник на куст, а он упал в желтую ряску у кромки берега. Чертыхнулась, вытащила и, зайдя поглубже в озеро, стала полоскать в чистой воде. Не поднимая глаз, сказала: «Буди уже его. Приехали, бросили все...» Он не удержался: «Я думал, ты останешься с Сашкой». — «Могу я один раз за лето искупаться?» — «Ты купаешься?» — преувеличенно удивился Юшков. Ляля бросила купальник в воду, разогнулась. «Что ты хочешь от меня?» Он хотел ей сказать, что Белан приехал к ним из-за Тамары. Не сказал. Подошел к Белану. Веснушчатая спина и ноги в рыжих волосах стали малиновыми. Дотронулся до горячего плеча. «Сторишь».

Ждали, пока Белан приходил в себя и потом плескался на мелководье. Вскрабкались на обрыв. Почувствовали ветер и прохладу. И снова вошли в разряженный, настоенный на хвое зной.

Белан держался рукой за сердце и страдальчески морщился. «Юра, пока мы еще не пьяные, у меня к тебе разговор... последнее дело — спать на солнце, совсем одурел... так вот... как тебе с Саней работается?» — «Нормально. А что?» — «Иди ко мне заместителем». Юшков встряхнулся. Недоверчиво спросил: «Разве ты уже начальник отдела?» «Считай, что так. Вопрос согласован. Так что подумай. Тебе предлагаю первому». Наконец-то появилось что-то, подумал Юшков, самое время. Белан мог бы и не предлагать, но от него это зависело, предложил бы тесть. Главное, что-то наконец появилось.

Гости уже приехали. На скамейке перед домом сидели тесть и Валера Филин, а Саня Чеблаков рядом с ними тыкал котенка в блюдце с мелкой плотвой. «Ну вот, — сказала теща, наблюдая за ним из окна. — Будет, куда теперь улов сплавлять». «Слишком крупная рыба, — покачал головой Чеблаков и самой мелкой рыбешкой, как аршином, стал измерять длину котенка. — Три штуки — и те не влезут». «Ты хвост-то не меряй! Без хвоста!» — хохотал тесть. «Тогда и плотву будем считать без хвоста», — строго сказал Чеблаков. Он мог позволить себе шуточки с начальством, потому что умел шутить необходимо.

Валя вышла на крыльцо в переднике поверх шелкового платья, уперла в бока полные голые руки: «Ты Филину живот измерь. Боро-



ду отпустил, теперь начал живот отпускать. Скоро меня догонит». Филин щурился и усмехался в бороду. Белан сказал: «Живот не борода, он ухода не требует». «Если бы,— сказал Валера.— Ему только дай». Все смеялись, а Белан обводил глазами сад. Искал. За вишневыми деревьями по тропке между садовыми участками прохаживались, о чем-то толкуя, Тамара и Наташа. Тамара вытащила из сумочки сигареты, протянула подруге. Валя насмешливо посмотрела: «Филин, чего жена от тебя сбежала?» «Им твои глупые разговоры неинтересны»,— сказал Чеблаков. Валя повела плечами, очевидно, изображая Наташу: «А я могу помолчать, пусть они поговорят».— «Им твои глупые молчания тоже неинтересны». Валера ухмылялся.

Хохлов пошел к вишням: «Молодежь, почему уединяетесь?» Женщины остановились. «Как жизнь молодая?»— спросил он Тамару. Смущаясь перед заместителем генерального директора, она махнула рукой: мол, не о чем говорить. Вышло резче, чем она хотела. «Что так?»— не отставал Хохлов. Она ответила: «Да все хорошо, Федор Тимофеевич». «Вот это правильный ответ,— сказал он.— Выше голову, молодежь!» Теща снова выглянула в окно: «Ну что, оголодали? Ладно уж, садитесь за стол». Белан приставил кулаки к губам, затрубил туш...

Выбрались из-за стола к вечеру. Устали, отяжелели. Кто-то предложил пойти к озеру, и потянулись по тропке по двое, по трое, вяло перекликались друг с другом. Тесть и теща позади всех вели Сашку за руки, дошли до кромки леса и сели на траву под орешником: «Нам и здесь хорошо». «Алла Александровна осталась убирать,— уныло сказала теща.— Надо бы помочь ей». Сватья становилась ее больной совестью. Юшков вернулся в дом, увел мать оттуда. «Я люблю мыть посуду,— упиралась она.— Я никого не заставляю помогать мне». Но пошла с сыном. Тесть показал место рядом с собой: «Садись, Юра». Юшков сел. Голоса в лесу затихли. Куковала кукушка. «Скучно тебе в отделе?» «Ничего,— осторожно сказал Юшков.— Но все-таки пять лет на одном месте».— «А двадцать лет на одном месте?»— «У вас работа другая».— «То же самое,— сказал тесть,— все то же, под копирку, только у меня цифры больше, а у тебя меньше». «Главное,— сказала Алла Александровна,— как человек относится к своей работе. Да, Саша?» «Алла Александровна права»,— серьезно сказал тесть и незаметно для женщин показал глазами: уйдем-ка отсюда.

Они поднялись и пошли вдвоем по тропке. Внизу начинало темнеть, а наверху еще был солнечный день. «Я тебе честно скажу, что меня смущает».— «Смущает?»— «Ну не то чтобы... Я думаю, может, ты неправильно работу выбрал».— «Я не выбирал»,— сказал Юшков. На это тесть не ответил. «Все, что надо, у тебя есть... Я даже не сразу понял, в чем дело... В тебе лишнее что-то. Ты увлекаешься. Вот опять с этим прибором...»— «Почему опять?»— «Пусть не опять. Увлекающийся человек для дела не годится, блондинки ли его увлекают, приборы, системы или что другое. Завод — это машина. Тут эмоций не нужно. Увлечешься — и ты уже не работник. Одно из двух: или ты думаешь о деле, или ты думаешь об удовольствии».— «Похоже, что я думаю об удовольствии?»— «Иногда похоже».

Юшков молчал. Не бить же себя в грудь. «Хочу поставить тебя заместителем в отделе кооперации»,— сказал тесть.— Белана делаем начальником».— «Это вроде не тот случай, когда можно увлечься». Тесть хмыкнул: «Ну, свинья везде грязь найдет. Это я в хорошем смысле. Все-таки замначотдела — это место, с которого человек виден». Когда-то так уже говорил Чеблаков. О теперешнем его месте. Тесть посмотрел, усмехнулся: «Все это у тебя от молодости. Я просто хотел узнать, что ты там за науку затеял». «С этим кончено»,— сказал Юшков.— «Да и какая там была наука. Художественная самодеятельность в клубе швейников».— «И хорошо, что кончено. Какое-то, извини, было не то впечатление. Совсем не то. Ну ладно. Я дальше не пойду».

Там и без меня не скучно. А то заругается старуха, скажет: к молодым потянуло». Он пошел обратно.

За соснами открылось закатное небо. В зарослях черники двинулась, согнувшись, Валя. Собирала ягоды в пластиковый мешочек. «Пасешься?» — кивнул ей Юшков. Она сказала: «Сколько добра пропадает. Совсем все зажирели». — «Разве обязательно есть все, что съедобно?» — «А что, ногами топтать?» Отвечая Юшкову и ловко обирая кусты, она медленно продвигалась по поляне, как стреноженный конь.

Близко слышались голоса. Над обрывом, подобрав под себя ноги, сидела Наташа. Юшков сел рядом. Внизу он увидел Лялю. Там дурачились, стоя по щиколотки в воде, Чеблаков и Филин. Штанины у обоих были завернуты до колен. Филин что-то пытался поймать год водой, наверно, рыбьего малька. Чеблаков подталкивал его поглубже. Филин отбрыкивался. Белана там не было. Тамары тоже. «Валера, — невесело сказала Ляля, — дай ему как следует». Медленно оглядела обрыв, встретилась взглядом с мужем, и лицо стало безразличным. «Валера, не слушай ее, — сказал Чеблаков. — Ты добрый».

«Какое там, — тихо сказала Наташа. — Думаешь, ему в самом деле смешно? Он ухмыляется, потому что ответить не может». — «Что это ты? — опешил Юшков. — Шуток не понимаешь?» — «Что-то вы с Чеблаковым друг над другом никогда не шутите. Только над ним можно. Вы с Лялей пять лет женаты, вы даже не были у нас ни разу». — «Ты куда-то не туда поехала, — пожал плечами Юшков. — Просто случая не было». — «Случай бы нашелся. Но все знают, что Валера не обижается. А он не обижается, потому что трус и лентяй. Чтобы обидеться, какая-то душевная сила нужна, что-то в себе затратить надо». — «Ну, Наталья, ты зато истратила весь семейный запас». — «Живет чужой энергией. Присосется и заряжается. Нет никого рядом — сразу садятся аккумуляторы. Может сутками лежать животом вверх. Ты хоть задавись на его глазах — ему хоть бы хны». — «На тебя плохо действует алкоголь», — постарался Юшков замять разговор. Она не слушала. «Он же и начальником бюро не хотел идти. Я заставила». — «Зачем?» — «Что зачем?» — «Зачем заставляла?» — «Тебе почему-то надо, а ему не надо?»

Нервно тряхнула головой, откидывая за плечо гладкие, прямые волосы. В красных лучах они казались почти черными. «Мне, Наташа, ничего не надо», — сказал он. Она отмахнулась: «Оставь». — «Это в детстве бегают, высунув язык, лепят бабы из песка, мастерят, изобретают и ломают...» — «У тебя нет возможности активно жить, вот ты и прикидываешься философом. Когда у человека все идет нормально, он не философствует». Волосы не слушались. Она откинула их рукой. «Прикидываться философом — это уже кое-что», — сказал он.

«Все друг другом довольны, никому ничего не надо. И ты туда же. Работаешь под своего. Иди еще с Валькой чернику собирай. Грибы маринуй. Уже и кабинет у нее свой, инженерами командует, а психология все та же, мелкого хозяйчика: всякую веревочку в дом тащить на черный день, будем сыты — не помрем... Чего ей, казалось бы, бояться? Стол у нее, что ли, отберут? Не отберут! В институте тройки выклянчивала, а теперь людей на работу принимает! Кует кадры! По своему образу и подобию!» — «Злая ты баба, Наталья». — «Ты даже не представляешь, какая я злая. Я никого не люблю...»

...Томку люблю, — сказала она. — Потому что ей плохо. Я завистливая, а ей не позавидуешь». — «Может быть, сейчас ей как раз и не плохо». — «Оставь. Белан ей нужен, как рыбе зонтик». — «Тебе виднее». — «Оставь». — «Зачем же она сюда поехала?» Наташа, придерживая рукой волосы, взглянула через плечо. «Ну и ну... ты даешь». — «Не понял». — «А тебе и не надо понимать».

Он растерялся, замолчал. Она повторила: «Ты даже не представляешь, какая я злая».

Снизу к ним вскарабкалась Ляля. Юшков протянул руку, втащил жену наверх. «Секретничаете?»— вяло спросила она. Опираясь о ствол сосны, вытряхнула песок из одной туфли, потом из другой. И — не удержалась — мельком оглядела лес. В нем густели сумерки. Валя обирала кустики совсем рядом. «Чеблаков, как всегда, устроился лучше всех,— сказала Наташа.— Жена работает, а он развлекается». «Лентяи вы»,— откликнулась Валя. Наташа потянулась: «Хорошо-то как, господи». Наконец-то заметила.

Юшков поймал убегающий взгляд Ляли, сказал: «Садись». Она села. Рука упиралась в траву. Другой рукой потянула подол на колени. Отворачивалась. Она похорошела в последний год. Она это знала — пришло лучшее ее время, а было уже тридцать два, сколько осталось этого лучшего? «Ну что?»— сказал Юшков. Не поворачиваясь к нему, Ляля спросила: «Успокоился?» Ей казалось, все дело в нем. Наверно, так и было. Он подумал, что ему повезло с женой. С ней у него все получилось само собой, он ее не добивался, и повезло. Так же, как сегодня с работой, которой он тоже не добивался. Ему везет только тогда, когда он не прилагает никаких усилий для этого.

Нашел руку Ляли. Ляля моргнула. Выкатилась слезинка. Валя сказала рядом: «Однако надо бы покричать. Может, заблудились?» Губы и зубы ее почернели от ягод. Наташа истошно закричала: «О-го-го!!»

Чеблаков и Филин задрали головы. «Это ты так, Наталья? Не может быть».— «Попросите как следует, еще крикну». Ей хотелось кричать и двигаться. Чеблаков и Филин, пихая друг друга, вылезли наверх. Тоже кричали. Вышли из ельника Белан и Тамара. Тамара несла несколько маленьких боровиков. Чеблаков с преувеличенным умилением рассматривал их, и все за его спиной улыбались, ожидая его шутки. Он сказал наконец: «Ой, какие махонькие, как ты их рассмотрела, на землю, наверно, ложилась?» — и все захохотали. Потом уже любое слово и любой жест вызывали общий смех. Болели скулы, устали от смеха и, устав, наконец притихли.

Шли к даче, едва различая в темноте тропинку. Белан, отставая от всех, придержал Юшкова за локоть. «Что-то вы развеселились?»— «Психоз».— «Я думал, насчет нас что».— «Нет».— «Ты не знаешь, у нее есть кто-нибудь?»— «У Тамары? Не знаю».— «По-моему, у нее кто-то есть».

Не получилось ничего у Белана. Это было приятно. Чеблаков присоединился к ним, спросил: «Как, Толя?» «Я, ребята, кажется, до точки дошел,— удивился себе Белан.— Не поверите, готов жениться». Замолчал, ожидая, что они начнут отговаривать. «Что тебе сказать,— усмехнулся Чеблаков.— Скажу, что дурак, а ты потом женишься и ей передашь».— «Ей-богу женюсь!» Белан восторженно хватал приятелей за руки. Оба они почувствовали зависть.

На даче зажгли свет. Снова пили и ели. Гостям пора было к последней электричке. Белан неожиданно закапризничал: он поедет в город на машине. Его отговаривали, вразумляли, тянули к станции, уговаривали ночевать, а он залез в машину, включил зажигание — кому какое дело до него, он правами не дорожит, жизнью тем более. Лишь Тамара не участвовала в суматохе, спокойно ожидала, чем все кончится.

Ляля побежала в комнату за отцом, и Хохлов, оттолкнув всех от машины, выволок из нее на землю упирающегося Белана. Руки у него были сильные: на бицепсах Белана ниже короткого рукава остались синяки. Хохлов вынул ключ зажигания и ушел в дом. Белан поднялся, сказал: «Гады вы»— и побрел к станции. Гости потянулись следом. Ляля и Юшков уезжали в город вместе с ними. Ляля торопила всех: мол, надо бы догнать Белана, не выкинул бы что-нибудь еще, а Тамара сказала: «Ничего с ним не случится, не так уж он пьян». Ляля замолчала. Вскоре они увидели на перроне лохматую голову и коренастую фигуру в белой тенниске, и Валя презрительно фыркнула: «Вон... корнет Оболенский».

### Глаза пятая

Кабинеты Юшкова и Белана отделялись друг от друга маленькой приемной. В ней сердито скучала, размышляя о своей тридцатилетней жизни, долговязая, густо покрашенная секретарша Белана, глядела в мутное окно на железнодорожную ветку, но стоило открыться двери, начинала барабанить по клавишам «Оптимы» яростно и безграмотно. Здесь подкараулила Юшкова блондинка из Клецка: «Юрий Михайлович! Вас не узнать!» Она-то не изменилась за пять лет в своем Клецке.

Ей нужен был двигатель. Юшков только руками развел и пошел в свой кабинет к трезвонящему телефону. Звонок был междугородный. Как и в отделе снабжения, Юшков просил дефицит, только там требовалась сталь, а здесь, в отделе кооперации, — двигатели, подшипники, сальники, стекла, кожаные сиденья — все, что устанавливалось на автомобиль, но делалось не на заводе, а смежниками. И еще было одно отличие от прежней работы: за всем этим добром приезжали из автобаз, как эта вот блондинка из Клецка, как он сам приезжал, когда за теперешним его столом сидел Саня Чеблаков. Автобазам отдавали излишки, если, конечно, они бывали.

Стекла дребезжали от северного ледяного ветра. Разговаривая по телефону, Юшков смотрел в окно. Мокли в косом дожде деревянные ящики, рябило на лужах радужную пленку солярки, бетон эстакады почернел и покрылся разводами.

Пополз, выбрасывая синий дым, мазовский тягач с прицепом, остановился среди контейнеров. Соскочил в лужу дядька в плаще и мягкой шляпе. Тягач с прицепом подался назад, развернулся.

Блондинка из Клецка заглянула в кабинет, осторожно вошла. Юшков, прижимая трубку к уху, показал на стул. Села, положила ногу на ногу. Кончив разговор, он посмотрел на часы. Было пять. «Как вам здесь работается, Юрий Михайлович? — спросила блондинка. — Хотите бы меня к себе взяли». Слово бы и забыла про двигатель, увлеклась беседой с приятным человеком. Жаловалась на жизнь, открывала душу... и как-то незаметно протянула руку к своей сумке на соседнем стуле: «Да, кстати, Юрий Михайлович, мне тут подруга подарила, а домой я везти не могу: муж у меня слабовольный, ему это...» Вытащила глиняную бутылку рижского бальзама. Юшков рассердился на себя: а он-то, слушая, размяк. «Уберите, пожалуйста... — посмотрел в бумагу, которую она успела ему подсунуть, — Лидия Григорьевна». Она изобразила волнение: она от чистого сердца! И, поддаваясь ее тону, чувствуя себя чуть ли не виноватым перед ней, он глал, что у него больной желудок и только поэтому он не может взять подарок, а она участливо спрашивала, что и как у него болит, советовала обязательно лечиться маслом облепихи и взялась достать это масло, которое нельзя купить в аптеках и которое ей присылают друзья из Алма-Аты. Обезоруживающе рассмеялась: «Не за двигатель. Просто так».

Просунул в дверь голову дядька в плаще и шляпе. Ему нужен был «лично Анатолий Витольдович». Наконец Лидия Григорьевна ушла. Дядька опять заглянул, спросил: «Будет Анатолий Витольдович?» «Обещал», — сказал Юшков. Он собирался звонить в Бобруйск, Киржач и Подольск — по списку срочного дефицита. Между двумя звонками вклинился Белан: «Еле к тебе прорвался. Срочно вылетаю на АМЗ». «Тебя тут ждет человек, — сказал Юшков. — Говорит, нужен лично ты». — «Не из-под Полтавы?» — «Может быть. Номер украинский». — «Давай его сюда». — «Кстати, — сделал попытку Юшков. — У меня из Клецка очень просят один двигатель». — «Что значит очень просят?» — «От одного двигателя мы, я думаю, не пообедем?» — «Юра, давай будем людьми принципиальными, — терпеливо сказал Белан. — У меня принцип: двигатели — это мой золотой запас, за них я что угодно могу получить, значит, зазря я их не даю. Если тебя этот принцип не устраивает, предлагай свой. Но не нужно беспринципности». — «Понял, — засмеялся Юшков. — Даю тебе просителя».

Дядька дремал на стуле в прихожей. «Вы из-под Полтавы?— разбудил его Юшков.— Белан звонит». Тот кинулся к аппарату: «Витольдович?.. Это Пащенко, Витольдович, Пащенко!..— Поговорив, протянул трубку: — Вас просят». «Юра,— сказал Белан.— Дай этому Пащенко два двигателя. Я ему обещал. Попытается просить больше — не давай. И он мне должен кое-какие деньги, я сказал, чтобы через тебя отдал. Триста рублей». — «Когда приедешь?» — спросил Юшков. «Не знаю. Странный какой-то вызов. Еще одна просьба, Юра: по пути домой занеси деньги бывшей моей благоверной. Половину. Это значит, сто пятьдесят. Адрес знаешь? В доме, где почта, квартира девять. Света Бутова». — «Ладно», — сказал Юшков.

Поручение еще и потому было неприятным, что семейная жизнь Белана оставалась для всех загадочной. Несколько лет назад он развелся. Однако его часто видели с бывшей женой. На расспросы о ней отвечал шуточками. И теперь тоже засмеялся: «Смотрите не увлекайтесь воспоминаниями. Школьные годы летят, их не воротить назад». Юшков когда-то учился с Бутовой в одном классе.

Пащенко вопросительно поглядывал. «Сегодня день кончился,— сказал ему Юшков.— Двигатели получите завтра». — «Можно и так». — «Вы где остановились?» Он не знал, нужно ли помогать с устройством. Не похоже было, что Пащенко и вправду друг Белана. «Да есть тут вариант...» Связал тесемочки своей папки, сунул ее под мышку, чего-то ждал. О долге своем не заговаривал. «Документы можете здесь оставить», — предложил Юшков. «Э?.. Можно...» Положил папку на стол, странно улыбаясь. На гладких, упитанных щечках потерялся крошечный носик-пуговка. Юшков, распахнув дверь, ждал, пока Пащенко выйдет, а тот моргал, переминаясь с ноги на ногу, маялся: «Я, может, папочку свою все же возьму,— забрал ее, заглянул в глаза.— Может, заскочим вместе кое-куда? По двести грамм и закусочка?» — «В другой раз. Вы ничего не хотели передать Анатолию Витольдовичу? Он мне сказал».

Пащенко развязал тесемочки папки. Среди бумаг там лежала пачка пятидесятирублевков. Юшкову словно обожгло лицо. Однако рассмеялся, небрежно сказал: «Странное же место вы нашли для денег». — «Вы их, значит, передадите Анатолию Витольдовичу?» Юшков не стал успокаивать. Пересчитал — бумажек было шесть,— спрятал в карман и распрощался. «Значит, до завтра?» — спросил Пащенко несчастным голосом. Клятвы он, что ли, ждал от Юшкова?

Дом Светы Бутовой, кирпичный, трехэтажный, старой постройки, стоял в двух кварталах от завода.

Юшков долго звонил, и никто не ответил. Он спустился во двор. Несмотря на ветер со снегом, у подъездов гуляли молодые мамы с колясками. Из подъезда вышел мужчина, постоял, поднимая воротник пальто, сутулясь от холода, и зябко крикнул. Косил глазом на Юшкова и вдруг сказал: «Юшков, что ли? Не узнаешь старых друзей? Загордился?» Голос был с той особой хрипотцой, которую издают обожженные спиртом голосовые связки. Славка еще в школе, в классе пятом или шестом, хватанул неразбавленного спирта. Он тогда водился с призывного возраста шпаной, был у них на побегушках и пил с ними, эта связь давала ему особый авторитет в школе, не говоря уж о танцплощадке и ее окрестностях.

Юшков пожал руку. Разговор начался обычный: сколько Юшков получает, какие бывают премии, как с жильем. Славка посочувствовал: «Слушай, я бы не сказал, что у тебя очень уж. У меня триста выходит, триста десять иногда, так ведь я ж уже дома порубать успел и покемарить часок, а ты только с работы идешь. Неужели за сто семьдесят в месяц?» — «Что же мне делать?» — усмехнулся Юшков. — «К вам в модельный учеником?» — «Учеником больше семидесяти не выработаешь», — сказал Славка и утешил. — Зато у тебя работа жи-

вая, не соскучишься». «Это точно»,— согласился Юшков. Рядом у входа стояла телефонная будка. Юшков отделался от Славки, позвонил Чеблакову: «Можно к тебе сейчас заглянуть?» «Давай, старик,— сказал Чеблаков.— У нас тут пельмени, ждем тебя, так что не задерживайся». Юшков повесил трубку, и монета вернулась к нему. Он забросил ее снова в щель, и высыпалась целая пригоршня монет. Сколько ни пытался загнать их назад в автомат, они возвращались. «День шальных денег»,— подумал он.

Чеблаков первым делом глянул на туфли Юшкова. Хоть и побаивалась его Валя, а кое в чем выдрессировала. Пробормотал про чертов паркет, скинул с ног шлепанцы, заставил Юшкова влезть в них, а сам натянул кеды. Белые шнурки волочились по паркету. На кухне он снял крышку с кастрюли, бросил в кипящую воду пельмени. Вошла Валя в длинном халате и косынке, закрывающей бигуди. В деревне она не стеснялась, а в городе старалась выглядеть под стать своей зализанной до блеска квартире. «Юрка, тебя совсем не видно. Свиныя ты». Чем старше она становилась, тем приветливее делалась с друзьями мужа. Либо он ее обтесал, либо смирилась наконец с тем, что они — сила, с которой надо считаться. Похвастала: «Я, Юрочка, на диету села. Хочу Наташу Филину догнать. Так что прошу мужчин за столом за мной не ухаживать». «Сделаем,— пообещал муж и свеликодушничал: — Только вот пельмени под водочку тебе порекомендуем».

Юшков почувствовал, что голоден. Пить не хотелось, и бутылку к общему удовлетворению отставили в сторону. «Мы вот с Саней к драконовской диете готовимся. Первая неделя — только овощи, но сколько угодно. Вторая неделя — то же, но без супов. Третья — вообще ничего. Сладкий чай по утрам. Четвертая — снова овощи, а пятая — все что душе угодно». — «Мы, пожалуй, начнем с пятой»,— сказал Чеблаков. «Ничего, что я столько ем? — спросил Юшков.— Я, собственно, шел не есть, а разговаривать, но так, пожалуй, лучше». Чеблаков посмотрел внимательно, потом со значением — на жену. Она заварила чай и ушла в комнату: «„Спокойной ночи, малыши“ начинается. Моя передача».

«Как тебе с Беланом работалось?»— спросил Юшков. Чеблаков отвел глаза, сказал осторожно: «Он ведь не был моим начальником. Мы были на равных». «Он берет взятки». Они кончили есть. Чеблаков свалил посуду в мойку, поставил на стол сервизные чашки и разлил чай. Сказал неохотно: «Это в каком смысле? Систематически?» — «Вот именно. То самое слово». — «Я догадывался»,— сказал Чеблаков. Теперь посмотрел Юшков: «Догадывался или знал?» — «Ну... за руку я его не схватил». — «Я хочу уйти»,— сказал Юшков.— У тебя нет места?»

Чеблаков открыл холодильник. Наверно, искал молоко. Закрыл. «Не спеши, старик. Заместитель, сам знаешь, мне не нужен». — «Необязательно заместитель». — «Старик, Белан — это не самый плохой вариант. Я бы тебе уходить не советовал. Не торопись пока»,— сказал Чеблаков.

Блондинка из Клецка, Лидия Григорьевна, пришла и на следующий день. Села на стул, откинула с колена полу плаща, улыбалась загадочно: «Ну?.. Что же мы будем делать?» Сказала это очень тихо. Мол, хочешь — считай, что речь о двигателе, хочешь — о чем-то другом. «Поздно вы встаете»,— сказал Юшков. Она поняла это как признание, что он скучал без нее. Рассмеялась воркующе, объяснила: «Я утром успела в цехах задние мосты и переднюю ось получить. Только вы вот меня не отпускаете». Вчера ее фамилия — Заяц — показалась ему неудобной для женщины, а теперь подумалось: как мило и как ей идет. Она открыла сумочку, вытащила флакончик с темно-красной вязкой жидкостью. «Облепиховое масло». «Как же вы так быстро его достали?» — «Уметь надо»,— сказала она.

Юшков выписал ей двигатель. Она сразу заторопилась. Он заставил забрать флакончик, а потом все же обнаружил его на полочке у двери.

А вот Пащенко не появился. Это было очень странно. Вечером Юшков понес его деньги Свете.

Открыл парень лет тридцати, в тяжелых очках, в замшевой куртке. Придерживая дверь, загораживал вход. «Мне Светлану Николаевну»,— сказал Юшков. Парень помедлил, пропустил.

В комнате горел верхний свет. Света сидела на низком диванчике справа. Она даже не посмотрела, кто вошел. За пустым столом деревянно застыли женщина в теплом байковом халате, худая, с темными глазными впадинами, и Славка. Оба подняли и тут же опустили глаза, словно боялись подсмотреть что-то такое, что им не полагалось видеть. За их спинами ходил невысокий лохматый крепыш, его Юшков не сразу заметил, отвлеченный поднявшимся с места молоденьким милиционером в сапогах и шинели. Милиционер прошел к окну, заглянул на улицу, и все для Юшкова стало нереальным. «Светлана Николаевна, к вам пришли»,— сказал парень за спиной. Он остановился у двери, как будто сторожил всех в комнате, чтобы не сбежали.

Света блеснула очками. Безумная мысль мелькнула у Юшкова: Белан и Пащенко заманили его в ловушку. Как в кино. Света медленно узнавала: «Юшков?» «Я, кажется, не вовремя,— сказал он, с трудом избавляясь от своей фантазии.— Толя просил передать тебе кое-что». Она побледнела, расширила глаза, и только тогда он понял, что происходит. Света беспомощно посмотрела на парня. «Наоборот,— сказал тот.— Вы вовремя». Он, похоже, единственный тут получал удовольствие.

Лохматый крепыш остановился за Славкиной спиной, посмотрел на парня укоризненно. Он был удивительно похож на знакомого нижнетагильца, мешковатый и в то же время подвижный невысокий пожилой человек. «Забежал по пути,— объяснил Юшков Свете.— Хотел вчера и не застал. Толя просил передать, что задержится в командировке. Что-то толкнуло его промолчать о деньгах. Увидел, как Света расслабилась, обмякла. Благодарно шепнула: «Спасибо». Опять он перехватил укор «нижнетагильца» парню: вот видишь, мол, чего ты добился. «Нижнетагилец» заметил, что взгляд его обнаружили, нахмурился. Он явно был старший и по должности. «Садитесь»,— недовольно сказал парень. Юшков усмехнулся: «Спасибо, я спешу. Тут, по моему, обыск?» Славка поднял глаза и еле заметно кивнул. «Вам уже приходилось бывать при обыске?»— спросил старший. «Нет как-то»,— сказал Юшков. «Почему же вы решили, что здесь обыск?» — «Тысячу раз в кино видел»,— объяснил Юшков. Следователь напомнил: «Вы хотели передать что-то Светлане Николаевне». — «Я уже передал...» — «И больше ничего?» — «Нет». — «Странно,— сказал парень за спиной.— Такие вещи можно передать по телефону». «Я могу идти?»— спросил Юшков. «Конечно,— усмехнулся старший.— Вы не арестованы». «Света, я тебе не нужен?» «Если не трудно, Юра,— сказала она,— побудь еще. Это можно?» «Можно»,— небрежно ответил старший, рассердившись, кажется, что Юшков занял у них много времени. Он обошел стол и оказался перед Светой. «Видите, как у нас получается: вы сказали, что никаких отношений с бывшим мужем не поддерживаете, и в ту же минуту звонят, входит человек и передает, что бывший муж задержится. Как же это?» — «Я объясню...» Света покраснела. Следователь перебил: «Ради бога. Это ведь не допрос. Может быть, вы и правы. Но как образованный и умный человек вы должны понимать, что всякая ложь может быть только во вред вам и вашему... бывшему мужу. Поэтому я вам искренне советую не мешать нам, а помогать и прошу добровольно показывать все, что нас интересует: деньги, сберегательные книжки, облигации, драгоценности, вообще ценности. Вы

говорите, у вас ничего нет. Мы обязаны произвести обыск на основании этого вот ордера. Обыск — вещь неприятная, а мне не хотелось бы доставлять вам лишние неприятности. Не думайте, что для нас удовольствие рыться в чужих вещах». — «Да? — сказала она. — А я думала: удовольствие». Поднялась, подошла к секретеру за спиной женщины и капризно сказала ей: «Подвиньтесь, мне надо открыть». Женщина и Славка выбрались из-за стола. Юшков уже понял, что они тут в качестве понятых. Из секретера Света вытащила плоскую сумочку, из нее — три сберкнижки: «Кому это... передать?» «Посмотрите, пожалуйста», — предложил понятым следователь. Они неохотно взяли книжки. Славка, не открывая, передал их женщине. «Я прошу вас ознакомиться добросовестно», — сказал ему следователь строго. Света вернулась на диван. «Дальше», — сказал парень. «В пальто, — вспомнила она, — кошелек с деньгами». — «Принесите, пожалуйста». — «Подайте пальто». Парень с места не сдвинулся, и старший чуть усмехнулся, бегом взглянув на Юшкова, способного, по его мнению, оценить юмор ситуации, и спросил: «Много в кошельке денег?» «Много», — сказала Света. «Владимир Васильевич, будьте добры, подайте женщине ее пальто».

Следователь сел к столу, раскрыл кожаную папку, вытащил из футляра и надел очки, от которых всякое сходство с нижнетагильцем исчезло. Вытащив бумагу, он стал писать, по ходу дела уточняя фамилии понятых и участкового. Парень принес не пальто, а кошелек. Положил на стол. «Надо было показать понятым, где он лежал, — невыразительно сказал старший. Заглянул в кошелек. — Действительно много. Двенадцать рублей. Шутите все, Светлана Николаевна. «Завтра получка», — сказала она. «Письма мужа последних лет у вас есть?» — «Мы не переписывались». — «Корешки телефонных счетов вы храните?» Свете снова пришлось идти к серванту. Вытащила и положила на стол пачку квитанций на скрепке. Старший показал понятым: не спите, мол, просматривайте, просматривайте. «Золото, драгоценности?» Света повернулась — очки в очки. «Все, что на мне». Все в комнате посмотрели на ее уши и руки, и она опять покраснела. «Обручальное кольцо мне не надо, а сережки покажите, пожалуйста». Она сняла сережки. «Когда я их покупала, они стоили сорок рублей». — «Оставьте их. — Следователь не притронулся к ним. — Все? Больше ничего нет?» — «Ничего». Следователь с неохотой поднялся. Открыл секретер, порывшись в нем словно бы приличия ради, закрыл. Посмотрел на гдэзровский столовый сервиз за стеклом в серванте, махнул рукой: мол, бог с ним. Остановился у книжных полок. «„Всемирная библиотека“, полностью все двести томов?» — «Я их не считала». — «У спекулянтов покупали?» «Это мой папа подписывался», — сказала Света. «Папа, — повторил рассеянно следователь. — Папа...» Вернулся к столу, снова писал. Описывая сберкнижки, открывал их одну за другой, без всякого выражения отставляя подальше от глаз и глядя поверх очков. Так, наверно, писал, когда приходилось, и нижнетагилец. «Мне можно воды?» — спросил Юшков. Света посмотрела на парня. «Идите», — сказал тот, рукой показав, что относится это только к Юшкову. «Открой сушилку, там сверху чашки», — сказала она. «Что ж, — поднялся старший, — посмотрим спальню. Прошу». Пропустил впереди себя хозяйку и понятых.

Из кухни через две раскрытые двери Юшков видел, как следователь открыл полированную дверцу бельевого шкафа, уверенно поднял стопку простыней, словно все знал заранее, позвал: «Товарищи понятые, подойдите ближе». Вытащил толстую пачку облигаций. Света заплакала, ушла в гостиную, забилась в угол дивана, всхлипывала. Следователь посуровел. Наигранная ленца исчезла. Он закончил в гостиной свой акт, пригласил всех расписаться и отпустил понятых. Выходя, они старались встретиться со Светой взглядом, но она отвернулась.



Юшков посмотрел на часы. Была половина восьмого. «Торопитесь?» — спросил следователь. «Не очень», — сказал Юшков. «Вы работаете вместе с Анатолием Витольдовичем Беланом?» — «Я его заместитель». — «Давно?» — «Два месяца. Это допрос?» — «Конечно, нет, вы сами это прекрасно знаете», — сказал следователь. — Тем более что так хорошо знакомы с кинематографией. Как я понял, в этом доме вы впервые». Юшков кивнул. «Но со Светланой Николаевной вас знакомить не надо». — «Мы учились в одном классе». — «Простите, ваше имя-отчество?» Юшков назвал. Следователь снова открыл свою папку, сел к столу, надел очки и записал. «Прошу вас завтра прийти в прокуратуру Заводского района в комнату восемь в два часа. Знаете это где?» — «Найду», — пообещал Юшков. — Белан, значит, арестован? Почему?» — «Вас это удивляет?» Следователь снял очки. Юшков покосился на Свету. «Мне кажется, это недоразумение». «А мне кажется, вам так не кажется», — заметил, поднимаясь, следователь. Он пошел в прихожую. Молодой парень и милиционер вышли следом. Света покосилась недобро и осталась сидеть. В прихожей зашуршали плащи, послышался смешок молоденького милиционера и потом голоса: «До свидания» — «Не дай бог», — тихо, чтобы не услышали там, сказала Света. Хлопнула дверь.

«Господи, какое счастье, что сына дома не было. — Света протира-  
ла очки. — Кажется, столько мы с ним горя хлебнули из-за его папочки,  
конца нет!» — «Зачем ты не сказала про облигации?» — спросил Юш-  
ков. «Но ведь это же все конфискуют! Ты ребенок, Юра! У меня зар-  
плата сто двадцать рублей, ясно же, что это не мое!» Он промолчал.  
«Какое счастье, что Вовки не было, какое счастье, — повторила она,  
потому что в чем-то должна была видеть оправдание неожиданному  
чувству облегчения, которое испытывала, не понимала его и отыски-  
вала все новые причины, его объясняющие: — Может быть, и к луч-  
шему, что уже наконец позади...»

К лучшему, что муж ее арестован? Что-то похожее на сочувствие  
Белану шевельнулось в Юшкове.

«...платил мне алименты с двухсот, а сам хватал сотни, и я же  
должна была их хранить... Ой, как ты думаешь, нас сейчас не подслу-  
шивают?» — «Кто?!» — «Ну есть же какие-то аппараты». — «Не беспокой-  
ся, для тебя таких аппаратов нет». — «Откуда ты знаешь?.. Он женил-  
ся на мне из-за папы. Папа его всегда не переносил, но молчал, я же  
с ума сходила. Конечно, я знаю, что я некрасивая и характер у меня  
не очень, но пока я была ему нужна, он меня терпел. Он использовал  
меня и выбросил, как выжатый лимон...»

Он пытался вспомнить ее школьницей. Она и тогда любила деше-  
вые фразы. Тогда казалось, что ее пристрастие к кукольному сделает  
ее жизнь очень трудной, она была тоненькой беленькой девочкой в  
очках. Любовь к кукольному законсервировалась в ней, но под этим  
обнаружилось железо. «...видел, как эта баба в сберкнижки загляды-  
вала и облигации считала? Теперь по всему дому разнесут. Ах, мол, а  
когда мы у нее пятерку до полочки просили, отказывала, бедной при-  
кидывалась... Теперь у них праздник будет, что ты, такое развлечение!  
Они сюда как в музей сейчас бегать начнут!.. Между прочим, этот лох-  
матый спрашивал про тебя». — «Следователь?» — «Не приходил ли ты  
вчера». — «Как он спросил?» — «Так и спросил: Юшков вчера к  
вам не приходил? Я сказала: я Юшкова десять лет не видела. В самом  
деле, живем в двух шагах.. С тех пор как я узнала, что ты с Толей ра-  
ботаешь, все хотела встретиться. Вот и встретились», — не удержалась  
она от фразы. «Почему они решили, что я должен прийти?» — спросил  
Юшков. «Не знаю. Ой, как я испугалась, когда ты вошел! Толя звонил  
мне перед отлетом, сказал, что ты принесешь деньги. Я думала, ты их  
сразу выгатишь, обомлела... Хорошо, что ты сообразил». — «Очень  
хорошо я сообразил», — с чувством сказал Юшков. — «Не знаю, откуда  
и взялось». «А что?» — испугалась она. Он спросил: «На что ты рассчи-

тываешь?» — «Ну, знаешь, мы с ним в разводе. Пусть докажут, что его деньги. Я так легко не сдамся». — «Я в самом деле принес тебе сто пятьдесят рублей», — сказал он. Она попросила: «Пусть пока будут у тебя». «Не хочу», — сказал он. Она удивилась. Тонкие губы сжались. «Может быть, зря я тебе все рассказываю?» — «Теперь ты принимаешь меня за тот самый аппарат, — усмехнулся он, — которых здесь нет». Она вздохнула: «Нет, это какой-то кошмар».

Позвонили. Света вздрогнула. «Господи, не хватало мне стать психом». Пошла открывать. Юшков услышал женский всхлипывающий голос: «Ох, Светочка, что ж это делается! Я готова была сквозь землю провалиться! Все этот прохвост! Сколько ты из-за него вынесла!..» Юшков оставил на столе деньги и вышел в прихожую. Женщина в байковом халате прижимала носовой платок к глазам, но блестели они не от слез, а от любопытства. Света холодно смотрела сквозь очки, молчаливо давая понять, что ей не до гостей, а гостья порывалась заглянуть в комнату. «Ты уж теперь не исчезай, Юра», — сказала Света.

Промозглый северный ветер не утихал. Странно было думать, что Белан сейчас в тюремной камере, обживаетея там и, наверно, пытается расползти к себе соседей по нарам. Он бы очень удивился, узнав, что Юшков сегодня сделал для него. «Государство не любит, когда добры за его счет», — сказал он Леночке с АМЗ. Ее вместе с двумя другими командированными с АМЗ Белан и Юшков пригласили в «Турист». От нее зависело, сколько АМЗ даст заводу двигателей. Ради этого вечера в ресторане секретарша Белана и еще кто-то писали заявления на материальную помощь. Леночка ластилась за столиком: «Вас, наверно, все очень любят, Толя, у вас натура доброго человека». Тогда он и ответил ей: «Все — преувеличение. Государство не любит, когда добры за его счет». Может быть, Леночка и не была глупа, просто хотелось ей сказать приятное Белану... «Юра, — говорил он, — никогда не впутывай в деловые отношения женщин. Мы с тобой не Потемкины». Отыскав две копейки, Юшков позвонил из автомата у входа в продовольственный магазин. Трубку поднял тесть. «Вы знаете, что Белан...» — начал было Юшков. Тесть перебил: «Ты из дому?» — «Из автомата». — «Утром приходи прямо ко мне в кабинет». Повесил трубку. Юшков попробовал позвонить Чеблакову, но автомат одну за другой проглотил две монеты и не соединил. Наверстывал, видимо, вчерашнее.

Не дозвонившись, поехал на авось. Застал хозяев за ужином на кухне. «Что-то случилось?» — спросила Валя. А он-то думал, что на его лице нельзя ничего увидеть. Чеблаков вытащил из холодильника вчерашнюю бутылку, взглядом спросил: будешь? Юшков отказался. Чеблаков сунул ее назад. Кончив ужин, Валя ушла из кухни. Это у них было четко: в мужнины дела она не вмешивалась. «Ну что там?» — спросил Чеблаков. «Белан арестован». — «Черт, — ошешил Чеблаков. — Не может быть!» — «Как сказал мне следователь, мне кажется, вам так не должно казаться». — «Значит, точно?» — «Я сейчас от его бывшей жены. Так сказать, лично присутствовал при обыске». — «Чего тебя туда понесло?» — спросил Чеблаков. Юшков ответил: «Надо было». Чеблаков не обратил внимания. Он думал о Белане. «Отыгрался Толя.. Ты знаешь, я ему завидовал. Талантов у него тьма, но он зарывался. Он всегда зарывался и играл на публику. Мы с ним недавно ехали вместе в поезде. Случайно случилось. Я — в Люберцы, он — в Подольск. Так, знаешь, ему удовольствие было — вытащить пачку денег, чтоб я видел. Поразить. Вот, мол, как его в командировку отправляют. Мол, дирекция доверяет важные дела. Двадцатку шоферу выписать через секретаря за экстренный рейс — он из этого спектакль устраивал». Юшков кивнул: «Видел». — «У меня всегда было чувство, что он рано или поздно влипнет. Хохлов знает?» — «Похоже на то. Я пробовал ему позвонить, но он прервал разговор». «Струсил», — сказал Чеблаков. «А

он-то при чем?» — «Ну, старик, теперь все будем при чем... Тебя, между прочим, можно поздравить с новой должностью. Ты теперь начальник отдела». «А знаешь,— сказал Юшков.— Мне не хочется. С меня уже хватит. Встретил я вчера одноклассника. Модельщик седьмого разряда. Триста рублей. Вечерами не знает, куда себя девать». — «Ну-ну, старик. Рано ты сдаешься». — «Я здорово в эту историю влип»,— сказал Юшков.

Он не собирался говорить. Сорвалось само, потому что все время думал об этом. «Не чуди,— сказал Чеблаков.— Как ты мог влипнуть?» «Скучно рассказывать. Я им соврал, и они это понимают». Чеблаков покосился на дверь. Она была приоткрыта, он захлопнул ее и сам на себя рассердился за этот жест. «Какого же ты лешего врал?» — «Не знаю. Там было два следователя. Один здорово меня раздражал. Мне все время хотелось его злить». — «Ну, знаешь... это уж... Да ты как Белан!» — «Избыток инициативы. Самая глупая штука. Белан, мне кажется, не ради денег рисковал. Он рисковал ради риска». — «Давай, старик, без самокопания. Это у тебя, может быть, такая психология, а у него именно ради денег». «Может быть,— сказал Юшков.— Может быть».

Утром тесть сказал: «Ты приказом назначаешься исполняющим обязанности... Хлебнем мы еще полной ложкой». В отделе никто не работал. На первом этаже, там, где было окошко табельной и висели на стенах щиты наглядной агитации, толпились кладовщицы и водители. Шумели, обсуждая новость. Все уже знали об аресте начальника. Рослый дядька, водитель Качан, втолковывал женщинам в телогрейках: «...да хоть кто! Умный, дурень — хоть кто! Один он никак не мог!» Увидел Юшкова, осекся.

Пришли следователи. Старший был из Москвы, следователь по особо важным делам, фамилия его была Шкирич. Парень в замшевой куртке и очках, Поздеев, был местным инспектором ОБХСС. Им отвели комнатку на складе резины, туда таскали скоросшиватели, там отвечали на их вопросы. Секретаршу продержали в этой комнатке час. Юшков вызвал ее потом к себе с бумагами, ждал, что она все ему перескажет, но она молчала. Ему позвонили, когда завсектором двигателей Фаина отказалась дать свои ведомости: мол, без начальника не имеет права. Юшков сказал: «Фаина, показывай все и на все вопросы отвечай как на духу». «Когда же мне работать? — в сердцах сказала она. — Меня на конвейер вызывают. Там что-то с фильтрами». «Фильтрами я сам займусь»,— сказал он и проторчал на конвейере до часа, не успев пообедать. А повестка была на два часа.

Он никак не мог вспомнить, где прокуратура заводского района. Оказалось, сотни раз проходил мимо и сотни раз видел золотые буквы на черной доске у двери, всегда закрытой. Она и на этот раз была закрыта, а входили в прокуратуру с торца дома. В комнате номер восемь, холодной и пустой, сидел в замшевой куртке Поздеев. Держался он так, словно видел Юшкова впервые и разговаривает с ним, лишь уступая его, Юшкову, желанию. «Значит, с подсудственным Беланом вы знакомы давно. Как давно? Попрошу точно. Точно не помните? Странно... Что вы думаете о нем?» «Это не имеет отношения к делу»,— сказал Юшков. Поздеев одернул: «Тут, простите, я решаю, что имеет, а что не имеет отношения». — «Ничего я о нем не думаю». — «То есть как? Мне так и писать в протоколе: ничего не думаю?» — «Что писать, вы решаете». — «Послушайте.— Поздеев всерьез рассердился.— Ваш прямой начальник обвиняется во взятках и спекулянтских махинациях, и вы ничего по этому поводу не думаете? Почему в вас такая поза, понимаете, что мы, мол, тут чуть ли не виноваты? Или вы считаете, что взятки — это нормально, а мы, следователи, мешаем вам нормально жить? Может быть, Белан, по-вашему, не виновен? Тогда помогите нам установить это! Я второй день смотрю на вас и не могу понять этой вашей позы! Вы свидетель, а не обвиняемый, поймите вы!

Либо вы честный свидетель, тогда вы должны помогать нам, либо вы сообщник подследственного, но тогда вы ведете себя просто глупо! Знаете ли вы Пащенко Николая Евдокимовича?» Юшков помедлил. «Пащенко... Толкач из-под Полтавы?» — «Завгар, если вы это имеете в виду. Он приезжал за двигателями?» — «Да». — «Получил их?» — «Нет». — «Почему?» — «Сказал, что придет за ними на следующий день, и не пришел». — «А если бы пришел, получил бы их?» — «Не знаю». — «Кто же это решает?» — «В отсутствие Белана — я. Но конъюнктура с запчастями меняется ежедневно. Вчера я выдал двигатель представителю из Клецка. Он мог бы достаться и Пащенко». — «Но Пащенко был уверен, что получит двигатель, иначе он не сказал бы, что придет завтра». — «Этого я не знаю». — «Он вам не давал деньги?» — «Нет». — «Не понимать ли ваш ответ как цитату из анекдота?» — «Какого анекдота?» — «Есть такой. Денег он мне не давал, потому что триста рублей, мол, не деньги. Смешной анекдот?»

Юшков растерялся. Он перестал понимать Поздеева. Зачем вольты тннуть, если тот и так все знает? Дураком же он выглядел, наверно, в глазах этого парня. Тот невинно улыбался: «Такой, видите ли, у нас, так сказать, ведомственный фольклор. Так же как «толкач» — слово из вашего ведомственного фольклора, а вы полагаете, что оно всем понятно так же, как вам...»

На следующий день следователи исчезли. Дверь на складе резины была заперта, проход к ней загромождали мешки с уплотнителями. Ключ же оставался у следователей.

За час до обеда ушла секретарша, и Юшкову пришлось самому отвечать на все звонки. Вернулась она в два, и пока он не спросил, где была, не подумала оправдываться. Показала в ответ повестку: ее вызывали в прокуратуру. И вообще держалась так, будто ей доверили важнейшую государственную тайну. Юшков не стал расспрашивать. Остаток дня она проглядела в мутное окно, даже не хваталась за клавиши, когда открывалась дверь. У пишущей машинки скопилась стопка бумаг. Юшков спросил: «Плохо себя чувствуешь?» «Нормально», — мотнула она головой и недовольно нахмурилась, нарочито неторопливо стала заправлять в машинку бумагу с копиркой. Он сказал: «Пока все не напечатаеть, домой не уходи». «Еще чего», — пробурчала она. Он вышел из себя: «Не нравится тебе работа — увольняйся! Не увольняешься — работай!» «А я что делаю?» — окрысилась она. Ровно в четыре ушла, так и не допечатав бумаги.

Фаина прибежала поплакаться: «Ой, что же это делается, Юрий Михайлович!» — «Фаина, между нами. Ты знала, что Белен брал?» — спросил он. «Что вы такое говорите, Юрий Михайлович! — ужаснулась она. — Это они так могут, но вы?! Мы с вами старые снабженцы, мы-то знаем, что так любого посадить можно!» — «Но ты сама ведь не брала, правда?» Она уставилась на него, заморгала. Ушла, а ему не хотелось остаться одному. Вышел следом. Кончилась смена. Из раздевалки вывалились на лестничную клетку грузчики и водители, затеяли дурашливую возню в дверях, закупорив их пробкой мнущих друг друга тел. Истошно орали, сдирали друг с друга шапки и пытались зашвырнуть их подальше. Кто-то увидел Юшкова, и улыбка застыла. Свис, отвел глаза.

Юшков прошел по складам. Он всюду встречал такие вот убегающие глаза и пытался угадать, что каждый из этих людей мог рассказать о нем следователям.

Он провел ежедневную оперативку, потом по междугородному час звонил поставщикам и после этого позвонил Чеблакову: «Новостей у тебя нет?» «Да у меня, старик, все нормально, откуда новости?» — удивился Чеблаков. Юшков почувствовал преувеличенность этого удивления и спросил: «У тебя люди в кабинете?» — «Ушли уже все. Я сам уже в дверях был...» — «Торопись же домой?» — «Вовка,

негодяй, что-то решил прихворнуть». — «Тебя никуда не вызывали?» — «Это, старик, не телефонный разговор». «Ну ладно, — сказал Юшков, — Не буду тебя задерживать». «Как-нибудь потолкуем, — голос Чеблакова потеплел, — я тебе позвоню, старик. Расхлебуюсь со своими делишками и позвоню». «Ладно, — сказал Юшков, — звони».

В пятницу утром следователи сами пришли в его кабинет. «Мы не помешаем? — спросил Шкирич. — У нас тут вопросы к вам». Они как раз мешали. В это время у Юшкова сидел завсектором электрооборудования. Он нервничал уже второй день: на конвейере кончались фары, нужно было срочно посылать человека в Киржач.

Коренастый Шкирич, одуловатый и медлительный, садился по-стариковски осторожно. Может быть, у него болело сердце и он прислушивался к нему, потому и говорил мало и движения делал лишь самые необходимые. Поздееву приходилось приноравливаться и обуздывать свою энергию, она прорывалась в нетерпении.

«Мы у вас много времени... э-э... не отнимем, — сказал Шкирич. — Нас тут заинтересовало... почему несколько человек часто обращаются за материальной помощью. Ваша секретарша, например». «Помощь оказывает завком, — сказал Юшков. — Вам надо туда обратиться». Шкирич скучно кивнул: «Мы обращались. Завком — это... э-э... особый разговор. Но вот люди, получавшие деньги, говорят, что это требовал от них Белан и эти деньги они потом отдавали ему. Вам это известно?» — «Да».

Поздеев то ли кашлянул, то ли хмыкнул. Завсектором, который сидел, опустив голову, точно под стол собирался лезть, испуганно покосился на него. «Значит, этот факт вы подтверждаете, — сказал Шкирич. Юшков попытался им объяснить: иначе работать он не может. Поставщики нарушают обязательства. Конечно, за это их можно штрафовать, но ссориться с ними себе дороже. Существует дефицит. Сегодня, например, в дефиците фары, их осталось на пять дней. Не достанет Юшков фары — и остановится завод. Не фары, так двигатели, не двигатели, так сальники. Вот и приходится посылать людей, гонять машины к смежникам ради какого-нибудь мешка уплотнительных колец. А значит, надо платить за сверхурочную работу, нужны деньги, а где их взять? Не всегда можно действовать по закону. Но что такое двадцать рублей, выписанных через секретаршу, по сравнению с тысячами, которые потеряло бы государство, остановись завод? Он обращался к Шкиричу. Ему казалось, что Шкирич хочет во всем разобраться, а Поздееву это неинтересно, у него одна цель — вывести всех на чистую воду. Он добавил: «Все так делают». «Ну, как все делают, мы говорить не будем, — заметил Шкирич. — А что до государственной пользы, то она не рублими измеряется. Тут счет сложнее». «Конечно, конечно, — кивнул Юшков. — Только у меня сейчас фар нет, и надо человека в Киржач посылать. Вы не подскажете мне, как это надо делать?» «Это ваша работа, — сухо сказал Шкирич. — Мне это неинтересно». «Вот я ее и делаю. И не всегда могу выбирать средства». — «А это уже цинизм». — «А мне кажется, ваш цинизм — «неинтересно» — не лучше моего. Мне даже кажется, мой лучше». — «Лучше тот, который не нарушает законов». Шкирич поднялся. Следователи ушли.

«Что же нам, без фар из-за них сидеть?» — спросил завсектором сердито. — Зря вы, между прочим, все им выложили. Все так делают, а отвечать придется нам». «С фарами решим, — пообещал Юшков. — Я пойду к Хохлову».

По телефону он у тестя ничего не мог добиться.

Да и увидев Юшкова у себя в кабинете, Хохлов посмотрел недобольно. Похоже, он вообще был не прочь забыть, что существует отдел кооперации. «У нас нет фар, — сказал Юшков. — Надо посылать

кого-то в Киржач. Я ничего не могу делать, пока у нас сидят следователи. Выписать ему материальную помощь? Они как раз спрашивали меня только что, почему мы это делаем». «Они завком должны спрашивать. Помощь завком выписывает».

Юшков удивился. Бойтся Хохлов, это понятно, но с ним-то, Юшковым, зачем ему в жмурки играть? «Так как быть с фарами?» — «Если ты считаешь, что нужно посылать человека, — посылай. Я пишу командировку». — «А денежную помощь ему?» — «Юра, ты начальник отдела. Ты можешь решить этот вопрос сам?..» — «Нет, не могу». — «Ну, знаешь... Тогда я уж не знаю...» — «Я не просился на эту должность». «Вот что, — рассердился Хохлов, — сейчас не время для паники. Я понимаю, тебя там здорово дергают, но меня дергают не меньше. С такими вопросами ко мне не обращайся. Решай сам».

Юшков тут же из кабинета позвонил заведующему сектором: «Я от Хохлова. Выписываем тебе командировку в Киржач. Извини, помочь тебе ничем не можем, но будем живы, в долгу не останемся». «Я не могу ехать, — сказал тот. — Тут следователи назначили мне разговор». — «Когда?» — «Сегодня». — «А выезжать тебе в воскресенье». — «У меня ребенок больной». — «Слушай, — сказал Юшков. — Сколько твоему ребенку?» — «Какая разница?» — «Ты двадцать лет работаешь, ты хоть раз отказывался от командировки из-за ребенка?» — «Юрий Михайлович, — сказал завсектором. — А почему мне больше всех нужно? Никому ничего не нужно, а я должен наизнанку выворачиваться, да еще за свои деньги». — «Деньги я...» — «Не только в них дело, Юрий Михайлович. В конце концов, мне просто все надоело. Я не поеду в Киржач. У меня честно ребенок больной. Не поеду. Хотите — увольняйте». — «Черт с тобой». Юшков положил трубку, посмотрел на Хохлова: «Остается давать телеграммы. Мы уже кучу отправили». Хохлов вызвал секретаршу, велел соединить его с директором в Киржаче и предупредил: «О фарах я попробую договориться, но больше с такими вопросами ко мне не ходи».

В приемной сидел Чеблаков. Юшкову показалось, что, увидев его, друг смутился. «Хохлов у себя? Один? Тогда бегу к нему. Как у тебя, старик? — спросил скороговоркой и, не давая ответить, пообещал: — Разгрузусь — позвоню тебе, потолкуем». Ясно было, что позвонит он не скоро.

На улице посветлело. Под деревьями лежал снег. Было голо, как в комнате, когда снимают для стирки шторы. Он впервые заметил, какой уныло-скучный вид был у пакгауза. Если он останется начальником, весной перекрасит все здание.

Секретарша нехотя и с опозданием забарабанила по «Оптиме»: «Вас просили позвонить».

Номер был незнакомый. Юшков набрал его и услышал щелчок: секретарша подключилась к разговору. «Вам кого?» — спросили в трубке. Он сказал: «Меня просили позвонить по вашему номеру. Это Юшков». — «Ой, Юра! Что у тебя слышно?» — «Простите, — не понял он, — с кем я разговариваю?» — «Бутова Света! Ты что, Юра! Что же ты не заходишь?» — спросила она. Он обещал. Она сказала: «Меня спрашивали про тебя». — «Кто?» — «Ну ясно, кто, — зашипела она. — Я сказала им, что ты приносил мне деньги... Так вышло... Алло, алло, ты слышишь меня?» «Конечно, слышу», — сказал он. «Юра, тут какие-то щелчки». — «Это секретарша на параллельном аппарате». — «Да? — сказала Света осевшим голосом. — Ну ладно, Юра. Не исчезай».

Не ждал главный конвейер. Он требовал фары, шины, двигателя, сальники. Триста семьдесят два завода делали сотни деталей для автомобиля, и достаточно было исчезнуть какой-нибудь одной, чтобы конвейер остановился. Звонил телефон, входили в кабинет люди. Кончались сальники, пришлось звонить в Бобруйск, клянуть, пока там не сказали: «Добра. Поищем. Транспорта нет, так что присылайте

машину и забирайте». Секретарша бубнила по селектору: «Водитель Качан, вас вызывает Юшков, водитель Качан, пройдите к Юшкову...»

Ворвалась Фаина. Запыхалась. «Арестовали начальника сбыта на АМЗ. Я сейчас звонила туда...» — «Зачем звонила?» — «Так двигатели... Такой дядечка представительный, в орденах... Я звоню, отвечает кто-то незнакомый, я говорю, где Виктор Афанасьевич, мне говорят, я за него, я говорю, а он где, заболел, что ли? Его, говорят, не будет. А когда будет? Не будет, и все. Сердятся. Ясно, арестовали...» — «Зачем ты звонила туда?» — «Как зачем? Двигателей за ту неделю пришло только тысяча триста! Михайлыч, надо вам ехать, все связи заново налаживать». — «Я не могу сейчас ехать», — сказал он. Она заморгала: «Так как же? Я звоню, они говорить не хотят!» — «Больше не звони. Готовь бумаги, пусть платят штраф». — «Вы что, Юрий Михайлович! — всполошилась Фаина. — Если мы так начнем, вообще без двигателей останемся. Мы когда по-хорошему, и то на голодном пайке сидим, а уж если конфликтовать!» — «Я отвечаю, — сказал он. — Будем, как положено. Готовь бумагу».

Пришел Качан, рослый мешковатый дядька в нейлоновой курточке, водитель бортового МАЗа. Ехать в Бобруйск за сальниками отказался: смена кончается в четыре, с какой стати ему возвращаться из этого Бобруйска к утру? Чего ради? За такие поездки Белан умел хорошо платить. Юшков ничего не мог обещать. «Что ж, — сказал он. — Иди. Попрошу кого-нибудь другого. Только и ты ко мне впредь с просьбами не приходи». «Зря ты так, Михалыч. — Качан расстроился. — Я против тебя ничего не имею. Но чего это я должен за других работать?» — «За кого за других?» — «А я знаю, из-за кого? Кто-то не сработал, а Качан должен спасти? Если б ты за себя просил...» — «Ты мог бы лично мне двадцатку одолжить на месяц-другой?» — спросил Юшков. Качан вытаращил глаза, суетливо полез за отворот курточки. «О чем речь, Михалыч!» — «Возьми ее себе и привези эти чертовы сальники». Качан рассмеялся: «Ловко ты... Я с Витольдовичем всегда общий язык находил. Потому что ничего плохого, кроме хорошего, от него не видел. Теперь все на него валят, а разве он один, ну скажи...» — «Ни к чему этот разговор». Юшков поднялся. Пора было обедать. Качан сказал: «Привезу я тебе эти сальники, чтоб они сгорели».

В столовую пошли вместе. Решившись на доброе дело, Качан был доволен собой, откровенничал: «Раньше так не было, Михалыч. Был порядок. А теперь каждому надо дать. Теперь никто за так ничего не сделает. Он только из армии, салага, а ты ему дай, иначе шиш поедет. А я, когда из армии пришел, за восемьдесят уродовался и междугородный рейс за особое счастье почитал. Подвезу кого-нибудь за рубль — уже князь. Разбаловали народ, теперь виновных ищут. А чего искать? Каждый рвет себе сколько может. Витольдович урвал — ну и молодец. Эти мне говорят: он мне фиктивные наряды подписывал. Мы, говорят, знаем. А меня не запугаешь. У меня первый класс, я себе работу везде найду. Опять на такси пойду». «Что же не идешь?» — спросил Юшков. «И пойду. Если здесь заработать не дадут, пойду. Я думал, на заводе порядок. А тут так же, как везде».

Основной поток в столовой уже схлынул, очередь была небольшой, и за ними никто не становился. Взяли по тарелке перлового супа, биточки с макаронами и компот. Биточки эти давно уже лежали, никого не соблазнив, на хромированной стойке, остыли. «Курноса, — позвал Качан раздатчицу, — что это такое? Я ведь не в конторе сижу, я с такими харчами богу душу отдам». Молоденькая раздатчица повела глазами. «Надо было раньше приходиться. Ничего уже не осталось». — «Поищи, девонька». — «Вам выбивать или нет?» — спросила кассирша. «Я вот это сейчас Дулеву понесу», — сказал Качан, свирепея. Кассирша, седая и внушительная, посмотрела на него и крикнула

раздатчице: «Гая, посмотри там две порции натуральных!» Раздатчица надулась, ушла, ворча под нос. Юшков отставил свои биточки в сторону, рядом с тарелкой Качана. Качан высыпал из кошелька на ладонь монеты, считал. «Наготовили лишнее, в выходные постоит, в понедельник сами ведь не захотите есть, верно? — сказала кассирша. — Мы же не можем рассчитывать тютелька в тютельку». «Можете, — сказал Качан. — Когда вам надо — все можете. Раньше я на рубль мог нарубаться так, что еле пузо таскал». «Раньше вы ели, что давали, — возразила кассирша. — В тарелку не смотрели». Вернулась раздатчица, швырнула на стойку две тарелки с отбивными. Столовая опустела. Девушка в белой наколке вытирала столики.

Юшков вернулся в кабинет и не выдержал, позвонил в прокуратуру. Ответил Поздеев. Юшков назвался. «Да, я узнал», — холодно сказал Поздеев. Юшков откашлялся и сказал: «Мне хотелось бы... дело в том, что когда мы разговаривали у вас... я не все сказал». Поздеев молчал, не помогал.

Вошла Фаина. За ней другие. Начали собираться на оперативку. «Алло, вы слышите меня?.. Я не все сказал. Я имею в виду Пашенко». Поздеев еще помолчал, не дождался продолжения и ответил: «Я знаю. Кажется, мы совершенно ясно дали вам это понять». — «Вот я и звоню вам. Надо выяснить это недоразумение». — «Я тоже так думаю, — сказал Поздеев. — Мы все выясним. До свидания». Юшков еще подержал трубку у уха, собираясь с мыслями, зная, что стоит ее положить — и оперативка начнется.

Отчитались по дефициту. Список его получился длиннее обычного. Он рос теперь изо дня в день. «Значит, так, — сказал Юшков. — Анатолий Витольдович сюда вряд ли вернется». Разговоры оборвались. Все насторожились. «Я знаю не больше вашего. Но это ясно. Значит, работать нам с вами. Сегодня фарами пришлось заниматься заместителю генерального директора. Больше такого не должно быть».

Завсектором электрооборудования молчал, словно речь была не о нем. Фаина сказала за всех: «Да тут идешь на работу и не знаешь, вернешься домой или в «черном вороне» увезут». Зашумели. Юшков дождался тишины. «Сегодня я просил одного человека поехать в командировку без дополнительных средств. Он отказался». — «Что ж мне, свои выкладывать было? — буркнул завсектором электродвигателей. — Это из каких же шишей?» — «Я вовсе не посылал вас давать взятки. Обеспечить завод фарами — ваша обязанность. Как вы это делаете, меня не касается». «Как же не касается? — вскинулся завсектором. — Вы начальник отдела!» — «Вот именно, я начальник отдела. О незаконных действиях слышать не хочу. Если вы с работой не справляетесь, можете подавать заявление. Это относится ко всем». — «А как же работать?» — спросила Фаина. Юшков сказал: «Все. Оперативка окончена».

Поднимались, выходили молча. Были недовольны. Он и сам был недоволен собой. Сказал секретарше, где его искать, и ушел в механический цех.

Видимо, на сборке задних мостов не хватало рабочих. Кацнельсон сам закреплял крышки на колесных передачах. Маленький, худой, он едва не висел на ручках гайковерта, упирался в него плечом, и, конечно, толку от этого было немного.

С подъехавшего кара соскочил молодой парень, сгрузил ящики с болтами и сменил Кацнельсона. «Студенты помогают, — объяснил тот, вытирая руки ветошью. — А ты чего здесь гуляешь?» — «Воздухом дышу». — «У тебя какая-то идея?» — «Идей-то как раз нет». — «В общем, — медленно сказал Кацнельсон, — в сегодняшнем хаосе, когда следователи все вверх дном переворачивают, к тебе бы и прислушались, будь у тебя идея. Если бы нахватать себе запасы, набить скла-



ды дефицитом, чтобы не зависеть от поставщиков... можно было бы и иначе с ними говорить...»

Юшков только подивился такому оптимизму. Так же было и с прибором. Кацнельсон первый предвидел трудности, казалось бы неразрешимые, начинал терзаться ими тогда, когда Юшков еще полон был азарта, но живой и предприимчивый его ум начинал одновременно строить и планы преодоления этих трудностей, начинал выдавать новые идеи и увлекаться ими, хотя время для них еще не пришло. Кацнельсон перескакивал из настоящего времени сразу в проблемы будущего и жил ими так, словно в настоящем все уже было решено и сделано.

В отдел Юшков так и не вернулся и пришел домой раньше Ляли. Разогревая ужин, стоял у кухонного окна. С высоты пятого этажа он видел двор между одинаковыми панельными домами. На балконах мокло белье. Со стороны детского сада шли Ляля и Сашка. Ляля тащила сумку с продуктами. Сашка зазевался, поглядывая на мальчишек. Вот он побежал к ним, а Ляля скрылась за углом, огибая дом.

Мальчишки были старше Сашки, лет десяти. Стояли группкой у песочницы. Один был в очках, на полголовы выше других, в коротком узком пальто. Малец в зеленой куртке замахнулся на него ногой, и очкарик сделал шаг в сторону. Это была ошибка. «Зеленый» воодушевился, замахнулся второй раз. Очкарик сделал еще шаг назад. И оказался территориально вне компании. Тогда и малец в красной куртке, слепив снежок, неуверенно и легонько бросил его в ноги очкарика. Тот стал неохотно отходить к подъезду. Компания медленно потянулась за ним, лепили снежки и бросали в отступающего. Иногда только замахивались, пугая. Тот каждый раз пригибался, словно снежки летели в голову. «Зеленый» был в этой компании самый подвижный. Он вдруг схватил Сашку за плечи, раздумывая, что с ним делать, повертел его и отпустил. С Сашкой ему было неинтересно. Сорвался с места, побежал к очкарику. Тот, косясь, убыстрял шаг. «Зеленый» хотел пнуть сзади. Очкарик обернулся. Тогда «зеленый» замахнулся рукой. Очкарик увернулся и тут длинной своей ногой сам замахнулся на «зеленого». Тот отскочил и замер, готовый удирать. Секунду они стояли неподвижно. У Юшкова появилась надежда, что очкарик осмелеет, но тот, испугавшись сделанного, помчался в подъезд. И тогда все кинулись за ним. Сашка летел сзади всех. Юшков не мог видеть его лица, наверно, Сашке было и страшно и любопытно, и сердечко его замирало от радостного ужаса.

Юшков досадовал. «Зеленый» был низкорослым. Ловким, но не сильным. А могло все кончиться иначе, если бы не трусил так позорно очкарик. Таким Юшков помнил себя. Лишь много лет спустя, когда уже кончалась юность, и было третье место среди боксеров города в среднем весе, и стычки в парке со шпаной, и многое другое, лишь тогда ему удалось отделаться от страшного подозрения, разьедавшего его детство, что он трус.

Очкарик снова выглянул из подъезда. Наверно, родители заставляли беднягу гулять. Курточки заметили и снова ринулись к нему, и он тут же юркнул назад. Конечно, он с самого начала сделал ошибку. Он был сильнее «зеленого». Он должен был драться. Юшков сердился на него, хоть понимал, что драться очкарик не мог. Он не был воспитан для драки. Независимо от исхода она внушала ему ужас. Ну а если бы он победил даже? Ему бы пришлось либо командовать, либо драться всегда. Едва ли он отдавал себе в этом отчет, но победа слишком много потребовала бы от него и была ему невыгодна. Наверно, он как-то чувствовал это и потому убегал. Он хотел бы играть иначе, тихо и мирно, давая волю фантазии и воображению, которые делали его таким неловким в жизни. Ему достаточно

было просто постоять рядом с мальчишками, пока родители не позволят вернуться домой к книгам...

В двери заскрежетал ключ. Юшков отошел от окна. Что может определиться в десять лет? Чепуха. Ничего не может. «Юра дома», — услышал он голос Ляли из прихожей. Она пришла вместе с Аллой Александровной. Потому и задержалась внизу. Рассказывала, что воспитательница в саду жаловалась: Юшков самый разболтанный во всей группе. Дня нет, чтобы не подрался. Мать считала, что Сашка — продукт ее педагогической деятельности, и всякий упрек ему принимала на свой счет. «Не замечала, что он разболтанный. Он просто держит себя естественно...»

Сели ужинать. Мать все рассуждала о воспитании. «Ты сам, Юрочка, между прочим, никогда не дрался». «Завтра возьму Сашку на рыбалку», — сказал он. Мать замерла: «Ты с ума сошел?» Ляля ответила: «А вы разве не знали?» — «Нет, он шутит! В такую погоду увести ребенка на целый день! Я просто не пущу!» Дернул черт заговорить при ней, увез бы завтра тихонько... Пришлось поклясться, что поедет без сына.

Воскресенья существовали для рыбалки, иначе Хохлов не мыслил. Были у него и друзья на эти часы, он возил их в своей машине: два отставника и молодой парень из автобусного парка. С рассветом поднялся ветер, на пологом берегу продувало насквозь, у всех не клевало. Постояли с удочками часа два, замерзли. Развели костер, варили похлебку из консервов. Хохлов, раскрыв рот, внимал рыбацким байкам отставников, плакал от смеха, слушая древние анекдоты про попадью и анекдотики парня из автопарка, вся соль которых была в том, что действующие в них заяц, лиса и медведь умели ма-териться не хуже автопарковских водителей.

У воды тесть становился сентиментальным и, поймав по транзистору «Маяк», заставлял всех молчать: «Тише, Толкунова поет». Задумывался, иголкой хвои играя с муравьем, заползшим на прорезиненную ткань плащ-палатки. Помогал ему выбраться, рот его забавно открывался при этом и лицо становилось детским. Юшков подумал, что тут-то они поговорят начистоту. «Федор Тимофеевич, — сказал он. — Работать так, как Белап, я не могу. Сейчас это невозможно. У меня есть мысль...» «Опять идеи? — Хохлов тоскливо поглядел. — Юра, дай хоть здесь-то пожить спокойно. Не время сейчас для идей. Не дергайся ты так, перемелется — мука будет».

Конечно, он заслужил отдых в выходной. Каждый день в половине восьмого он уже сидел за письменным столом в своем кабинете и поднимался из-за него в половине восьмого вечера. Несколько шагов по коридору к директорскому кабинету, несколько шагов от машины к подъезду дома да вверх по лестнице — этим его передвижения и ограничивались. В молодости он играл в футбол, расширенное сердце футболиста ослабло и подводило его, когда случались неприятности. Подчиненные узнавали это по голосу, становившемуся глухим и еле слышным. Он мог в любое время сказать, какие материалы, машины, вагоны пришли или ушли с завода, мог сказать, что лежит на каждом складе, никогда не видя это своими глазами. Он помнил наизусть огромные перечни, каталоги и сборники стандартов. Поражая всех своей памятью, он зато не мог вместить в нее ничего кроме этих тысяч цифр, лишенных вещественности, и потому для других неразличимых. Груз этих тысяч давил. Он уставал, если газетная статья была написана непривычным языком. Непредвиденная семейная забота или разговор, в котором он сталкивался с неожиданным фактом или неожиданным мнением, были ему непосильны, он раздражался, и это раздражение было его единственной реакцией. Он давно убедил себя, что самое мудрое — не вмешиваться ни во что

и пусть все идет, как идет. Что он мог сказать кроме этого «шеремелется»?

Теперь каждый день, принимая у секретарши бумаги или вытаскивая в своем подъезде газеты из почтового ящика, Юшков ждал повестки. Иногда ему казалось, что ему безразлично, чем все кончится, лишь бы кончилось скорей. Никак не удавалось забыть голос Поздеева: «Мы все выясним». С нажимом на «все». Однажды в столовой он услышал разговор о себе. В очереди, не видя его, разговаривали две кладовщицы. Одна говорила, что нужно съездить в деревню к матери, другая посоветовала: «Попросись у Юшкова, он отпустит». «Думаешь?» — сомневалась первая. Вторая ответила: «Кажись, он нервный». О Белане постепенно забывали. Еще не все на заводе знали, что он арестован, еще только начинали бродить слухи, а в отделе уже привыкли к новому начальнику и с каждым днем все меньше присматривались к нему, уже составив какое-то мнение, уже принимая его как данность, к которой надо приспособливаться. Конвейер требовал детали. Склады пусты. Снабженцы отказывались от командировок, а водители — от сверхурочных рейсов. Надо было что-то делать.

Юшков позвонил в прокуратуру. Может быть, и собственная неопределенность подгоняла его, но было и оправдание: следователи могли помочь заводу. Оказалось, что Шкирич уехал в Москву. Пришлось опять говорить с Поздеевым. «Помочь заводу?» — Поздеев помедлил, подумал и назначил время.

Заговорив, Юшков уже видел себя глазами Поздеева: пришел жулик и пытается изображать честягу, для которого интересы производства превыше всего. От этого все, что он собирается сказать, ему самому стало казаться ненужным и нелепым. Он объяснил: раньше работа держалась на толкачах, фиктивных нарядах и других незаконных делах. Так работать теперь мешают следователи. Тут Поздеев скромно улыбнулся. Юшков продолжал: «Но раз вы уже изменили нашу жизнь, доводите это до конца. Чтобы работать по-иному, нам нужна независимость от поставщиков на какое-то время. Нужен запас. Его можно создать с вашей помощью. У нас скопился некондиция — брак, который мы не ставим на машины. Потребуйте у завода справку о ее количестве. С этой справкой как с официальным документом я поступлю как новое правительство, которое не признает долгов старого. Я добьюсь, чтобы этот брак нам заменили на годное в счет прошлых поставок. У меня будет запас, я встану на ноги». — «Вам нужно, чтобы я потребовал у вас же справку?» — «Не могу же я написать ее сам для себя, это не будет тогда документом». — «Это ваша личная просьба?» — спросил Поздеев. Юшков кивнул. Поздеев подумал. Странно улыбнулся. Юшков тоже улыбнулся. «Какие у вас были отношения с Беланом?» — «Хорошие отношения». — «Почему же вы его сейчас топите?» — «Я?» — «Ну не совсем же вы несведущий в наших делах человек. Вы хотите теперь всю недостачу свалить на Белана. На старое правительство, как вы говорите. Вы же не можете не знать, что его наказание будет зависеть от размеров материального ущерба, который мы установим». Юшков вспотел. «Я думаю только о своей работе. Наказание — это ваша работа. А я хочу начинать чистый. Мы всегда стоим на коленях перед поставщиками. Будет запас — мы встанем с колен...» «В общем, дружба дружбой, — сказал, нехорошо улыбаясь, Поздеев, — а служба службой. Не повезло Белану с друзьями... Сколько вы получили от Пашенко?» «Триста рублей», — сказал Юшков. Голос его осел. Что он ни делает теперь, все выходит мерзко. Когда он успел так запутаться? «За два двигателя?» — «Наверно». — «Почему наверно, а не точно?» — нахмурился Поздеев. Юшков сказал: «Откуда же я могу знать точно?» — «Вы ведь собирались дать ему два?» — «Так мне велел

Белан. Он сказал: ни в коем случае не давай больше». — «Принимая деньги, вы считали, что вам платят за два двигателя?» — «Нет».

Поздеев поправил очки. Мол, ну и надоед ты мне со своими увертками, братец. Юшков пытался представить его без очков. Внушительный подбородок, волосы до плеч... Тоже было бы неплохо.

«Белан сказал мне, что Пащенко должен ему триста рублей и что эти деньги Пащенко передаст ему через меня». «Ловко, — сказал Поздеев. — Ловко, да не сходится. Значит, принимая деньги, вы ничего противозаконного в этом не видели. Почему же вы скрыли их, когда пришли к Бутовой? Взяли бы да передали». — «Мне показалось, момент для этого не подходящий». — «Почему?» — «Вы бы восприняли это... Мне тогда показалось, что это вызовет много ненужных подозрений и вопросов». — «Потому что вы знали, что эти деньги — взятка». — «Все не так просто...» — «Но как же! Не могу же я всерьез поверить после всего, что вы сами мне рассказали, что, принимая деньги у Пащенко, вы считали, что он отдает долг. Какой долг? Вы считали его старым другом Белана?» — «Нет». — «И у вас даже мысли не появилось, что это взятка? С вашим-то опытом!» — «Я догадывался, что это взятка... Когда Белан позвонил и попросил взять деньги, я не придавал значения... Но потом, когда Пащенко достал их... Дело в том, что они лежали, заранее приготовленные, в папке среди бумаг...»

Поздеев захохотал: «Ну, тут уж действительно трудно не понять. Удивляюсь вам. Сами такие вещи рассказываете и сами продолжаете запереться. Значит, тогда вы поняли, что это взятка?» — «Да». — «Ловко», — сказал Поздеев. Юшков запнулся. «Почему ловко? Я рассказываю как было». — «Ну-ну». — «В общем, когда я пришел к Бутовой, я был уже уверен, что это взятка. Почему тогда пытался скрыть?.. Это была, конечно, глупость. Но ведь у нас с Беланом были, в общем, неплохие отношения, как мой начальник он мне нравился... ну, какая-то инерция отношений сработала...» «Психология, значит, — сказал Поздеев, взглянув на часы. — Хорошо. Вы хотите психологию — давайте психологию. Белан вам нравился, и вы вдруг, внезапно, увидев деньги в папке, узнали, что он взяточник. Да вы должны были бы... ну я не знаю что, не с ума, конечно, сойти, но возмутиться, опешить... Какая тут, к черту, инерция!» «Вы серьезно считаете, что я должен был возмутиться?» — сказал Юшков. «Вас это не возмутило?» — заинтересовался Поздеев. «Конечно, нет». — «Интересное признание». — «Скажите, — спросил Юшков, — у вас замшевая курточка. Откуда она?» — «Мы закончим этот... разговор и поговорим про мою курточку». — «Они не продавались в магазине. Это дефицит. Их можно достать только по знакомству. Вас это не волнует? Может быть, вам подарили ее. Тогда кто-то другой доставал ее по знакомству. Это вас возмущает? Нисколько. Про себя я вам все рассказал. Больше пяти лет сам дарил конфеты, поил нужных людей водкой. И вы считаете, что меня могут вывести из себя эти триста рублей. Да я тогда давно бы уже, как вы говорите, с ума сошел!» — «И если бы у Бутовой не оказались в тот момент мы, вы спокойно отдали бы деньги и все продолжалось бы? Белан брал бы взятки, а вы бы видели и молчали?» — «Я постарался бы уйти... если бы смог». — «Выходит, в укрывательстве преступления вы уже сознались». — «Да. Сознаюсь. За это положена тюрьма?» — «Может быть, может быть». — Поздеев был озадачен. — «Вы, во всяком случае, упрямее, чем я думал...» — «Да уж тут-то в чем упрямство?» — «А ведь вы могли бы уже убедиться, Юшков, что запирательство не приводит ни к чему хорошему. У нас уже протокол с вашими ложными показаниями. Многовато всего набирается. Нужен ли нам с вами еще один такой протокол?» «Если бы вы спрашивали прямо, — сказал Юшков, помолчав, — мне было бы легче отвечать». «Времени у меня мало, — зло ответил Поздеев. — У меня сроки. А вы на пря-

мые вопросы не отвечаете. Ну спрошу я вас сейчас про сто пятьдесят рублей, так я заранее знаю, что вы мне ответите. Вы скажете, что Белан был их вам должен». «Какие сто пятьдесят рублей?» — «Пашенко дал вам триста. Бутовой вы передали сто пятьдесят». — «Белан так просил». — «Я и говорил». — «Но это-то легко проверить! Вы у него спросите!» «Проверим», — скучно сказал Поздеев.

Он вытащил из стола бланк, стал писать. Юшков ждал. «Поедете в Москву», — сказал Поздеев. — «Вот вам повестка. В понедельник в тринадцать часов должны явиться в прокуратуру Союза. Распишитесь, что получили». После этого он вернулся к протоколу, быстро его закончил и дал подписать Юшкову.

Юшков еще успел вернуться на завод, объяснить Хохлову по телефону, почему его в понедельник не будет, и ввел в курс самых срочных дел Фаину, которую оставил вместо себя.

Провожала его Ляля, Алле Александровне, чтобы ее не волновать, сказали, что он едет в командировку. Ляля сердилась. Все воскресенье с утра до самого отъезда она постоянно обнаруживала, что Юшков в чем-нибудь виноват. И белье в прачечной он забыл получить, и о свежей рубашке не побеспокоился заранее, пришлось стирать в последнюю минуту, и с сыном был невнимателен, а по пути на вокзал забыл пробить в троллейбусе талоны, вспомнил о них, только когда вошел контролер, и тогда Ляля сказала: «С тобой действительно в тюрьму угодишь». «А это уже обычная женская подлость», — сказал Юшков, и они перестали друг с другом разговаривать. Как на грех, встретили на перроне Валеру Филина вместе с новенькой девушкой из его бюро. Они ехали тем же поездом на ВДНХ с чертежами заводского стенда, уже поставили в вагон свои вещи и вышли прогуляться.

Утром поезда пришел в Москву. Ровно в час Юшков постучал в дверь, номер которой был указан в повестке. Шкирич был в форме с майорскими звездочками, и в первое мгновение Юшков его не узнал.

«Поздеев вам ничего не объяснил?» — спросил Шкирич. Юшков покачал головой. Шкирич рассмеялся: «Рассердили вы его. А чего вы хотели? Пашенко нам уже все рассказал, мы вам намеки делаем, а вы уперлись на своем: не было никаких денег! Думаете, это облегчает работу?» «Я потом сам ему позвонил», — сказал Юшков. Шкирич кивнул: «Знаю. А теперь мы с вами поедем в тюрьму. Навестим бывшего бывшего начальника, поговорим вторым...» — «Очная ставка». — «Точно. — Шкирич улыбнулся. — Снова сведения из кино?» Помнил.

Они ехали в «Волге», вошли в проходную, миновали стеклянную стойку с окошком, дежурный милиционер пропустил их на лестничную площадку, поднялись на второй этаж и шли по коридору, пока Шкирич не открыл одну из дверей. Там было два стола и несколько стульев. Предложив один из них, Шкирич сел за стол, разложил бумаги, начал писать. «Вы не волнуйтесь, Юрий Михайлович, расслабьтесь. Никаких неожиданностей не будет. Поговорим о старом, о чем уже говорили, чтобы уж окончательно...»

Постучали. Сержант ввел Белана. Юшков ждал полосатую куртку, а Белан вошел в своем сером костюме и красной рубашке, как в тот день, когда уезжал на АМЗ. Улыбнулся Юшкову, изображая приятное удивление: «Юра, и ты тут? Как в том анекдоте: а кто же в лавке остался?» Он и здесь играл. Оба не знали, можно ли поздороваться за руку. Шкирич показал Белану на стул — подальше от Юшкова.

«Ну что ж, Анатолий Витольдович», — сказал он, вздохнув оттого, как много ему еще писать и как мало у него на это времени. — «Вы все хотели, чтобы я поговорил с вашим заместителем. Вот я его и пригласил». — «Естественно», — сказал Белан, как бы оправдываясь в том,

что заставил человека хлопотать.— Вы спрашиваете такие вещи, что я могу и ошибиться. Всего не упомнишь». Он очень переигрывал в непринужденности. «Так.— Шкирич листал бумаги.— Тридцатого сентября с новых двигателей были сняты вентиляторы. Кто дал это указание?» «Последний день квартала.— Белан изобразил попытку вспомнить.— Я занимался нарядами. На конвейере был Юра. Наверно, он дал это указание. Мог бы и я: на конвейере всякое бывает, поломается или пропадет деталь — снимаем с новых двигателей, лишь бы конвейер не стоял.— «Могли бы вы, но не вы?» — «Нет, не я». — «А вот Юрий Михайлович говорит, что вы».

Такой разговор был мельком, когда в отделе объясняли Шкиричу, откуда получается некондиция. Случай был обычный, и объяснял его Белан правильно, только занимался нарядами в тот день не Белан, а Юшков, а вот команду дал Белан. Иначе и быть не могло: с первого дня Белан предупредил, что такие команды мог давать только он. «Конечно, это бесхозяйственность,— сказал Юшков,— но такие вещи нам приходится делать часто». «Так чье же это было указание? — спросил Шкирич.— Ваше или Белана?» — «Мне кажется, Белана». — «А точнее, без «кажется», — не могли бы вспомнить?» — «Белана. Разве это имеет значение?» — «Ты вспомни, Юра,— попросил Белан, волнуясь.— Тридцатое сентября. Конец квартала. Аврал. Я тебе сказал: Юра, конвейером занимаешься сегодня ты. Все вопросы решаешь без меня». — «Не помню». Юшков понимал, что Белан просит его изменить показания, но и тот должен был понимать, что это уже поздно делать. Странно было, что он упорствует в таком пустяке. Впрочем, оказалось, что именно этот пустяк интересовал Шкирича. Он еще долго мусолил его, потом спросил: «Кстати, Анатолий Витольдович, вам кто-нибудь должен деньги?» Белан удивился: «Не помню... может быть...» — «Пащенко вы не знаете?» — «Пащенко...» Видно было, что Белан пытался вспомнить и не мог. Шкирич сказал: «А вот Юрий Михайлович говорит, что Пащенко должен был вам». Белан вспомнил. Покрылся от досады. Трудно ему теперь будет объяснить, как он одолжил деньги человеку, фамилию которого плохо помнит. «Сколько?» — спросил Шкирич. Белан рассмеялся, пытаясь войти в прежнюю роль: «Кому я должен, всем прощаю». — «А все-таки?» — «Ну... кажется, рублей сто пятьдесят». — «А Юрий Михайлович говорит, что триста».

Белан посмотрел на Юшкова и вдруг сообразил, что тот тоже подзревается. Может быть, он даже решил, что Юшков арестован. Заволновался: «Правильно, триста. Сто пятьдесят рублей я просил Юрия Михайловича отнести моей бывшей жене... Между прочим, Юшков в нашем деле человек новый. Все вопросы я решал сам, без него. Теперь припоминаю: и команду снять вентиляторы давал я». Шкирич писал. «Юрий Михайлович, расскажите про встречу с Пащенко». Юшков рассказал. Белан опустил голову. Больше он уже ничего не говорил, только кивал, соглашаясь, и ни на кого не смотрел. Лишь когда его уводили, взглянул пронзительно: «Юра, а ты помнишь, как мы на даче?..»

В машине на обратном пути Шкирич сказал: «Вот видите, эту некондицию делали умышленно: ведь каждый двигатель — сто пятьдесят рублей, а вы не догадывались. И ваш бывший начальник еще пытался все свалить на вас». «Ничего он не пытался,— возразил Юшков.— Это наша обычная бесхозяйственность, он знал, что мне за это ничего не будет. Он выгораживал меня и еще будет выгораживать». «Почему еще будет? — благодушно поинтересовался Шкирич.— Разве есть за что?» — «Вас бы на его место». — «В тюрьму?» — «Нет, на место снабженца». — «В каждой работе свои трудности, Юрий Михайлович». Шкирич посматривал на улицы за стеклом. Туман разошелся, и снова вспомнилась Юшкову комната, в которой сняты для стирки шторы, голая и посветлевшая. «Плохо вы делаете ее,— сказал он.— Я вам сколько наговорил, а вас только одно интересу-

ет: брал я взятки или нет». «Ну вот,— сказал Шкирич.— Все у вас кончилось благополучно, а вы нервничаете».

В прокуратуре Шкирич выписал командировочное удостоверение, сказал Юшкову, где тому выплатят деньги за проезд, и попрощался с ним.

Утром Юшков приехал на завод и узнал, что кончились двигатели. Правда, уже пришла по железной дороге новая партия с АМЗ. Грузовики и электрокары везли ее с платформ прямо на сборку. Там были и Хохлов и директор завода Дулев. Фаина и кладовщица тоже были там. Вспокоенный присутствием высокого начальства, замотанный и обалдевший мастер сборки сказал Фаине: «Это не работа. Какой он ни был, Белан, пусть он себе карманы набивал, но нас он всегда обеспечивал».

Хохлов отвел Юшкова в сторону, к стеллажам, где плали по воздуху, спускаясь вниз, автомобильные кабины и топливные баки. Они сели на деревянные ящики. Голубые кабины, проплывая мимо, почти касались головы Хохлова. Юшков сказал: «У нас пустые склады. Завтра все здесь может остановиться». — «Рассказывай, что в Москве», — попросил тесть. Выслушал, помолчал. «Говоришь, Белан испугался, что тебя подозревают? М-м-да. Он такой. И не жадный как будто. Но зарвался. Наделал он нам делов». — «Да как будто пронесло уже», — сказал Юшков. Тесть невесело усмехнулся: «Только начинается, Юра. С тебя, конечно, взятки гладки». — «Разве вам что-нибудь грозит?» — «Ты думаешь, меня не тягают? За халатность. Видел, как Дулев сегодня со мной?» «Нет. — Юшков удивился. — Ничего не заметил». — «Я для него конченный человек. Ему уже пора реагировать. Я не в претензии. Его ведь тоже спрашивают: а что вы сделали со своей стороны? С какой стати он станет меня собой прикрывать?» — «Что же он будет делать?» Юшков впервые подумал, что тесть не все рассказывал ему и, наверно, последние недели дались и ему нелегко. Наверно, и тогда, на рыбалке, он многое уже знал и все понимал. «Что Дулев будет делать? Найдет мне какое-нибудь спёкое местечко до пенсии... — Хохлов посмотрел на Юшкова, хмыкнул, хлопнул по плечу. — Ничего, Юра. Авось пронесет. Пока будем работать. Тут, кстати, следователи тебе работенку подбросили: справку о некондиции им дай». Значит, не забыл-таки Поздеев. Юшков повторил: «У нас пустые склады. Надо что-то делать. Я не могу ни людей посылать, ни сверхурочные оплачивать. Остается штрафовать поставщиков, обострять отношения. Как и положено, кстати, по инструкции». «Валяй,— махнул рукой тесть. — Только не зарывайся». Он не помнил, что Юшков предлагал ему это пять или шесть лет назад.

Несколько дней спустя в кабинет Юшкова вошел Чеблаков. Три последних недели они почти не разговаривали друг с другом, и Юшков удивился. Чеблаков держался так, словно этих трех недель не было. «Как жизнь, старик?» — «Кручусь». — «Старик, — Чеблаков скромно потупился, — был разговор с Дулевым. Мне предлагают место Федора Тимофеевича. Вот так». Юшков не сразу нашелся. «Поздравляю... С тебя бутылка... Да что бутылка — банкет с тебя». — «В тридцать шесть лет заместитель генерального директора — страшновато, старик. Это я только тебе. Но ничего. Вдвоем с тобой мы как-нибудь, а?» — «Не знаю, — сказал Юшков. — Я сейчас действую по инструкции, без толкачей, без кумовства...» — «Старик, теперь только так. Ты просто повторяешь слова Дулева». — «Ну-ну». — «Что тебе надо?» — «Запас на складах. Будет запас — будем думать». — «Где же его взять, запас?»

Юшков рассказал то, что пытался объяснить Поздееву. Показал справку. Чеблаков оценил. «Это уже разговор, старик. Это хороший

разговор. По рукам». — «И еще одна просьба. Дай мне зама». — «Найдем». — «Дай мне Игоря Кацнельсона». — «А от Валеры Филина ты откажешься?» — «Он не пойдет». — «Я его уговорю. Все же будет свой парень». «Нет уж, — усмехнулся Юшков. — Если б у тебя в баньке париться, тогда конечно. А так... Ты уж мне дай Игоря». «Игорь — теоретик. — Чеблаков пожал плечами. — Ему в НИИ место. Зачем он тебе?» — «Он больше десяти лет на производстве. Он будет приходить сюда по утрам первым и уходить последним». — «Смотри, старик, — неохотно сказал Чеблаков. — Тебе виднее. Если он тебе нужен — пробьём». — «Фу ты черт! — вдруг удивился Юшков. — До чего ж ты вовремя пришел. С тестем я бы не сладил. А с тобой у нас, может быть, и получится». — «Я всегда прихожу вовремя, старик», — сказал Чеблаков.

Кацнельсон был в отпуске. Жил он в однокомнатной квартирке у тещи, неподалеку от завода. Юшков хорошо знал и этот дом и тещу. Он у нее учился, а последние годы видел иногда у матери. Звали ее Надежда Ивановна. Она оказалась дома одна. Когда он понял, что попал в ловушку, было уже поздно. Надежда Ивановна принесла из кухни чай. На столе среди вороха тряпок стояла швейная машина, старинный ручной «Зингер». Юшкову пришлось торопливо снимать ее и сгребать тряпки, пока хозяйка ждала с горячей чашкой и вазочкой с вареньем в руках.

«...Лидию Макаровну встретила. У нее муж болен и сама она что-то сегодня...» Их было пять или шесть пенсионеров, все прежде работали вместе, у всех у них он учился. Звонили друг другу, бегали друг к другу, особенно к тем, кто жил без семьи. Всегда кто-нибудь из них болел, и всем хватало хлопот. Больше других доставалось матери как самой молодой и Надежде Ивановне, потому что ее Надюша работала врачом.

«...уже два часа, как Надюша должна быть дома. Игорь пошел к ней в клинику и тоже пропал, наверно, чинит там что-нибудь, теперь они бог знает когда могут заявиться, хорошо, я дома, Анечку из сада забрала, она уж последней осталась, плакала, и так каждый день, Юра, каждый день, как будто, кроме работы, у них нет других дел. Разве все теперь так? Еще чаю? Чтобы варенье доест, а? Нет, нет, обязательно, у нас не принято, чтобы пропадало. Игорь может две розеточки за ужином съест». — «Я пойду к ним в клинику». Юшкову удалось выбраться из-за стола. Он поставил машину на место. «Раз уж ты идешь, Юра, скажи Надюше, чтоб заглянула к Наталье Ильиничне, давление ей померила, это почти по пути. И к мужу Лидии Макаровны надо бы... Найдешь их там? Они, наверно, в гастроэнтерологии, это на третьем этаже...»

Кацнельсон в белом халате, с паяльником в руке сидел над каким-то прибором спиной к двери и не слышал, когда вошел Юшков. Тот окликнул его, Кацнельсон обернулся, не удивился. «Я сейчас. Уже кончаю». Юшков сел рядом. «Опять диссертацию кому-то делаешь?» — «Это они делают диссертацию. Я делаю прибор». — «По совместительству, что ли?» Кацнельсон не сразу понял, удивился такой мысли, хмыкнул, предложил: «Посоветуй вот, как туда паяльником добраться». — «Я в электронике не разбираюсь, — отмахнулся Юшков. — Кончай скорей, уже девятый час». — «Кончаю». Кацнельсон с сожалением отложил паяльник. Он увлекся. Поглядывая на прибор и все еще думая о нем, медленно стягивал халат, надевал пальто. Заглянула из коридора Надя. «Привет, Надя», — сказал Юшков. Она насторожилась: «Юра? С Аллой Александровной что-нибудь?» — «Пришел мужа твоего проведать». — «Я уж испугалась, — сказала она. — Иду, Игорь, иду. Только Поздееву во второй палате гляну». — «Поздееву?» — переспросил Юшков. Надя пожаловалась: «Такая тяжелая... Ждите меня внизу... Сумасшедший день сегодня». У нее было круглое детское лицо. На-



верно, больным оно не внушало доверия. «Каждый день у тебя сумасшедший», — проворчал Игорь.

«Сестер у них не хватает, — продолжал он ворчать, спускаясь с Юшковым по лестнице. — Так она должна за сестер тут сидеть. Есть же, в конце концов, дежурный врач...» — «А ты-то что сидишь? Механик по приборам тоже, наверно, есть». — «А куда мне деваться? Отпуск...» Больной в пижаме курил на лестничной клетке. Кацнельсон пригрозил: «Я вот расскажу Надежде Федоровне». Тот торопливо бросил окурок в урну. «Угостили. Я не курю...» Кацнельсон важно читал ему нотацию. Юшков спустился в темный вестибюль.

Из угла в угол ходил Поздеев. Узнал, хмуро кивнул и отвернулся. В руке у него был сверток. Юшков определил наметанным глазом: подарочный шоколадный набор. Вышла, шаркая тапочками, старая нянечка. Поздеев кинулся к ней. «Там у нее Надежда Федоровна, — сказала нянечка. — Сейчас спустится».

Юшков сел на стул около запертой двери. Из нее дуло, за стеклом в свете фонаря качались голые ветки. На освещенной площадке около лестницы застыл Поздеев. Появились Кацнельсон и больной в пижаме. Больной разговорился, хватая Кацнельсона за пуговицы пальто. Потом он ушел. Кацнельсон огляделся, не видя Юшкова в полумраке. Шагнул к двери, но тут его перехватил Поздеев, что-то зашептал. Кацнельсон рассердился: «С ума сошли?» — отстранил и тут увидел Юшкова. Подошел, сел рядом. «Посоветоваться со мной захотел, удобно ли сунуть Надьке конфеты». Он не понял, что рассмешило Юшкова. На лестнице послышался голос Нади. Выговаривала кому-то сердито. Поздеев нерешительно двинулся к ней. Шаркая разношерстными тапочками, брэнча ключами, нянечка подошла к двери, открыла. «Ей он точно сунул, — сказал Юшков. — Иначе она не пустила бы его в вестибюль так поздно».

Кацнельсон зябко вбирал голову в воротник. «Ты, между прочим, наверно, по делу?» — «Меня Саня Чеблаков послал, — схитрил Юшков. — Он теперь будет заместителем генерального директора и хочет, чтобы ты был моим заместителем». — «Саня хочет? Врешь». — «А если не вру?» — «Снабженцем я не пойду, — сказал Кацнельсон. — Пить с поставщиками у меня здоровья нет, заводить всюду своих людей нет обаяния». — «Если б мне нужен был человек для этого, — сказал Юшков, — я бы не к тебе пришел». Кацнельсон посмотрел внимательно: что-то в словах Юшкова было. «Один чужак назвал нас коробейниками, — сказал Юшков. — Старый российский промысел. А ты говоришь».

«Ребята, просто ужас, какой сумасшедший день. — Надя подхватила их сзади под руки. — Везут и везут, везут и везут, и все тяжелые». «Надежда Ивановна просила тебе сказать, — вспомнил Юшков, — чтобы вы к кому-то зашли». «К Наталье Ильиничне. — Надя вздохнула. — Игорь, я тебя сколько раз просила: сделай ей ключ. Сейчас приедем, будем звонить, стучать, а она из-за телевизора не услышит. И с кровати ей подниматься лишний раз...»

Они вышли на проспект. Шум машин на мокром асфальте заглушил отдаленный гул завода за их спинами. «Набегалась я сегодня. Давай проедем остановку на автобусе». «Погоди», — сказал Кацнельсон. Он вошел в булочную. «Как там Поздеева?» — спросил Юшков. Надя вздохнула: «Ужасное давление... Сын у нее хороший. Видел?» — «Видел». — «Она говорит, он очень много работает». — «Все мы много работаем», — сказал Юшков. Надя возразила: «Это вы-то? У нас по-настоящему работают только врачи и учителя».

Кацнельсон вернулся к ним с тремя бубликами в руке. «Вот мо-лодец, — похвалила Надя. — С утра не ела». Тут же откусила. Один бублик предназначался Юшкову. Есть ему не хотелось, но взял. «Предлагаю твоему мужу работу, а он отказывается, — сказал он. — Или лишние пятьдесят рублей вам помешают?» «Пятьдесят рублей?» —

изумилась Надя. Игорь рассердился: «Запрещенный прием, Юра». — «Я еще и не так буду, — пообещал Юшков, — но своего добьюсь. Ну ладно, ребята. Привет Лидии Макаровне». «Она тебя помнит, — сказала Надя. — Говорит, у тебя были математические способности». — «Были, да сплыли». — «Алле Александровне привет».

Подошел автобус, Надя и Игорь вскочили в него. Юшкову было неловко идти по улице с бубликом. Он втиснул его в карман мокрого плаща. Вдали огни проспекта сливались в зарево, там угадывалась гостиница. Нужно было бы пройти туда, свернуть влево на темную улочку, подняться на пятый этаж и посидеть с тестем. Должен же был тот с кем-нибудь отвести душу. Юшков решил, что время для этого уже позднее.

Через несколько дней Хохлов уволился. Он не захотел идти на приготовленное для него местечко. Бывший главный инженер, Светкин отец, взял его к себе в НИИ. Хохлов бодрился, говорил Юшкову: «Ничего, Юра, я там осмотрюсь и тебя перетяну, будем вместе науку двигать». Однако он похудел и постарел, сказались последние недели, и теща это понимала. Когда сидели в воскресенье всей семьей за столом, она, как обычно, посмеивалась: «Теперь вот будешь как человек приходить, пора уж и для себя пожить, пусть молодые себя покажут. Вот Бутову шестьдесят три, а он с пацанами в бассейн ходит».

### *Глава шестая*

Еще только рассветало. Морозная мгла, жесткая, как наждак, царапала щеки и горло. Над фонарями дальних литейных цехов начинало розоветь. В холодных пролетах огромного склада висели над головой, уходили под крышу, петляли там и снова спускались черные цепочки автомобильных шин. Они словно бы замерзли на неподвижном конвейере. Грузчики и кладовщики попрятались по теплым комнатушкам, обогревались перед сменой. Однако неподвижность и пустота на складе были обманчивыми. Тут все было в порядке. О шинах думать не приходилось.

Напротив заиндевели ребристые алюминиевые стены нового склада, а дальше на деревянных козлах вдоль железнодорожной ветки лежали серебристые тела дизелей. Юшкову не нужно было считать их, чтобы понять, что двигателей за ночь не прибавилось. Их оставалось на неполные сутки работы.

Лестница и коридор испятнались белыми следами: он затеял ремонт. Побелили потолки в кабинете Игоря. Дверь туда была распахнута, в пустой комнате Кацнельсон в пальто и шапке звонил по телефону. Аппарат стоял на полу возле стремянки. Юшков прислушался: все то же, двигатели. На эти дни Кацнельсон переселился к нему и, чтобы не занимать телефон, звонить бегал к себе. Он уже с утра наволок меловую дорожку между кабинетами.

У Юшкова сидели четверо, ждали оперативки. Следом за ним влетела Фаина.

На столе стояло сразу три перекидных календаря: один новый, семьдесят пятого года, второй, старый, был открыт на последней странице. Год кончался. Третий календарь притащил с собой Игорь.

Люди все подходили. Лениво болтали, сидя на стульях вдоль стен. Позвонили из Бобруйска, из сбита: их оштрафовали за резину, опоздавшую на двое суток. Юшков передал трубку заведующему сектором: разбирайся сам. Он на расстоянии слышал резкий женский голос в трубке: «Вы с ума там посходили?» Завсектором, высокий парень в джинсах, веско сказал: «Есть договор, надо его соблюдать». — «А наши поставщики соблюдают? Или вы думаете, мы резину из воздуха делаем?» — «Это меня не касается. Наказывайте и вы своих».

«Зарвешься, парень», — неожиданно сказала женщина. Он рассмеялся: «С наступающим вас Новым годом». Трубка запищала в его руках.

Фаина недовольно глянула: легко хорохориться, если у тебя недельный запас, а ей что делать, когда двигатели кончатся? Парень смотрел победно: это, мол, работа, не то что раньше — унижаться из-за каждого сальника. «Позови Игоря Львовича, — сказал ему Юшков. — Начинаем». Он услышал, как лысеющий завсектором электрооборудования сказал Фаине как бы шутливо: «Эх, хорошо бы проехаться куда-нибудь в Киржач через Москву или Ленинград, там уж меня и забыли, наверно. Посидеть в ресторане с мужичками, пошутить с бабóньками... Сидячая жизнь не по мне». — «А к Белану ты не хочешь проехаться?» — спросила Фаина. Завсектором электрооборудования ответил: «Это нам с тобой не грозит, мы начальники небольшие».

Вошел Чеблаков, стянул шапку-пирожок, потер уши. «С наступающим вас... Э, оперативка?» Словно не знал, что она всегда в десять. По заводу он ходил не в шикарной своей дубленке, а в скромном сером пальто с воротником под каракуль. Чувствовал стиль. Фаина поторопилась заверить: «Еще не начинали. Посидите с нами, Александр Павлович». Сегодняшний дефицит двигателей сделал ее льстивой.

Чеблаков сел на место Кацнельсона. Тот, появившись, остался стоять в дверях, чуть приоткрыв их: ждал звонка в своем кабинете. Увидел Чеблакова, вытаращил глаза: тот приехал с технической конференции, с того самого моторного завода, куда Кацнельсон пытался сейчас дозвониться. «Александр Павлович, что там на АМЗ?» — «Очень дяди на вас сердиты, — сказал Чеблаков. Он не собирался начинать разговор при подчиненных Юшкова, а теперь, начав, пробовал шутливый тон, чтобы не затеять при них спора. — Очень сердиты. Их там всех премии лишили. Угрожают. Может быть, пожалеть их немного? Все-таки плевать против ветра...» — «Как же пожалеть? — удивился Игорь. — Тут или штрафовать, или водку с ними пить! Или и то и другое вместе?» — «Ну уж, — сказал Чеблаков. — Там водку не пьют. А штрафовать проще всего. Гибче надо, ребята. В каждом конкретном случае надо так проявлять».

Игорь развел руками. Что Чеблакову объяснять. Тот и сам все понимает, и раз говорит так — значит, больше ему нечего сказать. Не просто было им остановить инерцию прежнего, но остановили, повернули, теперь маховик раскручивается в другую сторону, набирает скорость. Его не удержишь, даже если видишь, что неприятности приближаются.

Юшков рассердился. Не хватало еще, чтобы ему людей расхолаживали. Спросил прямо: «Ты посидишь у нас?» Чеблаков понял, поднялся: «Нет, я мимоходом заскочил». Вовсе не мимоходом. Предупреждал. Волновался. Ему первому достанется от директора, если из-за двигателей остановится конвейер. В кабинете Игоря затрещал междугородный звонок, и Чеблаков с Игорем вышли вместе.

Юшков начал оперативку, прислушиваясь к телефонному разговору за дверью. Связь была плохая, Кацнельсон кричал. Сглаживая впечатление от слов Чеблакова, Юшков повторил: «У нас только один путь — штрафовать поставщиков немилосердно за каждое нарушение договора. Не прощать ни суток опоздания. Они должны нас бояться».

Игорь медленно стягивал пальто и шарф, ожидая, пока все выйдут. «Не докричался. Новый год уже празднуют, что ли? Вроде бы, говорят, выслали двигатели». — «Кто говорит?» — «Не понял. Закажи еще раз по срочному начальника сбыта».

Новый начальник сбыта АМЗ боялся штрафов больше, чем другие поставщики. Когда его оштрафовали впервые, он позвонил Юшкову: «Совести у вас нет? И так стараемся для вас как не знаю для кого!» И вот он подводил.

Кацнельсон развернул на столе совещаний просторную, как простыня, таблицу на миллиметровке, карандашом отмечал на ней сегодняшние поступления. Юшков взялся за бумаги. Сверху лежало заявление. Увольнялся водитель Качан. Юшков велел секретарше вызвать его.

Тот и в морозы ходил в синенькой болоньевой курточке. Усаживаясь, распустил «молнию», и толстый шарф вылез из ворота. Качан конфузился. «Ты ж все время порядка хотел,— сказал Юшков.— Теперь как будто порядок. Так что ж ты?» «Вроде бы больше порядка.— Качан виновато улыбался.— Но это ведь разве порядок, с другой стороны?» — «А что не нравится? Новый начальник?» — «Та нет, у нас с Игорем Львовичем,— покосился Качан на Кацнельсона,— претензий друг к другу вроде нет. Он с человеком свое «я» не ставит...» «Так в чем же дело?» — спросил Юшков. Качан решил: «Раньше я в Бобруйск съезжу, так и леваки в оба конца будут и какую-нибудь десятку Витольдович выпишет, тоже на дороге не валяется. Меня назад на такси зовут. Теперь не то что раньше, но свое я там иметь буду». Юшков подписал заявление.

Соединили с АМЗ. Кацнельсон схватил вторую трубку. На этот раз у телефона оказался начальник сбыта: «Ну что вы там опять, товарищи? Мы же вам все дали». «Как все дали?! — Схватили, сминая, простыню из миллиметровки, считали, сверялись.— А сотня сверхплановых?» «Какие еще сверхплановые? — злорадно сказали на АМЗ.— Мало ли какие вы себе обязательства берете. Это мы не обязаны давать. Вы, товарищи, извините, совсем это самое. У нас тут в приемной сидят, ждут, понимаешь, а вы, извините, уж совсем... Сверхплановые...»

Юшков и Кацнельсон переглянулись. К концу года завод должен был дать сто сверхплановых машин. Они разослали всем поставщикам телеграммы об этом. Конечно, по договорам им не обязаны были давать сверх плана. Начальник сбыта теперь отыгрывался. «Дайте мне телефон секретаря парткома,— сказал Юшков.— Я передам ему ваши слова. Если вы считаете это необязательным для себя... Вы знаете, куда идет сто сверхплановых машин?» По тишине в трубке он понял: собеседник испугался. Уже другим тоном ответил: «Что ж я сделаю, если нету?.. Между прочим, кое-что мы вам вчера отгрузили, ловите там у себя». — «Быстро он разбаловался,— сказал Игорь.— Теперь его на испуг не возьмешь». — «Сбегай посчитай, сколько все же на заводе двигателей,— попросил Юшков.— Только бы до конца дня дотянуть, а там новые придут». Фаина тем временем звонила на железнодорожный узел, на сортировочную, искала отправленную платформу. В половине третьего Юшков отпустил ее домой: был короткий день.

Вернулся Кацнельсон: контролеры забраковали четырнадцать дизелей — где тонко, там и рвется. На вторую смену, если не придет что-нибудь по железной дороге, не хватит. Оставалось сидеть и ждать. Первая смена ушла, в отделе стало тихо. За морозным окном под ярким небом повис до самых крыш колючий туман. Из тонкой трубки, торчащей над вторым этажом, вырывался горячий пар, тут же оборачивался плотным, тугим, крученым облаком. Оно вытягивалось к востоку, белое на голубом. Юшков вытащил шахматы, но Кацнельсон отказался: не то настроение. Снова разложил таблицу, мудрил над ней, словно из разрисованных клеточек в результате его вычислений могли выскочить «живые» дизели.

Приоткрылась дверь — дед Мороз! Белая от инея борода, красный нос — ввалился Валера Филин: «Что вы? Я своих уже в двенадцать отпустил! Давайте собирайтесь!» Юшков усадил его за шахматы, но играть с ним было неинтересно: он разве что не поддавался, проигрыш его не беспокоил. «Слушай, старик, давно мы у заместителя генерального директора не парились. Махнуть бы туда с лыжами, а? Бросочек километров десять, а потом по-черному, из баньки да на

снег... Ты как?» — «А меня не приглашали», — сказал Юшков. Валера удивился: «С каких пор ты особое приглашение требуешь?» — «А тебя приглашали?» — «Был неопределенный разговор, что в принципе не худо бы... Мне кажется, ты, старик, что-то слишком щепетильный стал. Не к добру это. Я подумал, давно мы вместе не собирались».

Вошел Чеблаков. «Легко на помине, — сказал Валера. — Я говорю: Саня, давно мы в баньке не парились». Чеблаков сел к столу, брезгливо отодвинул табличку. Она раздражала его, и он старался на нее не смотреть. «Я сказал директору, что вторую смену мы можем сорвать». Замолчал. Валера ухмыльнулся: «Зря, Саня. Кто так делает? Может, еще обойдется, а ты уже гнев на себя навлек. Когда сорвешь смену, директор сам узнает». «Ты не работал с Дулевым, — сказал Чеблаков. — Ты его не знаешь. Два раза он ошибаться не дает». Он все ждал, что Юшков что-нибудь ему скажет. Не дождался, спросил: «Какие есть идеи, ребята?»

Юшков был готов к этому разговору: «Один раз, Саня, такое должно было случиться. Они заплатят нам за простой, останутся без штанов, но это их научит. Больше такого не будет». «Все это хорошо, — сказал Чеблаков, — но почему мы должны их учить? Что здесь, институт народного хозяйства? Чем они нам заплатят?» — «Советскими рублями». — «Да нам-то что эти рубли, если плана не будет?» На это нечего было ответить. Все, что они могли ему сказать, он сам наверняка говорил директору, выгораживая их. «Надо разобраться этот случай на коллегии министерства, — сказал Игорь. — Снять кого-нибудь с работы и разослать циркуляр по всем заводам, чтобы для всех была наука». Чеблаков странно посмотрел, поднялся: «Учить министров, как надо работать, — это мы умеем. Это, ребята, легче, чем работать самим. Еще эти ваши таблицы... Будут новости — звоните мне домой». Ушел, уведя с собой Валеру. В последнее время у него исчезло расщепление «старик». Вместо него появилось «ребята». «На что же он рассчитывал?» — удивился Игорь. Юшков сказал: «На нас с тобой». — «Знаешь, почему я пошел сюда из цеха?» Зазвонил телефон, он схватил трубку и, послушав, разочарованно передал ее Юшкову. «Юра, у тебя люди? — Наташа говорила торопливо, не давая ответить. — Говори только «да» или «нет». Никто не должен знать, что я тебе звонила. Валера был у тебя?.. Когда?.. Долго? Что он хотел? К Чеблаковым ехать? Почему? — Выяснила все и сказала: — Мне очень нужно с тобой поговорить. Я тебе позвоню. Но ты мне обещал: никому ни слова, что я звонила. Пока».

«...мне не так уж было плохо в цехе, — говорил Кацнельсон. — Но я понял, что начал загнивать. Человеку обязательно нужны в жизни перемены и риск. Можно, конечно, жить без них. Можно без многого прожить и не почувствовать, что чего-то не хватает. У человека сами собой отмирают желания». — «Так это хорошо, — усмехнулся Юшков. — Мечта всех мудрецов востока». — «Может быть, для йогов это хорошо. Онипадают в нирвану. А на Западе начинают горькую пить или заболевают каким-нибудь раком. В языке нет слова, обозначающего отсутствие желаний. Будь оно, мы, может быть, жили бы иначе. Всякими оговорками мы так усложнили себе работу принятия решений, что на нее уходит вся энергия. И не остается на то, чтобы желать. Мой брат рабочим пошел. А я не могу. Недавно показывали мне одну книжку. Там есть, так сказать, мыслишка: люди учились, мол, на врачей и адвокатов, потому что это легче, чем пахать землю и доить коров. Мерзкая книжка. Быть врачом не легче, чем крестьянином, и инженером не легче, чем рабочим. Просто есть разные натуры. Один, совершая изо дня в день одно и то же, может быть в гармонии с собой, а другому постоянно нужны новизна и риск. У каждого свой порог реактивности, свой оптимум раздражителей...»

Юшков был не в том настроении, чтобы следить за мыслью Игоря, который, как обычно, оторвался от сегодняшних забот, словно они

уже решились все, и решал какие-то одному ему видимые вопросы. Он позвонил дежурному по отделу: если двигатели все же придут сегодня, пусть звонят ему по такому-то телефону. «Собирайся, Игорь».

Было пять часов. Мороз ослабевал, но поднялся ветер. Труба над стальцежом розовела, а вокруг все было голубым — снег, тени, алюминевые стены нового склада, электровоз, который медленно выплывал из-под моста, вытягивая за собой платформу. Кацнельсон и Юшков остановились, пытаясь разглядеть, что на ней. Электровоз приблизился, задержался у стрелки, повернул, и они увидели двигатели. Бросились назад, к пульту, и через несколько минут загудели динамики, вызывая к платформе электрокары и грузовики. С платформы двигатели везли прямо на сборку.

Открыл дверь — крик, визг, Сашка и Таткина дочка очумело несутся из кухни в комнату, орет электрофон, Татка отплясывает с блюдом в руках, хохочет тесть, — встретил настороженные взгляды Ляли и матери, словно бы те ждали, вдруг не он войдет, а кто-то другой, угрожающий их веселью, и тут Сашка в заячьей маске бросился к нему, он подхватил сына, и мать заулыбалась, а Ляля фыркнула что-то приветливое, и он забыл про их взгляды, а потом, уже сидя за столом, отвечая тестю (тот кричал: «Юра, мы с тобой тут два мужика!.. Да, и Сашок, и Сашок, конечно же, и Сашок, три мужика! Юра, за женщин!» — тесть в последнее время считал обязательным быть бодрым и говорить громко), Юшков вспомнил те взгляды матери и Ляли и понял — и на мгновение нехорошо стало, — что они всматривались, какой он пришел: в настроении или же опять киснет...

Ему было хорошо. Слово бы воздух комнаты внезапно приобрел свойство передавать чувства, и они перетекали к нему от близких людей. Самыми мощными генераторами были дети, и он жил чувствами Сашки и его сестренки и нетерпеливо ждал вместе с ними подарков, волновался, пока развязывали мешок, и вот — визг, восторг, и он вместе со всеми заразился детским восторгом, и еще материнской растроганностью, и Таткиным весельем, и когда Ляля только взглянула на сестру, он уже наперед знал, что сейчас она поднимется и будет танцевать, расшалится, завертит бедрами, что-то изображая, как будто так все уже бывало с ней, хоть никогда так не было и не похоже на нее это было вовсе. Он угадывал наперед ее движения, словно бы он вдувал ей их. У нее блестяли глаза, а он чувствовал в своих горячее жжение, и как когда-то в студенческие годы Ляля удивила незнакомой красотой и необычностью, так теперь она удивляла сходством с той, привидевшейся однажды. В движениях необычные смелость и пластика появились, и тесть, гордый дочерью, заплясал рядом с ней. Он, тесть, много выпил, а Юшков был трезвым и свежим, как давно уже не был, и понимал теперь то, что пытался объяснить ему Игорь, когда толковал про желания, которые появляются, если человеку хорошо. Мать робко придвинулась к нему, дотронулась до его руки, и он чувствовал ее одиночество, чувствовал вокруг нее плотный прозрачный панцирь из мыслей, воспоминаний и чувств, который давил ее все последние годы, отделяя от людей, и преодолеть который она могла лишь с помощью других, сквозь этот панцирь прорубающихся к ней извне. Чувствуя вину перед ней за то, что никогда не помогал ей этим, он принимал ее жажду общения, как принимал сейчас все человеческие жажды и желания.

Он вспомнил, что должен позвонить Чеблакову, и, набирая номер, думал о друзьях, о странном звонке Наташи, вспомнил обрыв над озером и слова, что он философствует оттого, что лишен возможности жить активно, подумал растроганно: умная она все-таки девка и никого ей нет в этом проку. «С Новым годом! — крикнул он в трубку. — Разрешите доложить, товарищ начальник, что конвейер мы не держали!» — «Ты бы еще в семьдесят шестом году мне это сообщил, —

отозвался Чеблаков.— Семь часов назад платформа прибыла». Это показалось смешным. «Ничего, Саня! Хорошо, что хорошо кончается». «По-моему, все только начинается,— сказал Чеблаков.— Ну, тебе, Ляльке, тестю, всем — самые сердечные».

Январь прошел хорошо, начался февраль. Завод готовился к своему юбилею. Люди ждали наград, премий и новых квартир. Монетный двор изготовил специальные значки. Красились фасады корпусов. На предзаводской площади и над центральной проходной устанавливали яркие огромные панно и тянули гирлянды иллюминации. К юбилею приняли обязательство выпустить двести машин сверх плана.

Юшков запасся нужными письмами и поехал на АМЗ. Начальник сбыта, желчный, раздражительный капитан в отставке, которому по болезни пришлось уйти из армии, рад был случаю отыграться: «Штрафовать проще всего. Много ума не надо. Даже бланк претензии — и тот в типографии отпечатан, только распишись... А теперь что я могу вам сделать? Ничего не могу. Зря государственные деньги на проезд потратили, езжайте назад. И скажите вашему Дулеву, что у нас плановое хозяйство и я знать не хочу про ваши двести машин».

Юшков встречался с директором и секретарем парткома. Сочувствовали, кивали и показывали графики: «Вот наши возможности. У нас свои поставки. Постараемся, но обещать ничего не можем».

Вернувшись, он пошел к Чеблакову. У того только что закончилось совещание, вокруг стола толпились со срочными бумагами, входили и выходили люди. Юшков сел в дальнем углу, листал проспекты иностранных фирм. Наконец Чеблаков освободился. Выбрался из-за своего стола, сел рядом. «Ну, что привез?» Юшков рассказал. Ему показалось, что Чеблаков прячет глаза. «С двигателями, Юра, ладно...» — «То есть как ладно?!» — «Со сталью хуже. Черепановск опять не дает сорок-ха на поворотный кулак. Там сидит Тамара, но это пустой номер. Съезди. У тебя там контакт». Юшков не сразу нашелся. «Что же, выходит, все, что мы с тобой затевали, намарку? Опять с подарками?» — «А что бы ты делал на моем месте? Тридцать тысяч человек приняли обязательство, и вот я должен объявить, что мы это обязательство сорвем». — «С нами не советовались». — «Я тебе, Юра, никогда не отказывал. Мы с тобой должны держаться друг друга. Не будет меня — и у тебя ничего не получится». «А если я откажусь?» — спросил Юшков. Чеблаков потрогал красивые глянцевые листки. «Незаменимых людей нет, Юра. Мы с тобой оба заменимы. Может быть, это и есть идеальная организация — не зависеть от субъективных факторов? Крутится себе машина, нигде не скрипит, вроде бы хорошо. Незаменимых нет — это факт. Надо ехать».

Юшков пошел в отдел. Секретарша передала бумаги на подпись, сказала: «В четыре совещание у главного конструктора». Юшков спросил: «Где Игорь Львович?» — «На рессорном». Он прошел в кабинет, сел за стол. Вскоре появился Кацнельсон. Замерзший, в пальто и шапке. «К конструкторам пойдешь ты или я?» — «Иди ты», — сказал Юшков.

Игорь рассказывал: «Слышал, что на рессорном делается? Там новый директор. Слушай, интересно, откуда он? Буряк Петр Сергеевич... или Семенович. Не слыхал?» — «Бог с ним», — сказал Юшков. Игорь не останавливался: «Взялся за отдел снабжения. Я, говорит, слово «толкач» не понимаю и не объясняйте мне, все равно не пойму. Ему все же попытались объяснить. Тогда он снял трубку и директорам: «Мне вот докладывают, что к вам надо ехать с подарками». И начался детский крик на лужайке. Просто? Погоди, не отмахивайся. Я сейчас отсюда. Он половину своих снабженцев разогнал». — «Они-то в чем виноваты?» — «Ему нужны другие люди. С другой психологией». — «Бог с ним». Кацнельсон посмотрел на часы: «Бегу». «Кому-то и удаётся», — сказал Юшков. — За счет других. Потому что раз существует дефицит, то всегда кто-то останется с носом. Все не могут действовать, как

твой Буряк». «Зачем сразу думать о всех? — сказал Кацнельсон. — Для начала можно только о себе подумать».

Он терпеливо ждал, пока Кацнельсон уйдет, и говорил себе, что еще ничего не решил. Однако, когда остался один, лучше не стало. Позвонил Валера Филин, позвал обедать, и Юшков обрадовался, что можно еще не решать. Трепались о пустяках. По привычке, от которой трудно уже избавиться, Юшков подтрунивал над приятелем. Тот ухмылялся в бороду добродушнее обычного. Юшков начал догадываться, что на этот раз у Валеры есть какая-то цель. В конце обеда тот признался: «Санька мне место предлагает. Начальником отдела снабжения. Ты как?» Юшков скрыл удивление. «Что — как? Работаю же я начальником отдела». — «Да, но... черт его знает...» «С ума вы с Чеблаковым сошли, не справишься же», — хотел сказать Юшков и подумал: а почему, собственно, не справится? Валера не пропадет. Возьмет себе заместителя-трудягу, будет ездить по поставщикам, возить женщинам конфеты, щуриться и ухмыляться в бороду с мужиками за ресторанными столиками — и дело будет делаться, и всем будет с ним хорошо.

### Глава седьмая

Очередь у барьера администраторши чего-то ждала. Отогревались после автобуса. Расстегивали пальто, устраивались в креслах у телевизора. Деваться им все равно было некуда.

Вошла с улицы директриса. Стряхнула с шубки снег. Обвела всех взглядом, Юшкова не выделила. Пошла через холл к своему кабинету походкой школьной учительницы, проходящей между партами. Юшков выждал несколько минут и постучал в ее дверь. Она сразу его узнала: «Юрий Михайлович! Сколько же вы у нас не были! Года три?» — «Шесть». — «Ой-ой-ой!» Он сказал, что крем женьшеневый в этот раз не сумел достать, но вот кое-что из польской косметики: румяна, помада... Все было как тогда. Взяла его документы: «Посидите здесь, Юрий Михайлович, я все устрою». Устроила в номер с ванной и телефоном. Даже телевизор там стоял. Чтобы не встречаться лишней раз с очередью и не слышать ропота, Юшков позвонил администраторше по телефону и узнал, где остановилась Тамара.

Комната ее оказалась рядом. Тамара открыла и, увидев Юшкова, вытаращила глаза: «Вы откуда здесь?» Она стояла в халатике — выскочила прямо из постели. На двух других кроватях спали женщины. Юшков спросил: «Ты еще не вставала сегодня или уже легла?» Был седьмой час вечера. «А что еще здесь делать? — хмуро ответила Тамара. — Так меня что, отзывают?» В дверь тянуло сквозняком. Две женские головы приподнялись над подушками, повернулись к Юшкову. «Сначала ты мне все расскажи», — сказал он.

Они пошли в его номер. Нового Тамара ничего не рассказала. Она тут десять дней. Стали нет. Хром будут варить через две недели, и то неизвестно, кому он достанется. Юшков передал слова Чеблакова: если не отправят сталь через неделю — завод остановится. Тамара покачала головой: «Если б хоть варили, а то вообще не варят... Впрочем, вы-то, может, и достанете...» — «Ты к Борзунову ходила?» — «И к Борзунову и Ирине Сергеевне вашей надоедала — что я им? Тут и не такие, как я, ходят... Однако номер у вас — ополоуметь... Курить здесь нельзя?» — «Кури. — Юшков придвинул пепельницу. — И все десять дней, что ты здесь, хром не варили?» — «Я ж говорю. Значит, мне домой?» — «Не вдвоем же тут сидеть», — сказал Юшков. — «Да и тебе, наверно, надоело». — «Мне и дома надоело», — сказала она. — «Что ж, завтра утром полечу». — «И чем же ты тут занимаешься?» — «Спим целыми днями с девочками». На ее щеке еще не разошлись наспанные рубцы от подушки. Она выжидающе посматривала. Юшков спросил: «Ужинаешь в ресторане?» «Откуда? — сказала она. — Денег нет. Мы с де-



вочками в номере. У нас чайник. Хотите с нами?» «Пойдем в ресторан. Я приглашаю». «Ладно,— охотно согласилась Тамара.— Только девочек предупреджу».

Она переоделась и подкрасила губы. Он подумал, что у некрасивых людей все перемены ведут к худшему. Потому что приходится привыкать заново. Уж очень она была худая. Он спросил: «А девочки твои не идут с нами?» — «Что вы! Не так воспитаны», — хмыкнула Тамара. В холле по-прежнему томилась очередь. Кое-кто перекусывал, сидя на чемодане. «На ночь всем поставят раскладушки,— сказала Тамара.— С каждым годом все больше и больше приезжих». У дверей ресторана Юшков взял ее под руку.

Играла радиола. Шумели за столиками. Один столик оказался свободным. Тамара села спиной к залу. Это Юшкову понравилось. Они заказали салаты и шашлыки. «Тут мы с тобой познакомились,— вспомнил Юшков.— Хорошее было время». «Разве? — Тамара удивилась.— Не помню ничего хорошего. Всем почему-то прошлое хорошо». — «А тебе?» — «Мне нет... Я думала, вы поторопитесь звонить Ирине Сергеевне. Или уже звонили?» — «Нет, не звонил. Лучше я с тобой побуду». — «Ну-ну,— сказала она.— Ирину Сергеевну не узнаете». — «Поправилась?» — «Не то слово». — «Завидуешь небось», — безразлично сказал он, хоть и неприятно стало от ее слов.

Он высмотрел в зале знакомую худую фигуру. У эстрады боком к нему сидел бригадир Володя. Уже захмелел, но до роковой дозы, с которой начиналась его агрессивность, было далеко. Рыхлый блондин, собеседник Володи, рассказывал что-то, наваливался на стол, а Володя опустил острый подбородок на грудь и думал о своем или же ждал своей очереди рассказывать. Давняя неприязнь к нему проснулась в Юшкове.

Тамара поглядела через плечо, что его заинтересовало. «Кто это?» — «Что ж ты тут делала десять дней? Самого нужного человека не знаешь». — «Я ж сказала: спала. Почему вы так интересуетесь, что я тут делала?» — «Потому что ты пробыла десять дней, а мне осталась неделя». — «Вы-то при чем? Какое отношение отдел кооперации имеет к Черепановску?» Заказ все не несли. Юшков открыл воду, налил в бокалы. Тамара вспомнила: «Содвиньте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». Это была песня Белана. «Ему дали десять лет,— сказал Юшков.— Ты в курсе?» — «Нет». Ничего не появилось на ее лице, только плотнее сжался рот и резче обозначились скулы. «Он хотел жениться на тебе». Она ждала продолжения. «Помнишь, на даче? Он сам не свой был. Говорил, что женится, если ты согласишься». — «Конечно,— сказала она.— Если у него что не получалось, он всегда на стенку лез». — «Он тебе не предлагал?» — «Жениться? Нет, как-то удержался». — «А если бы предложил?» — «Юрий Михайлович,— сказала Тамара.— Что мы все обо мне да обо мне? Со мной все ясно». — «Мне кажется, если бы ты захотела, ты бы могла выйти за него замуж». — «Как же я могла бы, когда у него есть жена?» — «Он же развелся». Она странно посмотрела, замолчала.

Принесли салаты и водку. Тамара выпила одним духом, потянулась к сумочке. «Тут курить нельзя», — предупредил Юшков. Она сказала: «Если б я очень хотела, я как-нибудь устроила бы свою судьбу». «Конечно,— поторопился кивнуть Юшков.— Куда тебе спешить».

Володя смотрел на него, сияясь вспомнить. Узнал. Опустил голову на грудь, решая, заметить или не заметить. Решил заметить. Поднялся, шатаясь, пошел между столиками: «Юра? Юра, друг...» Тряс руку. Сел рядом. «Юра, скажи, что тебе надо. Володя все для тебя сделает. Помнишь, как мы... — Он явно не знал сам, что надо помнить, но ему казалось, что помнить есть что. — Анекдот про апельсины, помнишь, ты мне рассказывал?» «Отличный анекдот», — улыбаясь, кивнул Юшков. Никогда он не рассказывал Володе анекдоты. Тот путал его с кем-то. «Отличный, Юра, анекдот». — «Выпей с нами». Юшков поискал гла-

зами официантку, чтобы заказать для Володи. Тот прижал руку к впадой груди: «Извини, Юра. Не могу. Полная кондиция. Будет перебор. Не могу». — «Обижаете». — «Я? Тебя? Юра! Если что надо...» Поднялся, пятился. Блондин за его столиком ревниво поглядывал. Володя вернулся к нему.

«Старый друг», — усмехнувшись, объяснил Юшков Тамаре. Она поникла отчего-то. «Как мне это все надоело, Юрий Михайлович». Он удивился, что она не ждет продолжения о Белане. Неужели и для нее тот перестал существовать? Спросил: «Что тебе надоело?» — «Все. Смертельно». — «Ребенка заведи». — «Не заводится, — усмехнулась сердито. — Я могла выйти за Толю. Но у него ж сын маленький! А выйти за него было — раз плюнуть! Он самолюбивый! Поэтому и меня добивался. Я таких не люблю... Вы, между прочим, такой же, как он. Живете только для самолюбия». — «Значит, и меня ты не любишь?» — «Не люблю», — сказала она просто. А ему-то казалось, что-то было. И Наташа так думала. «Раньше вы мне нравились», — сказала Тамара. — А потом я вас поняла... А может, вы изменились». «Может быть, — сказал он. — Я не заспиртованный». Тамара смотрела в глаза, а слов его не слышала. «Я вам признаюсь. Борзунов дал мне сталь. Один вагон. Я его отдала». — «Как отдала?!» — не понял Юшков. Она посмотрела. «Только вы меня не выдавайте. А впрочем, как хотите. Ну их к черту. Так получилось. Девочке одной отдала. Она вчера уехала. Ей очень нужно было». «Ну-у, — протянул Юшков, — ты сама себя переплюнула. Такое я впервые слышу. Что это, твоя собственная сталь?» — «Я вас очень подвела, да?» — «Может, и подвела», — «Хорошая такая девчонка оказалась. И чуть не спуталась с подонком. Ей нельзя было тут оставаться».

Принесли шашлыки. «Ладно, — сказал Юшков. — Что было, то было. Забудем об этом». Подумал: не такой уж он самолюбивый, насколько не сердится на нее за все ее признания. Не более самолюбивый, чем она. «Заказать еще что-нибудь?» «Нет», — сказала она. Он тянул время. Выйдут они из ресторана, что ему делать? И ей, видимо, осточертело убивать время с «девочками», с ним все же было веселее. Они потанцевали, вернулись за столик, заказали вино. Она раскраснелась. «Вы не сердитесь на меня? Я вам лишнего наговорила. Не про сталь...» — «Что ж сердиться, ты права». — «А почему вы женились на дочке Хохлова?» — «Не потому, что она его дочь». — «Честно?» — «Слушай, — сказал он. — Я ведь, в конце концов, умею обижаться». — «Вы любите жену?» — «Ну, знаешь, ты... Да».

Тамара посмотрела недоверчиво. «Неужели она права?» — подумал он. Хорошо хоть промолчала. Теперь она села так, чтобы видеть танцующих. Глаза ожили, заблестели, часто останавливались на нем. «Хочешь танцевать?» — спросил Юшков. Обрадованно кивнула: «Ужасно люблю танцевать». Он позавидовал. Для него ценным бывало лишь то, что каким-нибудь образом обеспечивало будущее, а ей хватало минутного, в сущности — чепухи. «Потанцуем?» Их столик был у самого окна. На стеклах намерз лед, свисал на раму сосульками. За ним слегка подсвечивала темноту красная неоновая вывеска «Металлург».

Когда вышли из ресторана, очередь к администраторше исчезла. В креслах перед телевизором сидели несколько человек. Две женщины воровато разглядывали Юшкова. Это были «девочки» Тамары. Одна в тусклой красной кофте, краснолицая, некрасивая и немолодая, а другая лет тридцати, в белом платочке поверх теплового платья. Спокойное ее лицо понравилось Юшкову. Тамара под села к ней на краешек кресла, а Юшков ушел спать. Прошлую ночь он не спал и потому заснул сразу.

Тамара сказала правду: Ирина Сергеевна располнела, лицо стало одутловатым и казалось незнакомым. «Вот неожиданность! — сказала

она.— Юра, откуда вы?» Юшков рассказал, за чем приехал. По его рассказу вышло, что он решил воспользоваться случаем, чтобы повидаться. «Вы совсем не изменились, Юра. А я ужасно»,— жалобно сказала Ирина Сергеевна и взглянула: а вдруг Юшкову так не показалось, вдруг не ужасно? Он солгал: «Вам идет».— «Ох, что вы,— вздохнула она.— Это у меня после родов. У меня сын родился, да».— «Поздравляю,— проямил Юшков.— Сколько ему?»— «Год уже».— «Поздравляю». Он не решился продолжать вопросы, боялся попасть впросак. Ирина Сергеевна поторопилась заговорить о деле: хром должны варить через две недели. «Это для меня гибель»,— сказал Юшков. Ирина Сергеевна посочувствовала, подумала и решила: «Знаете что? Пойдемте к Борзунову». В коридоре Юшков спросил о сыне. Она оживилась, увлеклась рассказом, какой у нее забавный малыш, и обоим стало легче друг с другом, оба успокоились оттого, что прошлое ничего не потребовало от них, что хорошо вот так рассказывать друг другу о семейных заботах.

Борзунов обрадовался Юшкову. Неудовлетворенное и опасное, проглядывающее на его лице, вначале мешало поверить в его радость, но через несколько минут уже не замечалось. Он усадил Юшкова, вспомнил о вечере в «Туристе», загрустил от воспоминаний, расспрашивал о Белане. Ирина Сергеевна осудила Белана: «Сколько человек ни имеет, все ему мало». «Да,— согласился Борзунов.— Жадность губит людей. Иногда подумаешь: ну что нам всем не хватает? Жить бы и жить...» За годы работы у него и Ирины Сергеевны выработалась общая философия: все есть, жить бы и жить, а люди все чего-то хотят, и в этом корень всех бед. Судьба Белана как-то касалась их — как возможный вариант их судеб. Оба чувствовали удовлетворение оттого, что их вариант выиграл у варианта Белана.

Юшкову оба хотели помочь. Развернули график, прикидывали так и эдак. «Когда тебе надо?»— переспросил Борзунов. Юшков на всякий случай оставил в запасе день. «Через шесть дней, не позднее». Посмотрели по календарю, решили: «Будем варить через четыре дня». Борзунов спросил про Хохлова, узнал, что того сняли, и снова порадовался: еще у одного варианта выиграл. «Кстати, Михалыч,— вспомнил он,— что там у вас за Буряк такой объявился на рессорном? Слышал о таком?» «Слышал кое-что»,— сказал Юшков. Ему второй раз говорили о Буряке, и почему-то это опять было ему неприятно. «Серьезный дядька,— сказал Борзунов.— Ты, Ириша, поосторожней с заказами рессорного. С ним лучше не связываться». Юшков проводил Ирину Сергеевну до отдела. Теперь, когда она стала ему не нужна, она еще больше робела. «Надо посмотреть твоего малыша»,— сказал он. Обрадовалась: «Обязательно, Юра! Позвони мне в эти дни, ладно?»— «Значит, дома у тебя все в порядке?»— спросил он. «Ах, Юра... Я, наверно, привыкла». Он видел: все у нее в порядке.

Не то снег, не то замерзающий дождь летел навстречу вдоль улиц. Два дня назад здесь была оттепель, ноги скользили по наледям. Администраторша вместе с ключом вручила телеграмму: «Немедленно звони заводскому или домой Чеблаков». Он тут же заказал заводской номер.

«Старик, дело такое! — закричал Чеблаков.— Ты слышишь меня? Как у тебя там? Порядок? Дело такое: подводят нас на АМЗ! Закругляйся и прямо из Черепановска давай туда! Двести дизелей хоть кровь из носу! Деньги нужны—вышлю туда телеграфом!»—«Погоди,— сказал Юшков, собираясь с мыслями. Он понимал, что спорить сейчас бесполезно.— Кацнельсон в курсе?»— «При чем здесь Игорь?— запнувшись, сказал Чеблаков.— Ехать надо тебе... Ну, если хочешь, звони ему, попробуй уговорить, меня он, честно скажу, не слушает! Старик, пойми, я бы не звонил без крайности! Вернешься — обсудим! К старому возврата все равно нет!»— «До следующего юбилея? Да как же я их уговорю на АМЗ? Только пообещав, что никогда больше су-

даться не будем». — «Старик, повторяю, я бы не звонил без крайности! Будь здоров!» Юшков продолжал держать трубку. «Гостиница! — окликнула телефонистка. — Разговор кончен?» — «Подождите». Он диктовал ей номер Кацнельсона.

Его дали сразу. «Я знаю, — сказал Игорь. — Мне говорил Чеблаков. Я не сумею. Никогда этим не занимался». — «Когда-то надо начинать». — «Юра, — сказал Игорь. — Извини, пожалуйста. Я не поеду». — «Черт возьми! — Юшков усмехнулся. — При чем тут извинения? Ты обязан ехать. Это твоя работа». — «Я не поеду». — «Странный разговор». — «Если нужно, я напишу заявление». — «Извинения, заявления... Что мне с твоего заявления? — Он понял, что Игоря не переубедишь. — Черт с тобой. Пока!»

У себя в номере он постоял у окна. Оно выходило на бульвар. Напротив были почта и магазин. Через четыре дня будут варить сталь. Потом прокатают ее на блюминге, нарубят, и Володя погрузит ее в вагоны. Шесть дней. И неизвестно было, чем эти шесть дней занять. Он вышел в коридор, постучал в номер Тамары. Открыла одна из «девочек», молодая, в белом пуховом платке. Она собиралась уходить. Сказала, что Тамара выписалась и уехала. Лицо женщины опять показалось приятным. Нижняя губа чуть-чуть оттопыривалась, как у детей. Он подумал, что женщина эта, наверно, избалована в детстве, росла в спокойной интеллигентной семье — заласканный ребенок, которому хорошо только дома. Поэтому у нее такое лицо, спокойное и робкое одновременно.

Он пообедал в ресторане, лег в номере на кровать и проспал до вечера. Проснулся в темноте. От окна тянуло холодом, а он был в испарине и давило сердце. Наверно, заснул в неудобной позе и мешала одежда или, может быть, уже и началось с сердцем что-нибудь. Привиделись какие-то кошмары, будто случилась непоправимая беда, как в романе, прочитанном в детстве: полетела вниз кровать, полетел и он вместе с ней, как в кабинке лифта, и очутился в темном подземелье в железной маске. Он осознал, что лежит в брюках и смятой, пропотевшей под мышками рубашке, а кровать его стоит неподвижно в номере, но ощущение жуткой ошибки осталось, будто он должен был быть не здесь и нельзя, недопустимо было оказаться ему здесь, и если не железная маска, то что-то иное давит на лицо, меняя его как ускорение реактивного самолета искажает лица летчиков.

Ну, не поедет он, подумал он, поедет Саня. «Не в последний раз с вами встречаемся, нам ссориться нельзя, ребята мои перегнули палку, но впредь...» И все пойдет по-прежнему, будто и не было этой зимы...

Заявление написать проще всего. Устроиться на спокойное местечко, кинуть... Вечерами развлекаешься тем, что чинишь приборы в клинике у Надьки, философствуешь: «В языке нет слова, означающего отсутствие желаний...» А требуют такие вот, без желаний, всегда больше, чем другие... Когда ждал он в пустой аудитории, поглядывал на дверь и вошел Шумский: «Вы же не пойдете лаборантом», — до чего ж тогда легко было!.. Он поедет на АМЗ, за двести дивизелей откажется от всех претензий, но это будет последняя его уступка, и больше он никогда...

Но он уже не верил себе и знал, что, согласившись теперь, будет соглашаться еще и еще.

Мысль снова возвращалась к Игорю, не помогала ирония. «Уж не завидую ли я ему?» — подумал он и рассердился на себя. В конце концов, он никому ничего не обещал и никого не обманывает. Лучше честно сказать себе, что способен на многое, чем выбирать не по силам и потом уйти налегке. Конечно, это большое удовольствие — быть выше обстоятельств. Но он в праведники не набивался.

Он дотянулся до выключателя, зажег лампу. Сел в кровати. Его ждут на заводе со сталью и двигателями. Никого так не ждут, как его. И он привезет все. Эх, полным-полна коробочка, есть и ситец и парча...

Умылся, переменял рубашку и вышел из номера. Когда он проходил мимо комнаты, из которой уехала Тамара, дверь открылась, вышла из нее пожилая краснощекая женщина и заперла за собой. В холле сидели перед телевизором люди. Краснолицая женщина села в свободное кресло. Ее молодой соседки не было. Юшков пожалел об этом: она понравилась, можно было бы поговорить с ней, да если и не подойти и не заговорить, все равно, когда есть поблизости женщина, на которую приятно смотреть, жить еще можно. Он подумал, не в ресторане ли она, но и там ее не оказалось. Видимо, и она уехала.

В ресторане за его столиком два командированных, оба приземистые, мешковатые, стеснительные, похожие друг на друга, потихоньку налаживали дружбу. Разговор, как водится при случайном знакомстве, шел об окладах и ценах, о мясе и урожаях, и в частых паузах то один, то другой, пытаясь выгладеть разбитным и видавшим виды, подмигивая, подливал в рюмки. Короткие, неповоротливые шеи быстро багровели, глаза начинали блеснуть, на лбах выступал пот, и мужики освобождались от скованности, пытались втянуть в разговор Юшкова. Он не стал пить с ними. Вернулся в номер и смотрел там телевизор, пока не кончилась программа.

Утром Юшков спустился в холл, не зная, что будет делать. В коридоре гудел пылесос. В креслах перед выключенным телевизором сидели несколько человек, один из них, бритоголовый, был в пижаме. Зазвонил на столике телефон, кто-то поднял трубку, послушал и крикнул: «Нижний Тагил! Кто заказывал Нижний Тагил?» Юшков вздрогнул: неужели его нижнетагилец здесь? Но трубку взял бритоголовый в пижаме. Юшков дождался, пока тот поговорил, и спросил: «А где Василий Григорьевич, который раньше сюда ездил?» Бритоголовый не знал никакого Василия Григорьевича, спросил фамилию, а фамилию Юшков не помнил. «Невысокий, лохматый, большой красный нос... ну, очень большой нос». Бритоголовый тут же сообразил: «Кантин. Ну конечно.— И посуровел, как подошло случаю:— Он умер. С сердцем что-то было. Год, по-моему, тому... Или нет, два». Директриса прошла мимо в мокрой от стаявшего снега шубке, распахивая ее на ходу. «Как вам номер, Юрий Михайлович? Угодила я вам?» Он поблагодарил и поспешил вверх, чтобы она не затеяла разговора. На лестнице столкнулся с молодой «девочкой» Тамары. Она была в пальто, пуховый платок завязала вокруг головы. Юшков обрадовался: «А я думал, вы уехали». — «Нет», — простодушно ответила она и покраснела. В платке ее лицо показалось совсем детским. Из-за оттопыренной нижней губы. Юшков сказал: «Вчера вечером вас здесь не было» — и она все так же простодушно стала объяснять, где она была вечером: у нее тут отец и мать живут неподалеку, ездила к ним.

Она подождала, пока Юшков сбегал в номер за пальто. Все тот же мокрый снег летел навстречу, ветер задувал за ворот и рукава, шли, подставляя ему лбы. Женщину звали Сашей. Приехала она из-под Воркуты, там работала в НИИ техником и никогда не занималась снабжением, но вот понадобилась для чего-то сталь, а тут ее родители, отец на комбинате работает, и согласилась поехать, чтобы повидеться со своими. Сталь отец для нее достанет, он даже к директору ходил, с директором он работал в молодости на одной печи.

Все оказалось не таким, как представлял Юшков. Никакой не было чистенькой квартирki в Ленинграде или Москве, не было девочки с оттопыренной губкой и нотной папкой на шнурке, которую мама водила за ручку в музыкальную школу, как водила Алла Александровна своего сына, не было оранжерейного одиночества воспитанного ребенка, сторонащегося разбитных одноклассников. На Саше в детстве были огород и восемь соток картошки, кабан в сарайчике и три младших брата. В девятнадцать она вышла замуж за Сережу, сразу пошли дети. Илюше ее уже десять, Танечке семь и всегда болеет, а Альбине два года, еще ходить не начала и почему-то не говорит, но врач ска-

зал, что немой она не будет. Сережа — шофер, работает много, иной раз по пятьсот в аванс приносит, и ей тоже идут северные, но, наверно, хозяйка она плохая, деньги не держатся... Все это Юшков узнал, пока шли они к стальной калитке с белой трафареткой «Посторонним вход воспрещен». Он откатил ее, и они с Сашей оказались в отделочном цехе, в серебряном свете, где сизые стальные штанги двигались бесконечной чередой по стальным роликам, как сплотки бревен по холодной, осенней воде. Мимо вагонов, посматривая на связки металла, плывущие над головой, они прошли к конторке Володи.

Там уже был Сашин отец, маленький, сморщенный, в распахнутой телогрейке и валенках. Он потрясал перед Володей бумагой, слясь вразумить человека, который не хотел понимать очевидное: «Директор тебе не указ? Свою власть тут показываешь? Кто тебе указ, если директор не указ? — Увидел дочь и совсем разошелся. — Дай сюда телефон, я ему позвоню, он сам тебе скажет!» «Некогда мне с директором разговаривать», — буркнул Володя. Сняв трубку, он вызвал железнодорожную станцию, кричал про порожняк, двухосные и четырехосные и, бросив трубку, вышел из конторки, зашагал мимо Юшкова к вагонам.

Саша обеспокоилась: не вышло? Отец ее делился с Юшковым: что за люди, директор сам дал команду, сам звонил, а они... Юшков объяснил: идти с бумагами следует не сюда, к Володе, а в производственный отдел к Борзунову, тот даст указание Ирине Сергеевне или Полине Андреевне, они — начальнику цеха, тот дальше, пока не дойдет до Володи. Сашин отец притих. Он-то думал, что, побывав у директора, все сделал, а оказалось — столько еще начальства. А он в первой смене, отпросился у мастера сбежать на минуту...

Они пошли к Борзунову втроем. Тот взглянул на бумаги и как будто обрадовался им: «Куда ж вы делись, я вас ждал, Семен Захарович звонил мне, сейчас хрома нет, но через шесть дней будет, это такой пустяк, стоило ли ради этого беспокоить Семена Захаровича...» «Дак я думал... дак ведь не знал...» — оправдывался Сашин отец и виновато переминался с ноги на ногу, тербил в руках ушанку.

Саша и Юшков пообедали в привокзальной столовой. Саша волновалась, не обманет ли Борзунов: «Я ничего не понимаю в этом». Она уже потеряла веру в отца и надеялась теперь только на Юшкова.

«Почему вы в гостинице, а не у родителей?» — спросил он. «Куда мне там! Брат с женой, дочка их», — начала она перечислять и рассказывала, как болеет жена брата, и как устает мать, и как там тесно и трудно, и как она расстраивается из-за всего этого и, побывав у родителей, всегда возвращается в гостиницу в плохом настроении, а Юшков думал: простуды, усталость — разве из-за этого расстраиваются? Рассказы Саши быстро прискучили ему, особенно надоел Сережа, который умел подбирать на аккордеоне любую мелодию, мог бы стать инженером, если бы захотел, и был на базе членом месткома. Они с Сашей вернулись в гостиницу, и, прежде чем заснуть, Юшков отметил, что подня прошло, осталось три с половиной, а там пойдет сталь и у него будет дело. С Сашей он сходит в кино и потанцует в ресторане и все, потому что при всей неприязни к музыкальному Сереже он не сможет быть непочтительным с матерью троих детей.

Он увидел Сашу после ужина. Она смотрела в холле телевизор, и снова, как в первый вечер, показалось, что сидит заласканный ребенок, которому холодно и страшновато среди незнакомых людей, и, чтобы его не трогали, старается выглядеть независимым и смелым. Юшков подошел к ней. Саша покраснела. Соседка ее в тускло-красной кофте навострила уши. Юшков предложил пойти в кино. Саша сказала: «Пойдемте».

Они не успели на последний сеанс и гуляли по улицам. Юшков никогда не гулял по улицам и чувствовал себя неловко. Саша рассказывала про детей и Сережу, все ее воспоминания были связаны с дет-

скими болезнями, а Юшков недоумевал, зачем он пошел с ней, и думал, что Саша в пальто и платке, разговаривающая с ним,— это один человек, а Саша, сидящая в холле,— другой, и тут уж ничего не поделаешь, ему нравится одна и скучна другая, а поменять их местами невозможно. Он пытался шутить, но быстро оставил это: юмор Саша не воспринимала. Наконец она заметила, что он молчит, и тоже замолчала. Они дошли до городского парка и повернули назад. Идти молча было совсем неловко. Саша заговорила о своей младшей, Альбине, все про ту же немоту, и Юшков, успокаивая, вспомнил, что у его Сашки было так же. Помолчав, Саша спросила: «А ваш сын с вами живет или с женой?» — «Мы все вместе живем», — ответил Юшков, недоумевая, отчего она предположила иное.

Весь следующий день он провел в номере. Нужно было позвонить Ирине Сергеевне, и не мог заставить себя. Встретаться с Сашей тоже не хотелось. Все же вечером он спустился в холл. Саша смотрела телевизор, и он заговорил с ней. Она отвечала холодно. Он понимал, что холодность ее намеренная, и понимал, откуда она. Предложил пойти куда-нибудь. Саша покачала головой и сказала почти торжественно: «Нам не нужно больше встречаться». Он спросил: «Почему?» — «Потому что зачем вам это нужно?» — Саша внимательно посмотрела. — «К чему это?» — «Так ведь интереснее, чем сидеть перед телевизором». — «Нет», — снова замотала она головой. «Жаль», — сказал Юшков и ушел. Ему и вправду стало досадно. Кроме того, ему предпочли телевизор, — это уж было слишком. Сидел у себя в номере, смотрел подряд все передачи и злился на Сашу.

Он удивился, увидев ее утром в холле. Она ждала его. Поднялась, храбро улыбаясь. Покраснела. «Вы идете сегодня на комбинат?.. Я хотела с вами пойти...» Улыбка стала жалкой, поскольку Юшков молчал, не помогал ей. А у него злое любопытство было: из-за чего она унижается? Сталь ей нужна? Отомстив ей за вчерашнее долгим молчанием, он спросил: «А что вам нужно на комбинате?» — «Я не знаю, — сказала она. — Что-то же нужно делать». — «Ничего не нужно делать. Ждите».

Он шел завтракать, и она попросила подождать, убежала к себе и вернулась в пальто и платке. Завтракали они около вокзала. «Вы вчера так неожиданно пригласили меня... Вы не сердитесь? — Она видела, что он отчужден. — Я вам потом объясню... Я не могу относиться к этому так, как вы...» — «К чему относиться?» — «Я потом объясню...» Он не спросил, когда это — потом. Она сама заговорила: «Невестка моя как-то пошла в кино с одноклассником. Брат ничего такого и не видел, а папа так рассердился... Такую женщину, говорит, повесить надо... Я не могу с этим не считаться...»

Они вернулись в гостиницу. Поколебавшись, Саша вошла в номер Юшкова. Потом она, расстегнув пальто, сидела в кресле, а он целовал ее, гладил волосы, и снова целовал, и говорил, что любит, и высовывал от рукавов пальто ее руки, обнимал, а она время от времени говорила: «Ужас, что я вам позволяю.. Ох, до чего мы дошли... — Потом вырвалась и сказала решительно: — Я сейчас же от вас уйду». Он уговорил ее сесть. «А вы сядьте на кровать», — приказала она.

Он сидел и думал, что же ей надо и почему она не уходит. Наконец она заговорила. В голосе появилась назидательность: «Я вот у мужа всегда спрашиваю. Он вот говорит, люблю. А я говорю: за что? Если любишь, ты же можешь объяснить, за что. Я ведь всегда могу объяснить!» Ждала ответа. Юшкову не хотелось смеяться. Он одно лишь отметил: она уже не произносит «Сережа», только «муж». Спросил: «Ну и что он отвечает?» — «Он говорит, я не могу объяснить». — «Мне плохо без вас», — сказал Юшков. «Вы вчера днем что делали?» — спросила Саша. Вчера днем он лежал на кровати и никого

не хотел видеть. Наверно, в это время она ждала его, была уверена, что он будет ее искать, и его отсутствие показалось ей чуть ли не предательством. «Не помню»,— сказал он. Она сказала: «Вы вчера показались мне таким равнодушным...»

Вот отчего она решила войти к нему. Надела пальто, поправила волосы, подошла к двери и прислушалась. Постояла, собираясь с духом, возвращая на лицо выражение холодной отстраненности, то единственное, которое Юшкову нравилось в ней. Решилась, повернула ручку и осторожно вышла в пустой коридор.

Юшков лег на кровать, обдумывая, не вел ли он себя слишком глупо и не выглядел ли смешно. Успокоив себя на этот счет, он стал думать о Саше. Думалось о ней с улыбкой и тепло.

Перед обедом постучали в дверь, и не успел Юшков ответить и спустить ноги с кровати, как вошла Саша. Села в кресло. Теревила на груди концы пухового платка. «Мы с девочками собираемся сегодня в кино, я зашла вас пригласить. Вот... На восемь часов». Юшков согласился, а она не торопилась уходить. Она больше не называла мужа по имени. В кино они никогда не ходят — он говорит, зачем же телевизор покупали, если в кино ходить. Приезжали к ним артисты, тоже не пошла — болел Илюша. Предложили как-то путевку в Крым, уже и купальник купила, так тут Танька заболела. «Он из троих только Таньку любит». — «Пьет?» — спросил Юшков. Саша подумала, ответила: «Нет, он не пьет. Не больше других. Ему совсем нельзя пить». — «Болеет?» — «Ну что вы, он очень здоровый!» Перед ним сидел ребенок. Именно та девочка, которую он увидел впервые в холле, когда они с Тamarой подошли к ней. Трое детей, тридцать лет — это ничего не значило. Тридцать лет заполнились возней с детьми. Сначала с братьями, потом с сыном и дочерьми. Кроме этого, у нее ничего не было.

«...он жадный. Я, говорит, столько приношу, куда ты все девашь? Конечно, у нас есть немного на книжке... Однажды я поехала в Воркуту, попросила снять двести пятьдесят рублей, пальто мне надо было и сапоги. Ничего не достала, и... не знаю, может, вытащили, может, выронила в автобусе... Прихожу, а он... Ты, говорит, их прогуляла... и...» Замолчала.

Глаза были сухими. Их высушил давний гнев, которому она не позволяла никогда завладеть собой, не давала ходу, и вот спустя годы он вырвался наружу. Она смотрела мимо Юшкова в стену, где над кроватью висел под стеклом эстамп, березки и речка под облачным небом. «...мама и папа не знают ничего, я им не рассказывала... И еще раз было...» Юшков гладил ее руки. Они были красные, с короткими пальцами, с очень маленькими некрасивыми ногтями. Саша спохватилась: «У него есть и другие качества: когда я болею, он меня жалеет. А я, когда он болеет, всегда злюсь: тут эти трое, так еще он». — «Сил не хватает»,— сказал Юшков. Она кивнула: «Да, наверно». Помолчали. «Все в жизни бывает»,— сказал Юшков. Саша кивнула. Что-то еще хотела рассказать и раздумала. Виногато посмотрела: наскучила ему? «А ваша жена... кем работает?» — «Она инженер»,— сказал Юшков. «Я пойду»,— сказала Саша, высвобождая руки, уязвленная тем его семейным благополучием, которое представилось ей. И вдруг вздохнула, махнула безнадежно рукой: «Я теперь буду вас сравнивать...»

Ей нужно было к родителям, и она ушла, оставив у Юшкова смутное чувство, что он вел себя не так предприимчиво, как надо бы мужчине под сорок лет. В ресторане он сел за свободный столик. Крупная блондинка села напротив, все пыталась завязать разговор: то в меню ей что-то непонятно было, то интересовалась, долго ли тут принято ждать заказанное. С ней было бы просто поладить, и Юшков упрекал себя в том, что его тянет не к ней, а к Саше. Неужели потому,



что в Саше привиделось неблагополучие? Именно эту тягу к тем, кто нуждался в покровительстве, он не любил в матери. Но у матери было другое. Она жила, переполненная собой, своими мыслями, чувствами и воспоминаниями, все это плотным прозрачным панцирем отделяло ее от мира, панцирь твердел с годами, сжимался вокруг нее, и она старалась высвободиться, разрушить плотный купол общением с людьми. Она была молодец, и жить ей было интересно.

Он не забыл, что приглашен в кино, но идти с тремя женщинами и развлекать их не хотелось, и он остался в номере. Лежал на кровати, смотрел телевизор. Не поднялся и ради ужина. Часов в десять Саша пришла. Вгляделась, спросила: «Вы не заболели? Я должна извиниться. Мы собирались с вами в кино, а я задержалась у мамы... Вы меня ждали?» Видно было, что она лжет. Нигде она не задерживалась, ждала его, а теперь, растерянная, выясняет, что же с ним случилось такое, отчего он не пришел, и надеется, что причины для этого были веские. Юшков запер дверь и погасил свет. Мертвенный блеск экрана освещал кровать. Выступали фигуристы, звучала музыка, диктор объявлял оценки. «Юра, что вы делаете, я не для этого пришла», — бормотала Саша, и он любил ее и не помнил себя... Наверно, ей не было хорошо так, как ему. Притихла, смотрела в стену. «Я люблю тебя», — сказал Юшков. Саша натянула платье и легла щекой на подушку, закрыв глаза. Юшков гладил ее волосы. «Я немного полежу так». «Тебе плохо?» — спросил он. Она сказала: «Нет». «Нам будет лучше», — говорил он, — я знаю. Мы привыкнем друг к другу. Мы оба слишком нервные. Нам будет очень хорошо». «Мне хорошо с вами», — сказала она. Открыла глаза. — А вы не ждали меня внизу полвосьмого?» «Я ждал тебя здесь», — солгал он. Она удивилась: «Здесь?.. А-а...» «Ты не веришь, что я тебя люблю?» «Не знаю. Наверно, если бы я сама...» «Да, если бы ты любила, ты бы верила». «Нет, почему же... я...» — недоговорила. Подошла к двери, прислушалась. Юшков стоял рядом. Обняла ее. Она возмутилась: «Юра, что же вы! Мне сейчас выходить!» Он не сразу понял, в чем дело: она была уверена, что все ее чувства заметны на ее лице. Она выходила к людям, как актриса на сцену — собрав всю свою волю, контролируя мышцы лица.

«Мы не должны больше видеться». Вот о чем она думала, когда лежала щекой на подушке.

Проснулся он с мыслями о ней и ужаснулся, как мало у них времени. Завтра пойдет сталь, еще два дня — и разьедутся. Гостиница спала. Он открыл дверь в коридор и, сидя в кресле, ждал, когда начнут подниматься. В семь часов захлопали двери, застучали женские каблуки, зашаркали тапочки. Он ждал до восьми и постучал в дверь Саши. Открыла растрепанная незнакомая женщина. Сказала, что Саша ушла. Наверно, на комбинат. Он обиделся: могла бы и подождать его.

Ее не было ни у Ирины Сергеевны, ни у Володи. Значит, поехала к родителям. Юшков забежал в мартеновский цех. Шихтовщики готовили хром, все шло нормально. Возвращался в гостиницу бегом. Ключ от номера Саши висел на доске за плечом администраторши. На всякий случай Юшков все же постучал в дверь. Никто не отозвался. Он пообедал в ресторане. Ключ висел на прежнем месте. Юшков сел в холле и стал ждать. Прошла из кабинета директриса, поздоровалась, собралась заговорить и, увидев его лицо, не решилась. Он рассердился на себя и ушел в номер. Вспомнил слова Саши, ее лицо и говорил себе, что она его любит. Но если бы она любила, то искала бы его, ценила оставшееся им время. Прошло уже полдня, сколько осталось? Он решил, что ей просто-напросто нужна была его помощь, чтобы получить сталь, все у нее было нацелено на это, а вчера вечером по неопытности она попала в ловушку, запуталась и теперь избегает его... А ему это зачем? Может быть, это и есть плата за то, чему, как говорил Игорь, нет слова в языке...

Он задремал, и стук в дверь разбудил его. Саша вошла в комнату. Села в кресло. «Я все рассказала папе. Он сказал, что такую женщину надо повесить... Вот в чем дело». «Саша,— сказал Юшков, обнимая ее,— я весь день ищу тебя». «Я глупая,— сказала она.— У меня всегда так». «Что всегда так?» «Не так,— поправились она, испугавшись того, что он мог подумать.— Так у меня не было. Не знаю, почему я такая глупая». «Ты умная,— сказал он.— Я тебя люблю. Ты только не исчезай. Иди сюда». «Нет,— отстранилась она.— Я буду в кресле». «Саша... В жизни так мало хорошего... У нас с тобой что-то может получиться, у нас так мало времени...» Она не слушала. Не до рассуждений ей было, не до хорошего, о котором он говорил, не до него. «Я сейчас с племянниками... Я не могла с ними говорить! Господи, думаю, они же все видят! И дети мои все сразу заметят!» «Что заметят?!» «А что ты скажешь жене?» — спросила она. Юшков опешил. Она ждала. «Зачем сейчас об этом думать? — нашелся Юшков.— Может быть, мой самолет разобьется». «Вот! — Она всплеснула руками.— Вот и муж мой такой! А я не могу так, я всегда думаю и всегда боюсь». «Иди сюда», — снова позвал Юшков. «Юра, перестаньте. Я сейчас же уйду... Может быть, если бы мои смотрели на это так, как вы... Я должна считаться с их мнением...» Он перестал надеяться, что сможет ее понять. Казалось, она заговаривается. «Как я смотрю? Я смотрю так же, как ты, Саша». Он повторял, что искал ее весь день, говорил, как плохо ему было, но она не верила, что ему плохо, и не слушала. Высвободила руки, надавливая пальцами уголки глаз, растягивала кожу, чтобы удержать слезы, но они выкатились, поползли. Виновато взглянула. «Я теперь все время реву». Он гладил ее, успокаивал. «Мне надо идти,— сказала она.— Еще только немного посижу. Говорите что-нибудь. Расскажите про вашу жену». «Говори мне «ты»...» «Я не могу... Я... я уступила вам, потому что не хотела, чтобы вы унижались». Уязвленный, он отстранился. Замолчали. «Я хочу пить», — сказала Саша. Стакан был грязный. Юшков вымыл его в ванной зубной пастой, принес воды. Саша отпила глоток. Стакан она держала, оттопырив мизинец. «Ваша жена красивая?» «Красивая», — сказал Юшков. Саша заплакала. «Красивая... и тут я подлая». Это тоже было вне логики, но он понял. «Ты ни перед кем не виновата. И перед мужем не виновата». «Ну да, не виновата.— Она подняла заплаканное лицо.— Как же!» «Ты только передо мной виновата». Она ему не верила. Но успокоилась, поднялась. Пошла к двери. Ему стало страшно. «Вечером ты придешь?» «Нет». «Саша! — взмолился он.— Ты со своим мужем пятьдесят лет будешь жить, дай же мне один вечер, один час!» «Не унижайся так, Юра,— строго сказала она.— Тебе нельзя так унижаться». «Я вообще в счет не иду,— сказал он.— Со мной можно поступать как угодно. Я же тут с ума сегодня сойду!» «Я не приду!» «Глупо,— сказал он.— Все так плохо, и ты еще». «Что плохо?» «Останься».

Она стояла у двери, подготавливая свое лицо к коридору. Это было смешно. Лицо ее ничего не выражало, ей нечего было бояться. «Я не знаю, что у тебя плохо, Юра. Но я запомнила, как один человек сказал в кино: как бы ни было плохо, никогда человек не должен падать духом». Юшков невольно усмехнулся: «Вот видишь, какая ты умная. А говоришь — глупая». «Мысли,— она дотронулась пальцем до своего лба,— у меня иногда бывают умные, а поступки я совершаю такие глупые...» Он обнял ее и поцеловал. Она рассердилась: «Мне же выходить сейчас, как ты можешь! Прощай!» Он сделал последнюю попытку: «Так не прощаются». Она послушно подставила лицо для поцелуя. «Все-таки я буду ждать тебя весь вечер». — «Не надо ждать,— взмолилась она.— Так я тоже не могу, когда ты ждешь». Выглянула в коридор и вышла, сосредоточенная на том, чтобы лицо ее не подвело.

Юшков был уверен, что она придет. Он купил в магазине вино, сыр и печенье. Убрал номер. Переставил кресло ближе к кровати. В девять он начал сердиться: два—три вечера у них, и один уже прола-

дает. Несколько раз спускался в холл. Саши там не было. В одиннадцать он еще надеялся. Потом сказал себе, что обязательно ее прочит.

Утром ушел в мартеновский цех. Если она решила видеть его днем, у нее ничего не выйдет. Днем он не покажется в гостинице. Тогда к ночи она прибежит.

Получился первый ковш хрома, получился второй, закладывали третий. Третий его уже не интересовал. Он побывал на блюминге, в отделочном поговорил с Володей. Володе он не доверял. Толкачи кружили вокруг, караулили бригадира, шептали на ухо. Юшков позвонил на железнодорожную станцию, узнал, сколько заказано порожняка и когда формируется состав. Он отсек Володе все пути для обмана. Вернулся в гостиницу вечером. Он был доволен собой: день прошел и Саша, конечно, уже прибежала днем к его номеру и, не застав, ждет его теперь так, как он ждал ее вчера. У них получится очень хороший вечер.

В холле Саши не было. Он разделся в номере. Ждать не мог. Вышел в коридор, постучал в дверь. Она была заперта. Он снова спустился в холл. Ключ висел на месте. Он сел в кресло так, чтобы видеть этот ключ. В девятом часу пришла одна из соседок Саши, взяла ключ, стала подниматься по лестнице. Юшков нагнал ее, поздоровался. «Саша уехала», — сказала она.

«Когда?» — «Вот сейчас проводила». Тетка отводила глаза. Лицо ее, иссеченное холодным ветром, было красное, как обваренное. Он спросил: «Почему она уехала?» «Не знаю. — Тетка открыла дверь и норовила проскользнуть в нее. — Она была очень расстроена». «Плакала?» — зачем-то спросил Юшков. «Плакала».

В номере он сел в кресло. Говорил себе: днем раньше, днем позже, какая разница. Теперь пошел хром, у него есть дело, только успевай поворачиваться. Однако тяжесть давила и не хватало дыхания. Проходите по коридору, спускаться в холл, идти на комбинат, зная, что нигде не встретит его, — это казалось невозможным. «Черт знает что, — говорил он себе, — неужели это я? Неужели со мной возможно такое?» Он позвонил в аэропорт Горска. Самолет улетел в пять часов, завтра будет рейс в двенадцать. Значит, она еще в Черепановске. «Конечно, — подумал он, — перебралась к родным и утром будет на комбинате». И тут же понял, что не для того она от него сбежала, чтобы встретиться завтра. Потом мелькнула мысль, что она оставила ему записку, хоть два слова. Он побежал в холл к почтовому ящeyкам. Записки не было. Он вернулся в номер. Все пытался понять, что же с ним. Ведь всего только один день потерял, что мог дать ему этот один день? Отчего же жить невозможно? Отчего он не борется с тоской, как привык бороться, а охотно ей поддается, даже боится, что она отступит? Уж не с ума ли он сходит? Он включил телевизор. Звука не было, он не стал поворачивать рукоятку громкости. На экране в три ряда сидели оркестранты, махал палочкой дирижер, скрипачи беззвучно водили по струнам смычками. Он стал вспоминать. Склеивал бережно по кусочкам минуты, боялся упустить любую мелочь, все надеялся что-нибудь понять. Но вспомнить лицо не удавалось. Лишь какие-то отдельные движения, поворот головы: «Ну да, не виновата, как же!» — а вместо лица пятно. Он удивился: чем тешится! Ну а чего другого набралось за тридцать пять лет? Были какие-то мелочи в море житейской мути, и всегда оставалась пустота, а сейчас не пустота, что-то другое, давит, дышать не дает, тошнотой подступает, но не пустота, и ничего он сейчас не боится, даже заплакать может и не будет стыдиться себя, потому что себя он ощущает всегда как некую форму и заботится всегда об этой форме, а сейчас какая к черту форма?

Утром самые простейшие движения требовали всей его воли, а днем — как с мышцами усталыми бывает от движения — разошлось. Саша на комбинате не появлялась. В конторке Володи Юшков нашел копию ее заказа и следил за ним вместе со своим заказом. Он теперь

проверял каждый шаг Володи. Если в первую командировку его сталь могли завалить сверху другой и тем задержать отправку на сутки, то теперь такого уже быть не могло. Володя ворчал: «Надоел ты мне, парень, других забот у тебя нет?» Юшков спросил, где работает тот маленький дядька, который ссылался на директора. «Тут их тридцать тысяч работает,— сказал Володя.— Поди сыщи. Тут и с фамилией не всегда найдешь. Дочь его приглянулась?»

Сталь погрузили в вагоны. Юшков позвонил на завод и продиктовал их номера. Ирине Сергеевне и Полине он подарил коробку конфет и цветы. В гости к Ирине Сергеевне так и не попал. В семь вечера он ждал посадки в аэропорту.

В городе в это время было пять часов. Кончилось совещание в горкоме, и Чеблаков вышел на площадь. Вдоль всего квартала стояли у тротуара «Волги», за два часа, пока длилось совещание, ветровые стекла и капоты занесло мокрым снегом. Некоторые машины уже отъезжали. Чеблаков подождал Буряка. Они были на совещании самыми молодыми, как-то заметно молодыми, и Чеблаков намеренно сохранял с директором рессорного прежний, институтский тон, говорил ему «старик» и старался сблизиться. По многим признакам он замечал в Буряке то, что он называл «человек приобретает вес» и «человек растет» и что не просто соответствовало должности директора, а было чем-то большим, человеческим состоянием. Однако в этот раз ему показалось, что Буряк совершил ошибку. На совещании тот заговорил о толкачах. Мол, рессорный завод от такой практики отказался, а другие заводы шлют толкачей по-прежнему и снабженцам Буряка из-за этого трудно работать. Совещание проводил первый секретарь. Он спросил: «Какой завод вы имеете в виду?» «Многие»,— сказал Буряк. Первый возразил: «Это не ответ. Назовите конкретно». «Автомобильный завод хотя бы». Пришлось Чеблакову оправдываться: нельзя же останавливать производство, что еще ему остается делать? Он ждал выговора: мол, рессорный может, а вы на поводу у обстоятельств идете, за трудности прячетесь и прочее в том же духе, что он сам умел говорить своим подчиненным. Однако первый выслушал его не перебивая и обернувшись к заведомо промышленности: «Что толку его ругать? Давайте ставить этот вопрос отдельно». «Вопрос снабжения?»— переспросил тот, и первый продиктовал: «Повышение ответственности за соблюдение договорной дисциплины. И по срокам и по номенклатуре.— И добавил:— Пусть для начала заводы дадут свои соображения». Чеблаков счел это своей победой: его не наказали и даже приняли его объяснения к сведению. Буряк же, полагал он, затронув неприятную тему, чисто по-человечески должен был потерять часть симпатии к нему независимо от исхода дела. Поэтому, дождавшись его, Чеблаков посоветовал: «Старик, на старте не делают такие рывки. Можно дышалку сорвать». «Разве это старт?— усмехнулся Буряк в тон.— Нет, старик, это уже не старт. Отстаешь». Улыбаясь, пожали друг другу руки и разошлись по машинам. Антонина Григорьевна читала толстую книгу, пристроив ее на баранке и беспрестанно поправляя волосы на затылке. Чеблаков сел рядом и, справляясь с непонятной тревогой, сказал себе, что Буряку, видимо, не хватает чувства юмора.

---

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

\* \*

Мы полны соловьиного свиста И туманную книгу любви И страницы смертельного	Языки, словно змеи, ласкались В глубине двуединого рта.
Залистали, как губы свои.	Знаю, день не сулит утешенья. Глубоко оставляют следы
Может быть, они сами листались, Не стихая всю ночь до утра.	Эти ласки на грани смешенья Человека, огня и воды.

\* \*

Все прошло! Золотые надежды  
Только снились. Я гол как сокол.  
Я увидел дневные одежды  
И ночные одежды нашел.

— Что с тобою? — ты свет повернула.  
— Посмотри и увидишь сама. —  
Ты змеиные ноздри раздула.  
— Молодая, ты сходишь с ума!

— Я его не имела и прежде! —  
Ты летала, от гнева бела,  
То хватала дневные одежды,  
То ночные одежды рвала.

Все порывы твои и замашки  
Возопили, как ведьма в трубе:  
— Если сына рожу я в рубашке,  
Он рубашку одолжит тебе!

Только клочья я вырвал из рук  
И накинул на голое тело.  
Оставайся! Какое мне дело  
До ловушек твоих или мук.

Я ударил твой голос дверями  
И отпрянул в осеннюю мглу.  
Я прошел проходными дворами  
И увидел: стоишь на углу!

Ни перстом, ни крестом не хранима,  
Ты глядишь, словно загнанный зверь:



---

---

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

## ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ

Рассказы

### КОШКИ ИЛИ ЗАЙЦЫ?

**Я** приехал в этот город через восемнадцать лет после того, как был здесь впервые. Тогда мне было тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами, теперь мне пятьдесят три, я не бегаю, не прыгаю, не играю в теннис, не курю и не могу работать ночами. Тогда приехал в Рим в толпе туристов, теперь я здесь один. Тогда вокруг были друзья, теперь окружают малознакомые итальянцы, которые заняты своими делами, и я их понимаю. Между прочим, они довольно необязательные, часто опаздывают на полчаса, а то на час. Я жду в вестибюле гостиницы. Они милые люди. Я привык к их опозданиям. Они не могут переделать себя. Здесь, в Риме, перемешаны тысячелетия, перепутаны времена, и точное время трудно определить. Оно здесь не нужно. Ведь это Вечный город, а для вечности опоздание не имеет значения. Вы живете в доме XIX века, спускаетесь по лестнице XVIII, выходите на улицу XV и садитесь в автомобиль XXI века. Я изучил все иллюстрированные журналы, что валяются на круглом столике в вестибюле гостиницы «Сан-Рафаэль», фасад которой затоплен желтовато-серым, шуршащим на ветру водопадом дикого винограда, а может быть, плюща. Во всяком случае, тут целые заросли какой-то исчащей от жаркого лета ползучей зелени.

Так вот: тогда я был нищ, скуп, по городу ходил пешком, жалея тратить лиры на автобус, вечерами валился с ног от усталости, утром вскакивал бодрый, как пионер, на витрины книжных магазинов смотрел со жгучей тоской; теперь могу купить любую книгу, ходить пешком мне скучно и утомительно, кроме того, я всегда куда-то спешу и езжу на такси. Тогда я жил в бывшем публичном доме «Каиро», обитательниц которого на время Олимпиады выселили и в узких комнатах поселили нас, туристов, неподалеку от вокзала, рядом с рынком и кинотеатром «Люкс», на пятый этаж мы поднимались пешком: теперь живу в «Сан-Рафаэле», рядом с площадью Навона, и это совсем не похоже на пансионат «Каиро». Тогда меня все ошеломяло, я все хотел заметить, запомнить, мучился желанием написать что-нибудь лирическое обо всем этом, а теперь ничто не ошеломяет и не слишком хочется писать. Тут много причин. Не стану о них распространяться. Скажу лишь: жизнь — постепенная пропажа ошеломительного.

В воскресенье пришел один из малознакомых итальянцев, опоздав на сорок минут, милый человек по имени Джани, и предложил поехать куда-нибудь за город. Например, в Дженцано. Я засмеялся: Дженцано был единственный город в окрестностях Рима, где я побывал восемнадцать лет назад! Хорошо его помню. Я же написал

рассказ о Дженцано. Нельзя ли в другое место? Но Джани мялся, явно не желая ехать в другое место, и вскоре объяснилось: он жил в Дженцано и ему надо было по хозяйственным делам непременно заехать домой. Мы поехали. По дороге я вспоминал: маленький город, который живет производством цветов. Там бывают карнавалы и фейерверки. Тогда в компании полупьяных и ошеломленных друзей я сидел в трагтории Пистаментуччия, пил кьянти, ел жареную зайчатину (то была особая охотничья трагтория, и все убранство внутри эту особенность подчеркивало: рога оленей, чучела, оружие на стенах), пел песни, раскачиваясь на лавке и обнимаясь с соседями; потом хозяин подарил нам фотографии своей трагтории с шеренгой официантов и поваров в колпаках перед входом, сам усатый господин Пистаментуччия в середине шеренги, потом мы сидели за столиками на площади, захмелев от вина, было необыкновенно тепло, душно, одуряюще пахло цветами и порохом, соревновались пиротехники, в небе что-то крутилось и сверкало, потом к нам подвели человека по имени Руссо, который провел два года в нашем плену, у него была глянцевитая голова, он изображал рукою, будто пилит дрова, и говорил: «Очень карашо!» Обо всем этом я когда-то написал. В том стиле лирической прозы, который был моден в шестидесятые годы. Рассказ назывался «Воспоминание о Дженцано». И это было действительно самое дорогое и лучшее мое воспоминание о той поездке. Была какая-то свобода, молодость, распахнутость, всечеловечность и хмель, хмель! Я не мог бы внятно объяснить, что значила для меня ночная площадь в Дженцано. И охотничья трагтория Пистаментуччия. Но все это осталось во мне как музыка тех лет со всеми их радостями, надеждами, предвкушениями. А теперь палил зноем воскресный пустой Рим, желтел на камнях полувысохший Тибр, Джани ехал по своим делам домой, а я зачем-то увязался с ним, понимая, что напрасно, повторения быть не может. Музыка отзвучала. Двое из тех, с кем я был тогда в Дженцано, умерли, двое других ушли от меня далеко.

Городишко не изменился за восемнадцать лет. Это был тоже маленький вечный город. В ресторане на веранде, где воздух дрожал от жары, где лежала тень от платанов, вокруг столиков бегали во множестве дети, на каменных плитах, забившись в углы, где попрохладнее, дремали жалкие собачонки вроде тех, которых любил рисовать Карпаччио, незаметно всовывая их в свои громадные загадочные полотна, я спросил у Джани, существует ли трагтория Пистаментуччия. Не знаю, зачем спросил. По-настоящему она меня не интересовала. Она годилась только как воспоминание. Я не собирался ее искать. Джани ответил: трагтория существует, но теперь там другой хозяин. У прежнего хозяина два года назад случились большие неприятности. У него был процесс. Его обвинили в том, что вместо жареных зайцев он давал гостям жареных кошек.

Я едва не крикнул: «Они были вкусные! Я помню!» Еще мне хотелось крикнуть: «А как же рассказ «Воспоминание о Дженцано»? Значит, неправда? Значит, не теплые сумерки, не море цветов, не песни враскачку с соседями, трудовыми людьми Италии, с их мужественными, обоженными солнцем лицами, не чудесное кьянти, не охотничий запах зайчатки, а — жареные кошки?» И сразу пришла другая мысль: «Вот как надо кончать рассказ! Надо его дописать!» Но я не крикнул ни того, ни другого, ни третьего. Я молчал подавленный. Потому что всею кожей и задохнувшимся сердцем вдруг почувал разницу между нами: мною тем и сегодняшним. Дописывать ничего не надо. Нельзя править то, что не подлежит правке, что недоступно прикосновению — то, что течет сквозь нас. Разумеется, мало радости узнать, что когда-то тебя изумлявшее и делавшее счастливым оказалось фальшивкой и ерундой. Боже мой, но ведь ощущение счастья было! И навсегда остались пение, шум в



голове, петарды, Руссо. Правда, я не почувствовал за всей красотой жареных кошек. Я не прозрел истину. Несчастные жареные кошки есть повсюду, и писатель не имеет права делать вид, что их нет, он обязан их обнаруживать, как бы глубоко и хитро они ни скрывались. Все так, но мне было тогда тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами.

Я спросил у Джани: что стало с синьором Пистаментуччия?

— Его оправдали,— сказал Джани. — Но он не захотел жить в Дженцано и продал тратторию. Теперь она называется «Настоящие зайцы».

### ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Когда-то давно я принес в редакцию знаменитого журнала несколько рассказов, вернее рассказиков, каждый не больше пяти страниц, все вместе страниц тридцать, жалковатая рукопись, тем более жалковатая, что несколько лет я не мог написать ничего путного, на меня махнули рукой, кучка рассказиков была первым произведением после долгого перерыва, она много значила для меня, неизмеримо много, никто бы не догадался, глядя на тощую кипу листочков, что она значила для меня, я никому бы не мог объяснить, потому что разве объяснишь? — и, кроме того, человек не понимает своей судьбы в тот час, когда судьба творится, понимание является задним числом, я лишь чувал, что миг — судьбоносный, меня лишь охватывал смутный трепет, какой-то озноб страха и нетерпения, и вот я пришел за ответом в полутемное здание на одной из самых старых улиц Москвы. Я медленно поднимался по каменной лестнице, стараясь успокоить колотящееся сердце. На верхней площадке остановился и стоял, наверное, минуту. Я хотел иметь вид совсем не того человека, кем был на самом деле.

Наконец почувствовал, что могу рывком открыть дверь, легким шагом пройти по коридору и небрежно стукнуть в нужную комнату. Лицо судьбы было невзрачно: желтовато-пегое, со впалыми щеками, седоватым бобриком, со взглядом печальным и одновременно безжалостным. Сидя вполоборота, окутанный дымом сигареты, торчавшей в деревянном мундштучке, человек за столом сказал:

— Все какие-то вечные темы.

Я напрягся, ожидая удара. Но удара не последовало. Все было ясно и так. Рассказики не будут напечатаны в знаменитом журнале по той причине, что — вечные темы. Надо было уйти, однако я продолжал стоять возле стола, потом сел на диванчик, вытащил папиросу, стал закуривать, все действия были бессмысленны, но я не мог остановиться, я сел удобнее, положил ногу на ногу и спросил: что такое вечные темы? Человек за столом чуть скривил синие губы.

— Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, о чем речь.

— Не знаю,— сказал я. — Объясните ради бога.

— Ну, бросьте, бросьте! Нечего объяснять.

— Но я действительно не понимаю.

— Чего тут можно не понимать? — Человек пожал плечами. Вид у него был скучливый, презрительный. — Вечные темы — это вечные темы. Ну, если хотите... Скажем, так...

Прошло двадцать два года. Зимой в Риме в отеле «Феникс» мне передали в рецепции записку — а рецепция в этом отеле помещается в стеклянном просторном коридоре, соединяющем два здания, вроде зимнего сада, и через стекло виден двор с подстриженной сочно-зеленой, незимней травой, с пальмами, кирпичной стеной и ярчайшим голубым куском неба над нею, — в записке говорилось, что такой-то находится в Риме и хочет меня видеть. Я удивился: за двадцать два года с тех пор, как мы разговаривали о вечных темах, мы не сказали друг другу ни слова. Нет, не потому, что между нами возникла враждебность, а потому, что между нами ничего не воз-

и к л о: мы остались чужими людьми. Мы раскланивались при встрече и тут же забывали друг о друге. Он находился в какой-нибудь третьей сотне моих знакомых, а я в пятой сотне его. Но кое-что нас все же связывало — знаменитый журнал, где он когда-то работал, а я когда-то печатался. Впрочем, связь была настолько умственной и далекой, что искать друг друга в Риме было странно. Зачем же, бог ты мой, я ему нужен? Но вдруг выяснилось, что моя жена тоже знала его. Она спросила с испугом:

— Он такой маленький? С темным лицом? Коротко стриженный? Я жила с ним в одном доме. И я его боюсь.

— Почему?

— Он приносил несчастья. Когда я встречала его во дворе или на улице, всегда что-нибудь случалось.

— Ну, например?

— Однажды встретила его — и в тот же день Волчок попал под машину. В другой раз тоже встретила — и зарубили сценарий. Потом еще что-то, несколько раз. Как-то столкнулась с ним в лифте — и через час принесли телеграмму о смерти Валерия. Не надо ему звонить. Ты вовсе не обязан с ним встречаться.

Мы сидели в прохладной комнате, топить тут начинали вечером, и не знали, как поступить. Записка с телефоном лежала на кровати. Постучав, вошла толстая горничная и что-то спросила по-итальянски, улыбаясь и показывая большую желтую банку. Не вникая в суть дела, я сказал: «Ргео» — и махнул рукой. Горничная стала сыпать порошок на пол. Порошок не имел запаха. Мне это показалось подозрительным: порошок без запаха вряд ли мог уничтожить муравьев. Тут было множество маленьких муравьев, по ночам они заползали в постель. Сыпя порошок из банки, горничная говорила что-то ироническое, может быть даже нескромное, поглядывая на нас плутовато. Жена сказала, что людей, которые приносят несчастья, в Италии называют порто неро, то есть приносящие черное. И никогда нельзя называть имени порто неро вслух. Надо всячески изощряться, давая понять, о ком речь, но только не называть имени. Потому что те не любят, когда их окликают. Всю эту чушь она читала когда-то и запомнила. Она читала гораздо больше, чем я.

— Ты с ним знакома? — спросил я.

— Шапочно. Мы здоровались и больше ничего. Потом я стала его избегать.

— Он, наверно, сорвал какую-нибудь твою свиданку, — сказал я. — Ты бежала на свиданку, а он встретился во дворе, и все сорвалось.

— Это ты бегал, — сказала жена. — Все боялся опоздать. Все переживал, беденький.

— Ты бегала больше.

— Я никогда не бегала. Я ездила на машине.

Мы помолчали, я думал над последней фразой жены и, когда горничная вышла, сказал:

— Позвоню. Интересно, зачем я ему нужен.

— Я прошу: не звони. У нас все шло хорошо...

— Нет, позвоню. Ничего страшного не случится. А вдруг ему надо помочь?

— А он тебе помог в свое время?

— Ну, когда это было...

— Тогда я уйду, — сказала жена. — Я не хочу его видеть. Я погуляю, а ты с ним встречайся один. Я поеду на Монте Пинчо.

Показалось обидным: она поедет на Монте Пинчо, может быть, зайдет на виллу Боргезе, а я должен сидеть тут, в надоевшем отеле, и ждать полузабытого, когда-то высокомерного, теперь ненужного господина.

Прошло больше часа. Господин добирался издалека. По-

том я догадался, что он шел из Трастевере пешком, как я когда-то ходил, экономя лиры. Его лицо было по-прежнему пегое, дряблое, презрительное, но что-то важное в лице исчезло. Это было лицо как бы опустевшее, как может опустеть старая площадь в час сумерек. Мы видели такую площадь в Лукке, и как раз вечером: она была круглая, тихая, пепельная, без людей и машин, все вокруг было какое-то оцепенелое, уставшее жить, и только бельё на веревках на пепельных стенах говорило о невидимой жизни. А рядом с этой каменной пустынной лужайкой кипела главная улица. Но там не было ничего интересного, одни товары. Ничего, кроме товаров. Толпа туго продавливалась вдоль домов, пожирая товары. Прожорливая гусеница толпы. Площадь в Лукке с ее покоем и старостью — вот что запомнило лицо пришедшего.

Он развел руками и сказал, как бы извиняясь:

— Видите, как получилось...

Его первая жена умерла от болезни крови пятнадцать лет назад. Вторую жену постигло такое же несчастье. Теперь он женат в третий раз, нынешняя очень любит детей от своего первого брака, не мыслит жизни без них, и оттого все так получилось. Не было другого выхода. Ее дочь с мужем уехали три года назад, у них девочка, она заболела тяжелым нервным заболеванием, и жена не могла вынести того, что они там одни. Она их любит безумно. Какая-то неестественная любовь. Все невероятно запуталось. Дело в том, что бывший муж жены, отец этой молодой женщины, которая сейчас в городе Атланта, был тем человеком, который принес моему гостю больше всего горя. Так что приходится страдать и перестраивать жизнь из-за его внучек. Он оставил отца в Ленинграде, отцу девяносто один год. Все запуталось. Не бывал ли я ночью в Колизее? Надо непременно пойти в Колизей ночью! Я спросил: почему он мне все это рассказывает? Ведь мы мало знакомы.

— Почему мало? — возразил он. — Мы знакомы. Я помню, мы отдыхали вместе в Ялте. Потом встречались как-то у Градовых. Я знал бывшего мужа вашей жены. Кстати, передайте ей большой привет.

— Я передам, — сказал я. — Все запуталось, вы правы.

Мы просидели в подвале ресторана до десяти вечера. Жена не возвращалась. Мы слышали стрельбу. Пришел официант и сказал, что на виа Горициа облава, нашли тайный склад оружия, по-видимому неофашистов, кого-то арестовали, весь район вдоль Номентаны оцеплен и никого не пускают. В ресторане, кроме нас двоих, не было за столами никого. Официанты и повар сидели перед телевизором и смотрели велосипедную гонку. Я начал волноваться. Мой гость не спешил. Он съел две порции спагетти по-болонски, потом мы ели дыню, пили чай и курили. Чем дольше мы сидели, тем больше его лицо приобретало старое выражение — печального палача. Он спросил:

— Вам не надоело?

— Что?

— Все время писать. Еще надеетесь поразить мир? Думаете, мир крикнет однажды, прочитав ваш опус? Извините мою злость. Я зол, потому что я прощаюсь. Ну да, и с Европой тоже. Почему я и говорю: надо идти в Колизей ночью. Потому что ни вам, ни мне сделать это больше никогда не удастся. Впрочем, я говорю о себе...

Он закрыл лицо ладонями и так сидел. Я поднялся, вышел на улицу и постоял немного возле дверей отеля. Два карабинера прохаживались по тротуару, и электрический свет из окна нашей рецепции освещал их напряженно застывшие, с деревенским румянцем детские лица. В том месте, где наша улочка выходила на Номентану, сгустилась кучка людей, с визгом тормозов остановилась машина. Тротуар был перерыв, кто-то прыгал через разрытое. Карабинеры по-

вернулись и затрусили туда. Мне показалось, кричит жена: «Пусти-те!» Я побежал, увидел, как люди в штатском заталкивали в машину женщину, она сопротивлялась. Кричала другая женщина из толпы. Номентана была плохо освещена, я протолкался ближе, чтобы удостовериться, что жены тут нет. Когда вернулся в ресторан, гость все еще сидел, закрыв руками лицо.

На другой день мы с женой ехали из Рима в Милан. Поезд остановился в туннеле. Временами гас свет. Когда он вновь загорался, я делал вид, что читаю журнал. Тяжелый запах гари стал проникать в вагон. Мы закрыли окна. Мы были в купе вдвоем. У жены сделалось мягкое, серое от страха лицо. Она шептала:

— Я говорила: сразу начнутся неприятности. Не надо было с ним встречаться.

Я сказал:

— Самые большие неприятности у него.

Потом я сказал:

— Теперь я все про тебя знаю. Он был знаком с твоим бывшим мужем.

Она смотрела на меня пристально и с недоумением, точно старалась догадаться, действительно ли я все про нее знаю. Я обнял ее. Далеко на севере был наш дом, сейчас там стояли морозы, заметало дороги, утром приходилось вызывать бульдозер, и белым паром сквозь кровлю выходило из дома тепло.

### СМЕРТЬ В СИЦИЛИИ

Что можно понять за несколько дней в чужой стране? Можно ли догадаться о том, как люди живут? И как умирают? Вот уже неделю я разглядываю Сицилию как в увеличительное стекло. Я мог бы сказать: Сицилия — это жаркая комната с окнами на море, где с раннего утра надо опускать жалюзи, иначе скоро нечем будет дышать. Но с полудня в Сицилии вполне терпимо, потому что солнце уходит на другую сторону дома. Ночью в Сицилии неумолчно грохочет море, оно рядом, под балконом, под скалами. Сначала от шума моря не спишь, потом привыкаешь. Труднее привыкнуть к треску рыбачьих лодок, они почему-то особенно бойко и оглушительно трещат по ночам, носятся вблизи берега, но жители не протестуют. Они любят есть рыбу. А без ночного треска моторов рыбы, видимо, не бывает. Часов с шести вечера в Сицилии устанавливается замечательная прохлада и ясность в воздухе — отчетливо виден весь громадный синеголубой залив, керамический склон горы на противоположной стороне и отдаленная вершина на горизонте, белеющая треугольником, как парус. Жители Сицилии разговаривают на английском и немецком языках, ходят по вестибюлю босиком, в купальных халатах, показывая голые, не очень красивые ноги: в большинстве они люди пожилые. Ночью над морем встает красная луна, и тогда вспоминаешь, что рядом Африка.

Говорят, что сезон кончился. В августе здесь было все по-другому. Здесь было много людей, шумно, дорого, мучительно жарко, невыносимо. Я удивляюсь: еще более мучительно? В Монделло, рыбацкой и одновременно курортной деревушке в двенадцати километрах от Палермо, происходит встреча писателей, присуждение местной премии, так называемой премии Монделло, и дискуссия на какую-то импозантную тему. Что-то вроде о горизонтах прозы. Я упал в эту жаркую комнату с потрескивающими жалюзи — когда их поднимаешь, они, слегка потрескивая, почему-то медленно, но неуклонно сползают вниз, вызывая впечатление неведомого живого существа, может быть таинственной рыбы с океанского дна, выброшенной на берег, прибитой к моему окну и доживающей здесь последние минуты, — я упал сюда прямо с московского аэропорта, где было холодно, хмуро и лил дождь.

Когда писатели собираются вместе для разговора на возвышенные темы, например о том, что есть искусство и зачем оно нужно, они обычно говорят общеизвестное. Редкие ценные мысли, которые есть у каждого, они стараются приберечь для бумаги. Я тоже говорил общеизвестное. Насчет того, что роман не умер и не умрет никогда. Писатели пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов на всех своих встречах защищают роман, это своего рода писательская молитва, обязательная, как «Pater noster» перед сном для католика, и я решил не отставать от других. Плохо представляя себе, кто именно нападает на роман и грозит ему гибелью, я твердо и недвусмысленно заявил злодеям, что они этого не дождутся. Роман будет жить! Нельзя допустить, чтобы роман исчез из нашего обихода. А как же люди будут убивать время в промежутках между телевизионными передачами? И еще я сказал, что люди, объявившие о кризисе романа, представляют себе это чем-то вроде нефтяного кризиса: как нефть иссякает в недрах земли, так воображение иссякает в умах человечества. Пришлось встать на защиту не только романа, но и человечества. Я сказал, что воображение людей не иссякнет. Со мною не спорили. Все говорили примерно то же самое. Напоследок я заметил, что меня интересуют не горизонты прозы, а ее вертикали.

Вечером, спустившись от нашего отеля, который стоит на возгорке и на мысу, по узкой набережной к площади, где все освещено, как в праздник, где кусками продают осьминогов, где шатается бездельная толпа, где робко гудят автомобили, застревающие в толпе, как в варе, где плотно висит в воздухе острое зловоние рыбы, как в гастрономе у «Сокола», когда туда привозят в грузовиках-холодильниках сырую рыбу и пьяненькие рабочие толкают по желобу в подземелье тяжелые ящики, в которых трепыхаются хвосты, а хозяйки с сумками уже выстраиваются в очередь возле прилавка,— и вот, гуляя по набережной, где ничто, кроме запаха рыбы, не напоминает улицу возле метро «Сокол», я думаю о том, о сем, например о приятном единстве, которое царит между писателями: никто друг с другом не спорит и все говорит общеизвестное. Я стараюсь думать о том, о сем, но на деле меня томит одна подлая задняя мысль. Решение примут через день. Премия Монделло вручается ежегодно за лучшую книгу иностранного автора. В прошлом году здесь вышли две мои книги: московская трилогия «Долгое прощание» и «Дом на набережной». Ну и отлично. Зачем же еще премия? То, что книги вышли, это и есть премия. И то, что я упал на этот остров вблизи африканского побережья, тоже премия. Не надо о ней думать. Она не нужна. То есть нужна, разумеется, но в то же время не нужна. Нужна и не нужна вместе, одним слитком. Глупо о ней думать. Человек не может себя заставить не думать о глупостях. Какой-то бред: идешь прекрасным тропическим вечером в толпе близ моря, среди запахов сырой и жареной рыбы и не в силах отвязаться от глупостей! Ведь ты на острове финикийцев, карфагенян, римлян, арабов, остготов, норманнов, Рожера Спуллийского, кровавой Сицилийской вечери, но не можешь ни на чем сосредоточиться, тебя разбирает мытуха, ты маешься из-за пустого, и ты несчастней любого в этой толпе, кому ничто не грозит. Но дело вот в чем: они меня заманили. Сказали, что премия обеспечена, но надо непременно сюда приехать. Боже, да я бы поехал с радостью без всякой премии! Она не нужна мне даром. Я их ненавижу. Всякая премия вздор. Однако подлость в том, что вздор — неотвязный. Теперь одни меня поздравляют, другие шепчут, что они из кругов, близких к жюри, узнали, что премия будет дана чеху, который живет в Париже, а третьи смотрят на меня с молчаливым и тайным состраданием, как на больного, который обречен, но еще не знает своей судьбы. Все нервничают гораздо больше, чем я. Я не понимаю, как надо себя вести. Вероятно, я должен себя вести как человек, который напряжен

и взвинчен до крайности, но мужественно владеет собой. Еще бы, дело идет о премии Монделло — не шутка! Здесь, в Монделло, эта премия звучит громко. Правда, в Риме о ней мало кто слышал.

Меня окликает человек по имени Мауро. Он из римской газеты. Он тоже смотрит на меня как на больного, о котором только что узнал плохое от лечащего врача, но врач велел не показывать виду, и Мауро весело спрашивает: не хочу ли я стакан вина? Мы садимся за столик под открытым небом. Мауро невысокий, плечистый, короткошей, улыбающийся, с астматической одышкой. Он спрашивает: что меня интересует в Сицилии? Не собираюсь ли я поехать в Сиракузы? В Агридженто? Посетить катакомбы капуцинов в Палермо, где покоятся совсем как живые набальзамированные мертвецы? Там есть девочка двух лет, Розалия Ломбардо, она поражает изумительно живым лицом. Я понимаю Мауро. Он добрый человек. Но в Сицилии меня интересует другое — мафия. И это как раз то, чего нельзя ни узнать, ни увидеть. Тут не любят говорить о мафии. В Палермо я пытался разговаривать с разными людьми: они отмалчиваются или сообщают что-нибудь всем ведомое. По их намекам выходит, что мафия существует, но выродилась и разговаривать о ней неинтересно. Мауро, задыхаясь, посмеивается.

— Почему вы ищете ее здесь? Да она повсюду. И в науке и в литературе. И в составе жюри. И вы сами мафия! — Он ткнул в меня пальцем и подмигнул.

— Нет, — говорю я. — Я не мафия.

— Нет? Ну ладно. Тогда не вы, а я. — Он ткнул пальцем в себя. — Я мафия.

Мы говорим по-английски и понимаем друг друга, потому что оба говорим плохо. Мимо проходит женщина в черном шуршащем платье, в кружевном черном платке, скрывающем лицо — я замечаю лишь длинный нос и мелькнувший в синеватом белке черный, показавшийся мне огненным глаз, — и делает Мауро приветственный знак рукой небрежно, как хорошему знакомому. Женщина удаляется, покачивая бедрами. Вероятно, она молода, красива. Мауро вскочил и побежал ее догонять. Он догнал ее возле автомобиля. Они разговаривают. Женщина оглядывается на меня. Я вижу худое, со впалыми лицом старухи и острый, сверкающий взор. Автомобиль стал продавливаться сквозь толпу, вырuling с площади, исчез.

— Я не знаю, — говорит Мауро. — Она тоже пишет книги — истории о драгоценных камнях. Своего рода thrillers. Я брал у нее интервью для газеты три года назад.

— Она не имеет отношения к мафии?

— Возможно. Все имеют отношение к мафии.

Он издевается. Но вдруг говорит серьезно:

— Знаете, что такое мафия? Она как эти горы. Вы сейчас их не видите, они скрыты темнотой, но вы знаете, что они есть. Они окружают город.

Я смотрю туда, где должны находиться горы, там непроглядно черно, без огня, без звезд.

На другой день Мауро говорит, что вчерашняя дама — ее зовут Маргарита Магдалони — приглашает нас на чашку кофе к пяти часам. Она любит русскую литературу, сама говорит по-русски. И вообще она русская. В знойное послеобеденное время, когда комната с опущенными жалюзи напоминает душную, непригодную для жизни камеру, я лежу пластом голый во мгле и не могу ни читать, ни спать, приезжает на своем арендованном «фиате» непонятный Мауро — зачем он со мной так возится? Я прыгаю под душ, быстро одеваюсь, и мы едем в горы. Надо проехать километров пятнадцать на запад. Море лежит внизу спящее и пустое. Редко кое-где белеют лодки. Неужели на этой обугленной керамической скале можно прожить всю жизнь? Синьора Магдалони живет в старинном замке, кото-

рый, разумеется, перестроен и приспособлен для жизни. Его основали норманны, потом он был разрушен, восстановлен, опять разрушен, опять восстановлен, наконец тотально разрушен во время последней войны и полностью отстроен покойным синьором Мадалони, промышленником и судовладельцем. Синьор умер одиннадцать лет назад. Вот с тех пор от тоски и ужаса перед одиночеством она стала писать книги и написала восемь романов. Ее всегда интересовали драгоценные камни, но не как богатство, а как мистическая сила, повелевающая судьбами людей. Каждый знаменитый алмаз таит удивительные сюжеты, с ним связанные. Один из романов посвящен России, императрице Екатерине и графу Орлову.

Мы сидим на веранде на теневой стороне дома. Смуглый, с курчавыми бачками, в белых перчатках Сильвио прикатил тележку с напитками, фруктами и печеньем. Я попросил бокал сока. Я не понимаю, зачем меня пригласили. Затеваается разговор о горизонтах прозы. Синьора Мадалони говорит, что диктует романы на диктофон, потом их немного правит. По существу, они пишутся втроем: она, Сильвио и диктофон. Сильвио записывает текст с диктофона, она редактирует, на всю работу уходит полтора месяца. Зато какой адский подготовительный труд! Приходится ездить в библиотеки? В Палермо? В Неаполь? Нет, не приходится никуда ездить, у нее прекрасная библиотека, приобретенная мужем в сороковых годах. Все, что нужно, под руками: справочники, словари, книги по истории, географии, минералогии, оккультным наукам, алхимии, мореплаванию. Кстати, меня как русского интересует, наверно, революционная тема: муж собрал бездну книг по истории карбонарского движения, по анархизму...

Мы спускаемся на нижний этаж. Сильвио идет следом, неся поднос с напитками. Библиотека помещается в круглом зале, посередине стоит громадный старинный глобус, о котором я узнаю, что он из Венеции, XV век. Здесь прохладно. Мы садимся в кресла, а Сильвио стоит рядом, держа поднос. Его смуглое лицо неподвижно. Ни он, ни Мауро не понимают, о чем мы говорим. Но Мауро изо всех сил старается хоть что-то понять, он глядит на шевелящиеся губы синьоры Мадалони, на мои, его лицо выражает немое и почтительное восхищение.

— О, я ничего не понимаю! — вскрикивает он радостно по-английски и хлопает себя по коленям. — Но мне нравится русский язык!

Синьора Мадалони говорит по-русски чисто, но с примесью двух акцентов: южнорусского и итальянского, который выражается скорее в интонации, чем в произношении. По-южнорусски она хакает и говорит «библиотэха», а по-итальянски мягко, напевно прогибает середину фразы. Почему-то я долго не решался спросить: кто она такая и как попала сюда? Мне кажется, это нескромно. А она не заговаривает. Как будто обычное дело: встретиться двум русским в Сицилии в каком-то пиратском замке...

Когда синьора встает и куда-то удаляется в сопровождении Сильвио. Мауро, наклонившись ко мне, шепчет:

— She is very rich!

— Really?

— O! — Он поднимает большой палец. — O-o-o-o! — Мауро обнимает голову ладонями и покачивает ею, давая понять, что богатство невыразимое, фантастическое. И после этого с потеряннным видом машет рукой и вздыхает. — O, my god...

Синьора возвращается. Сильвио торжественно, приподняв, несет в обеих руках две сумки из плотной бумаги, наполненные чем-то тяжелым. Это подарки мне и Мауро: в каждой сумке по стопке книг в ярких обложках, запечатанных в целлофан. Мы получаем по пять романов Маргариты Мадалони. Синьора по-молодому забирается в кресло с ногами, ее поза свободна, движения изящны, линия

бедрa крута и выпукла, она держит чашечку тонкой рукой, но лицо синьоры — высушенное, коричневое, в сетке морщин и только глаза сияют. И вот она спрашивает: откуда я? Из Москвы. Она не была в Москве. Так жаль, такая обида: повидала весь мир и никогда не была в Москве. Жила в Ростове, в Новочеркасске, уехала в двадцатом, ей было тогда семнадцать лет и она была красивая. Поэтому все страшное было еще страшней. Прекрасно помнит те годы. Отец был степной помещик из казаков, мать — актриса. На юге в девятнадцатом кипела какая-то нелепая веселая жизнь, туда съехалось много интересных людей, артисты, писатели, выходил журнальчик «Донская волна». Рестораны в Новочеркасске были полны. Все уже трещало и рушилось, но люди не понимали...

— Помню стихи тогдашнего поэта Виктора Севского из «Донской волны». Господи, шестьдесят лет прошло, а чепуха помнится! Когда-то повторяла с восторгом... Хотите, прочту? — И, не дожидаясь ответа, с воодушевлением:

О детях Дона сейчас влюбленно,  
Как из бидона, стихи пролью,  
О детях Дона, сын Аполлона,  
Прошу пардона за прыть мою.  
В стране Маори я жил в фаворе,  
Забывши горе и жизни вздор,  
А тут в терроре, в кровавом море,  
С покоем в ссоре таюсь, как вор...

Пародия на Бальмонта. Вы знаете, конечно, это имя? Дальше, прошу прощения, быть может, вам будет не совсем приятно слушать, но все это было так давно, не правда ли? Дальше что-то такое:

Как жизнь свирепа в стране совдепа,  
Жизнь хуже склепа! Над жизнью креп.  
Жизнь зло-нелепа, два сорок — репа,  
Жизнь — три копейки, тринадцать — хлеб.  
А там как в сказке, в Новочеркасске!  
В лазурной краске волшебный быт!  
Хлеб — мягче ласки, мутнеют глазки,  
Там жизнь без тряски и без обид.  
Мечта поэта! Рулет! Котлета!  
И сигареты! И что-то еще...

Потом мы перебрались в Ростов. И не успели бежать, когда отступала армия. Мама еще надеялась как-то приспособиться к новой власти. Папа погиб в восемнадцатом. Но приспособиться не удалось. В меня влюбился один грек и увез нас в Крым, оттуда в Батум. Мама умерла от тифа. С греком я уехала в Константинополь, потом в Салоники, потом оказалась в Берлине — уже без грека, — в тридцатых годах жила в Париже, а с сорок пятого здесь, вот уже тридцать три года...

Я слушаю в ошеломлении — Ростов? Новочеркасск? Двадцатый год? Миронов? Дуненко? Генерал Гнилорыбов? Это как раз то, чем я теперь живу. Что было моим — п р а м о и м — прошлым. И эта зачка, превратившаяся в старую, кофейного цвета синьору, — каким загадочным, небесным путем мы прикоснулись друг к другу!

— Мой отец из Новочеркаска, — говорю я. — Дядя учился в Атаманском училище. Был военным комендантом Новочеркаска в двадцатом году. А тетка прожила там всю жизнь.

— Да что вы! На какой же улице?

— На Красноармейской. Раньше называлась Ратная.

— Ратную прекрасно помню. А в каком доме?

— Я был у нее лишь однажды, после войны. Какой-то ветхий флигелек, на втором этаже, а когда-то весь дом принадлежал архитектору Кокореву Сергею Васильевичу, теткинemu мужу. Он, между прочим, достраивал собор...

— Я училась с его племянницей в гимназии. Он умер, конечно?



— Умер трагически. Был уже старик, не мог двигаться, остался в городе при немцах. Его оклеветали. Там целая история. Знаю лишь, что женщина, которая его оклеветала, сама обнаружилась предательницей и была расстреляна.

— Боже мой! — шепчет синьора. — Как бы я хотела одним глазком...

Ее лицо сморщивается, углы рта опускаются, и я вижу — секундно — на этом индейском лице-маске давний, неизлечимый след горя. Она вновь поспешно уходит, приносит старую, дореволюционного вида папку, развязывает тесемочки, руки ее дрожат.

— Все, что осталось от мамы...

— Можно?

— Посмотрите...

Две пожелтевшие фотографии: на одной молодая дама с девочкой в белом платье. Знаком девочкин черный пронзительный взор. На другой та же дама, красавица, в театральном наряде, с пышной высокой прической. И какие-то бумажки, вырезка из газеты. Можно прочитать? Конечно. Это последнее предприятие в Ростове, перед тем как уехать в Крым. Три бумажные древности: «Постановление. Декретом СНК от 15 апреля 1920 г. отменены все действовавшие до издания декрета постановления, распоряжения и правила о выдаче бывшим владельцам принадлежащих им ценностей из ссудной казны и сейфов, а самые ценности объявлены государственной собственностью», «Заявление. В сейфо-ломбардную комиссию. На квитанции ящика сейфа Общества взаимного кредита за № 1025 у меня находятся: один серебряный сервиз и один кулон с бриллиантом. Я артистка музыкальной драмы и оперетты, и вещи эти дороги мне как бенефисные подарки, а при необходимости как средства для существования жизни, а посему покорнейше прошу выдать мне их. Артистка и действительный член профсоюза Е. С. Малышева», «Свидетельство. Мне известен кулон с бриллиантом, с одним маленьким подвеском, который был поднесен в г. Тифлисе в 1916 г. в день бенефиса Е. С. Малышевой в летний сезон в т-ре Артистического Общества. Артист кооперативной художественной оперетты Давид Софронович Давыдов».

— Милый мой, — синьора Магдалони накрывает мою руку сухонькой ладошкой, — ваш папа был на другой стороне. А дядя, комендант Новочеркаска, может быть, преследовал моего брата. Все это история... И она мало кому интересна — мне, вам... Но самое страшное знаете что? — Она смотрит в глубь меня пронизывающим бессильным оком. — Смерть в Сицилии...

— Рутным блеском горит черная звездная ночь.

Я опять не сплю из-за треска рыбацких лодок. На другой день за завтраком знакомый поляк, который всегда навеселе, радостно бросается ко мне: «Я вас поздравляю!» Через час становится известно: премию получил чех из Парижа. Мы садимся в автобус и отправляемся в Палермо на прием к мэру. После мэра поедem смотреть мертвецов в катакомбы капуцинов. Здесь все гордятся этими катакомбами, где мертвецы стоят в позах живых людей в своей истлевшей одежде. Бедная попытка обмануть смерть. Но нельзя обмануть то, что самое страшное в мире, — смерть в Сицилии. Автобус достигает белых домов Палермо, они кажутся слепыми из-за опущенных желтых жалюзи. Автобус поворачивает на улицу, обсаженную пальмами. Солнце плавит асфальт. Мауро, который сидит рядом, придвигается и шепчет:

— Посмотрите на эту улицу внимательно. Где-то здесь лежит Роберто Магдалони. Я вчера не сказал? — Шепчет совсем неслышно: — Ее муж был одним из главарей мафии. Одиннадцать лет назад он исчез. Говорят, лежит здесь, под асфальтом этой улицы. Но, впрочем, никто точно не знает.

## ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ

Из мрака выпрыгнул золотой слиток: так возник Лас-Вегас. Внизу чернотой текла пустыня. Слиток выглядел нелепо. Его не должно было быть в черноте. «Золотой слиток» («Golden Nugget», как называется одно из знаменитых казино, тут все казино знаменитые) — символ этой нелепости посреди пустыни, этой античеловеческой и в то же время глубоко человеческой фантазии, этого нагромождения страстей, упований, ярости, похоти, бессмыслицы, надежд. Сорок минут самолетом из Лос-Анджелеса — и гроздь огней, означающая великие возможности, выплескивается навстречу из мрака. Они привезли меня все это показать. Но я это видел. Я догадался. Я знал. Потому что какая разница — где? В зале, похожем на вокзал, где стоит гул многих сотен голосов, стук автоматов, которые дергают за ручки, звон сыплющихся монет, или же — на летней верандочке в деревне Репихово, где мы засиживались до петухов втроем, полковник Гусев, Боря и я, одурманенные вождением переменить судьбу? Мы играли в... — ах, какая разница, как называлась игра... Великие возможности не имеют размеров, они имеют лишь запах, лишь ветер, от которого холодеет душа. Полковник и я выигрывали, Боря платил. Но он упорно стремился переменить судьбу и набрасывался на нас вновь и вновь, все больше залезая в долги. Это было в пятьдесят четвертом, а может быть, в пятьдесят пятом по Северной дороге, недалеко от Абрамцева, летом, когда дети были еще маленькие, а планы грандиозные и, главное, нам хотелось переменить судьбу. И вот Бори нет на земле. Он исчез две недели назад, в середине сентября. Перемена судьбы происходит внезапно. Он не прочитает этот рассказ про Лас-Вегас и про то, как мы играли до петухов на деревенской верандочке, где на полу были рассыпаны созревающие хозяйские помидоры, а на стеклах висели связками лук и чеснок. Про деревенскую верандочку ему было бы читать интересно, а про Лас-Вегас — нет. Хотя он не был в Америке. Но он догадывался обо всем. Когда я вернулся оттуда, он спросил: «Ну как там? Все ясно?» Я ответил: «Все ясно» — и больше он ни о чем не спрашивал. Я провел в Америке два месяца, читал лекции в университетах, исколесил страну от востока до запада, от севера до юга, но ему было интересней поиграть, как в старину, с полковником Гусевым, чем слушать про то, что было ему ясно. Клубные новости были ему в тысячу раз интереснее. И я не стал ничего ему рассказывать про Лас-Вегас, про родео в Канзасе, где один бык обманул устроителей, внезапно остановился на поле, усыпанном опилками, и всадник, который должен был прыгнуть на быка, схватить за рога и повалить наземь, то есть опозорить на глазах пятидесяти тысяч зрителей, проскочил на лошади мимо и бык, помахивая хвостиком, спокойный и непопозоренный пошел назад в свое стойло; я не рассказал ему про Тамерлана Чингисхановича, профессора русского языка, который одевался в голубое и ездил в громадном голубом кадиллаке, про собак, которые занимались любовью в фешенебельном зале при гостях, про миниатюрную красавицу Лолу, про ее друга гиганта Боба, или Бобчика, как его называли ласково, про шефа Лолы Криса, про Сузи, про Стива, про Рут, про Мишу, который потерял в Риме восемнадцать чемоданов, на этом помешался и не мог говорить ни о чем другом, про индейцев в Лоренсе, про то, как они сидели полусонные на тротуаре и курили марихуану, про снег в Миннеаполисе, про русский стол в студенческой столовой, где говорят только по-русски, а те, кто не умеет, молчат и слушают, про сырую морковь, про бобы, про свежую, нарезанную тонкими нитями капусту, про белый хлеб, похожий на вату, про одну женщину в Беркли, которая плакала, про Сан-Диего, где

была жара и дельфины как из катапульты выскакивали из воды в океанариуме, про то, как на обратном пути нас останавливала полиция, осматривала автомобиль, не везем ли мы мексиканцев, про то, как меня слушали, о чем спрашивали, почему смеялись, чего не могли понять; я не стал рассказывать ему про самую большую лошадь в мире, прибывшую из Канады, она стояла в особом павильоне, куда можно было зайти и за двадцать пять центов посмотреть на рыжей масти кобылу, повернувшуюся к зрителям исполкиным задом, грива и хвост были светлые, иногда кобыла поворачивала голову и глядела злобным коричневым глазом; про всех несчастных, сумасшедших, благоустроенных, самодовольных, кого довелось встретить, про Бена Кларка, который вез меня ночью с аэродрома в Сан-Хозе в свой университет, по дороге заехали на ферму к его матери, старушке восьмидесяти лет, он привез ей в багажнике трех живых петухов, а старушка угощала нас чаем и замечательным эппл-паем, про одного священника, который сказал мне шепотом: «Этого не знает никто!» — про знатока Бунина в городе Оберлине, про моего издателя в Нью-Йорке, который скачет на лошади в Центральном парке каждое утро, про холодное декабрьское солнце на Арлингтонском кладбище, да мало ли о чем еще, но он ни о чем не хотел слушать, потому что все знал и так. Он все прекрасно знал без Америки и без меня. Так ему казалось. Ну вот, я начал писать про Лас-Вегас, как мы прилетели туда всемером: очаровательная Лола со своей двадцатидвухлетней дочкой Сузи, с гигантом Бобчиком, с шефом «Тампико Хемикла», где Лола работала, важным бело-брысьм мальчиком по имени Крис, а также старик Стив, его жена Рут и я, — и увидели слиток золота в иллюминатор, но тут я вспомнил про Борю. Я не могу ничего поделать. Случилось слишком недавно. В пятницу я ему позвонил и хотел зайти, он болел уже несколько дней, ни о чем серьезном никто не думал, и мне сказали, что он поехал на рынок покупать арбуз, я успокоился и не пошел к нему, потому что приехал человек из другого города, который должен был срочно со мной встретиться, — ах, боже мой, это вздор и не имеет значения! Я не увидел его больше никогда. Так вот: Лас-Вегас вырос в штате Невада. В пустыне. С фантастической быстротой. Все начинается в аэропорту: лишь только вы сходите с трапа, вас окружают игральные автоматы, «однорукие бандиты», чтобы те, кому невтерпеж, могли бы тотчас попытать счастья. Туннель для пассажиров обит кроваво-красной ковровой материей, и сразу наплывает томное возбуждение: кровь, горячка, азарт. «А кому интересно? — спросил бы он. — Какое отношение все это имеет к нам?» Может быть, никакого. Как пейзаж Луны к тому, что я вижу из окна. Но, может быть, тут ошибка. Почему-то мне кажется, что все имеет отношение ко всему. Все живое связано друг с другом. Но не знаю, как это доказать. Внутри лунного пейзажа, внутри этих кратеров, многоэтажных башен, кружения огней среди ночи таятся знакомое: я вижу свой дом, но в перевернутом виде. Он как бы расплескивается, расслаивается, отражаясь в воде. Всегда, когда уезжаю далеко, я вижу свой опрокинутый, раздробленный дом. Он плавает кусками в воде. Перед домом был маленький палисадник, там росли яблони, дававшие кислые, незавидные яблоки, внизу проходила дорога, непроезжая в осенние дни. А осень начиналась тут рано, почему-то раньше, чем в Москве: в доме становилось холодно, старуха топила печь, рано падала сырая, пахнувшая дымом темнота, и каждый день все больше пустела деревня, дачники уезжали, торопясь пригнать грузовик до того, как совсем развезет. Мы оставались одни: полковник, Боря и я. На работу ездила электричкой. И еще Сергей Тимофеевич, который отдыхал после инфаркта. Сергею Тимофеевичу было лет пятьдесят с небольшим, он был уже лыс, помят жизнью, легонько, но ежевечерне прикладывался к рюм-

ке — раньше прикладывался основательно, теперь врачи запретили, но помалу, граммов по полста, разрешалось, даже было рекомендовано, — ходил по саду в полосатой пижаме, в холодные дни в лыжном костюме, сосал пустую трубку и рассказывал нам — мне и Боре — о перипетиях тридцатых годов, которые переживал с болью до сих пор, будто они случились вчера, потому что был вечный комсомолец косаревского призыва, вечный бунтарь, мечтатель, резидент в Китае, мелкий английский торговец в Гонконге, пронзительный, все понимавший и видевший всех насквозь старикан. Нет, не старикан. Но чудился нам стариканом. Мы были глупы. Он многое объяснил нам впервые. То, о чем я лишь догадывался, было для него жестокой явью. И когда спустя два года все взорвалось, обрушилось и подтвердилось, Сергей Тимофеевич заболел вновь. Он болел там, в Репихове. Там и умер летом. Какое-то лекарство надо было привезти из Москвы, я примчался с поезда, вбежал на верандочку: жена Сергея Тимофеевича сидела на стуле, сложив на коленах руки, и смотрела застывшим белым взглядом в окно. Боря сказал меня изумившее: «Ведь и нас когда-нибудь так прихватит!» Изумило не потому, что неправда, а как раз потому, что — внезапная, лютая правда. Полковник лобоялся прийти и попроситься с Сергеем Тимофеевичем. Он боялся смерти и никогда не говорил о болезнях. Да и не болел ничем никогда. По возрасту ровесник Сергею Тимофеевичу, он не казался нам стариканом. Он был ненастоящий полковник. Сергей Тимофеевич называл его ложным опенком. Он был штатский полковник: преподавал в бронетанковой академии технический курс. Но в войне он участвовал. Заслужил какие-то ордена. Они были совсем разные с Сергеем Тимофеевичем: один жил мыслями, надеждами, горечью, другой — здоровьем, сластями, осторожностью. Полковник Гусев никогда не летал на самолетах и не ездил в такси: самолеты разбивались, таксисты лихачествовали. Когда играли зимой в городе и засиживались до часу, а то до двух ночи, полковник всегда плелся домой через город пешком. Я удивлялся: «Аркадий Иванович, да почему же, бог ты мой, не взять такси? Ведь и деньги у вас есть, вы в выигрыше». «А зачем? Я ночную Москву люблю. И погодка чудесная. За час дотряхую спокойненько». Но и в мороз, в дождь, в снегопад тряхнул так же спокойненько. Давно уже, лет восемнадцать, не садился втроем погорячить кровь. Все договаривались, перезванивались — как бы возобновить? — но ничего не получалось, закрутило винтами, разбросало нас далеко, и вот на днях звонок — голос знакомый, полковничий, но с какой-то уже слабиной, с семидесятилетней дрожливостью: «А Бориска-то наш? Ну и ну... Отколол...» Хоть и дрожит в тоске, а спросить о смерти, как прежде, боится. Думает: спрашивать не стану, глаза закрою, уши заткну — и, может быть, обойдется. Он и теперь, старичком сухоньким, краснолицым, волосы то ли седые, то ли белесые изжелта, бегаёт в марте на лыжах по лесу без рубашки, загорает на солнцепеке, груздей ищет. «Ах, Юрий Валентинович, люблю по весне за груздочками помотаться! Вот где красота истинная — в лесу в марте!» А Бориски нет. Он никогда в жизни не бегал на лыжах за грибами. Его лесом был город, книги, автомобили, коридоры, таблетки, гипертония, и его гульба была другая. А груздями его были люди, мужчины и женщины, — их он искал, находил, восхищался, влюблялся. И вот выпал из жизни нечаянно и вдруг, как болт из паза, на полном ходу, посреди дороги, и все, что было вокруг — люди, книги, автомобили, таблетки, — рассыпалось, разлетелось в разные стороны, не обратившись. Смерть — это вихрь, действующий молниеносно. В те времена, три года назад в Лас-Вегасе, я ничего, разумеется, не мог предвидеть — мне казалось, что его жизненная сила безгранична, — и я напрочь о нем не помнил, но в казино «Циркус-циркус», где множество лю-

дей слонялись от стола к столу, между автоматами и где девицы в колготках, с лотками на груди вроде тех лотков, что носили когда-то папиросницы на Тверском бульваре, предлагали разменять купюры на долларовые монеты, на пятидесятицентовые и на четверты, которые лежали на лотках аккуратными столбиками, запакотанные в бумагу, вместе со столбиками девицы давали бумажные стаканчики, чтобы монеты носить и сыпать туда выигрыш «одноруких бандитов», — ко мне подошел в толпе маленького роста взлохмаченный человек с темно-оливковым лицом и невнятно что-то пробормотал. Я не сразу понял: он представился, доктор такой-то. Он назвал фамилию Бори. Я спросил, нет ли у него родственников в Москве. «Все в этом мире мои родственники», — быстро ответил маленький человек, почти карлик, и махнул нетерпеливо рукой. Он спешил невнятно бормотать дальше. Нам рассказали, что он помешался четыре года назад, когда его жена покончила с собой здесь, в Лас-Вегасе, проигравшись. У него есть своя комната на втором этаже «Циркус-циркуса». Он стал своего рода талисманом и принадлежностью казино. Считается полезным перед тем, как делать крупную ставку, найти доктора и притронуться сзади к его волосам. Но он мне запомнился потому, что сказал: «Все в этом мире мои родственники». После «Циркус-циркуса» мы пытались судьбу в другом казино, потом пили кофе в «Бурлеске», где, кроме нас и одного негра, не было никого, на эстраде танцевала девушка из Вест-Индии, негр все время подбирался к краю сцены и хотел посмотреть на девушку снизу, для чего ложился чуть ли не на спину, девушка была голая и старалась, чтоб он ничего не увидел, она смеялась, негр смеялся, это была игра, они нас не замечали. Стив фотографировал со вспышкой, и после всего этого в ресторане «Сахара» Стив заговорил о моей книге. Нет, не сразу, сначала была беседа с официантом, даже с двумя официантами, первый был статный пожилой красавец, похожий на вышедшего в тираж киноактера, и Лола, нагоняя мне цену и одновременно льстя ресторану «Сахара», сказала, что только в «Сахаре» можно достойно накормить такого крупнейшего бейсболиста из Москвы, такую мировую звезду спорта, как я, на что официант ответил доброжелательным взглядом сверху вниз и как равному протянул для рукопожатия громадную ладонь; после этого он подкатил столик со специями и стал у нас на глазах делать французский салат, который заказал белобрысый, с туманным остановившимся взглядом Крис, большой человек из «Тампико Хэмклаа». Официант манипулировал ложечками, лопаткой и бутылочками с невероятной быстротой, как фокусник, каждое действие сопровождая энергичными объяснениями, что он кладет и зачем, и все смотрели на него и слушали с напряженным вниманием. Официант спросил, в какой команде я играю.

— «Московские хрипуны», — ответил я.

— «Moscow rattlers», — перевел Боб.

— О. «Moscow rattlers»! Хорошая команда. Я слышал, — сказал официант.

Лола, Сузи, Бобчик и Рут были в Лас-Вегасе впервые, так же как я, Крис тут бывал не раз, а Стив работал здесь в сороковые годы: строил насосную станцию. Где только Стив не работал! Он был самый старый среди нас и самый веселый, все время подшучивал над Рут, гладил ее веснушчатую руку в серебряных кольцах, она улыбалась ему значительно и как бы намекая на что-то, понятное им двоим, они вели себя как молодожены, а ведь ему было семьдесят, ей пятьдесят восемь, но они и вправду были молодожены, потому что соединились три года назад. Подошел второй официант, разносивший мясо. Я ему сказал, что просил well done.

— Я думал, русские всегда любят с кровью, — сказал официант, но без улыбки, а как-то холодно и враждебно. Ведь то же самое

можно было сказать шутливо. И это никого бы не задело. Но он сказал враждебно.

Бобчик вскочил и прокричал официанту что-то грубое, размахивая здоровенной рукой, способной многократно и с легкостью поднимать двухпудовую гирию. Я сам видел, как он кидал гирию утром в своей квартире в Лос-Анджелесе, про которую Лола говорила: «В таких квартирах живут неудачники». Официант чопорно удалился. Подошел грузный, профессорского вида метрдотель во фраке, мои спутники стали с ним объясняться. Я понимал плохо. Когда они говорят быстро между собой, я понимаю плохо. Метрдотель ушел, мне сказали:

— Он извиняется, хотя ничего не понял. Но официант будет наказан. Это человек из Европы, и он очень злой.

Вот после этого эпизода и, может быть, для того, чтобы загладить тягостное впечатление, Стив заговорил о моей книге. Ему хотелось сказать мне приятное. Он сказал, что я пишу хорошо, он прочитал всю книгу «The long goodbye» от начала до конца, но мои герои не могут нравиться американцам: они вялые, нерешительные, не умеют добиваться своего. Но это не имеет значения. Для русского я пишу хорошо. Тут ему показалось, что он сказал недостаточно приятное, и он пустился в объяснения:

— Понимаете, Юрий, нам, американцам, такие люди не нравятся. Мы любим людей успеха. А вы, русские, всегда пишете про неудачников. Это неинтересно для нас. Мы любим оптимистическую, жизнеутверждающую литературу. Мы такая нация. Верно я говорю, Рут?

— Верно, Стив,— сказала Рут и прочитала оптимистическое американское стихотворение про человека, который кузнец своего счастья.

— Рут тоже пишет книги. По психиатрии,— сказал Стив.

— Писала, пока не встретила с тобой,— сказала Рут, смеясь.

Она была милая, женственная, черноволосяя, с крепким, спортивным телом, несмотря на пятьдесят восемь. Ее родители приехали из Польши в начале века, но она не знала по-польски ни слова. Потом она мне рассказала: жизнь до Стива была тяжелой — муж, пьяница, избивал ее, жили в нужде. Муж был страшный. Она его боялась. Он кончил дни в сумасшедшем доме. Но теперь она необыкновенно счастлива. Стиву тоже было нелегко отделаться от жены, истеричной и невоспитанной женщины, очень богатой, она богатством пыталась удержать Стива, но он все равно ушел. Так что Рут добилась своего. Теперь у них пятеро детей: двое Рут и трое Стива, все живут в соседних домах, в Костамессе.

— Все это вздор,— сказал Бобчик.

— Почему вздор? — спросила Лола.

— Абсолютный вздор. Насчет успеха и так далее. Можно подумать, что все американцы добиваются успеха. Сказка для дураков.

— Добиваются все, которые, ну, скажем, этого достойны.

Бобчик усмехнулся:

— Достойны?

— Ну да,— сказала Лола.

— Замечательно.

— Мама, конечно, достойнейшая,— сказала Сузи. Она улыбалась кукольным ртом, но узкие зеленоватые глаза — не материнские — смотрели на мать неприязненно.

— Сузи, послушай, что я тебе расскажу про Стива. Это важно особенно тебе, ты знаешь почему,— сказала Рут.— Человек должен иметь волю к жизни...

Она стала рассказывать: как Стив был фермером, потом учился, был летчиком на войне, работал в разных местах, затевал мно-

жество дел, прогорал дотла, начинал снова, опять прогорал, опять начинал — и так было бессчетное число раз, но он не сдавался. Стив простодушно улыбался, слушая про себя. Крис кивал бело-брысой, коротко остриженной головой, одобряя американскую притчу. Но Бобчик был бледен, мучительно с чем-то не соглашался, сдерживался, молчал, а нежное лицо Сузи приняло выражение насмешливой, тончайшей презрительности. Когда Рут кончила, а Стив в знак благодарности поцеловал ее веснушчатую руку, Бобчик сказал:

— А я третий год не могу продать сценарий. Может, я идиот?

— Нет, ты не идиот, — сказала Лола. — Но ты невезучий.

— Послушай, ведь то, чем я занимаюсь, не игра в карты. Что значит — невезучий?

— Не знаю. Возможно, ты мало работаешь. Я не понимаю, в чем дело. — Лола выпрямилась во весь свой маленький рост, расправила обнаженные плечи, в ее скуластом лице женщины-подростка появилось что-то новое и внезапное, похожее на стальную упругость. — Не будем портить аппетит всем, о'кей?

— О'кей, — отозвался Бобчик слабым голосом.

Поехали в старый Лас-Вегас, в «Золотой слиток», и играли там до полуночи. Все разбрелись по разным столам, прятались по углам среди автоматов, стараясь быть в одиночестве, не видеть друг друга, оставаться с глазу на глаз со своей судьбой, а я ходил и смотрел. Все было так не похоже на Репихово. Но какая-то нить — я чувствовал — соединяла эти два местечка. Я видел, как Бобчик подошел к Лоле, которая механически и равномерно вкладывала монету и дергала ручку, и сказал:

— Дай мне пятнадцать долларов.

Не отрываясь от своих занятий, Лола спросила:

— У тебя ничего нет?

— А что у меня было?

— Я дала тридцать пять долларов. И еще были, наверно, какие-то свои?

— Откуда свои? — Бобчик усмехнулся. — Свои! Прекрасно знаешь, что не было.

Лола отсыпала из бумажного стаканчика монеты и дала Бобчику. Он ушел, бормоча. Лола продолжала дергать ручку. В полночь все собрались, как было уговорено, перед выходом, чтобы ехать в «Эм-Джи-Эм», где начиналась программа. Все проигралось, кроме Криса. Лола шутливо обнимала Криса:

— Кристофер, я хочу завести с вами роман! Меня долнут мужчины, которым везет!

«Эм-Джи-Эм» — колоссальное казино с залом тысячи на две зрителей. Знаменитый лев, известный по фильмам «Метро-Голдвин-Мейер», сидел на крутящейся сцене дряхлый и бессмысленный и разевал в зевоте беззубую пасть. Две сотни девушек, стоявших полукругом, одновременно вскидывали голую ногу, и вся их выгнутая шеренга напоминала чудовищное веко с белыми ресницами. Зрители сидели за длинными столами на террасах, поднимавшихся амфитеатром. Под куполом клубилась табачная мгла. Бобчик куда-то исчез. Лола пошла его искать. Они вернулись не скоро. Бобчик был мрачен. Я слышал, как он сказал по-русски:

— Убери эту рыжую скотину. Для тебя он начальник, а для меня ноль. Я могу его убить.

— Ты пьян, — шептала Лола. — Уходи немедленно. Иди в гостиницу спать.

— Уходи сама. Уходите с ним оба.

— Нет, уйдешь ты, а мы останемся.

— Пойдешь с ним спать?

— Ты мне опротивел, гадина. Уходи отсюда к чертовой матери.

Они шептались по-русски, и никто их не понимал, кроме меня, а Сузи сидела на другом конце стола и не слышала. Бобчик встал, покачивался, тыкался неловкими пальцами в пуговицы пиджака, не сходявшего на животе.

— Ну ладно, пойду. Живите как хотите. Но утром пусть этот тип не появляется. Я могу его покалечить.

И, уходя, грозил пальцем. Сузи сказала, что посадит его в такси и вернется. Она не вернулась. Рут шептала:

— Ее надо лечить. Она уже дважды лежала в клинике. Но у Лолы нет времени. Такое несчастье...

На рассвете я услышал крики, топот ног, вышел в коридор. Сузи в халате стояла перед открытой дверью соседнего номера и, рыдая, кричала:

— Будь ты проклята! Ты не мать, а ведьма! Тебе все мало! Зачем я тебе нужна? Почему ты меня не убьешь?

Возникла Лола, тоже в халате, — румяная, быстрая, с сухим, деловым блеском в глазах — и ловко плеснула в лицо дочери воду из стакана. Сузи упала на пол. Я подбежал, вместе с Лолой мы втащили Сузи в комнату. Потом я стоял перед окном в своем номере и смотрел на лунный пейзаж: в сером серебрились башни, между башнями дымился рассвет. Пустыня была вокруг. «Зачем все это нагромоздили?» — думал я. В середине дня за ленчем подошел Крис и сказал, показывая плоскую, с желтоватым обрезом ладонь:

— Этой штукой я убиваю лошадь. Понимаете?

Он потряс ладонь перед моим лицом. Бобчика за столом не было. Никто не знал, где он. Сузи лежала больная в номере.

Самолет отлетал в восемь. За окном пылал жаркий ноябрь Невады.

— Бобчик придет, не волнуйтесь, — сказала Лола. — Никуда он не денется.

Я подумал, что нить, которая соединяет два таких непохожих местечка, очень простая: она состоит из любви, смерти, надежды, разочарований, отчаяния и счастья краткого, как порыв ветра. Они никогда не поймут, почему упал, как от взрыва бомбы, Сергей Тимофеевич в пятьдесят седьмом году, почему рухнул, не успев переменить судьбу, Боря, а я не пойму, почему никуда не денется Бобчик, но дело не в этом. «Все в мире мои родственники», — сказал безумный доктор в Лас-Вегасе.

Спустя три года я получил письмо от Рут: Лола вышла замуж за служащего страховой компании и уехала в Бостон, Бобчик разбился на спортивном самолете, Сузи лечится в клинике, у Стива все в порядке, он работает по-прежнему, хотя старая болезнь доживает, дети его очень поддерживают, все молятся за него, а Рут заканчивает книгу по психиатрии. В конце письма Рут привела американское стихотворение насчет того, что человек кузнец своего счастья.

## ПОСЕЩЕНИЕ МАРКА ШАГАЛА

Нас пригласили к пяти. Лили заехала в Рокфор-де-Пэн, и мы понеслись петляющей дорогой, которая то ныряла в знойные теснины между холмами, то вырывалась на свободу горы, и тогда становились видны на краю прозрачного простора, где воздух слоился, какие-то обломанные, туманные хребты городов, похожие на развалины, они кружились, отдаваясь, и в машину залетал запах далековатого моря. Я думал не только о художнике, к которому мы ехали, о его простодушных коровах, кривобоких избах, одноглазых мужиках в картузах, о зеленых и розовых мечтательных евреях в ультрамаринном небе, о синеве, об Улиссе, о медленном и прочном затоплении мира загадочной славой — я думал о другом старике, ко-



торый умер два года назад в доме для престарелых на берегу канала, за Речным вокзалом, и который — ах, сколько бы он дал, чтобы сидеть в машине, продуваемой ветром, и ехать в Сен-Поль! Я думал об Ионе Александровиче. Они были ровесники. Один называл другого Марк, а другой говорил тому Иона. В 1910 году судьба столкнула их в Париже, потом они встречались там же в двадцатых, когда Иона Александрович жил в Париже в командировке, не знаю точно какой. Я не мог не вспоминать о нем. Уж слишком он трепетал, рассказывая о Шагале, он всегда начинал путать слова, руки его дрожали, когда ему доводилось услышать или самому заговорить о Шагале. Однажды в доме на Масловке он ударил по лицу художника Царенко, который сказал, что Шагал халтурщик, что он не умеет рисовать, — нет, не то чтобы ударил, а в приступе гнева и со слабым возгласом: «Вы лжете!» — дал Царенко легкую пощечину кончиками пальцев, но и то был с его стороны отчаянный поступок, потому что вырвалось тщательно и давно скрываемое преклонение Ионы Александровича перед Шагалом, которое он всегда отрицал, на что Царенко ответил здоровенным тумаком, которым сбил старика на пол, и радостным криком: «Сам ты лжешь!». Потом их делом занимался товарищеский суд. Я жил тогда на Масловке. Это было лето пятьдесят первого или, может быть, пятьдесят второго года. Я был женат на дочери Ионы Александровича. Мы прожили с ней пятнадцать лет до ее внезапной смерти на литовском курорте, куда она умчалась в одиночестве непонятно зачем. Летящие любовники Шагала — это мы все, кто плавает в синем небе судьбы. Я догадался об этом позже. Иона Александрович сначала меня любил, потом возненавидел. И я тоже в разные времена относился к нему по-разному. Он менялся, как пейзаж в течение дня — то в сумерках, то при свете солнца, то в тумане, то при луне. Он был коротконогий, коренастый, с несколько скуластым, скорее крестьянским, чем одесским типом лица, седые волосы зачесывал набок челкой и в разговоре имел привычку причмокивать, точно всегда прочищал языком зубы после еды. Парижские салоны и портовые кабаки родного города в нем нелепо соединялись. Из небывалой дали долетел и сохранился — висел в укромном месте в мастерской — автопортрет молодого Шагала, литография с карандашной подписью. Лицо было круглое, с безумным удивлением в глазах и странным образом перевернутое: оно казалось неестественно кривым, как бы на сломанной шее, и в то же время бесконечно живым. Лицо человека, застигнутого врасплох. И чем-то смертельно пораженного. Иона Александрович дорожил этой литографией больше, чем любой из своих картин, а у него были этюды Коровина, Левитана, рисунки Григорьева, полотна Осмеркина, Фешина, Фалька и большая картина, изображавшая монастырский двор в день церковного праздника, которая приписывалась Мясоедову. О, забыл: еще были Богаевский, Малютин, Костанди и какой-то француз, то ли Фонтэн-Латур, то ли еще кто-то, правда сомнительный. Но всему этому он предпочитал летучий рисунок Шагала. В те времена, когда он меня любил, он часто и многословно рассуждал по поводу этого автопортрета, который у него пытались выманить коллекционеры, предлагая большие деньги, а ведь он нуждался. Он сильно нуждался. Да и кто из художников, живших на Масловке, не нуждался в те годы! Он говорил, склоняя меня к мыслям о собственных мучениях и потугах — я тогда колотился, ища какого-то поворота, какого-то нового ключа в работе, потому что мое старое мне опостылело, — о том, что истинное в искусстве всегда чуть сдвинуто, чуть косо, чуть разорвано, чуть не закончено и не начато, тогда пульсирует волшебство жизни. И вот замечательная литография — в желтоватом паспорту парижской выделки, в рамке и под стеклом — пропала из мастерской. Я помню ужас, охвативший Иону Александровича. Пропажа

рисунка Шагала не могла стать поводом к разбирательству. Сказали бы: а не надо всякую ерунду держать в мастерской. Ведь Иона Александрович не хвастался литографией, мало кому ее показывал — только верным людям и знатокам. Он мало кому и рассказывал о знакомстве с Шагалом в 1910 году и тем более о встречах с ним в 1927-м. Это была полутайна. Полностью скрыть связи со злокозненным антиреалистом было, разумеется, невозможно, ибо все помнили, как в начале тридцатых Иону Александровича стегали публично на дискуссиях и в печати — отличался критик Кугельман, один из вождей изофронта, неподкупный и яростный, сгнувшийся лет через пять бесследно, — за вредоносный шагализм (термин Кугельмана), и бедный Иона Александрович каялся и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей, в которых шагализм расцвел особенно ядовито. За двадцать лет было много чего: война, эвакуация, голод, смерть близких, тревоги за дочь, прежние враги сгнули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость, а все же ужас перед Кугельманом и шагализмом тлеет неизбывно, как задавленный детский страх перед темнотой. Вот почему Иона Александрович не решился поднимать шум из-за пропажи рисунка. Он страдал молча и ломал голову: как быть? Его жена бранилась. Старик, считала она, был во всем виноват. Ведь он отказал гомеопату Борису Эдгаровичу, который предлагал за рисунок пять тысяч, отказал из-за глупой гордыни, из-за непонимания жизни — теперь лишился и рисунка и денег. Янина Владимировна порой считала Иону Александровича дураком и заявляла об этом твердо и ясно. А порой считала очень умным человеком. Она говорила: «Все знают, что ты дурак и тебя легко обмануть». Иногда говорила: «Иона, зачем ты вступаешь в спор? Они не стоят твоего мизинца. Ты умнее всех в этом доме».

Все это вспомнилось по дороге в Сен-Поль. Теперь я редко вспоминаю дом на Масловке. Это было слишком давно. Это было в те времена, когда...

Лили сказала, кивнув на мелькнувшую белизной среди зелени виллу за яично-желтой оградой:

— Здесь жили когда-то русские, поселившиеся в Провансе после вашей революции. Они разводили кур.

Так вот: это было в те времена, когда на крышах домов еще не торчали телевизионные антенны, когда женщины носили пальто-труакар с накладными плечами, а мужчины ходили в габардиновых плащах, некоторые в шинелях, когда еще не было Лужников, игры происходили на стадионе «Динамо» и перед северной трибуной с утра до вечера стояла толпа, одни уходили, другие подходили, клубилось футбольное токовище, когда импрессионисты считались подозрительными и даже враждебными реализму, когда еще не было изобретено антитараканье средство «Прима» и не было самих тараканов, исчезнувших во время войны, когда не появились еще итальянские фильмы и Москва смотрела немецкие трофейные ленты, которые шли не в кинотеатрах, а в клубах, когда существовал «Гранд-отель» и модным считался ресторан ВТО, где метрдотелем был Борода, когда весь район восточнее стадиона «Динамо» был застроен ветхими деревянными домишками, напоминал село, там было много деревьев, собак, грязи осенью, тополиного пуха летом, снежных сугробов зимой. И я жил в странном доме на Масловке, который был построен в тридцатых годах с расчетом на то, что тут поселятся дружные, жизнерадостные творцы пролетарского искусства, не озабоченные ничем, кроме своего дела, своего мчания вперед, поэтому как на вокзале: одна уборная и один водопроводный кран на этаж, где жили человек двадцать. Жили как бы начерно, наспех, малевали жизнь как эскиз, а главное полотно дай бог

когда-нибудь сотворить внукам! Но удивительно: художники и вправду не обращали внимания на житейскую чепуху вроде необходимости ждать очереди в туалет или бегать с ведрами за водой по коридору. Они зарывались в свои холсты, картоны, подрамники, тюбики, в бешеную работу к сроку, вечерами пили водку, рассуждали о ремесле, ругались черт знает из-за чего. На третьем этаже, где я жил и где помещалась мастерская Ионы Александровича, раз в три месяца происходило важное событие — заседание закупочной комиссии. К нему готовились загодя, волновались, узнавали окольными путями, кто назначен в комиссию, чей голос будет особо весом, за день до рокового испытания — оно и впрямь было роковым, ибо определяло жизнь на ближайший год, а то и годы, — художники притаскивали картины со всей Москвы, ставили в коридоре лицом к стене, углом на раме писали фамилии, ночь спали плохо, а с утра начиналось действие, напоминавшее своей беспощадностью микеланджеловский «Страшный суд»: один жест руки — и чьи-то творения возносились в райские сферы, другой жест — проваливались в преисподнюю. Однажды Иона Александрович уже пережил удар: года два назад в ночь перед просмотром пропала совместная работа Ионы Александровича и его друга Палатникова — большой, писанный по клеткам портрет вождя. Но вещь скоро нашли на сельскохозяйственной выставке: ее уже запаковали и собирались отсылать в кубанский совхоз. Нашли и злоумышленников, продавших чужой труд: ими оказались двое пьянчужек, Глотов и Пурижанский, давно разучившиеся писать и проводившие дни в масловской забегаловке, которая по имени завсегдатая, старика Паши Кудинова, одного из последних передвижников, называлась «Кудиновка». Найти было просто. Пришли в «Кудиновку», и тут же след отыскался: Глотов и Пурижанский, конечно же, проболтались. А Федя Палатников поднял крик — страх! Теперь же кричать было нельзя, жаловаться рискованно. Иона Александрович в смятении советовался со мной: «А если все-таки заявить в милицию? Для них имя Марка ничего не значит, не правда ли? Но начнутся опросы свидетелей, соседей... Имя Марка всплывет... Вы не представляете, какой это раздражитель...». Но иногда восклицал с отчаянной бешабашностью: «Ах, к черту! Надоело! Я им скажу все, что думаю о Марке: о его синем цвете, о неподражаемой фантазии. Ведь эта фантазия не имеет себе равных... Он подарил мне литографию в тяжелую для себя минуту... Разве я могу забыть? Да и времена, слава богу, не те: пятьдесят первый — это вам не тридцать первый...» Времена, конечно, не те, но слово шагализм по-прежнему звучало зловеще: что-то среднее между шаманизмом и кабализмом. Тут возник Афанасий. Впрочем, Афанасий существовал всегда, он слонялся по мастерским еще до войны, но лишь в последние годы приобрел специальность, за которую среди художников получил кличку Ухо. Известно, как трудно писать уши, тем более уши значительных лиц, известных миру, и вот обнаружилась поразительная достопримечательность скромного Афанасия Федоровича Дымцова: его ухо по рисунку было точной копией уха великого человека. Афанасий, отнюдь не Аполлон, человек занудливый и глуповатый, считался заурядным натурщиком, с которым мало кто хотел иметь дело, и вдруг его маленькая мелкокурчавая римская голова с низким лбом и выдающейся нижней челюстью сделалась благодаря уху подлинно нарасхват. Афанасий стал много зарабатывать, купил костюм, сделался высокомерен, капризен, и хотя все держалось как бы в секрете, об изумительной специальности не говорили вслух — потому что кто его знает, как отнесутся, если прослышат? — Афанасий давал понять, что у него появились особые связи и возможности, которые он предпочитает хранить в тайне, но в нужную минуту может пустить в дело. Этим он художников попу-

гивал и заставлял платить по двойному тарифу. Затем он обнаглел настолько, что начал занимать у художников деньги, требовал, чтоб его кормили и давали пиво во время сеансов, а у одного художника взял поносить шубу и не вернул, хотя зима кончилась. Боялись с ним связываться. Прошел слух, что его куда-то вызывали и что ему разрешено. Однажды пришел в военной фуражке, стоял перед домом на улице, отставив свободно ногу, с папиросой во рту, разговаривал с комендантом, а художники обходили их стороной и старались не смотреть на Афанасия. Вид у него был жутковатый. Один скульптор сделал Афанасию замечание за то, что тот опоздал на сеанс. Афанасий поглядел на скульптора диким взглядом и выпалил: «И подождешь! Не барин!» — и скульптор опешил, руки по швам, промолчал. И вот в разгар грозного Афанасьева могущества кто-то сообщил, что видел автолитографию Шагала в доме Афанасия, прищипленную кнопками к стене. Иона Александрович был потрясен: откуда вдруг Афанасий? И как он смел прищипливать кнопки? Дальше многое помнилось плохо. Все-таки прошло почти тридцать лет. Я не помню, как литография оказалась в руках Афанасия: кажется, он попросту спер ее, потому что вздумал заняться коллекционерством. И кто-то надоумил его начать с Шагала. Хозяин, дескать, шума поднимать не станет. И верно, переговоры Ионы и Афанасия шли нервно, но негромко: Афанасий божился, что литографии у него нет, требовал обыска при свидетелях, товарищеского суда, изображал глубокую оскорбленность, а Иона шепотом, чуть не плача, умолял вернуть драгоценность. Он дошел до крайности, предлагая Афанасию за возврат литографии Левитана или Коровина. Он пытался надавить по-другому: говорил, что с ним, Ионой Александровичем, шутки плохи, что он был в восемнадцатом году комиссаром искусств в Одессе, что сидел пять дней в деникинской контрразведке и едва не попал в плен к махновцам, спасли буденновцы, так что у него тоже есть связи. Но Афанасий упорно стоял на своем: ничего не знает, литографии у него нет. Почему-то он вцепился в Шагала зубами. Теперь он не отдал бы его ни за что. Как у глупого хитреца, его упорство было нелепо, но с коварством внутри. «Подавайте в суд! — предлагал он. — Пишите на меня прокурору!» Это было как раз то, чего Иона Александрович сделать не мог. Старый страх, как грыжа, мучил его неисцелимо. Я помню его в минуту подавленности, старым и грустным, на дубовой лавке в мастерской: «Что можно сделать? Я безоружен, а бандит вооружен до зубов...». Жена успокаивала его так: «Ну и черт с ним, с Шагалом. Мало ты из-за него терпел? Вот и хорошо, что от него отделались. Я очень рада».

Потом все каким-то образом разрешилось. В середине пятидесятых — после того как Москву встряхнула, подобно землетрясению, выставка французской живописи, обозначив слом времени, — я помню Шагала на прежнем месте в мастерской. Но как он вернулся? Каким путем Ионе удалось выцарапать его у глупого Афанасия, умевшего таинственно всех страшать? Ах, все устроилось, кажется, само собой: отпала нужда в ухе, импрессионистов перестали считать подозрительными, Шагала начали поминать без брани, Афанасий умер, а его жена вернула литографию Ионе, который в тот день напился ужасно, как не напивался с парижских времен, с кафе «Ротонда», откуда его выносили когда-то на руках его друзья Марк Шагал, Кислинг, Кремень, Паскин, Сутин, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Бастьен-Лепаж, Ренуар, Курбе, Миллэ и Энгр, чудеснейший рисовальщик.

Прошло много лет, исчезли все, кто жил тогда на Масловке: пьянчужки Глотов и Пурижанский, передвижник Кудинов, делец Палатников, добывавший заказы для писания портретов по клеткам, исчезли жена и дочь Ионы Александровича, последним угас он сам

в возрасте девяноста двух лет в доме престарелых за Речным вокзалом, остался один Марк Шагал: к нему я ехал теперь по горной дороге.

Сначала я принял за Шагала седого, чопорного, длиннолицего старика, который разговаривал в гостиной с немецким пастором, приехавшим из Майнца. Шагал сделал витражи для майнцкого собора, и теперь пастор привез цветные фотографии и открытки с видами собора и витражей. Все их рассматривали. Это было спасительное занятие на первых минутах. Старик, которого я принял за Шагала, бросал на открытки холодноватый и рассеянный взгляд, какой и должен бросать творец. А я поглядывал на него исподтишка и думал: «Знал бы ты, как Иона Александрович из-за тебя страдался!» Вдруг старик стал прощаться. Я испугался и сказал Вае, жене Шагала, шепотом:

— Я хотел бы Марка Шагала кое о чем спросить...

— Он сейчас придет. У него доктор. Через две минуты.

Мы шептались с Вавой по-русски. И вдруг вместо чопорного, холодноглазого в комнату ворвался маленький, быстрый, взъерошенный, лысоватый, загорелый, небрежно одетый, с простодушным изумлением в слегка выцветших от вековой жизни глазах — это и был настоящий. А тот был торговец, богач, создатель музея в Сен-Поле, где мы только что побывали и где я купил несколько репродукций Шагала. Настоящий набросился на нас с вопросами. Он изголодался по разговору. Ведь он оторвался от работы, несколько часов провел в одиночестве наверху, в мастерской, где расписывал какой-то рояль или клавесин, и теперь ему не терпелось поговорить.

— Вы писатель? Вы можете писать все, что хотите? Когда вы возвращаетесь домой? А она красивая! Это ваша жена или просто так? В Москве меня помнят? Еще не забыли? Не может быть! Неужели вы были в Витебске? Нет, в самом деле вы были в Витебске? Вы ошибаетесь, эта улица рядом с кладбищем. Слава богу, я помню. Можете меня не учить про Витебск. А это ваша жена или просто так? Я знал Маяковского, Есенина, многих, они все умерли. Они умерли рано. Как вы думаете, зачем моя сестра все время посылает мне монографии советских художников? Ведь они дорого стоят! Она тратит так много денег! Я ей пишу: не трать, не посылай! Вы хотите, чтоб я назвал! Э-э-э, ну, скажем, Борисов-Мусатов. Да, да, Борисов-Мусатов! Потом, э-э-э, ну, скажем, Левитан... И Врубель... Да, Врубель, Врубель! Ну не знаю, кого вам назвать еще. У Серова мне нравилась одна вещь — помните, мальчики стоят на деревянном мостике. Я любил ее в юности. В юности любишь одно, в старости другое. Через два дня мне будет девяноста три. Это действительно ваша жена или так себе? Вы говорите, что вам нравится эта вещь? А вы ее видели? Где? Не может быть! В Москве вы не могли ее видеть! Вава, у кого находится эта вещь? Ах, у Иды. Тогда другое дело — Шепотом сообщает как тайну: — Ида — моя дочь от Беллы. У меня была жена Белла. Она не захотела сюда ехать. — И опять громко: — Тогда вы правы, вы могли видеть эту вещь в Москве...

Моя жена подсунула ему репродукцию, только что купленную в музее. На темном коричневом фоне стоят чуть косо старомодные часы в деревянном футляре. Он молча рассматривал репродукцию. Он держал ее далеко от глаз, смотрел долго, пристально, как на чужую работу. И вдруг пробормотал едва слышно, не нам, а себе:

— Каким надо быть несчастным, чтобы это написать...

Я подумал: он выбормотал самую суть. Быть несчастным, чтоб написать. Потом вы можете быть каким угодно, но сначала — несчастным. Часы в деревянном футляре стоят косо. Надо преодолеть покосившееся время, которое разметывает людей: того оставляет в Витебске, другого бросает в Париж, а кого-то на Масловку, в ста-

рый конструктивистский дом, где живут сейчас люди, которых я не знаю. Наверно, по-прежнему на третьем этаже заседает закупочная комиссия. Я стал спрашивать: помнит ли Шагал такого-то? и такого-то? Я называл художников, выходцев из России, про которых слышал когда-то от Ионы Александровича. Про самого Иону Александровича спросить почему-то боялся. Почему-то казалось, это будет все равно что спросить: существовала ли моя прежняя, навсегда исчезнувшая жизнь? Если он скажет нет — значит, не существовала. Шагал всех помнил и знал, но ни о ком не распространялся, а только говорил полувопросительно:

— Да, да. Он умер?

Кажется, все, о ком я спрашивал, умерли, и это было в порядке вещей. Шагал привык к этому. Наконец я набрался духу и спросил: помнит ли он Иону Александровича? Я назвал фамилию и ждал со страхом.

— Да, да. — сказал Шагал. — Он умер?

— Он умер два года назад. И знаете...

Мне хотелось рассказать, как он жил в доме для престарелых на берегу канала, куда привез свои книги, картоны, краски, парижский ящик, некоторые картины — большинство он отдал в музей, — и на видном месте висел автопортрет Шагала со странно искривленным лицом, как он работал до последнего дня, рисовал стариков, зазывал их в свою комнату, заставляя сидеть на кровати, они покорно сидели, некоторые дремали, а он рассказывал одно и то же, что рассказывал когда-то мне, иногда сам начинал дремать за мольбертом, бывало так, что дремали одновременно, и как он вдруг захотел жениться на медсестре Наташе, молодой девушке, румяной и миловидной, она была не москвичка и надеялась прописаться в комнате на Масловке, и как он ревновал Наташу к одному врачу, скандально с ним разговаривал, отказался принимать лекарства, которые тот прописывал, потому что боялся, что врач хочет его извести, чтобы заполучить Наташу, и как в загсе тормозили дело, заподозрив Наташу в том, что она не может полюбить глубокого старика, ему было девяносто два, а Наташе двадцать четыре, он был полон решимости бороться, куда-то писать и добиваться своего, но неожиданно умер в начале лета, и никто не мог понять отчего: он ничем не болел. Но рассказать я не успел, потому что Шагал посмотрел на часы и спросил:

— Вава, мне, наверно, пора идти?

— Посиди немного, — сказала Вава.

Через короткое время он опять взглянул на часы и сказал, что должен идти работать. Тем же быстрым шажком, каким ворвался в гостиную, он убежал на второй этаж.

На обратном пути мы ехали побережьем, и море лежало в сумерках громадной сине-голубой простыней, под которой можно было спрятать всех, всех, всех.

## СЕРОЕ НЕБО, МАЧТЫ И РЫЖАЯ ЛОШАДЬ

И это было все: серое небо, мачты и лошадь. Ну, и снег. Снега много. Он был пахучий, желтоватый. Снег и лошадь были связаны одно не существовало без другого. Лошадь была пахучая, как снег. Она стояла смиренно и вызывала тоску, ибо в ней заключалось счастье, всегда недоступное. Кажется, она была рыжая, в желтизну, таким же она делала снег. Еще помню — серое небо и мачты. Гуляя с мамой в порту. И все, и никакого промелька больше. Но даже это ничтожное добыть стоило непомерных усилий: ведь серому небу и мачтам пятьдесят лет, рыжей лошади и снегу тоже пятьдесят. А если точно — пятьдесят два года.

Какие они старые — лошадь и снег!

Но сначала я приехал в город Ювяскюля. Здесь находилось издательство, выпускавшее мои книги. Но я приехал не совсем кстати и по другому поводу, на праздник так называемой Ювяскюльской зимы, а в издательстве происходил какой-то свой праздник, с разных сторон съехались финские авторы, переводчики и книготорговцы, и издателям было не до меня. Хотя они намеревались издать еще одну мою книгу, им было не до меня. Им хотелось побыть в своем кругу, хорошенько поговорить по-фински, повеселиться и поплясать с другими издателями, авторами, переводчиками и книготорговцами, попрыгать в снегу ночь напролет, и я тихо выскользнул из просторного зала, расположенного в подвальном этаже, где в обычные дни помещалась столовая для сотрудников издательства и типографии. Все в этом здании было новенькое, удобное, гладкое, полированное, на стенах висели гладкие, полированные картины, вестибюль украшал громадный портрет основателя издательства в костюме начала века, и отовсюду шел чудесный химический запах. На улице стоял лютый мороз. Один из руководителей издательства вышел простоволосый на мороз, радостно тряс мне руку и бормотал на трех языках: «Господин Трифонов, ай виш ю добри нахт!» Ему не терпелось поскорее вернуться в подвальное помещение. Главная улица была мертва. Мороз и поздний час выморили город, но вывески пламенели, витрины сияли, в черном небе стояло зарево от огней: все было, как полагается быть в маленькой столице мира. Над крышами домов подымались вертикальные столбы дыма. Из окна гостиницы я видел: ослепительно и ненужно горел внизу ярко-розовыми огнями универмаг «Centrum», запертый на ночь, а где-то далеко, за пределами зарева, в черноте простиралось необозримое, не имевшее края, снежное и стылое.

В этой стране я многое узнал и почувал впервые пятьдесят лет назад. Мой отец был тут торгпредом. В конце двадцатых годов. И я начал тут, черт побери, лепетать и делать первые шаги: как это ни пошло звучит, но это так. Ну и что? Зачем? Какая связь? Ведь не осталось ничего, кроме серого неба, мачт и рыжей пахучей лошади. В Гельсингфорсе родилась сестра. Ну и что же, боже ты мой? Она ничем и никогда не была связана с этой землей. Мы не знаем ни слова по-фински. Впрочем, когда-то мать говорила, и запомнилось тарабарщиной: «Альбертсгáтан чугуфём». Теперь объяснили: это дом, в котором мы жили в Гельсингфорсе. Улица Альберта, двадцать пять, но не по-фински, а по-шведски. Я найду этот дом. Но сначала надо побыть в Ювяскюли, где происходит знаменитая Ювяскюльская зима и куда я приехал из Лахти, проводник выкрикивал мою фамилию в коридоре, поезд стоял три минуты, я собрался молниеносно и выпрыгнул, роняя вещи, на ледяной, тридцатиградусный, залитый солнцем перрон, где молодой человек и девушка с милыми, багровыми от мороза лицами схватили мои вещи, подобрали шапку, далеко укатившуюся от прыжка, все побежали через туннель к машине, бежать было приятнее, чем идти, и часа через три, промчавшись сине-белой, цветов финского флага, застывшей в дурмане январской стужи Финляндией с белыми холмами, остроконечными кирками, темной рябью гранита на обочинах, столбами дыма, стоящими вертикально в синеве, мы вкатились в Ювяскюлю. Это маленький город, полный достоинства. В нем есть то, се, пятое, десятое, фабрики, университет, супермаркеты, шведские и японские машины на улицах, «Лады» и «Москвичи», которых тут называют «Элите», книжный магазин, где я приобрел замечательные папки со страницами в виде прозрачных конвертов, куда можно вставлять лучшие рецензии и на них любоваться. Для плохих рецензий я купил портативную бумагорезательную машину: она крошит бумагу на мельчайшие полоски. Ювяскюльская зима — это споры, хохот, разговоры обо всем, странный юмор, пиво, доброжелательность. И

вот я стоял у окна, смотрел на радужное и бессмысленное сияние «Сентрум» среди ночи и думал о том, что не надо заботиться отыскивать нити, из которых все это сплетено: пусть они возникают внезапно, как ледяной перрон Лахти.

Кто-то крикнул мою фамилию, я очнулся и вспомнил.

Отец привез из Финляндии три настоящих финских ножа: один большой, другой поменьше, третий маленький. Они были изумительной красоты. В кожаных черных футлярах. Рукоятки из темно-красного полированного камня. Ножики лежали в отцовском столе, и он не разрешал их брать, говорил, что играть с ножиками — дурацкое дело. А так хотелось поиграть с ними! Одно прикосновение к холодному темно-красному камню рукоятки вызывало дрожь вожделения. Мне хотелось хвалиться перед товарищами, но я не смел послушаться. Отец был строгий. Если он говорил «нельзя», это значило нельзя. Но однажды июньским утром, в понедельник, я узнал, что отца нет. И убивающее предчувствие подсказало мне: всегда. Никто больше не скажет «нельзя». Я еще не понимал. Глядя, которое случилось, мне было одиннадцать, и одна постыдная мысль — вместе с ужасным предчувствием — проскользнула в сознании: теперь я мог свободно завладеть ножиками! Вечером я тихо открыл отцовский стол, вынул все три ножика, немного поиграл с ними и спрятал в глубь ящика своего набитого карандашами и альбомами столика. Хвалиться перед ребятами не пришлось: мы переехали на окраину, я перешел в другую школу, а хвалиться перед новыми ребятами почему-то не хотелось. Вообще к этим ножикам я скоро остыл. И они постепенно исчезли. Большую финку присвоил мой сводный брат Андрей, когда его призвали в армию. Он пропал без вести в сорок третьем где-то на Севере, может быть даже на финляндском фронте. Я убежден — на финляндском. Потому что все сплетено искусно, и если потянуть нитку в устье, она непременно обнаружится и затрепещет в истоке.

Маленький ножик я подарил в минуту отчаяния одной девочке. Но это не помогло. А финку средних размеров стащил из дома двоюродный брат Гога, сирота, бродяга и бездельник, однако не без таланта: он рисовал и писал стихи. Однажды Гога припелся общарпанный, грязный, то ли с вокзала, то ли из тюрьмы — была осень сорок пятого, я еще работал на заводе, а он витал неведомо где, что занимало меня чрезвычайно, и была какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить, — и вот он всю ночь рассказывал о своих похождениях, пил крепчайший чай, за пристрастие к которому имел кличку Чифрист, я в увлечении записывал в блокнот словечки и песни той пучины, откуда он вынырнул на мгновение, надеялся когда-нибудь словечки использовать, но не использовал никогда, а наутро он исчез вместе с финкой. Мы встретились через много лет. Были еще финские сани — потткури. О, потткури! На них катались так: один везет сани, держась за спинку стульчика и отталкиваясь ногой, как на самокате, а другой барином сидит впереди на стульчике. Ездили по плотно укатанной снежной дороге. Я стеснялся громоздких саней, невиданных у нас, а мальчишки Серебряного Бора останавливались и глядели, разинув рты. В этих санях было что-то холуйское. Один непременно выглядел холуем. В конце войны мы возили на потткурях картошку. И еще вот что: лыжи марки «Лампинен». Отец привез три пары. Когда вернулись из эвакуации и приехали на дачу, увидели разбитую дверь, пустую квартиру, мебель пропала, ни одной пары лыж не осталось в прихожей, где они стояли обыкновенно в углу. И в сарае ничего не оказалось, кроме изломанных потткурей: на них-то и возили картошку.

Но был конец 1942 года, и мы — бабушка, сестра и я — радовались тому, что вернулись, что немцы отогнаны, что в Сталинграде окружена громадная немецкая армия, и на пропавшее барахло было



наплевать. Кое-кто из соседей стал приносить вещи, говоря, что взяли, чтоб сохранить. Одна женщина принесла самовар, из лесничества притащили шкаф с плоскими выдвигаемыми ящиками, откуда-то возникла старая лампа со ржавым римским воином. Но лыжи не возвращались. Года через два я заглянул в сарай нашей дворничихи Маруси — взять дрова, которые она обещала, — и увидел тонкие черные лыжи, стоявшие у стены, полуприкрытые листом фанеры. Я сразу узнал отцовскую пару «Лампинен». «Маруся, — сказал я. — Это наши лыжи». «Почему ваши?» — удивилась Маруся. «Я их узнал. Это отцовские. Он привез из Финляндии. Тут и марка финская есть. Видите, выбито: «Лампинен»...» Лицо Маруси, пожелтевшее и худое, выражало скорбное и обиженное недоумение. И она качала головой, поджимала губы, показывая, что мне не верит. «Ну как же! — волновалась я. — Вы же видите — тут написано: «Лампинен»? Вот здесь! Смотрите сюда!» «А я знаю... — бормотала Маруся, — чего написано... На них Пашка катался. Я из-за Пашки хранию, а то бы продала. У меня просят». Пашка, Марусин сын, пропал на войне без вести. Он был старше меня на два года. Однажды мы с ним дрались на лодочной станции. Я собрал в охапку дрова, которые мне дали в долг, и пошел прочь. Она догнала: «Постой! А то возьми?» Я сказал: «Не возьму». Две другие пары исчезли бесследно.

Вот что я вспомнил, глядя в окно на ночную Финляндию, совсем не ту, где я жил полвека назад. Всю ночь горел розовый «Сентрум». Утром сверкало небо, скрипела на морозе дорога, самолет летел низко, я видел спящую белизною, с запорошенными озерами страну. Она искрилась под крылом, как вынутый из холодильника недорогой, свежий сахарный торт. Дороги нарезали его кривыми кусками. В самолете было жарко, и не верилось, что внизу мороз под тридцать. В Хельсинки мороз ослаб, в воздухе была сырость. Меня спросили: кого я хочу увидеть в Хельсинки? Я сказал: стариков. Нет, не потому, что интересуюсь геронтологией, не из гуманных чувств и не оттого, что тут вышел в переводе «Старик». Меня интересуют старики лишь потому, что они обладают памятью. Говоря точнее: меня интересует память. Я хотел бы найти стариков, которые помнят события семнадцатого и восемнадцатого, краткую финскую революцию, германский десант, гибель неумелых красногвардейцев, разгром, отступление и все, что последовало потом. Таких стариков мои друзья разыскали. Их осталось немного. Они рассказывали о том скудном, что сохранила память: о сражениях возле маленьких деревень, на маленьких островах, на уютных железнодорожных станциях, куда докатывались порывы и громы российской бури. Здесь тоже убивали, преследовали, брали в плен, мечтали о мировой революции, тоже кипела ненависть и властвовал страх, а смерть ведь не имеет размеров, она везде безгранична. Старики в парадных, черных костюмах немного с чужого плеча и сухогубые, в пергаментных морщинах старушки рассказывали втайне горделиво о том, как избежали смерти и прожили с тех пор еще шестьдесят лет. Это удалось мало кому.

— О да, — говорила старушка по имени Сильвия, — я была смелая. Все удивлялись, как я могла записаться в красногвардейский отряд, хотя не умела стрелять и никогда не была санитаркой. Я сама не ожидала, какая я смелая. Мне было семнадцать лет. Я работала на фабрике сначала работницей, потом в конторе. Но в красноармейском отряде работа была тяжелой: пять часов мы перевязывали раненых, потом отдых, потом еще пять часов работы. Русский фельдшер нас учил. У меня был поклонник, русский солдат, артиллерист, мы обменялись адресами, он разговаривал со словарем. Когда начался брой, мы потеряли друг друга. Я очень жалею. Он тоже удивлялся, какая я смелая. Мы качались с ним в саду на качелях...

Память, как художник, отбирает подробности. В памяти нет цельного, слитного, зато она высекает искры: она видит блестящее под луной горлышко бутылки на плотине, как чеховский Тригорин, когда описывал летнюю ночь. Чувства давно исчезли, сметены ветром, как сор, зато, выкованная из стали, сверкает подробность: качались в саду на качелях. И я ощущаю дрожь юности, надежду, страх, неведомое зимы восемнадцатого...

— Подруги мне кричали: «Иди к нам! Берегись!»,— продолжала старушка с нарастающим вдохновением,— а я кричала: «Если уж суждено, пусть я погибну!» В тот же миг в меня попала пуля, и я упала. Белогвардейцы стали подходить. Я думала: «Лучше, чтоб меня оставили, все равно умру». Я так и сказала. Но меня положили на телегу и повезли в Рихимяки. Однако в час ночи разбудили: «Оставаться в городе нельзя! Одевайтесь, надо вас вывезти!» Один эстонский красновардеец помогал мне. По-моему, я ему понравилась. Он взял мои вещи и понес в поезд. У этого эстонца была красивая темная борода. Мы прибыли в Хаммелин. Эстонец не отходил от меня ни на шаг. Больница в Хаммелине была переполнена, но меня кое-как устроили. Врач не сочувствовал красным. Он был швед, такой молодой, сердитый. Ругался из-за того, что в воскресенье заставили приехать в больницу и работать. Он все время повторял смешное шведское ругательство, я не могу его перевести, насчет сапога... сапога, который полон... вы понимаете?

Вдруг я увидел девушку на кровати, нежное синеглазое лицо, и доктора, который держал руку девушки своей громадной, в рыжем пуху лапой и, сердито шевеля губами, говорил что-то.

— Он не хотел, чтоб меня везли в другую больницу. Сказал, что я должна остаться в его больнице. Из-за моего состояния. Но мне кажется, что он говорил так потому, что он...

Тут старушка показала глазами что-то, о чем ей не хотелось говорить вслух. Она слишком много говорила об этом. В ее глазах, выцветших, слегка навывкате, сияло лукавство. Я кивал, показывая ей, что все понимаю.

— Вы понимаете? — спросила старушка, радуясь.

— Да, да. Я понимаю.

— Странно, что мне вспоминаются разные пустяки.

— И вы никогда больше не встречали ни русского артиллериста, ни эстонца, ни доктора?

— Никогда,— сказала старушка, поглядев на меня сквозь полуопущенные веки как бы сверху вниз, и выражение лица у нее сделалось горделивое. — Потом мы отступали. Нас гнали немцы, мы попали в Россию, и знаете, что меня удивило? То, что Россия такая же, как Финляндия. Я доехала до города Пермь, там заболела инфлюэнцей...

В другом доме старик в просторном, с широкими плечами черном пиджаке — старик, вероятно, сдал за последние годы и пиджак стал великоват — рассказывал:

— Потому что немцы, которые шли от Ловизы, атаковали по двум направлениям — на Лахти и Котку. Подошли к Котке очень близко. Там есть старая крепость. Все красновардеец собрались в крепости и решили дать бой. Вечером пятого марта немцы атаковали Котку, мы их отбили. Помогала нам русская батарея с острова. Сражение длилось полтора часа. Немцы быстро удалялись, а финны стали их гнать, но медленно. Тут сказались медлительность финнов. Мы гнали их до Ловизы...

Я вспомнил: летом двадцать седьмого я жил в Ловизе. Там была дача. Все было, как в Серебряном под Москвой: бревенчатый дом, дух смолы, некрашенных досок, хвои, песок, солнце и я, млеющий от блаженства и страха на солнцепеке перед бездной окна. Отец держит меня не знающей пощады рукой. Я хочу вырваться и

прыгнуть в сияние, в тепло. Он не пускает, я капризничаю, он держит крепко и думает: почему он оказался в Финляндии? Еще год назад был в Китае с военной миссией вместе с Егоровым, будущим маршалом, пересекал пустыни, вникал в запутаннейшую войну генералов и писал о том, что видел, как всегда, сумрачно и самостоятельно, что, как всегда, было не нужно. И вот: оторван от мировой революции, от вулканического гула и брошен в тишь, в озерную благодать исклокотавшейся и полусонной страны, в разговоры о кредитах, ассигнованиях, конвенциях, одни из которых следовало поощрять, другие душить. Но разве мог отказаться? С шестнадцати лет, с 1904 года, привык не отказываться ни от чего. Еще недавно ходил в сапогах, в удобнейших галифе, в кителе, а теперь — фрак, жесткие воротнички, тесная обувь. Все незаметно и стремительно удалялось от того, что было вначале. Но я не понимал этого и рвался, плача, за грань окна.

Наш дом на Альбертсгатан не существовал: был разбит бомбой в сорок первом году.

Накануне отъезда я выступал в самом большом в Финляндии книжном магазине «Стокман» перед случайными покупателями, а может быть, моими читателями — их было довольно много, они стояли молчаливой, настороженной, очень финской толпой на первом этаже между прилавками и наверху, за балюстрадой, впереди расположились на стульях старушки, пришедшие за час до начала, как они приходят к «Стокману» постоянно на все встречи со всеми, я сидел на крохотной эстраде вместе с профессором Пессо-неном, который что-то обо мне говорил, а рядом на столике громоздились бесстыдными стопками мои книги на финском и шведском, весь вид которых жалко призывал к тому, чтобы их покупали, особенно обреченным выглядело дорогое шведское издание «Нетерпения», эту книгу купил и верно лишь один человек, — и вот в конце выступления, которое длилось, как все выступления у «Стокмана», ровно тридцать минут, и когда к моему столу потянулась жидковатая очередь людей с книгами, они молча их подавали, я молча подписывал, вдруг женщина наклонилась и тихо по-русски сказала:

— Я читала статью в газете. Моя мама работала в посольстве. Она знала вашего отца.

Я посмотрел на женщину пораженный. В Москве не осталось людей, которые знали отца.

— Сколько лет вашей маме?

— Ей за девяносто. Но она еще хорошая, много помнит. Если у вас есть желание и время...

Я оказался в квартире среднего кооперативного облика, вроде какой-нибудь квартиры вблизи «Аэропорта». В прихожую вышла прямая сухонькая старушка с орлиным носом и тоже орлиным, неподвижным и внимательным взглядом и; протянув невесомую руку, сказала:

— Как приятно поговорить с русским человеком.

Возможно, она говорила это всем русским, которые ее посещали. Я подумал: Финляндия, конечно, похожа на Россию, но все же другая страна. И русские, которые тут живут, не похожи на нас. Такого орлиного, неподвижного и внимательного взгляда я не замечал у наших старух, хотя, может быть, я ошибаюсь. Девяносточетырехлетняя Елена Ивановна работала кастеляншей в посольстве, потом перешла в торгпредство, где проработала пять с половиной лет. В ее ведении находились двадцать две уборщицы, мебель, вещи. Кляузная работа! Финны очень гордые. С ними трудно работать: не терпят замечаний. Муж Елены Ивановны был финн, социал-революционер, жили в Петрограде, потом мужа арестовали, он сидел в тюрьме в Гельсингфорсе, и в 1920 году она поехала туда из Питера вместе с детьми. Поездка вышла ужасно тяжелая. И в Гельсингфор-

се жить было тяжело. После первой войны повсюду был кризис. Муж, между прочим, работал одно время с Эйно Рахъей...

Мы пили чай под низко нависшей лампой с шелковым, старомодным абажуром, который был совершенной копией абажура нашей квартиры тридцатых годов. И скатерть была похожа на нашу. И стулья тоже. Но печенье в вазочке было другое. Печенье было не наше.

— Ваш отец был симпатичный,— говорила Елена Ивановна. — Я его помню. Я ходила к нему подписывать финансовые документы. Он был вежливый, корректный и прекрасно обращался с низшими работниками. Чего, надо сказать, другие не делали. В особенности которые были другой нации...

Орлиный взгляд старушки замер не мигая, выжидательно. Я записывал. Что было делать, если ничего иного память Елены Ивановны не сохранила? Она говорила негромко, размеренно, связно — удивительно связно для почти векового возраста. Но в ее речи был изъясн: вдруг будто соскакивала на пластинке иголка. Елена Ивановна начинала повторять фразу, которую уже говорила, но об этом не помнила. Каждый раз произносила ее как бы внове, как бы она только что пришла ей на ум.

— Да, вот еще что! — говорила Елена Ивановна. — Ваш отец был очень вежливый, корректный и хорошо обращался с низшим персоналом. Чего нельзя было сказать про других. В особенности которые другие нации...

Когда она намеревалась произнести ту же мысль в третий и четвертый раз, ее дочка каким-нибудь легким движением — передвижкой сахарницы по столу или жестом, предлагавшим взять печенье, — обрывала старушку на полуфразе и переключала разговор. Старушка переключалась легко. Она рассказала, что в торгпредстве устраивались вечеринки и елки на рождество, всегда было весело. В тридцатых годах была безработица, многие из сотрудников торгпредства уехали в СССР, и она про них больше ничего не слышала. Торгпредство находилось в доме, где кинотеатр «Аполло». Все здание называлось «Аполло». Недалеко был синебрюховский пивоваренный завод. О, Хельсинки был совсем не такой, как сейчас! На Бульварной стояли одноэтажные каменные дома, но были и деревянные. Всегда наваливало много снега. Его не убирали. Снег лежал кучами. Люди катались по бульвару на лыжах, на потткурях. Было много саней, извозчиков, мало автомобилей. Все это Елена Ивановна пыталась перемежать рассказом о том, как отец относился к низшему персоналу, но дочка разными уловками пресекала старуху. И так дошло до рассказа о том, что в торгпредстве работал кучер Андерсон, он возил белье из «Аполло» на Бульварную. Дети любили садиться в его повозку, он катал их по Альбертсгатан. Я спросил: какой масти была лошадь Андерсона?

— Рыжая,— сказала старушка.— Рыжая, по имени Калле.

На другой день я поехал в Москву. Было начало февраля. Стоял прочный мороз. В натопленном купе я сидел один и думал: «Вот что странно: все умещается внутри кольца. Вначале была лошадь, потом возникла опять совершенно неожиданно. А все остальное — в середине».

19 ноября 1980.

---

---

ЕВГ. ВИНОКУРОВ

★

## НА ЗАПАД

Поэма

Я мыслю — значит, ты не существуешь.

*Эпиграф к учебнику немецкой философии.*

И я был в том походе...  
Что есть мочи  
шли на Берлин  
машины в три ряда...  
Я видел звезды  
европейской ночи,  
я проезжал  
чужие города.  
Шли в напряжении  
последнем  
люди...  
И, с беглыми зарницами  
в глазах,  
раскачиваясь  
словно на верблюде,  
пел в кузове,  
задумавшись,  
казах.  
И мой приятель,  
он был трижды ранен,  
в плечах широк,  
хотя и ростом мал,  
Иван Терентьич Красов,  
псковитянин,  
в мое плечо  
уткнувшийся,  
дремал.  
И был стихийен,  
но и страшно точен  
внутри себя  
тот океанский вал...

Машины шли на запад.  
Вдоль обочин  
пожар, ломая балки,  
бушевал.

Но рассветало.  
Робко. Еле-еле...  
И вот на синем  
белизна дымов.  
И вот дверные ручки  
потеплели  
у крытых черепицею  
домов.  
Во все концы  
растерзанной Европы  
бредет народ  
вдоль по шоссе — взгляни!..  
И Одиссеев ждали  
Пенелопы,  
и мыли окна  
в комнатках они.  
Была минами набит  
проезжий кузов.  
Походной кухни  
задымился  
чан...

Куда-то вдаль  
брела толпа французов,  
бельгийцев,  
итальянцев  
и датчан.  
И над весенним  
гвалтом  
очумелым  
тянулся  
в поднебесье  
птичий клин...  
И на борту проезжем  
было мелом  
начертано  
с наклоном:

«На Берлин!»  
 Навстречу  
 по апрельской лютой  
 грязи,  
 внимая, как курлычут  
 журавли,  
 кто с марлевой рукой  
 на перевязи,  
 а кто хромая,  
 раненые шли.  
 Летит машина  
 мимо кирхи,  
 мимо  
 стоящих  
 в шляпах с перышком  
 крестьян...  
 И клочьями  
 развеянного мифа  
 клубится  
 отрезвляющий туман...

Германия,  
 ты помнишь ли  
 начало?  
 Еще не отягченная  
 виной,  
 ты кружкою массивною  
 стучала  
 по столику  
 в задымленной пивной...

Во тьме каких  
 психических лечебниц  
 ты философский пестовал  
 талант?  
 Кто твой учитель?  
 Неужели Лейбниц?  
 Иль, может, Фихте?  
 Иль, быть может,  
 Кант?  
 Все, что решалось  
 в бесконечных спорах,  
 решил одним ударом  
 динамит...

Ах, как в кювете  
 сладко  
 пахнет порох,  
 что в виде черных палочек  
 дымит!

В тумане  
 философских спекуляций  
 ты выросал...  
 Но, выпятив живот,  
 эсэсовец,  
 затвором громче  
 клацай  
 и восклицай, осипший:  
 — Кто идет?..

И Гегелем  
 взращенная держава  
 среди умозрений  
 всяческих благих  
 дала навек  
 незыблемое право  
 себя любить  
 и не любить  
 других?  
 Тогда была идея эта  
 внове,  
 как эгоизм, как мир,—  
 и свежей  
 страсть...  
 Как сладостно  
 чужой отведать крови,  
 к чужому телу  
 трепеща припасть!  
 Как властно было  
 обаянье зова,  
 одна сплошная  
 голая  
 корысть —  
 любить свое  
 и не любить чужого  
 и, коли надо,  
 горло перегрызть!  
 Та истина простая,  
 словно репа,  
 и свой набрюшник  
 свой согреет пуп!  
 Ведь проповедь  
 любви к другим  
 нелепа,  
 завет о милосердьи  
 просто глуп!  
 А совесть что?  
 И, разобраться чтобы,  
 мыслитель взор  
 в простор небес вперял...  
 Но клокотанье  
 стонущей утробы  
 действительней,  
 чем баховский хорал!  
 Нет ничего на свете,  
 кроме правил  
 для действия  
 вооруженных сил?..  
 А помнишь,  
 что за чушь  
 апостол Павел  
 о равенстве людей  
 провозгласил?

Германия,  
 ты заплатила щедро —  
 в развалинах  
 дымятся города!

Я всматривался  
в лица немцев —  
тщетно!  
Не видел  
покрасневших  
от стыда.

Машины шли на запад...  
Вдруг я замер:  
так вот он, этот небывалый  
ад!  
У газовых  
у сатанинских  
камер  
как бы в пижамах  
пленники  
стоят.  
А там,  
последней  
занята уборкой,  
толпа каких-то  
тощих старичков,  
там, где бараки,  
где белеет хлоркой  
уборная вдаль  
на сто  
очков.  
А вот вещей  
пестреющая груда,  
сорочек, брюк,  
рубашек, панталон,  
почти до неба  
поднималась круто  
как некий  
безобразный  
Вавилон.  
Имущество  
погубленных зловеще.  
Дымок восходит  
по печной трубе!  
И оказалось:  
собранные вещи  
реальнее в сто крат,  
чем вещь в себе.

Машины шли на запад...

У шофера,  
устав,  
дрожали руки  
на руле...  
Застряла средь  
шумящего затора  
машина наша  
марки «шевроле»...

Мы слезли,  
чтоб размяться.  
Ваня Красов  
спустился осторожно

под откос.  
И встал  
безмолвно  
у горы матрасов  
из мягких  
человеческих  
волос...  
На грязной свалке  
оступаясь в жижу,  
среди жестянок,  
что сдают в утиль,  
в лохмотьях небывалых —  
что я вижу?  
О женщина,  
не ты ль бредешь,  
не ты ль?  
На пепелище,  
забредя в траншею,  
там, где недавно  
проходил рубеж,  
нечесаная,  
опустивши шею,  
о женщина,  
ты что там громко ешь?  
И вот в опорках,  
хмура и кудлата,  
в развалинах,  
где прыгают коты,  
в Европе дикой  
ты бредешь куда-то...  
О женщина,  
неужто это ты?..

Машины шли на запад...  
В грязной робе,  
нечесаная, поднялась  
она...  
А я, качаясь,  
думал о Европе.

В тот год,  
когда  
в нее пришла  
война,  
в Европе этой  
миллионной,  
нищей,  
блистающей,  
нечистой  
по углам,  
в той, что обелась  
философской  
пищей,  
все было в свете  
мертвенных реклам!..  
Так  
вот что значит  
заниматься  
сутью:

от схем сухих —  
на мокрые дела?!

К трагическому,  
право,  
перепутью  
Европа  
пред войною  
подошла.  
Порыв  
к объединенью  
был неистов:  
цеха, альянсы,  
партии...  
Поя,  
шли  
демонстранты!..  
Даже эгоистов  
союз был создан  
под названьем  
«Я»...

Что за картина,  
вздорна и  
цветиста,  
горит пятном  
на стене меловом?  
То огненный плакат  
супрематиста  
трезвонит о безумстве  
мировом!  
К чему все время  
толковать о Фрейде,  
ведь человек —  
животное,  
примат...  
И вот уж крейсера  
дымят  
на рейде...  
Пора уже  
брат в руки  
автомат!  
Уже в ходу  
солдатская манера  
в вопросе единения  
полов.  
И в старом Лувре  
вечная Венера  
глядит в ничто, туда,  
поверх голов...  
Ну вот, допустим,  
в нашем веке  
некто  
влюбился  
в некую,  
впадает в раж...  
Любовь?  
То сексуального  
объекта  
переоценка!..

Фикция!  
Мираж!

Куда пойдешь ты  
с философской  
ратью,  
чья мысль зыбка,  
как на ветру  
свеча?!  
И вот  
ефрейтор  
с вымокшею прядью  
вдруг узел гордиев  
рассек  
сплеча!..  
Европа,  
ты радела  
о порядке...  
Вот он пришел,  
ты слышала  
шаги?..  
То по твоей  
классической  
брусчатке  
подкованные  
били  
сапоги!

Машины шли на запад...  
С полусвета  
невольники  
с трудом месили  
грязь...  
Сидел старик  
с котомкой  
у кювета,  
над Библией истрепанной  
склоняясь.  
Кричала мать,  
в тоске обезголосив,  
в библейскую эпоху,  
в старину,  
она звала:  
— Иосиф! Ах, Иосиф! —  
Так плачут  
по покинутым  
в плену...

Германия,  
ты молишься о чуде,  
из-под развалин  
выбравшись едва...  
Но, может быть,  
погибли только  
люди?  
А та идея  
все-таки жива?  
И та идея —  
как трава под снегом?..  
И хочется задать



вопрос в упор:  
 не станут ли  
 опять  
 мечтать о неком  
 мессии новом,  
 точащем  
 топор?  
 А на него  
 есть, знаю, кандидаты.  
 Они забыли  
 Нюрнбергский суд?  
 Они давно  
 те позабыли  
 даты!  
 Они по той же  
 тропочке идут!  
 Они тонки,  
 они вполне  
 любезны  
 и даже образованны  
 весьма?  
 И стоит ли гадать,  
 кто —  
 зверь из бездны  
 иль просто так —  
 мерзавец  
 из дерьма?  
 Не может быть  
 на свете  
 много родин.  
 Одну, конечно,  
 нам судьба дала...

Германия,  
 зачем кровавый Один  
 тебя повел  
 на страшные  
 дела?  
 Как подло  
 прорицатели нагали!  
 Кто влек тебя  
 на гибель?  
 Психопат!..  
 И души павших  
 в сумрачной Валгалле,  
 всё наконец-то  
 понявши,  
 вопят!

Германия,  
 тома стихов и прозы  
 хранит в себе  
 история твоя...  
 Мыслитель твой  
 в упор задал вопросы:  
 «Есть бытие?» —  
 и: «Нет небытия?»

Германия,  
 зачем ты в вечном

раже  
 тянула  
 философское ярмо,  
 коль под вопросом  
 оказалось  
 даже  
 уже существование  
 само?  
 В саксонском замке,  
 где меж сводов  
 сонных  
 глаза философических  
 особ,  
 эсэсовец  
 в трагических кальсонах  
 встает  
 и пулю посылает  
 в лоб.

Германия,  
 к чему века учебы?  
 Он мимо вас  
 прошел, двадцатый век,  
 книгохранилищ  
 древние чащобы,  
 дремучие леса  
 библиотек!

Германия,  
 вон узенькие горсти  
 детей, глотавших  
 горькую слюну,  
 вон рвы и рвы,  
 там черепа и кости  
 на двадцать километров  
 в глубину!..

Машины шли на запад...  
 Прямо в веки  
 бил ветер,  
 мне дремалось  
 под шумок  
 мотора...  
 Я же думал все  
 о веке,  
 который про себя  
 сказать бы мог:  
 «Я кривизною  
 наделил пространство  
 и мир создал  
 из малого зерна,  
 я времени  
 придал непостоянство,  
 перемешавши в мире  
 времена.  
 Как путаница  
 невообразима!  
 Что будешь делать тут?  
 И чья вина?..»

Машины шли на запад...  
 Мимо, мимо  
 летела  
 черепичная страна.  
 Что знал я  
 до войны?  
 Куда как мало.  
 Тот мирный быт  
 я вспоминаю так:  
 парк Горького,  
 где с девочкой,  
 бывало,  
 бродил,  
 и газировку  
 за пятак.  
 И смутно-смутно:  
 на Арбате  
 школа,  
 ответ задачки,  
 помню,  
 без дробей...  
 И что еще?  
 Да, сетка волейбола!..  
 А далее не помню —  
 хоть убей!..  
 Но к устью путь  
 находят сами  
 реки...  
 Я жил на свете,  
 истиной влеком...  
 Я сам решил,  
 в каком родиться веке,  
 в каком году  
 и в городе каком.  
 И сам себе  
 задал вопрос я:  
 «Помнишь  
 тот хрупкий час  
 последней тишины?  
 Нужно ль тебе  
 из всех возможных  
 поприщ  
 немислимое  
 поприще  
 войны?»  
 Кем быть хотел я?  
 Храбрый иль нехрабрый,  
 не знал, что,  
 брюки закатав на треть,  
 вооружусь однажды утром  
 шваброй  
 и буду  
 пол казарменный  
 тереть.  
 А нары были  
 безнадежно голы.  
 И я отдраить  
 грязь никак  
 не мог...  
 А за спиною

девять классов  
 школы  
 и отрочества  
 розовый  
 дымок!

Машины шли на запад...  
 После мрака  
 уже веселый  
 занялся рассвет...  
 Я думал:  
 «Человечество, однако,  
 должно какой-то  
 все ж создать  
 запрет!»  
 Что знаю я?  
 Но так идет  
 из века:  
 ударь-ка —  
 и в кровавую грязь  
 вмиг превратится  
 облик человека,—  
 нельзя бить  
 человека  
 по лицу!..  
 Ведь в древности не зря  
 согбенный старец  
 с глубинными морщинами  
 на лбу,  
 седой,  
 высоко поднимает палец,  
 произнося бессмертное  
 «табу!»...  
 И все же  
 человеческие лица  
 вещь не простая.  
 Вечна  
 та игра!  
 Да, там,  
 во мраке, все же  
 шевелится  
 в душе любого  
 червячок добра...

Машины шли на запад...  
 Неужели,  
 я думал,  
 у разрушенной стены  
 я упаду  
 в пять шагах от цели,  
 за день  
 от окончания войны?..  
 Представил я:  
 у фотомагазина,  
 в кинотеатрике  
 на сорок мест  
 моя девочка смотрит  
 «Штурм Берлина»  
 и медленно  
 мороженое ест.



в тени дубов  
немецкою весной!..

Машины шли на запад...  
Вот и будка,  
шлагбаум,  
пункт  
контрольно-пропускной.  
Нас замотала  
тягостная качка.  
Смотрю: дивчина —  
и флажок в руке...  
Я, за борт свесясь,  
говорю:

— Землячка!

Как нам проехать,  
милая,  
к реке?.. —  
Пробраться  
сквозь развалины  
непросто.  
Но громкий  
мат  
уже стоит  
окрест:  
то около  
подорванного моста  
на всю округу  
гомонит объезд.  
Лишь шаткий мост  
наладил саперы,  
пошли по той  
трясущейся стезе  
орудья, танки,  
бронетранспортеры,  
обозников лошадки и БЗ<sup>1</sup>.  
И посредине гомона,  
о чудо,  
среди лавы той,  
текущей  
в три ряда,  
я вижу  
горбоногого верблюда,  
от волжских вод  
дошедшего сюда!..

Я размышлял  
под мерный  
гул мотора,  
в истории  
не смысла  
ни аза:  
«Ну да,  
нужна  
прямая мощь напора,  
но ведь нужны  
подчас и тормоза!»  
Традиция!

Оно святое,  
слово,  
хотя оно,  
казалось бы,  
старо,  
оно учило  
опасаться злого  
и, словно в сказке,  
возлюбить  
добро.  
Ромашками  
раскрашена кулиса,  
нас театральный  
трогает лубок.  
Вот мудрая  
вступает Василиса —  
и на ладони  
белый голубок!..  
Иль тот цветочек,  
что сияет ало!  
Сидели мы,  
наивны и чисты.  
Нас в детстве,  
помнишь,  
плакать заставляла  
безумная  
загадка доброты!..

Качало,  
и усталость  
гнула шею...  
Я размышлял:  
«Что впереди там?»  
Бой...  
А за спиной  
был край мой  
со своею  
нелегкой и таинственной  
судьбой.  
В самопрозвание нации,  
пожалуй,  
есть связь прямая  
с главною чертой:  
так, Франция  
звалась прекрасной,  
старой  
и доброй —  
Англия,  
а Русь звалась  
святой!..

Машины шли на запад...  
Ваня Красов  
сказал,  
взглянув  
лукаво  
на меня:  
— Ну да,  
из ложкарей,  
и богомазов,

<sup>1</sup> Бензозаправщики.

и дегтегонов  
 вся моя  
 родня.  
 Но дед мой Кузя,  
 при свече из воску,  
 я помню,  
 был  
 печален и велик,  
 когда он кистью  
 наносил  
 на доску  
 в избушке мрачной  
 человеческий лик...

Наш друг казах  
 Ильяс Жармогамбетов,  
 раздвинув скулы,  
 яростно зевнул  
 и, воблой с сухарями  
 отобедав,  
 мотив протяжной песни  
 затянул.  
 Он мог бы  
 петь:  
 да, мы друзья по ранам  
 и вместе быть  
 века нам суждено.  
 И в этом  
 я клянусь святым Кораном,  
 в который не заглядывал  
 давно.  
 Еще клянусь я  
 ежедневным риском  
 и жребием,

нам посланным  
 с высот,  
 и тем палящим  
 вихрем евразийским,  
 который нас  
 в Германию  
 несет!

Машины шли на запад...  
 Баня Красов  
 отставил ногу  
 и кисет достал...  
 Он пред войною кончил  
 восемь классов  
 и Канта,  
 я уверен,  
 не читал.  
 Но он сказал:  
 — Какие, право, звери!  
 У нас в деревне  
 знают испокон:  
 в душе ведь должен быть  
 по крайней мере  
 какой-то  
 человеческий закон! —  
 Я отвечал:  
 бредущих по дорогам  
 вот этих  
 все же к мысли  
 привело:  
 легко быть зверем  
 и легко быть богом,  
 быть человеком —  
 это тяжело.



---

---

ВИКТОР ПОТИЕВСКИЙ

★

АВГУСТ

Засветился высокий стог.  
Заалел горизонт полоской.  
И по белой дороге плоской  
Побежал ночной ветерок.  
Улетели в закат седой  
Журавли. Превратились в звезды.  
И туман раскачали сосны.  
И заплакал вдруг козодой.

И не стало прожитых лет.  
И легко. И дурманит сено.  
Словно солнце еще не село  
На болото за ближний лес.  
Я иду, судьбою храним,  
Дорога мне эта дорога,  
И луна на вершине стога,  
И земля, что лежит под ним.

Опушка

Гроза ударила в сосну  
Тяжелой пикой раскаленной  
И ствол столетний расколола  
И расколола тишину.  
И мрак забвения украдкой  
Опушку тотчас очертил.  
И тень неведомой утраты  
Я в то мгновенье ощутил.  
Стояла только что сосна,  
На мир взирала словно с трона,

Но вот уже исчезла крона,  
Огнем небесным сожжена.  
И в изумленной тишине  
Трещало погребально пламя,  
Смолу еще живую плава  
И оплавляя сердце мне.  
И жгли сверкающие брызги,  
И ночь огнем мне щеки жгла,  
Как будто человеком близким  
Сосна погибшая была.

\* \* \*

Мы были третий день на марше. За бруствером, на огневой  
И где-то в маленьком селе Он  
Комбат сказал, что умер маршал — с этим маршалом  
Солдат, известный всей земле. был ранен  
Шла батарея, шаг чеканя, Одним снарядом. Под Москвой.  
Шинелью пахла тишина. И их трясло в одной машине  
И звонко, будто вслух читая, До лазарета битый час,  
Бросал команды старшина. Он видел горькие морщины  
Потом наигрывала хромка. У полководца возле глаз.  
Был перекур. Был листопад. Сумел их породнить когда-то  
И я запомнил, как негромко Тяжелый вражеский снаряд...  
Проговорил тогда комбат, И до сих пор в мозгу комбата  
Что не забыть ни землям русским, Огни былых боев горят.  
Ни тем, кто в эти земли лег, Был маршал резок,  
И скрежет танков мудр

там, и точен,  
под Курском, И армии его — грозны.  
И дым, и кровь, и грязь дорог. А умер вот  
Горели в танках наши парни, сегодня ночью,  
В огне качалась мгла ночей, Когда давно уж нет войны...  
И кровь сочилась из траншей Так говорил мне командир мой  
Раздавленных германских армий. Про те былые времена.  
И зимним Идут года дорогой мирной...  
дымным А в нас еще живет война.  
утром ранним

---

---

А. ФАЙНБЕРГ

★

## ПОСЛЕ ЗИМЫ

Почувяв радостный аврал,  
прут стекла из оконных рам.  
Сирень, готовая взорваться,  
безмолвно стонет по дворам.  
Бессвязна у подростка речь.  
Платок подруги рвется с плеч.  
От сквозняка в ночном подъезде  
их никому не уберечь.

А талый ветер на лету —  
как юный сплавщик на плоту.  
Взлетает шест его крылатый  
в распахнутую высоту.  
И лично звездам из окна  
поет скрипичная струна.  
Весна! По венам и по веткам  
гудит голодная весна.

\* \*  
\* \*

Ты узнай этот звук улетающих плещущих крыл.  
Это звук над землей, где тебя я всей кровью любил.

Это изгнанных птиц невозвратный ночной перелет.  
Это лунной дороги труба золотая поет.

Ты узнай этот звук, пока он не растаял вдали.  
Это звук над землей, где мы счастье и горе сплели.

Над твоими глазами, что были ночами светлей.  
Над землею осенней, прощальной землею моей.

Это звук расставанья и следом летящей зимы.  
Это звук над землей, где друг друга не поняли мы.

\* \*  
\* \*

Еще по дачам шествуют павлины.  
Но тучи крепнут в горных небесах.  
Летит с Тибета ветер на долины.  
И две реки желтеют на глазах.  
Все холодней становится погода.  
И осень осеняет две четы —  
два медленно плывущих небосвода  
и двух пустынь песочные часы.

---

---

ВИКТОР СМИРНОВ

★

## УТРО

Исчезнут из памяти лица,  
Что были когда-то близки,—  
Как будто бы их ученица  
Стирает со школьной доски.  
Стирает с ухваткой обычной,  
Забыв, что я рядом стою.  
И гордо с оценкой отличной  
Садится за парту свою.

И словно смеется: «Учитель,  
Задайте сложнее урок.  
Заранее только учтите —  
Я знаю его назубок».  
Спросить бы про нашу разлуку.  
Спросить бы про нашу любовь.  
Боюсь: беспощадную руку  
Поднимет отличница вновь...

\* \*

Мы от слепой любви ушли,  
Моя любимая, с тобою.  
Ошибки прошлые учли —  
И жить решили головою.  
Но стало тошно нам от ясности  
И пусто, буднично в душе:  
Где есть лишь пониманье радости,  
Там нету радости уже.  
Грустим, наказаны судьбой.  
Пойми — могло ли быть иначе:  
Любовь рождается слепой  
И гибнет, если станет зрячей...

\* \*

Проснулся в четыре часа.  
Хоть выколи очи — не спится.  
В окошко глядят небеса.  
Гудит, просыпаясь, столица.

И дворник метлой во дворе  
Сурово листву подметает.  
Для сладкого сна на заре  
В Москве петуха не хватает...

Смоленск.

---



---

---

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН

★

## ПАМЯТИ ПОЭТА АЛЕКСЕЯ ЖАВРУКА, ПАВШЕГО СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ

В те годы взгляд свой утопя,  
Я осознаю вдруг,  
Какое имя у тебя!  
Жаворонок — Жаврук.  
Ты вправду в небо был готов  
От радости взлететь.  
«Дняпро выходзіць з берагау»  
Ну как тут не запеть!  
Свежа, пахуча, зелена  
Была твоя строка,  
И мне запомнилась она,  
Щемящая слегка.  
Как будто в радости твоей  
От юношеских лет  
Был привкус будущих скорбей,  
Утрат кровавый след.  
Но это кажется теперь,  
Бог знает сколь спустя.  
Весенний ветер ломит в дверь,  
Ликуя и свистя.  
А мы не встретились с тобой,  
Как разные миры,

Ворвался в жизнь последний бой,  
Лишь в слове мы — сябры<sup>1</sup>,  
Сябры, товарищи с тобой  
В работе и в борьбе.  
Мы сроднены твоей строкой,  
Моею — о тебе.  
Не довелось состукнуть рук,  
Плечом плечо толкнуть,  
И все же — здравствуй, добрый  
друг,  
Взлетай, мой жаворонок, жаврук,  
Навечно — в добрый путь!  
Иных печалей не узнал  
И горечей иных,  
И песни ты не запяtnал  
Печалью из-за них.  
И пусть чиста, звонка, добра  
Звучит она и впредь,  
Она и нынче не стара,  
С ней будет легче, коль пора  
Наступит умереть.

---

<sup>1</sup> Сябры — друзья (белор.).

---

ЧАРЛЬЗ СНОУ

★

## ЛАКИРОВКА \*

Роман

29

**В**се в том же промозглом октябре, два дня спустя после посещения морга, Хамфри услышал у себя на лестнице быстрые шаги. Эти шаги он узнал бы где угодно. Кейт не предупредила его, что придет. Был ранний вечер: значит, она только что вернулась из больницы. Войдя в комнату, она поцеловала его и быстро заговорила, точно отрепетировала эти слова и не хотела, чтобы он ее перебил:

— Я по-прежнему не могу пойти на все, чего вы хотите. Я не хочу, чтобы вы неправильно истолковали мой приход. Но ждать без конца — это бессмысленно. Если не все, то хотя бы часть.

Она не притворялась, не оправдывалась, не искала опоры в выдумках. Хамфри растерялся. Обычное спокойствие покинуло его. Молча, обнявшись, они прошли в спальню. Разделись. Словно давно уже были мужем и женой.

И плоть была добра к ним.

Потом, лежа в его объятиях с помолодевшим лицом, Кейт шепнула:

— Как хорошо! Всегда. Всегда, когда захочешь.

По стеклам хлестал дождь. Сгущалась ночная темнота. В такую ночь хочется искать приюта в постели. Кейт блаженно вздохнула. Потом чмокнула его в щеку и сверкнула на него своей непочтительной ухмылкой.

— Я все время гадала, когда же ты наконец решишься, — сказала она.

Он высвободил руку и шлепнул ее. Плоть была такой же непочтительной, как она. Плоть была добра к ним.

Уютные минуты в полумраке, перестук капель по стеклу. Постельная болтовня. Она сказала:

— Я хотела бы поговорить с тобой.

Он приподнялся, но она сказала:

— Нет, сперва оденемся. Я не хочу, чтобы мы отвлекались. И, пожалуй, прежде выпьем, ладно?

Они почти не говорили, пока не вернулись в гостиную — Кейт в аккуратном рабочем платье, Хамфри в своем обычном костюме, оба с рюмкой в руке. Словно сговорившись, они сели не рядом на диван, а в кресла напротив друг друга.

— Я стараюсь быть честной, — сказала она. — Только это труднее, чем хотелось бы.

— Я тебе доверяю, ты знаешь, — сказал он.

— Да, знаю. И я доверяю тебе. Абсолютно. Но все равно это трудно. Я хочу тебя всего, целиком, — вдруг вырвалось у нее. — Мы ведь подходим друг для друга, правда? — Она сказала это чуть неуверенно: ей было очень нужно, чтобы он ответил то, что ответил:

— Я это давно знаю.

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 5, 6 с. г.

— По-моему, и я давно. Только я боялась, что вдруг обманываю себя. Ведь я не такая уж находка, верно?

— Ты слишком строга к себе...

— Вовсе нет. Но нельзя сказать, чтобы мужчины дрались из-за меня.

— Потому что дураки.— Хамфри уловил ее недоверие к себе как к женщине и решил ему не потакать.

— Спасибо.— Выражение ее лица было непривычно кротким.— Но все равно, я знаю, что мы созданы друг для друга. Это чудо, но я не могу не верить в него. Иногда. И потому было бы еще чудесней, чем я даже мечтала, дать тебе все, что ты хочешь. Но я не могу, пока не могу — вот что я пытаюсь тебе сказать. Ты должен быть терпелив. Я тебя ужасно люблю, но я ведь не вполне свободна.

Хамфри сказал напряженно, но мягко:

— Ты все еще его любишь?

— Нет. Не так, как тебя. Но, прожив с человеком пятнадцать лет, невозможно порвать все связи сразу. Я все-таки должна о нем позаботиться. Любовь моя, ты сильный человек. И всегда умел обходиться без чужой помощи, ведь так?

Очень близко, слишком близко к тому, что сказал Лурия в тот вечер в пивной, думал Хамфри, а она повторяла:

— Ты же все можешь сам. По-настоящему.— Она улыбнулась в ответ на его улыбку, но механически.— А он — нет. Он совсем беспомощен.

— Но, согласишься, так не может продолжаться вечно.

— Нет,— сказала она громко,— речь не об этом. Я что-нибудь придумаю. Я долго не выдержу. Особенно если ты хочешь, чтобы я была только с тобой.

— Для меня тут нет никаких «если»,— сказал Хамфри.— И ты это знаешь не хуже меня. А вот для тебя? Ты же не можешь сказать мне, когда ты хотя бы надеешься стать свободной. Даже сегодня, сейчас не можешь. Ведь так?

— Не сердись на меня, потерпи еще немножко. Обещаю тебе. Я тебя люблю, и я все сделаю.

Хамфри глядел на нее и верил. Более того, он хотел верить. Любовь всегда несет в себе спокойную уверенность, противостоящую неопределенности будущего.

— А пока...— начала она с твердостью, которой не чувствовала.

— Что пока?

— Пока тебе придется довольствоваться тем, что у нас есть.

Он глядел на нее не отвечая.

— Ты так хорошо умеешь извлекать всю полноту даже из небольшого,— сказала она, словно упрасывая.— Ты же сам знаешь, что у тебя талант быть счастливым.

— Если так,— ответил Хамфри на этот раз с обычной своей улыбкой,— то, должен признаться, я очень ловко его скрывал.— Он добавил: — Девочка моя, это у тебя талант быть счастливой. Какого я ни у кого не встречал. Именно это, в частности, мне сразу в тебе понравилось.

Но к ней уже вернулись обычная решимость, смелость и трезвость.

— Будем надеяться,— сказала она,— что он пригодится нам обоим.— И продолжала: — Пока я еще не могу сделать всего...

— «Пока» — очень долгий срок.

— У нас будет не так уж мало. Я почти всегда могу найти время. Вот как сегодня. И подольше.

— Он что-нибудь знает?

— Не имею ни малейшего представления.

— Правда?

— Тебе я лгать не стала бы. Не имею ни малейшего представления. Никаких вопросов он задавать не будет. Мы можем видеться очень часто.

— Лучше, чем ничего! — Это было сказано с саркастической нежностью.

— Да, да. Постель — когда хочешь. Я ведь уже сказала.— Она нахально ухмыльнулась, как маргышка.— Полезно обоим.

— Да.

— Не думай, будто я не знаю, что не даю тебе всего, чего ты хочешь. Ты ведь никогда не получал полностью того, чего хотел, ведь так? Господи, не понимаю почему! Уж ты-то был создан прожить хорошую жизнь.

— Господь тут ни при чем,— сказал Хамфри.— Если кто-нибудь и виноват, то я сам. Что-то не так в характере, в душевном складе. В общем, что-то да не так.

— Чепуха, милый. Чистейшая чепуха. Просто не повезло! — Она помолчала, а потом сказала, заставляя себя признаться: — Мне ведь тоже мало доставалось того, чего я хотела.

— Я догадывался.

Она поколебалась.

— Мне неприятно быть нелояльной по отношению к нему, — сказала она. — Даже теперь. Но пойми одно: душевной близости между нами не было. С самого начала. Даже в том, что, казалось бы, зависело от меня. Ты, наверное, считаешь, что я была очень практичной? Совсем нет. В юности у меня были всякие заветные мечты.

Хамфри снова вспомнил рассуждения и советы Алека Лурии. И пожалел, что Алек Лурия не может послушать этот разговор.

А Кейт продолжала:

— Ты знаешь, как он всегда заботится о своем здоровье?

Хамфри засмеялся.

— Ну, так года четыре назад, — сказала Кейт, — когда мне было лет тридцать пять — тридцать шесть, он поговорил со мной очень серьезно. Он беспокоился из-за своего давления. Он посоветовался с врачом. Необходимо принять меры, чтобы его давление не повышалось. Иначе он не сможет мыслить. Иначе его жизнь может оборваться раньше срока. И потому он вынужден спросить меня, буду ли я возражать, если мы прекратим супружеские отношения.

Хамфри не сомневался, что Монти употребил именно эти слова.

— Хотя прекращать особенно было нечего.

— А что ты ответила? — спросил Хамфри просто и нежно.

— Согласилась, конечно. Я считала, что обязана со всем соглашаться. Хотя это было не так-то уж легко. Я ведь не то чтобы очень холодная женщина. Как ты, возможно, только что обнаружил.

Она фыркнула, он тоже засмеялся. Удовлетворенно и, может быть, с предвкушением.

Вскоре можно было вернуться в постель. Они ничего по-настоящему не выяснили. Она попыталась объяснить, но что, собственно? Обещания на будущее... Но они верили друг другу и — более того — испытывали безмятежную радость, словно хотя бы сегодня им достаточно было одного настоящего.

Им надоели объяснения, как бывает после супружеской ссоры, хотя они не ссорились. И вот тогда рассеянно, словно чтобы переменить тему, Хамфри заговорил про Сьюзен. Он уже давно полагался на Кейт как на надежную союзницу, а теперь это разумелось само собой. И он рассказал все, что полиция знала или подозревала о том, где была Сьюзен вечером в ту субботу.

— Довольно-таки неожиданно! — Кейт кивнула, внимательно глядя на него.

— Не понимаю?

— Ты правда веришь, что это была Сьюзен? Болталась во дворе?

— Ты ее гораздо лучше знаешь, чем я. Как по-твоему?

Она стала расспрашивать его про алиби Лоузби. Неопровержимо, сказал он. Весь тот вечер, а возможно, и весь следующий день Лоузби провел с беднягой Гимсоном. Лоузби меньше всего можно было назвать чистым, но в одном отношении он чист: в тот вечер он не входил в дом своей бабушки.

— Я воспитана как-то не по нынешним временам, — сказала Кейт, вспоминая отца, добпорядочного офицера старой закалки. Что бы он сказал про Лоузби?

— Лоузби — свободная душа. Мы с тобой кое в чем ограничены. Совсем свободные души встречаются не так уж часто, даже теперь.

— Ну, если это — свободная душа, господь избави меня от них.

Но если с Лоузби все ясно, то где же была Сьюзен? В понедельник — с Лоузби, разрабатывая ту версию субботней ночи, которую он и она затем изложили полиции, как было сообщено Хамфри, с самыми откровенными подробностями. Хамфри, не слишком любивший смаковать непристойности, тем не менее пересказал кое-какие детали. Кейт расхохоталась.

— Ну и девчонка! — воскликнула она.

Но все-таки где была Сьюзен в субботу? И почему после всего этого Лоузби на ней женился? Ни Хамфри, ни Кейт не могли понять, как она в конце концов подцепила его на крючок.

— В находчивости ей не откажешь,— сказала Кейт.— Все-таки она дочь своего отца.

— Но нас это не продвигает вперед ни на шаг, не так ли?

Она спросила резко, горячо, почти обвиняюще:

— Почему она тебя так интересует?

Он ответил столь же прямо:

— Ты ведь знаешь, что Фрэнк Брайерс — мой друг? И я был бы рад избавить его от лишних хлопот.

— Он тебе действительно нравится?

— Очень.

— Почему?

— Он честен, как ты, а это большая похвала. И он делает дело. В целом я предпочитаю таких людей.

— Мне он показался очень жестким.

— Не жестче, чем бываем почти все мы, когда чего-то добиваемся.

Она не часто stalkивалась с мрачным стоицизмом Хамфри, но ее обрадовало, что его мягкость имеет пределы.

— Ну хорошо, пусть так,— сказала она, вовсе не имея в виду Фрэнка Брайерса. Секунду спустя она добавила: — Послушай, ты же можешь поговорить с Полем Мейсоном? (Хамфри кивнул.) Не исключено, что от него ты узнаешь что-нибудь про Сьюзен. Если тебе это нужно.

Хамфри объяснил, что, собственно, все сводится к вопросу, можно ли вычеркнуть ее из списка подозреваемых или нет. Лоузби уже вычеркнут. Ее отец тоже.

— Правда, я точно не знаю, есть ли у Поля полезные для тебя сведения.

— Откуда они могут у него быть?

— А тебя еще считают наблюдательным! Неужели ты не заметил, что она взялась за Поля, когда Лоузби начал к ней охладевать? Назло ему. А может быть, Поль ей нравился. Я бы на ее месте сразу его предпочла. И в любом случае он мог что-нибудь услышать.— Она с улыбкой потянулась.— Я не так уж уверена, что тебе вообще следует этим заниматься. Но раз ты считаешь, что следует, я спорить не буду. А сейчас, по-моему, хватит об этом, верно?

В отличие от жены Фрэнка Брайерса ею двигала не чувствительность. Кейт заботил только он. Она не хотела, чтобы он вновь вернулся к своему прежнему замкнутому существованию. Он становился совсем другим, когда вырывался на свободу. И в этот вечер, выжидающе поглядывая на него, она жалела, что не могла встретиться с ним в дни его молодости.

### 30

Приятно, размышляя Хамфри, последовать совету женщины, которую любишь, особенно если совет кажется здравым. А потому Хамфри пригласил Поля Мейсона пообедать с ним и предложил клуб Брукса — единственный клуб, членом которого он остался. Хотя молодое поколение клубами пренебрегало, Поль по роду своих обязанностей теснее соприкасался со старомодным образом жизни, и клуб Брукса был вполне подходящим для него фоном. Туманный ноябрьский вечер был теплым, безветренным, полным тихого покоя. Хамфри решил пойти пешком через парк.

Не то чтобы он так уж искал тихого покоя. Наоборот, он, словно в молодости, испытывал душевный подъем, потому что обрел любовь и все только начиналось. Он поймал себя на том, что вглядывается во встречных и думает о том, какие они все скучные, не умеющие радоваться люди, — довольно-таки нелепое настроение для человека, который никогда не верил, что может быть счастлив. А о предстоящем вечере он думал с удовольствием. При всем своем сухом рационализме Поль был умным и интересным собеседником. А кроме того, от него, возможно, удастся получить какие-нибудь сведения. Нет, мысль пригласить его была очень удачной.

В этом тоне они и начали — в живом, веселом, беззаботном. Они спустились в нижний бар. Он был почти пуст, и они уединились на диванчике в углу. Поль с любопытством расспрашивал Хамфри про его семью: сколько его родственников по восходящей линии состояли членами этого клуба? Его отец — несомненно, ответил Хамфри, дед — несомненно, прадед — несомненно, хотя про прапрадеда он уже не мог сказать это с полной уверенностью. В сущности, они были помещиками средней руки. И ничем особым не выделялись. Дед, правда, занимал пост в последнем прави-

тельстве Гладстона. Деньги у них никогда не водились. Как ни странно, они были вигами, хотя такие, как они, обычно принадлежали к тори и если состояли членами лондонского клуба, то по ту сторону улицы. (Он имел в виду клуб Уайта.) Почему Ли стали вигами — неизвестно. Скорее всего из духа противоречия. Подлинные влиятельные виги были крупными землевладельцами. Они проигрывали целые состояния за карточными столами в комнатах наверху. А Ли были мелкой сошкой. Никого из них не пригласили бы в Девоншир-Хаус (недостаточно знатны) или в Холленд-Хаус (недостаточно остроумны).

— Семейная история не из блистательных, — сказал Хамфри. — Особенно если учесть, что начинали они с известными преимуществами. О чем свидетельствует и мой пример.

Поль тоже умел играть в эту игру.

— Вероятно, — сказал он, — бедные бывшие Мейсоны могли служить дворецкими или камердинерами у бедных бывших Ли. Происходят они откуда-то из Норфолка. Все, что было до моего деда, покрыто мраком неизвестности. Он же одному богу известно как сумел стать провинциальным нотариусом. Возможно, это было и не так уж трудно при умении сдавать экзамены, но как раз оно Мейсонам более или менее присуще. Мало-помалу он обзавелся недурной практикой в Норидже. И нажил поразительно большие деньги. Затем следует мой отец. Повторение того же, но в более широком масштабе. И деньги он нажил уж совсем огромные. Остальное вам известно.

Они были англичанами, и этот обмен сведениями, который мог бы вызвать недоумение у людей других наций, им доставлял удовольствие. Обоим нравились крепкие напитки, и Хамфри в третий раз сходил за виски. Поль сказал, что в газетах нового почти ничего нет: он каждое утро штудировал европейскую и американскую прессу и по профессиональной обязанности и просто из интереса. Дела идут, как и предполагалось. Это вовсе не значит, добавил он, что они идут хорошо.

— Новые критические замечания в адрес полиции, — заметил Хамфри. — По поводу нашего убийства.

— Да? — сказал Поль без всякого выражения.

— Однако я убежден, что они работают на совесть.

— Вам об этом лучше судить.

— По-моему, что-то они выяснили.

— Неужели?

Голос Поля стал сухим и резким, хотя Хамфри полностью осознал это только несколько секунд спустя.

— Поль, — продолжал он, — мне кажется, вы могли бы сказать мне кое-что о Сьюзен. Вы ведь знакомы со Сьюзен?

— Да, я знаком со Сьюзен.

— Значит, вы могли бы ответить мне на два-три вопроса?

— Почему вы думаете, что я могу вам что-то ответить?

— Но вы же сказали, что знакомы с ней.

— Почему, черт побери, вы думаете, что я должен вам отвечать? — Поль произнес это спокойно, но очень зло.

— Она сплела несколько историй, которые опровергают друг друга, и если в них не разобраться, это может обернуться для нее плохо.

Последние минуты Хамфри вел разговор неверно. Он слишком поздно уловил, что крылось за невозмутимостью молодого человека. И теперь, когда было уже поздно, на него обрушилась волна бешенства.

— Когда я принял ваше приглашение, — сказал Поль с ледяной вежливостью, — я не предполагал, что оно объясняется желанием получить от меня сведения. У меня для вас их нет. Это, насколько я понимаю, полностью обесценивает мое общество. Я вижу, что злоупотребляю вашим гостеприимством.

В устах человека, умеющего разговаривать с легкой непринужденностью, это прозвучало напыщенно, точно реплика из скверной мелодрамы. Хамфри сказал:

— Простите меня. Я никак не предполагал... — И продолжал говорить все, что приходило в голову, лишь бы помешать Полю уйти, а сам тем временем вспоминал довольно глупую вещь, наследие тех дней, когда он еще играл в спортивные игры. Согласно фольклору участников таких игр все люди в критические минуты делятся на две категории: тех, кто краснеет, и тех, кто белеет. И в тяжелом положении

полагаться следует на вторых. Лицо Поля, всегда довольно бледное, побелело, как у мертвеца.

Вспоминать сейчас об этом было глупо, но, кроме того, Хамфри думал, что это очень странное бешенство. Оно не искало выражения в словах: просто сорвался предохранитель, но почему — Хамфри понять не мог. Тем не менее Поль, несмотря на свой сверхъестественный самоконтроль, сразу же утратил не только вежливость, но даже обычную уравновешенность.

Хамфри повел его в обеденный зал. По принципу извечной несправедливости есть расхотелось Хамфри, а Поль заказал стандартный клубный обед — холодную лососину и бифштекс, которые и принялся есть с явным аппетитом. Хамфри для утешения начал бутылку кларета.

Поль вдруг спросил нейтральным тоном:

— Что именно вас интересует относительно Сьюзен?

— Никто не знает, где она была вечером и ночью в субботу. Я имею в виду субботу, когда убили леди Эшбрук.

— Я тоже не знаю. — Голос Поля был холоден, но достаточно вежлив. — Просто не знаю. Вероятно, вам говорили, что меня самого допрашивали несколько раз, и я ничего не могу доказать. Я был у себя дома. И ничем особенным не занимался — всего лишь читал. Чего человек, находящийся под подозрением, доказать, естественно, никак не может. Впрочем, насколько я понимаю, меня не подозревают.

— Нет. И не думаю, чтобы вас подозревали хотя бы минуту.

— Да, конечно. Вам это было бы известно. — Он говорил по-прежнему отчужденно, но с легкой иронией. — Единственное, что я помню об этом проклятом вечере, — что я звонил Селии Хоторн. Видите ли, это было уже после того, как мы порвали.

О Селии он упомянул с полным спокойствием. Тема, очевидно, не запретная в отличие от чего-то или от кого-то.

Официант убрал тарелки. Поль уставился в стол, наморщив лоб. Потом он поглядел на Хамфри.

— Я готов сообщить вам о Сьюзен один простой факт. На следующий день, в воскресенье, я ее видел. — Он говорил с осмотрительностью и точностью высокопоставленного чиновника. — И я готов сказать вам следующее: по моему глубокому убеждению, она тогда ничего не знала о том, что леди Эшбрук убита. И, опять-таки по моему глубокому убеждению, она узнала об этом не раньше чем я, то есть в понедельник утром.

— Установлено, что днем в понедельник она виделась с Ланселотом Лоузби.

— Возможно, тогда она и узнала про убийство.

— Именно тогда она и состряпала первую свою историю о субботней ночи. Сплошные выдумки. Вы, возможно, заметили, что эта молодая женщина совершенно свободна от некоторых буржуазных предрассудков, например от рабского следования истине.

Это была сознательная попытка сбить предохранитель, но Поль ограничился тем, что изобразил улыбку. Хамфри попробовал другой заход:

— А где вы ее видели в воскресенье?

— Не важно. Это никакого значения не имеет.

Поль повторил, что больше ничего о Сьюзен сказать не может. Однако немного позже, за сыром, он заметил, словно вновь обретая свою нормальную насмешливую сдержанность:

— Раз уж вас так интересует семейство Теркиллов, вам, пожалуй, будет интересно узнать, что я теперь работаю в одной упряжке с папашей Томом. Вы не слышали?

Нет, откуда же? Это была одна из квазисекретных финансовых операций, принятых в эту осень. Представители министерства финансов, подчиненные непосредственно Тому Теркиллу, вели переговоры в Вашингтоне, и Поль по поручению своего банка принимал в этом участие.

— Сделка обязательно будет заключена, — сказал он с обычной спокойной уверенностью, словно не был совсем недавно охвачен слепым бешенством. — Она поможет нам некоторое время оставаться на плаву. Вполне здравая мера в своих пределах. Только пределы эти довольно узки.

Поль высказал еще несколько заключений о положении страны и всего запад-

ного мира с обычным своим здравым смыслом — не безмятежно, но и не апокалиптически безнадежно. Потом он сказал, словно ни на мгновение не забывал о своих безупречных манерах, что ему действительно пора идти. Он должен еще написать резюме для вышеупомянутого Тома Теркилла. Он поблагодарил Хамфри за превосходный обед. И, снова поблагодарив Хамфри перед тем, как выйти на Сент-Джеймстрит, добавил:

— Какой приятный клуб! Если вас это не очень затруднит, то, может быть, вы как-нибудь предложите мою кандидатуру?

Сообщая Фрэнку Брайерсу эти обрывки сведений о Сьюзен, Хамфри заметил, что многого из них не извлечешь. Фрэнк нетерпеливо ответил, что он преувеличивает: из них нельзя извлечь ровным счетом ничего. Если только не принять на веру утверждение Поля, будто в воскресенье Сьюзен еще не знала об убийстве. Пытается ли Поль ее выгораживать? Но если и нет, это всего лишь субъективное заключение, которое можно подшить к делу, и только.

## 31

Когда Хамфри еще раз изложил свой разговор с Полем Мейсоном, теперь уже Кейт в спальне, его рассказ вызвал больше интереса. Это был катастрофический вечер, закончил он, сердясь на себя совсем так же, как Брайерс. Кейт принялась его утешать. Для поведения Поля есть причина, которая им неизвестна. Значит, характер у него много сложнее, чем казалось им обоим. И никакой пользы в практическом смысле, заметил Хамфри без всякой жалости к себе, описывая, как Фрэнк Брайерс «сделал из него котлету».

— К черту практическую пользу,— отрезала Кейт.— К черту Фрэнка Брайерса. Я хочу знать, что грызет Поля.

— Легко сказать! — ответил он.

Теперь она больше не перечила ему. Она не умела раскладывать любовь по ячейкам. Ее принципом было — все или ничего. А потому она стремилась помочь. И раз он убежден в полезности того, что делает, ей необходимо было разделять это убеждение. Особенно помочь она не могла, но решила, что, возможно, сумеет добиться от Сьюзен каких-нибудь обрывков истины. В конце концов, она уже имела с ней дело. И в любом случае вреда это не принесет. Кроме того, подумала Кейт с насмешливой улыбкой по собственному адресу, ее просто мучает любопытство.

Директор ее больницы как раз тогда вручил ей два билета в оперу: он устраивал небольшой прием для друзей у себя в ложе. Опера по-прежнему оставалась самым дорогим из лондонских развлечений. Тот факт, что она субсидировалась государством, отнюдь не делал ее общедоступной. Директор состоял членом попечительского совета оперного театра «Ковент-Гарден», и у него была там своя ложа, в чем он следовал давней традиции очень богатых людей. Кейт знала, что Сьюзен совершенно равнодушна к музыке, но не думала, что приглашение будет отклонено: показаться в опере было престижно. И она не ошиблась.

Сьюзен подъехала к дому Кейт в лимузине, который, как заключила Кейт, был оплачен ее отцом. Подъехала, блистая бриллиантовым ожерельем и серьгами, которые, как далее заключила Кейт, были оплачены ее отцом. Кейт радовалась предстоящему вечеру в опере, потому что музыка была для нее единственным эстетическим наслаждением. Но при виде такого сверкания она ощутила себя замурлышкой. Она умела одеваться в пределах своих средств, но почувствовала, что в подобном обществе ей лучше будет держаться на заднем плане. Впрочем, винить ей некого, подумала она, посмеиваясь над собой. Она сама себе это устроила.

Но пусть она устроила это сама, пусть она посмеивалась над собой, и все же, когда они приехали в «Ковент-Гарден», ей не удалось подавить спазма зависти. Владелец ложи вышел навстречу к ним в коридор и рассыпался в приветствиях, не выпуская руки Сьюзен, а она стояла безмятежно спокойная, бриллианты переливались в ярком свете люстр, и строгое элегантно платье вполне соответствовало выражению ее лица — уверенному и в то же время скромному.

— Как мило, что вы приехали, леди Лоузби! Как мило!

Леди Лоузби познакомили с другими гостями, которые — в той мере, в какой подобная градация еще сохранилась, — пребывали на высотах, недоступных для Эйлстоунской площади. В ответ на представления леди Лоузби улыбалась без малей-



шего смущения или развязности и выглядела образцовой новобрачной — или (Кейт с удовольствием вспомнила присловье своей старой няньки) тихоней, которая воды не замутит.

А когда Кейт уже слушала пение, ей на память пришло присловье еще более древнее. Давали «Тристана», и Вагнер был гнетуще романтичным — ей хотелось думать о настоящем, о Хамфри, но не среди этого вихря звуков. Ложа была большой, но все-таки тесной для двенадцати человек. Ее усадили в заднем ряду. Сьюзен сидела рядом с хозяином ложи.

Нечестивые цветут, билось в голове у Кейт, подобно многоветвистому дереву. Почему многоветвистому? Что, разве только многоветвистые деревья цветут? Мало кто был ей так антипатичен, как Том Теркилл. А уж он цветет, как никто другой. В будущем году, конечно, станет членом кабинета. Думать об этом было неприятно. Его она терпеть не может. Но что поделаешь, если она привязалась к его дочери, которая сидит вон там, впереди. Не то чтобы Сьюзен заслуживала особой любви. Она цвела не меньше отца. Но Кейт вообще питала симпатию к женщинам. А к Сьюзен, в частности, она привязалась, возможно, еще и потому, что не была феминисткой и смотрела на женщин столь же трезво, как на мужчин. Сьюзен цветет и процветает. Хотя никто в здравом уме не станет утверждать, будто она более достойна уважения, чем большинство мужчин. Справедливости в мире нет никакой. Что говорил Хамфри? Только дурак от рождения способен думать, будто в мире есть справедливость. Этот вечер — триумф Сьюзен. Ну, не важно. У нее к ней свое дело.

Удобный случай представился после ужина. К ложе примыкала довольно большая комната, где были накрыты столы с редкостным набором холодных закусок. По ломтику паштета из гусиной печенки на каждого гостя (кто-то, по-видимому, паштет не любил, и Кейт в утешение себе съела два ломтика), по ложке икры, пирог из дичи, фазан, шампанское, бургундское. Хозяин ложи не поскупился. И он довольно искусно флиртовал со Сьюзен.

Антракт кончился, гости двинулись назад в ложу. Кейт перехватила Сьюзен. — Зачем торопиться? Выпьем еще. Я ведь знаю, что вам скучно.

Перед Кейт Сьюзен не притворялась, будто любит серьезную музыку. Когда не было причин лгать, она не лгала, и эта черта в ней очень нравилась Кейт.

Они остались в аванложе совсем одни. И одной из них, а может быть, и обеим, могла прийти в голову мысль, как приятно было бы сидеть в ложе вдвоем с любимым, зная, что рядом, всего в двух шагах, есть такое безопасное и уютное убежище.

Сьюзен, всегда в этом смысле очень воздержанная, сказала, что пить больше не хочет, и Кейт, налив себе виски, спросила:

— Как поживает Лоузби?

— Прекрасно. Мистер, как правило, поживает прекрасно, вы же знаете, — сказала Сьюзен небрежно и спокойно.

Но Кейт уже давно перестала ей удивляться. Совсем недавно она была готова ради него на все... или Кейт тогда ошибалась? А может быть, добившись своего, Сьюзен просто сбросила с себя все это, как надоевшее пальто?

Кейт прямо перешла к сути. Она хорошо знала Сьюзен и понимала, что деликатность совершенно не нужна. Следовало идти напролом.

— Вероятно, вы знаете, что в смысле этого убийства ему ничего не грозит. Они верят его алиби.

— Очень мило с их стороны, — улыбнулась Сьюзен.

— Ну, во всяком случае, ему ничего не грозит. Разве что выяснится, что он действовал через сообщника. Сам он там быть не мог.

Сьюзен явно ничего нового не услышала.

— Откуда вы знаете? — спросила она, хотя прекрасно догадывалась, и взглянула на Кейт с сестринским сочувствием, хотя и была много ее моложе. Собственно говоря, она не сомневалась, что Кейт сошлась с Хамфри, задолго до того, как это произошло. Она продолжала:

— Вы, конечно, знаете всю историю.

— Во всяком случае, часть. Но как бы то ни было, с ним они кончили. А вот вы...

— Что я?

— Они все еще стараются узнать, где вы были в ту ночь.

— Я же им сказала, милая Кейт. Всю правду. — Сьюзен смотрела на нее открыто, искренне, с легкой обидой.

— Вы им наговорили слишком много. Так и не запомнили, что одно оправдание лучше трех. Сколько раз я вам это втолковывала?

Теперь лицо Сьюзен выражало раскаяние.

— Но ведь вы же понимаете? Я старалась выгородить Мистера. Вы бы на моем месте поступили точно так же. И любая женщина тоже.

— Довольно неудачно старались! — Преображение Сьюзен в маленькую виноватую девочку Кейт совершенно не тронуло. — Вам еще ни разу не удалось придумать сколько-нибудь убедительную ложь. Где вы были в ту ночь?

— Так, болталась. Не знала, куда себя девать.

— Расскажите это какому-нибудь милому старичку! — Кейт разбирали смех, досада, злость. — Где вы были в ту ночь?

Глядя ей прямо в лицо с видом оскорбленной невинности, Сьюзен предложила несколько разных ответов, подкрепляя каждый реалистическими подробностями. Вечер был очень жаркий. А пойти куда-нибудь ей было не с кем. Сидеть дома одной не хотелось. Она ушла и долго гуляла. Ах нет, она заглянула кое к кому из знакомых: а вдруг они окажутся дома. Нет, она искала кого-нибудь, кто сводил бы ее в кино. Или в игорный дом. Иногда на нее находит азарт, сказала она со всей честностью, точно на исповеди.

Кейт ответила, что не верит ни одному ее слову, и уж тем более если они сказаны со всей честностью, точно на исповеди. Наконец ей удалось добиться версии, более или менее похожей на правду. Сьюзен пыталась выследить Лоузби.

— Он ведь в некоторых отношениях последний подонок, вы же знаете. И я решила, что пора поговорить начистоту.

И (как Хамфри в следующий понедельник) она позвонила в его штаб в Германию. Ей сказали то же самое, что потом ему: Лоузби получил отпуск в связи с болезнью бабушки. Где его можно найти? Эйлстоунская площадь, дом семьдесят два. Но если он остановился у бабушки и не позвонил ей, значит, вечером у него свидание с кем-то еще. Сколько раз прежде он отправлялся на свидание с ней самой после того, как его бабушка ложилась спать. Теперь она поймает его с поличным! Долгие часы ожидания около дома. Но он так и не появился.

Наконец она решила, что допустила какой-то просчет, и утром начала обзванивать лондонских друзей Лоузби. Позвонила Дугласу Гимсону. И Дуглас сказал, чтобы она не тревожилась: он обеспечил Лоузби ночлегом на две прошлые ночи.

— Обеспечил ночлегом! Можно, конечно, назвать это и так. — Веселый смешок, бесстыжий, как у самого Лоузби.

Потом, часа в два в понедельник, Лоузби позвонил ей домой и сказал, что леди Эшбрук убили, что он попал в затруднительное положение. В тот же день они сочинили и разучили свою историю.

Это признание Сьюзен Кейт сочла правдоподобным. Конечно, кое-что опущено, а кое-что тактично приукрашено. Оставалось неясным, как она тогда рассчитывала воздействовать на Лоузби, какими козырями располагала. Он же на ней все-таки женился. Конечно, могли сыграть роль деньги Тома Теркилла: было бы глупо считать, будто Лоузби чужд корысти. Однако, подумала Кейт, ему, возможно, пришлось убедиться, что Сьюзен не просто бессовестная любительница вранья, но еще обладает сильным и беспощадным характером. Не исключено, что при своем безволии он искал опору в чужой воле. Недаром же он сразу бросился к ней, едва оказался в трудном положении. В отличие от Брайерса и даже от Хамфри, который порой допускал такую возможность, Кейт сразу отбросила предположение, что Лоузби и Сьюзен были сообщниками.

Сьюзен почти убедила полицию постельными подробностями, думала Кейт. Была ли это наиболее реалистическая из ее романтических фантазий или она переложила красок? Полиции всяческие постельные истории давно должны были набить оскомину, хотя выслушать еще одну от такой хорошенькой девушки могло быть и приятно.

Теперь Кейт просто удовлетворяла собственное любопытство.

— Зачем вам понадобилось так все расписывать?

— Но ведь это вреда не принесло, правда?

И тебе удовольствие доставило, подумала Кейт.

— А когда-нибудь так бывало? Конечно, не в ту ночь.

— Не исключено.

— Когда? — Шуники Кейт мгновенно насторожились.

— Ночью в воскресенье. На другой день.

— Но ведь в воскресенье вы с Лоузби не виделись. А только в понедельник. Вы же сами сказали.

— Ну да. Если по правде, в воскресенье я была не с Лоузби.

Кейт расхохоталась — она была удивлена, даже шокирована, но больше всего ей хотелось смеяться.

— Ох и стервочка! Хорошенько бы вас... — Однако любопытство взяло верх. — А с кем?

— Вы не догадываетесь? — мягко спросила Сьюзен.

— Это же мог быть любой мужчина в радиусе многих миль! — Кейт была отнюдь не так мягка.

— Ничего подобного. Это был Поль. Поль Мейсон, — сказала Сьюзен с полным сознанием своей правоты. — Он мне всегда нравился. Вы, наверное, замечали.

— Это я замечала и в отношении многих других! — Слова Кейт были гораздо более ядовитыми, чем ее ухмылка.

Сьюзен ответила кратко:

— Ну зачем вы так! Видите ли, я очень расстроилась из-за Лоузби. Он же последний подонок. Мне хотелось как-то утешиться. И я подумала, не попробовать ли с Полем. Конечно, он не из тех, кто спит со всеми направо и налево. Но сейчас он свободен. Эта Селия даже не пробовала его вернуть. Вообще-то она дура. Полю я не особенно нравлюсь, — добавила она, спокойно констатируя факт. — То есть если говорить не в узком смысле. Но в ту ночь все получилось неплохо. — Она продолжала с тайным удовлетворением: — Ему не очень понравилось быть в роли утешительного приза. Слишком уж он гордый. И бесится, если кто-то заглянет ему внутрь. Такого застегнутого на все пуговицы среди моих мужчин еще не попадалось. — Тут она усмехнулась с нахальным вызовом. — Но все-таки я, возможно, как-нибудь попробую взяться за него еще разок. Когда доходит до дела, он очень неплох. Срывается с узды. Даже увлекательно. Тогда он очень неплох.

Они на цыпочках вернулись в ложу. Кейт была довольна собой: возможно, сведения о том, где была Сьюзен в ту ночь, сами по себе большого значения не имели (она не представляла, что извлечет из них Хамфри), но прояснить картину не мешало. Кейт решила, что потратила время не зря. И то же сказал Хамфри, когда на следующее утро по дороге в больницу она оторвала его от завтрака.

— Отличная работа, девочка. Не люблю неподвязанных концов. — Он усмехнулся, словно бы вновь почувствовав себя в прежней служебной колее, и поцеловал ее дружески, но не только дружески.

— Времени нет, — сказала она. Кое-что она для него сделала. А теперь его очередь. Ей хотелось бы устроить званый обед тут, у него дома.

Она нащупывала систему поведения на будущее. Ведь хорошо — собрать людей и ничего не объяснять?

— Очень хорошо. — Хамфри был тронут. Она строила планы ради него, и он, как обычно, заразился ее настроением. — В первый удобный тебе вечер. Во всяком случае, миссис Бербридж всегда тебя любила.

— А кого мы позовем?

— На следующей неделе прилетает Алек Лурия. Может быть, Селию? Жаль, что она совсем исчезла.

Хамфри подумал, что будет забавно наблюдать Лурию в процессе поисков очередной жены.

— Собственно говоря, в голову мне это пришло, — продолжала Кейт, радуясь своей идее, — потому что я встретила вчера на улице Ральфа Перримена. Надо пригласить его с женой. Мы ведь обедали у них, помнишь?

— А! — К ее удивлению, лицо Хамфри не то чтобы омрачилось, но вдруг утратило всякое выражение.

Решив, что она угадала причину, Кейт нежно и весело выбрала его:

— Послушай, милый, неужто тебя все-таки тревожит, что мне интересно иногда поговорить с ним? Не думаешь же ты, что мне нужен кто-то другой? Ну как я еще могу доказать свою верность?

Она заставила его привычно улыбнуться.

— Так как же? — спросила она с некоторым вызовом.

Он растерялся.

— Ну, приглашай их, если считаешь нужным. Я как-нибудь с собой справлюсь.— Он сказал это ровным голосом, без обычной нежности.

Она расстроилась. До сих пор они не ссорились. Даже когда они в чем-то не соглашались, он был терпимее и умел добраться до причины лучше, чем она. Хотя раза два ей приходилось видеть его в сумрачном настроении, она умела понять, в чем дело, и бывала рада уступить. Но теперь это казалось ей настолько неоправданным, что она решила настоять на своем.

## 32

Хамфри и Фрэнк Брайерс сидели вдвоем в кабинете по убийству. Хамфри пересказал не только суть разговора в опере, но и все сообщенные Кейт подробности, какие мог припомнить. Брайерс слушал с обычным вниманием.

— Пожалуй, это уже больше похоже на правду,— сказал он и добавил, вновь становясь энергичным полицейским:— Ваша Кейт умеет допрашивать куда лучше вас, мой мальчик. Вы слишком уж джентльмен, вот в чем ваша слабость.

На этот раз Хамфри не выдержал: да он же провел допросов куда больше, чем Брайерс, и некоторые останутся засекреченными еще тридцать лет! Брайерс улыбнулся самой дружеской своей улыбкой.

— Не спорю, в тамошних ваших тонкостях вы, может быть, и сильны. Но с этим Мейсоном вы ведь не справились. А Кейт расколола бы его в одну минуту. Про воскресную ночь она узнала правду, я не сомневаюсь. А вот узнала ли она правду еще о чем-нибудь...— Он помолчал.— Но если узнала, то мы почти у цели. Вы понимаете, про что я говорю?

— Думаю, что да.

— Другого ничего быть не может,— сказал Брайерс и, не дождавшись от Хамфри ответа, добавил:— Конечно, не исключено, что эта проклятая девчонка опять нас путает. Но, во всяком случае, имеет смысл вызвать ее сюда. Раз в запасе есть кое-какие козыри.

Сьюзен вызвали (пригласили, как они выразились) в полицейский участок. И не на один допрос, а на два. Вел их сам Брайерс, посадив с собой Леонарда Бейла. Они решили, что достаточно высокие чины могут произвести на нее впечатление. Впрочем, Кейт могла бы объяснить им, что для Сьюзен все мужчины одинаковы независимо от возраста и любых других различий.

Первый допрос длился несколько часов, главным образом из-за того, что Сьюзен говорила чрезвычайно охотно. Слова текли у нее с языка без запинки и словно бы совсем бездумно — ни с чем подобным Брайерсу сталкиваться еще не приходилось. Она держалась очень мило и всячески старалась помочь, сухо заметил Брайерс, когда позже рассказывал Хамфри про этот допрос. Она не жаловалась, что ее так долго задерживают, она не пожелала, чтобы присутствовал ее адвокат.

Конечно, адвокат был ей ни к чему, сказал Брайерс, ведь она способна в любой момент сочинить что-нибудь новое. Не моргнув и глазом она сообщила, что в прежних своих показаниях, по-видимому, спутала даты. Нет, она не провела эту ночь с лордом Лоузби, ее нынешним мужем. И вполне возможно, что ее действительно могли видеть в проходном дворе. Собственно говоря, она, пожалуй, и в самом деле была там. Зачем? А там живет один ее приятель, бывший ее любовник, и он часто предоставлял ей свою квартиру на субботу и воскресенье. Иногда она бывала там с Лоузби. Разумеется, приводить мужчину домой, на Йтонскую площадь, не слишком удобно. Она обязана была думать о положении отца. И там всегда толкуются репортеры. Вот почему эта квартира иногда очень ее выручала. О да, она и потом ею пользовалась, то есть до свадьбы. Почему она ждала во дворе? Думала, что бывший любовник, возможно, вернется домой. Они не виделись довольно давно. И она вдруг по нему соскучилась. На вопрос, часто ли она возобновляет отношения с бывшими любовниками, она с невинным удивлением ответила: «Конечно!» Она почти всегда сохраняет с ними дружбу. Ей нравится любовь на дружеской основе. И когда все позади, бывает очень приятно снова побыть вместе.

Перед вторым допросом оперативники навели справки. Выяснилось, что про квартиру она сказала полную правду. Не в первый раз она неожиданно влетала правду в сплошную ложь. Как уже говорил Брайерс, это отнюдь не облегчало им работу. Хозяин квартиры был установлен — богатый молодой бездельник, который иногда играл в оркестре. Да, он часто предоставлял квартиру в распоряжение Сьюзен.

Да, два-три года назад она была его любовницей. Да, иногда они и теперь встречаются. Нет, в ту субботу его в Лондоне не было, но Сьюзен иногда приходила, не договорившись, в расчете, что он случайно окажется дома.

Они отложили второй вопрос на неделю. А тогда Брайерс без предисловий прямо перешел в нападение:

— Мы не верим, что в тот вечер вы ждали Энгуса. Мы знаем, что вы думали увидаться с лордом Лоузби.

— Вовсе нет. Если хотите знать, у нас с ним вышло небольшое недоразумение..

Она произнесла это чопорное слово со всей скромностью. (Кейт, хорошо знакомая с настоящим ее лексиконом, насмешливо фыркнула бы.)

— Мы знаем, что вы его разыскивали. Вы звонили к нему в штаб и решили, что он, возможно, у бабушки. Вот так. И довольно сочинять истории.

Она поглядела на него невинными глазами.

— Пожалуй, я бессознательно не исключала, что могу с ним случайно встретиться. Почти бессознательно. Ведь хорошо было бы помириться. Ну, вы представляете, как это бывает.

— Не уверен. Мы, кроме того, знаем, где вы провели следующую ночь.

— Правда? — Она скромно опустила глаза. — Мне так нужно было поговорить с каким-нибудь другим. Уж это-то вы можете понять. Я совсем измучилась из-за Лоузби. Боялась, что он меня разлюбил. И хотела поговорить об этом с кем-то, кто выслушал бы меня сочувственно.

— Поговорить?

— Да, поговорить, — повторила она твердо.

Брайерс хотел было добиться более прямого ответа, но передумал. Он знал правду. Она знала, что он знает. И достаточно. Они с Бейлом обрушили на нее град вопросов. Конечно, она заходила в дом леди Эшбрук в тот вечер? Столько времени в проходном дворе — конечно, она заходила в дом? Чтобы справиться о Лоузби, так?

Все эти вопросы ей уже задавались по нескольку раз во время прошлых допросов. И ничего нового они не выяснили. Конкретные факты, которые они ей предъявляли, должны были бы ее сбить. Но на этот раз она не стала придумывать очередную историю, а говорила очень мало. Сказала просто, что в дом не входила. И готова была повторять это без конца. Сбить ее не удавалось. Брайерс был склонен поверить, что сбивать ее, собственно, не с чего — так, впрочем, он думал уже с тех пор, как получил сведения от Кейт.

При любом допросе, как могли бы они ей объяснить — как мог бы объяснить ей и Хамфри, — разумнее всего говорить как можно меньше. Это относится и к самым опытным, к самым искушенным людям. До сих пор ее ответы вполне подошли бы в качестве примеров для руководства, как вести себя на допросах. Но затем она снова принялась болтать.

Брайерс уже собирался кончить, не рассчитывая узнать от нее что-нибудь еще. Он с самого начала ничего особенного не ожидал и в целом был скорее доволен. Чтобы поставить какую-то точку, он в заключение спросил, где и как они живут с мужем. Спросил он это без особого интереса, поскольку им все было уже известно из допросов Лоузби. Его секретно прикомандировали к министерству обороны. Они сняли удобный дом на Рэднор-Уок, довольно близко от этого полицейского участка. Жить так на его жалование они не могли бы, и он деловито и откровенно сообщил, что Том Теркилл выплачивает им ежемесячное содержание.

И теперь Брайерс сказал без всякой задней мысли, даже добродушно:

— Вы недурно устроились, а? Приятно иметь богатого отца, не правда ли?

Сьюзен не поскупилась на выражения дочерней привязанности и благодарности.

— Ах, папочка для меня никогда ничего не жалел. Как я себя помню, он исполнял все мои желания! — Она добавила рассудительно, даже с упреком: — Боюсь, это не всегда шло мне на пользу.

— Возможно, возможно. — В Бейле была сильна отцовская жилка.

— Он всегда говорил, что будет заботиться обо мне и когда я выйду замуж. Он очень хотел, чтобы я вышла замуж. По-моему, он за меня боялся. И внушал мне, что не важно, будет ли мой муж богат или нет, лишь бы я была счастлива. У нас самих денег достаточно. Конечно, папочка не хотел, чтобы на мне женились из-за денег. Он надеялся, что я выберу порядочного человека.

— Вполне естественно.

— Лоузби его, в общем-то, устроил. Он знал, что Лоузби жил довольно широко. Но считал, что Лоузби принесет приданое иного рода. Это его собственные слова. Не знаю, рассчитывал ли он, что у Лоузби будет какой-то свой доход.— Она продолжала болтать.— А оказалось, что есть. Как правило, одеваюсь я не за счет папочки. На это мне дает деньги Лоузби. Когда получает что-нибудь от контролера.

Бейлу уже приходилось слышать это слово. Резко, для него почти грубо, он перебил ее:

— Что вы сказали?

— Ничего. Сама не знаю. Так, болтаю чепуху.

— Вы говорили о контролере. Нас это интересует,— сказал Брайерс вновь с большим нажимом.— Очень интересует. Мы довольно много знаем об этой операции, так что договаривайте. Кто такой контролер?

Она взяла себя в руки почти мгновенно и сказала небрежно, с безмятежной улыбкой:

— Просто семейная путка. Когда деньги словно с неба падают. По-моему, началось это еще со старой леди Эшбрук. Лоузби называл ее так в тех случаях, когда она вдруг дарила ему деньги, и больше, чем он ожидал.

— Вы это сейчас выдумали.

— Мне очень жаль. Выслушивать подобное не слишком приятно, не правда ли?

— Кто такой контролер?

— Понятия не имею.

Тон Брайерса стал злым.

— Вы способны хоть раз сказать правду?

— Я и сейчас говорю правду.

— Вы говорите,— вступил Бейл более мягко,— что ваш муж иногда откуда-то получает деньги. Но откуда, вам неизвестно. И в таких случаях вы употребляете слово «контролер», верно? И вам хотелось бы, чтобы мы этому поверили.

— Вот именно.

— Конечно, вы знаете, кто он,— сказал Брайерс.— Или, во всяком случае, догадываетесь.

— Просто удивляюсь, и только,— ответила она, глядя на него ясными глазами.

— Вы утверждаете, что и ваш муж не знает?

— Ну, и он удивляется. Каким-то образом это, конечно, устроила старуха. Но точно он ничего не знает.

— Если вы этому верите, то чему угодно поверите! А вы далеко не дура. Ваш муж получает большие суммы.

— Не очень большие,— кротко поправила Сьюзен.

— Он получает денежные суммы, и вы представления не имеете, откуда они берутся?

Она поглядела на него с оскорбленным видом.

— По-моему, жене не следует вмешиваться в финансовые дела мужа. По-моему, жене это не пристало.

Она доконала их обоих. Брайерс стал еще злее, Бейл — холоднее. Допрос затянулся. С полной невозмутимостью и выдержкой она плела новые кружева объяснений, но главной позиции не сдавала. Она точно не знает, кто такой контролер и откуда поступают деньги. Лоузби тоже не знает. Да, у них есть свои предположения. Они часто это обсуждали. Семейная тайна — и с их точки зрения довольно приятная. В конце концов Брайерс сказал, что на сегодня достаточно.

Когда сотрудница проводила Сьюзен — у Брайерса на это вежливости уже не хватило,— он посмотрел на Бейла и вскрыл новую пачку сигарет.

— Черт! — сказал он.— Легче вырвать десять зубов!

— Да уж,— коротко ответил Бейл.

— Она считает, что жене не пристало интересоваться финансовыми делами мужа. Господи помилуй! По ее мнению, жене пристало только прыгать из одной постели в другую!

Бейл, в жизни которого было больше женщин, чем в жизни его начальника, смотрел на вещи более снисходительно.

— Интересно, что из нее со временем выйдет,— заметил он.

— Нет, вы когда-нибудь видели такую лгуницу? И ведь даже без всякой реальной

цели, насколько я могу судить. Из одного эстетического удовольствия, черт бы ее побрал!

Мало-помалу Брайерс остыл.

— Вот что любопытно,— произнес он задумчиво.— Если бы она не переключивалась красок, если бы придерживалась сути без лишних завитушек, вы бы чему-нибудь поверили?

— Не знаю.

— И я не знаю,— сказал Брайерс.

Бейл задумался.

— Но если эта парочка не знает точно, кто такой контролер, то выходит, что они чисты? Разве что нынешняя наша версия неверна с начала до конца. Правильно?

— Правильно. Эта шлюшка слишком пережала. Если они не знают — вы способны этому поверить? — то она могла бы сказать нам всю неприкрашенную правду, и мы бы их обоих погладили по головке, хотя уж этого они меньше всего заслуживают.

Затем, мгновенно перейдя к делу, он распорядился, чтобы Бейл послал двух человек еще раз допросить Лоузби. Немедленно, прежде чем эта парочка успеет поговорить. Если они действительно сообщники, то говорить по телефону не станут. Что вполне разумно, добавил Брайерс с жесткой гримасой.

После короткого инструктажа Флэмсон с оперативником из отдела по борьбе с мошенничеством отправились на Уайтхолл перехватить Лоузби, когда он выйдет из своего учреждения. Все было сделано очень тихо и тактично — просто трое знакомых случайно встретились на улице в промозглый ноябрьский вечер. Лоузби гостеприимно пригласил их в один из своих клубов на Пелл-Мелл.

Брайерс и Бейл ждали в участке, где к ним теперь присоединился Шинглер. Ни он, ни Бейл еще ни разу не видели Брайерса таким усталым. Он почти все время молчал, не вмешиваясь в их разговор. Бейл послал за бутербродами и за еще одной бутылкой виски. Они с Шинглером ели, а Брайерс курил и выпил несколько рюмок. Флэмсон с оперативником вернулись только через два с половиной часа. Не успели они войти, как Брайерс спросил:

— Ну?

Оперативник по фамилии Стин был чином старше Флэмсона и, главное, лучше умел облекать мысли в слова, а потому говорил в основном он.

— По-моему, все в порядке. Похоже, что вы правы.

Показания Сьюзен в основном подтверждались. Лоузби держался с обычной непринужденностью. Он вовсе не скрывал, что получал денежные подарки — да, банкноты в подарок. Никто его прежде просто и прямо о них не спрашивал, иначе он тоже ответил бы просто и прямо. Пока была жива леди Эшбрук, такие же подарки он получал от нее. Ему кажется, он упоминал, что получал от нее небольшую помощь. И был склонен думать, что этот посмертный подарок она приготовила для него вместо того, чтобы завещать ему какую-то сумму.

— Готов поставить что угодно, он все знал,— сказал Стин. — Но признается разве что под пыткой.

Да, деньги действительно были в фунтовых банкнотах и поступали из неизвестного источника. И вот тут они перешли к контролеру. Существует ли такое лицо? Лоузби был склонен думать, что существует.

— Склонен думать, сукин сын! — сказал Флэмсон. — Знает он, и все тут.

— Я склонен думать,— передразнил Стин весело, как человек, отлично справившийся с порученным ему заданием,— что он знает, кто это. Сам он прямо ни в чем не участвовал. Это только испортило бы дело. Но он знает, кто проворачивал операции здесь. Скорее всего в суде он этого доказать не смог бы. Но в любом случае в суд он обращаться не станет.

Стин отпил виски.

— Он, правда, дал понять, что был предупрежден кем-то, кого не хочет называть или не может вспомнить. Кем-то, кто знал, что в определенный срок какие-то деньги будут присланы. Кем-то, кому леди Эшбрук доверяла в денежных делах. Вот все, что мы сумели выжать из капитана Лоузби. Но похоже на вашего человека.

— Все подходит,— сказал Шинглер.

— Не вижу никого другого,— согласился Бейл.

Брайерс встрепенулся, вновь преисполняясь энергией, словно ему сделали переливание крови.

— Господи боже ты мой,— воскликнул он,— какие мы все были идиоты! Надо было сразу сообразить, как только проклюнулись эти деньги. Нельзя сказать, что мы особенно блеснули, верно?

— Нельзя же все время блистать.

Это сказал Шинглер — возможно, стараясь угодить начальству.

— Не знаю, как вы, ребята, а я все еще не вижу причины. Почему он это сделал? Готового ответа мне не нужно.— Он высился над столом, хотя в росте уступал почти всем остальным.— Ладно, забудем,— перебил он сам себя.— Получилось! Хотя мы и не заслуживаем этого, но получилось!

За пределами их зачарованного круга Стин заметил:

— Я скажу одно: доказать это вам будет ох как трудно.

— Согласен,— сказал Бейл.

— Не исключено,— сказал Флэмсон.

Они расслабились. Бутылка пошла по кругу. Брайерс больше пить не стал, но он заражал остальных энергией.

— Докажем,— сказал он.— Самое трудное позади. Конечно, докажем.

### 33

На следующее утро Брайерс вошел в гостиную Хамфри и с неожиданной церемонностью осведомился о его здоровье. Хамфри, улыбаясь, потому что это было совершенно не в духе их отношений, ответил, что оно не хуже и не лучше, чем обычно. Брайерс улыбнулся в ответ как человек, которого поймали на глупой напыщенности, и сказал:

— У меня есть что вам сообщить.

— Важное?

— Смотря для кого. Вам, я думаю, будет интересно. Но ничего для вас неожиданного.

— Значит, вы уверены?

— Давайте я вам расскажу.

По неистребимой старой привычке Хамфри предложил пойти погулять. Он чувствовал себя спокойнее, выслушивая секретные сообщения на открытом воздухе. Было ветреное осеннее утро. Атлантическая погода — сильный западный ветер. И пока они шли в сторону Пимлико, его порывы заглушали слова, относили их в сторону. В более скептическом настроении Хамфри мог бы подумать, что избыточные меры безопасности причиняют иногда много неудобств и приносят мало пользы.

— Все подбирается одно к одному,— говорил Брайерс.

— Что подбирается? — крикнул в ответ Хамфри.

— Все то, о чем я вам говорил, и кое-что сверх того.— В наступившем затишье он сказал негромко и категорично:— Конечно, доктор.— И добавил:— Ведь вы пришли к тому же, верно?

— Я знал, что вы движетесь в этом направлении.

— А у вас есть сомнения?

— Трудно поверить.

— Почему?

— Но что его толкнуло?

— Возможно, со временем узнаем.

Настороженность иногда заставляет верить всему, а иногда — не верить ничему. Умозрительные заключения — зыбкая опора. Фрэнк Брайерс перечислял аргументы, приводя ситуацию в плоскость логики и здравого смысла. С обычной для него прозрачной ясностью он резюмировал все, что им было теперь известно о действиях О'Брайена.

— Учите,— сказал Брайерс, взращенный в самых темных протестантских пред-рассудках,— этот чертов папист из всей операции для себя ничего не извлекал. Но хитрый же был, сукин сын! До чего красиво: видные члены общества с полным доверием полагаются друг на друга. Лишь бы оттягать грош у налогового управления.— Он продолжал уже спокойно и даже благодушно:— Прodelать все это можно было только на доверии. О'Брайен умел заглядывать вперед. Когда они с леди Эшбрук состарились, им понадобился посредник. На Лоузби она, по-видимому, не согласилась. Либо хотела полностью его оградить, либо считала слишком легкомысленным. Но



у нее был человек, на которого она полагалась в других своих денежных махинациях. Ее доктор, Перримен. Он ведь уже сбывал ее фунтовые бумажки. Вы же помните. Она знала, что он тоже недолго любит платить налоги. Она знала, что он умеет молчать. Из всех, кто ее окружал, только с ним она говорила о деньгах.

— Вот это наиболее веское из ваших доказательств.

— Нам следовало сделать из этого выводы еще тогда! Но когда мы докопались до О'Брайена и контролера, все встало на свои места,— продолжал Брайерс.— Нам известно, что по крайней мере один раз он встречался с О'Брайеном. Когда старик еще приезжал в Лондон. Доктор выполнил одно его поручение.

Они шли по Белгрейв-Роуд в сторону Темзы. Разговор на время оборвался: ветер гремел, свистел, хлопал, вершины деревьев качались, гнбились, сбрасывали последние листья. Брайерс приводил свои доводы в систему. Хамфри думал, что сейчас особенно важно сохранять беспристрастное суждение.

— Да,— сказал Брайерс,— мы не знаем, почему он это сделал. Но все остальное вполне согласуется между собой. У него был доступ в дом — более свободный, чем у остальных. Он незаурядный человек, вы сами это говорили. Есть старое доброе правило — помните, мы с вами его уже вспоминали: в такого рода делах ищи незаурядность. Он все время сохранял редкостное хладнокровие. Вы меньше меня знаете уголовных преступников. Когда мы с ним говорили, он сохранял хладнокровие, как ни один преступник из тех, кого мне доводилось видеть.

Теперь они шли по набережной в сторону Милбэнка, и ветер бил и толкал их в спину. Брайерс сказал дружески, почти просительно:

— Ну, не упирайтесь, Хамфри. Признайте, что мы докопались до сути. Это же так.

— Не буду спорить,— сказал Хамфри тоже дружески, но неопределенно. Потом Хамфри добавил так, словно они вновь работали над одним делом:— Но веских улик ведь нет?

— Если мы не сумеем сломить его.

— А вы сумеете?

Но Брайерс сказал, что на это Хамфри может ответить не хуже его самого, а может быть, и лучше.

## 34

Не успел Хамфри вернуться домой после этой прогулки по набережной, как затрещал телефон. Звонил Брайерс. Он говорил осторожно, намеками, но смысл был ясен. Никому не передавать то, что он сказал. Положение критическое. Ни в коем случае ничего никому не говорить. Без всяких исключений.

Хамфри почувствовал раздражение. Неужели Брайерс думает, что прожитая жизнь ничему его не научила? Но еще больше он был раздражен, а вернее, обижен потому, что это было недвусмысленное предупреждение ничего не говорить Кейт. Когда он был у них в гостях, Брайерс прямо сказал, что у него нет секретов от жены. Стоит ли за этим предупреждением просто профессиональная недоверчивость? Хамфри и сердился и испытывал тягостную раздвоенность. Его поставили в ложное положение, а ради чего? В Кейт он уверен, как в самом себе. Следовательно, у него по отношению к ней есть определенные обязательства. И он мучился из-за того, что его обязательства противоречат друг другу.

А Кейт тем временем, приглашая гостей на задуманный обед, тревожилась из-за Хамфри. Радость не заглушила подозрений и только делала ее более чуткой. Она еще не дошла до того, чтобы жалеть себя, но теперь по вечерам, оставаясь одна, ловила себя на трезво-ядовитой мысли, что ей всегда не везло в жизни. Вот и опять, когда она как будто нашла счастье с Хамфри, верить этому ей не следует. Что-то случилось. Но что?

Она думала, что хорошо его понимает, но после того, как он с такой неохотой позволил, чтобы она устроила для него обед, они почти не виделись. Она искала и не находила объяснения. Неужели он уже охладевает к ней? Раза два она почти отдала правду, но отмахнулась от нее. Она вспомнила, как совсем недавно, лежа рядом с ним, счастливая, сказала с полным убеждением: «Любовь не бывает без доверия, правда?» Хамфри, тоже счастливый, ответил с насмешливой любящей улыбкой: «Еще как бывает! Например, мне пришлось так любить. Но ничего хорошего сказать о такой любви не могу. Ну, нам она, слава богу, не нужна. Нам повезло. Очень повезло, спасибо тебе».

И вот теперь она чем-то все испортила. И зачем только ей вздумалось устраивать этот обед? Но ведь мысль казалась такой удачной! Она рассчитывала просто, как нечто само собой разумеющееся, показать, что принадлежит ему, что они теперь вместе. Но она не могла и не хотела винить себя. Собственно говоря, любовь не лишила ее бойцовского духа, и она винила Хамфри. Не все время, не в самые тревожные минуты, но все-таки довольно часто она думала, что он ведет себя, как ребенок. Да, это он виноват.

Тем не менее, когда наступил назначенный день, она встретила его со страхом. Она буквально вынудила себя отправиться к Хамфри пораньше. Но, к большому ее облегчению, он встретил ее в столовой нежный и как будто вполне спокойный. Он сосредоточенно понюхал бутылку с вином.

— Кроме нас, тут, конечно, никто не обратит внимания, что он пьет,— сказал он, словно обед был самый обычный,— по почему бы нам не угостить себя?

Они поднялись в гостиную. Первым приехал Лурия, за ним Перримены и Селия. Кейт стало еще легче на душе: Хамфри превратился в радушного хозяина и держался естественно и приветливо. Что бы там ни было, никто из них ни о чем не догадается. И она сама, если бы не знала твердо, наверное, ничего не заподозрила бы... хотя нет, она же воспринимает мельчайшие оттенки его настроения. Пожалуй, ей не стоило так удивляться... или чувствовать такое облегчение. Она ведь не была с ним знакома в те дни, когда он постоянно подчинялся строжайшей самодисциплине. Тогда значение имела только цель, а чувства в счет не шли. И о выражении их речи быть не могло. Занимаясь другими людьми, приходится поступаться собственной личностью. И Хамфри хорошо напрактиковался в умении подавлять себя.

Во время обеда Кейт, хотя и не забыла про свои тревоги, все равно наслаждалась тем, что сидит во главе стола напротив Хамфри. Они впервые пригласили гостей на обед, а простые радости доставляли ей не меньше удовольствия, чем самым простеньким женщинам. Ведь всеми приготовлениями занималась она. Заботливо следя за Хамфри, она заметила, что он пьет больше обычного, но не сомневалась, что власти над собой он не потеряет. Атмосфера за столом была гораздо более непринужденной, чем на другом званом обеде, который ей вдруг вспомнился,— у Тома Теркилла три месяца назад. Но при этом воспоминании обруч тревоги, сжимавший ей виски, стал туже.

Хамфри не терял ясности головы и с привычным умением занимал гостей. С Ральфом Перрименом он вернулся к разговору, который они вели дома у Перрименов,— стоит или нет посвящать жизнь тому, чтобы сделать карьеру. Хамфри сказал, что с тех пор не раз прикидывал, сколько людей предпочитает не напрягаться, не принимать участия в гонках.

— Вероятно, больше, чем мы думаем.— Ответ Перримена был утешительным в своей безапелляционности.

— Очень многие люди способны обходиться малым,— вмешался Лурия,— если они умеют принимать действительность такой, какова она есть.

— И очень хорошо! — сказала Кейт, невольно бросив на Хамфри полный счастья взгляд, который не остался незамеченным.

— Как я уже спрашивал вас: сколько усилий следует тратить, если тебе не дано совершить что-то по-настоящему важное? — Перримен снова говорил с неколебимой уверенностью.— Почти все мы способны на небольшие свершения, не так ли? Но многие ли способны на великие свершения? А если это нам не дано, то какой смысл мучить себя бесплодными попытками? Каждый из нас, сидящих сейчас за этим столом, мог бы достигнуть чего-то, если бы посвятил этому жизнь. И был бы забыт через десять лет.

— Любой человек, когда-либо живший на земле, будет со временем забыт,— сказал Лурия.

— Нет, послушайте, профессор Лурия! Вы знаменитость в своей области. Мы все это знаем. И среди присутствующих вы один такой. Но вы же не Фрейд, верно? Вы же не Маркс? И когда вы оглядываетесь назад, кажется ли вам, что оно того стоило?

Никто из них не слышал, чтобы с Алеком Лурией разговаривали подобным образом. Сам он принял это с величественным спокойствием.

— Ни один человек в здравом уме не считает, будто он сделал много,— сказал Лурия.— Просто делаешь то, что можешь на своем месте и в свое время. В этом смысле

да я с вами согласен, доктор. Но я не считаю это достаточным оправданием для ухода в расслабленную пассивность.

Несколько минут спустя Хамфри перевел разговор на другую тему. Алек Лурия предпочел заняться Селией, сидевшей напротив него. Она почти все время молчала, и было невозможно догадаться, как она ко всему этому относится,— за исключением того, что ей приятны общество и, пожалуй, подумала Кейт с мягкой насмешкой, ухаживания Лурия.

Тем, у кого не было причин для тревоги, вечер, вероятно, представлялся совершенно безмятежным. Возможно, они заметили, как Хамфри один раз вполне сознательно, хотя и без подчеркивания, показал, что отношения его с Кейт серьезные и что он ее любит. Для большинства это не было новостью. Всего несколько часов назад Лурия, взорвавшись хохотом, весело сказал Хамфри, что ему много раз случалось ошибаться, но никогда он не был так рад своей ошибке. Только для Элис Перримен это как будто явилось новостью. И приняла она ее неодобрительно и с сожалением. Но в остальном обошлось без неприятных моментов или споров.

За столом они оставались долго — Хамфри нашел еще одну бутылку кларета. Потом они поднялись в гостиную и по английскому обычаю продолжали пить. Около половины двенадцатого Алек Лурия спросил у Селии, не разрешит ли она отвезти ее домой, и тогда же попрощались Перримены.

Хамфри проводил их вниз. Кейт услышала, как захлопнулась входная дверь. Он вернулся в гостиную, выпил еще, сел рядом с ней на диване и после некоторого молчания произнес:

— Теперь ты, наверное, поняла.

— Не знаю.

— Я имею в виду — то, о чем я не мог тебе сказать.

— И напрасно. Что бы это ни было.

Он сжал ее руку.

— Я обещал никому ничего не говорить. Даже тебе.

— По-моему, ты мог бы мне больше доверять.— Она нахмурилась обиженно и сердито.

— Конечно, я доверяю тебе во всем. Но я был связан. Ты же знаешь, что я тебе доверяю. Ну, послушай! Как тебе известно, нравственные дилеммы не слишком по моей части. Но я не видел выхода.

— Так уж трудно было? Это нехорошо с твоей стороны. Расскажи мне сейчас.

— По-моему, ты и так понимаешь.— Ему все-таки и теперь было нелегко решиться.

— Я уже сказала, что не знаю.

— Ну хорошо.— Голос у него стал жестким.— Они практически уверены, что установили, кто это сделал.

— Кто же?

— Ну, Перримен, конечно,— сказал он с легким нетерпением.— Отчего, по-твоему, мне не хотелось, чтобы ты его приглашала? Когда ты об этом заговорила, я уже не сомневался, к какому выводу они пришли. Но прямо мне еще ничего не сказали.

— Не могу поверить! — воскликнула она.— Не могу!

— Боюсь, тебе придется поверить. У них нет никаких сомнений.— Хамфри говорил теперь свободнее, нежнее. Да, он и сам не мог поверить. Конечно, он иногда ревновал ее к Перримену, пока между ними еще не было ясности. Да, он не исключал, что может подозревать его именно из-за этого. Но как бы то ни было, его подозрения никакой роли не сыграли. Полиция установила все сама.

— Но как?

— Кроме него — некому. В этом они убеждены, если только не кто-нибудь вовсе неизвестный.

— Довольно серьезное «если»!

— Они так не думают.

— А ты? Ты?

Он некоторое время мялся, словно заика.

— Логически я другого ответа не нахожу. Хотя до конца все-таки не уверен.

— Но зачем это могло ему понадобиться?— снова вспыхнула Кейт.

— По-видимому, из-за денег. И относительно небольших.

Он коротко сообщил ей несколько фактов о тайном фонде леди Эшбрук и о том, как она им распорядилась.

— И, по-твоему, это может служить доказательством?

— Не берусь судить, — ответил Хамфри. — Но я уже сказал, что логичного опровержения не нахожу.

— И что, по их мнению, Ральф Перримен извлек из этого? — Она сказала «по их», а не «по твоему», ограждая Хамфри от своих сомнений и горечи.

— Пока еще немного. Это происходило бы постепенно. Да и вся сумма в целом невелика. — Он добавил еще несколько фактов. Эшбруки были далеко не богаты. — Бог свидетель, — продолжал он сухо, — в расточительстве их упрекнуть никак нельзя. По мнению полиции, Перримен пока брал не больше, чем ему полагалось за посредничество. Если бы все пошло согласно плану, он мог бы прибрать к рукам еще несколько тысяч.

— И ты хочешь убедить меня... — их руки соприкасались, но она повернулась к нему с возмущением, — что он пошел на все это ради такой ничтожной суммы?

— Я видел, как люди делали и не такое ради совсем уж грошей.

— Ах, оставь свои воспоминания!

Она тут же попросила прощения. Она вся покраснела, глаза у нее сверкали, ее душил гнев. Однако вспылить на него, как на других, она не могла — разве для того, чтобы поддразнить его, но сейчас ей было не до того.

— Неужели ты действительно веришь, что этот человек — ты же его знаешь, и я его знаю — пошел на такое ради подобной мелочи!

— Возможно, мы его все-таки не знаем — ни ты, ни я.

— Так, значит, ты веришь?

— Предпочел бы не верить.

Кейт задумалась. Потом неожиданно деловым тоном сказала, что улики, по-видимому, очень слабые и доказать обвинение будет, наверное, нелегко. Хамфри ответил, что говорил Фрэнку Брайерсу то же самое и почти теми же словами. Возможно, они будут выжидать, пока не откроется еще что-нибудь. Возможно, поэтому с него и взяли слово молчать.

Оба предпочли бы перестать говорить, уйти в спальню. Но что-то их останавливало. Потом мог остаться осадок, непривычная для них тоска удовлетворенной плоти, и они не хотели рисковать.

### 35

Хамфри сидел в кабинете Фрэнка Брайерса в Скотленд-Ярде и ждал, когда он вернется. Это было самое новое здание Скотленд-Ярда на Виктории-стрит, как две капли воды похожее на десятки других административных зданий и совершенно лишенное живописного своеобразие, с сожалением подумал Хамфри (он был уже в том возрасте, когда всякие перемены неприятны), отличавшего старинный дом на набережной, который в чисто английском духе по-прежнему назывался Новым Скотленд-Ярдом. Хамфри подошел к окну. Кабинет находился на верхнем этаже башенки, венчающей здание. Далеко внизу змеей изгибалась освещенная полоса Виктории-стрит. И Хамфри вновь недовольно подумал, что ее невозможно отличить от любой другой магистрали в любой другой столице. Но дальше, утешая глаз, виднелся циферблат Биг-Бена. Стрелки приближались к девяти: Брайерс и его сотрудники работали до позднего вечера. За рекой низкие тучи клубились в ржаво-багряном зареве Лондона. У всех городов есть ночное свечение, но Хамфри казалось, что лондонское по сравнению с остальными сдвинуто гораздо дальше к красному концу спектра.

За дверью раздались быстрые шаги. Еще в дверях Брайерс сказал:

— Простите, что заставил вас ждать.

— Все в порядке?

Брайерс только что объяснял начальству свои дальнейшие планы. Он обладал прекрасным тактическим чутьем. Всегда полезно перестраховаться на случай неудачи, а в случае удачи у начальства будет ощущение, что тут есть и его заслуга.

— Вполне.

Он весь был подобран, весел, полон энергии.

Хамфри ждал. Брайерс пригласил его, по-видимому, для того, чтобы объяснить программу действий. Хотя после разговоров на прошлой неделе он ее, в сущности, уже знал. Теперь, когда все рассчитано, от него больше не может быть пользы — хотя и прежде ее было не так уж много. Он сказал тоном гостя:

— Прекрасный у вас кабинет!

Хамфри видел этот кабинет впервые — действительно великолепный, по официальным лондонским нормам предназначенный для чиновника высокого ранга: ковер, диван, окруженный креслами для неофициальных совещаний, длинный стол, окруженный стульями для официальных совещаний, бар, собственный туалет.

— Немножко мне не по чину.— Брайерс выпятил нижнюю губу.— Как я вам говорил — я ведь вам говорил?— мой предшественник гостит у ее величества (каторжная шуточка, подразумевающая тюрьму). Но не исключено, что в недалеком будущем меня могут и повысить. Так мне дали понять. Если только я не лягну кляксу в свою тетрадочку.

Брайерс оценивал свою карьеру спокойно и трезво. И так же спокойно и трезво он заговорил о следствии. Он совещался с ребятами. Сейчас нужна твердость духа — без лишнего оптимизма, но и без пессимизма. На них все время жмут. Кое-какие газеты не оставляют их в покое. И кое-какие члены парламента. Горстка тори разглагольствует о поддержании закона и порядка, двое-трое левых кричат об укрывательстве привилегированных лиц (намекая на Лоузби, но прямо его не называя).

— Со всех сторон!— При воспоминании об этих политиках в голосе Брайерса в первый и последний раз за этот вечер появился яд.— Ну да это пусть,— добавил он, беря себя в руки.— Однако при прочих равных, пожалуй, стоит показать кое-какие наши карты.

— А равны ли прочие?— Хамфри подумал, что его прежняя работа при всем множестве ее неудобств имела и одно преимущество: поскольку никто не знал, чем они занимаются, его фамилия за все время, пока он занимал свой пост, ни разу не была упомянута ни в прессе, ни в палате общин.

Брайерс сказал, что у них пока нет достаточных улик, чтобы предъявить доктору обвинение. С этим согласны и все его сотрудники и все верхи этажом ниже. Он указал на пол, но так, словно это был потолок. Кроме того, они все согласны, что шансы раздобыть более веские улики очень невелики. Можно добиться от Нью-Йорка уточненных сведений о фонде леди Эшбрук, но это ничего не даст. Может случайно повезти. Так иногда бывает, но рассчитывать на это нельзя. Остается одно: ударить прямо по Перримену. Предъявить ему обвинение они не могут, но могут обратиться к нему за помощью в расследовании. Брайерс произнес эту ханжескую формулу с усмешкой: в молодости он часто слышал от Хамфри, что современный английский язык определяется выхолащиванием смысла из слов. Его усмешка оставалась злой.

— Иногда они оказывают нам очень большую помощь!— Потом он сказал:— Вы согласны, что другого выхода нет?

— По-видимому.

— Он ведь представления не имеет, сколько мы теперь знаем. Можно будет хорошенько его встряхнуть. Это, конечно, потребует времени. Но другого выхода нет.

— Пожалуй.

Брайерс говорил как следователь, всецело поглощенный своей задачей, но в то же время он шадил своего друга. Ему казалось, что Хамфри все еще что-то скрывает, но он предпочел не настаивать на прямом ответе. Лучше оставить это. И Хамфри понял. Но, кроме того, он начинал понимать, почему Брайерсу понадобилось увидеться с ним в этот вечер.

— Остается один вопрос,— сказал Брайерс.— Когда? Когда мы приступим? — Вряд ли надо говорить вам,— продолжал он, улыбаясь воинственно, с вызовом,— что тут мнения разошлись. Я имею в виду — среди ребят. Теперь или подожже. Вот что надо решить. Некоторые предпочли бы подождать, не обнаружится ли еще что-нибудь. Один шанс на миллион, говорят они, но ради него стоит подождать. Старик Лен Бейл втихую на их стороне. В некоторых отношениях есть в нем что-то от старой тетушки. Но не во всех!— Брайерс словно посмеивался над чем-то, чего Хамфри не знал.— А другие рвутся в бой. Их довод — захватим его врасплох. Он верит, что вышел сухим из воды, что мы о нем и думать забыли. Ему же неизвестно, до чего мы докопались. Он даже не знает, что мы нажали на Лоузби и на эту девку. Лоузби с ним не общался. Это мы знаем. Да и прежде тоже не общался, насколько мы можем судить. И, во всяком случае, теперь Лоузби и его супруга думают только о своих драгоценных персонах. Они-то вообще ни о чем другом думать не умеют.

Брайерс высказал несколько заключений насчет Сьюзен, а потом вернулся к теме.

— Довод против — то есть против того, чтобы взяться за него теперь же,— разу-

меется сам собой. Если это даст осечку, в следующий раз он будет предупрежден. Теперь у нас на руках все козыри, и их должно хватить, чтобы сломить его. Если мы промажем, то лишимся этого преимущества.

Теперь между ними не возникало ни малейшего напряжения. Их дружба — их старая дружба — полностью восстановилась. Однако Хамфри, посмеиваясь про себя, подумал, что все не так просто. Его используют. Брайерсу нужен кто-то посторонний, кто-то, кому нечего терять или выигрывать, нужен для того, чтобы проверить на нем все доводы и сомнения. Хамфри в свое время постоянно приходилось сталкиваться с людьми действия. Принимая решение, они нуждаются в ком-нибудь, кто слушал бы и не спорил, не нарушал хода их мысли. Такую роль играли, например, таинственные наперсники премьер-министров. Как правило, безликие и бесцветные. В министерствах для них прежде существовало особое прозвище — камертон при номере первом.

— Ну и какую сторону выбираете вы? — спросил Хамфри.

— Вам нужно, чтобы я ответил?

Рот Хамфри дернулся в улыбке.

— Пожалуй, не нужно.

— Да, мы ждать не будем. Конечно, риск есть. Но за перевешивает против. И, значит, колебаться больше нечего.

Брайерс словно взвешивал свое решение, хотя принял его уже несколько дней назад. Он задал еще один вопрос:

— Кстати, как вы оцениваете шансы? Я имею в виду: поддастся ли он?

Хамфри не сомневался, что его ответ ничего не изменит. А потому он позволил себе рассуждать отвлеченно. Им обоим известно, сказал он, что, зная людей, можно предвидеть некоторые реакции. Но две вещи непредсказуемы — по крайней мере сам он не встречал человека, который был бы способен предугадать их заранее. Во-первых, физическая стойкость. Ее предугадать не удалось никому. Во-вторых, — и это совсем не одно и то же — способность противостоять нажиму. Тут он на свои прогнозы и ломаного гроша не поставит. Ну, пожалуй, можно предположить, что натуры вроде Сьюзен, мягкие и податливые внешне, но тягуче-вязкие внутри, способны выдержать почти любые допросы. А более жесткие и негибкие сломаются скорее. Так может произойти и с доктором.

— Это, конечно, чистая догадка. Я вам уже говорил. Но мне кажется, какой-то шанс есть.

— Спасибо и на этом.

Брайерс выслушал его с дружеским вниманием, и только. Затем он опять начал спокойно и реалистично оценивать ситуацию.

— Я, разумеется, сказал ребятам, чтобы они были готовы к неудаче. У нас не так уж много зацепок. Мы можем здорово хлопнуться. Пришлось напомявить им о прошлых случаях, когда мы были уверены не меньше, а преступник натягивал нам нос и до сих пор разгуливает на свободе.

Брайерс продолжал рассказывать о своих предостережениях. Хамфри не сомневался, что он действительно советовал своим сотрудникам не питать лишних надежд. Брайерс обладал трезвым умом. Он помнил о своих неудачах. Но тем не менее он адресовал эти предостережения в первую очередь себе. Хамфри, только что вспоминавший о привычках премьер-министров, вспомнил еще одну. Он подумал о том, как перед началом войны в пустыне Черчилль торжественно предостерег страну, что на войне ничего нельзя предсказать наверняка и никто не может твердо обещать победу. Беда была в том, что его словам не поверили, так как им не верил он сам. Отрезвляющими были слова, но не тон. Брайерс мог предостерегать своих сотрудников со всей профессиональной серьезностью, однако они все равно почувствовали бы, что у него самого сомнений нет, — и не ошиблись бы.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В задней комнате полицейского участка все велось в тоне безупречной вежливости. Тут ближайшие сотрудники Брайерса совещались в первый день, приступая к следствию, и много раз потом. Теперь здесь задавались вопросы, а вернее, как сказал бы не слишком тактичный посторонний наблюдатель, шел допрос. По одну сторону стола сидели сам Брайерс и инспектор Флэмсон, по другую — доктор Перримен.

Постороннему наблюдателю было бы нелегко решить, кто берет верх. Да и не постороннему — тоже. Перримена привезли в участок в половине шестого вечера, а за столом они сидели с шести. Арестован он не был, поскольку, как и сказал Брайерс в разговоре с Хамфри, у них не доставало улик, чтобы предъявить ему обвинение. Двоих оперативников послали домой к доктору с мягкой просьбой — необходимо кое-что выяснить. Да, пожалуй, ему лучше захватить чемодан: это может потребовать некоторого времени. Ездивший за ним сержант доложил, что Перримен вроде был готов к чему-то подобному. Его движения были осторожными и неторопливыми, точно он берег дыхание. Один раз он попробовал пошутить. У него много пациентов в Белгрейвии, сказал он, а вот ночь там ему предстоит провести впервые. Полицейские не видели никакой разницы между Блумфилд-террас и Белгрейвией и на шутку не откликнулись.

Брайерс слушал. Ничего нового эта манера Перримена ему не сказала: доктор был хладнокровен, самоуверен и умел держать себя в руках. Как и многие другие, попадавшие в подобное положение. Это говорило не о виновности или невинности, а только о характере. Брайерсу доводилось допрашивать ни в чем не повинных людей, которые при первом намеке на подозрение принимали вызывающий тон. Так произошло и с ним, когда однажды допрашивали его самого. Если он когда-нибудь и верил в расхожие прописи о человеческом поведении, это было очень давно.

Никаких формул не существовало. Сейчас Брайерс об этом не думал, но вообще он нередко предупреждал своих молодых сотрудников, что никаких заранее заданных формул нет. Нахрапистые грубияны вовсе не всегда трусы, скорее уж обратное ближе к истине.

Перримен не потребовал, чтобы ему дали возможность посоветоваться с его адвокатом. Он прекрасно понимал, что у Брайерса в запасе сильная карта: если Перримен не хочет помочь полиции, может быть, он предпочтет помочь налоговому управлению? Сведения о привычке леди Эшбрук оплачивать услуги врача наличными подшиты к делу. Для начала этого было вполне достаточно.

Еще до того, как Брайерс решил взяться за Перримена прямо, он пришел к выводу, что тот оценивает положение примерно так же, как он сам. Для проверки он начал с раздумчивых вопросов об образе жизни леди Эшбрук.

— Видите ли, нас это очень интересует, — сказал Брайерс.

— Но в чем заключается проблема, старший суперинтендент? — сказал Перримен таким же раздумчивым тоном.

— Довольно-таки загадочно, как она умудрялась жить на свои доходы. То есть на те, которые объявляла налоговому управлению.

— Боюсь, подробности мне неизвестны. Очень жалею, что не могу вам помочь.

— Разумеется, если бы вы могли помочь, это было бы очень ценно.

— Но, конечно, вы уже поняли, — лучезарные глаза Перримена смотрели прямо в умные, пронизательные глаза Брайерса, — что она жила очень экономно. Как врач я часто повторял ей, что в таком возрасте нельзя жить одной и необходимо найти кого-нибудь.

— Совет был очень разумный. Но тем не менее мы все еще не вполне понимаем, как она сводила концы с концами. Содержание такого дома обходилось недешево, не правда ли? Наверное, и вы так считали.

Тут они деловито обсудили, к какому минимуму могла свести леди Эшбрук расходы по дому. Могло показаться, будто они занимаются теорией научного ведения домашнего хозяйства и увлеченно разрабатывают сбалансированный бюджет. Словно пародировались другие совещания в этой комнате, когда оперативная группа впервые попыталась разобраться в финансовых делах леди Эшбрук.

Флэмсон, до тех пор только записывавший, теперь, не оставляя этого занятия, сменил роль немного статиста на роль со словами. Брайерс задавал ему вопросы и просил Перримена тоже справляться у него, объявив (и это было чистой правдой), что из Флэмсона вышел бы первоклассный делец. А про себя Брайерс, глядя на своего подчиненного, подумал, что делец из него вышел бы лучший, чем сыщик. Вот он сидит, плотный, грузный, с набрякшими веками; соображает очень неплохо, но только любит себя побаловать. Да, соображать он умеет, хотя, возможно, ему не хватает одержимости. И все-таки взять его в группу стоило. В конце-то концов он первый отнесся к завещанию леди Эшбрук с сомнением. Может быть, он и медлитель, но тем не менее напал на верный след.

А теперь он процупывал Перримена, обсуждая расходы леди Эшбрук.

— Не сходятся они, — сказал он с сонным удовлетворением бухгалтера. — Никак не сходятся.

Это опять-таки было повторение того, что полиция обнаружила уже давно. Но Флэмсон излагал факты так же, как много недель назад своим коллегам.

Опять вступил Брайерс:

— Вам ведь была известна ее привычка оплачивать счета наличными, а не чеками? Даже крупные счета. Странная привычка, вы согласны?

Перримен улыбнулся ему дружески и чуть-чуть свысока — улыбкой, которая прежде нравилась Кейт.

— По-видимому, вы живете в мире огражденным от обычных забот, старший суперинтендент.

Все трое говорили спокойно, ровным тоном, словно просто беседовали, словно это не был полицейский допрос. Такой стиль избрал для себя Брайерс, и он не собирался его менять, даже если бы не добился в этот вечер никаких результатов. Он не верил — как не верил другим заданным формулам, столь дорогим сердцу непосвященных, — в чередование мягких и жестких приемов допроса подозреваемых. Это не для профессионалов. Профессиональный метод допроса гораздо проще излюбленных обывательских представлений о нем. Быть самим собой — вот и весь секрет. Ни у одного следователя — да и ни у кого другого — не останется сил долго выдерживать взятую на себя роль. Если человек по ту сторону стола попробует что-нибудь подобное, тем хуже для него.

Конечно, имелась определенная тактика. Например, держать какой-либо факт в запасе и внезапно ошеломить им. Этому можно научить. Но гораздо труднее научить, как выбрать момент для смены темпа. Хороший следователь выбирает его словно инстинктивно. И только другой хороший следователь может оценить все стоящее за этим искусство, только хороший следователь способен распознать в другом эту внутреннюю работу.

Они продолжали в этом направлении около часа. Флэмсон вновь и вновь разбирал загадку доходов леди Эшбрук. Подобные процедуры строятся на повторениях — вот почему так невыносимо скучны магнитофонные записи допросов. Молодая сотрудница — при виде нее глаза Флэмсона заблестели под опухшими веками, хотя в группе Брайерса счастливым прелюбодеем был не он, а Бейл, — вошла с тремя чашками чая. Чай был очень жидкий и щедро сдобрен молоком. Брайерс, выкуривший за этот час полдюжины сигарет, закурил еще одну.

— Вероятно, вам будет любопытно узнать, — сказал он небрежно, как бы между прочим, словно сообщая, что последние известия по телевизору будут сегодня передаваться на двадцать минут позднее обычного, — что у нас есть сведения, которые могут быть вам интересны. Об источнике денег, которыми располагала леди Эшбрук. Ну, вы знаете — американский фонд.

— Американский фонд? — повторил Перримен равнодушно, без всякого выражения.

— Ну, вы же знаете. Деньги поступали через определенные сроки. Доставлялись в английских банкнотах через кого-то в Лондоне. И расходовались на оплату счетов.

— Интересно, — сказал Перримен без малейшего интереса.

— И это продолжалось после ее смерти.

— Неужели?

— Да, фонд продолжал действовать. Довольно значительная сумма — точная цифра нам неизвестна, но, скажем, тысяча фунтов была передана лорду Лоузби. — Брайерс не изменил тона. — Согласно нашим сведениям передана вами, доктор.

Лицо Перримена разгладилось, помолодело, на мгновение преображенное шоком. И мгновение он молчал. Потом заговорил резко и надменно:

— По-видимому, мне следует отдать должное пылкости вашего... или чьего-то еще воображения.

— Лучше подумайте, прежде чем продолжать. — На этот раз Брайерс придал своему голосу холодную официальность. — Наши сведения точны. И при жизни леди Эшбрук деньги, поступавшие из фонда, передавали ей тоже вы.

И вот тут Брайерс допустил единственную ошибку за весь этот допрос. До сих пор он говорил чуть более категорично, чем позволяли имеющиеся у него сведения. Это был блеф, а вернее, не совсем блеф. Перримен не пытался опровергать его утверждения. Пока все шло легче, чем рассчитывал Брайерс, — настолько легко, насколько вообще можно было надеяться. И он продолжал все с той же твердой уверенностью:



— Вы ведь были контролером, так?

— Кем-кем?

— Контролером.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я могу сказать по буквам: к о н т р о л е р о м .

— Так меня чикто никогда не называл. По-моему, очень глупое прозвище.

Брайерс уже сообразил — уже несколько секунд назад сообразил, — что допустил ошибку. Возражение Перримена прозвучало не так, как предыдущие. Недоумение, незнание были подлинными. Причину своей ошибки Брайерс понял только позднее. Как ни странно, сработал автоматизм. В конторе О'Брайена до и после смерти старого юриста говорилось о контроле над фондом. В Лондоне был кто-то, кому пересылались деньги. Имени его им знать не полагалось. Лучше называть его контролером. И в результате случайности его так же начали называть между собой Сьюзен и Лоузби. В одной из пачек полученных ими банкнот остался обрывок ленты с этим словом, напечатанным на машинке, и они его подхватили. Так же, как американские и английские полицейские. Но Перримен никогда его даже не слышал.

Брайерс выругал себя за небрежность. Как правило, он ничего не говорил, не проверив заранее. А в результате Перримен вновь обрел уверенность в себе и отчасти перехватил инициативу. У него хватило самонадеянности — возможно, напускной, а возможно, и порожденной высокомерием, — чтобы перебить Брайерса, который закурил очередную сигарету.

— Простите, старший суперинтендент, — сказал Перримен, — но не слишком ли много вы курите?

Брайерс, сбитый с толку, посмотрел на него с недоумением и ответил:

— Возможно.

— Будь я вашим врачом, я бы настоял, чтобы вы проверяли легкие. Систематически.

— Но вы ведь не мой врач, — сказал Брайерс.

— Не исключено, что к несчастью для вас.

— Поживем — увидим, — сказал Брайерс. — Всем нам придется когда-нибудь умереть.

Эти слова сопровождала утрированная полицейская усмешка, которую хорошо знал Хамфри. И она была бы еще утричнее, если бы в конце этого вопроса маячила тень виселицы. Задним числом Брайерс почувствовал некоторое уважение к выдержке Перримена. Такую же выдержку, может быть, проявляли некоторые пациенты Перримена, когда, томясь смертным страхом во время осмотра, они с участием осведомлялись о каких-то симптомах самого доктора, теперь по иронии судьбы оказавшегося в сходном положении.

— Не будем отвлекаться, — сказал Брайерс, впервые позволив своему голосу стать чуть-чуть жестче. — Впереди еще много дела. — Он продолжал: — Да, нам известно, что вы передавали деньги после смерти леди Эшбрук и прежде. Больше вам это скрывать не удастся. Мы намерены узнать все.

Всего им узнать не удалось, но кое-что они за этот вечер мало-помалу узнали. Многие из того, что они восстанавливали по кусочкам, оказалось близким к истине. Хотя и не все. Перримен был готов дать им объяснения и говорил даже словно бы не без удовольствия. Он просто оказывал безобидную, дружескую добрую услугу.

— Это мы оставим решать налоговым инспекторам, — заметил Брайерс, но словно мимоходом. Вполне возможно и даже вероятно, что Перримен не знал всей истории целиком, решил он. И уж во всяком случае не знал ее начала: тридцать лет назад, когда кончилась война, он еще не слышал про леди Эшбрук. Но с О'Брайеном он встретился и признал это.

— Леди Эшбрук доверяла не слишком многим, не так ли? — спросил Брайерс.

— Да, конечно.

— Но ему она доверяла?

— И с полным на то основанием. С полным основанием. — Перримен добавил с неожиданным чувством: — Он был хорошим человеком.

Это была странная похвала, произнесенная так, словно Перримену принадлежало право оценивать и решать.

В восемь часов им принесли еще чаю. Около девяти — тарелку с грудой бутербродов. Перримен съел больше своей доли — то ли от напряжения, то ли проголодавшись.

Брайерс все еще не давал Перримену отвлекаться от финансовых операций. Кто разработал систему? Перримен не знал. Возможно, действительно не знал. Ничто не доверялось бумаге. Тут они отгадали верно. Молчание. Простота. Единственный способ сделать что-нибудь втайне, думал Брайерс. Хамфри согласился бы с ним. Только опытные люди знают, что всегда следует избегать усложнения.

Перримен сказал, что система действовала задолго до того, как он стал врачом леди Эшбрук.

В целом их версия опять оказалась почти верной. Когда О'Брайен перенес инсульт, возникли всякие трудности. Сам он уже никуда поехать не мог. Способ пересылать в Англию деньги, сообщения и инструкции без риска разоблачения вовремя разработан не был. Вопреки предположениям полиции эту необходимость заранее не предусмотрели. Старая история, подумал Брайерс: противника часто переоцениваешь. Леди Эшбрук и О'Брайен, по-видимому, не сумели отыскать иного выхода и вынуждены были обратиться к помощи третьего лица. Хотя это ей очень не нравилось, но приходилось искать в Англии посредника, которому она могла бы довериться. Вот так в операцию был вовлечен Перримен.

— Когда это произошло?

Перримен назвал точную дату: июнь 1968 года.

— Почему она обратилась к вам?

— Она уже несколько лет была моей пациенткой и доверяла мне.

— Вам это пришлось очень кстати, верно? — внезапно спросил Брайерс.

Перримен не выдал ни удивления, ни злости, ни тревоги. Тон его голоса не изменился.

— Кроме того, я ей нравился, — сказал он самодовольно.

Брайерс и так уже понял, что Перримен тщеславен — почти патологически тщеславен. Но тут был еще какой-то не вполне ясный, почти неуловимый оттенок. Он спросил:

— В сексуальном смысле, хотите вы сказать?

Перримен ответил все с тем же самодовольством:

— Когда мужчина и женщина искренне нравятся друг другу, между ними обязательно возникает определенное сексуальное тяготение. Конечно, ей было за семьдесят, но я как врач могу вас заверить, что сексуальное чувство с возрастом не исчезает.

Брайерс перебил его, на секунду утратив контроль над собой:

— Полицейскому это можно и не объяснять, черт подери!

Перримен невозмутимо продолжал:

— Да, тут мог присутствовать и элемент сексуальности. Нам всем известно, что пожилые женщины нередко создают культ вокруг своих врачей. Но к ней это не относилось. Все было по-другому. Естественно, это ни к чему не привело. Звание врача обязывает, хотя при других обстоятельствах...

— Да-да.

Брайерс вернулся к теме. Как деньги передавались Перримену? Как он их получал? (Недаром Хамфри заметил однажды, что это одна из извечных проблем в такого рода операциях.) Брайерс не думал, что получает вполне исчерпывающие ответы, но это существенного значения не имело и он не стал уточнять.

— Вы сами их забирали? — спросил Брайерс.

— Разумеется, нет. Это прямо противоречило бы цели.

— Почему? — Брайерс мог бы и не спрашивать: ответ был очевиден.

— Мне кажется, я человек довольно заметный.

Брайерс искоса взглянул на своих сотрудников. Они верно угадали, как леди Эшбрук получала свои деньги. Прием был довольно примитивный, но он давал результаты.

Перримен сказал, что был агентом леди Эшбрук. Это слово он произнес самодовольным тоном и презрительно добавил, что ни ему, ни ей в голову не пришло бы называть его контролером. Распределение денег она поручала ему — и при ее жизни и после ее смерти.

— Она объяснила мне свои желания. Как я уже говорил, она мне доверяла.

— Да, мы это уже слышали. И о том, как их передавать после своей смерти, она тоже распорядилась?

— Да.

— Кто должен был их получать?

— Лоузби, это само собой разумеется. Основную долю. Ну, и еще два-три человека. Из них никто про это не знал. Все должно было сохраняться в глубочайшем секрете. Собственно говоря, я еще не придумал, каким образом это устроить...

— Ну теперь вам можно больше не затрудняться,— сказал Брайерс с преувеличенной вежливостью.

Перримен не уступил. Со столь же преувеличенной насмешливой вежливостью он ответил:

— А вам можно не затрудняться из-за этих людей. Они ни о чем не были предупреждены. К тому же суммы им предназначались очень небольшие — в лучшем случае несколько сотен фунтов.

— И договоренность была только устная?— Брайерс в этом несколько не сомневался.

— Для того все и делалось.

— Так что проверка была невозможна?

— Да.— Перримен добавил, словно желая помочь им: — Правда, один человек знал, что будет получать их и дальше,— лорд Лоузби.

— Пожалуй, я должен прямо сказать вам,— заметил Брайерс без всякого выражения,— что лорд Лоузби в данной ситуации нас не интересует.

Холодно, равнодушно, снова высокомерно Перримен ответил:

— Полагаю, мне следует считать, что вы знаете свою работу, старший суперинтендент?

— Да, это, возможно, облегчило бы дело.— И по-прежнему вежливо Брайерс продолжал:— Ну, финансовой стороной мы, я думаю, можем больше не заниматься. А вы как считаете, Джордж?— Он повернулся к Флэмсону.

— Сведений мы получили вполне достаточно, шеф. И знаем, откуда получить добавочные, если они понадобятся.

— Видите ли, доктор, все это, как я уже упоминал, будет подарком налоговому инспектору. Думаю, к доходу леди Эшбрук они возвращаться не станут: он не стоит ни времени, ни хлопот. Другое дело — налог на наследство. Вот этим они, конечно, займутся.

Наступило молчание, недолгое, нарочито апатичное.

Потом Брайерс сказал, чуть наклонившись через стол:

— Сколько денег осталось в этом американском фонде?

— Я не знаю.

— Это не ответ.

— Но это абсолютная правда.— И словно подражая Брайерсу, Перримен тоже рассчитанно помолчал несколько секунд, а затем добавил, как будто смакуя просторечие: — Эта парочка умела держать язык за зубами.

— Но примерное представление вы, безусловно, должны иметь,— сказал Брайерс с некоторым нажимом.

— Я уже сказал вам: нет.

— Ну, с этим мы сами разберемся,— продолжал Брайерс.— Но, надеюсь, вы можете сказать мне кое-что другое. Сколько вам предстояло получить за это самому? Перримен молча смотрел мимо него. Зрачки у него расширились.

— Сколько? — повторил Брайерс.

— Я соображаю. Леди Эшбрук, разумеется, со мной об этом говорила. Она не хотела, чтобы я терпел ущерб. Это отнимало определенное время и, естественно, возлагало на меня ответственность. А потому она сказала, что у меня есть право на комиссионные. Леди Эшбрук неоднократно называла сумму в две-три тысячи. Примерно столько посреднику и полагается.

— Немного! — вставил Флэмсон.

— Она берегла свои деньги. И О'Брайен их берег. А я ведь в конце-то концов оказывал дружескую услугу, и только.

— Конечно, никаких доказательств всего этого нет? — сказал Брайерс.

— Их и быть не может.

— Ну а когда она умерла? Какую сумму она назначила вам?

— Отнюдь не значительную. Лоузби должен был получить частями двадцать тысяч фунтов. Прочие суммы — вовсе пустяки. А то, что осталось, могло составить мои комиссионные.

— И вы утверждаете, что не имеете представления о том, чему равнялась бы эта сумма?

— Ни малейшего. Во всяком случае, я не предполагал получить что-либо существенное.

— Ну разумеется не предполагали.— Брайерс продолжал, не изменив тона: — А теперь с вашего разрешения я предпочел бы все это оставить. Нам не стоит тратить время на махинации с налогами.

— Так, на что же нам стоит тратить время? — Перримен демонстративно поглядел на часы. Было уже за десять. Они сидели тут больше четырех часов.

Брайерс сказал:

— Остается вопрос об убийстве.

Голоса мало что выдавали, лица — и того меньше. Если бы они обсуждали спектакль Национального театра, магнитофонная лента, фотографии запечатлели бы не больше эмоций.

## 37

— Мне ведь незачем объяснять вам, для чего все это потребовалось, правда? — Брайерс говорил медленно, тщательно выбирая слова.— Убийство. Вот о чем мы хотим вас спросить, как вы сами понимаете.

— Не стану утверждать, что меня это очень удивляет.— Перримен сказал это с высокомерно-сниходительным, словно бы добродушным сарказмом.

— Мне незачем говорить вам, почему мы уделяли столько внимания деньгам. Пока достаточно, чтобы вы сами об этом подумали.

Брайерс раздавил окурок. В пепельнице их набралась уже целая окурка. Он спокойно помолчал. Потом словно бы мимоходом без всякого нажима спросил:

— Ну а вы? Вы ведь могли ее убить, не так ли?

— Я не вполне вас понимаю.— Перримен сохранял полное хладнокровие.

— Возможно, вы поймете. Рано или поздно. Вы ничем не можете подтвердить, что сказали нам правду о том, как провели тот вечер. Я отдаю себе отчет, что в таком положении может очутиться кто угодно. Но что бы вы нам ни говорили, вы тем не менее могли быть и там. Вы согласны?

— У меня нет доказательств обратного. Я согласен, что, теоретически говоря, мог быть и там.

— Я уже сказал, что это относится и ко многим другим. Но вы имели к ней свободный доступ. У вас был собственный ключ от входной двери.

— Мне казалось, я достаточно ясно объяснил,— Перримен откинул голову,— что был ее близким другом.

— А кроме того, ее врачом. Это ставит вас в особое положение, не так ли? И могло обеспечить вам определенные преимущества.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду.

— Думаю, вы отлично понимаете. Это же вполне ясно. Вы умный человек. Если требуется убить старуху, у врача есть определенные преимущества. Особенно если она его пациентка. Она ведь доверяет ему, не так ли? Она доверяет его рукам.

— Теоретически это так.

— У вас хорошие руки, доктор.

Перримен держал их перед собой, уперев друг в друга длинные пальцы с коричневыми ногтями, полусогнутые, сильные.

— Да, мне говорили.

— И у вас было бы еще одно преимущество. Вы бы точно знали, как сжать эти руки, чтобы все обошлось тихо. Конечно, вам пришлось бы заранее как-то объяснить, почему вы в перчатках, но для находчивого человека это было бы несложно. Например, вы зашли прямо после визита к пациенту с инфекционным заболеванием.

Перримен улыбнулся.

— Да, врач мог бы проделать все это. Мне остается только снова воздать должное вашему воображению. Да, теоретически это могло произойти так. Беда лишь в том, что в действительности ничего этого не было.

На этот заключительный укол Брайерс не обратил никакого внимания и продолжал:

— Одна деталь убийства нам все еще не вполне ясна. Врач, конечно, знал бы, что она уже мертва. Так зачем же он размозжил ей голову? Бесцельно. Рискованно. Его могло забрызгать кровью. Разве только он принял предосторожности, которые нам

пока не удалось установить. Во всяком случае, если бы он хоть немного подумал, то не стал бы этого делать. Не схватил бы молоток. Естественно, нам лучше, чем кому-либо, известно, что человек, убив кого-нибудь, нередко впадает в иступление. Свидетельств этому можно набрать более чем достаточно, только мы предпочитаем о них не упоминать. Но в данном случае не было никаких признаков. Хорошо, пусть не припадок безумия. Возможно, попытка инсценировать зверское убийство, изобразить зашваченного врасплох тупого грабителя. То же самое с разгромом в комнате. Опять инсценировка. Мы это поняли с первого взгляда.

— Еще один взлет вашего воображения, насколько я понимаю,— заметил Перримен. Брайерс мгновенно сменил линию. Он сказал резко:

— Летом вы, по-видимому, считали, что старухе жить уже недолго?

— Не столь категорично.— Перримен ответил коротко, профессионально, менее велеречиво, чем на прямые обвинения.— У меня были определенные основания для такого предположения. Оно оказалось неверным.

— Будь оно верным, она бы уже умерла. И вам досталась бы роль ее душеприказчика точно так же, как теперь.

— Вполне вероятно.

— И если бы не убийство, никто ничего не заподозрил бы. Деньги поступали бы согласно плану?

— Разумеется.

— Но раз ваше предположение оказалось неверным, она могла бы жить еще годы и годы?

— Могла бы.

— И в результате возникло желание ускорить события? — Брайерс без нажима возвращался к прежней линии.

— Безусловно, оно могло бы возникнуть,— сказал Перримен.— У кого-нибудь.

— И узнать, что ей ничто не грозит,— каким, наверное, это было потрясением?

— Да, конечно, если кто-то испытывал нетерпение.— Тон Перримена не изменился.— Никаких признаков этого я не заметил. Вероятно, потому, что у меня не тот круг знакомств.

Брайерс сказал, словно задумавшись:

— Если бы вы могли как-то продлить ее жизнь — в качестве ее врача, разумеется,— вы бы это сделали, верно?

— Безусловно.

— Какие бы мысли у вас ни возникали?

— Я не понял, что вы имеете в виду.

— Профессиональный долг — странная вещь. Вы согласны, не правда ли?

При обмене этими фразами между ними на мгновение возникло нечто вроде сочувствия, которое почти весь вечер пряталось где-то возле самой поверхности. Не симпатия — ни с той, ни с другой стороны ее не было. Брайерс скорее даже испытывал отвращение. Но это чувство было и более скрытым и более сближающим, чем простая симпатия. Брайерс знал, что больше ничего сегодня не добьется. Они начали долгий цикл повторений: операции с деньгами, то, как могло быть совершено это убийство. Брайерс не был недоволен. Ему приходилось подавлять в себе оптимизм — тот самый оптимизм, против которого он предостерегал своих сотрудников. Этого человека не сломить сразу, но он будет понемногу поддаваться. Неожиданно Брайерс сказал, что пока достаточно — у его сотрудников утром будет еще несколько вопросов,— и вежливо пожелал Перримену доброй ночи.

Немного позже оперативная группа собралась, точно футбольная команда для разбора утренней игры. Они видели, что Брайерс забывает про усталость, хотя позади было уже несколько часов напряженных усилий. Они предвкушали момент, когда доведут работу до конца, до победного конца. На столе в кабинете по убийству стояла бутылка виски. Кто-то сказал:

— Все будет в порядке, верно, начальник.

Сказал, а не спросил. Все чувствовали себя одинаково хорошо. Брайерс, которому в прошлом не раз доводилось страдать из-за обманутых надежд, ответил:

— Поверю, когда своими глазами увижу. Поверю, когда увижу, что мы убедили присяжных.

— По дереву стучите?

— От этого вреда не бывает,— сказал Брайерс.

На следующий вечер, когда двое оперативников вновь допрашивали Перримена, в полумиле оттуда Хамфри сидел у себя в гостиной на диване рядом с Кейт. Она несколько минут назад поднялась из кухни, где приготовила ему ужин, который теперь стоял на столике рядом. Насмешливый посторонний наблюдатель мог бы назвать это уютной домашней сценкой. И она повторялась чуть ли не каждый вечер — менялось только меню.

Однако формально их отношения не изменились. Кейт так и не решилась на разрыв. Она все так же работала в больнице и заботилась о Монти, а по вечерам окружала Хамфри всем вниманием, на какое способна любящая женщина. Она хотела, чтобы ему было хорошо — тогда и ей было хорошо. А для себя она ничего не хотела — только поставить на своем, как объяснил ей Хамфри с той свободой, которую ему давала любовь. Ведь их жизнь строилась на ее условиях, а не на его.

Кейт была не в силах бросить Монти — оставить одного в его беспомощности. Она считала себя трезвой и практичной натурой — более трезвой и практичной, чем многие другие. Сентиментальностью она не страдала. Но она была не в силах принудить себя к окончательному и полному разрыву. Возможно, верх взяла привычка. Или же утешительное сознание — вовсе не такое благородное, как могло бы показаться женщине, придерживающейся более высокого мнения о себе, — что за тебя кто-то цепляется.

Все это было не столь уж трезво и практично. А возможно, как раз наоборот. Кейт заявила Хамфри, что уйти к нему совсем ей пока еще нельзя. И они приспособились к этому положению. Половину времени она жила у него. И это было счастьем особого рода. В конце-то концов существует гораздо больше разновидностей счастья, чем полагают самодовольные или себялюбивые люди. А Кейт даже наслаждалась лишними усилиями и хлопотами, хотя иногда и фантазировала, где они с Хамфри будут жить, когда станут совсем свободны.

Знал ли Монти? Кейт и Хамфри считали, что не знать было бы трудно. Она не скрывала, где бывает. У нее не было потребности в признаниях и объяснениях, но лгать она не стала бы. Не исключено, предположил Хамфри, что Монти и знает и не знает, — найдется немало людей, которые подозревают что-то неприятное и предпочитают закрывать глаза на свои подозрения. Зная и не зная, он получал все, что получал всегда — заботливый уход, полный порядок во всем, полностью оплаченный домашний уют, — и мог по-прежнему предаваться размышлениям. Убеждение в собственной гениальности как будто не мешало ему обладать хитростью, опирающейся на инстинкт самосохранения: ведь если бы он потребовал от нее объяснений, она получила бы возможность прямо порвать с ним. Это Хамфри думал про себя, но с ней говорить не стал, полагая, что ей все еще было бы больно увидеть Монти в таком свете.

В этот вечер Кейт, уютно устроившись на диване, следила за еще одним направлением в ходе его мыслей. Она знала, что допрос Перримена волнует его не меньше, чем самих оперативников. Это волнение не делало особой части человеческой натуре. Оно было сродни ощущению, которое испытывали знакомые леди Эшбрук, пока ожидали известия о том, действительно ли она смертельно больна. Сердца людей — пусть даже и добрых в обычном смысле — начинают биться с приятным возбуждением, когда кому-то другому угрожает беда. Да, Хамфри добрее многих и многих, думала Кейт, уж кому и знать как не ей. Но, любя его, она знала, что он почти невольно все время думает об этом допросе. Кроме того, она знала, что днем он разговаривал с Фрэнком Брайерсом. Конечно, Хамфри жалеет, что не может принять участия в допросе, и завидует им.

Если бы он мог услышать, о чем они говорили совсем поздно ночью, то позавидовал бы им еще больше. Шло обсуждение второго допроса. Настроение у всех было приподнятое. Точно во время выборов в штаб-квартире кандидата, который как будто уже получил нужное число голосов. Радость была почти осязаемой, а одобрительные удары по плечу даже весьма осязаемыми. Брайерс, захваченный общим оптимизмом, разрабатывал дальнейшую тактику, по временам забывая все другие заботы.

Второй допрос по обычному методу Брайерса вела вторая пара — в данном случае Бейл и Норман Шинглер. К этому времени финансовые операции были уже достаточно ясны, то есть на большую ясность рассчитывать не приходилось. Однако относительно убийства им ничего установить не удалось и они не добились от докто-

ра ни единого нового факта о том, что он делал в тот вечер, кроме визита к больной (подтвердившей его показания), очень короткого, просто чтобы успокоить ее,— визита, который ничего не доказывал и не опровергал. Доктор держался высокомерно и не давал себя сбить; сообщила вторая пара. Он отвечал точно так же, как накануне Брайерсу. Да, конечно, он мог бы положить руки ей на шею. Больные считают естественным, что врач их ощупывает. Да, конечно, задушить старую женщину было бы нетрудно. Любой врач это знает. Врач мог бы с ней справиться быстрее, чем кто-либо другой. Сам он компетентный врач. Но только он ее не душил.

Однако Норман Шинглер, столь же въедливый, как и упрямый, сумел на несколько минут вывести его из равновесия. Шинглер задавал вопрос за вопросом о суммах, переданных, пока леди Эшбрук была еще жива. Не более двух тысяч фунтов одновременно или около того? Жалкие гроши, если учесть все предосторожности и сложную систему их передач.

— Да, если вам так хочется считать,— ответил Перримен с обычным безразличием.

И за такие жалкие гроши ее убили? Шинглер нащупывал путь вслепую. Внезапно Перримен утратил контроль над собой. Впервые за два допроса. Что, они не могли отыскать причины получше? Деньги, деньги! Они ничего не способны понять, кроме денег!

— Ну а что кроме? Скажите нам! — Шинглер вцепился в него мертвой хваткой.

— Деньги, деньги! Ничего другого вы не видите!

— Ну так скажите нам, что было причиной. Вам же это известно!

Перримен уже справился с собой.

— Вы не знаете. И я не знаю. Откуда мне знать? Но деньги причиной быть не могут. А вы только о них и думаете.

Больше Шинглеру вывести его из себя не удалось. Он откинул голову (и Бейла и Шинглера это движение очень раздражало) и вернулся к позе высокомерного презрения. Никто из них еще не сталкивался с такой находчивостью и с таким самообладанием. Всех четверых он не просто раздражал, но вызывал у них совершенно непривычное отвращение. Кроме того, они против воли испытывали к нему уважение. Позднее кое-кто из них говорил, что он смелый человек.

Перед ними на столе лежали заметки, которые делал во время допроса Шинглер. Брайерс еще раз перечитал все, что относилось к тому моменту, когда Перримен сорвался.

— Отлично, Норман. Расскажите-ка об этом еще раз, поподробнее.

Он впитывал каждое слово. Потом спросил Бейла, не заметил ли он чего-нибудь еще. Бейл подтвердил, что Шинглер задел доктора за живое.

— Отлично,— повторил Брайерс.— Я вернусь к этому, когда буду допрашивать его в следующий раз.

В следующий раз, но не на следующий день, как предполагали остальные. Они знали, что неожиданные поступки Брайерса всегда имеют какую-то цель. И тем не менее их очень удивило, когда утром Брайерс без всяких объяснений отпустил доктора домой.

## 39

Это может сработать, сказал Фрэнк Брайерс, объясняя ситуацию Хамфри — почему он дал Перримену время подумать. Теперь он, конечно, уже осознал, что полиция известно довольно много. Даже такая толстая броня поистончит, когда человек предоставлен самому себе. Он может решить, что полиция держит в запасе что-то весомое...

— Если бы так! — добавил Брайерс.— Это наше уязвимое место. Нам необходимо добиться доказательств от него.

Он уже недели две не разговаривал с Хамфри по душам — все то время, пока вырабатывал тактику со своими сотрудниками. Теперь, вынужденный сидеть сложа руки, он испытывал потребность говорить. Он заставлял себя быть терпеливым. Бездействие совсем его измучило.

Брайерс позвонил Хамфри домой и спросил, свободен ли он. Был темный, не очень холодный ноябрьский вечер. В воздухе пахло древесным дымом. Едва войдя в гостиную, Брайерс залпом выпил рюмку, которую налил ему Хамфри. И принялся объяснять — так, словно их перебили и он продолжал начатый разговор,— почему он прервал допрос.

— У меня возникла идея, что он все больше становился в позу и его уже ничем нельзя было пронять. Если я ошибся, вина будет моя.

Затем после некоторого молчания он продолжал:

— Пусть поломает голову. Он считает себя умнее нас. Пусть. Недели через две мы снова его пригласим. Кошки-мышки, если хотите. Не слишком благородно, но я уже это проделывал. Тут уж либо — либо.

Он рассказал Хамфри о результатах первых двух допросов. В целом не так уж плохо, заключил он.

— Я бы сказал, что ваши ребята по финансовым манипуляциям проделали прекрасную работу, — заметил Хамфри. Взрыва восторга не требовалось. Сейчас было время для деловых оценок.

— Конечно.

— С убийством вам повезло меньше, не так ли? Вы могли бы рассчитывать, что обнаружится какая-нибудь зацепка. Но ничего не вышло.

— Он сукин сын, но не просто сукин сын.

— Если вы в отношении его не ошибаетесь, это еще слабо сказано.

— Я не ошибаюсь. Вы тоже так думаете.

Хамфри промолчал, и Брайерс добавил:

— Он что-то уступал, только когда у него не было другого выхода.

Хамфри нечасто случалось видеть, чтобы Фрэнк Брайерс не мог усидеть на месте. Но теперь он вскочил и прошел через всю комнату к окну. Хамфри из его кресла стекла казались глянцево-черными, непрозрачными. Потом Брайерс сказал:

— Сколько людей! Ну куда они все подевались в ту ночь? Ведь так нужно было, чтобы кто-нибудь его заметил!

Когда он снова сел, они в очередной раз принялись обсуждать все обстоятельства. Брайерс как одержимый вновь перебирал то, что они уже рассмотрели, пока оба не устали, — необнаруженные факты, факты, которые положили бы конец тому, что Брайерс назвал бултыханием. Одежда, в которой Перримен был в ту ночь? Где она теперь? Не проследишь. И ни слова ни от кого, ни намека.

Другие моменты такого значения не имели, но все-таки и в них нужна была ясность. Кого Перримен посылал в отели за деньгами? Никаких сведений, ни одного опознания.

— Я полагаю, вы подумали о его жене? — заметил Хамфри.

Брайерс раздраженно выругался.

— Помощи от вас! Вы уже это говорили. Мы из нее ничего не выжали. Допрашивали, пока у нас в глазах не потемнело. Я еще раз сам за нее взялся.

— Добились чего-нибудь?

— Черта с два. Непробиваема, как он.

— Вы думаете, она знает?

— Она может знать все. Или не знать ничего. Просто улыбается, как Чеширский Кот. А потом, конечно, бежит в католическую церковь за углом.

— Вы бы не прочь послушать ее исповедь, а?

Брайерс снова выругался. Он забыл, что считает себя просвещенным человеком, и вспомнил, как его старик дед поносил исповеди и прочие гнусные папистские штучки.

Хамфри задумался о Перрименах. Насколько тесно связал их брак? Настолько, что они волей-неволей всем делаются, помогают друг другу во всем?

Элис Перримен он встречал довольно редко, и каждый раз его отталкивало самодовольство ее веры. По ассоциации идей он вспомнил про жену Брайерса и спросил словно мимоходом, стараясь скрыть искреннюю тревогу, как себя чувствует Бетти.

— Не очень хорошо, — с неожиданной горечью ответил Брайерс. — По-видимому, ремиссия кончилась.

— Простите, я не знал.

Ну что здесь можно было сказать?

— Никто не знал. — Фрэнк добавил: — У нее опять двоится в глазах. И она снова хромает.

— Как ей тяжело!

— Она в жизни никому не причинила ни малейшего зла. А теперь ей терпеть все это годы и годы. И люди верят в то, что бог справедлив! Идиоты!



Хамфри ни разу не слышал от него ничего подобного. Но яростная вспышка сразу утасла. Брайерс сказал глухо:

— Два дня назад она говорила про вас. Жалела, что не может хоть немного выходить.

Затем Брайерс вернулся к прежней теме. Он занимался своим делом, а над ним тяготела эта боль, и каждый день он возвращался домой к ней, думал Хамфри. Но как огромна его энергия — никто не замечает.

Брайерс теперь взвешивал впечатления, которые вынесли его сотрудники и он сам из допросов Перримена.

— Он очень крепок, — сказал Брайерс. — Физически крепок. Я думал, мы его вымотаем. Но он устал не больше, чем я.

Хамфри сочувственно улыбнулся. Он по прежнему опыту знал рекордную выносливость Брайерса.

— Он очень тщеславен, — добавил Брайерс.

Хамфри кивнул.

— Среди уголовников попадаются очень тщеславные, — продолжал Брайерс, — но, по-моему, тщеславнее его я еще никого не видел. Во всяком случае, по ту сторону стола.

— Я, пожалуй, пойду даже дальше, — заметил Хамфри. — Существует качество, которому в древности придавалось большое значение. Тогда его называли надменностью души. Мне кажется, Перримен получил бы за него весьма высокую оценку. — Он слегка улыбнулся. — Очень своеобразное качество. Я знал двух-трех военных героев, настоящих героев, у которых оно было — подавленное и выплескивающееся через край. Наверное, им обладали и наиболее знаменитые мученики. Вот чего я никак не мог понять в Перримене, когда встречался с ним раньше...

— У меня это их качество вот где сидит! Я готов пожертвовать всеми военными героями и мучениками, лишь бы мы могли избавиться от перрименов.

— Некоторых людей оно поднимает, дает им мужество умереть под пытками. Других людей оно развращает, и они становятся способны пытать насмерть.

Хамфри замолчал и посмотрел на Брайерса. Им обоим приходилось видеть, на что бывают способны люди. Не так уж давно в этой самой комнате Брайерс говорил, что далеко не все следует предавать гласности. Тут бесстрашность изменяла ему даже больше, чем Хамфри.

— Во всяком случае, — продолжал Хамфри, — это открывает перед вами некоторые возможности. При такой надменности человек неизбежно где-то ослабляет защиту. Вы ведь как будто нащупали уязвимую точку? А этот ваш молодой сотрудник... как его фамилия?

— Шинглер.

— Ваш Шинглер подобрался к ней еще ближе. Возможно, ему повезло. Вы, конечно, продолжите в том же направлении?

— Конечно.

Они снова говорили как коллеги.

— Деньги, — продолжал Брайерс. — По их словам, он пришел в ярость при одном только намеке. Шинглер ведь даже не сказал ему прямо, что он убил из-за денег. Одня только косвенный намек вывел его из себя. Он слишком высок для подобных вещей. Я использую это во всех поворотах, какие только смогу придумать. Посажу с собой Шинглера, просто чтобы напоминать ему прошлый раз. Не исключено, что он сам укажет какой-нибудь другой мотив. Если нам удастся выбить его из колеи. — Брайерс добавил: — Знаете, я могу себе представить, как человеку вроде него хочется совершить что-нибудь масштабное. Что именно, не так уж важно — ему все по силам. Какие могут быть пределы возможностей для человека, который знает, что он вдесятеро умнее всех нас? И хладнокровнее? Что он окружен безмозглыми тупицами, серой толпой? Ему все по силам! И вот — случай.

Брайерс помолчал, потом спросил быстро:

— Представляете?

— Не так четко, как вы.

— По-моему, сам я так чувствовать неспособен, — сказал Брайерс таким тоном, словно Хамфри смотрел на него с усмешкой, — но могу вообразить, что подобный человек испытывает подобные чувства.

— Да, я знаю.— Если предыдущие слова Хамфри можно было принять за сарказм, это он сказал искренне, подразумевая особый дар Брайерса, очень важный для ведения допроса. Брайерс словно сливался с человеком, который сидел напротив него, и не просто спрашивал, но и разделял его эмоции. Своеобразный дар. С которым надо родиться, потому что приобрести его невозможно. Хамфри им наделен не был — во всяком случае, в такой мере. Раза два он упрекал себя за то, что не сумел разделить паранойю Тома Теркилла, понять ее как бы изнутри. А Брайерсу это удалось бы. Он обладал той способностью к сопереживанию, которую теперь стало модно называть эмпатией. В те дни, когда они работали вместе, Хамфри, оказавшись в обществе агрессивно-самодовольных людей и желая себя подбодрить, утешался мыслью, что вместо эмпатии, как у Фрэнка Брайерса, он, возможно, наделен большей пронизательностью. Знакомясь с ними, самозванные знатоки характеров в обоих случаях без колебаний пришли бы к прямо противоположному заключению.

— Можете испробовать еще один гамбит,— сказал Хамфри.— Не забудьте, леди Эшбрук боялась, что умрет от рака. Он был ее врачом. И можно предположить, что между ними была договоренность.— Хамфри припомнил разговор в сквере.— Уж конечно, она верила, что он обеспечит ей безболезненный конец — если у нее не хватит сил терпеть. Таким образом, она была целиком в его власти. И то, что она оказалась здоровой, должно было подействовать на него ошеломляюще: нет рака — нет и нужды в доверенном враче. Нет больше власти.

— Учтем.— Брайерс выслушал советы не менее охотно, чем в молодые годы. Ему словно бы хотелось остаться здесь подольше, продолжая разговор с Хамфри. Он винил себя за то, что так долго не замечал, насколько Перримен не укладывается в обычные рамки. Он должен был бы распознать его с самого начала.

Ну да что толку копаться в том, что уже позади, заметил Брайерс — и продолжал копаться. После того как он вышел на Перримена, особых ошибок они не делали. А это было непросто, сказал он и выпил еще рюмку, нарушив собственное правило. Ему нечем было занять себя в этот вечер. Хамфри чувствовал, что Брайерс был бы рад любым активным действиям — они отвлекали бы его от мыслей о жене. Впрочем, и сам он, хотя и счастлив с Кейт, хотя и может не тревожиться о ее здоровье, тоже был бы рад каким-нибудь активным действиям.

А Брайерс тем временем говорил, что кое-какие моменты в следствии были не так уж плохи. Он гордился своими ребятами. Гордился искренне, но сейчас это была еще и тема для разговора. Он вернулся к тому, что Хамфри назвал финансовыми манипуляциями, — да, тут пришлось повозиться. Но за это им и платят. Ничего потрясающего, но недурная работа.

Внезапно Хамфри перебил его и с виноватой улыбкой сказал словно бы без всякой связи:

— Пожалуй, я вам признаюсь.

— Что-что?

— Я сомневался напрасно. Вы совершенно правы: это безусловно Перримен.

Глаза Брайерса просияли, но он ответил деловым тоном, без торжества или самодовольства:

— Да, конечно. Но я в этом деле уже раза два-три ошибался. Общий счет не так уж утешителен.

Улыбка Хамфри стала жесткой.

— Я согласен с вами — убил он.— Его тон тоже был деловым.— И я кое-что добавлю: пусть он говорит высокие слова, пусть он им даже верит, но убил он из-за денег.

Брайерс ответил не сразу: его лицо утратило всякое выражение, губы сжались.

— Может быть, не только из-за них,— сказал он наконец.

— Но без них он этого не сделал бы.

— Вы не считаете, что сомнение следует толковать в пользу обвиняемого?

— Я считаю, что не следует льстить себе. Послушайте, Фрэнк, вы на своем веку видели много преступлений. Придумывать мотивы легко. Вы сами это говорили. И еще легче придумывать для них сложность, которой нет.

— А вы на своем веку видели не только преступления, но и многое другое,— ответил Брайерс упрямо и дружески.— По вашему мнению, все мы оставляем желать лучшего, ведь так? И в результате вы предпочитаете думать, что все беспросветно и просто, ведь так? Потому что вы сами себя не очень высоко ставите.

Всего лишь через несколько часов после этого разговора пришло сообщение от скотленд-ярдской группы в Нью-Йорке. Их американские коллеги еще несколько раз мягко побеседовали с руководством фирмы О'Брайена. Его партнеры сочли, что обстоятельства дела вынуждают их, несмотря на уважение к желаниям покойного, сообщить полиции некоторые сведения. Они провели проверку фонда контролера. Сумма оказалась неожиданно маленькой. Настолько, что оперативник, ознакомившись со сводкой, попросил их еще раз поискать какие-нибудь следы в их книгах. Но больше никаких сумм обнаружено не было. Остаток не достигал и пятнадцати тысяч фунтов. Брайерс рассказал Хамфри об этом без комментариев, но не без удовольствия. Если Перримен убил ради денег, то деньги эти исчерпывались тысячью-другой фунтов. Остальное он предоставил Хамфри додумать самому.

Хамфри тоже не стал обсуждать эти сведения: ему предстояло испытание, которое его пугало, но уклониться от него он не мог. Как летом ему было страшно идти к леди Эшбрук, когда она ожидала результатов анализов, так и теперь он чувствовал страх, подъезжая к дому Брайерса.

Может быть, он и стал с возрастом черствее, но не настолько, чтобы равнодушно смотреть на то, что болезнь сделала с этой молодой женщиной. Он буквально вынудил себя отправиться к ней в этот день. Фрэнк будет занят у себя в кабинете по убийству, и ему придется разговаривать с ней наедине. Бетти ему нравилась. Она была хорошим человеком. У него в ушах еще звучали горькие слова Фрэнка.

Остановив машину, он поглядел на дома напротив, надежно укрытые своими садиками, где в ноябре на газонах цвели неизбежные розы. День был ясный, и окна нижних этажей блестели в косых солнечных лучах, как полированные щиты. Такая мирная, такая безмятежная картина! Он пошел по усыпанной гравием дорожке к двери Брайерса с такой же неохотой, как шел в июле к двери леди Эшбрук.

Хамфри осторожно нажал кнопку звонка и должен был нажать ее второй раз. Потянулись долгие секунды тишины. Затем изнутри донеслось какое-то царапанье, что-то двигалось по выложенному плиткой коридору.

Дверь открылась. Бетти полувисела в металлической раме на колесиках. Она улыбнулась весело и приветливо.

— Хамфри! Я так рада! — Она снова улыбнулась. — Идите вперед. В заднюю комнату. А то я двигаюсь медленно.

Она добралась до задней комнаты и с трудом, но самостоятельно опустилась в кресло.

— Теперь я почти все время провожу здесь, — сказала она. — Прежде это был кабинет Фрэнка. Пришлось его выгнать. Но тут мне до всего близко. Как нелепо — передвигаешься в ходунке, словно годовалый младенец.

Она была в том же оживленном настроении, которое в прошлый раз так удручающе подействовало на Хамфри. Лицо у нее почти не изменилось, только чуть похудело. Глаза немного ввалились и, пожалуй, блестели слишком ярко. Она хотела напоить его чаем; это очень просто, кухня через коридор. Хамфри воспротивился. Чай не принадлежит к его любимым напиткам, сказал он. На мгновение он взял ее руку. Рука была горячей и еле заметно дрожала.

— Я так рада вам, — сказала Бетти.

— Фрэнк намекнул, что вы принимаете гостей.

Она вновь улыбнулась сверкающей улыбкой, но на этот раз бесхитростной, нетерпеливой, чистосердечной.

— Нет-нет. — Ее голос сохранил всю глубину и звонкость. — Мне нужно с вами поговорить. Можно?

— Ну конечно.

— О бедном Фрэнке. О том, что я с ним сделала. Я боюсь за него.

— Это естественно, — ответил Хамфри с такой же прямоотой. Бетти была не из тех, кто скрывает от себя тяжелую правду. И от него тоже требовалась честность.

— Нет-нет. Я имела в виду не то, что само собой разумеется. Конечно, я для него обуза. И так будет еще долго. Вы знаете, что эта болезнь не убивает? Так мне с полной определенностью сказали врачи. Вполне вероятно, что я проживу столько же, сколько и он. Меня это устраивает. Вы не поверите, как много я получаю от жи-

ни на этих условиях. А вот ему трудно. Он очень хороший. Но я не об этом, я совсем о другом.

Хамфри молча ждал, не желая ошибиться во второй раз. Глаза у нее заблестели еще ярче, напряженнее, лихорадочнее. Она сказала:

— Вы помните, как были тут в последний раз?

— Прекрасно помню.

— Вы помните, что я тогда говорила?

— Что именно?

— Нет, вы, конечно, помните. Что мне бы хотелось, чтобы он занялся чем-то позитивным. И вы тоже. Он не мог не почувствовать, что меня огорчает, как он тратит свою жизнь.

Тогда Хамфри пропустил ее слова мимо ушей, и теперь ему пришлось сделать вид, будто он их припоминает.

— Да, действительно,— сказал он.— Но ведь это было не так уж серьезно.

— Для меня — очень серьезно.— По ее щекам, все еще нежным и гладким, разлилась краска.— Но мне не следовало этого говорить. Чтобы не сделать ему хуже.

— Ну послушайте! — сказал он со всей искренностью, потому что для нее это было так важно.— Нам всем известно, что почти всякий порядочный человек с радостью способствовал бы тому, чтобы мир стал немножко лучше. Но существует мало профессий, которые давали бы такое ощущение. А то, чем занимается Фрэнк, возможно, в чем-то мешает миру стать заметно хуже. Для большинства порядочных людей это достаточное оправдание.

— Но его работа негативна по самой своей сути.

— Сколько людей, по-вашему, сумело обрести удовлетворение в нравственном смысле? Среди моих знакомых таких можно пересчитать по пальцам на одной руке.

— Я с вами не спорю. Суть в другом. Совершенно в другом. Я боюсь, что сделала ему хуже. И не имеет никакого значения, права я или нет. Мне не следовало этого говорить. Вот если бы вы помнили... я была уверена, что вы не забыли. Я с того самого вечера жалею, что не могу взять свои слова назад.

Она не могла взять свои слова назад, но зато болезненно переживала заново все случившееся — по ее щекам текли слезы, и она их не вытирала, не замечала, словно они были привычными, как и ее светлая улыбка.

Возможно, такое отчаяние из-за слов, сказанных давно, не замеченных или забытых ее собеседниками, было, как и слезы, просто симптомом ее состояния. И все-таки она настолько остро чувствовала малейшую тень между собой и теми, кого любила или даже просто считала друзьями, что у Хамфри возникло ощущение, будто у него по меньшей мере тройная шкура, а Бетти вообще ничем не защищена.

— Бетти, милая,— сказал он,— почему все-таки вы так боитесь? За него?

— Неужели вам не ясно? У него в жизни осталась только работа. И необходимость ухаживать за мной. Вот поэтому мне страшно, как бы его работа не стала ему тяжела, если он будет думать, что из-за нее тяжело мне. Мы всегда были очень близки. Бывает такая любовь. И хотя это звучит ужасно, но он меня уважает. В этом вся беда. Я боюсь, что из-за меня его воля ослабеет. А ведь для такой работы ему требуется вся его воля, правда? И если я ее подорву, то буду очень виновата.

Как она ни доброжелательна, думал Хамфри, глядя на тонко очерченное, ласковое, одухотворенное, сострадательное, полное нежности и доброты лицо, но и у нее есть свое тщеславие. Нравственное тщеславие. Возможно, Фрэнк ставит ее в человеческом плане выше себя, только на него не так уж легко повлиять даже ей, думал Хамфри. Но из-за ее состояния сказать ей этого он не мог.

— У меня создается впечатление,— начал он на этот раз уклончиво,— что вы тревожитесь совершенно напрасно. Я почти уверен в этом. Видите ли, я не думаю, чтобы он полностью осознал смысл того, что вы тогда сказали: ведь я же вас не понял. И я с тех пор не замечал ничего, что давало бы повод думать, будто его что-то задело или расстроило. В разговорах со мной он тоже ничего об этом не упоминал. Ни разу.

— Мне очень хотелось бы поверить, что вы правы. Но, кажется, вы сами в этом не слишком убеждены.

Хамфри продолжал плести свои кружева.

— Если я и опасюсь за Фрэнка, то совсем по другой причине. Из-за того, что произошло с вами, работа приобрела для него дополнительную важность. Как вы

только что и сказали. Он весь поглощен своим нынешним расследованием. Но, возможно, он даже еще больше уйдет в работу. Само по себе это неплохо. Сейчас он, вероятно, лучший специалист в своей области на всю страну. И добьется всего успеха, которого заслуживает. Но не исключено, что ему придется за это кое-чем заплатить. Он достиг того, чего достиг, отчасти потому, что не так огрубел душевно, как большинство из нас. Он сохранил воображение. Но, может быть, вы заметите, что он начинает огрубевать. Не в отношении вас, но из-за вас. Это было бы грустно. И вы должны следить за ним, чтобы вовремя ему помочь. Сделать это можете только вы.

Она опять заплакала, но скорее с облегчением.

— Я знаю,— сказала она.

— До сих пор у него почти все складывалось удачно, ведь правда? — Хамфри старался совсем ее утешить. — И это первая настоящая боль, которая выпала ему на долю. Людей с таким характером, как у него, страдания делают сильнее. Но при этом человек многое утрачивает. Мне раза два пришлось пережить нечто подобное. Не думаю, чтобы я был таким уж хорошим молодым человеком, но твердо знаю, что в результате я стал хуже. Хотя и гораздо крепче. То же может произойти и с Фрэнком. Поберегите его.

— Мне хотелось бы поговорить с Кейт, вашей приятельницей,— сказала Бетти. Она никогда не видела Кейт и не могла заводить новых знакомств, однако из-за этого ее интерес к тем, о ком она слышала, становился только сильнее. — Мне бы хотелось спросить у нее, действительно ли вы настолько утратили иллюзии, как притворяетесь. — Она посмотрела на Хамфри ярко заблестевшими глазами. — И я спросила бы ее еще об одном. Она ведь понимает... супружескую любовь?

— В определенной степени — безусловно.

— Ну так вот. Пока не начнется новая ремиссия... конечно, мы не знаем, когда это будет, но надеемся, что скоро... я, вероятно, утрачу всякую чувствительность ниже пояса. Так было в прошлый раз. Фрэнку это очень тяжело. — Она с трудом подыскивала слова, и Хамфри подумал, что Кейт на ее месте говорила бы прямо и просто. — Он не из тех мужчин, которым все равно, что женщина... не реагирует. Для меня это не важно. Но его отталкивает. Он не приходит ко мне. Что бы сделала Кейт... если бы вы с ней были на нашем месте?

— А что она могла бы сделать?

— Но она же знает жизнь? Она сказала бы вам, чтобы вы искали себе утешение на стороне?

— Возможно,— сказал Хамфри. — Но она не святая и ей это не слишком понравилось бы.

— И все-таки она сделала бы это?

— Мне кажется, она просто предоставила бы мне самому о себе позаботиться, ничего ей не говоря. Ее никак нельзя назвать наивной, и житейски она очень мудра. Она знает, что восторженная откровенность может причинить куда больше вреда, чем благоразумное умалчивание. Бывают моменты, когда лучше ничего не говорить.

— По-вашему, Фрэнку следует поступить именно так?

— Не знаю, способен ли он на это.

Когда Хамфри сказал, что ему пора идти, она заметила с улыбкой — беззащитной, нежной, не замаскированной вежливостью или притворством:

— Это ведь было не очень приятно и для вас и для меня? Но вы мне очень помогли. Вы даже представить себе не можете.

Выйдя на улицу и вдохнув освежающий осенний воздух, Хамфри почувствовал глубокое облегчение. Как в тот раз, когда он вышел из дома леди Эшбрук. Но общество Бетти не вызывало у него гнетущего чувства, которое он испытал в тот июльский день. Может быть, потому, что Бетти так просто и естественно вызывала симпатию и нежность, а может быть, потому, что, несмотря на страшную болезнь, над ней все-таки не витала тень смерти.

*Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская.*

*(Окончание следует)*

# О ЧЕ Р К И    Н А Ш И Х    Д Н Е Й

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

## НАУКА И ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ\*

...стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, простое и очень будничное — хозяйское отношение к общественному добру, умение полностью, целесообразно использовать все, что у нас есть.

*Из отчета XXVI съезду КПСС.*

I

Сессию ВАСХНИЛ проводили в кинотеатре «Новороссийск». Предметом научной дискуссии служила засуха 1979 года, но строилось все не против (хотя бы и засухи), а за. За устойчивость урожаев. Так и тема была обозначена. В позитивном плане.

Заглавный доклад можно было понять даже как острый. Во всяком случае, было сказано, что колебания сборов между высшим и низшим достигли в одном пятилетии чуть ли не ста миллионов тонн — стабильности в зерновом производстве нет. Что потери от сорняков и вредителей уносят 25—30 процентов урожая. Что сбалансировать бы по белку корма — и можно бы с толком использовать миллионы тридцать тонн доморощенного, отечественного фуражного зерна, а пока столько расходуется впустую. Что за десять лет производительность труда в сельском хозяйстве хочешь не хочешь, а должна быть поднята на 300 процентов против сегодняшней — иного решения не остается, но ныне из сотни подготовленных механизаторов работать в селе остаются только трое. Любому из этих камней преткновения можно было посвятить всю сессию: миллиарды за каждой проблемой!

Но вся штука была в тональности... Докладчик словно конфузился перед кем-то за бестактность цифр и наготу ситуаций, вроде огорчился за тех, кого они могут раздражать, — и материал прогонялся на скорости, микшировался, чтобы затем форте и размеренно потекла речь об утилизации на корм соломы, использовании ботвы или о какой-то иной сходной по новизне задаче.

А дело объяснил такой момент. Скоро, оказывается, пятьдесят лет, как в Москве прошла Всесоюзная конференция по борьбе с засухой. Полвека! Значит, юбилей. Проти в засухи уже было, дубляж исключен, теперь — за устойчивость урожаев. Отсюда и ощущение игры в одни ворота — с заданным счетом и отпущенным вратарем.

Сидел я с Иваном Ивановичем Хорошиловым, известным агрономом. Человек необычайно деликатный в общении, во взглядах он тверд. До ухода на пенсию возглавлял в Ленинском сельхозе Союза главк зерновых культур и был действительным сторонником паров и реальных, не бумажных севооборотов. Уже пенсионером издал книгу о сельском хозяйстве Канады, где многие годы работал советником посольства, и постарался показать, как в сухих прериях воюют за стабильный урожай. Когда было сказано про конференцию, Иван Иванович пристально оглядел зал, седовласый и великовозрастный, и шепнул мне:

— А знаете, я все-таки здесь, наверно, единственный. От той-то конференции...

Вот те на! Первым из наших Иван Иванович увидел и оценил канадский плоскоре з, первым среди агрономов получил Ленинскую премию (за почвозащиту), это все ведомо, а он, оказывается, и у самых истоков побывал...

\* Журнальный вариант.

Я подбил сбежать. Мы ходили по набережной Москвы-реки весь срок вечернего заседания, пока Ивану Ивановичу из бывшего не пришлось обратиться к будущему: спешить в детсад за внуком Женечкой.

— Я уже работал старшим агрономом опытной станции на севере Дона, когда — осенью тридцать первого — телеграммой вызвали в Москву. Конференция по борьбе с засухой готовилась на очень высоком уровне. Ждали доклада Председателя Совнаркома. Остановился я у своей сестры. Ее муж, в прошлом казачий офицер, был членом общества политкаторжан, получал хороший паек, и проблем с питанием у меня не было, хотя уже ввели карточки... Сначала заседали в клубе НКВД. Потом нас переместили ближе к центру: в Политехнический музей. Доклад Предсовнаркома назывался, если не ошибаюсь, «Большевистский ответ засухе». В президиуме находился Калинин. Речи Михаила Ивановича не помню, но реплики он подавал часто, радовался боевому настроению. Очень трезвым было выступление Николая Ивановича Вавилова. Споря с Вильямсом, он сказал, что дело не в структуре почв, а в экономических условиях. Доклады стенографировались и через два часа раздавались в типографски отпечатанном виде. Ровно через два часа! Наверно, с той осени в Москве засуха стала моим вечным спутником. Где бы ни работал — всюду проблема влаги. Враг-то — засуха, конечно враг, но вовсе не вероломный. Наоборот, открытый: иду на вы. Какая уж там внезапность... В Поволжье из трех лет одно точно будет острозасушливым, на Дону одно из пяти, на Украине одно из восьми. Закономерность. Так было и при скифах. Ведь это же мы пришли с плутом к засухе в Сальские степи, в Таврию, в Кулунду, а не она к нам в стародавние Ярославли и Новгороды. Так что нам жаловаться на суховеи — как чукче на снег.

Засуха — это партнер нашей агрономии. В молодые годы у меня с ней были связаны две пиковые ситуации, запомнились на всю жизнь. Первая — как я однажды боялся высокого намолота, а хотел, чтобы урожай был как можно меньше. Только внедрена была новая категория — биологическая урожайность. К какой группе отнесут хлеб во время созревания, таков будет и объем хлебосдачи... Рационально тут то, что выявляются потери, за них кто-то должен отвечать. Нас при колошении припала, натура низкая, я и оценил хлеб по шестой, невысокой группе. В политотделе меня на ковер: уммышленное занижение, стеблестой — на девятую группу. Завели дело, уполномоченный оформляет документы. А директор наш Кузнецов, хороший был человек, тянет, волокитит — и дотянул до самой уборки! Мне хоть проси с неба града. Если недожарила засуха — никакой Кузнецов не поможет. Но обмолотили, взвесили — хлеб в пределах шестой! Уполномоченный упрямится — намеренные, дескать, потери. Перемолачивали колны — нет зерна. Значит, и дела нет, обошлось... А второй урок — как быть осмотрительным с самим термином «засуха». Сейчас понятие это употребляют и в хвост и в гриву: декаду-другую не было дождей — уже «необычайная засуха текущего лета»... В первые же годы коллективизации упор на засуху мог быть принят за прикрытые саботажа. Именно так. Сам вредил, не соблюдал установленной агротехники, оставляет без хлеба — виновата же у него засуха?.. А меня угораздило написать книжку. В сущности, брошюра, передовой опыт, листа два, издали в районной типографии. Но в названии — «засуха»! «Агротехника против засухи», если точно, но о периодичности засух на Дону, о суховеях, захватах зерна писал прямо и открыто. Это и раздражило, пошла проработка в газетах. Какие-то агроприемы сочли за порочные — в общем, дело швах. Снова меня прикрыл директор. Но всю мою книжку до единого экземпляра Валентина Тимофеевна сожгла: ведь у нас уже было двое детей... Конечно, уроков такой строгости не желаю никому. Но если смог потом с точностью до миллиона тонн давать прогноз урожая по стране, в мае давать, когда целина еще сеет, то тут сказала школа той самой биологической... И деликатности с засухой тоже учили: не вали на стихию, как на мертвого...

Иван Иванович — мирового класса специалист, долго был главным агрономом страны. Я не вырастил ни единого колоса. Но ведь и за мной она четверть века работы тянется, партнерша засуха! На дядину поехал, дыша энтузиазмом, — она так жаждала в пятьдесят пятом, что все надежды в прах, хорошо хоть не удрал обратно. «Когда хлеб горит — вроде твой дом горит, а сделать ничего не можешь» — слова Федора Васильевича Чабанова, кулундинского патриарха, вспоминал потом и в шестьдесят третьем, и в шестьдесят девятом, и в семьдесят втором, когда над Москвой не было солнца... Да что их запоминать, когда страница статистического тома — как четкая кардиограмма! Валовая продукция сельского хозяйства: 1963 год — 92,5 процента от

предыдущего года, 1969-й — 96,7, 1972-й — 95,9 процента, 1975-й — меньше 95 процентов... А ведь капитал-то расходуется, моя жизнь тоже!.. Со знакомым встретиться — о чем прежде всего? Все о ней, не пожаловала ли, из газет ведь легко не узнаешь.

Раз уж дело к юбилею, так нужно хотя бы самому осмыслить, для себя прояснить, что же это за партнер, и выставить столько точек над «и», сколько потребуется.

Благословясь, засел.

«Засуха есть бездождный период достаточной длительности для исчерпания усвояемой растением влаги в корнеобитаемом слое почвы». Определение давнего южнотюбского агронома В. Г. Рогмистрова и старинно, но ты — не без внутренней гордости! — замечаешь прореху: «для исчерпания». Да иной раз так жарит, что исчерпать как раз не удастся. Влага в почве есть еще, а пнать ее в листья растение не успевает: испарение больше, чем ресурсы живых насосов.

Всего проще и понятней из штудированного мной сказано насчет засухи у Воейкова. Он, классик климатологии, очертил суть так: «У нас на юге выпадает не столько дождя, сколько было бы нужно при таком теплом лете».

Абсолютное большинство пашни СССР теперь, с включением в оборот степей юго-востока и, главное, целины, находится в засушливой зоне; основные площади зерновых — в регионах со среднегодовой нормой осадков менее 400 миллиметров. Но мы сеем пшеницу и в полупустыне, где выпадает меньше трехсот миллиметров в год. Страны интенсивного земледелия в таких зонах зерновое хозяйство не ведут.

Отчего засуха? А кто ее знает... Или, говоря деловым слогом Всесоюзной конференции 1931 года, «что касается причин возникновения засух и суховеев, то современное состояние метеорологии не разрешает этого вопроса окончательно...».

В общем-то, они «земное эхо солнечных бурь», как назвал свою книгу Чижевский. Они от антициклонов. Это сушилки воздуха, движутся они по меридиану — от полярной шапки к Черноморью. Предельно прозрачный воздух пропускать максимум солнца, и нехватка водного пара в атмосфере быстро возрастает. Антициклон может стоять над зелеными лесами, даже над синими морями — и даром: испарение заметно не изменит влажности воздуха. Это важно знать и принимать к руководству. «Идея большого заслона, идея какого-то ветролома, который может задержать в целом поток юго-восточных сухих ветров, смягчить эти юго-восточные ветры в отношении влажности, не может быть сегодня практически и научно доказана», — говорилось на той конференции. А в прошедшее пятидесятилетие практически и научно доказано, что могут разлиться Каховское, Цимлянское и прочие моря, протянуться тысячекилометровые лесополосы, а засухи будут являться в степь с прежней методичностью. Лес воздействует не на климат в целом, а на микроклимат поля. Глобальность переустройств, «великие китайские стены» на континентах — занятие не для земледельца, его путь — микроклимат, вообще микрорешения (с точки зрения глобуса).

Три карты, три области действия у засух — поле, небо и растение.

Надземная, так сказать, сфера (температура, свет, осадки, сухость воздуха, ветры) вне людских воздействий. Управление если и возможно, так только косвенное, через остальные члены троицы. Земная сфера, то есть почвы, запасы пищи и влаги, засоленность-засоленность, считается управляемой: она-то и есть область агрономии и растениеводства вообще. Разбор тут предстоит особый, на скорости не прогнать.

Великое свершение полувека (селекционный прорыв в озимых пшеницах) — минимум в XXI век. Ряд блистательных удач вывел нашу пшеничную селекцию в мировые лидеры и создал положение, при котором сортовой потенциал лучших вариаций в самых богатых, по пальцам перечесть, районах используется наполовину, а в целом по озимому клину на одну треть, если не на четвертую часть.

— «Мироновской — восемьсот восьмой» нужно специально вредить, чтобы получить меньше тридцати центнеров. Чтобы было тридцать, ничего не нужно. Брать сорок — нужна культура, а пятьдесят — талант.

Так говорит Василий Николаевич Ремесло, и при всех поправках на украинский юмор возьмем в расчет, что в самый счастливый для озимой пшеницы 1978 год ее средний урожай по стране на 0,2 центнера не достиг нижней ступеньки мироновской иерархии: собрали по 29,8 центнера на круг.

Иное дело помнить, что в земледельческой культуре все-таки две тысячи видов, что прославлены всего лишь несколько имен пшеничных селекционеров, а тысячные



отряды занятых горохом, овсом, гречихой, нутом, соей, чечевицей, сорго, просом и столь же благородными, древними, сколь и выгодными, произрастаниями остаются в безвестности — нет сортов, кустарщина.

Итак, конференция в разгар коллективизации. Наука пока очень разнолика...

Академически монументальна и неспешна задача была у Василия Робертовича Вильямса — «овладеть водным режимом почвы и страны». Метод — комковатая структура почв. «Она поможет улавливать в почве не 15%, а 100% годового количества атмосферных осадков... И мы сможем в Нижнем Поволжье, в свое время, конечно, иметь леса на водоразделах, которых там пока нет. Будет постоянный ток почвенной воды с этих водоразделов на склоны, где расположатся поля. Остатки воды будут питать грунтовые воды, а те, в свою очередь, — реки».

А царственному, не подверженному суете этому плану, который спустя три пятилетки станет «планом преобразования природы», нервно и смятенно противится — кто? Прямой ученик Вильямса, лучший в стране знаток сухого земледелия Николай Максимович Тулайков. Возражает в полемических периодах, какие и переписывать-то теперь рука не поднимается:

«Говорят, что хищническое хозяйство разоряет и отразится на наших потомках. Об этом не следует думать, они, вероятно, о себе подумают не хуже нас. Они будут вооружены более сильными знаниями, лучшим пониманием явлений природы, чем мы, и, вероятно, будут в этом отношении смеяться над нами: вот, мол, были люди и не могли хорошо использовать землю, потому что заботились о нас... Я даже больше сказал бы, что в настоящее время, когда существует в этом настоятельная потребность, не нужно особенно задумываться о наших детях и внуках».

Немыслимо. Кошунственно. Распалась связь времен — и оскорбляется завет.

А на деле-то весь вопрос все о той же цене за будущее, только в агрономическом теперь разрезе. Комочек чернозема на завтра или бубочка зерна сегодня? Чтоб благоденствовали внуки, чтобы они вообще бы ли, нужна еда сегодняшним детям. Настоятельная потребность в хлебе для моих белгородских двоюродных братьев, детей дяди Юни (Ефима), дяди Фили, тетке Анны, настолько остра, что отец, агроном МТС на Кубани, отсылает все что можно и не можно, он берет на воспитание, на свой итэровский паек сироту племянника Ваську. Наестся Васька просто не может. У нас в станции Пашковской вовсю едят водяной орех — добывают его в плавнях и толкут. Для меня, не забывается, мать каждый день печет лепешку из сорго, она, черная, как гуадрон, лежит отдельно, под ситом, я хожу и отщипываю кусочки.

В это время молодой Василий Ремесло оставляет изучение хромосомной теории в ВИРе у знаменитого профессора Карпеченко: на Украине голодают мать и сестра, не до цитологии. При путешествии в дельту Волги Н. И. Вавилов интересовался водяным орехом — его пригодностью в пищу...

Какой ценой может достигаться тот идеал с комковатой водоудерживающей почвой, какой — нет? Поставить вопрос так — и уже понятно, почему смятенного Тулайкова поддержал первый президент ВАСХНИЛ Вавилов. А поддержал:

«...я позволю себе задать вопрос Василию Робертовичу Вильямсу, находится ли структурность почвы у нас в отчаянном положении?.. Не почва сама по себе является главной и коренной причиной низкого урожая хлебов, а какие-то другие условия: либо климатические, либо просто неправильная обработка земли, либо экономические».

Поскольку в конференции участвовал Вавилов, у нее был мировой научный уровень — даже без иностранных гостей. Кто-то мог толковать про порошок для облаков, кто-то — про влияние Луны на погоду, но с Вавиловым в зал входила агрономическая философия Земли и опыт пяти континентов: «Мы стоим на уровне глобуса и даже на несколько миллиметров выше». В этой самооценке признанного миром лидера биологии никак не упоение славой. Скорее самозащита. Его ВИР, его теория о центрах происхождения культурных растений уже накрыты первой картечью разносов, уже в полтавском селе Карловка крестьянин Денис Лысенко вырастил по наущению агронома-сына озимую «украинку», посеянную весной, и совсем недолго до поры, когда яровизация будет объявлена универсальным приемом по всей стране. От науки все явственнее требуют чудес, стране нужен хлеб, хочется верить в выходы даровые и скорые, причем именно агротехнические. Взамен науке будет предложено уникальное по скорости и обязательности внедрение...

Для Вавилова засуха есть физическая данность и постоянное условие нашего земледелия: «Мы прежде всего имеем одну общую особенность, которая отличает нас

от Западной Европы, — исключительную действенность, исключительное могущество стихии в нашей обширной континентальной стране».

Стратегия ВИРа многопланова и полемична. Осевнение земледелия, то есть географический уход от засух. «Передвижение посевов в направлении востока, Казахстана, связано со снижением урожайности, с малой устойчивостью урожая» — это произносится Вавиловым в пору, когда в сальских, иртышских, ишимских степях на покупке американской техники и даровом, но шатком плодородия создаются «фабрики зерна»... Разделяя надежды своего учителя Дмитрия Николаевича Прянишникова на «резервный миллиард» (дополнительный миллиард пудов из коренной России за счет химизации), Вавилов формулирует задачу — превратить потребляющую зону в производящую. Для Северного Кавказа, правобережий Днестра и Волги, для областей черноземного Центра — расширение посевов озимой пшеницы. Непременны зимостойкие сорта, обязательное снегозадержание и посев только по парам.

Кукуруза, внедрение инцухт-гибридов, тогдашней новинки не только для Старого, но и для Нового Света... Нужно было действительно стоять «чуть выше глобуса», чтобы за первыми подходами, за считанными процентами гибридов даже в кукурузном поясе Штатов углядеть зерновое событие века и до конца дней с брестской твердостью отстаивать этот курс.

Введение в зону суховея американского засухоустойчивого сорго, а в пастбища — культуры донника... Создание пяти селекцентров, привлечение для решения проблемы всего сортового потенциала, всего зеленого многообразия планеты. Воздействовать как на сами растения, так и на среду, их окружающую...

В XX веке пятьдесят лет — срок гигантский, и было б, наверно, худой похвалой этому плану говорить, что он не устарел. Наверняка во многом устарел, ибо — выполнен. А в чем не выполнен, так устарел морально. Севообороты, например, — мыслимо ли по сей день спокойно и серьезно говорить о внедрении и пользе севооборотов?! Но уж тем более нельзя вести разговор так, будто линия была прямой, будто год за годом последовательно исполнялась однажды принятая целевая программа. Если и «вышло по Вавилову» — пусть не во всем, пусть не по Вавилову только, а по той конференции вообще, — то не потому разве, что зигзаги и перечеркивания, противоречия друг другу, дали в конечном счете такой вектор сил?

Наука будто все дела вершила, —

в поздних стихах передает это движение А. Т. Твардовский, —

Велит, и точка — выполнять спешит:  
То — плугом пласт  
Ворочай в пол-аршина,  
То — в полвершка,  
То — вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней,  
Такой же строгой, шла наперерез:  
Вдруг — сад корчуй  
Для расширения пашни,  
Вдруг — клевернице  
Запускай под лес...

Науку мы оспаривать не будем.  
Науке всякой —  
По заслугам честь,  
Но пусть она  
Почтенным сельским людям  
Не указывает,  
С чем им кашу есть.

Все точно в прозрачных стихах, но при чем здесь наука? Слово употреблено условно, взамен иных понятий. Названы, конечно, и борьба с травополем, и мальцевская полуметровая пахота, и обложение налогом яблонь, и тулайковская мелкая обработка — следствие внезапного безлошадья, но наука тут мальчик для битья. Выражено вот что: «...есть более страшный враг для земли, чем плуг и сорняк, — это навязывание ей всевозможных «рекомендаций». Слишком их было много и слишком дорого они стоили стране, чтобы не понять: команды сельскому хозяйству по самой его природе противопоказаны» (Л. И. Брежнев, «Целина»).

Наука для пахущего начинается со множества предлагаемых решений и с права выбирать вариант себе, так сказать, по росту. Старинная формула знатока засух

А. А. Измайльского: «Если нельзя шить сапога, годного на ногу каждого человека, то тем более нельзя придумать такого общего правила обработки почвы, которое оказалось бы одинаково пригодным во всякое время и на всяких почвах». Агрономия могла бы, конечно, брать на себя и выбор, назначая единственное решение, но тогда надо денежно страховать хозяйство от упущенных выгод. Финансово гарантировать свою ошибочность! А таких академий не бывало и не будет.

Сорта Каляненко проходят конкурсные испытания, напрямую сталкиваясь с шедеврами Лукьяненко и Ремесла. В редком случае отдельные новинки только предлагаются госсортсетию для такого-то района. Никто не обяжет: «Сейте «ростовчанку», ведь Калининко — перспективный ученый». Выбор за производством! Очень захочется вкусного хлеба, так и старушкой «украинкой» займут клин. Не захотят рисковать — будут ехать на одесских. Но расчет, план и совокупный интерес жителей станции Мечетинской или хутора Гремячий Лог склоняют донского председателя к «ростовчанке» — и тот едет в зерноград за элитой.

А в стихах — уполюмоченный. Он наверняка отесанней и в сто раз элегантней можаевского Мотякова, который призывал «рога ломать враз и навсегда», он вполне искренне хочет хлебного изобилия, но и он ни-когда не ошибается, просто обречен на сознание всегдашней правоты: раз выстрел прозвучал, белка должна упасть! Чем больше выстрелов, тем больше белок. Он и оплату стрелкам строит от числа выстрелов, то есть от гектаров условной пахоты, он составляет настоящий полевой устав, где «предпосевная весенняя культивация зяби и пара, предпосевное боронование в два следа, весновспашка, посев яровых зерновых культур перекрестным способом» читаются как «дослат патрон в канал ствола, закрыть затвор, навести ствол в вертикальном направлении, то же — в горизонтальном, легким нажатием спускового крючка произвести выстрел, подобрать упавшую белку, отряхнуть мех от снега» и т. д. и т. п.

Веря в устав, производитель стрельб обязан будет периодически менять то затвор, то мушку, то состав пороха, будет переносить точку стояния дерева, на котором должна находиться белка, но не рискнет признать, что белка живая и прыгает! В руках производителя стрельб и наука перестает получать отрицательные результаты. Что нужно, то и должно получиться. Новый пшеничный сорт за два с половиной года. Переделка прицепного комбайна в самоходный. Кукуруза у Белого озера с початками молочно-восковой спелости. И все выходило. А преодоление загибов и изживание увлечений — это уже новый виток, новая ступень, хотя тоже и трудная и серьезная...

Но Бавилов-то по урожаю в колхозах о науке не судил. И протестовал против такого подхода! Прямо в телеграмме наркому земледелия СССР (1934): «Нельзя ответственность за производство... возлагать на научную систему!» А Тимирязев в дальновидном памфлете «Пародия науки» очертил тип площадного кудесника: «Выходить на улицу, публично производить пародии научных исследований в каких-то пародийных лабораториях, в невозможной обстановке, не имеющей ничего общего с действительной обстановкой научного труда, да еще в неряшливой форме, рискуя почти верной неудачей и позором, — значит, сознательно подрывать значение науки».

С науки нельзя спрашивать за дальнейшее передвижение земледелия в края засушливые вместо рекомендованного осеврения. Причин такого движения много, они в разной степени уважительные, но наука тут ни при чем. Пример республик Прибалтики и сдвиги в сельском хозяйстве Белоруссии показывают, как именно вся часть Европы между Балтикой и Каменным поясом могла бы превратиться из потребляющей зоны в производящую. В пору памятной конференции урожаем датского типа у нас считали сбор зерна в 30 центнеров с гектара. Теперь этот европейский стандарт поднят до 50 центнеров. Рост будто не принципиальный, однако он-то и сделал ряд развитых нечерноземных стран новыми экспортёрами продовольствия — Швецию, ФРГ, Францию... Советская Прибалтика близка к концу в программе дренажа, сброса избыточной воды, дорога и к сегодняшнему «датскому урожаю» тут открыта.

Но Центральная Россия... На сессии в кинотеатре «Новороссийск» директор НИИ Госплана Федерация В. П. Можин привел сопоставления, многое объясняющие в темпах Прибалтики и областей РСФСР. Средний гектар пашни в Федерации получает в 3,5 раза меньше удобрений, чем гектар прибалтийский, и в 4 раза меньше белорусского гектара. А пашни на одного работающего в областях России сейчас вдвое больше, чем в остальных частях страны. Плюс бездорожье: одна пятая райцентров РСФСР и третья часть центральных усадеб еще не имеют автодорожной связи с областными го-

родами (имеется в виду твердое покрытие); за девятую пятилетку потери от бездорожья в аграрно-промышленном комплексе Федерации определены в пять миллиардов рублей. Доля продукции сельского хозяйства у РСФСР десятилетиями составляла не меньше пятидесяти процентов общесоюзного, а ныне упала до сорока: низкие против соседей темпы прироста, в картофеле же и во льне идет прямое сокращение производства — нет рук. Какую науку тут винить? Путь «домой», в исторический район гарантированного земледелия, наверняка будет длиться оба оставшихся десятилетия XX века, но статистика показывает, как же трудно возвращение.

Вины перед земледельцем у науки есть, и подлинные, не того разряда, когда не шел без тягача — образом Емелиной печки — прицепной комбайн... Именно вины, не проблемы! Проблемы наука делает себе сама, они есть следствие и показатель движения. Погасили эрозию на целине — возникла нехватка непологающего сорта; освоили мировые эрозии пшеницы — вскрылись слабости агрохимии, неумение кормить и т. д. Нет вины — это когда оказалось внезапным то, что надо было заметить издавека, когда не соблюдена охранительная роль науки, закрепляющая какие-то достоинства и преимущества, когда своевременно не опробован веер возможных решений. Возьмем из самого общепризнанного.

«Когда на юге нашей страны ветровая эрозия приобрела угрожающие, доселе неслыханные масштабы, в арсенале ученых не оказалось резервов, чтобы ей противостоять, а агрономы-практики просто растерялись» (доклад министра сельского хозяйства СССР В. В. Мацкевича на ростовской, «эрозионной» сессии ВАСХНИЛ в 1969 году).

«Добившись в последние 10—12 лет заметного роста урожайности озимой пшеницы, колхозы и совхозы Ростовской области неожиданно столкнулись с... фактом резкого снижения содержания белковых веществ в зерне, то есть одного из тех важных для человека питательных продуктов, из-за которого преимущественно и возделывается эта культура. Возможность такого исхода мало кто предвидел...» — это пишет в книге «Пшеницы Дона» зерноградский селекционер И. Г. Калинин.

Если Министерству заготовок приходится методически завозить на Украину пшеницу-улучшитель, ибо среднее содержание клейковины в продовольственном зерне упало до неведомых здесь и совершенно диковинных 17 процентов, при которых никакой кудесник паляницы не испечет; если на родине Докучаева и Измаильского, на родине то есть и почвоведения и почвозащиты, оказалось нечего показать агроному в следование и копирование, то тут не проблема, а вина, что и было с самокритичностью печатно признано. Но разговор этот — о давних ли долгах, о свежих срывах — имеет смысл только при учете огромной суммы новизны, отметившей переход к последнему двадцатилетию века. Факторов — тьма, но определяющими лицо времени можно, думается, счесть три.

Команда в агротехнике стала незаконной. Это первое. Если в пору овечьинского летописания должна была гаяться инициатива бригадира Никиты Терещенко, то теперь должно избегать огласки администрирование в севооборотах. Надо конфиденциально спускать предписания, где, сколько и чего сеять, ибо агроном вовсе не хочет быть бездумным исполнителем.

В марте 1955 года в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об изменении практики планирования сельского хозяйства» была осуждена как ошибочная чрезмерная централизация планирования. «Из центра доводились до колхозов планы посева по всем культурам, а также по численности всех видов скота, — читаем в документе, — причем эти задания доводились до хозяйств механически... Это приводило во многих случаях к нерациональному ведению хозяйства, к неполному использованию резервов... При наличии такого бюрократического, чрезмерно раздутого, оторванного от жизни планирования не учитывалось главное — выход товарной продукции в раз- мерах, обеспечивающих потребности страны».

Отправным началом планирования был сделан объем товарной продукции. Дано — чего и сколько, а как, с какой площади, каким поголовьем это может быть достигнуто — дело хозяйства. Наиболее выгодный путь ищет и следует тем путем специалист.

Мартовский (1965) Пленум ЦК ввел принцип твердых планов и тем упрочил позицию инициативы. Агрономия возвращалась в строй обыкновенных технологий, вновь становилась занятием немногих — обученных и доверенных, становилась таким же рядовым умением добывать условия жизни, как нефтепромысел, судовождение или фармакология.

Новое подтверждение курса — в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров об улучшении планирования и экономического стимулирования, оно опубликовано в самом конце 1980 года. Здесь «признана неправильной практика навязывания колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям заданий, не предусмотренных в государственных планах. Объем производства сельскохозяйственной продукции, размер и структура посевных площадей, численность поголовья скота, урожайность культур и продуктивность животных, технология и организация производства... определяются в пятилетних и годовых планах, разрабатываемых в хозяйствах...».

Ключевым положением стал ленинский наказ, его на мартовском Пленуме ЦК напомнил Л. И. Брежнев: «Надо же научиться ценить науку, отвергать «коммунистическое» чванство дилетантов и бюрократов, надо же научиться работать систематично, используя свой же опыт, свою практику!»

Что бюрократизм — это всегда и непременно дилетантство, обязательно работа без системы и нарушение уроков собственного опыта и практики, всем причастным к селу отлично известно. А вот отчего регенерирует команда, отчего так остро и злободневно звучат давние законоположения, в чем бессмертие «указивки» — это есть смысл выяснять, изучая засуху.

Второе. Слово «засуха» изменило смысл. Смысл беды под крестьянской крышей, несчастья, голода (тот драматический смысл, какой родил это речение с пугающими старинными словами «саранча», «пожар», «крушение») исчез. Понятие «засуха» стало государственной, что ли, категорией, имеющей отвлеченно экономическое значение. Печеный хлеб отпускается практически даром, старый способ оженивать засуху дороговизной хлеба неприменим, гарантирована и денежная оплата (кроме премиальной части). Разумеется, в сухой год хуже будет с зеленью огородов, круче с кормом скоту, но факт: от суховея больше страдает хозяйство, чем работник сельского хозяйства.

Амплитуда колебаний зернового сбора с интенсификацией не уменьшилась, а внушительно нарастает. В 50-е годы разница между высшим и низшим годовыми намолотами составила 56 миллионов тонн, в 60-е — 63,7 миллиона, в 70-е — 97 миллионов тонн. Конечно, сегодня и самая низкая валовка покрывает все нужды в продовольственном зерне, но при такой «сейсмичности» урожаям нельзя строить современную индустрию мяса. Мишенью засух стали фермы!

Отсюда к третьему. Газетная образность еще уравнивает хлеб и зерно («Больше хлеба Родине!» — «Это золото зерна для тебя, моя страна!»). Еще и в заготовках одну и ту же пшеницу берут как для пекарен, так и для концкорма, но — свершилось, перевал позади: проблемы хлеба больше нет — есть проблема зерна, а она существует как проблема использования зерна на корм животным.

Речь о «хлебе людей» просто бессмысленна в стране, где пищевое потребление который уже год стоит на уровне 36 миллионов тонн, а валовые сборы перевалили за двести миллионов. Прирост населения сопровождается снижением потребления пищевого зерна среднего зерна средней душой.

Экономика должна быть экономной — таково требование времени, говорил в Отчетном докладе XXVI съезду КПСС Леонид Ильич Брежнев.

Речь должна идти о скверном, неэффективном использовании зерна в животноводстве. Настолько плохом, что чем больше отчисляем фермам, тем ниже отдача. (Если комбикорма и выход мяса в первом пятилетии 60-х годов принять за единицу, то к 1977 году расход концентратов подскочил в 2,09 раза, а индекс мяса стал 1,39.) Настолько плохом, что потери комбикормов на фермах вполне сравнимы объемами с недоборами зерна в годы острых засух, но засуха — она случается, а перерасход и мееет место, он постоянен, его ни объехать, ни обойти...

«Хотя прямые пищевые потребности в зерне давно уже удовлетворяются полностью, мы продолжаем наращивать производство зерновых — наращивать ради кормов...» — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС в 1979 году Л. И. Брежнев. — А вот отдача пока явно мала. Уже несколько лет производство мяса растет очень медленно. Среди причин называют несбалансированность кормов по белкам.

Животное считает по белку, валовой счет его не интересует. А белка в кормах разорительно мало, и десятки миллионов тонн трудно добытого и уже оплаченного зерна без воздействия на привес уходят в навоз — вот смысл новых потерь на фермах. Ныне дефицит по белку обесценивает прирост производства зерна!

Со скрипом входит белковая «черная дыра» в общественное понимание — и как же ей далеко до такой понятной, традицией освященной, привычно проклинаемой засухи!

А что они родня, что между командой в агрономии и курсом на голый вал, на государыню тонну есть прямая несомненная связь; что между отрицанием даровых лугов при русских реках и стравливанием миллионов тонн зерна коровам, тем коровам, что созданы жить на траве, прослеживается кровное родство; что жать на синтеттику, на корм из мазута и пихты, когда под Осташковом и Торжком не выкошены лесные поляны, есть темная вера в научные слова — это еще даже в академическом собрании может, увь, звучать как достойная внимания новость.

Но вот ты идешь по Москворецкой набережной рядом с сухим и легким Иваном Ивановичем, с пристрастием вытягиваешь дела давно минувших дней — и тебе весело, что сегодня время не пропало и все вообще (слово Вавилова, жалость моей матери к племяннику Ваське, предсмертная рукопись Тулайкова, пшеницы чужих континентов в посылках ВИРа, родившие «безостую-1») не пропало, и ты в благодарность смешаешь седого как лунь спутника словами своей дальней-дальней тетки, простенькой Марии Васильевны с хутора Клов под Климовичами, в словах тех и хуторское детство, и вера Марии Васильевны, и ее память о своей матери.

— Как, говорите, как? — смеясь, переспрашивает Иван Иванович, желая заучить.

— Хлеб, нас несущий, дай нам есть, — повторяешь ты..

## II

Иван Григорьевич Калинин принес мне в номер районной гостиницы в Зернограде рукопись своей книги про пшеницы Дона. При нем же я стал читать, и Иван Григорьевич меня оставил. Но часа через три, заметив свет в моем окошке, автор пришел снова и обнаружил, что книгу его переписывают. В просторный дорожный блокнот. Как бы перекаладывают в чужой чемодан. Иван Григорьевич покашливанием и некоторым кряканьем, что ли, дал понять, что рукопись показал вовсе не для передера.

Я попросил его оставить «Пшеницы Дона» на денек-другой. Иван Григорьевич насутился и отказал. Я заверял, что ситуация безопасная, если даже у меня на уме и плагиат. Издательство «Советский писатель» на выпуск оперативных очерков кладет три года — это курьерским, а так — пятилетка уйдет. В Ростове его книга семь раз успеет выйти и разойтись! Иван Григорьевич выслушал и сказал:

— Та ладно, давайте сюда.

Я не отдал.

Надо знать селекционеров. Один из них во Фрунзе наградило было меня в дорожку крохотным снопиком своей короткостебельной, вовсе еще не готовой, интересной только как задел пшеницы. Но опомнился, у ворот станции догнал меня, отнял дар и развлекал армянскими анекдотами все то время, пока его лаборантки делали зерна в колосьях совсем невсхожими.

А тут — готовые графики, таблицы, цитаты!

Была уже глубокая ночь, во тьме плескались самые успокоительные для человека звуки — песий лай и петушинный крик, когда Иван Григорьевич, не выдержав пытки светящимся окном, пришел изымать рукопись.

Я уже дочитал. Если бы такой книги не было, ее надо было бы написать, сказал я, возвращая. В ней есть чувство, но нет витийства — «седых колосьев», «кормилицы нивы» и прочей истеричной галиматии, от которой морщишься и стонешь. Автор — патриот, потому что говорит о своей земле правду, он ученый, потому что ему есть что сказать, и публицист, так как не говорить он не может. Он не мир принес, но меч. Шаблон в доспехах деловитости и конъюнктура под личиной организаторского задора обретут в этой книге ярого врага. Поскольку мы страна пшеничная, каждый большой регион вроде Таврии, Заволжья, Алтая должен бы иметь честную и романтическую летопись своего зернового промысла, где то, что достигнуто, трезво сопоставлялось бы с тем, что могло и должно уже быть достигнуто. Российскому полю, сказал я, всегда везло на селекционные таланты, а его книга — доказательство, что и на пропагандистов русской пшенице везет. Этим я кончил. Подождая, не будет ли продолжения, Иван Григорьевич откашлялся и кивнул на блокнот:

— А что ж вы себе-то списали?

А списал я то, что готов переносить на бумагу из одного удовольствия. Перенес также кое-что из опасения, что после редакции эти зерна не взойдут. Допустим, взял вашу цитату из Вергилия:

Также терпи, чтобы год отдыхало поле под паром,  
Чтоб укрепилось оно, покой на досуге вкушай.

Терпи! Рецепт против административной лихорадки... Стихи не выглядят древностью в соседстве с таким вашим периодом: «Зерно! Зерно! Зерно! Примерно такие севообороты существуют и сейчас в тех хозяйствах области, где нет черных паров. По существу, это интенсивное использование земли, противоречащее принципам интенсивного земледелия». Однако это яркие пятна, а мне в картине ценна непрерывность, дорого единство хлебного промысла. От самого зачина, от царя Петра и его разрешения донцам сеять хлеб по потребности, от закладки морского порта Таганрога именно для отпуски нашей степной пшеницы, для вторжения в экономику мира сугубо русским способом — до поры, когда Дон стал комбайновым и озимым, в счастливый год собирает полмиллиарда пудов всякого зерна, но клейковина упала так низко...

«Пшеница составляет важнейший предмет отпускной торговли Таганрога... — беру вашу ссылку на донского историка. — В особенности славится таганрогская арнаутка, которая по причине своей тяжеловесности, прочности и других преимуществ продается на зарубежных рынках решительно дороже всех самых высоких сортов пшеницы всевозможных мест». Что во время Крымской войны «арнаутка» была завезена в Штаты и стала родоначальницей всех американских твердых пшениц, что еще до сдачи Севастополя французский селекционер маркиз Вильморен берет «арнаутку» для посевов в Провансе и Алжире, я, положим, читал и прежде. Но что арнаутом у нас звали одновременно и грека и албанца — тут мне на вас надо ссылаться. Не ведал!

«Пшеница есть царица хлебов, разводимых на Дону», — живописует земский статистик. Это время для меня уже населено. Открыватель донского быта Федор Дмитриевич Крюков (друг и сотрудник Короленко, издавался в одном ряду с Бунинным, Купринным, Скитальцем!) передал облик края на переломе от ковыля к полновластью плуга. А у шолоховского Мелехова с хутора Татарского уже родился, растет лихой казаченок, которому суждено жить на всех больших языках мира. Хозяйственное и художественное знание! Вы пишете про первый в России государственный элеватор в Милерове. Но туда же и везет хлеб верхний Дон вообще, двор Мелеховых в частности. На азовский закром, дающий целую треть хлебного вывоза России, закром неустроенный и худо прибранный, налетят асы спекуляций со всего мира, нам будет навязана унижительная система «фак», то бишь оценка по среднему качеству, и газеты без обиняков станут заявлять: «Купцам иностранным достается львиная часть, а нам, труженикам, — крохи самые микроскопические».

«Русская агентура за границей, русские экспортные фирмы и собственная торговля — единственные пути к дальнейшему выходу из невыгодной для нас зависимости от иностранцев, получающих главный доход от русского вывоза» — беру я у вас напористый период старинной «Торгово-промышленной газеты», и жалею об утерянных родней полтинниках и миллионах. И солидарен с вами, Иван Григорьевич, когда вы прямо и наотмашь воздаете за бездарность царским сатрапам!

«Качество отечественных пшениц было очень высоким, однако ввиду существовавшей в дореволюционной России порочной системы заготовок... это преимущество наших пшениц не использовалось полностью в интересах крестьян-производителей и государства...» Вывоз из России перед первой мировой войной был, однако, на полтора миллиона тонн в год больше, чем американский, иных экспортеров и сопоставлять нечего, и понятна забота соратников В. И. Ленина о восстановлении этой статьи золотых доходов. Беру у вас, боясь потом не найти, цитату наркома внешней торговли Л. Б. Красина: «Советская власть заинтересована в том, чтобы на всех рынках Европы не было хлеба, репутация которого стояла бы выше нашего советского хлеба и зерна...»

Ты покупать можешь все что угодно, никакого греха в том нет, но покупай на то, что самому тебе дает за труды земля. Хлеб! Он по удивительной, сказочной сути схож разве что с туризмом: ты продаешь, а все остается дома. В самом деле, трактора в гаражах, черномез целехонек, люди крепки-дюжи, следующим летом все снова нарастает, а то, что единожды и навсегда отпущено природой, остается в твоих недрах и спокойно дорожает. Не здрав ли дедовский путь?

Честно сказать, я и не знал, что целый период, уже с трактором, с новыми сортами, мы поднимали протеиновые достоинства пшениц! Просто приятно за трактор, за «Ростсельмаш»: в первые тридцать лет коллективизация сбор пшеницы вырос на три центнера и семнадцать килограммов, но зато и содержание сырого белка поднялось на целый процент! От семнадцати мелеховских, надо учесть, от сем-над-ца-ти!

«Сорт сам по себе, как оказалось, еще не решает проблему производства высококачественного зерна». Эти ваши строки я взял за «как оказалось». Неожиданность, внезапность лавинного оползания белка — драма работающих с южным хлебом. За двадцать лет, с 1958-го, урожайность пшеницы на Дону выросла до 17,7 центнера в среднем, урожай 1978 года вообще побил все рекорды: 30,3 центнера с га по целой области! Но размах колебаний (максимальный — минимальный урожай) достиг трехкрат, а главное произошло под оболочкой зерна: сырой белок теперь на Дону колеблется между четырнадцатью и двенадцатью сотыми. Это хлеб серого неба и подзолов, вовсе не наследник «арнаутки». Те трубадуры валовки, те рыцари пустопорожных тонн и полых рапортов, что открыто и бодро не замечают проблемы, в счет не идут: блаженны нищие духом. Но вам-то противостоит другой взгляд, совестливый. Потектарный сбор белка все же поднимется? То-то. Ну потеряем процентов пяток клейковины, ведь нельзя объять необъятное, но в целом-то выигрыш есть? Вам воздастся, Иван Григорьевич, что не утаили от меньшого брата тайну цеха, не скрыли предупреждений отцов-основателей и наивное «как оказалось» расшифровываете «как доказалось».

Еще в 1909 году, беру у вас, агрономы департамента земледелия и лесного хозяйства Россия С. Н. Астафьев и К. Ю. Чехович печатают одно пророчество. От его точности берет оторопь: «По мере развития сельскохозяйственного дела часть яровой пшеницы будет заменена озимой... а так как озимые пшеницы в общем беднее белковыми веществами яровых, то и здесь следует ожидать понижения качеств пшеничного зерна».

Селекционер Калиненко рекомендует и требует как агроном. И агрохимик. И физиолог. Энтомолог. Технолог хлебопечения. Может, даже эколог — это когда речь про огонь на пашне. Если действительно, как вы пишете, от сжигания соломы гектар пашни ежегодно теряет 800 килограммов гумуса, драгоценного и самого сложного на свете органического вещества, — господа, что ж мы со степью-то делаем!.. Только засуха семьдесят девятого избавит юг от палов: вся солома до молотбы продана...

— Та-ак,— сказал Иван Григорьевич.— То ладно. А недостатки?

Что мог я изложил. Ну а насчет историзма... Вы, уважаемый автор, как-то обошли родоначальников борьбы с указывками. Можно понять так, будто вред планирования площадей сверху осознан только в наши дни. На деле же передовая общественная мысль издавна поднимала голос против огульного навязывания структуры!

Провожаясь с ощущением некоторого события. Воз Медведицы уже в положении самосвала, закончившего рейс. С предутренним холодком в огородах ожили завядшие, казалось, навсегда кукурузные листья и свекольная ботва. Рядом с тротуаром на сухих прутках дикого цикория распускаются голубые розетки. Намек на росу. Значит, и сегодня дождя не жди. Уже семьдесят третий день без дождя!

Стогны Зернограда немые и безлюдны. Еще час до солнца и часа три до жары. Горюду полсотни, он заложен ради зерна, во имя его наречен. Устроился, обзавелся даже институтом, приобрел вишневые аллеи вдоль тротуаров и потерял базар: на рыночную площадь ходят только покупатели.

Половину того срока, что город существует, в нем прописан Иван Григорьевич. Теперь Иван Григорьевич лауреат и знаменит, и можно с известным допуском говорить, что весь город затем и живет, чтобы Калиненко выводил новые сорта. Допуск только в том, что фактически всякий зерноградец живет себе и живет, ищет, где лучше, добивается своего, каждый второй, возможно, слыхом не слышивал о селекционере-земляке, а из оставшихся, из слышавших, половина наверняка не знает, для чего нужна бесконечная гонка сортов. Но если по общественному кд, то да, Зерноград жив-крепок именно пшеничным творчеством Ивана Григорьевича.

Передаю, как Василий Николаевич Ремесло сообщает своим мироновским уникальную назидательную историю: одного селекционера обряжают в члены Академии, да быстро, горючис кауза, торопятся заполнить документы, а тот — «не стоит, для меня это не имеет смысла».

— Откуда он знает? — пожимает плечами Иван Григорьевич.— Ничего мне не надо. Ни поездок за границу, ни отметки каких-то. Ничего. Что слава?

— Яркая заплата?..

— Нет. Читали Припвина? Слава — вроде как вода в пустыне долго жаждущему: дорвался — выпью озеро, а выпил стакан-другой — и уже не лезет, а лезет, так от нее топнит. Ничего мне не надо, только вот эта работа, отборы, испытания, больше ничего...



Говорить-то так можно. Многие говорят. Штука вся в том, что Иван Григорьевич говорит правду.

Мне нужно усилие, чтобы вернуться к истокам знакомства. И тоже сказать правду: не верил! Нет, интересно, надо думать, было всегда, иначе почему бы ездил сюда год за годом две пятилетки — но не верил. Что вот так, по-хуторски, без помпы и эйфории, на мотузьяной сбруе выйдут на новый виток уже над «безостой» и над «мироновской»? И тут, где слышно Маньч-Гудило, на астраханском ветру зажгут, понимае ли, новый факел? Не верил.

До оскомины трезвый был он гражданин, не седой тогда, но так же под ежик стриженный Иван Григорьевич, и селянский скепсис его тоже был вкусом в зеленую жерделу — Москву видать. Уже в кандидатах ходил, докторскую писал, а большего хуторянина по восприятию сущего, большего Фомы неверного я не встречал на самых дальних выселках.

Вы полны столичных новостей, вам наконец-то раскрылись заветы генетики, а он слушает со вздохами острой скуки и только рукою махнет:

— А-а-а там, химический мутахэнзэ... Как делали сорта, так и будут делать.

— Но, простите, вышли же в мир мексиканские карлики, у нас фитотроны сдаются, вообще инженерная генетика, или, если хотите, генетическая инженерия!..

— Ото то ж: хоть круть-верть, хоть верть-круть... На карликах без соломы насалятся.

— Так что ж, на лысенковской ведьмовщине ехать?

— А что Лысенко? Он хотел как лучше. То помощнички...

Разделали его в «Сельской жизни», да с видимым наслаждением, назвав и бесплодным и кустарем на делянках, уязвив тем, что «сорта умирают на следующий день после рождения, даже без имени». Автор — с кандидатским званием! — предлагал передать захудалую зерноградскую станцию победоносному институту Лукьяненко.

— От дурак! Умирают они — от кого? От «безостой-один». А такая — раз за всю историю.

А у самого еще под сортами не было ни гектара, и найдись тогда кто поэнергичней, одолей он канцелярские инерции — не бывать бы зернограду самостийным, слили б за милую душу.

...Область расширяет посевы под зерновыми, всюду настрой больше засеять, налицо напор, энергия, раскрут...

— А-а-а там, рас-ши-ре-ни-е! Пары позанимали — ото и все. За азартные игры даже пацанов лупят. А тут азартная игра на всю область.

И про черные эти пары говорит методично и повсеместно, где бы ни выступал, и сельский руководящий люд, он же партактив, давно соединил в своих представлениях фамилию Калининко с этой упрямой защитой, селекционная суть Ивана Григорьевича вроде уже ни при чем. Один областной руководитель даже признался ему однажды: «Знаешь, я как увижу тебя — мне аж спрятаться хочется».

...По области гром победы, по тридцать центнеров на круг, торжество агротехники, «мы пять лет шли к такому урожаю», люди дырки в лацканах вертят —

— А-а-а там, агротехника — то серия дождливых лет, — заземляет Калининко. — В элеваторе подвалы среди лета затопило — то шо, шли? В полях озеро, чирки так и не улетаи — то агротехника? Толкач муку покажет, вот потянет с Калмыкии...

Прилетал я год за годом, садясь, понятно, в Ростове, а зернограда достигал плутовским путем, то есть давал телеграмму о рейсе, и если окажется, мол, в области селекцентровская машина, так чтоб заскочила в аэропорт. Но Иван Григорьевич из раза в раз поддавался и приезжал на «Москвиче», а это ему потеря дня, потому что пока за Дон да за Батайск, пока к Мечетке, где Пантелей Прокофьевич Мелехов заболел смертным тифом, пока первый визит тем делянкам, которые завтра уже уберут, — уже и в лабораториях никого, числа как не бывало. И ни ликований, ни жалоб при встречах, вообще никаких зримых эмоций, потому что любой всплеск чувств опасно близок к фальши, а в земледелии, что бы ни случилось, все, по Белову, «привичное дело».

Один только случай и был, какой вроде бы можно причислить к «раскрывающим», и то он наполовину конфузный. Это случай с палом, с огнем на стерне, когда Иван Григорьевич не разобрал издали, подумал, что пламя со жнивья перекинется на пшеницу, и побежал через валки вприскачку, а я следом со всей доступной резвостью, и мы отмазали, может, стометровки три, достигнув только одышки и колотья в бок, и

потому что валки защищались опашкой и полевой дорогой. Пока бежали, было что-то от патетики — дескать, за хлеб хоть в огонь и все такое прочее, — а когда назад шли, Иван Григорьевич обмахивался шляпой и, морщась, говорил, что пожар состоялся, только в почве, живой гумус обуглился, микробиология полегла, а беда в том, что без этого варварства не вспашешь, плуги соломой забьет...

И не было никакого взрыва и перевала не оказалось — просто сперва четверть, потом треть, затем и больше половиним площадей пшеницы Дон стал засеивать его, Ивана Григорьевича, сортами, а это и значило, что планетарные знаменитости «безостая-1» и «мироновская-808» в этой части южного поля отошли в историю, а в селекции поднялась новая волна. Полемичность была разве в том, что одолены сорта-лауреаты не лучезарным пришельцем, а человеком того самого поколения, что в 60-х годах было выгнано с делянок триумфом «безостой», выгнано шумно, под свист лихих энтузиастов, выгнано вроде без шансов на будущее. И одолены не миллионными фитотронами, не в научных городках, куда хоть президента ВАСХНИЛ вози, а именно мотузью сброей, с таким селекционным хозяйством, что вполне сработало бы за действующий музей, потому что саманных амбаров такого возраста, бестарок, весов такой наружности, таких заплат на мешках и таких зарплат лаборантам давно нет в обыкновенном производстве и долго нужно искать совхозного директора, который согласился бы взять даже даром на свой баланс ветхую колыбель «ростовчанки», «донской остистой» и «северодонской». И одолены не новомодными аллополиплоидиями, мутагенами или хотя бы еретичными переделками, как у Ремесло, а простой, как сельская местность, и надежной, как виятовка образца 1891/30 года, гибридизацией, «внутривидовой гибридизацией отдаленных в эколого-географическом отношении сортов», как говорится в метрике «ростовчанки»...

Мне-то бога гневить нельзя: я доездили-таки! Был допущен к таинству и видел «Селекцию в Силах». Один, правда, раз, но и этого должно хватить: дело потаенное, не для чужих глаз.

Святая святых находилась в глинобитной мазанке вроде весовой при заготзерне. Полина Григорьевна, старший научный сотрудник у Калиненко и соавтор уже трех возделываемых сортов, еще с вечера застелила столик белой бумагой, протерла окошко и сбрызнула хорошо убитый пол. Утром было торжественно. Ивану Григорьевичу был подан длинный, видимо ритуальный, фартук, и он стал похож то ли на современного хирурга, то ли на магистра мasonicкой логи.

Ряды треугольных тарелочек замерли на столе, пшеничные зерна в них не шелохнутся. Одно слово «брак» возвратит сорт в небытие. Из ста семидесяти вариаций еще до этого утра выбраковано восемьдесят пять, ныне уцелеет примерно десяток. «Дело» каждого номера у Ивана Григорьевича перед глазами. Красный, зеленый, синий цвета — это мерки зимостойкости, засухоустойчивости, иммунитета, так кодируются шансы на будущее. Невод пришел богатый, превышения в урожайности над стандартом страшные, но тем жестче отбор.

Суд не мог быть праведным без Полины Григорьевны: она представляла милосердие. Она действительно старший научный сотрудник, потому что почти двадцать лет правит лаборантами и девушками-мэнэсами, правит так, что при всей текучести кадров порядок на делянках и толк в записях сохраняются, а строгий догляд берегает от пропажи свойства, отличия, качества — и алюминиевые треугольные тарелочки. «Для нас условен стал герой»: старших научных сотрудниц положено представлять в белых халатах и при микроскопе, это настолько азбучно, что и мы с режиссером Сережей, с которым снимали телефильм, послали бы за каким-нибудь подобием микроскопа, придись нам телевизионно выражать деловую суть Полины Григорьевны. Реальная же Полина Григорьевна — это химическая завивка, косынка прозрачная, зелененькая, с блестками, серьги сердечком и выдавшие почвенные разности лакированные босоножки, а дома полторы коровы, потому что разросшейся семье одной уже мало, ну и птица там всякая, благо муж — тракторист в совхозе, зерно получает, естественно, огород, так что летом приходится крутиться с темна до темна. Полина Григорьевна получает сто сорок. Правда, еще премия за авторство в сортах. Но за «донскую остистую» (400 тысяч гектаров в посевах!) ждут вышлаты пять лет, а дети столько ждать неспособны. Полторы коровы Полины Григорьевны — экономическое ей позволение заниматься селекцией. Внедрение сортов зерноградской селекции дает выигрыш в тридцать — сорок миллионов рублей в год. Наука, нельзя забывать, уже прямая производительная сила.

— «Семнадцать ноль пять», — задумчиво вызывает судимого Иван Григорьевич. —

Семьдесят пять центнеров, прибавка — четырнадцать... Странное дело, я его совсем не помню...

— Да как же, Григорьевич? — дивится секретарь суда и адвокат. — Выглядел прекрасно, высоко-кий такой.

— Не помню. — Иван Григорьевич поднимает тарелочку, и зерна панически скапываются в уголок. — Полегание?

— Три и восемь. Зимостойкость типа «ростовчялки». Хлеб из нее хороший. Очень красиво созревал.

— А почему же теперь неважнецкий?

— Так убрали же в самый последний день!

— Ладно. Пишите «отбор».

— Не его вина, что убрали поздно, — подчеркивает милосердие.

— Ну хорошо, добавьте «малое размножение», — уступает судья. — «Семнадцать двадцать восемь»? Помню. Ржавчина была, пишете «брак».

— У него не ржавчина, Григорьевич, а раннее усыхание листьев!

— Я вижу, вам не хочется браковать, — осадил судья. Однако же аргумент защиты отчасти все-таки принят. — Превышение десять? Отбор. Семена дать производителям...

Сочувствие смущенно соглашается: хотя бы отбор...

— Ага, «семнадцать семьдесят», — привлекает знаконца судья. — Паспорт весь красивый, высшие характеристики, а колос у отличника мелковат. Прибавка только от четырех до восьми... Из конкурсных испытаний исключать. Дать в коллекцию ВИРа и в Калмыкию. — И смягчающее объяснение защите: — Мы его в скрещиваниях так использовали, что можно ему и на пенсию.

Фаворита зовут пока «1784». Превышение над стандартом блистательное — 14—16 центнеров, зерно выровненное, стекловидное, прекрасный иммунитет. Полусотня зернышек на алюминиевом треугольнике не проявляет тревоги: у Ивана Григорьевича уже девять центнеров таких безымянных семян. Вчера у нас была микродискуссия: «подарок Дона» и «подарок Дону» — есть ли разница, и какая, и заметна ли на слух? Заметна, уверял я. Если «Дона» — так это как бы на экспорт, от своей области другим регионам. А если «Дону» — так тут элемент гордыни: авторский коллектив одаривает землю отцов... Иван Григорьевич вздохнул и умолк. Можно полагать, что прорабатывалось название для сорта выдающегося, замечательного...

— Чего мы его маринуем? Сдавать, сдавать в государственные. Ведь стареет же, в грудном возрасте стареет!..

— Григорьевич, а как «семнадцать восемьдесят»? Он же вам больше нравился...

Судья подносит к лицу другую, соседнюю тарелочку и сознается:

— Он мне и сейчас нравится больше.

Со стороны тут ничего не понять: нравится больше один, зеленую улицу другому... Но и не мое дело понимать все о слышимом. Тут полутона, намеки, боязнь, риск, надежда. Тайнство отбора есть еще искусство, спасется неуверенный и доступный сомнениям.

— Пишите: «семнадцать восемьдесят четыре» — предварительное размножение, государственные испытания. Возможно, сменит «северодонскую». А «семнадцать восемьдесят» — неофициальные государственные испытания... Мы, может, еще поменяем их местами.

Дорогой читатель, не угляди здесь примата интуиции в селекции! Автор ортодоксально предан взгляду, что без молекулярной биологии, без камер искусственного климата, тем более без использования культуры клеток и т. д. селекции сегодняшних задач не решить. Он и оправдаться, защититься может прежними публикациями. Просто дело в Калиненко.

Тайнство в мазанке было актом скорее не науки, а земледельца. Это у науки важен любой результат, и отрицательный, здесь — нет. Тут властвовало желание, «чтоб оно получилось». Никаких основных фондов, если не считать этого желания, в мазанке и вокруг, где ток, амбар и т. д., не было. Это сейчас только вкладываются те основные фонды в строительство теплиц, камер искусственного климата, потому что создается Донской селекционер, который впредь гарантирует, условно скажем, что ни одна находка, удача, самородочек Калиненко в песок не уйдут, а окажутся в прочной и нержавеющей емкости. Пока же емкостью такой служит одно хотение, «чтоб оно вышло», — страстное, истовое, очень крестьянское в своей основе желание.

Строят селекцетр долго, медленно, нехотя и словно бы мстительно, с несомненным отвращением к работе: простенки забиваются какими-то обломками гипса, кирпичи в стенах лежат вкривь и вкось, трубы не стыкуются, а стекла в теплицах не держатся. Будто цель занятых на стройке — создать архитектурного Плюшкина, ветхого уже с рождения, прореху на сельской экономике, оттапливающую с первого предъявления.

Наш пишущий брат уже десятилетия — как только стала рождаться деревенская проза — все толкует про чувство хозяина. Все дует кому-то в уши, что без этого, дескать, чувства никак нельзя — все, мол, прольется и уйдет в песок.

Есть у самого Калиненко это чувство хозяина? В деле своем он вполне правомочен, браковать или возиться с сортом дальше — решает сам, и возражает ему только Полина Григорьевна, и то как часть его собственной нагуры, как его же сомнение, его справедливость, и решать за них некому. Поэтому он х о з я й н и ч а е т, а не чувствует, и тут все валютно, обеспечено, всамделишно, чувствительность ни к чему...

Не чувство, а дело!

И сам феномен зерноградского тихого мастера, сам урок скептика Ивана Григорьевича состоит для меня в том, что поменьше политической трескотни, не камлайте, не поминайте всуе имя НТР, в этой реальности столько неподнятого, неприбранного, что еще не только годы — целое хлеборобское поколение можно работать по бабкинскому канону — по амбару подмету, по сусеку поскребу... И не только толк будет и зримая выгода, а и самую «безостую-1» превзойти можно.

Калиненко научил Сережу слову «тургидум». Теперь наш молодой режиссер отечески гладит колосья и приговаривает:

— Тургидум ты мой, тургидум... — И смеется.

Сережа — дитя мегаполиса, вырос, обрел диплом и даже женился внутри кольца «А». Слово «молоко» никаких ассоциаций с коровой, травой, косой у него не вызывает. Помнит он пропасть всякой всячины — где была родинка у Лжедмитрия I, как звали дочь Потемкина и Екатерины II и т. п., — всерьез увлекается структурализмом, карнавальной теорией Бахтина, но снимать хочет сельские передачи телевидения. Добродушен, миролюбив, ладит с операторами, а теперь вот знает еще и «тургидум».

Да что! Выясняется, что в памяти Сережи осадком от программы «Время» и первых полос газет запечатлелись: сенаж, дренаж, шпатовский метод, аммиачная вода, «мироновская-808», клейковина, розовые свиноматки, комплексы, аккордная оплата, сброс скота, мочевина...

Характерно, что из нефтедобычи, которой Сережа некоторое время занимался, им вынесено только три понятия: буровая, вахта, Нижнеуртовск. Этим ряд кончается, а сельская очередь, надо учесть, еще до первого выезда в степь простиралась на двадцать с лишним понятий! По логике молодой развитой горожанин должен был из сферы нефти знать в десятки раз больше, чем по агрикультуре. Сережа, однако, сенаж-дренаж помнит, в петролеумном же деле совершенно, как выражается, «не копенгаген». Объясняет он это тем, что у нефтяников «все так технологично». Но мирится и с таким взглядом, что селу с лихвой возмещается словесностью всюду, где недодается асфальтом, цементом и грузовиками, а его память — жертва таких возмещений. Но не надо считать Сережу наивней других. Взять тот же концентрат азота, белое пшено, какому по научной инерции выпало туалетное прозвание — мочевина. Поэт Андрей Вознесенский так перевел строки возрожденца Микеланджело:

Я слышу — об стену журчит мочевина.  
Угрюмый гигант из священного шланга  
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Водились бы гиганты, способные справлять нужду мочевиной, — за чудо агрохимии им простили бы все угрюмство!..

За подъем сельского хозяйства Сережа взялся всерьез и надолго. Нужен новый киноязык. Чтоб — экран, а все понятно, все на киноязыке.

Скрипячая натура Ивана Григорьевича странно терпима к Сережиной любознательности. Конечно, не Калиненко бы вести трогательный ликбез насчет того, что «тургидум» — пшеница очень древняя, кормила, наверно, фараонов, что твердая — она обычно яровая, а хочется сделать зимующую, что озимая — это которая не выколачивается при весеннем посеве, что озимая — она мягкая, но вместе с тем сильная, да-да, «безостая» тоже мягкая и т. д. и т. п.

Но селекционер просвещает терпеливо, и уже выяснено, что урожай не существует сам по себе, как не бывает штангиста вне собственного веса. Как поднятая штанга зависит от веса атлета, так урожай — от предшественника. Дистрофик гирей не крестится, узнаем мы, и посев по подсолнечнику рекордов не дает. Вообще не годного для спорта человека не бывает. Не штанги толкать, так шашки двигать! И любого предшественника тоже можно как-то приспособить к делу. Приспособление полей к делу в соответствии с их способностями есть севооборот. А разрядка на подъеме штангист без учета веса атлетов есть разрушение севооборотов.

Вообще — если Сережа услышит об урожае в 60, 80 или более центнеров не на поливе (где дефицит воды снят тысячными издержками), а на богаре, то он не должен и секунды сомневаться: дело в паре, разгадка в наилучшем предшественнике, штангист был здоров, бодр и накормлен...

— Кстати, что такое пар? — спрашивает Сережа.

Такие-то вопросы нам и нужны. Иначе съемки будут гадкой игрой в поддавки. С сельским человеком — бригадиром, секретарем райкома, министром республики — о парах больше говорить нельзя. Нельзя встречаться со здоровым человеком год за годом и на полном серьезе говорить: «Правда ли, что в радиоприемнике нет никаких человечков, а все дело в электромагнитных колебаниях?» И в ответ слышать, что да, отсутствие спрятанных человечков наукой подтверждено, а перспективы перед радиотехникой еще большие... Нельзя толковать да толковать о важности севооборота, о том, как ломают структуру, как белок катится ко всем чертям...

А вопрос — дело ответственное. Конечно, нужно быть Александром Ивановичем Бараевым, полвека отдать сухим степям, получить Ленинскую премию, мировую известность, чтобы спрашивать так: «Зачем сеять больше, чтоб получить меньше?»

Сережа сделать такой вопрос не сумеет, потому что в его пытаниях не содержится ответов. Но книжная выделка, натуральный интерес и незамутненная, как у мальчика в «Новом платье короля», способность к выводам делают Сережу самым ценным оппонентом. Чтобы осмыслить что-то снова да ладом, как раз и нужен пришелец. Не с Сириуса, так с островов Фиджи, с Тасмании, лишь бы ясность и логика. А тут — свой, милота, Кандид с дипломом!

— Так что же такое пар?

Пар, Сережа, есть способ сложить две годовые нормы осадков и пустить их под один урожай. Одно лето поле возделывается, но не засеивается, а на второе лето дает надежный умулот. Есть и другие стороны действия пара: накопление в почве азотного питания, очистка от сорняков, возможность внести органику и вовремя посеять... Но главное теперь — именно запасание влаги.

— Значит, после пара оно и урожай должно дать двоянный? Иначе как оправдать годичный прогул поля?

Сережа, вы сразу же выкладываете первый антипаровой аргумент: поле должно перед вами оправдаться, отработать простой... Да, оно может дать двоянный урожай! За двенадцать лет в Донском селекцентре озимая пшеница по чистому пару дала как раз вдвое против посева по силосной кукурузе (51,2 центнера с га и 25,9 центнера). Учтем, что средний сбор зерновых с орошаемого, искусственно поливаемого гектара лежит по Федерации в пределах 35 центнеров. Так что хороший пар вполне конкурирует с обыкновенной ирригацией.

Но говоря про оправдание пара, вы нормой разумеете сплошной засев пашни и всегдашнее ее плодоношение. А разве природа зоны такие обязательства брала? Нехватка воды по сравнению с запросами пшеницы тут не случай, не рок, не «лыха година», а просто естественный ресурс. Примерно на таком ресурсе Приманьская владина, Тургай или там Кулунда и существуют последние тысячи лет, причем то, что тут росло, жило и обитало, вовсе не считало свой край столь уж засушливым; оно протягивало ножки строго по одежке.

Засушливость этих территорий выявлена пшеничным земледелием, не так ли? Высоту и опасность океанских волн выясняет только плавающий островитянин, и он вместо одинарной пироги неминуемо вводит двоянное плавсредство: катамаран. Наверно, катамаран не так скор на ходу и дороже в изготовлении, чем лодка-одиночка, но ведь остойчивость, безопасность, гарантия тоже чего-то стоят! В Кулунде, Прииртышье и у Ишима, Сережа, сорокапроцентная вероятность засух, то есть из десяти лет четыре обязательно и непременно окажутся такими, что пшенице осадков не хватит. Считайтесь с этим, не считайтесь — целине безразлично. В других засушливых ре-

гионах планеты с самого начала уступили: штат Канзас, например, орошаемый дождями значительно щедрее Кулунды, сеет пшеницу только по пару; канадские провинции Альберта, Манитоба, Саскачеван (аналог нашей целины) отводят паровать от тридцати до сорока процентов пашни. Общеизвестно, что в целом возделываемые территории Соединенных Штатов увлажняются значительно щедрее наших, однако же мы отводим под пары только около пяти процентов запашки, американские фермеры — десятую часть.

— Выходит, пар — средство против засушливого года. Не среднего и не дождливого лета, а только против сужого? Тогда и тратиться на пар надо перед сухим годом, а не всегда, верно?

Берегитесь, Сережа: этот вопрос вашими устами задала азартность, тяга к авантюре! Если план по зерну трещит, земля впрямь не растягивается и в два этажа, как говорится, не посеешь, а совхоз по пятилетке в долгах как в шелках, то как же вам не послушать деликатного совета и не влупить по гуляющей земле скорый ячмень? Ведь сезоны-то идут — сплошные козыри: семьдесят шестой, семьдесят седьмой, семьдесят восьмой — один другого дождливей... Яровое позволит вывернуться, уж два-то урожая в сумме переянут один паровой — так как же тут не занять пар?

Любопытно: в языке утвердилось не засеять, не использовать или как-либо иначе, а именно занять. Занял сегодня — займешь завтра, один заем неминуемо вызывает следующий — воцаряется жизнь взаимы. Занимаешь у кого? У будущего года. Или у следующей пятилетки. «Занимаешь — отдавать надо», — определил как-то суть занятых паров казах-бригадир Толеухан на собрании партактива Благовещенского района Алтайского края.

Конечно же, пар, буде он есть, должен быть черным или чистым. Если он зеленый или сорный, то это старая ленивая толока. Это значит: объявили квартире ремонт, а маляры не являлись. Но странно, что скверное исполнение приема ставится в вину самому приему: мол, чем дрянные пары — а выйдут дрянные, — так лучше засейте, займите...

Цену вещи показывает ее потеря. Дон терял свои пары однажды полностью и спустя срок — частями и долями. В пятидесятом году область имела 800 тысяч га парового клына. К середине 60-х годов от этого уцелела едва двадцатая часть! Занимание началось роскошным выгрышем, сказочным кушем 1962 года: было взято 4 254 тысячи тонн озимой пшеницы — поныне не достигнутая валовка! Затем последовали проигрыши, да такие жестокие, что были способны, казалось, навек излечить от всех оттенков азарта. Во-первых, озимь стала тибнуть при перезимовке. Да вовсе не так, как прежде, когда к весне пропадало пять, ну десять гектаров из сотни. В среднем за десятилетие 1963—1972 годов гибель озимых посевов пшеницы достигла в Ростовской области 37,5 процента. Совершенно разорительный налог. И просто-таки ведьмовщина, пугающая магия в таком вот совпадении: сколько земли заняли из парового клына, столько озимых посевов и стало погибать! Именно так: на 650—700 тысяч гектаров расширили за счет паров площади под зерновыми, по 687,6 тысячи гектаров озимей пересевали в год в среднем за десятилетие. Следовательно, заем паров принес только пустую трату семян, труда, горючего осенью и пересевы яровыми весной.

Во-вторых, падение белка в пшеницах. Быстро прожив пары, хозяйства области понизили белковую ценность главного хлеба сперва на три, потом еще на два процента. «Это было, по существу, зерно фуражного назначения», — с горечью оценивает такие урожаи Иван Григорьевич.

Третье — неспособность использовать великие достижения селекции. Именно в 1963—1972 годах на Дон пришли, стали господствующими сортами интенсивные «безостая-1» и «мироновская-808», но средние урожаи за десятилетие возросли только на 1,9 центнера с гектара!

— Но новые сорта — новые, интенсивные, а пар — прием старинный, даже древний. Как же новое вино лить в старые мехи?

Знаете, Сережа, огонь теперь научились тушить всяко. Песком. Пенной. Взрывами. Асбестной тканью. И еще бог там знает чем. Но сохраняется и тушение огня водой. Это такой доступный, надежный и дешевый способ, что отказываться от него при всех современностях — дурь. Тем более что ветхое заливание ведром, передача цепочкой и т. д. заменены пожарными кранами на этажах, брандспойтами и тому подобным. Пока будут пожары, сохранится как средство их тушения вода.

А пока посевам будет грозить засуха, сохраняются как метод пары. Агротехника убавила (вовсе не сняв, однако) их пищеннакопительную роль, гербициды могут (хотя

бы теоретически) губить сорняки, но функцию орошения без каналов у паров не отнять и ничем иным не заменить. Парам выпало стать моральным лакмусом засушливой зоны. В госбанке брать без процентов нельзя, у соседей без отдачи — не выйдет, и только заем у пара можно не возвращать. Наоборот, возвращение рискованно, оно требует какой-то остановки, требует без обиняков сокращения площадей под зерновыми. В том-то и вся штука: некогда занятое у паров уже попало в счет площадей под зерном, структура сколочена так, что выкроить десять—пятнадцать процентов самых вымотанных подсолнечником, самых засоренных площадей для ремонта пашни можно только за счет сокращения зерновых. А представляете, что это за собой влечет? В прошлом году район закрыл сводку с сотней тысяч за озимки, а ныне красуется 90 тысяч — каково? А если двадцать районов области по десятку тысяч недосеют на том, видите ли, основании, что какое-то давнее, забытое уже руководство запустило руку в паровой клин? Как будет выглядеть область на республиканском фоне? Легкой жизни захотели, ага?.. Потому-то хозяин, десятилетиями сохраняющий севооборот с чистым паром в фундаменте, есть уникал, про которого в поэзии сказано:

Гвозди б делать из этих людей:  
Крепче б не было в мире гвоздей.

Владимир Иванович Остапченко, никопольский первый секретарь, отчаянная голова в войну и мужественный разум в пятилетки борьбы с засухой, первой своей обязанностью считает отстаивать научно обоснованный севооборот, защищать десятков тысяч гектаров районных паров. Остальное агрономы доделают.

Почему тяжка остановка в займах? Снаружи никакой нравственности, никаких карьеризмов — все плотно одето в хозяйственную необходимость: в рай всегда не пускают грехи. Коров кормить надо? Надо. За молоко сколько раз в год спросится — 365? За хлеб один раз, а за молоко в иной год даже 366. А кормится молочный скот с пашни. Это даже в луговых, выпасных областях стало привычным. Если в Калининской области луга дают лишь 15 процентов рациона, в Новгородской — 11, на Брянщине только пять процентов, то что спрашивать с типчаковой зоны засухи?

Райплан, доведя строгое задание по выходному поголовью, одновременно как бы защищает и зерновое производство: вам доведут лимит на пашню под кормовыми культурами. Скажем, не больше 18 процентов под кормовой клин, а дальше думайте сами. Зоотехник ирится: это ж голодный паек! Агронома вызывают в район «трясти структуру» всякий раз, как месячный план молока под вопросом. И он уступит, ваш агроном. Который с поминанием всех чертей и с валидомом, а иной со смешком и с плевком, сохранив тот раздорный пар только в отчетах и сводках.

— Но ведь коров в самом деле нужно кормить! Нельзя же обречь на голодание фермы?!

Ну-у, Сережа, любое судно можно, наверно, загрузить так, что всякий крен будет опасен и даже малый шторм станет чреват оверкилем. Если толковать только про план перевозок — можно! Но ведь морская задача — остойчивость. Зачем же в сухой зоне создавать такую структуру хозяйства, чтобы засуха была без промаха? Зачем делать причиной беспарья, вымерзания озимых, наделения клейковины в зерне первое людское млекопитающее — домашнюю корову?

Не нам с вами, Сережа, ридить, как развести животноводство и пшеницу, корма и пары, — способов масса, и специально ученые люди их помнят. Вычленение кормового производства в особые прифермские севообороты. Перенос добывания кормов на орошаемые (особо интенсивные) участки. Мелиорация неудобий. Кормоприготовление и белковое насыщение рационов, отчего сырья для ферм при одних и тех же тоннах становится как бы вдвое больше... Знающие, я говорю, это знают.

А обнаружить тех знающих вовсе не трудно! Ищите Золотую звезду — за нею в степях пары! У кого известность, признание, у того и железный севооборот. Пары — это мера авторитета, показатель прочности и характера и служебной перспективы. Процент паров в хозяйстве стал натуральным выражением лидерской роли: такому можно... Золотая звезда Д. Д. Аягельева, Золотая звезда А. И. Бараева, Золотая звезда В. И. Остапченко имеют с чистым паром прямую причинно-следственную связь. В том и новизна момента: единообразия — травопольного там или пропашного — больше нет, звонкой команды агроному тоже не услышишь, но и всеобщего и равного права на севообороты нет тоже. Кто смел, тот... тот с паровым клином. Но единственный фак-

тор агрокомплекса, поломка и списание которого не наказуется, а молчаливо поощряется, есть паровой клин в зоне засух.

На Дону место пара в пашне сейчас восстанавливается. Правда, непрочно: в 1972—1973 годах отводили паровать по 520 тысяч гектаров, влажный семьдесят шестой свел эту площадь до 270 тысяч, ныне позволяют не засеять примерно 450 тысяч гектаров. А нужно? Иван Григорьевич считает — не меньше 700—800 тысяч, то есть столько же, сколько было в начале 50-х годов.

— А где-нибудь спрашивают за растрату пара как за растрату?

Из науки так ставит вопрос разве что один Бараев. Лет двадцать главный агроном целины убеждал, теперь старается привлечь к общественному ответу.

### III

Газетчики «Алтайской правды» целинных лет (говорю о старых газетчиках, то есть тогда молодом народе) ростовский совхоз «Гигант» считали чуть ли не дочерним предприятием Алтая, а его директора Дмитрия Дмитриевича Ангельева — своим неоплатным должником. Нравственно, разумеется. Но сути это не меняло.

Дело в том, что вскоре после распахки залежи и целины, когда все были полны первопроходческого энтузиазма, а пыльные бури были еще «за шеломянем», Ангельев, видный аграрник и постоянный наш автор, согласился (разумеется, малодушно!) на перевод в «Гигант». А с ним, естественно, уехала и его жена, наша коллега Янина Викентьевна, она вела в газете культуру и быт. Что ни говори, уехали-то они на юг! Пускай то и не прямое бегство, поощрять такие акции было не в наших правилах. Мы ж не уехали! Правда, и директорство в «Гиганте» никому из нас не предлагалось...

«Гигант» был працелиной. Попытка еще до массовой коллективизации решить проблему хлеба «фабриками зерна», да не волами в плуге, а массой американской техники. Фантастические поначалу размеры, объясняющие нынешнее название (из совхоза нарезаны целые районы), самолет директора Юркина, вчерашние чабаны на «ктерпиллерах» и Максим Горький перед работающим комбайном — все это сложилось в прелюдию распахки степей уже между Волгой и Обью. Конечно, командовали неотложные нужды, но, если брать полувековую работу известного совхоза, вопрос был задан так: хотим в зоне засух современными средствами получать стабильный хороший хлеб — возможно это? во что обойдется? какие будут колебания в суховей?

Везенье это было или беда для «Гиганта», но он изначально был превращен в полигон новаций, где любая схема доводилась до конца. Первое пятилетие — до 1935 года — целью был гигантизм площадей, высевалась яровая пшеница, урожай не давал окупить импортные машины: 4,9 центнера в среднем за пять лет. Взят был крутой крен на озимую. В предвоенное пятилетие достигнут намолот в 17 центнеров. Ввели на полную катушку лесомелиоративный комплекс, травопольную систему с люцерной-житняком и одним полем пара. Эту-то систему и застал наш Ангельев и приглашенный им на агронома Николай Федорович Трофименко, тогда и худой и густоволодый. В первую антитравопольную волну Ангельеву было предложено травы изгнать — с 1957 года «Гигант» получил севообороты с двумя полями чистого пара. Тут-то, можно сказать, и начато было соревнование нашего отпущенника с Алтайским краем. Исходные позиции, если учесть разницу между озимью и яровым, были вполне сопоставимы: 11,7 центнера в среднем по краю (1954—1958 годы) и 17 центнеров по совхозу в Сальских степях.

Расширение паров вызвало сокращение посевов «Гиганта» на 2600 гектарах! Событие по алтайским понятиям скорее все-таки подсудное, чем похвальное! Но оно было произведено после постановления от 9 марта 1955 года (о планировании посевов снизу) и сошло Ангельеву легко, а урожай «Гиганта» выросли за пять лет до 23 центнеров, валовой сбор поднялся на 25 тысяч центнеров, прибыль на полмиллиона в год.

Тут мы и достали бывшего автора. Прошедшая система Наливайко! Из Барнаула, с Алтая, она навела грозу на пары-травы по всей стране. Слова не выкинуть: про то, как «Гигант» наводил пропашной порядок, расширял озимый посев, расписывать газета «Советская Россия» послала одного из корреспондентов «Алтайки» — меня! И расписывал... А что вышло из этого? С шестьдесят второго по суровейший шестьдесят девятый паров в «Гиганте» не было вовсе. В поля ввели шедевр селекции — «бсростую-1». И урожай не только не вырос, а снизился, упал на целых четыре цент-



нера! Среднегодовая валовка скатилась почти на 90 тысяч центнеров. «Гигант» перестал поставлять сильные пшеницы.

Допустить, что структура 60-х сохранена, — и эксперимент, заложенный в 1928 году под Сальском, потерпел экономическую аварию. Хлеба стабильного, тем более хлеба хорошего, экспортных кондиций, в степи по Салу получать нельзя!

На деле Дмитрий Дмитриевич использовал отрезвляющее действие 1969 года и добился восстановления чистых паров. Именно чернявый, экспансивный, доступный и загибам и стыду алтайский аграрий внушил, что хозяйством такого прошлого шутить преступно. Вновь были сокращены — почти на три тысячи гектаров — посевы зерновых, и все под «гуляющую землю»! Наконец-то был принят стабильный севооборот с полутора полями пара — и в «Гиганте» возникла агрономия! Да-да, так и говорится: главный агроном Трофименко стал что-то значить, стал думать, действовать, решать только после того, как совхоз получил севообороты. Был тришкин кафтан — появилась агрономия, хотя люди, головы, характеры остались прежними.

В девятой пятилетке урожай выросли с 21,6 до 26,6 центнера, среднегодовой вал поднялся на 40 тысяч центнеров — и в семьдесят четвертом году «Гигант» вновь заявил себя как поставщик золотого, то есть нормального по степной экологии, пшеничного зерна: сдано 8860 тонн сильной и 22 тысячи тонн ценной...

Щедрый 1978 год с намолотом в 38 центнеров принес приветствие Леонида Ильича Брежнева работникам «Гиганта». Умелая реализация блестящих погодных условий. Не упустили! Полеганию, ржавчине, прочим напастям не отдали, чинно вывели грузный невод на бережок.

Но выдающиеся научные результаты принесло именно засушливое лето 1979 года. Дождей в «Гиганте» не было с 19 апреля до уборки. Значит, классическая сушь, сезон — объяснение, почему до трети XX века междуречье Дона и Волги оставалось целинной. Приехав в разгар уборки, мы нашли те же щели в почве, ту же лютую сухость воздуха, ту же боязнь спички, искры, как и всюду на Дону, одно разве:

— Где хотите, там и снимайте. Пар дает сорок пять — пятьдесят центнеров, оборот пара — тридцать четыре, остальные, предшественники — в пределах тридцати. Лишь бы покорооче — время... Вчера была американская делегация, обычный уборочный объезд. Их вывод: здесь лучший хлеб за всю поездку. Имели в виду качество зерна.

Засуха пролетела над «Гигантом», убавив намолот пшеницы в сравнении с идеальным предшествующим годом процентов на пять.

Семьдесят пять дней без капли дождя, при яростном солнце, а с 22 тысяч гектаров зерновых совхоз собрал по 32,5 центнера, намолот озимой пшеницы составил 36,7 центнера, поставлено 37 тысяч тонн сильных и ценных пшениц.

Урок «Гиганта» в том, что засуха 1979 года — во всяком случае, на Дону — могла быть обезврежена и остаться только погодным, вовсе не экономическим явлением.

Средний урожай Алтайского края за пятнадцать лет (1962—1976) составил 10,2 центнера с гектара. Для статистика тонкость тут в том, что и в пятилетке 1905—1909 годов намолот был именно тем же: 10,2.

Едем в агрохимцентр.

Заведение это, опора и гордость того Трофименко, каким он стал после победы в парах, Сережу несколько разочаровало, как, впрочем, и факт, что законов у земледелия много. Была залитая асфальтом площадка гектара в два, склады под шифером, устройства загружать самолеты селитрой и суперфосфатом, десятка два харьковских тракторов с тележками, так и не отмытых после вывозки навоза, потому что с водой в засуху туго, и кирпичная лаборатория. Степная романтика отсутствовала.

Николай Федорович водил по этому пеклу, приглашая просвещенных гостей с Центрального телевидения порадоваться его достатку, этим стадионно просторным крышам.

Агрохимия без крыши — это разбрасывание. Да и механизация — разве она начинается не с крыши?

Какой путь к реальности нужно пройти фундаментальной науке, чтобы понять, что уперлась теперь агрикультура в крышу, ту крышу, которой нет! На сессии ВАСХНИЛ говорили об электронном прорезивателе!.. Большая Академия озабочена ускорителями для стерилизации зерна, тоже электронными, чтоб не прорастало... Окститься бы! Да сборную легкую емкость дайте для зерна, чтоб в три дня поставить в бригаде! Шиферную, толевую, дощатую — какую угодно, лишь бы крышу, чтоб укрыла зерно! Вы знаете, Сережа, что на Алтае зерно сплошь да рядом лежит на токах дольше, чем уходит на всю его вегетацию, от сева до молотыбы? Да-да, ведь

сорт спеет от силы сто дней, а кулундинский ток придавлен ворохами зерна с августа по ноябрь включительно, а осадков во вторую сотню дней — дождем, крупой, потом снегом — выпадает больше, чем в первую, летнюю. Даром, думаете, проходят эти атмосферные ванны?

Вы задавались вопросом, почему вся комбайновая промышленность в значительной мере работает на восполнение списываемых машин? Как не связывать это с тем, что одиннадцать месяцев в году машина ждет единственного рабочего месяца под всеми разновидностями осадков, под стужей и жарой? Из семисот тысяч нынешних «Нив», «Колосов», «Сибиряков» считанные сотни хранятся в тех условиях, в каких положено быть дорогой молотилке. Вы думали, почему усадьба русского Севера — та, модная, ныне свезенная в Кизи — имела под крышей и двести и триста квадратов, хотя жили, чего таить, в тесноте? А попробуйте спрятать под кровлю все, чем работают и что кормят, до борон, оглобли, берестяной и плетеной тары, — и трехсот квадратов не хватит!

Чему дивится американец сочувствующий и незлорадный, когда его черной «Волгой» мчат по нашим полям? Сорнякам? Да у него их, может быть, больше нашего, причем нашего овсяга если и нет, так вдосталь того, что у нас на юге поселено в палисадники, — крученые панычи, или граммофончики, да дикий подсолнух, растущий кустами... Бездорожью? Но мчат его по асфальту. Технике, просторам полей? Он дивится тому, на чем ваш, мой, сессии ВАСХНИЛ взор не останавливается. Комбайнам под куполом неба. Тукам под циклонами и переменной облачностью. Зерновым токам без крыш.

...Старый Расуэлл Гарст и высоченный наследник его Джон Кристалл привели нас в почерневший сарай-ангар, прикрывший собой территорию сотки в три, не меньше.

— Этот дворец пережил уже три поколения тракторов, — сказал нам Кристалл. — Сколочен он был из остатков военного снаряжения — всякий хлам пошел... Как у вас техника может зимовать под открытым небом?

— Разве в одной технике дело? — перебил племянника Гарст. Он говорил уже в электронный микрофончик, у него был рак горла, но выглядел и держался твердо. — Удобрения, зерно, корма — как это можно оставлять под дождями? Тратите такие деньги на бетон свинарников и ферм, на ограды, заборы, стены — так много кругом оград и заборов!.. А крыша могла бы стоять дешево. Пока на минеральные туки действуют ломом и взрывчаткой, агрохимии еще нет, сколько бы миллионов тонн азота ни производилось...

Так говорил старый наш друг Гарст, и я не придумываю ничего, не меняю слов, грех: мы — ученый-аграрник В. Ф. Лиценко и я — были последними русскими, кого великий фермер Америки принимал под своим кровом во глубине Айовы.

Впрочем, не такие уж и сами безглазые, чтобы не заметить, не понимать, не досадовать. Овечкинский дед Ступаков еще в 1953 году зывил в очерке «На переднем крае»: «Как в Евангелии сказано: давай правой рукой так, чтобы левая не ведала. Один министр дает комбайны, а другой министр не дает денег построить сарай для тех комбайнов, чтоб не зимовали в сугробах».

Учитесь радоваться крыше, Сережа. Экономика — это «умение вести дом», а дом — широты разные — бывает без пола, без углов, даже без стен, но без крыши нигде не бывает. Славьте крыши, Сережа, воспевайте покров над добром — этого занятия вам может хватить до седых волос.

...— Хлеб выстоял потому, — говорил Николай Федорович, — что брал влагу с двух метров. Метровый слой — как порох, до полутора тоже щели достигают, а на двух метрах влага осталась. Слабые растения так развить корневую систему не могут. Это мы помогли пшенице весной, в период азотного голодания: построили зеленую фабрику. Это и выручило, когда настала сушь. Значит, — теоретизировал Николай Федорович, — в первом минимуме была, конечно, влага, но мы эту нехватку снимали по закону совокупного действия факторов — азотом.

В минимуме — влага. Это, впрочем, и доказывать было смешно: с нас лило, философствовать на солнцепеке было так же трудно, как и не жмуриться.

— Вот тут вы видите, — Николай Федорович со всей непринужденностью сделал круг вытянутой рукой, — те средства, какие агроному позволяют наладить питание растений. Мы вносим отсюда, из агрохимцентра, двадцать две тысячи тонн минеральных, к тому же еще с ферм восемьдесят тысяч тонн органики, вынос питательных веществ сбалансирован и урожай программируется. Что душит предкавказский чернозем? Нехватка фосфора. В нашей почве полтора-два миллиграмма фосфора на сто

граммов почвы. А нужно? Нужно три с половиной — четыре. Выходит, надо добавлять целых два миллиграмма, то есть по двести кило чистого фосфора на гектар! И не хватает этого элемента всюду, и на целине и в Нечерноземной зоне, война-то из-за него страшная, а развивали, да сильно, прыжками, азотную промышленность. Вода три урожайных года в минимуме не была, а фосфора — его всегда недостача. Вы учитывайте, обычное содержание фосфора в почвах Западной Европы — двадцать — двадцать пять миллиграммов. Вот это скоплено, вот это национальный запас, чего ж там урожай не программировать!.. Фосфор — это зимостойкость, это быстрое поспевание и, значит, уход от летних засух. Но даже дефицитный фосфор не даст вам белка в зерне, не накачает клейковину — нужен вовремя азот! Не избыточный азот, от него пшеница поляжет, а как раз тот, какого в эту неделю растению не хватает. Вот эта лаборатория, — главный агроном неспешно указал пальцем в кирпичный угол, — и помогает быстро реагировать. Сколько азота в самом растении, в его листьях? Если четыре процента и выше, мы не подкармливаем, само переберется в сильные. Нет трех процентов — тоже нет смысла кормить: сильной такую пшеницу уже не сделаешь. А вот между тремя и четырьмя процентами — агронома вилка, только поддавай, тут твоя премия за качество.

— А как оно, Николай Федорович, узнается про процент того или другого элемента — не вообще, а сегодня, на таком-то поле? Это ж сказать легко, а поставить такую разведслужбу ого как сложно...

— Мы ж хозяйство сплошной химизации — удобно ли этим хвастаться? — объяснял Трофименко. — Что там наша химлаборатория! Слопу дробинка, только на подхвате. Работаем на договорах с Ростовом: программируемый урожай. Анализ всех полей с учетом высеваемой культуры, отсюда задание своим агрохимикам. Обсчитывает вычислительный центр, запрожены эвэемы. Было, конечно, недоверие, но вот два года выходит точка в точку. Люди часто и живой-то разум не пустят в дело, а им мы будем про компьютеры — незэично, а?

ЭВМ. Счетные устройства. Компьютеры. Впервые слышу о них как о рабочей реальности наших полей. Наших! Американский агробизнес давненько объявил ЭВМ символом нынешнего сельского производства — компьютер, говорят, стал головной, значающей аграрной техникой. Что ж, обсчет вариантов, выбор меньшего риска, страховка при всегдашней опасности пролететь. А «Гигант» просто использует электронику против засухи! Новый горизонт, товарищи, такое стоит пленки.

— А может, все это и есть нормальные условия, Николай Федорович? Может, так-то вот и нужно работать?

— Но про это ж не скажешь, — пожал плечом Трофименко. — У нас оно апробировано, просто время есть этим заниматься, другого дела мне нет, а людям же интересно, какой у них выход...

Мы за самостоятельность грамотного земледельца, его право решать... Кажется, этот минимум в «Гиганте» был устранен прежде всего. Как и почему — вопрос особый. Может, потому, что Алтай когда-то лишился дельного агрария. Но — снят, и засуха 1979-го пронеслась над классическим хозяйством, не причинив урона.

#### IV

Лозунг «Уберем урожай до последнего колоса!» Сережа поначалу понимал буквально. Мог принести с полосы сноп колосьев, вдавленных какой-нибудь шалой шиной, и спрашивал сопровождавшего нас, куда положить. Насилу удалось отучить его от бестактностей.

На поля страды он привез взгляды владельца «Жигулей» (машина есть у его тестя): ничего улучшать нельзя, за вас подумал ВАЗ, ваше дело соблюдать, не то лишитесь гарантии. Эти суеверия стоили нам одного выразительного эпизода. Когда в «Гиганте» новый аграрий увидел, как ударами кувалды правят положение оси молотильного барабана в «Ниве» с заводским номером 320207 (в «Ниве», работавшей пятый день от рождения!), с ним стало плохо.

— Нельзя, нельзя, что вы делаете! — дико закричал, замахал руками Сережа, и оператор в удивлении опустил французский «Эклер», а звуковик растерялся и выключил швейцарскую «Нагру». И пропала жанровая сцена! Пока пререкались, внушая Сергею, что комбайны поступают с завода, в сущности, набором запчастей, едва слепленных в какую-то сумму, пока режиссер извинялся — кувалду отбросили, стали при-

варивать шнек у «Нивы» номер 319283, с которой комбайнеру (он сибиряк, переехал из Красноярска, зовут Алексей Хулап) исключительно не повезло. А инсценировать такое — молотом по валу главного органа! — никто не решится.

Но на ошибках учатся. Позже в кулундинском совхозе «Степной» агроном Иван Иванович Хитрюк показал нам, сколько щелей и течей в стандартной «Ниве» и как сельская смекалка выявляет потери. Расстилают брезент, въезжают на него новым «кораблем полей» и бросают ему на полотно немолоченый хлеб, для чего припасают копешку. Зерно натекает на брезент аккуратными курганчиками, они-то и указывают на резервы. Впрочем, сама «Сельхозтехника» рекомендует заделку течей, поставляя разного рода затычки.

Тут уж самообладание было сохранено. Серезина натура отозвалась метафорой. Вернувшись на студию, он подобрал документальные кадры из области судостроения. Спустили на верфи новый корабль. Музыка, флаги, бутылка о нос — все как положено. Но едва судно закачалось на воде, морякам пошли морзянкой рекомендации. Учтите зазоры и дыры под шестым и двадцать шестым шпангоутами, у руля и у ветрил. Дело, конечно, хозяйское, но кто хочет вернуться к женам — заделывают щели так-то и тем-то. И вошло в телевизионный цикл «Путь к хлебу», Сереза особо гордился морзянкой.

В целом наш режиссер жаждал кар и возмездий. За речкой Кулундой, в колхозе кержацкой Долинки председатель Дмитрий Макарович Магеря привел к очень дорогому желтому «К-701», в котором синица свила гнездо и выкормила птенцов, потому что был заводской брак, на рекламации не отвечали и трактор простоял с апреля по октябрь. Мы с Магерей, зная друг друга, Долинку и отношения индустрии к селу уже четверть века, снйщали с радиатора младенческий помет и толковали, было ли когда-нибудь в этом селе столько живых людей, сколько означено л.с. в данном моторе, и пережила бы прежняя Долинка такой конский падеж или нет, а Сереза — тот бил себя по коленям:

— И вы не подали в суд? Вас так нагрели, известно кто, и вы не подали в суд?

Молодо-зелено! Поди втолкуй что и почему...

Я воспитывался на правилах, когда любой владелец промасленной ватянки из Нижней Суетки, Верхней Чуманки или той же Долинки мог спорить с дипломированными конструкторскими, испытательными, планирующими службами, с далекими цитаделями машиностроения — и оказывался всегда прав, потому что его усовершенствования охотно разрешали, печатали схемы в газетах, собирали семинары, а «Ростсельмаш» или Минсельхозмаш отнюдь не одергивали хуторских своих оппонентов. Хоть раз бы заявили на Союз, что машина обсчитана до болтика, немозгованного в ней нет, а своеволие будет наказано прекращением гарантий, — какое! Твори, выдумывай, пробуй. Комбайн разумелся как бы сырым материалом, где простор всенародному творчеству (удлиняй сепарацию, меняй ножи, звездочки, пытайся прицепной переделать в самоход). Одновременно и комбайнер признавался головой никак не проще всего головного КБ в сумме, потому что прямой комбайнерской работы конструкторы делать не могут, комбайнер же свою осень отстоит на мостике, а еще и переоборудование удумает, конструктору втык! Да об одном ли комбайне речь? Знаменитая бригада Михаила Клепикова из Усть-Лабинска любую, всякую, каждую приходящую машину и орудие переделывала на свой лад (оставив почему-то без коррективов только боковые тракторные грабли) — и всегда считалось, что это хорошо, а совсем не дико.

Все послевоенное время село подтягивало сельскохозяйственную машину к уровню своего соображения! Мой первый самоучитель в сельских проблемах, «Календарь колхозника на 1956 год», издание энциклопедическое и с картинками, приводил такую назидательную историю:

«Яркий пример борьбы за повышение производительности труда показал Герой Социалистического Труда депутат Верховного Совета СССР комбайнер Ф. В. Чабанов. Убирая овес в колхозе «1 Мая» Родинского района Алтайского края, он намолачивал вначале 30 центнеров с гектара. Заметив, что часть метелок не срезается, Ф. В. Чабанов переоборудовал режущий аппарат. Вместо пальцев он установил дополнительный нож. Намолот зерна увеличился до 34 центнеров. В поисках новых путей повышения производительности труда Чабанов применил удлиненное эксцентрикное мотовило. Намолот зерна возрос еще на 3 центнера...»

А сколько же всего было в поле? Было-то, господи, сколько? И почему Чабанов остановился в переоборудованиях — соображал бы дальше! Жгучий интерес и привел меня впервые в Кочки к Федору Васильевичу, благо до Кочек тех от целинной моей Благовещенки километров семьдесят, не больше.

Подлинная урожайность календарных овсов — загадка поныне, но при первой встрече мне было внушено, что никакая тут не производительность, а просто жалко зерно, надо что-то делать с потерями, вот и затыкаешь дыры в решете. Последовало мое ученичество у Чабанова по обширной дисциплине «почем фунт лиха», затянулось оно на десятилетия, уроки перемежались окунами, банями с венником, яблоками хозяйственной Мартыновны — даже в Москву потом она передавала терпкий «Ермак» и сушеные ранетки с чабановской усадьбы. Но тема решета и уменья из него напиток не отступила на второй план, несмотря на то, что Федор Васильевич давно на пенсии, а теперешняя его должность инспектора по использованию сельхозтехники, понятно и ему и другим, придумана из уважения к делам минувших дней. Вот и в последнее наше свидание кулундинский патриарх завел дареный «газик» и повез в «Степной», к Зеленой Дубраве, где один его подопечный ставил эксперимент с потерями. Тот был давним механизатором, имел агрономический диплом, его-то и звали Иваном Ивановичем Хитрюком.

Эксперимент был прост, как маятник Фуко. Пришли «Нивы» с новинкой — половонакопителем. Это объемистый ящик на колесах, он прицеплен к хвосту молотилки и должен сберегать хозяйству мякину. Идея полезная, а то, что завод осуществил ее через двадцать лет после того, как Усть-Лаба и ряд других районов Кубани полностью перешли на уборку с самодельными половосборщиками, можно в строку не ставить. Но почему-то у «Нивы» с прицепом хуже сыплется в бункер! Дотошный Хитрюк поставил рядом с новой «Нивой» комбайн «Сибиряк», машину Красноярского завода, и очистил их недра до бубочки. Гоны — два километра, пройты до конца один валок — убрал примерно гектар. Пришли на конец полосы — и взвешивать при понятном, то есть при инспекторе Федоре Васильевиче. «Сибиряк» высыпал 14 центнеров, «Нива» — 12 с половиной. А ведь полтора центнера «Нивы» только превосходили неизвестные нам, но несомненно наличествующие потери «Сибиряка». Сто пятьдесят кило на гектаре — как раз норма высева яровой пшеницы. Значит, модернизированная «Нива» одновременно с уборочными функциями против желания людей осуществляла как бы и посевные.

Канал потерь обнаружили старым политотдельским способом: взяли охалку половы из нового накопителя и протрусили над пакатком на ветерке. Набрался почти стакан пшеницы. Очевидно, конструкторы прошиблись в силе воздушной струи: вместе с мякиной ветродуй сдувал в тележку и зерна. Утешение, что в полове оно не пропадает, было слабым. Пока корм дойдет до ферм, зерно съедят мыши.

Что наши исследователи? Доложили об утечке прямо по команде — в Родинский райком. Секретарь Федор Михайлович Кушнарев, хозяин давний и реалистичный, ответил, что стоит, конечно, написать на завод, но отзвук скоро не жди, а вот-вот полетят белые мухи, так что включайте-ка вторую пониженную.

А вскоре районная газета напечатала схему и сообщение, как борются с новыми потерями рационализаторы соседнего колхоза «Даниловский». Федор Васильевич вник — и не одобрил. Давние его ножи-мотовила были эффективней, потому что проще, элементарней были сами машины. Хитрюк, человек на поколение моложе, выразился в том смысле, что горбатого спрямлять — только время тратить и если уж потери вбиты в саму систему на заводе, то в поле их не выковырять.

Наука приходит в село в виде машин и технологий. Сорты зерновых, как ни славны имена их создателей, суть только части технологий, а определит горизонт работы все-таки машина. Характерно, что сорта именные (фамилии Лукьяненко, Ремесла, Мамонтовой популярны не меньше, чем в летных делах имена Туполева, Ильюшина, Яковлева), а полевые машины безымянны. Дело не в скромности: комбайнам не за что славить своих создателей. Суть сегодняшнего момента, может быть, в том, что сельский умелец сам исключает себя из соперников — оппонентов конструктора и прекращает давнее соревнование.

— Мы тут можем сделать только бантики, — сказал Хитрюк.

Бантики — почти пословица. Вошли они в жизнь в Шортандах. Заместитель Бараева по науке, тоже лауреат Ленинской премии Э. Ф. Гессен не раз говорил о тех

бантиках с научных трибун и написал о них в «Комсомолке»<sup>1</sup>. Дело было так. Новейшая сеялка СЗС-2,1 снабжена автоматическими датчиками, которые должны сообщать трактористу, идет высеv или нет. Датчики капризны и часто выходят из строя в первую же смену. Один совхозный умелец на ось высеvающего аппарата привязал яркие ленточки. Крутятся бантики — порядок, нет — стоп, вылезай принимать меры. Во Всесоюзный институт зернового хозяйства совхоз обратился с бумагой — налицо рационализация, за столбите за умельцем авторские, скажем так, права. Институт отказал, узрев здесь ситуацию саркастическую: сеялка новая, а вся в тряпочках, как остяцкий бог. Но бантики обошли головной институт, были подхвачены практикой и запестрели по всей целине.

«Уберем урожай без потерь!» — формула для Сережи в прежнем, московском его состоянии. Какие-то потери будут всегда. Даже электроэнергия в проводах при переброске теряется — как же обойтись без утрат при сборе и перевозках биологической энергии? Дело в дозах потерь и причинах: последним надлежит быть уважительными. В обcчетах принимается, что норма потерь комбайнов — до пяти процентов. И это не так уж и мало: пять процентов от валовки в 200 миллионов тонн составляют 10 миллионов тонн ежегодно, тогда как в самом урожайном 1978 году суммарные закупки зерна в Белоруссии, трех республиках Закавказья и трех — Прибалтики, в Молдавии, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане составили 5,2 миллиона тонн. Но и объявленные пять процентов — идеал, никогда не достигавшийся. Такого уровня потерь как раз и чаёт общественное мнение села! Чтобы потери случались, происходили вопреки людскому желанию — по козням ненадежных стихий, а не были заложены в самом уровне техники.

Словом государственного обвинителя звучит короткая и емкая статья кустанайского механизатора, лауреата премии Ленинского комсомола Николая Ложкового, опубликованная 31 октября 1979 года «Литгазетой».

«Потери запланированы в самой конструкции комбайна, — пишет целинник. — Но потери — это не только оставшееся зерно после обмолота в поле. Это и зерно с низким качеством при запоздалой уборке. Вы думаете, я и мои товарищи хотим этого? Ни в коем случае! Это же наш труд, наш пот, почти круглосуточная работа весной и осенью. Наша работа — не физзарядка для здоровья и удовольствия. И вроде бы в нашей бригаде нет разгильдяев и транжир. Живем-то своим трудом, с рубля... А на практике получается, что мы сами себе вроде бы враги. Все-таки часть хлеба оставляем в поле.

И причиной этому то, что мы не можем работать, как надо бы, как нам хотелось бы. Когда все на ходу, работа не изматывает тебя. Намолотишь бункер 30—40 и не падаешь с ног от усталости. А устаешь от разного рода безобразий... За всю уборку не было такого дня в бригаде, чтобы из-за поломок не стояли 3—4 комбайна.

«Разного рода безобразия» автор сводит к трем позициям:

машины скверно исполнены, они так начинены неминуемыми поломками, что первой доблестью хлебороба становится не умение неделями работать по 15—18 часов в сутки, а выявление, как бы предчувствие мин, заложенных на заводе. «Нива» номер 320808 пришла к ним в совхоз с надписью: «Лучшему комбайнеру Казахстана в честь 50-летнего юбилея «Ростсельмаша». В ней был согнут вал выгрузного шнека, рычаги набивателя соломы приварены не в одной плоскости, в направляющей втулке выжимного подшипника не нарезана маслогонная резьба — целое минное поле! («Ничего себе подарочек», — иронизирует Ложковой);

возможность у завода спихнуть селу гроб с музыкой, причем убыток никак не возмещается. Два года назад совхоз приобрел трактор «К-701», и почти все это время порченый голиаф стоит, накручивая хозяйству амортизацию;

наконец, моральная устарелость даже новых машин, их несоответствие современным технологиям.

Но ни звука об условиях труда! Будто нет ни холода, ни шума, ни тряски, будто кабина «Нивы» не есть накопитель пыли, а грязная одежда, забитая остюками шевелюра молодого, по натуре щеголеватого, чепурного человека есть норма, написанная ему на роду! Вся радость — чтоб оно не ломалось, мечта — намолотить бункеров сорок, и удача дня не даст упасть от усталости. Бог знает чего тут больше — мужицкой самоотверженности, двужильности или незнания сегодняшних мерок.

<sup>1</sup> «Комсомольская правда», 16 января 1979 года («И стареет новая техника»).

— Нашим механизаторам не из чего выбирать.

Так первопричину и птичьих гнезд в двигателях, и вторичных сборок комбайнов в поле, и пыли в кабинах, и, главное, неравноправности продавца машин и их покупателя выразил человек, полярно противостоящий Сереже в деловом мире, — человек, знающий много и точно.

Николай Николаевич Смеляков, заместитель министра внешней торговли Союза, инженер, лауреат Ленинской премии, в прошлом первый секретарь Горьковского обкома партии, руководитель Амторга, широко известен своей книгой «Деловая Америка». Затем вышел объемистый публицистический том «С чего начинается Родина», а фраза-формула о невозможности выбирать — уже из новой, недавно напечатанной «Розы ветров».

Автор вводит нас в круг сложностей внешторговца: как продать нашу машину западноевропейскому фермеру, как сделать, чтобы известным плюсам не перебежали дорогу столь же явные минусы?

«Кабины к нашим тракторам, поставляемым на экспорт, мы покупаем у других стран. При этом свою родную кабину срезаем и выбрасываем, а новую, иноземную устанавливаем. Тратим валюту, материалы и труд. Даем зарабатывать капиталистам вместо того, чтобы делать современные кабины на наших заводах... Объяснение простое. Нашим механизаторам не из чего выбирать. Что касается тракторов, поставляемых за рубеж, то там наши кабины сразу резко проигрывают, ибо они не удовлетворяют современным требованиям».

«Для решения вопроса о производстве новых кабин, — рассказывает дальше автор «Розы ветров», — вначале была употреблена обычная деловая технология: письменное обращение и неоднократные личные встречи с заводскими работниками, с ответственными работниками отраслевого министерства. Все было испробовано в течение многих лет. Результат — почти нулевой. О новых кабинах и слушать почти никто из производителей не хочет...»

Какую, однако, кабину ставит Внешторг вместо срезанной минской? Иначе сказать, какой мировой стандарт условий сельскохозяйственного труда обходит молчанием — по незнанию или не желая журавля в небе — кустанайский мужественный пахарь Ложковой? Я вовсе не сопоставляю здесь журналистски виденное мною с профессиональным знанием и деловой точностью Николая Николаевича Смелякова. Просто и мне приходилось выступать в печати и по Центральному телевидению с проблематикой человека на машине, говоря о твердо уже засеченной социологами, медиками, хозяйственниками связи: чем мощней, скоростней техника, тем грозней ее воздействие на человеческий организм, тем очевиднее, что в системе «человек — машина» димитирующим становится первый, живой, фактор, тем сильней текучесть кадров, уход механизаторов старших возрастов, а они в земледелии — золотой фонд. Я посидел или поездил в кабинах всех систем, приобретенных у иностранных фирм КубНИИТИМом, бывал на Днях новой техники в Новокубанске, где хлопцы из Армавира, Курганинска и Лабинска оценивали, пробовали, щупали рычаги, сиденье, приборные машины «Кейса», «Джона Дира», «Оливера», дискутируя с колхозной прямоотой. А во время командировки в США смог плотней познакомиться с полевыми кабинами на заводах компании «Джон Дир» в Иллинойсе и на фермах Среднего Запада.

Мировые стандарты сегодняшней зерновой техники: комбайн убирает 3,2 гектара пшеницы в час (у комбайнов «Джона Дира» тринадцать различных насадок, они работают на самых разных культурах, но мы возьмем пшеницу); трактор должен вспахать 40 гектаров, засеять 120 гектаров в день. Конечно, действует конкуренция, всегдашний страх разорения, и чтобы суметь выстоять, удержаться в агробизнесе, фермер должен тратить на защиту себя самого. «КЭб» с микроклиматом есть дорогое, но признаваемое необходимым средство работать без потерь работоспособности — и, значит, с минимальными потерями урожая.

Стеклопанель кабины просторна и герметически закупорена: пыль и ость сюда не проникают, рубаха фермера после дня молотбы остается чистой. «КЭб» снабжен фреоновым кондиционером воздуха, снижающим температуру против наружной до двадцати градусов. При желании в кабине устанавливают радиотелефон, приемник, кассетный магнитофон: за стеклами достаточно тихо. Операторское кресло — подростовое, регулируемое по росту, глушащее толчки — обычно обтянуто диванной тканью: знак, что потеков масла не будет, ваша одежда не загваздает сиденье. Продуманно размещены рычаги управления, работает в основном правая рука, лежащая

на подлокотнике. В джондировской комбайновой кабине красные ручки — это движение, черные — косовица, желтые — сепарация. Усилия на рычагах такие же, как на малолитражках нашего ВАЗа.

Кабина дешерева — стоит около двух тысяч долларов. Но если учесть чудовищную на посторонний взгляд дороговизну техники вообще (новый комбайн обойдется никак не меньше 45 тысяч, а может стоить и 70—80 тысяч долларов), то агрегат защиты, выходит, «весит» не больше двадцатой части цены машины. Ампулы тишины и прохладного воздуха ставят практически на все мощные машины.

Словом, кабина максимально приближена к рабочей комнате. Производством этих «комнат» заняты особые предприятия: в конце заводского конвейера сборщики «Джона Дира» просто надевали готовый «кэб» на шасси с молотилкой. Кабинами каких именно фирм сотрудники Внешторга заменяли наши, в «Розе ветров» не сказано. Да это и не важно.

— Э-э, куда махнули!.. С облаков бы на землю. Вы Ложкового от аварий избавьте, от износа нервов — то и будет главное улучшение условий! Да и разве один Внешторг был ходатаем за механизаторов?!

Ладно — без заносов.

Десять лет Всесоюзный институт зернового хозяйства под Целиноградом устами Александра Ивановича Бараева взывает к разуму: нельзя в степях косить комбайном! Комбайн весит десять тонн, в его двигателе больше сотни «лошадей», а для косовицы достаточно легкой дешевой жатки с моторчиком в 8—10 лошадиных сил, и косовицу можно доверить подросткам, молодняку из ПТУ, тогда бы кадровые комбайнеры могли начинать молотьбу на неделю, а то и на декаду раньше! Выиграть на целинне сентябрьскую декаду часто значит спасти миллионы центнеров зерна. Отмеченное Ленинской премией внедрение почвозащитной системы дало по целинному региону, как считается, прибавку в 1,77 центнера на гектаре. А нынешние потери при уборке сплошь да рядом превышают три центнера на гектар! Что такое эти три центнера в условиях острой засушливости, как дается природой даже на один центнер, объясняет статистика Алтая. Напомню: средняя урожайность зерновых за пятнадцатилетие 1947—1961 составила 9,2 центнера, а после внушительных трат, после внедрения безотвалки за три пятилетия, 1962—1976, средний намолот поднялся до 10,2 центнера. Но дело в том, что в разгар предреволюционного освоения этих степей, в пятилетие 1905—1909, сбор по Алтаю составил те же 10,2 центнера на круг. Короче — за три-то центнера воевать стоит! Но желанную жатку на самоходном легком шасси целинны так и не увидела, ибо Минсельхозмаш сказал свое: нецелесообразно.

Все 70-е годы толчется вода в ступе: на юге почвозащитная система тормозится только и исключительно тем, что заводы вместо безотвального комплекса стойко выпускают классическую прицепную технику, перерабатывая миллионы тонн металла не в те орудия и машины, какие у них просят. Рассудку вопреки, наперекор стихиям — стоят нестигаемо!

Как десять лет назад был великан «К-700» без тележек, так и поныне технологический транспорт есть первый тормоз, и сегодня зерно, солому, навоз просто нечем возить. Что тут еще иллюстрировать, о чем спорить? В целинные хозяйства, где осенью сушка зерна часто равнозначна его спасению, десять лет не может пробиться отличная зерносушилка «Целинная» — и дело, объясняет Институт зерна, только в ведомственных амбициях.

Условившись о реализме, мы не говорим о комбайне с гибким столом хедера, когда нож копирует поверхность и выбривает в борозде; не говорим о роторных молотилках, о полевых грануляторах, на полосе превращающих люцерну в зеленые сухие кубики, не говорим о том, что успело появиться, стать экономической реальностью и уже окупить себя в разных землях-странах. Только об очевидном, несомненном, надоевшем!

«Продолжает отставать сельскохозяйственное машиностроение — отрасль, которая приобрела сейчас особое значение, — так очерчена суть в речи Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК 21 октября 1980 года. — Самые серьезные нарекания вызывают как технический уровень, так и качество многих выпускаемых машин». В новой пятилетке надо, просто необходимо, подчеркнул Л. И. Брежнев, «создать и начать выпуск такого пропашного трактора и такого зернового комбайна, которые по своим характеристикам отвечали бы самым высоким современным требованиям. Это позволило бы сделать крупный шаг вперед в повышении эффективности сельского хозяйства».



Поставлен вопрос о продовольственной программе, соединяющей воедино развитие сельского хозяйства и обслуживающей его промышленности, отраслей заготовок, хранения, транспортировки и переработки продукции,— о едином аграрно-промышленном, продовольственном комплексе как неразрывном целом. Дело не просто в поломках или гнездах под капютами — дело в ситуации, когда выгустившему машину неинтересно, чтобы она быстро и честно выработала заявленный ресурс, ему не важно, кто там и как этой машиной борется с главным врагом — засухой. Дело в отношениях, когда продавший машину всегда прав, от полевых удач-неудач независим! Дело в той отрасли науки, которая изучает и строит отношения людей в производстве,— в экономике.

«Ну почему вы работаете как подрядчики, а не как хозяева, которым каждый лишний колосок дорог!» — восклицал в «Трудной весне» герой В. В. Овечкина. Тогда, в 1953 году, суть ситуации была в том, что работнику МТС был неинтересен высокий урожай. Смыслом его усилий был условный гектар мягкой пахоты — та мнимость, что, однако, давала основание взимать с колхозов реальную натуроплату. Через пять лет техника была продана колхозам. Конец мнимостям? Да! Но уже в 60-х годах сельская мысль угадала нового «подрядчика» в том своем партнере, который стал представлять на селе всю индустрию. «Союзсельхозтехника»... Она-то по вывеске вроде бы и «сельхоз», но живет в условном климате — вне засух, морозов, бескормиц, живет не от сельских прибылей и представляет собой странный сервис: не он служит, а ему служат! Давно уже общим местом статей и выступлений стало обличение мнимостей этого сервиса, из последних примеров — публикация «Правдой» мыслей старейшего калининского колхозного председателя Е. А. Петрова:

«Если для подразделений «Сельхозтехники» главное — не результат работы колхозов и совхозов, не конечная их продукция, а выполнение плана по валу, если им выгоднее продать дорогостоящую машину, чем удовлетворить наши заявки, скажем, на свечи и двигатели, если они на основе своих показателей, которые не стыкуются с нашими, получают... премии, тринадцатую зарплату, в то время как в районе урожаи зерновых топчутся на восьми центнерах, а продуктивность животноводства падает, то это не содружество. У таких отношений другое название».

Тот же восклик («...как подрядчики, не как хозяева...»), только без беллетристики.

Почему вот только подрядчик? Разве подряд — это непременно халтура, надувательство? Н. Н. Смеляков пишет в «Розе ветров» о французском торговце, который подрядился у Внешторга продавать французским фермерам советскую технику и, естественно, обслуживать ее. Это естественно, потому что мировым законом давно стало: кто производит технику, тот и отвечает за то, «чтоб кружилось». Теперь миллионам наших людей это понятно по разветвленной системе ВАЗа. Французский подрядчик наверняка корыстен, работает ради прибыли и ей одной поклоняется, он расчетлив, сам собой являет живую ЭВМ, иначе бы не удержался в агробизнесе. Но автор книги уважительно говорит о его культуре, осведомленности, а критические его замечания о тракторах и орудиях выгодно аттестуют торговца как инженера.

«Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть+пруссский порядок железных дорог+американская техника и организация трестов+американское народное образование etc. etc. + + =  $\Sigma$  = социализм» — ленинская формула технического прогресса остается злободневной и действующей, несмотря на то, что теперь мы экспортируем электровозы, а советская система образования заставляет себя изучать.

Мы говорили: сельская мысль давным-давно засекала противоестественную зависимость подручного от главного делателя, системы агросервиса от сельской экономики. И попыток отладить дело по-здоровому было, кажется, немало. Помнится георгиевский эксперимент: в середине 60-х годов Георгиевский район Ставрополя попробовал было поставить оплату услуг «Сельхозтехники» не от числа ремонтов, а от урожаев. Увы, вмешались верхние ведомства, ибо ломалась прежняя оплата труда, и возвратились ветры на круги своя. Молдавская специализация вычленила полевую технику и работающих на ней в районные объединения по механизации. Колхозная техника передается специализированным межхозяйственным предприятиям, чьи прибыли в конце года должны возвращаться хозяйствам-пайщикам. Отношения между колхозом и объединением договорные, хозрасчетные: передается подряд на выращивание таких-то и таких-то культур, колхоз перечисляет заработанное механизаторами в район, в объединение, техника приобретаетс<sup>я</sup> советом колхозов района и распреде-

ляется поровну. Плюсы налицо: меньше стало простоев, лучше ремонты, исчезли заглашники — склады запчастей...

— Но ведь восстановлен гектар мягкой пахоты, старый эмтээсовский талон расчетов, верно? — возражает оппонент. Этот оппонент — имя ему легион — за семь лет визитов изглядел Молдавию вдоль и поперек, и минуты тоже намотаны на ус. — Значит, объединению выгодно, чтобы этих талонов, этих условных гектаров было бы все-таки больше? А колхозу? Его интерес — минимальная обработка! В идеале — так один весенний заезд на полосу, чтобы разом и семена, и удобрения, и гербициды внести, до уборки почву не трогать. Диалектика в чем? Надо, чтобы и трактор скорее выработал свой моторесурс и чтобы почву как можно меньше буравили. Хозяин и будет в этойвилке мараковать, на то он и хозяин, а подрядчик — у него план условных гектаров, ничего не напишешь...

Верно, пожалуй, тут то, что уход техники из колхоза в межхозяйственный орган не прибавил, а убавил от той сложной категории, какую зовем «наше — это мое». Не тут ли ответ, почему семилетние визиты, осмотры, посещения со всех концов страны не привели к массовому тиражированию молдавского опыта?

Агросервис, живая цепь между заводом, пунктом обслуживания и полевой бригадой, прямая зависимость «сельского кузнеца» от намолотов остается злободневной задачей экономики и культуры. Не агрикультуры — культуры просто!

«...центр тяжести теперь — это отличительная особенность аграрной политики в 80-е годы — переносится на отдачу от капиталовложений, рост продуктивности сельского хозяйства, на углубление и совершенствование его связей со всеми отраслями агропромышленного комплекса» (из Отчетного доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на XXVI съезде Коммунистической партии Советского Союза).

## V

Наука и земледелец...

Нужен ученый, про которого не стоит долго говорить, что он сделал, кто он и откуда. Если верить в науку, то нужен муж мудрый и чтимый. А рядом с ним — непременно рядом! — отыскать его ровесника, может, друга, настоящего земледельца, пусть и совсем неизвестного. Лишь бы судьбы их переплетались да было бы им что сказать друг другу, о чем-то попросить, за что-то поблагодарить.

Искал, обжигался, бывали конфузы — тоже ведь своя селекция...

Вот. Сравнительное жизнеописание Ремесла и Пошевели.

Они крестьянские сыны, оба учены на медные деньги в знаменитой некогда Масловке. Оба солдаты Сталинграда, командиры минометных батарей. Пошевелия был ранен, его увезли выживать куда-то к монгольской границе. Рана зажила, но от цинги он потерял зубы. Ремесло считает — жизнью обязан Чуйкову: не так бы держались чуйковцы, его батарею немец стер бы. Оба вторую, послефронтовую жизнь связали с хлебом, с озимой пшеницей. Тридцать три года назад оба вернулись в окрестности родимой Масловки, один как селекционер, другой как агроном. Оба давно деды, меж ними уважение и приязнь, одно время сын Пошевели работал у Ремесла, но научной зарплаты не выдержал. Как говаривает Пошевелия, «производство начинает с того, чем наука кончает».

Василий Николаевич Ремесло — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, академик, директор Института пшениц в Мироновке. Сортами его засеваются одиннадцать процентов озимого пшеничного клина мира, в Союзе они возделываются в семидесяти областях и краях. За пятнадцать лет эффект от использования мироновских сортов достиг миллиарда девятистот миллионов рублей; получено дополнительно 27 миллионов тонн хлеба.

Яков Федорович Пошевелия — агроном в колхозе села Зеленки, здесь 1200 дворов, и в этом социуме имя его значит несколько не меньше, чем в пшеничном мире имя Ремесла. Колхоз прокармливает 2300 коров (только на фермах!) и сдает по 5 тысяч тонн хлеба, он среди первых хозяйств Украины вышел за пятьдесят центнеров пшеничного намолота. Наградами агроном не обременен, но в Мироновском районе числится в «карихвехах».

В институт ездят иностранные гости. За рекордный урожай «мироновской-808» — по 109 центнеров на гектаре — из Чехословакии привезли и торжественно вручили орден Труда. Американский министр земледелия м-р Бергленд привез (до эмбарго)

в сувенир фермерскую шапочку с длинным козырьком и модель комбайна «Джон Дир», а просил семян совсем нового сорта — «двадцать пятой». Ремесло не дал. Его раздражило, что гость говорил о делах института с такой осведомленностью, будто он-то и был здесь директором. На своей ферме в прериях министр высевает «мироновскую-808» и сильно, как признался автору, поднял урожай.

К Якову Федоровичу однажды заехал заместитель министра из Киева. Неизвестно, какой именно заместитель и какого министерства, но Пошевеля теперь в спорах вставляет: «Да я это самому замминистра говорил, и думаете шо — помогло?».

Академик работает с растениями и людьми, агроном — с людьми и землей. Пути создания сортов никто не регламентирует. Методы выращивания зерна (площади, структура, культуры, сроки) у агронома расписаны в районе (области) до буквы. Ученый отчитывается только сортами, применяет явно еретические способы — хоть снимай передачу «Очевидное — невероятное». Агроном же связан по рукам и ногам...

Впрочем, нужно по порядку.

Однажды, вняв давним просьбам, Василий Николаевич повез меня под липы своей молодости — в Масловку. Это недалеко, в десятке километров от Мироновки. Пригласили и Пошевелю. Василий Николаевич был в хорошем настроении, свежий зимний день бодрил его — и рассказ потек так живо, картинно, пестро, что и для меня, человека со стороны, вдруг исчез новый белесый куб техникума, растаяла блочная пятиэтажка общежития с бельцом на балконах, аллеи векового парка избавились от пустот и шаров омелы на ветках, а поднялся усадебный дом с затейливыми кокошниками, с дымарями, ожили флигеля с профессорскими квартирами...

Первый советский селекционный вуз. Год основания — 1920. Профессора Делоне, Молостов, директор Иванов и, конечно же, самый памятный характером, статью, достоинством сивоусый Дмитрий Константинович Ларионов.

Результативность старой Масловки феноменальна. Всего семнадцать лет просуществовал вуз (пока умные головы не перенесли его в город, «к культуре», опустив Масловку до техникума), а имен дал сколько! Ф. Г. Кириченко, ленинский лауреат за степные пшеницы, П. Ф. Гаркавый с его ячменями, академик ВАСХНИЛ А. И. Пухальский... А Дидусь, Малуша, Коломиец! Главное — бездарей не выходило. Не селекционер, так семеновод прекрасный, головастый агроном, постановщик дела, трудяга — масловца по полету выдаты!

— А в чем же, Василий Николаевич, разгадка? В самом деле — прямо лицей пушкинской поры... Что же за дрожжи, знать-то надо!

— Дрожжи? А вон он подъехал, пускай объяснит.

Пошевеля прикатил на дребезжащем «газике», тот ему мал, голова упирается в брезент крыши. Поздоровался, от объяснений отказался.

В музее с увеличенного снимка футбольной команды глядел чернявый сухой вузовец с мячом.

— Хавбека играл, — уточнил Василий Николаевич. — Тогда ж еще хавбеки, форварды, голкиперы были — звучно!

— Я помню, — кивнул Пошевеля. — Мы в болельщиках были, босота, но правила знали назубок.

— Та ты ж еще малый був, — недоверчиво покосился хавбек.

— Помню, Василь Николаевич. (Пошевеля зовет одноклассника по имени-отчеству, а от местоимений — ты или вы — как-то уходит, понять нельзя.)

Тот же юноша — в струнном оркестре. И в комсомольской комнате — бюро ячейки. Фотографий агронома нет. Видно, в музей передавал снимки сам академик, а у Пошевели не просили, что ли...

— Господи, как только времени хватало! Ведь по ночам же вкалывали на мельнице, она давала помол на экспорт, гляди да гляди. Или на току, там и ужин давали. И ведь пели, пели как — ночи напролет. Ты Дмитрия Константиновича Ларионова хорошо помнишь?

— И начинается сладостная для самого повествователя история про песни, Ларионова и селекцию — я слышу ее от Ремесла не в первый раз.

Профессор Ларионов завел питомник пшениц из шести тысяч номеров, а заведующим сделал девятнадцатилетнего Василя Ремесла, наказав: «На делянки приходите в четыре. Когда хлеб зацветает — и раньше». Но хлеб цветет в пору, когда поют

соловьи, когда и луна над прудом, и липы, и лодки — все, чему положено быть в девятнадцатое лето. Короче, однажды заведующий питомником лег уже на рассвете, а вскочил в холодном поту в половине шестого и задами побежал к делянкам, надеясь, что и Дмитрий Константинович опоздает. Увы, грозный профессор был здесь уже до колен в росе.

— «Иды сюды». Бреду, думаю — ругать будет. А он не ругал, а ка-ак даст по шею! Я аж отлетел.

Пошевеля захохотал весело, залиvisto.

— Потом через минуту: «Иды сюды». «Нэ пиду». Взял за руку так, что не вырваться, повел. Думал, на кафедру снимать с питомника. Нет, к себе во флигель. Достал буханку белого хлеба, миску меда...

— Они ж все пасеки держали, все ж сами работали,— закивал Пошевеля.

— «Йишы!» — «Нэ буду!» — «Йишь, чортов сын». Подумал: а чего я, тут харч такой, а с ночи подвело. Стал есть, а он мне разнос по первое число.

— А как обижаться, он же прав,— длит удовольствие Пошевеля.

— На последнем курсе назначают дежурным директором опытного хозяйства. Ларионов зовет: «Сорняк просо забил. Перепаши, только осторожно, просо оправят-ся». Ну да, а если и всходы проса накروются — мне отвечать? «Вы мне распоряжение подпишите!»

— Ото ж по-теперешнему! — хохочет агроном.— Застраховаться.

— «За бумажку прятаться? Не будет тебе зачета!» Перепахал. Три ночи не спал, боялся. Но просо вышло доброе.

— Что и говорить, настоящая была школа,— вздыхает Пошевеля.

— Не школа — жизни! Настоящая ответственная жизнь с первого курса до диплома. Вот вы говорите,— это уже мне,— какие, мол, дрожжи. Подлинность! Все по-правдашнему, как тогдашний червонец. Дается трудно, но зато уж все получишь. И никакого разделения на него (на Пошевелю то есть) и на меня! Кто его знает, что из нас получится, но пока ты учишься — наука и практика едины.

И Василий Николаевич снова говорит о том, что тревожит, угнетает его: об отрыве исследования от производства, о разделении институтов на учебные и на НИИ. Это расчленение, считает он, бюрократично по духу своему и губельно как для практики, так и для науки. Поразмыслив, он утверждает, что порядки старой родимой Масловки приемлемы и сегодня: со второго курса студент работает с исследователем, уже свои опыты, приобретение навыков, ответственность, и к поре диплома это готовый научный сотрудник, которого переучивать для исследований вовсе не нужно. Но и для практики это зрелый человек: как-никак выросли три-четыре собственных урожая, у него связи в научном мире, про новейшие сорта ему толковать нечего, его учитель — автор их. Да и преподаватель — это не приставка для кафедры, громкоговоритель с ногами, а действующий ученый, у которого в руках — живое, тут не обманешь, не проведешь. Как индийские студенты смотрят на лидера своей генетики доктора Свамнатхана, так масловские хлопцы-вузовцы наблюдали и слушали Ковалевско-го, Еремеева, Жолткевича, авторов знаменитой «украинки». Пшеница была великолеп-ная, до сих пор помнится плакат: «Хочешь маты гарну жинку — сий пшеницю «украин-ку!» Но те селекционеры были рядом, масловский студент обращался с ними запросто.

А теперь? Хорошо если раз за все студенчество привезут хлопца из Киева к Ремеслу, и кто привезет? Тот преподаватель, что сам стоит моргает, весь вспотел, боится рот открыть. Почему он преподаватель, почему он учит?

— А он же ж диссертацию защитил! — поддает жару Пошевеля.

И приходится, если хочешь получить человека для науки, переучивать уже взрослого. А натура уже затвердела, надо ломать, чтоб срасталось заново, а годы-то уходят, молодого запала не вернешь.

Это, мы с Пошевелей понимаем, разговор про сына, про Владимира Ремесло. Выучился на агронома (селекционеров теперь не готовят), отработал свое — и только уже отцом семейства, под тридцать лет, взялся за то, что всегда тянуло, чем зани-мался отец. Институтский физиолог Юрий Порфирьевич Шалин, зодчий одесского фитотрона и создатель искусственных климатов в Мироновке, тот счастливей: сына Сашу, чистого, вежливого хлопчика, уже с четвертого курса института приростил к своим камерам, вживил в фитотрон — и баста, сынок, погулял, посаждал на пятер-ки, а теперь и за дело, кончай с дипломом да впрягайся.

Идея у Василия Николаевича давняя — возрождение масловской системы обучения на уровне современной Мироновки. Селекция уже с первого курса техникума. Потом институт, но нового (или, наоборот, старого?) вида: комбинат учебного с научно-исследовательским. Числом брать не надо, иметь бы в Мироновке один факультет с сотней отобранных хлопцев, пусть едят один хлеб с учеными, пусть видят — вон Ремесло, гляди, какой важный, его и надо побороть... Ведь хочешь ли, нет ли, а нынешние интенсивные сорта — это жатва посеянного Ларионовыми и Делоне, задел той российской науки, что и Мироновку в свой час заложила, и в 20-е годы отдала себя селянским парубкам, решившим учиться, учиться, учиться. Если речь о новом удвоении урожая, так следующему поколению селекции надо произносить цифру «двести»! «Мироновская-808» на сто центнеров вполне способна, доказано, надо только научиться кормить. А двести — это ж такой разряд энергии...

Юрий Порфирьевич Шалин — постоянный эмиссар Ремесла в колхозе Пошевели. Рассказываю, как видел Шалина растерянным и взбешенным. Идея нового института пока увязла в переписке, а кадры для фитотрона нужны сейчас. Физиолог и поехал в Киев на вербовку талантов. «Я выглядел среди них оборванцем — джинсы, кейсы, замша! Но черт со всем этим — а запросы-то? «Через сколько лет диссертация? А когда квартира? Однокомнатная? Э-э, не пойдет...» Да чтоб я еще раз поехал на такие заготовки!..»

— А куда денется, и поедет, — разводит руками Пошевели.

Но, кажется, не мне одному жалко, что снова умолкли бывшие соловьи и растаял старый дом с кокошниками. Шурша пожухлыми листьями, Ремесло и Пошевели уходят аллеей к заросшему пруду с тонким, без снега льдом, я отстаю от них, они о чем-то спорят, а потом Василий Николаевич начинает еще какую-то забавную быль — и агроном, закидывая голову, хохочет.

Обычно комендантша Оля селит меня в той комнате, где прежде, когда гостиница служила еще конторой, был кабинет Ремесла. Приученная к комфорту публика здесь обычно не заживает. Зато... Отсюда мне рукой подать до магической световой площадки. Она между прежним домиком Ремесла и пасекой, перед гаем. Лампы какого-то космического — ртутного ли, кварцевого — света пользают над кустиками хлеба. Ноябрьским вечером придешь, тьма — глаза коли, а тут полярное сияние. Утром поднимешься до света — лампюния в полном накале. И только мороз, я уже знаю, потушит иллюминацию. Ляжет зима, растения замрут — кто-то невидимый выключит лучи.

Это Василий Николаевич продлевал осенний день. Воздействие светом примерно того спектра, который нужен для переделки. Для переделки яровой в озимую. Яровейшие из яровых — «чайна спрингс», мексиканка «ред ривер» — преобразуются в пшеницы подзимнего сева. Это на грунте, никаких послаблений, снежок какой упадет — упадет... Ремесло говорит, теплицы вообще лишают растение зимостойкости. К переделкам-то академик и пристрастил сына: Владимир Васильевич, молчаливый пышноусый блондин, озимые обращает в яровые. Это левая, так сказать, часть спирали. Правая, и создавшая, собственно, славу Мироновке, переделывает яровое в озимь. Все на ощупь, в обстановке приближения к неведомому, к тайне. Василий Николаевич не раз говорил мне:

— Я не знаю... Я не знаю механизма перестройки генной структуры. Гены существуют, хромосомы мы знаем наперечет, но мы воздействуем на живое средой, в какой оно было когда-то создано, — и оно отвечает нам. Воздействуем теми же натуральными факторами, в каких определялся когда-то генотип, — светом, количеством его и качеством, теплом-холодом, не применяя губительных, плодящих уродов, — произносит Ремесло именно «уродов», — химических мутагенов. Хотите научности — напишите: фототермальный мутагенез. А что приобретаемые признаки наследуются, доказывает «мироновская — восемьсот восьмая».

Для меня магия световой площадки в том, что здесь-то диковинной, какой-то странной по солнцу и теплу осенью 1953 года из одного растения и родилась «мироновская-808». Моя бы воля, воздвиг бы здесь — на средства, скажем, от воскресника — обелиск, на котором были бы контуры Евразии и пунктами, точками от Ладоги до Малой Азии, от Оби до Тисы, Дуная означены были прописки великого сорта (применение в Новом Свете, у министра с фермой, можно оставить за бортом). Это же сколько чужого труда, таланта, терпения надо было одолеть в честном и

праведном споре, чтобы добыть такой ареал! Впрочем, вошла ли она и сегодня, «восемьсот восьмая», в назначенные экономикой границы? Поди знай: все еще расширяет Кострома, стали пробовать Швеция, Ближний Восток... Входила она в посевы с потолком под 60 центнеров. Новая вариация «мироновская-юбилейная» в Союзе показала 100,3, чехословацкий кооператив Липово снял «восемьсот восьмой» по 109 центнеров. Предел? Когда цветет вишня, цветов всегда больше, чем будет ягод; дерево сбрасывает завязь, какую явно не прокормить. Похожее с колосом. Обсчитывая с чехословацкими коллегами истоки рекорда, Василий Николаевич пришел к выводу: если помочь «восемьсот восьмой» наполнить все потенциальные зерна, возможен был бы урожай в 250 центнеров с гектара. Враг сортового ажиотажа, Ремесло в прогнозах осторожен, но эту цифру — 250 — он твердо по моей просьбе повторил перед микрофоном и кинокамерой.

Кто у «мироновской-808» отцы-матери?

Классический путь селекции — скрещивание. Во всех путных метриках после названия сорта действительно стоит крест: он соединяет мать и отца вариации. «Безостая-1» может служить пособием по географии: слияние планетарно отдаленных видов. Нобелевский лауреат Борлаут взял для своих гибридов гены карликовости у японского «норин-10». Все по канонам генетической инженерии: комбинируя количества и качества наследственного вещества, конструктор идет к идеалу.

А что и с чем скрестил Ремесло?

Ничего. Переделал довольно заурядный яровой сорт «артемовка» в зимующий. Так и во всех справочниках: «мироновская-808» выведена отбором из материала, «полученного в результате направленного изменения яровой пшеницы «артемовка» в озимую».

Но подождите, так же не бывает! Тут или недопонимание, путаница, или... или приобретенные признаки наследуются. Направленное изменение — это что же, воздействие средой? И растение слушается, изменяется, передает перемены потомкам? Ерьсь какая-то. Если у «артемовки» не было зимостойкости в ее генной программе, откуда та может взяться у «мироновской»? Каким это образом «мироновская» — вчера еще летняя «артемовка» — может заделаться эталоном морозостойчивости, выдерживать вологодские, кустанайские, барнаульские зимы?

— Этого не может быть, потому что, вы должны понять, быть этого не может.

Первым этот исчерпывающий аргумент произнес немец. Настоящий немец Ганс Дитер Кох. Он работал в институте Ремесла по одной из программ СЭВ, представляя Сельскохозяйственную академию ГДР. Он был очень организованный человек, доктор Кох, привез себе из Берлина велосипед с маленькими колесами и разъезжал по объектам, экономя время. Страдал оттого, что водопроводчик или слесарь не держат своего слова и с утра могут явиться в состоянии легкого опьянения, отчего пуск камер искусственного климата все откладывается. В такие дни я отвлекал Коха абстрактными вопросами.

— Поймите, геноссе Кох, я тоже преданно верю в классическую генетику, насколько мне позволяет мой ликбез.

— Глупости. Никакой классической или неклассической генетики нет. Есть генетика просто, — отвечал Кох, выглядывая монтера.

— Ремесло всю молодость отдал хромосомной теории. Учился у самого Карпенченко, так? Значит, его-то в теоретической неискушенности подозревать нельзя. А он смеивается и говорит: «Хены-хены... Хены é, а сортов немае!» Как совместить переделку с генетической стратегией?

— Никак. — отвечал Кох. — Нас в академии свели познакомиться со стариками селекционерами. Мы не понимали друг друга. Старики говорили об искусстве, мы — инженеры сортов.

— Но извините — при чем тут возраст? Речь о крупнейшем экономическом явлении: то, что Василий Николаевич называет переделками, увеличило зерновой потенциал СЭВ на десятки миллионов тонн зерна.

— Комизм моего положения в том, что я говорю «не может быть», а в Берлине пекут хлеб из «мироновской», — добросовестно признался Кох. — Но если у «артемовки» не было чужой крови, она морозов вынести не должна.

— У Гексли есть едкое наблюдение: великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом.

— Дайте мне сделать хороший озимый ячмень — и я буду думать над уже сделанным Василием Николаевичем, — обещал Кох. — Если до меня не разберут.

Такова была первая попытка — сразу на международном уровне. Потом лет пять, не меньше, приставал к нашим ученым — к тем, кого имею основания чтить, уважать, слушать и слушаться.

— Вы верьте, вам наговорят, — махнул рукой доктор И. А. Раппопорт, энтузиаст химического мутагенеза. — В больших котлах столько варится, что сам черт не поймет, что из чего получилось. А желаемое всучат вам за действительное.

Видный генетик, долго руководивший Одесским институтом, ныне первый вице-президент ВАСХНИЛ Алексей Алексеевич Созинов, расположенный к дискуссиям, с мировым кругозором человек:

— Мы пробовали у себя в генетическом институте получать эти переделки. Результаты настолько плачевные, что молодые сотрудники даже защититься не могли, разошлись. При соблюдении всех норм никаких озимых форм из яровой не получается! Если строго изолировать, наверняка ничего не получится. Но натурфилософские представления отошли. Мы знаем, что гены озимости есть и у яровых. Скрестив две яровые, вы можете получить зимующую пшеницу, без скрещивания — нет! Селекционный материал Василия Николаевича восхищает. Но Ремесло не дает себе труда строго изолировать... Кто спорит, существует и адаптационная наследственность. Если сеете яровые осенью из года в год, в них постепенно накапливается наследственная устойчивость к низким температурам. У Ремесла, видимо, сочетается естественная гибридизация с принудительной адаптацией.

Все-таки, значит, скрещивание. Гибридизация, разве что незамеченная. Подозрение на незаконный брак, грубовато говоря.

— Василий Николаевич, люди не могут повторить опыты с «артемовкой»!

— И я не могу, — спокойно парирует академик. — Как бы ни хотел, не могу найти повторения тех условий тепла и света, какие дала осень пятьдесят третьего, исключительно сухая, солнечная и поздняя осень. В природе эти условия могут возникнуть, допустим, раз в сто лет — надо ж их уловить, нацеленно использовать. Не думайте, это достаточно трудный метод, так дути гнут. Если б не мое упрямство, ничего б мне не добиться. Но метод есть! Озимую «мироновскую» снова повернули в яровую, получили сорт с потенциалом под пятьдесят центнеров — Башкирия его самовывозом берет, прямо из рук выхватывает...

Аргумент насчет потаенной гибридизации, незаконного, так сказать, брака, Юрий Петрович Шалин отбивает убедительным (для негенетика-дилетанта, ибо я таковым и являюсь) показом: вот камеры искусственного климата, холодильники под лампами, тут зерно взошло, здесь, в одиночке, выколосилось, здесь яровое преобразилось в озимь — какая еще чистота опыта нужна? Если «чайна спрингс», насквозь яровой китайский сорт из вировских коллекций, стал зимующим — какие нужны доказательства?

Тогда я берусь раскладывать так. Вот Моргун Федор Трофимович, известный агроном, кандидат наук, первый секретарь Полтавского обкома, внедрил в области безотвальную пахоту. Новость? Еще бы. Через ВАСХНИЛ он собирает всесоюзный семинар: вот наше дело, вот цели, средства, результаты — вникните и дайте свой просвещенный приговор. Может, отрицательные факторы мы не учли, может, чем-то потом аукнется, а может — и всем украинским черноземам пора вот так уже жить, без глыб, без дикой траты горючего. Собираются, вникают — факт практики обретает научную жизнь.

Но разве степенью оригинальности, экономической отдачей мионовские переделки уступят безотвальной пахоте? Что пахоте! Разве инженерно-генетический, борлауговский и прочий пшеничный мир достиг в век зеленой революции чего-то равного по простоте и эффективности? Где еще так прибыльно «гнут дути»? Генетика сильна, могуча, с заумью покончено — кому же бояться жупелов? Не годится воздействие средой, страшно наследование приобретенных признаков — пускай идет фототермальный мутагенез, разве в ярыке суть? Миллионы же тонн налицо!

И не резонно ли после этого предположить, что наука первой в мире пшеничной державы с приглашением иностранных членов Сельхозакадемии собирается на столько-то дней в институте южнее Киева, принимает к сведению откровенный тезис Василия Николаевича «я не знаю механизма перестройки геной структуры», смотрит, вникает и выносит свой суд? Ибо негоже пользоваться фактами, не признавая их.

Ибо сельскому хозяйству нужны революционизирующие идеи, а разгадка переделок очень даже может дать толчки именно такого рода. Школа, книги, спецкурс в селекции — метод-то есть!

Но пусть и не так. Пусть будут «чудеса с разоблачениями» — и «восемьсот восьмая» на третьем десятке лет жизни получит только строгое научное свидетельство о рождении. Разве и этого она не заслужила? К лицу ли науке о наследственности боятся каких бы то ни было недоумений, даже подобно «мироновской-808» распространявшихся на миллионы гектаров?

— Хорошо, а кто, по-вашему, должен затевать такой хурал? — вопросом же отвечает Василий Николаевич. И перечисляет фамилии тех (одна звучней другой в научном мире), кого он никак не может назвать к себе — не едут!.. И, усмехаясь, вспоминает совет ему Павла Пантелеймоновича Лукьяненко: держать у себя всего на любой вкус, чтоб кто бы ни приехал — нашел привычное.

А пока при всех камерах, солнечных лампах, мировых контактах старый мастер использует древнейший путь сохранения искусства: от отца к сыну. Владимир Васильевич Ремесло, не терзаясь теориями, впитывает умение гнуть потаенные дуги пшениц. И пока институт в Мироновке под Киевом, вполне свободный в методах селекции, беспечный в сохранении того, как именно сотворены шедевры, занят доказательствами того, что его озимые пшеницы могут... зимовать. Здесь, на Украине. Скажем, у Пошевели.

Казалось бы, что, кому доказывать? Прибалтика и Белоруссия озимый клин на 95 процентов засевают мироновскими сортами. «Восемьсот восьмая» возделывается, и все шире, в Костроме, у Ладоги — вообще Федерация (сутобо добровольно!) отводит под мироновские сорта 46 процентов озимого поля. И алтайские, казахстанские зимы выносят «детки» Василия Николаевича, лишь бы снежный покров.

Откуда же такое вымерзание на Украине? С освоением интенсивных сортов, с расширением озимого сева по республике до 10—10,5 миллиона гектаров гибель пшениц от осени к весне стала крайне накладным зимним вариантом засухи. Год 1972 — пропало четыре миллиона озимей, 1976-й — без девяти гектаров пять миллионов, и если Кировоград, Полтава, Харьков как-то убавляют долю погибших, то Винница, Одесса, Закарпатье подняли процент пересева за двадцать лет вдвое. Если тенденция эта сохранится, то, считал Ю. П. Шаалин, к 90-м годам средней потерей станет 3,3 миллиона гектаров озимей. Каким бы ни оказалось лето, пересев на больших площадях уже сделает год плохим, как бы засушливым. Во-первых, самые урожайные яровые сорта минимум на тонну с гектара уступают в намолате озимым пшеницам (в 1978 году Киевская область сняла на круг по 38,5 центнера озимых и по 29 — мироновской яровой). Плюс к этому три центнера пропавших семян, да горючее, труд, да износ техники... На селекции нравственный ответ за громадные убытки. Конечно, спрос с Василия Николаевича вовсе не так прям, как с его друга, авиационного конструктора Антонова. Выезжать на место беды и расследовать ее причины автор сорта вовсе не обязан, тем более что, если уж до расследований, на месте всегда есть участок Госсортсети, где сортовая агротехника соблюдается и гибели озимей практически не бывает. Здоровое растение «восемьсот восьмой» способно выносить на узле кущения (внизу, под снегом) мороз в 18—19 градусов, то есть в зиму без каких-то арктических стуж гибели посевов вообще быть не должно. В действительности «зимняя засуха» все вредоноснее, и институт вынужден драться.

Шедевры Ремесла не то чтобы обогнали время. Нет, они подняли идеал озимого сбора до 80—100 центнеров как раз в ту пору, когда интенсивное земледелие Западной Европы развило продуктивность пшеницы до пяти тонн с гектара (средний намолот в 1978 году в Англии — 52, в ФРГ — 50, во Франции — 49,4 центнера с гектара). Но сорта Василия Николаевича многому устроили ревизию, переоценку — и выявили множество «не так». Отстали и техника (комбайны), и агротехника, и агрохимия. Новые вариации созданы для хороших условий, для хорошей работы и не приспособлены к плохим! Если условия и работа скверные, сорт проявит себя гораздо хуже, чем неприхотливые аборигены. Ледачего он разорвет — вот в чем гвоздь!

А ведь именно ледачий (если понимать под этим техническую немощь, разболтанность, равнодушное исполнение команд) сильнее всех подвержен сортовому ажиотажу, склонен жар-птицей сверхновой вариации перекрывать свои провалы. Не нужно никакого колдовства, чтобы лишить сорт-шедевр его богатства. Достаточно



третий год подряд посеять пшеницу по пшенице — и каюк зимостойкости, вымерзнет! Достаточно протянуть с севом до поры, когда поле освободится от зерновой кукурузы, — считай, что ты впустую выбросил семена.

Новые сорта Ремесла есть лакмус для «дикта».

— Дикт, — поясняет Василий Николаевич лично им изобретенный термин, — это такое дело: я тебе буду диктовать, а ты будешь делать. Но отвечать потом будешь ты, а не я! Агроном делается мальчиком на побегушках. Ради того дополнительного плана, черт ему рад, командуют сеять и когда грачи улетели. И идут те тысячи гектаров, не накормленные, неокрепшие, почти на верную гибель, на милость зимы. Потом говорят — притертая ледяная корка, выпревание, вымокание. Какая там корка, то дикт.

До сортов Ремесла не бывало и не могло быть, чтобы в один год, в одной области, по одной культуре оказывалась трехкратная разница в сборах. И вот Киевская область, урожай озимых в 1978 году: Иванковский район — 18,3, Бородянский — 25,3, Мироновский — 50,3 центнера с гектара. Люди словно живут в разных пшеничных веках! Но это видимые миру центнеры, а вот потери, какие еще вполне сойдут за «резерв». Во всех рекомендациях Минсельхоза говорится, что две трети азота нужно вносить под пшеницы с осени и треть весной. Мироновка в соседнем колхозе ставит — грамотно, с повторениями — опыт: те же 90 кило действующего азота, что тут досталось на озимый гектар, разделены иначе, две трети удобрений растения получили весной, при выходе в трубку и колошении. Намолот оказался 82,9 центнера, прибавка против контроля почти в 12 центнеров, причем получено добавочно 3 центнера протенина, весь хлеб зачтен сильным: 33 процента клейковины! Значит, мы совсем не так кормим. Тратим весь порох на создание зеленой фабрики, а когда растение ее выстроит — ему нечего дать...

— А мы с Пошевелей получили минусовый урожай, — вставляет свой парадокс Шалин. — По минус три центнера на трехстах гектарах!

— Это еще каким образом?

— Да вымерзло! Я ему говорил: «Ни черта не выйдет, вывали ты эти девятьсот центнеров семян в овраг, спокойней будет». Морозы? Нормальный сев дал в то лето по пятьдесят четыре центнера по колхозу в среднем. Дополнительный план! И я ж при сем присутствовал...

Тут время переключать из Мироновки в село Зеленьки, на сторону чистого земледельца.

Пошевеля еще руководит, но уже не командует. Он находится как раз на той ступеньке лестницы, до которой директива, команда, приказ — и как еще назвать необсуждаемое и обязательное задание? — доходят, а ниже не срабатывают.

Уборка. Молотят горох — дым коромыслом. А лето такое, что подошли уже и серые хлеба, вот-вот начнут убирать и пшеницу. С ночи в мозгу агронома сидит закоса: определить под крышу семенной горох. Горох этот во второй бригаде, а склад в третьей. Сложность не меньшая, чем Узбекистану поручить производство семян сорго для Заволжья. Минсельхоз Союза задачу эту поныне не осилил.

Беда в том, что перед хозяйкой тока в третьей бригаде Пошевеля еще с прошлого года сильно виноват. Тогда завезли такой же горох — и бросили на ее попечение. Пошли дожди, все были на свекле, вороха залило, и втаскивать сотни центнеров под крышу, расстилать, сушить, неделями не зная покоя, пришлось той Галине с тремя пенсионерками. Пошевеля чувствовал себя кукушкой, подкинувшей зловерного птенца, он боялся показаться жинке на глаза, хотя в душе был благодарен за выручку.

И вот новая уборка. Горох надо прятать сегодня, а как?

— Галю, золотко, — прямо из «газика» агроном ступает в распахнутый чистый склад, — иды сюды. Тут така справа...

Галя — румяная, опрятно повязанная жинка в застиранном, но глаженном халате. Из-под платка видны седые прядки, отчего смешанное ощущение свежести и возраста, как от портретов Екатерины Второй. Она настороженно входит с солнца в прохладный зев.

— Сюда будем сыпать горох со второй бригады, — быстро выговаривает Пошевеля самое трудное.

— Ни, нэ будэм, — в сторону отвечает Галя. — Я крашче уйду.

Отставка реальна. Галин «чоловик» заведует фермой, сама она на свекле без мороки заработает больше, чем на току.

Пошевеля говорит, что сыпать некуда, хоть зарежь. Семена же, их надо в сухое, Галя «розумна людына», верно?

— Нэ будэ, Яков Хвэдорович, годи,— с холодным спокойствием отвечает «розумна людына».— Шчо я, каторжна? В то лито вы мэни робыв «дило», нэ вышло, так ще раз? Шукайте дурных, я домá сяду.

Тогда пусть Галя скажет, как ему, Пошевеле, быть. Пусть укажет выход.

— У вас он яка голова здорова. Свий хлеб — пид дощц, а чужий — у комору? Нэ будэ.

— Какой же он чужой, все колхозное. Сейчас такие сухие семена, красота. Будем сыпать, Галя, а?

— Ни. Уйду. Вы мэне знаете.

Дело практически проиграно. Суть ведь не так в крыше, как в Галином догляде, а в нем-то и отказ. Человеческого контакта не возникло, а виниться сейчас за прошлогоднее — только масла подливать. Старый агроном глубоко вздыхает, крикает — и вдруг ловит Галину руку и, метко попав, шлепает своей ладонью в знак договора.

— Ни! — вырывает руку хозяйка, но уже чуточку со смешком, потому что настырный Яков Федорович снова ловит ее ладонь, хлопая правой своей лопатой.

Эти ладушки, дяся, растапливают лед.

— Галя!

— Ни!

— Золотко, цаца ты моя!

— Ни, нэ будэ!

— Пленку дамо!

— Пленку! На чорта та пленка. Був бы брезент, плашив шить.

Ой промах, ой брешь в обороне! Пошевеля не прозевал: он будто уже сказал завхозу, чтоб отдать Галине весь брезент из резерва.

Нет, уходит она на исходный рубеж, хватит ее к тюрьме тащить, свое будет под дождем, а чужое — и т. д.

Зато ячмень Гале везти не будут! Ни бубочки, Галя! Только горох, сухой да чистенький!.. Тут фальшь: ячмень сюда не повезут не зато, а потому, что тут хранится овес, нельзя смешивать два хлеба. Горох от овса отделить — пустяки, а ячмень — беда. Фальшивый купон, однако, не замечен, и сопротивление слабеет. Галина только вслух ругает себя, что с утра не рассыпала по всему полу овес, «комора» была бы занята...

— Та шчо ж робыць, ты кажи, Галя?

Пожимает плечами. «Ой ты, Галя, Галя молодая...»

Можно записать этот разговор синхронно, один к одному, но никаким записям не доступны охи, вздохи, гримасы рослого каленого дядьки, ловля руки, заискивающие «Галя», которые в сумме (ведь уже седой, уважаемый и, в общем-то, крутой человек так просит) не могут не растопить отходчивое сердце жинки. Еще минута-другая натиска — и Пошевеля бьет по рукам уже взаправду, он доволен, его кряканье и восклицания на прощанье подлинно веселы, и смуглая хозяйка уже смеется белозубо над парубковой ловкостью Якова Хвэдоровича и своей жиньчьею уступчивостью — горох поселен!

Пошевеля понимает, что акция красочна и для него, организатора, выигрышна. За рулем он говорит о своих отношениях внутри колхоза. Я же, раскладывая, думаю, что решение его, во-первых, не было немотивированным. Он просил другую сторону предложить любой иной выход. Пусть не так — как иначе? Вот все мои хозяйственные карты — ходи! Альтернативы не нашлось. Затем он материально подкрепил свою пропозицию, гарантировав брезент (аргумент с ячменем в зачет брать нельзя). Наконец, игра в ладушки имела тот реальный смысл, что старую вину виноватый сознает, просто вслух сейчас говорить о том поздно, а они были и будут друзьями.

Иногда же не нужно никакого решения: только правильно себя вести.

Весна. Сечут свеклу. Сроки уходят, а зазимки, в поле души не нагреешь. Третий раз с утра заходит снежная туча, сечет. Тетки — засыпальщицы семян и удобрений — на краю полосы закутаны-замотаны, перемерзли, бранятся: ну что б тому начальству обождать неделю!.. Сиро, тоскливо человеку в голом, без затишка поле — снег и пыль.

Тут же в мохнатой шапке Пошевели, уши заткнуты ватой, лицо каленое, витийствует:

— Та не лайтеся вы на природу, природа вас зробыла! Вона старше вас и, мабудь, умніше. Не ругайтеся! Доцц, сніг — усє то гарно, на хліб.

Никто заметного внимания громыханью старого не придает, да и он ответа не требует. Советует какому-то Ивану, костистому и черному, пойти занять у Ганны ее ватные штаны — «воны теплице», а Ганна та завелась насчет каких-то мешков, они «свои». «Знаєшь, Ганно, що у тєбє твое? И то я Алєшке скажу, вин тобі голову отвєрнє» — и далее в этом же духе.

Промучились до обеда, на полевом стане разносит миски с дымящимся борщом девочка — наверно, пятиклассница.

— Ульяно! Ой, Ульяно, ты виешь борщ варыть, мы тєбє замуж видамо.

— Ага, завтра, — на ходу отрезает Ульяна.

— Ну, колы сьогонди нєма часу, так завтра, — кивает Пошевели.

...Пока едешь из Киева, и Триполье с его «культурой» (третье или четвертое тысячелетие до...?) просинеет горами слева, и жестокая река Стугна нагадает «Слово о полку», и петлистая Рось блеснет, напоминая, что из нее извлекали название россос, России, ибо ушербно казалось именоваться каким-то варяжским племенным именем. И до того проникнешься в тесноте «Икаруса» чувством старого-старого дома, что ловишь себя на желании вслух и подробно рассказывать тетке с мешком меж колен, что вот тут, за Стугной, тянулись граничные валы, что половцы поставили стяги свои и налегали на Святопола, потом наступили на князя Владимира и битва была лютая. И победил Владимир с юным братом Ростиславом к Стугне переправляться вброд, и стал молоденький князь Ростислав тонуть на глазах у Владимира. Хотел старший спасти, но едва не утонул сам, с малой частью рати бежал на левый берег Днепра, а юношу скрыла река навеки. Плакала мать по красному князю Ростиславу, деревья от печали приклонились к земле, а половцы пустились по земле воюючи...

И слушали бы, гарантия! И не был бы ни оборван, ни обруган. Что ж, едет какой-то чужак, рассказывает из старых книжек — а может, он экскурсовод?

Все смыто за восемь веков, вырублено и десять раз снова засажено, в Стугне только в разливе найдешь место с головкой, изменился язык (Нестора и здесь надо переводить), само племенное имя полян унесли воды... Остался памятником один характер.

Уживчивый и общительный, он зато есть истинно материальная сила, и я видел, как он помогает Пошевели в сфере внешних сношений.

Как и всякий путный колхоз, Зеленки сначала сдадут свой фураж в заготовки, а потом везут его назад — по удвоенной цене. Даже не удвоенной. Себестоимость центнера фуража для колхоза около трешницы, туда (на элеватор) отвезут по пять двадцать, оттуда — по тринадцать рублей. И не только берут охотно, а всегда драчка за комбикорм. Колхоз, собирающий по пять с лишним тонн пшеницы с гектара и продающий по пять с гаком тысяч тонн зерна в год, вечно нуждается в концентратах и живет с подвоза. Хозяйство расходует в год около трех тысяч тонн фуражного зерна, примерно по восемь тонн в сутки. Считается, что с элеватора назад везут уже концентрата, то есть измельченное, сбалансированное по белку, микроэлементам и т. д. питание, которое потому стоит дороже, что отдача от него гораздо выше, чем от цельного зерна. Но фактически только в лучшем случае, при удаче, колхозу достается то самое цельное зерно, какое он вывозил, а то, гляди, наградят шелухой, легковесной дрянью, в которой кормовых единиц «чорт ма». Транспортные расходы в счет не идут, деньги тоже, но вот что перебои в кормлении круто взвинчивают затраты на единицу фермской продукции (мяса, молока или яиц), это всем понятно и надоело... Нужна эта практика только для того, чтобы в пору заготовок колхоз (район) выглядел пристойно: вон сколько хлеба продано государству! Что это не хлеб, а фураж, то есть такие же оборотные фонды, как горючее, электроэнергия и т. д., никогда не призаётся. Однако об этой практике мне приходится писать уже двадцать лет, переписывать старые книжки совместно, а нового прибавить не могу.

Так вот, Пошевели как заместитель председателя колхоза едет в Мироновку, в заготовзерно — занаряжен фураж. С ним отправляюсь и я — интересно. Но к самой операции меня не допускают. Жаал в «газике», соскучился, продрог — пошел искать. В конторе агронома не видели. Только за дальним, к путям, складом услышал его

речитатив, хохот — шло кумовское общение с каким-то носатым дядькой. Тот оказался скромным завскладом. Я стал издали слушать.

Речь шла о проблеме проблем — о мясе. Пошевеля внушал мироновскому аборигену, что ему, агроному, вовсе незачем идти в магазин узнавать, есть ли в продаже мясо. Зачем ходить, куда? Все ведь оттого, сколько они в колхозе дадут зерна на заработанный рубль. Давали по килограмму — двору хватало на двух кабанов, один шел на продажу, и в потребсоюзе на прилавках была свинина (лучшее по украинским понятиям мясо). Обрезали до четырехсот граммов на рубль — выходит один кабан, его всего в банки да в погреб. Шестьсот граммов выдадут — только говядина (при коммерческих ценах) покажется, а вернут килограмм — пойдет и свинина, «то як дважды два».

— Так давайте ж по килу, шо вы там — подурилы? — волнуется и негодует районный потребитель.

— Да я самому замминистра казав, и шо — помогло? — разводит руками Пошевеля.

Выяснилось, что завскладом конфиденциально просил качок, уток к празднику. В итоге агроном добыл не шелуху, не отруби, а цельный ячмень, остатки которого завскладом и выписал. «Колхида» уже загружалась, за качками надлежало приехать тогда-то и туда-то. Еще обнаружилось на обратной дороге, что абориген не только не кум Пошевеле, а даже знакомым не был, а вот оказался какой хороший человек.

Чем больше у людей денег, тем сильнее тяга просто к зерну. Это валюта колхоза во внешних его акциях, и никакие дипломатии старого Пошевели не срабатывают, когда приходится нанимать люд со стороны. Давай хлеб — пойдем! И дают, заставляя нужна. Свеклы колхозу доводят в план почти 1200 гектаров, и на свою тяпку, на оставшуюся колхозницу приходилось бы по десять, даже по четырнадцать (в дальних бригадах) гектаров. Яснее — прорывка ушла в июнь, свеклы не взять. Из гербицидов у Пошевели («котовьи слезы» бетонала всерьез считать не приходится) в ходу два: «сапазин», от сапы, тяпки, и «примазан» — от принципа материальной заинтересованности. Едут в города, особенно в Канев, и набирают рабсилу с расплатой в тот же день: кило хлеба, рубль денег, полкило сахара за прорванную сотку. Старательная горожанка той же ночью везет домой полмешка пшеницы. Дорого, разорительно даже, свои недовольны, но только так колхоз может пока держать урожайность корней в 320 центнеров. Нанимают и мужиков из Ровно скирдовать солому — тоже за зерно. Откуда хозяйство берет хлеб для расчета — вопрос деликатный, расспрашивать Пошевелю бестактно.

У главного агронома пятеро поддужных, молодых в основном специалистов. Если бы все шло так, как требует район, эти люди не работали бы, а не разгибаясь писая. Очередной запрос, представить нужно в Мироновку завтра к трем (потому что в районе комиссия из Киева): сколько посеяно кукурузы на зерно по основному плану, потом по пересевам озимей, потом переведено из силосной? Состояние посевов по каждой группе — густота насаждений в тысячах растений на гектар, засоренность сильная, средняя, слабая: проведено междурядных обработок, проведено подкормок, обработано гербицидами, в том числе в фазе трех — пяти листков... И все это еще раз отдельно — по участкам гибридизации! Обехать, сосчитать, поднять наряды — ужас...

— Сколько же времени уйдет на такую справку?

— Неделя. Или десять минут. Ведь любой показатель — потолочный, проверить нельзя. И не надо. Дело это внутреннее. Они хотят доказать, что кукуруза не вызревает по нашей вине. Что в план ее вбивают правильно, а у нас не оттуда руки растут.

Одновременно агрономам нужно составить (машинистке перепечатать, нарочно доставить) поименный список состава свекловодческих (при каневских-то поденщицах!) оргмероприятий по повышению урожайности озимой пшеницы и еще три сводки.

— Но этот дзот я взял на себя, — смеется Пошевеля. — Мои не пишут.

Как район и область все-таки получают, и вовремя, требуемые материалы, что из них извлекают — тоже тайна. Но получают, потому что Яков Федорович, напомним, числится в корифеях. По-мироновски — «у карихвеех». Молодые отделены от писания еще и потому, что плохо знают, какие ответы от них хотят. Пошевеля с районной викагоде не спорит и отвечает именно так, как нужно.

Если бы «карихвеех» пытали про то, что действительно мучит его и поглощает силы, он бы отчитывался двумя графами: навоз и водка. Первый — вывезти, вторую — вывести.

Войну водке объявил новый председатель колхоза Александр Петрович Близнюк. Вникнув после районной службы в сегодняшнюю обстановку Зеленок, Близнюк заключил, что в колхозе пьют, вопрос уже стоит — кто кого. Пьют — значит, пьют во время работы. Свадьбы, проводы в армию, пасха, Октябрьская — то своим чередом, а пить последнее время стали прямо в cabinaх грузовика, трактора или летучки — безразлично. Близнюк сказал, что это как рак, нужна операция, иначе все поползет, метастазы задушат. Как активна торговля с ее товаром номер один, так должны быть беспощадны и неумолимы партком и правление.

Пошевели и радовался этой священной войне и боялся ее. Что поползет — это точно, уже и бабы пьют, из всех запросов водка — самый удовлетворенный. Но смотря как затянуть гайку, а то сорвешь резьбу.

Сорок четыре колхозника были лишены премиальной оплаты за один только год — пьянство во время работы! Сорок четыре семьи были остро задеты — потеряны кровные сотни. Выпито в посевную, а штрафуют девять месяцев спустя! Жалобы в прокуратуру, скрип зубонный, бабьи слезы — самому Пошевели этого не выдержать бы. В Доме культуры вывесили списки наказанных за пьянство. Подумать только: взрослая дочка пришла с девчатами, сын одноклассницу в кино позвал, а тут родной батюка на стене позора!

Навоз в поля — НТР Пошевели, его охрана окружающей среды, его интенсификация и все такое прочее. Черноземы от века не кормились; коровяком, сформованным в кирпичи, люди топили хаты, Казбеки перегноя у ферм зарастали лебедой. Но при страшенном нынешнем выносе элементов питания, когда едешь на одних минеральных «добривах», ни о каком балансе в почвах думать уже нельзя. Если Ремесло говорит о таланте, чтобы получать по пятьдесят центнеров его пшеницы, то талант Пошевели и выразился в самостоятельном и быстром переходе к возвращению перегноя, к кормлению почв. Ремесло дал сорта, агроном внес органику — вот откуда 54,8 центнера пшеницы на круг. При полном нуле паров воткнуть в поле в куцый зазор между уборкой одного и севом другого пять — семь тысяч тонн органики, запахать, разделить — почти искусство. Удержат в пик работ на вывозке навоза даже один тяжелый трактор — смертельный номер. Пошевели держит отряд из семи машин. Начинали с пяти, с десяти тысяч тонн «гною» в год, довели теперь до восьмидесяти, замах на сто тысяч тонн. На фермах 2300 коров, у Пошевели просят машину навоза на огород.

— Який господар гний раздае! — картинно разводит руками Пошевели, объясняя отказ.

Стало острым дефицитом топливо, каждую тонну добытого угля делят на правлении, впору возвращаться к печенежскому коровяку — один Пошевели против: это ж как хлебом топить, вы шо!

За годы его работы в колхозе урожайность пшениц утроена. Конечно, тут заем у чернозема — единственного национального природного запаса села Зеленьки. Оздоровление почв Пошевели поставлено наново, практически с нуля. Вынос азота (заем у почвы) прекращен. Если к неминусовому и. увы. близкому дню ухода агроном-сталинградцев оставит наследникам процент гумуса таким же, каким принял его тут после войны, будет подвиг. Никакими съюдками не отраженный подвиг господара, хозяина.

Это все вниз. А вверх начинается «дикт».

— Я тоби дадакну! — прикрикнул на Пошевелю Юрий Дмитриевич, районный уполномоченный (уполномоченный).

Яков Федорович на какое-то его указание отвечал, как обычно, насмешливо — дескать, а как же, да-да, — а представитель построился:

— Я тоби дадакну!

Уполномоченный и моложе Пошевели и признает за ним ранг «карихвея», но обрезал, цыкнул, потому что тут, считается, не грубость, вообще не личные отношения, а производственная дисциплина. Дисциплина доходит до Пошевели в цифрах, чего и сколько ему сеять. Не в задании, сколько чего продать, а именно как и чем занимать землю. Это сильнее всего расстраивает Якова Федоровича как человека и работника.

— Мне б сказали: сдай пять тысяч тонн, и все. Как добудешь — дело твое. Я ж тут четвертый десяток, чему-то ж жизнь научила? Нет. Рукава мои, а руки в них чужие.

Исходная позиция в том, что Зеленьки должны давать больше, чем дают, а как это сделать — лучше видно району, то есть уполномоченному, области, Минсельхозу,

за которыми наука, интенсивность и знание потребностей. План и обозначает на бумаге этот прирост. Есть, допустим, шесть, а надо, чтоб вышло семь.

Но если слагаемых (площадей, урожайности, химикатов и пр.) на шесть единиц, то семь на конец пятилетки ты никак не выведешь: и следующий завотделом удивится натяжке и внизу колхоз воспротивится. Тогда вводится в уравнение некая темная величина —  $x$ .

$$2+2+2+x=7!$$

Икс в случае с Пошевелей — гибридная кукуруза. Она в Европе — венгерской Баболне или в югославских госхозах — дает под сто центнеров. Шалин, уповноваженный при Пошевеле от Василия Николаевича, то есть непосредственно от науки, говорит, что в лесостепи Украины эти сто центнеров можно называть только на съездах филологов или гинекологов. Верно, по пятьдесят центнеров в початках она иногда давала, но нужно сбросить четверть на влажность, потом нужны руки, чтобы прополоть кукурузу и развернуть каждый початок, нужно высушить зерно, а чем? Фактически те 350 гектаров гибридной кукурузы (позднеспелой, требующей много солнца), что Пошевеле доведены планом, три года подряд не дали колхозу ни зерна: не вызрело! Район Мироновский занимал кукурузой 3100 гектаров — и тоже нигде, ни в одном хозяйстве, не получал способного храниться зерна.

Значит, величина  $x$  не подтянула шестерку к семерке. Наоборот, кукуруза, культура поздняя, смешала Пошевеле сложный расклад севооборотов, и ему пришлось сеять озимь по озими три года подряд. Три! А даже вторичный посев пшеницы по пшенице есть ущемление агротехники. Всеми руководствами принято, что в лесостепи УССР озимая пшеница идет после занятого (однолетними или многолетними травами) пара, гороха на зерно и пропашных, позволяющих оптимальный срок сева озими. Тройная пшеница по пшенице привела к вымерзанию, что для Пошевели позор: ни у кого из 1200 хозяев на усадьбах не погибло, а у главного агронома — пересев! А если и не пересев, то сроки бедной вдовы приводят к урожаю в пятнадцать центнеров, что тоже для Якова Федоровича стыд и поношение. Колхоз благодаря связям с Ремеслом быстро перешел на «ильчиковку», а этот сорт еще заметнее реагирует на предшественника: даже второй посев по озими дает сильный недобор. Таким образом, введение  $x$  фактически ущемило реальные, нетемные слагаемые: даже шестерку надо чем-то вытягивать.

Если бы спор шел на равных, как у Пошевели с Галиной («А что ты предлагаешь?»), то агроном поставила бы вместо темного  $x$  горох. Тридцать центнеров гороха получить можно наверняка, а это прекрасное подспорье фермам, белковый корм, и азотная добавка в почву, и — едва ли не главное — отличный предшественник пшенице. Но тридцать центнеров гороха понизят сверстанную на конец пятилетки цифру, стоящую на венгерском-югославском сборе, и в плане твердо остается не горох, а кукурузный гибрид со всеми его последствиями.

Отвыкнув горячиться и спорить в районе («То молодых дело, а я взял папку и пошел»), Пошевеля, однако, предложил было новому председателю:

— Давай, Александр Николаевич, отчитаемся за кукурузу, а влупим гороха!

Но председатель ответил, что опасно, пока не знает, лучше еще потерпим.

Далее. Озими Ремесла здесь действительно самые высокие потенциалом зерновые культуры, и взят курс на расширение их посева. Дополнительный план! Формула начинает выглядеть так:

$$2,5+2+2+x=7 \text{ с возможным гаком!}$$

Но структура не растягивается, в плохих условиях, напомним, мироновские сорта проявляют себя хуже, чем стародавние, и двести — триста гектаров внеагрономического засева приводят к тому выбросу семян в овраг, о котором говорил Шалин. По закону сохранения энергии формула должна была бы обрести такой вид:

$$2,5+1,5+2+x...$$

Если не обретаешь, если валовой сбор колхоза растет, а коров что ни год им прибавляют на сотню голов и стадо держится, то это потому, что колхоз, то есть Пошевеля, и Близнак, и Галина, и тракторист из «навозного отряда», подставляет свои слагаемые, всегда реальные: Это органика, которая «растягивает» поля, это неафишируемое повышение оплаты комбайнерам («Накинули по пятнадцать копеек за гектар, по два центнера хлеба — и не заглядывай, аж гай шумит!»), это та же война с пьянкой — план этого не отражает, но сборы выдаются.

Шел бы спор без «дикта», как у Пошевели на току, агроном предложил бы зерновой клин расширять не озимой, а яровой пшеницей — теми сортами Ремесла, за которыми охотятся башкиры. Конечно, потенциал яровой явно уступает озими, но была бы — если по свекловищу — отличная, сильная, прибавкой за клейковину можно восполнить денежный недобор. Опять за рыбу гроши: в плане не доведешь на яровую той урожайности, что на озимы!

Впрочем, скрывать резервы гораздо безопаснее, чем вскрывать, этому еще раз научила история с просом. Пошевели показал урожай в 75 центнеров! Тянул он долго, не сеял, пока не сделал трех культиваций, и сеял — небывалое! — свекловичной сеялкой: широкие рядки.. Просяное поле (я видел его молодым, до метелок) лоснилось на солнце, как спина породистой телки. А затем в колхозе провели районный семинар, одобрили инициативу — и специализировали на просе! При многолетних связях с институтом Ремесла, при стаде в 2300 коров и 1200 гектарах свеклы новая тебе специализация: воткнули в план 180 гектаров проса. А пшеница по просу никак не идет. Старый агроном сам подставил ножку сортам своего однокашника — еще один ералаш в плодосмене!

Юрий Порфирьевич Шалин («дуже грамотна людына», по аттестации Пошевели) предостерег от гербицидов: просо они, допустим, очистят, но как потом сеять злаковые? Яд разлагается медленно. А Юрий Дмитриевич, постоянный уповноваженный, теперь торопит специализированного: сей быстрее, сводку яровых держишь...

— Тоже грамотный человек, — вздыхает Пошевели, — так не от него же зависит.

С этим Юрием Дмитриевичем мы однажды ездили в уборку не по уборочным делам (доставали наконечники на рулевые тяги его «уазика», всегдашний дефицит), и он поделился давним своим желанием: уйти агрономом в совхоз! Бросить центнеры бумаг, какими у него забиты шкафы и тумбы стола, оставить вечные свары с хозяйствами, принять совхоз, лет пять положить на отладку земледелия (короче не выйдет) — и покатится оно потом как по маслу до самой пенсии.

Он не только понимает, что дополнительный план на озимь Пошевеле доводить не нужно и вредно, а и меры — доступные по рангу и своему характеру — принимал, чтоб не добавлять. Послал в область план размещения и показал, что тысяча гектаров у него не размещается. (Интересное слово. Будто те гектары не мнимости, не цифры просто, а что-то натуральное, вроде даже люди, которых надо расселить по квартирам, разместить.) Тут и ему сказали — «я тебе дадакну!». Не этими, понятно, словами, но достаточно строго: «А у нас там производственная дисциплина есть? Вы зачем там у нас сидите?» И напоследок, чтоб кончить по-хорошему, его куратор пообещал: «Раскидайте ту тысячу — мы вам тогда добавлять не будем». Совсем как Пошевели с ячменем.

Он не только досадует, что три с гаком тысячи гибридной кукурузы смешали району пшеничные его карты, но и уговаривал самого Ремесла протестовать перед тем замом министра. И Василий Николаевич говорил даже с людьми рангом выше, приводил статистику, факты — одно только разведение руками и вздыхание в ответ.

Короче говоря, уповноваженный при Пошевеле понимает, что не так, а делает. Василий Николаевич называет эту ситуацию «у мэнь ж диты». Есть дети, нет детей, внуки уже женятся — не важно: речь о самобережении и о плети против обуха. Такое видано-перевидано — дойти бы до верующего в «дикт»! Чтоб спускал указивку — и знал, что облагодетельствовал, подписывал бы — и дышал взволнованно. Найти такого — и дойти до слоя, за который он сам уважает себя.

Не знаю, повезло ли мне сказочно, как Василию Николаевичу в невозвратную осень, или еще раз провели на мякине, но в Минсельхозе на Крещатике я одного такого человека увидел.

Застал я его писавшим. Рослый и худой, с лицом застаревшего курильщика, но уже не куривший (после болезни, подумалось, или после операции), он выглядел нездорово, краше в гроб кладут, но работал азартно. Видимо, получалось, шло из-под пера и ему не хотелось прерываться.

Досады Пошевели я ему выложил и передал одно: не станет «дикта» — старый хлебобоб обещает сразу же 60 центнеров пшеницы на круг. Чудес не будет, но шесть тонн при всем теперешнем гарантирует.

Фамилию моего приятеля он слышал впервые. Тактично записал координаты и сказал:

— Жаль, что я не побеседовал с этим.. Пошевелей. Я бы в один день выстроил ему севооборот, и ему бы понравилось. Да он бы сам у меня предложил бы структуру, и все бы улеглось.— И мягко улыбнулся.

Прямо как Иешуа у Булгакова: жаль, что не поговорил с Марком Крысобоем!

И вдруг стал страстно, торопясь перелагать мне смысл своего писания. Он, оказавшись, нашел хозяйство, где разводят свиней и где 15 процентов пашни хватает крупному рогатому скоту на весь прокорм. Людям доводит 16 — и плачут, эти уложились в 15 — и довольны, представляете?

Этот, больше не куривший, горел и верил. Он спешил составить рекомендации, которые издадут отдельной брошюрой. Эта брошюра осветит путь Пошевеле и тысячам других, блуждающих в хозяйственной мгле. Азарт водил его пером, и три импульса давали силу: чудо, тайна, авторитет.

И еще радостно поделился он открытием. В курсе я баталий вокруг чистых паров? Так вот, новейшие данные: каштановые почвы влаги удерживают в метровом слое самую ерунду — миллиметров 140, не больше. А выпадает? Ну, скажем, 450. Значит, остальная влага... Совершенно верно — стекает, теряется! Так как же можно при этом ратовать за пары? Потеря, растрата, транжирство — надо довести это до низов, а времени так мало и так мало целиком отдающихся делу людей...

Что эти ерундовые сто сорок миллиметров и есть влага для всходов, ложка к обеду, ресурсы жизни, каких вот не хватает и его организму, я, зараженный энтузиазмом, тоже забыл. Счастливец, он со своей верой в брошюру гораздо цельнее и скептического Ремесла, и его оруженосца из Зеленок, вместе взятых. Горнее парение его имеет целью чистый процент, и гравитация съестного, харчей, грубой пищи над ним не имеет власти. Пока он горячится и пишет, никакие защитные декреты Пошевелю в полях не спасут.

Одно только скверно: я дал ему координаты агронома...

Автору никогда не следует слишком восторгаться своим героем. Надо верить.

Я знаю, Ремесло в чем-нибудь не прав и чего-то недоделал. Мне писать об этом — то же, что девятикласснику в сочинении поправлять и журить Льва Толстого.

Виднее в натуре, в заросших левадами Зеленьках, что бы мог лучше делать Пошевеля. Пахать, останавливая сток, поперек склонов; помогать людям на усадьбах — бабе Хоменчихе навозом, Петру Герасимовичу косилкой, аптекарше Гале наставлением... И тут, однако, не до оценки: человек своего времени, он показал, каким бы оно, это время, могло быть всюду.

В один из летних приездов я предложил им сняться на память. Умелый, понимающий оператор, новая кинокамера, остатки цветной пленки «Кодак» — авось в глубинах Останкина ролик пролежит столько, сколько будет нужно.

Вышли за яр, засаженный после войны и уже ставший гаем.

— Тут столько наших было побито... Конницы. В сорок первом,— сказал Василий Николаевич.— Я приехал — дождями еще могилы размывало.

— Да и танков хватало,— сказал Яков Федорович.— Хлопцы таскали запчасти.

Оператора для обзора подняли вышкой, а они пошли над яром, словно над купами кленов и верб, по зеленой дороге, где шинами была протерта только колея, а срединный хребет затянуло густым спорышем. Они уходили, мирно беседуя, и уже стало скрывать их картофельной ботвой институтских огородов, потом вошли в пшеницу не оглядываясь, как было договорено. Помаячили над колосьями две седые головы — и все, только волны на море пшеницы.

Сжалось сердце! Ведь эпоха... Такая ли, иная — жили люди, держали народ, копали страну — Наука сего времени и Земледелец моих дней. Второй раз их путь проходить не придется, но и им его не повторить.

Стало не по себе, я бросился следом.



# НА ЗАРУБИЕЖИИИ ТЕМЫ

АЛЕКСЕЙ АВДЕЕВ



## СЛОВО О ДРУЖБЕ

**Н**овая яркая страница вписана в историю нерушимой дружбы советского и монгольского народов. Прекрасный звездный час наступил и для братской Монголии: коммунист Жугдэрдэмидийн Гуррагча пополнил интернациональную семью космонавтов социалистических стран. Совершив полет на советском космическом корабле вместе с советским космическим экипажем, он стал сто первым космонавтом в мире. «Этот полет,— сказал в своем заявлении перед стартом монгольский космонавт-исследователь,— знаменательное событие для нашей страны, за короткий исторический срок прошедшей путь от феодализма к социализму, яркий пример торжества ленинской дружбы монгольского и советского народов».

Гордость и восхищение в нашей стране, в народной Монголии вызвали сообщения об этом историческом событии. «Миллионы людей в наших странах воспринимают ваш космический рейс, дорогие друзья, как яркое событие, которое навеки войдет в летопись развития и упрочения советско-монгольской дружбы»,— писали товарищи Л. И. Брежнев и Ю. Цеденбал в своем сердечном приветствии международному экипажу орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6» — «Союз Т-4» — «Союз-39» космонавтам Коваленку, Савиных, Джанибекову и Гуррагче.

Нынешний год особенно урожайный выдающимися событиями в жизни братской страны. Исполнилось шестьдесят лет Монгольской народно-революционной партии — боевому авангарду народа. В июле страна торжественно отмечает 60-летие народной революции, открывшей новую эпоху в своей истории, эпоху строительства общества, свободного от всякого угнетения и эксплуатации человека человеком. А перед этим в стране состоялся XVIII съезд Монгольской народно-революционной партии, определивший задачи дальнейшего развития материально-технической базы социализма в МНР.

Недавно, в горячие дни подготовки к этим славным событиям, мне посчастливилось снова побывать у монгольских друзей. И всюду — на предприятиях и стройках Улан-Батора, Дархана, у скотоводов далекой Южной Гоби, в научных учреждениях и общественных организациях,— всюду были одни общие заботы: достойно встретить знаменательные дни. Строя новую жизнь, готовясь к новым свершениям, люди с законной гордостью оглядываются и на пройденный путь. Освещенный великим Октябрем, он позволил Монголии вырваться из пут средневековой отсталости, создать собственную развитую промышленность, сельское хозяйство, до космических высот поднять национальную науку.

Драгоценный советский опыт в созидании нового общества — это путеводная звезда для партии, для всего трудового народа Монголии. Этими заветными думами, мыслями не раз делились со мной монгольские друзья.

...Однажды на традиционных Надамских торжествах, ежегодно происходящих в столице республики в честь очередной годовщины Народной революции, произошел такой случай. Председатель Президиума Великого народного хурала МНР вручал подарки победителям в конных скачках. К правительственной трибуне верхом на горячем трехлетнем жеребчике, взявшем одно из первых мест, подъехал загорелый кареглазый мальчик лет семи-восьми.

— Как тебя зовут? — спросил президент, готовясь вручить юному наезднику отрез ярко зеленого шелка.

— Орос,— заодно ответил мальчуган.

— Россия, Русский,— перевел мне один из сидевших рядом монгольских журналистов.

— Хорошее имя у тебя, сынок,— сказал президент и, улыбнувшись в пушистые усы, погладил мальчика по голове.

А мой сосед по трибуне рассказывал:

— Наши араты теперь очень часто дают своим детям русские имена. Они верят, что их ребенок, носящий русское имя, всегда будет здоровым, сильным, счастливым всю его жизнь.

...Русский брат! Именно так во многих местах Монголии с горячей любовью и глубоким уважением называют советского человека. Монгольский народ вкладывает в эти идущие от сердца слова глубокий смысл, особенно полно и ярко характеризующий всю силу и красоту дружбы наших народов. Недаром в любой аратской юрте, в любом уголке страны советский человек — самый дорогой гость.

И поныне многие в Монголии с великим уважением вспоминают имя Иннокентия Асинкритовича Сороковикова, одного из непосредственных участников революционных событий в стране, первого курьера дружбы от монгольских революционеров в советскую Россию, чтут имена других русских революционеров. Вспомним хотя бы кратко предысторию этих событий. В 1919 году с приходом в Сибирь колчаковщины столица Монголии Урга (ныне Улан-Батор) становится местом пребывания многих наших партийных и советских работников, эмигрировавших сюда в период колчаковской реакции. Чтобы избежать мобилизации в армию Колчака, пробрался сюда и И. А. Сороковиков, народный учитель из Бурятии, окончивший Иркутское военное училище. В Урге с 1920 года он стал работать бухгалтером кооператива. Из числа русских эмигрантов в Урге было создано несколько революционных групп, деятельность которых направлял и координировал ревком во главе с коммунистом В. Н. Чойвановым. В этой работе активно участвует и И. А. Сороковиков как член ревкома.

Под воздействием революционных событий в России в Урге создаются монгольские нелегальные революционные кружки Сухэ-Батора и Чойбалсана, и ревком налаживает прочные связи с ними.

Вскоре, в апреле 1920 года, по просьбе монгольских товарищей и по поручению своего ревкома Сороковиков приезжает в Иркутск, к тому времени очищенный от колчаковщины. Он передает представителям советской власти послание монгольских революционеров об установлении связей и оказании им помощи, рассказывает об обстановке в Монголии. В июле он возвращается в Ургу с вестью о приглашении делегатов монгольских революционных организаций в советскую Россию. А вскоре после победы народной революции в Монголии И. А. Сороковиков по приглашению Сухэ-Батора несколько лет проработал в штабе Монгольской народно-революционной армии. Вся его последующая жизнь в Иркутске, педагогическая деятельность также были тесно связаны с народной Монголией, с подготовкой кадров для ее народного хозяйства. Известна крупная его работа — «Аратская революция», написанная в содружестве с иркутским литератором профессором Г. Ф. Кунгуровым. Добрую оценку деятельности И. А. Сороковикова как «мужественного борца Народной революции в Монголии» дает товарищ Ю. Цеденбал: «Очень ценны его воспоминания о связи и влиянии русских большевиков на монгольских революционеров. Из его воспоминаний перед нами рельефно встают эпизоды героической борьбы русских людей за счастье монгольского народа»<sup>1</sup>.

А на территории Монголии продолжали свирепствовать китайские империалисты, казаки барона Унгерна и другие банды белогвардейцев, бежавших из советской России.

В это трудное время собрались на свой первый съезд монгольские революционеры. Он состоялся в приграничной Кяхте. Была организационно оформлена народно-революционная партия, образовано Временное народное правительство. В стране разгоралась партизанская война против иноземных поработителей. Отсюда, из Кяхты, Сухэ-Батор повел свои отряды на священную борьбу за свободу и счастье родной земли. Для окончательного разгрома многочисленных и хорошо вооруженных войск Унгерна и других захватчиков собственных сил у создаваемой Монгольской народно-революционной армии было явно недостаточно. Была одна надежда — на советскую Россию. 10 апреля 1921 года Временное народное правительство Монголии обратилось к дружественному Советскому правительству с просьбой о вооруженной помощи для совместной борьбы с белогвардейскими бандами Унгерна. Советское правительство тут же

<sup>1</sup> «Новости Монголии», 29 мая 1971 года.

согласилось оказать помощь угнетенному трудовому монгольскому аратству в его освободительной борьбе.

Исключительное значение для дальнейшего развития революции в стране имела историческая встреча и беседа В. И. Ленина осенью 1921 года с монгольской делегацией, в состав которой входил и вождь монгольской революции Д. Сухэ-Батор. В. И. Ленин говорил тогда, что единственно правильным путем для трудящихся Монголии является борьба за государственную и хозяйственную независимость в союзе с рабочими и крестьянами советской России. Отеческие советы Владимира Ильича легли в основу всей деятельности Монгольской народно-революционной партии, ее генеральной линии. И лучшим памятником благодарного народа великому вождю и другу является великолепный музей Владимира Ильича Ленина, открытый в Улан-Баторе. Мне довелось недавно побывать в нем, увидеть здесь людей из самых отдаленных аймаков страны — скотоводов, инженеров, учителей, пионеров и ревсомольцев... Поистине народная тропа проложена в этот светлый белокаменный дом в центре столицы.

Плечом к плечу с цириками Монгольской народно-революционной армии сражались за свободу Монголии красные кавалеристы, пехотинцы. На стенах Государственного музея революции в Улан-Баторе фотографии командира 35-й дивизии К. А. Неймана, других советских военачальников, участников героических событий тех славных лет. Командиром одного из полков этой дивизии был будущий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. А одним из первых партизанских отрядов командовал широко известный в Сибири П. Е. Щетинкин. Именно его отряду монгольские партизаны передали захваченного ими кровавого барона Унгерна, расстрелянного затем по приговору Сибирского ревтрибунала.

В составе советских воинских частей, участвовавших в 1921 году вместе с монгольскими народными войсками в освободительном походе на столицу Монголии Ургу, шел молодой энергичный монгол Ю. Лодой с русской фамилией Юндунов. Вспомнишь об этом факте и думаешь, как удивительно переплетаются людские судьбы. А было так.

В десять с небольшим лет мальчик был определен в ламаистский монастырь — у бедняка отца не было иного выхода, семья голодала. Не выдержав каждодневной зубрежки непонятных тибетских текстов, издевательств, унижений, побоев, Лодой бежал из монастыря. Вскоре где-то в степи он встретился с бурятом торговцем Бадмаевым. Смышленный мальчик понравился Бадмаеву, и он вскоре усыновил его и увез на родину, в небольшое местечко недалеко от Читы. Здесь Лодой сдружился с русскими и бурятскими ребятами, быстро овладел русским языком. Здесь же началась дружба, которую Лодой пронес через всю свою жизнь, дружба с русским мальчиком Петром.

Незадолго до Октябрьской революции семья Бадмаевых переехала в Петроград, где Лодой получил паспорт на имя русского подданного Лодоя Юндунова. Вскоре его призвали в армию. В ночь на 25 октября 1917 года в полку Юндунова было неспокойно. Революционно настроенные солдаты создали свой штаб, большевики звали на последний и решительный бой за власть Советов. В числе многих солдат полка, устремившихся к Зимнему, был и Лодой Юндунов. Здесь-то и произошла последняя встреча Лодоя со своим недавним командиром офицером Васильевым, стрелявшим теперь в их сторону.

Наутро Лодоя вызвали в революционный штаб. Там он снова встретился с другом детства Петром. Командир, вызвавший Лодоя, сказал ему: «Вы, товарищ Юндунов, храбро сражались за власть Советов. Назначаем вас командиром отряда». Радости простого монгольского парня не было границ. Тут же находился и Петр. Он также поздравил молодого командира, а уж потом они дали волю воспоминаниям.

В 1921 году вместе с частями Красной Армии, пришедшими на помощь народной Монголии, Лодой возвратился на родину и участвовал в ее освобождении от иностранных поработителей.

Пришла мирная, свободная жизнь, и Лодой поселился в далеком от столицы Гобь-алтайском аймаке, стал работать на урточной (почтовой) станции. Однажды, уже в 40-х годах, он прослышал, что на ближайшей станции Цаган-олам остановился проездом советский генерал Петр Попов. «Не мой ли Петр?» — подумал Лодой и тут же вскочил на коня. Конечно, это и был тот самый Петр, Петр Иванович Попов.. Радостной была встреча давних друзей, им было что рассказать друг другу о прожитых годах.

Вскоре об участнике Октябрьской социалистической революции в России и Монгольской народной революции от генерала Попова узнал маршал Чойбалсан. Позже

Х. Чойбалсан и сам встретился с Лодоем. Родина высоко оценила революционные заслуги Ю. Лодоя, он был награжден орденом Боевого Красного Знамени МНР.

Рассказ об этой последней встрече советского генерала со своим монгольским другом я услышал и от самого П. И. Попова.

Среди овеянных славой боевых знамен, хранящихся в Центральном музее Советских Вооруженных Сил в Москве, есть одно, история которого особенно дорога и памятна для советского и монгольского народов. Это знамя было подарено в 1924 году историческим III съездом Монгольской народно-революционной партии воинам Сибирской 5-й армии, героически сражавшимся за освобождение Монголии от китайских интервентов и белогвардейских банд. Знамя было вручено в ноябре 1924 года председателю Реввоенсовета СССР, народному комиссару по военным и морским делам Михаилу Васильевичу Фрунзе делегацией МНР во главе с военным министром, Героем МНР Хатан-Батором Магсаржавом. Сохранился и снимок. М. В. Фрунзе держит только что принятое от Магсаржава алое знамя, на котором золотой вязью вышито: «Героическим воинам Сибирской 5-й армии, принесшим свободу и независимость угнетенным арадам далекой Монголии».

В самые трудные для новой, народной Монголии времена советские люди всегда с величайшей готовностью приходили на помощь дружественному монгольскому народу. Всем памятны тревожные годы, когда японские милитаристы, захватив Маньчжурию и стремясь расширить агрессию, особенно против Советского Союза, устраивали многочисленные провокации и на границах Монгольской Народной Республики. Правящие круги Японии ставили далеко идущие цели. Захватить Монголию, ликвидировать свободу и независимость монгольского народа и на широком фронте выйти к границам Советского Союза для последующей вооруженной агрессии против Страны Советов. И тогда на весь мир прозвучало предупреждение Советского государства о том, что если Япония решится напасть на Монгольскую Народную Республику, покушаясь на ее независимость, нам придется помочь Монгольской Народной Республике.

Зарвавшаяся японская военщина не прислушалась к столь серьезному предупреждению. В начале мая 1939 года вооруженные до зубов японские войска вторглись на территорию народной Монголии в районе реки Халхин-Гол. Это была заранее подготовленная в соответствии с секретным планом «Б» война. Она составляла важную часть стратегической политики Японии, имеющей целью удущить в союзе со своими фашистскими партнерами мировое коммунистическое движение и его надежную опору — СССР, установить свое господство на азиатском континенте. В горячие боевые дни в районе Халхин-Гола агрессорам был преподан особенно предметный урок. Советские люди, советские воины снова пришли на помощь монгольским братьям.

«30 августа 1939 года, — вспоминает Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовавший в то время Первой армейской группировкой советских войск в МНР, — 6-я японская армия, вторгшаяся в пределы Монгольской Народной Республики, была полностью уничтожена. Посещая части наших войск, товарищ Х. Чойбалсан сердечно благодарил воинов за то, что советские войска своей кровью подтвердили верность взятым на себя обязательствам. Сокрушительный отпор советских и монгольских войск, небывалый разгром отборных сил целой японской армии заставил тогдашние японские правящие круги пересмотреть свои взгляды на могущество и боеспособность Советских Вооруженных Сил, особенно на моральную стойкость советских воинов»<sup>2</sup>.

Рожденная в огне революционных боев славная дружба наших народов еще сильнее закалилась и окрепла в суровые годы совместной борьбы с общими врагами, в творческом созидательном труде, в строительстве новой жизни.

Я всегда с радостью наблюдал, как монгольские товарищи, будь это в простой юрте скотовода, в квартире рабочего, ученого, государственного деятеля, литератора — именно везде с горячим чувством гордости и удовлетворения воспринимали каждую новую весть об успехах Советского Союза в хозяйстве, культуре, во всех областях жизни. Мне за многие годы работы в МНР посчастливилось видеть, радоваться, как наши монгольские братья с энтузиазмом преобразуют лицо родной земли. Умножают стада скота, строят новые города и села, водят поезда и комбайны, добывают уголь, нефть и благородные металлы, торжественно и радостно встречают в родном доме детей.

<sup>2</sup> Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М. Изд. Агентства печати Новости 1969, стр. 169.

увенчанных дипломами своего Монгольского университета или советских высших учебных заведений, настойчиво учатся сами. И каждый из нас, советских людей, будь то на монгольской земле, на берегах Амура или Байкала, в Москве или Ленинграде, всюду, где бы он ни жил, от чистого сердца радуется замечательным успехам, достигнутым братским народом. Радуемся и гордимся еще и потому, что здесь есть доля и нашего общего труда. Немало советских людей — инженеров, геологов, строителей, механизаторов сельского хозяйства, ученых — трудились и трудятся в солнечной Монголии, отдавая братскому народу весь жар своих сердец, знания и опыт. Недаром в Монголии с величайшим уважением и признательностью произносят имена многих советских людей. Они заслужили эту любовь и уважение беззаветной преданностью общему делу.

Павел Николаевич Шастин. Кто в народной Монголии не знает имени этого русского врача-хирурга, организатора первой в Улан-Баторе общедоступной больницы, первым начавшего применение в стране научной европейской медицины. Удивительно чуткий, отзывчивый человек, опытный врач, беспредельно преданный своему святому делу, Шастин был настоящим бойцом за здоровье трудящихся. Это по его инициативе были направлены в Монголию экспедиции советских врачей для широкого медицинского обследования населения и ликвидации инфекционных заболеваний. Потребовались многие годы напряженного труда, великого подвига, чтобы достичь цели. Шастин с удовлетворением убеждался, что научная современная медицина все больше завоевывала ведущее место в стране. Уже не пугали детей именем бородатого русского доктора, не подстерегали его темной ночью в глухих закоулках. Его все больше любили и уважали. Полтора десятка лет проработал доктор Шастин в народной Монголии, взрастил, воспитал массу учеников. Много людей обязаны ему жизнью. За свой самоотверженный труд П. Н. Шастин был удостоен ордена Трудового Красного Знамени МНР. Прошли годы, но и до сих пор слова «доктор Шастин» означают для монгола символ бескорыстия, чуткости и отзывчивости, доброты советских людей.

В республике начала создаваться своя, отечественная промышленность, и Советский Союз снова помог монгольскому народу построить и оборудовать современной техникой перенец этой промышленности, крупнейшее в то время предприятие — Улан-Баторский промкомбинат имени Чойбалсана, создать и оборудовать другие многочисленные предприятия республики. А советские братья, советские инструкторы — инженеры и техники, передовые рабочие, вооруженные замечательным опытом социалистического строительства, явились хорошими учителями молодого рабочего класса новой Монголии.

В стране растет число типографий, все больше и больше издается газет, журналов и книг на родном языке, расцветает народное искусство, наполненное новым, революционным содержанием, растут кадры научных работников, писателей, композиторов — и здесь также всюду и везде видна дружеская помощь советских людей, благотворное влияние передовой советской культуры.

Помню, как в день пятнадцатой годовщины со дня смерти великого писателя-гуманиста Алексея Максимовича Горького монгольская общественность, весь монгольский народ вновь с великой благодарностью и признательностью произносили имя Горького. Для монгольского народа Горький не только великий и любимый писатель, но и близкий друг, советчик. Своими мудрыми советами он направлял развитие новой, революционной монгольской литературы. В ответном письме монгольским писателям он подчеркивал необходимость и значение борьбы революционной интеллигенции страны против той идеологии пассивности, которую прививал монгольскому народу в течение долгих веков буддизм. Горький говорил монгольским писателям о том, что наиболее полезна была бы вашему народу проповедь принципа активности, напряжения мысли, стремящейся к действительной свободе, а не к свободе бездействия.

Говорят: друг познается в беде. Дружба советского и монгольского народов выдержала суровое испытание и еще более окрепла и закалилась в годы второй мировой войны. Монгольский народ всегда глубоко верил в полную и окончательную победу своего друга над гитлеровскими захватчиками и оказывал Советской Армии посильную материальную помощь. Монгольские араты за годы войны от чистого сердца собрали и отправили воинам Советской Армии различных подарков на 65 миллионов тугриков. На добровольно собранные средства монгольских трудящихся была построена танковая

колонна «Революционная Монголия», которая с боями прошла путь от Подмоскovie до Берлина. Построенная тем же образом авиаэскадрилья «Монгольский арат» начала боевые действия на украинской земле и завершила их в районе столицы Чехословакии города Праги. Монгольский народ принял на себя обеспечение этих воинских формирований до конца Великой Отечественной войны.

Сотни вагонов подарков... Вспомним, что в те суровые годы еще не было на свете современной Трансмонгольской железнодорожной магистрали. Через пустыни и бескрайние степи, через высокие горы к пограничным советским перевалочным пунктам направлялись бесчисленные караваны нагруженных верблюдов. В зной и буран, в трескучий мороз шли отважные караванчики с поводом в руках, а за ними с высоко поднятой головой мерно шагали безотказные корабли пустыни. Спасибо, поклон земной всем им, отважным покорителям пространств.

Несколько делегаций трудящихся Монгольской Народной Республики побывало у советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны. В морозном декабре 1942 года на Западный фронт прибыла делегация тружеников братской Монголии во главе с маршалом Чойбалсаном. Четыре эшелона подарков доставили тогда монгольские братья нашим фронтовикам. Более 30 тысяч пар валенок, по столько же полушубков и меховых жилетов, массу других теплых вещей и армейского снаряжения. В их сборе активно участвовали все жители Монголии — скотоводы, рабочие, служащие, школьники.

В окопах, на артиллерийских позициях, в танковых экипажах — всюду в частях 50-й армии с большим подъемом было воспринято открытое письмо трудящихся Монгольской Народной Республики бойцам, командирам и политработникам действующей Красной Армии. «Мы поручаем нашей делегации, — писали труженики народной Монголии, — передать вам, героическим бойцам армии-освободительницы, горячий братский привет, идущий из глубины наших сердец. Монгольский народ... с первых ее дней знает Красную Армию как свою защитницу и освободительницу... Пусть же эти подарки будут выражением нашей горячей любви и братской заботы о вас — славных защитниках свободы и независимости».

Лучшим воинам, героически проявившим себя в боях с фашистскими захватчиками, посланцы братского народа вручили ордена и медали МНР. Маршал Чойбалсан и другие члены делегации вели дружеские беседы с фронтовиками. На гвардейской зенитной батарее, когда делегаты стали вручать подарки бойцам, маршал Чойбалсан подошел к ефрейтору Полякову и тепло сказал:

— От всего сердца вручаю тебе этот меховой жилет. Его сшила моя жена. носи на здоровье и вспоминай друзей.

Маршал Монголии и простой русский солдат по-братски обнялись и крепко расцеловались.

Всегда хороши, крепки любовь, дружба, когда они взаимны, бескорытны. Даже в самые трудные годы войны, когда советский народ отдавал все силы великому делу разгрома врага, Советский Союз также продолжал оказывать всемерную помощь братскому монгольскому народу. Именно в эти годы при помощи Советского Союза в Улан-Баторе был построен и прекрасно оборудован первый во всей истории государства Монгольский государственный университет. Именно в годы войны в столице МНР также при помощи Советского Союза было построено крупнейшее предприятие пищевой промышленности Монголии — мяскокомбинат, оборудованный передовой советской техникой.

Потом пришла пора расчетов с агрессором на Востоке — с империалистической Японией, и монгольский народ без малейших колебаний вступил в справедливую войну со своим злейшим врагом.

Новым замечательным подтверждением традиционной, исторически сложившейся дружбы советского и монгольского народов в послевоенные годы стали Договор о дружбе и взаимопомощи между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой и Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между обеими странами, подписанные в Москве 27 февраля 1946 года. И, наконец, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный 15 января 1966 года в Улан-Баторе во время визита советской партийно-правительственной делегации во главе с Леонидом Ильичом Брежневым.

Договор 1966 года открыл новый этап советско-монгольского сотрудничества, стал базой для дальнейшего расцвета дружбы двух народов. Он надежно служит развитию

хозяйственных связей между Советским Союзом и МНР в интересах мира и добрососедства в Азии, обеспечивает непрерывность рубежей народной Монголии.

...В горах Северной Монголии недалеко от реки Орхон лежит камень, на котором сама мать природа изобразила руку человека. По этому поводу в музее города Сухэ-Батора, расположенного на берегах Орхона, можно услышать такую легенду. В 1921 году, поднимая народ на восстание за свободу и независимость, по этим местам проезжал Сухэ-Батор. Увидев чудесное изваяние, Сухэ-Батор остановился около камня и сказал сопровождавшим его арадам: «Посмотрите, эта рука протянута с севера. Это рука русского друга, скоро он придет к нам на помощь».

Сбылись эти вещие слова! И ныне самое популярное слово в Монгольской Народной Республике — «найрамдал», «дружба». Оно полно и убедительно выражает общность судеб двух братских народов, их неразрывную связь, их общий путь вперед.

«В бою — в одном экипаже, в труде — в одной бригаде» — эти слова Первого секретаря ЦК МНРП, Председателя Президиума Великого народного хурала МНР Ю. Цеденбала как нельзя лучше характеризуют отношения братской дружбы и тесного сотрудничества монгольского и советского народов. Их замечательные плоды ощущаются повседневно в большом и малом, везде и всюду. Так, только в минувшей пятилетке (1976—1980) с технико-экономической помощью Советского Союза в МНР воздвигнуто более 240 промышленных, сельскохозяйственных, жилищных и культурно-бытовых объектов, осуществлено множество комплексных мероприятий. А тот факт, что за последние годы около 60 процентов строительно-монтажных работ выполняется советскими строительными организациями, говорит об их решающей роли в деле реализации в Монголии обширной программы строительства. Недавно в Улан-Баторе я увидел несколько кварталов новых великолепных многоэтажных жилых домов, поистине украшающих столицу. Это был позвонный подарок советских строителей труженикам братской столицы. Другим не менее ярким примером стал досрочный ввод в эксплуатацию трех очередей крупнейшего на континенте медно-молибденового комбината «Эрдэнэт». По подсчетам специалистов после полного завершения строительства этого гиганта экономики МНР повышение материального благосостояния и культуры монгольского народа получит новый, ранее небывалый толчок в своем развитии.

По сути дела, сегодня в Монголии нет ни одной отрасли народного хозяйства и культуры, где не ощущались бы плоды щедрой и бескорыстной советской помощи.

«Успехи народной Монголии имеют большое и принципиальное значение для мирового социализма. Ваш опыт, — говорил Л. И. Брежнев на митинге советско-монгольской дружбы в Улан-Баторе 15 января 1966 года, — подтвердил на практике ленинское предвидение о возможности перехода к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Он доказывает, что в наше время завоевавшая независимость страна, каков бы ни был уровень ее экономического развития, может стать на путь социализма и, опираясь на поддержку дружественных социалистических государств, успешно может строить новую жизнь»<sup>3</sup>.

Большой и славный путь прошла рожденная революцией братская народная Монголия. Светлы и ясны ее перспективы, ее будущее, ибо светел и ясен ее путь — путь к социализму, по которому уверенно идут страна, народ под руководством своей народно-революционной партии — партии монгольских коммунистов.

«Заверяем вас, дорогие наши советские братья и сестры, — говорил на XXVI съезде КПСС товарищ Ю. Цеденбал, — что Монгольская народно-революционная партия и монгольский народ всегда останутся верны заветам великого Ленина, будут и впредь высоко нести неугасимый факел нашей дружбы во имя торжества дела мира, социализма и коммунизма, зажженный Владимиром Ильичем Лениным и неустрашимым Сухэ-Батором... Пусть крепнет и процветает нерасторжимая испытанная дружба монгольского и советского народов!»<sup>4</sup>.

Москва—Улан-Батор, 1981.

<sup>3</sup> Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Том первый. М. Политиздат. 1970, стр. 253.

<sup>4</sup> «Правда», 26 февраля 1981 года.

# В МИРЕ НАУКИ

К. ДОЛГОВ



## РЕНЕССАНС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ МАКИАВЕЛЛИ

**Л**ичность и творчество Макиавелли привлекали к себе внимание Маркса и Энгельса, которые были хорошо знакомы с его основными сочинениями и основными идеями. Они видели в нем идеолога восходящей буржуазии, последовательного и бескомпромиссного противника феодального строя, папства и католической церкви, военного писателя и теоретика. Но прежде всего Макиавелли вызывал интерес своими политическими и историческими произведениями, в которых достаточно определенно выражались требования нового класса и новой эпохи: «Государем», «Историей Флоренции», «Рассуждениями по поводу первой декады Тита Ливия» и «О военном искусстве».

Маркс давал самые высокие оценки Макиавелли и его произведениям. В одном из писем Энгельсу он писал: «...я лучше привезу тебе том Макиавелли. Его история Флоренции, это — шедевр»<sup>1</sup>. Что касается самой личности Макиавелли, то Маркс ставил его в один ряд с Данте и Гарибальди: «... Гарибальди, который с огненной душой соединяет частицу того тонкого итальянского гения, какой можно обнаружить в Данте не менее, чем в Макиавелли»<sup>2</sup>. Поэтому нет ничего удивительного в том, что молодой Маркс самым серьезным образом изучает произведения Макиавелли, делая из них для себя выписки<sup>3</sup>.

Энгельс, познакомившийся с сочинениями Макиавелли благодаря Марксу, обращает внимание на его политические, правовые, военные и антиклерикальные взгляды. Маркс и Энгельс писали: «...начиная с Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мыслителей нового времени, не говоря уже о более ранних, сила изображалась как основа права»<sup>4</sup>.

Специально занимаясь изучением военных вопросов, связанных с историей армии, оказывающей важную роль в экономическом и социальном развитии человеческого общества, в развитии производительных сил и производственных отношений, Энгельс неоднократно ссылается на Макиавелли. Например: «Сражение при Форново (1495 г.), выигранное благодаря французской полевой артиллерии, навело ужас на всю Италию, и новый род войск был признан неотразимым. Сочинение Макиавелли «Искусство войны» было написано специально с той целью, чтобы указать средства, как нейтрализовать его воздействие искусным расположением пехоты и кавалерии»<sup>5</sup>.

Энгельс подчеркивал важное значение антиклерикальной направленности взглядов Макиавелли: «Еще Макиавелли в своей «Истории Флоренции» видел в господстве папы источник упадка Италии»<sup>6</sup>. Наконец, касаясь эпохи Возрождения, Энгельс среди титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености — Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Лютера и других — называет и Макиавелли: «Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени»<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 29, стр. 154.

<sup>2</sup> Там же, т. 15, стр. 190.

<sup>3</sup> См. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Книга четвертая. М.—Л. 1929, стр. 347—351.

<sup>4</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 13, стр. 314.

<sup>5</sup> Там же, т. 14, стр. 200.

<sup>6</sup> Там же, т. 13, стр. 444.

<sup>7</sup> Там же, т. 20, стр. 344—346.



Буржуазные идеологи относятся к личности и произведениям Макиавелли протигворечиво. С одной стороны, резко негативно за то, что он беспощадно и безжалостно раскрывал механизм политической власти, ее средства, задачи и цели, и за то, что он доводит логику развития своей эпохи и своего класса до конца. С другой стороны, буржуазные идеологи делают из Макиавелли политического мыслителя и политического деятеля, мысли и дела которого якобы пригодны во все времена и во всех обстоятельствах.

Макиавелли — один из самых трудных для понимания и истолкования мыслителей. Не случайно уже на протяжении четырех с половиною столетий вокруг его основного произведения «Государь» ведутся полемические бои, а его доктрина и взгляды, чудовищно извращенные многочисленными, разнообразными и разнокалиберными противниками, спрессовались в резкий, обоюдоострый, однозначно-многозначный, но всегда негативный термин «макиавеллизм» — синоним политического, гражданского и человеческого коварства, двуличия, лицемерия, предательства, аморализма, жестокости и т. д.

При всей необоснованности и несправедливости подобных обвинений в адрес Макиавелли они воспринимались и еще продолжают восприниматься многими, пишущими о нем по поводу и без повода, как нечто само собой разумеющееся, очевидное и не требующее доказательств. Словом, Макиавелли и макиавеллизм до сих пор пользуются самой дурной славой, получившей в общественном сознании благодаря длительной и все расширяющейся традиции прочность социально укорененного и социально мистифицированного предрассудка, против которого очень трудно бороться.

Он первый и в своем роде единственный мыслитель эпохи Возрождения, который сумел достаточно определенно постичь смысл основных тенденций этой эпохи, смысл ее политических требований и устремлений, сформулировать и изложить их таким образом, что они не просто становились высказываниями, максимами или афоризмами, а самым активным способом воздействовали на тех, кто еще смутно ощущал эти требования, но кто стремился к преобразованию существующего положения вещей, существующих порядков, кто сгорал от желания увидеть преобразенную Италию.

Впервые в истории человеческой мысли Макиавелли дает политическую идеологию и политическую науку в форме своеобразного мифа, когда фантастическая и художественная форма позволяют воплотить теоретический и рациональный элемент как бы в легко ощутимом, наглядно зримом, чувственно и интеллектуально доступном и осязаемом образе-фигуре — кондотьере, пластическом и антропоморфном символе «коллективной воли», имеющей совершенно определенную, исторически необходимую и обусловленную цель.

История дает нам немало свидетельств, когда самые честные, самые благородные, самые умные и высоконравственные люди осуждались за аморализм, за покушение на существовавшие нравственные устои, правила, нормы и законы. Вспомним Сократа, Эпикура, Джордано Бруно, Спинозу, Томаса Мора, Коперника, Кампанеллу и других рыцарей истины и нравственности, которых самые аморальные из представителей морально разложившихся обществ обвиняли в безнравственности. Когда моралью занимаются, преподают и пишут о ней аморальные люди, когда знание, наука находятся в руках людей темных и невежественных, ненавидящих свет знания, просвещения и образования, когда политикой занимаются люди с нечистой совестью, грязными душами и грязными руками — мелкие авантюристы, жулики, проходимцы, политики — стоит ли удивляться тому, что они возненавидят знающего, мудрого, честного и благородного человека, глубоко понимавшего и выражавшего требования своей эпохи, предвосхитившего развитие многих областей человеческого знания, равно как и развитие человека и человеческого общества?

Но наша речь идет не о них, они не стоят этого. Как справедливо говорится об этих жалких душах, которые прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел, у Данте:

Их свергло небо, не терпя пятна;  
И пропасть Ада их не принимает,  
Иначе возгордилась бы вища...

Их память на земле невоскресима;  
От них и суд и милость отошли.  
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!

(Данте, «Божественная комедия», «Ад», 3, 40 12 13 31)

А Макиавелли и его «Государь» навсегда остались в памяти человечества и благодаря глубоким идеям, мыслям и прозрениям прочно вошли в сокровищницу мировой культуры.

## I

Почти все работы о Макиавелли так или иначе связаны с характеристикой эпохи и с оценкой Гуманизма и Возрождения. Пожалуй, самый наглядный пример, выражающий эти тенденции, представляют две книги: Якова Буркгардта «Культура Италии в эпоху Возрождения» и Де Санктиса «История итальянской литературы».

Книга Буркгардта, переведенная на многие языки, в том числе и на итальянский, вызвала большой резонанс в Европе и в других странах. Она оказала заметное воздействие на последующие толкования Гуманизма и Возрождения, породила огромную литературу о художниках и кондотьерах Возрождения, литературу глубоко индивидуалистическую, в которой провозглашались права личности на прекрасную и героическую жизнь, на свободу действий независимо от моральных, нравственных норм и правил. Возрождение олицетворялось в таких фигурах, как кондотьер Сиджисмондо Малатеста, Цезаре Борджа, Лев X, Аретино, Макиавелли, Микеланджело, и в других. В самой Италии подобное истолкование Возрождения представлял Д'Аннунцио.

Произведение Буркгардта явилось своеобразной энциклопедией жизни Италии в эпоху Возрождения, в которой достаточно подробно рассматривались проблемы общества, государства, личности, морали, религии и так далее. Не случайно исследователи эпохи Возрождения обращались и обращаются к этому ставшему уже классическим труду, заимствуя из него не только конкретный эмпирический материал, но нередко и выводы его анализа, идеи и обобщения.

В Италии книга Буркгардта была встречена положительно, ибо она вскрывала в Возрождении тенденции, враждебные папской курии, что совпадало с итальянскими политическими и культурными тенденциями в период Рисорджименто. Итальянцам импортировал и другой элемент Возрождения, освещенный Буркгардтом, — индивидуализм и создание нового склада ума. Uomo singolare и новый склад ума рассматривались в Италии как оппозиция средневековью, воплощенному в папстве.

Если Буркгардт в целом рассматривал Возрождение как исходный момент новой, прогрессивной эпохи европейской цивилизации, то Де Санктис считал Возрождение, с точки зрения итальянской истории и применительно к Италии, отправным пунктом регресса. Он подчеркивал в эпохе Возрождения мрачный колорит политического и морального разложения, поэтому, несмотря на все положительные стороны Возрождения, оно согласно Де Санктису разрушило Италию и сделало ее рабей иноземных захватчиков. Важно, что и Буркгардт и Де Санктис признавали формирование нового склада ума, разрыв со всеми средневековыми связями в отношении к религии, авторитету, родине, семье существовавшими элементами Возрождения.

Уже современники и ближайшие к Буркгардту люди — его ученики и сотрудники — понимали значение его произведения. Так, переработчик многих изданий «Культуры Италии в эпоху Возрождения» Людвиг Гейгер в предисловии к седьмому изданию писал: «Буркгардт представил гуманизм как переходную эпоху от средних веков к новому времени и таким образом проложил новый путь; он дал возможность убедиться, что гуманизм заключал в себе не одно только возрождение древней литературы, но и преобразование культуры во всем ее объеме. Толчок, данный первым его опытом, имел огромное значение. Некоторые противоречия и ошибки в подробностях не умаляют в общем значения этого драгоценного труда»<sup>8</sup>.

Однако в ходе дальнейших исследований труды Буркгардта и Де Санктиса вызвали все больше и больше возражений как в концептуальном отношении, так и по частным вопросам и наблюдениям.

При рассмотрении эпохи Возрождения неизбежно встает вопрос о соотношении Гуманизма и Возрождения.

Прежде всего вставал вопрос о сущности самой эпохи Возрождения и о ее соотношении с Гуманизмом. В этом вопросе не было ясности. Одни исследователи отождествляли Возрождение и Гуманизм, другие полагали, что без Гуманизма не было бы и Возрождения, а третьи считали, что, возможно, без Гуманизма и не было бы Возрождения, но Возрождение по своему значению и последствиям превосходит Гуманизм.

<sup>8</sup> Яков Буркгардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. С.-Петербург. 1904. т. I, стр. XXII.

Споры по этим вопросам продолжаются и в настоящее время. Ученые высказывают различные точки зрения и по существу и по содержанию Возрождения и Гуманизма, и по их соотношению. Наиболее обоснованной и приемлемой является концепция Возрождения и Гуманизма, вывинутая в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, Грамши. Суть этой концепции состоит в том, что это движение рассматривается в тесной связи с развитием производительных сил и производственных отношений, с развитием способа производства, определившего соответствующее социально-экономическое, политическое и культурное развитие Италии и несколько позже других европейских стран.

Рассматривая возникновение и формирование эпохи Возрождения, Энгельс отмечает, что уже в конце средневековья вместо узкой культурной полосы вдоль побережья Средиземного моря, которая лишь кое-где протягивала свои ветви в глубь материка и по атлантическому побережью Испании, Франции и Англии и которая поэтому легко могла быть разорвана и смята с севера и с юго-востока другими народами, появляется одна сплошная культурная область — вся Западная Европа со Скандинавией, Польшей и Венгрией. Вместо противоположности греков, римлян и варваров появляются шесть культурных народов с культурными языками (не считая скандинавский и другие), которые были настолько развиты, что могли участвовать в могучем литературном подъеме XIV века и обеспечили гораздо большую разносторонность образования, чем уже пришедшие в упадок в конце древности греческий и латинский языки.

Энгельс отмечает несравненно более высокое развитие промышленного производства и торговли, созданных средневековым бюргерством: производство стало более многообразным, а торговые отношения — значительно более развитыми, судоходство со времени саксов, фризов и норманнов стало несравненно более смелым. С другой стороны, масса изобретений и импорт изобретений с Востока, которые не только сделали возможным импорт и распространение греческой культуры, морские открытия, а также буржуазную религиозную революцию, но и придали им несравненно больший размах и ускоренный темп. Сверх этого они доставили массу научных фактов, о которых никогда даже не подозревала древность: магнитная стрелка, книгопечатание, льняная бумага, порох, очки, механические часы и т. д. Кроме того, материал, доставленный путешествиями, гораздо большее распространение общего образования и т. д. Все это, вместе взятое, подготовило наступление новой эпохи. «Вместе с возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается древность. С падением Константинополя неразрывно связан конец средневековья. Новое время начинается с возвращения к грекам.— Отрицание отрицания!»<sup>9</sup>

В характеристике Энгельса раскрывается диалектическая взаимосвязь производительных сил и производственных отношений, определяющая роль способа производства по отношению к социально-политическому и культурному развитию, а также обратное воздействие научных изобретений, образования, культуры на дальнейшее развитие производительных сил и производственных отношений.

Действительно, после X века начинается реакция против феодального режима, который с помощью земельной аристократии и духовенства безраздельно господствовал во всех сферах жизни Италии и других европейских стран. В последующие два-три века достаточно глубоко изменяется экономический, политический и культурный строй общества: укрепляется сельское хозяйство, оживают, расширяются и упорядочиваются промышленность и торговля; возникает буржуазия как новый руководящий класс, кипящий политической страстью и сплотившийся в мощные финансовые корпорации; образуется государство-Коммуна с возрастающим духом независимости. Правда, государство применительно к государству-Коммуне имело ограниченное, корпоративное значение, вследствие чего развитие этого государства-Коммуны не могло выйти за пределы того среднего периода феодализма, который последовал за периодом феодальной анархии, за периодом феодализма без третьего сословия, существовавшего до XI века, на смену которому приходит абсолютная монархия в XV веке, существовавшая уже вплоть до Французской революции. Как заметил Грамши: «Органический переход от Коммуны к строю, который не был уже феодальным, имел место в Нидерландах и только в Нидерландах. В Италии Коммуны не сумели выйти за пределы корпоративной фазы; феодальная анархия одержала победу в форме, соответствовавшей новому положению, а затем установилось иностранное господство»<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, стр. 507.

<sup>10</sup> Antonio Gramsci. Il risorgimento. Opere, v. 4. Torino, Giulio Einaudi 1954, p. 13.

Противоречивость экономического, политического и социального развития эпохи Возрождения определила и противоречивость развития ее культуры.

Рассматривая Возрождение как движение огромного исторического значения и важности, Грамши считает Гуманизм и Возрождение в узком смысле слова двумя завершающими моментами этого движения, главный центр которых находится в Италии, между тем как исторический процесс в целом носит не узко итальянский, а общеевропейский характер. «Главным центром Гуманизма и Возрождения как литературного выражения этого общеевропейского исторического движения была Италия, но прогрессивное движение после X века, хотя оно и сыграло большую роль благодаря Коммунам, пришло в упадок именно в Италии и именно вместе с Гуманизмом и Возрождением, которые в Италии стали регрессивными, между тем как в остальной Европе общее движение нашло свое завершение в национальных государствах, а затем в мировой экспансии Испании, Франции, Англии, Португалии. В Италии национальным государствам в этих странах соответствовала организация Папства как абсолютистского государства,— установленного Александром VI,— организация, которая разъединила остальную Италию и т. д. То, что Возрождение не может быть таковым без создания национального государства, в Италии, понимал Макиавелли, но как человек он теоретически обобщает не итальянские события, а то, что происходит за пределами Италии»<sup>11</sup>.

Отсюда видно, что Возрождение, возникшее в Италии гораздо раньше, чем в других европейских странах, захлебывается, застревает и приходит в упадок вместе с захирением и упадком городов-Коммун, которые так и не вышли за рамки феодальных отношений.

Если в европейских странах Возрождение характеризовалось возникновением крупных централизованных, объединенных государств, в которых королевская власть, опираясь на горожан, сломала мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности основанные на национальности монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество, то в Италии в это время возникает организация папства — своеобразная форма абсолютистского государства, космополитические функции которого не только не способствовали объединению страны, но, напротив, содействовали ее дальнейшему разъединению и исключали принципиально какое бы то ни было объединение Италии, постоянно углубляя существовавший отрыв господствующих классов от народа, постоянно обостряя социальные, классовые противоречия.

Классовые противоречия существовали не только между господствующими и поработанными классами. Антагонистические противоречия стали характерны и для внутриклассовых отношений, в частности для отношений внутри интеллигенции. «Возрождение,— пишет Грамши,— можно рассматривать как выражение в области культуры исторического прогресса, в ходе которого в Италии образуется новый класс интеллигентов, получивший европейское значение, класс, который делится на две группы: одна выполняла в Италии космополитическую функцию, будучи связана с папством и имея реакционный характер; другая сформировалась из политических и религиозных изгнанников и выполняла прогрессивную космополитическую функцию в различных странах, где они обосновались, или принимала участие в образовании современных государств в качестве технического элемента в войсках, в политике, в инженерном деле и т. д.»<sup>12</sup>.

Поскольку буржуазия не могла сохранить корпоративный строй, не могла управлять народом только с помощью насилия, то в Италии возникают синьории, основная роль которых состояла в примирении непримиримых классовых антагонизмов. Если, например, во Франции буржуазия объединяется с городской беднотой и с крестьянами, чтобы уничтожить феодализм, феодальные классы, то в Италии происходит дальнейший разрыв между правящими классами и народом. В этих условиях оперирование категориями «итальянский дух», «итальянская нация», «национальные синьории», «единый итальянский язык» и тому подобными было пустым и бессмысленным занятием досужих теоретиков, так как в Италии тогда не могло быть и не было нации как таковой.

Напротив, можно сказать, что основные экономические, политические, классовые противоречия определяли все сферы итальянского общества того времени и находили свое проявление в самых различных областях жизни и деятельности всех классов и слоев: от материального производства до литературы, искусства и культуры.

<sup>11</sup> Ibid., p. 13.

<sup>12</sup> Ibid., p. 15.

В этом смысле и Возрождение и Гуманизм были тесно связаны с экономическими и политическими факторами тогдашней Италии. Поэтому неверно рассматривать Гуманизм и Возрождение только как художественные явления, неверно связывать их с поисками и открытиями законов и истин в области литературы и искусства, неверно сводить Гуманизм и Возрождение только к явлениям художественной культуры. «Может быть действительно, что Гуманизм зарождается в Италии как изучение Романизма, а не классического мира вообще (Афины и Рим); но тогда необходимо делать различие. Гуманизм был «политико-этическим», а не художественным, — подчеркивает Грамши, — он был исследованием основ того «итальянского государства», которое должно было возникнуть одновременно и параллельно с возникновением государства во Франции, Испании и Англии; в этом смысле Гуманизм и Возрождение имеют своего наиболее выразительного представителя в лице Макиавелли»<sup>13</sup>.

На первый взгляд это утверждение Грамши представляется парадоксальным: Возрождение и Гуманизм связываются не с литературой и искусством, не с художественной культурой вообще, а с политико-экономическими и нравственными проблемами, а самым выдающимся и ярким представителем Гуманизма и Возрождения называется Макиавелли, за которым уже несколько сот лет продолжает сохраняться слава как самого аморального, беспринципного, жестокого и коварного политического деятеля и мыслителя. Уж не перевертывает ли Грамши существовавшие до него взгляды и концепции на Возрождение и Гуманизм? Да, перевертывает, и именно благодаря диалектико-материалистическому анализу объективных факторов, определяющих смену общественно-экономических формаций, анализу объективных факторов, определяющих изменение структуры самой общественно-экономической формации, всех ее элементов — от экономики и политики до литературы, искусства и культуры в целом.

Благодаря четкому классовому анализу Грамши различает Гуманизм прогрессивный, к которому он без всяких колебаний относит прежде всего Макиавелли, и Гуманизм реакционный, связанный с реакционными силами и классами, Гуманизм, оторвавшийся от народа и народной жизни и, по существу, направленный против народа. «Спонтанно возникшее итальянское Возрождение, которое начинается после X века и в художественном отношении достигает расцвета в Тоскане, было задушено Гуманизмом и Возрождением в культурном смысле, возрождение латыни в качестве языка интеллигентов в противоположность народному языку и т. д. Бесспорно, что это спонтанно возникшее Возрождение (в особенности начиная с XIII века) можно сравнить только с расцветом греческой литературы, между тем как «политицизм» XV—XVI веков является таким Возрождением, которое может быть отнесено к Романизму»<sup>14</sup>.

Грамши ведет анализ Гуманизма не с точки зрения того, был или не был направлен Гуманизм против Церкви, не с позиций обсуждения индивидуалистического характера Гуманизма, а именно с классовых позиций, с точки зрения творчества того или другого гуманиста в общем контексте исторического развития культуры, позволяющей вскрывать разрыв между основной массой народа и образованными людьми.

Действительно, гуманистам было присуще сознание ничем не восполнимого разрыва между образованным человеком и толпой. Начиная с XI века последовательно формируется слой интеллигенции, остро и тонко чувствующих античность и возрождающих ее, но которые в процессе этого возрождения все более и более отдаляются от народной жизни. Основная причина этого — в упадке и деградации итальянской буржуазии вплоть до XVIII века. Католическая Церковь способствовала этому отрыву культуры от народа, начавшемуся с возвращения к латыни, ибо она считала такое возвращение здоровой реакцией против всякого рода недисциплинированной мистики. На этом основании Грамши делает вполне аргументированный вывод: «Гуманизм в период между Данте и Макьявелли — это самостоятельная, самодовлеющая эпоха, которая, в противоположность распространенному мнению, обладает отнюдь не чисто внешним сходством со Схоластикой, разделяя с ней антидемократические и антиеретические тенденции... С концом Гуманизма рождается ересь, и вне Гуманизма оказываются Макьявелли, Эразм (?), Лютер, Джордано Бруно, Декарт, Янсенский»<sup>15</sup>.

Установление связи Гуманизма с экономическими и политическими факторами

<sup>13</sup> Antonio Gramsci. Opere, p. 16.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Цит. по кн. «Контекст-1973. Литературно-теоретические исследования» М. «Наука». 1974, стр. 366—367.

тогдашней Италии — переход к княжествам и синьориям, потеря буржуазией активности, превращение бюргеров в земельных собственников — позволило Грамши сделать еще более радикальный вывод: «Гуманизм был фактом реакционным в культуре, потому что все итальянское общество становилось реакционным»<sup>16</sup>.

Обращение к анализу языка не только доказывает справедливость этого вывода, но и раскрывает сущность, содержание и противоречия Гуманизма как литературного, художественного и общественно-политического и идеологического явления.

Грамши исходит из положения, имеющего методологическое значение: «...всякий язык представляет собой цельное мировоззрение, а не только одеяние, которое равнодушно служит формой любого содержания. Но тогда не означает ли это, что имела место борьба между двумя мировоззрениями — буржуазно-народным, излагавшимся на народном языке, и аристократически-феодалным, излагавшимся на латыни и обращающимся к римской древности, и что Возрождение характеризуется именно этой борьбой, а не безмятежным созиданием торжествующей культуры?»<sup>17</sup>.

Борьба языков, борьба культур, борьба мировоззрений. Так ли это? Нет ли здесь хотя бы доли упрощения и вульгаризации? Нет, напротив, только установление такой связи между языком, мировоззрением и культурой позволяет вскрыть и суть каждого из этих элементов и их взаимоотношение друг с другом.

Больше того, Грамши призывает к тому, чтобы видеть различия и даже разрыв между средневековой латынью и латынью гуманистической как между двумя различными языками, выражавшими в определенном смысле два противоположных мировоззрения, несмотря на то, что эти языки были распространены только в среде интеллигенции.

«Разрыв между средневековой латынью и латынью гуманистической означал лишь то, что речь может идти именно о разных языках и о разных мировоззрениях. Предгуманизм — Петрарка — еще отличается от Гуманизма, хотя Петрарка сочетает в себе оба языка и оба мировоззрения, поскольку является человеком переходного периода»<sup>18</sup>. Когда он творит на народном языке, он поэт буржуазии, но как писатель, пользующийся латынью, как «оратор», как политический деятель он духовный представитель антибуржуазной реакции (синьорий, папства). Это объясняет также явление петраркизма в XVI веке и его неискренность, его искусственность, его чисто книжный характер, потому что чувства, которые породили поэзию «нового сладостного стиля» и поэзию самого Петрарки, не господствуют больше в общественной жизни, как не господствует больше буржуазия Коммун, вновь загнанная в свои лавки и в свои мануфактуры, переживающие упадок. В политическом отношении господствует аристократия — в значительной своей части всякого рода парвеню, — которая группируется при дворах синьоров и находится под охраной отрядов наемников; она создает культуру XVI века и поддерживает партии, но политически она ограничена и кончает тем, что попадает под иностранное господство»<sup>19</sup>.

В отличие от ряда буржуазных исследователей Грамши считает, что «для гуманистов народный язык был диалектом, то есть не имел национального характера, и что поэтому гуманисты были продолжателями средневекового универсализма — разумеется, в других формах, — а не национальным элементом; они были «космополитической кастой», для которой Италия представляет, вероятно, то, что область в рамках современной нации, — и ничем большим и лучшим: они были аполитичны и анациональны»<sup>20</sup>.

Грамши соглашается с тем, что наиболее интересным аспектом Гуманизма были цели всестороннего воспитания человеческого духа, а не религиозно-моралистические цели, но именно этот самый интересный аспект Гуманизма, самая оригинальная, интересная и имеющая будущее его черта в Италии не получила развития. Гуманизм «имел

<sup>16</sup> Там же, стр. 367.

<sup>17</sup> Antonio Gramsci. Opere, v. 4, Torino, G. Einaudi, 1955, p. 20—21.

<sup>18</sup> Вот что писал о Данте Энгельс: «Первой капиталистической нацией была Италия. Конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 г., наступит новая историческая эра. Даст ли нам Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения этой новой, пролетарской эры?» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 22, стр. 382).

<sup>19</sup> Antonio Gramsci. Opere, v. 4, p. 24—25.

<sup>20</sup> Ibid., p. 27.

характер реставрации; но, как всякая реставрация, он усвоил и развил — лучше, чем революционный класс, который он задушил политически, — идеологические принципы побежденного класса, не сумевшего выйти за корпоративные границы и создать все надстройки цельного общества. Только эта разработка «повисла в воздухе», осталась достоянием касты интеллигентов, не имевшей контакта с народом — нацией. И когда в Италии реакционное движение, необходимой предпосылкой которого был Гуманизм, развилось в Контрреформацию, оно задушило и новую идеологию, и гуманисты (за немногим исключением) клятвенно отреклись от нее перед кострами. Идеологическое содержание Возрождения получило развитие за пределами Италии, в Германии и во Франции, в политических и философских формах; но новое государство и новая философия были принесены в Италию, потому что наши интеллигенты были и национальны и космополитичны — как в Средневековье — в других формах, но в тех же самых общих отношениях»<sup>21</sup>.

Анализ классовых отношений позволяет Грамши улавливать парадоксы истории. Например, в Сицилии торговая буржуазия развивалась под эгидой монархии и благодаря Фридриху II была вовлечена в проблему «Священной Римской империи германской нации»; Фридрих II был абсолютным монархом в Сицилии и на Юге, но он был также средневековым императором. «Сицилийская буржуазия, как и французская, в культурном отношении развивалась более быстро, чем тосканская; сам Фридрих II и его сыновья слагали стихи на народном языке, и с этой точки зрения они приняли участие в новом этапе человеческой деятельности, начавшемся с XI века; но и не только с этой точки зрения; в действительности тосканская и болонская буржуазия в идеологическом отношении была более отсталой по сравнению с Фридрихом II, средневековым императором. Таковы парадоксы истории»<sup>22</sup>.

Рассматривая истоки народной литературы и поэзии, Грамши задается вопросами: разве не естественно, чтобы нарождающаяся новая культура принимала «примитивные» народные формы и чтобы носителями ее были «скромные люди»; и разве это не было особенно естественно для той эпохи, когда культура и литература были монополией замкнутых каст, и разве существовали великие художники и писатели даже среди образованных людей во времена Угуччоне да Лоди? И Грамши следующим образом отвечает на поставленные им самим вопросы: «...первые элементы Возрождения были не придворного и не схоластического, а народного происхождения, они были выражением всеобщего культурного и религиозного движения восстания (патария) против средневековых институтов, Церкви и Империи. Поэтический рост этих ломбардских писателей был не очень высоким, но от этого не уменьшается их историко-культурное значение»<sup>23</sup>.

Грамши разъясняет, что нельзя смешивать два момента истории: разрыв со средневековой цивилизацией, важнейшим проявлением которой было появление народных языков, и разработку *volgare illustre* — единого итальянского литературного языка, факт, вызвавший известную централизацию различных групп интеллигенции, профессиональных литераторов. Эти моменты связаны друг с другом, но не совпадают полностью.

Вначале народными языками пользовались от случая к случаю (военные присяги, судебные показания, которые крестьяне, не знавшие латыни, давали на родном языке). Затем появляются факты, имеющие важное значение: на родном языке создаются литературные произведения, среди местных диалектов тосканский диалект становится главенствующим, в Ломбардии появляется письменный народный язык и другие. Обобщая значение этих фактов, Грамши приходит к выводу, что «нарождающаяся буржуазия действительно вводит собственные диалекты, но ей не удается создать национальный язык: если такой язык и возникает, то он ограничивается кругом литераторов, которые поглощаются реакционными классами и дворами Государей; они являются уже не «буржуазными» литераторами, а придворными. И это поглощение происходит не без противодействия. Гуманизм показывает, что «латынь» еще очень сильна. Это культурный компромисс, а не революция»<sup>24</sup>.

Утверждения, что истоки «новой итальянской цивилизации» нужно искать и нахо-

<sup>21</sup> Antonio Gramsci. Opere, p. 27—28.

<sup>22</sup> Ibid., p. 25.

<sup>23</sup> Ibid., p. 28.

<sup>24</sup> Ibid., p. 29—30.

диль в XIII веке, Грамши считает чисто риторическими и преследующими современные практические интересы. «Новая цивилизация является не «национальной», а классовой, и она примет не унитарную, а «коммунальную» и локальную форму не только политически, но и «культурно». Поэтому она рождается как «диалектальная» и должна ожидать высшего расцвета тосканского XIV века, чтобы прийти в известной степени к языковому единству. Культурное единство не было заранее данным фактором. Совсем наоборот! Существовала «европейская культурно-католическая универсальность», и новая цивилизация реагирует на этот универсализм, базой которого являлась Италия с местными диалектами и выдвиганием на первый план практических интересов муниципальных групп буржуазии. Следовательно, мы имеем дело с периодом разрушения и распада существующего культурного мира, поскольку новые силы не только не стараются включиться в этот мир, но выступают, хотя и бессознательно, против него. Эти силы представляют собой эмбриональные элементы новой культуры»<sup>25</sup>.

Грамши критикует те концепции Возрождения, согласно которым гуманисты якобы предсказали культурное господство Италии над миром. Он считает это началом риторики — риторики как национальной формы. «В это утверждение вкладывают истолкование «космополитической функции итальянских интеллигентов», и эта функция является чем угодно, только не «культурным господством» национального характера: напротив, она является именно доказательством отсутствия национального характера культуры»<sup>26</sup>.

На основе анализа эпохи Возрождения Грамши вырабатывает предельно широкую, действительно универсальную концепцию культуры.

«Мысль Де Санктиса: «Недостает силы воли, ибо недостает веры. И недостает веры, ибо недостает культуры». Но что значит в этом случае «культура»? Она, несомненно, означает последовательную, единую, получившую национальное распространение «концепцию жизни и человека», «светскую религию», философию, которая стала именно культурой, то есть породила определенную этику, определенный образ жизни, определенное гражданское и личное поведение. Все это требовало прежде всего объединения «культурного класса»... но особенно это требовало новой позиции по отношению к народным классам, нового понимания — «национального»... более широкого, менее нетерпимого...»<sup>27</sup>

Эта концепция, во-первых, предполагает прежде всего совершенно иное отношение к народным массам, к подлинным творцам и носителям культуры. Эта концепция, во-вторых, предполагает совершенно иное отношение к самой культуре, которая уже никогда не должна довольствоваться ролью политического декора, а, напротив, должна быть основой подлинно народной политики, направленной на вовлечение всего народа в активную трудовую, политическую и культурную деятельность. В-третьих, эта концепция предполагает превращение культуры в философию и философии — в культуру. В-четвертых, эта концепция культуры призвана породить такую этику, такую нравственность и такой образ жизни, которые создают условия для приведения в гармоническое состояние социального и индивидуального, гражданского и личного, национального и интернационального.

Несомненно, подобная концепция культуры вырабатывалась им во многом в ходе размышлений над проблемами эпохи Возрождения и над проблемами, поставленными Макиавелли.

Что же касается обращения к античности, то Грамши считает это явление просто политическим средством, которое само по себе не может создать культуры. Может быть, именно поэтому Возрождение волей-неволей должно было разрешиться в Контрреформацию, то есть стать поражением буржуазии, вызванной к жизни Коммунами, и триумфом романизма — как власть папы над сознанием и как попытка возвращения к Священной Римской империи: фарс после трагедии<sup>28</sup>.

С этих позиций становится понятно, почему Грамши так много внимания уделял изучению эпохи Возрождения, изучению Гуманизма и в особенности изучению творчества Макиавелли.

<sup>25</sup> Ibid., p. 29.

<sup>26</sup> Ibid., p. 26.

<sup>27</sup> «Контекст-1973 Литературно-теоретические исследования», стр. 353.

<sup>28</sup> См. Antonio Gramsci. Opere, v. 4, p. 21.



## II

Лучшей пропедевтикой к «Государю» Макиавелли могли бы быть страницы из работ Спинозы и Гегеля, посвященные истолкованию проблем, содержащихся в знаменитом произведении великого флорентийца.

Спиноза дает следующую характеристику Макиавелли и сущности его идей: «Что касается средств, какими должен пользоваться князь (Princeps), руководящийся исключительно страстью к господству, чтобы упрочить и сохранить власть, то на них подробно останавливается проницательнейший Макиавелли; с какой, однако, целью он это сделал, представляется не вполне ясным. Но если эта цель была благой, как и следует ожидать от мудрого мужа, она заключалась, по-видимому, в том, чтобы показать, сколь неблагоприятно поступают многие, стремясь устранить тирана, в то время как не могут быть устранены причины, вследствие которых князь превращается в тирана, но, наоборот, тем более усиливаются, чем большая причина страха представляется князю: это бывает тогда, когда народ расправился с князем, желая дать пример другим, и кичится цареубийством как славным делом. Может быть, он хотел также показать, насколько свободный народ должен остерегаться абсолютно верить свое благополучие одному лицу; если последний не тщеславен и не считает себя способным угодить всем, то он должен каждодневно бояться козней и потому ему поневоле приходится более оберегать самого себя, народу же, наоборот, скорее строить козни, чем заботиться о нем. И что меня еще более укрепляет в моем мнении об этом благоразумнейшем муже, так это то, что он, как известно, стоял за свободу и дал неоценимые советы также для ее укрепления»<sup>29</sup>.

Гегель мастерски описывает состояние Италии того времени, когда все ее части завоевали суверенитет, когда она перестала быть государством и превратилась в беспорядочное смешение независимых государств, внутри которых по воле случая устанавливалось монархическое, аристократическое или демократическое правление или устанавливалось на короткое время и перерождение этих форм в виде тирании, олигархии и охлократии. Правда, подобное состояние, как считает Гегель, нельзя называть анархией, поскольку множество противоположных партий выступали здесь в виде организованных государств. Часть земель Италии объединялась для сопротивления императору, а другие — во имя его интересов. Это относилось прежде всего к враждовавшим между собой партиям гибеллинов и гвельфов.

Как только Италия превратилась в конгломерат сотен государств в лице отдельных независимых городов, она стала ареной войн, которые иноземные державы стали вести за ее земли: немцы, испанцы, французы, швейцарцы постоянно нападали на Италию и грабили ее. Италия предоставляла и средства для ведения этих войн и одновременно была их целью. Она искала свое спасение в вероломном убийстве, отравлениях, предательстве и фантазиях пришлого сброда, всегда разорительного для тех, кто его нанимал.

В эти страшные годы появляется Макиавелли со своими произведениями, и прежде всего с «Государем».

После сочувственного цитирования почти половины последней, XXVI главы «Государя» Гегель пишет: «Вряд ли можно сомневаться в том, что человек, чьи слова полны такой подлинной значительности, не способен ни на подлость, ни на легкомыслие. Между тем уже само имя Макиавелли носит, по мнению большинства, печать отверженности, а макиавелизм отождествляется обычно с гнусными принципами. Идея государства, созданного народом, столь настойчиво заглушалась безрассудными призывами к так называемой свободе, что всех бедствий Германии в Семилетней войне и в последней войне с Францией, всего прогресса разума и опыта, почерпнутого из неистовства, охватившего Францию в ее стремлении к свободе, вероятно, недостаточно для того, чтобы та простая истина, согласно которой свобода возможна только в государстве, созданном объединившимся на правовой основе народом, проникла в умы людей и утвердилась в качестве основного принципа науки о государстве. Даже цель Макиавелли — поднять Италию до уровня государства — слепо отвергается теми, кто видит в творении Макиавелли лишь призыв к тирании, зеркало в золотой оправе для тщеславного поработителя. Если же эта цель принимается, то объявляются отвратительными предлагаемые им средства, и тут-то откры-

<sup>29</sup> Бенедикт Спиноза. Избранные произведения в двух томах. М. Политиздат. 1957, т. II, стр. 313.

вается широкий простор для морализирования и высказывания различных тривиальностей, вроде того, что цель не оправдывает средства и т. п. Между тем здесь не может быть и речи о выборе средств, гангренозные члены нельзя лечить лавандовой водой. Состояние, при котором яд, убийство из-за угла стали обычным оружием, не может быть устранено мягкими мерами противодействия. Жизнь на грани тления может быть преобразована лишь насильственными действиями»<sup>30</sup>.

Гегель полностью оправдывает выставленный Макиавелли принцип объединения раздробленной, рассеянной, ограбленной, опустошенной и униженной Италии в единое, мощное государство. С точки зрения этого принципа государственности действия Государя предстают совершенно в ином свете. То, что отвратительно в качестве поступка одного частного лица по отношению к другому, одного государства по отношению к другому государству или другому частному лицу, становится заслуженной карой, ибо содействие анархии является единственным преступлением против государства, поскольку оно включает в себя все остальные государственные преступления. У государства нет более высокого долга, чем уничтожить всеми имеющимися у него средствами всех, кто угрожает безопасности и самому существованию государства. Выполнение этого высокого долга — уже не средство, замечает Гегель, а кара; и кара справедливая.

По сей день сохраняет свою ценность и значение требование Гегеля подходить к чтению и изучению «Государя» Макиавелли исторически. «Весьма неразумно рассматривать идею, сложившуюся под непосредственным впечатлением о состоянии Италии, как некий безучастный компендиум морально-политических принципов, пригодный для любых условий, другими словами — ни для чего не пригодный. «Государя» надо читать под непосредственным впечатлением исторических событий, предшествовавших злохе Макиавелли, и современной ему истории Италии, и тогда это произведение не только получит свое оправдание, но и предстанет перед нами как истинно великое творение подлинного политического ума высокой и благородной направленности»<sup>31</sup>. В этом требовании строгого следования принципу историзма содержится и верное понимание значения «Государя» Макиавелли, и самая высокая оценка этого произведения как истинно великого творения подлинного политического ума высокой и благородной направленности, то есть высшая нравственная оценка, которую когда-либо давал Гегель политическому произведению, принадлежащему перу политического деятеля. Существенным дополнением к этой оценке является следующее замечание Гегеля: «Вряд ли будет излишним указать в нескольких словах на то, что обычно не замечают, читая Макиавелли; мы имеем в виду те поистине идеальные качества, которыми он наделяет выдающегося князя и которыми за истекшее с тех пор время не обладал ни один правитель»<sup>32</sup>.

Гегель называет интересным в своеобразной судьбе «Государя» тот факт, что при общем непонимании и ненависти к этому произведению будущий монарх Фридрих II, вся жизнь и деятельность которого явились ярчайшей иллюстрацией к распаду Германской империи на множество независимых государств, руководствуясь своего рода инстинктом, взял в качестве темы для школьного сочинения Макиавелли, противопоставив ему моральные христы, пустоту которых он сам впоследствии подтвердил как своим образом действий, так и своими произведениями. Ирония истории и судьбы: критик «Государя» Макиавелли — будущий король, который всеми своими действиями, всем своим правлением и своими писаниями с лихвой подтвердит правоту Макиавелли!

Гегель, пожалуй, единственный из буржуазных мыслителей, кто понял историческое значение «Государя» Макиавелли, гениальность его творений и его роль в будущей истории и воздал ему должное, открыто выступив против укоренившегося во многих странах, в том числе и в Германии, чудовищно несправедливого, негативного, отрицательного, фарисейского общественного мнения о Макиавелли и его произведениях, особенно о «Государе». Гегель, воздавая должное гениальности творений Макиавелли, одновременно разоблачает всю фальшь, все фарисейство и ханжество современного ему общества. «Творение Макиавелли останется в истории важным показанием, которое он засвидетельствовал перед своим временем и своей собственной верой, что судьба народа, стремительно приближающегося к политическому упад-

<sup>30</sup> Гегель. Политические произведения. М. «Наука». 1978, стр. 151—152.

<sup>31</sup> Там же, стр. 152.

<sup>32</sup> Там же.

ку, может быть предотвращена только гением... Впрочем, наше утонченное общество, — с сарказмом писал Гегель, — которое не могло не отметить гениальность творений Макиавелли, но, обладая высокими моральными достоинствами, не способно было и принять его принципы, решило по своей доброте спасти его самого; эти благожелатели вышли из сложного положения со всей присущей им честностью и тонкостью, объявив, что в своих произведениях Макиавелли совсем не излагал своих действительных взглядов, что все это — лишь тонкая сатира, ирония; нельзя не согласиться с тем, что тонкость столь восприимчивого к иронии общества достойна всяческих похвал. Голос Макиавелли затих, не оказав никакого воздействия»<sup>33</sup>.

И тем не менее, несмотря на все усилия явных и неявных противников Макиавелли и его произведений, идеи этого великого мыслителя, особенно идеи, изложенные им в «Государе», продолжали пробивать себе дорогу и оказывать определенное воздействие на историю. Давно забыты дела, писания и имена его хулителей, а интерес к произведениям Макиавелли, к его личности не угас. В этом еще одно доказательство бессмертия великих умов и их великих творений.

Гегель полагает, что все государства были основаны благодаря возвышенной силе великих людей. Великий человек имеет в своем облике нечто такое, благодаря чему другие повинуются ему вопреки собственной воле. Их непосредственная чистая воля есть его воля. Преимущество великого человека состоит в том, чтобы знать и выражать абсолютную волю. Все собираются под его знамя, он их бог. «Так, Тезей основал Афинское государство; так, во Французской революции ужасную силу получило <в свои руки> государство, целое вообще. Эта сила — не деспотизм, но тирания — чистое страшное господство; но оно необходимо и справедливо, коль скоро оно конституирует и сохраняет государство как этот действительный индивид. Это государство есть простой абсолютный дух, который знает самого себя и для которого не имеет силы ничто, кроме него самого, — не имеет силы понятие о хорошем и дурном, позорном и подлом, о коварстве и обмане; он выше всего этого, ибо зло примирено в нем с самим собой. В этом высоком духе написан «Государь» Макиавелли, согласно которому при конституировании государства то, что называется убийством, коварством, бесчеловечностью и т. д., не имеет значения зла, а имеет значение примиренного с самим собой. Его сочинение принимали даже за иронию, но из его предисловия и заключения видно, как глубоко чувствует он бедствия своего отечества, какое воодушевление патриотизма лежит в основе его холодного рассудительного учения! Его отечество [было] растоптано чужестранцами, опустошено, лишено самостоятельности; каждый дворянин, [каждый] предводитель, [каждый] город утверждал свою суверенность. Единственным средством основать государство было уничтожение этих суверенитетов; причем так как они именно как непосредственные единичные <образования> хотели быть суверенными, то средством против грубости была лишь смерть зачинщиков и страх смерти остальных. Немцы больше всего ненавидели это учение, и макиавеллизм (с их точки зрения) выражает самое злое, потому что они болеют именно этой болезнью и от нее умерли. Но безразличие подданных по отношению к своим государям и безразличие последних по отношению к тому, чтобы быть государями, то есть вести себя как государи, делает такую тиранию излишней, так как благодаря этому своенравие князей стало бессильным. Так, по отношению к отдельным <индивидам>, которые хотят утвердить свою непосредственную позитивную волю в качестве абсолютной, всеобщее есть войско, тиран, чистое насилие, ибо оно есть чуждое для них, и государственная власть, которая знает, что она есть, должна иметь мужество в каждом необходимом случае, где компрометируется существование целого, действовать совершенно тиранически»<sup>34</sup>.

Исходя из своего богатого политического и жизненного опыта, Макиавелли ставит и решает моральные проблемы в тесной связи с проблемами политическими, хотя, как мы уже отмечали, одна из важнейших его заслуг состояла именно в том, что он впервые в истории отделил политику от морали и религии, сделал ее автономной, самостоятельной дисциплиной, а также создал теоретическую модель новой политической власти в форме нового Государя.

<sup>33</sup> Гегель. Политические произведения, стр. 154—155.

<sup>34</sup> Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет в двух томах. М. «Мысль». 1970, т. 1, стр. 357—359.

Как и в других случаях, Макиавелли не боится того, что его мнения будут резко отличаться от общепринятых, ибо его задача — искать настоящую, а не воображаемую правду вещей. Последовательно придерживаясь своей позиции политического реализма, Макиавелли отбрасывает прочь бытовавшие в истории и в его время измышления относительно республик, княжеств и Государей и стремится исследовать то, что существует на самом деле, в действительности, а не в воображении того или другого человека.

Можно только удивляться и поражаться его реалистическому взгляду на ход вещей, на то, как спокойно, трезво и рассудительно он рассматривает сложнейшие нравственные проблемы, проблемы, связанные с теми качествами и свойствами, которыми должен обладать или не обладать новый Государь.

Макиавелли отдает себе отчет в том, что имеется большое различие между тем, что существует в жизни, и тем, что должно быть. «Но так велико расстояние от того, как протекает жизнь в действительности, до того, как должно жить, что человек, забывающий, что делается ради того, что должно делать, скорее готовит свою гибель, чем спасенье. Ведь тот, кто хотел бы всегда исповедовать веру в добро, неминуемо погибает среди столь многих людей, чуждых добра. Поэтому Государю, желающему удержаться, необходимо научиться умению быть не добродетельным и пользоваться или не пользоваться этим, смотря по необходимости»<sup>35</sup>.

Действительно, взгляды Макиавелли коренным образом расходились с общепринятыми нравственными максимами. Ведь все и всегда советовали быть добродетельными прежде всего другим независимо от того, как они сами и те, кому они советовали, вели себя на самом деле. Макиавелли срывает весь этот прогнивший феодально-церковный камуфляж, прикрывавший неблагоприятные дела светских Государей и духовных владык, и, исходя из того, что делается в самой жизни, советует Государю «научиться умению быть не добродетельным», чтобы в случае необходимости применить это умение на пользу самому себе и своему новому государству, дабы не погубить себя и государство.

В отличие от морализирующих фарисеев, которые всегда любили и любят поучать «высокой нравственности» других, чтобы самим делать все что им заблагорассудится, в отличие от плоских проповедников, предлагавших умильный идеал Государя, обладающего только хорошими, положительными свойствами и качествами в отличие от подобострастных приспешников с рабской психологией, в сознании которых любой Государь может обладать только превосходными качествами, Макиавелли дает реалистическую картину человеческих качеств существовавших и существующих Государей и аргументированный совет, каким надлежит быть новому Государю в реальной жизни. «Итак, оставляя в стороне все вымыслы о Государе и рассуждая о вещах, бывающих на деле, я скажу, что всем людям, о которых принято говорить, и особенно Государям, как поставленным выше других, приписываются какие-нибудь из качеств, приносящих им осуждение или похвалу; так, один считается щедрым, другой скардным... один слывет благотворителем, другой хищником; один жестоким, другой милостивым; один предателем, другой верным; один изнеженным и робким, другой грозным и смелым; один приветливым, другой надменным; один развратным, другой целомудренным; один искренним, другой лукавым; один крутым, другой уступчивым; один серьезным, другой легкомысленным; один религиозным, другой неверующим, и тому подобное. Всякий, я знаю, согласится, что было бы делом, достойным величайшей хвалы, если бы нашелся Государь, который из всех названных свойств имел бы только те, что считаются хорошими. Но так как нельзя ни обладать ими всеми, ни вполне проявлять их, потому что этого не допускают условия человеческой жизни, то Государь должен быть настолько мудр, чтобы уметь избегать беславия таких пороков, которые лишали бы его государства, других же пороков, не угрожающих его господству, он должен беречься, если это возможно; если же он не в силах это сделать, то может дать себе волю без особенных колебаний. Наконец, пусть он не страшится дурной славы тех пороков, без которых ему трудно спасти государство; ведь если вникнуть как следует во все, то найдется нечто, что кажется добродетелью, но верность ей была бы гибелью Государя; найдется другое, что кажется пороком, но, следуя ему, Государь обеспечивает безопасность и благополучие»<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения. Academia. 1934, т. I, стр. 277.

<sup>36</sup> Там же, стр. 277—278.

Из этого отрывка видна глубина мысли Макиавелли, его диалектический подход к рассмотрению человека и человеческих качеств, его бесстрашие доводить свою мысль и свой анализ до логического конца. Макиавелли рассматривает хорошие и плохие качества людей в единстве, так, как они и существуют в реальной жизни и у живых людей. Он прекрасно понимает, что трудно найти человека и особенно Государя, который обладал бы всеми положительными качествами и ни одним отрицательным, но еще труднее, даже если бы такой идеальный человек или Государь нашелся, проявить все эти хорошие качества, поскольку условия жизни этого не позволяют и не допускают.

Вот это соотнесение человеческих качеств с реальными жизненными условиями, или с реальной действительностью, составляет важнейший элемент, или важнейшую сторону, политического реализма Макиавелли. За явлениями он стремится вскрыть сущность, за кажимостью — реальное содержание, за единством и сочетанием противоположных качеств — живую человеческую личность с определенным характером, сформированным определенными жизненными условиями.

Его реализм носит классовый характер, в нем выражается последовательность требований восходящего класса, революционность устремлений буржуазии, обнаженная рационалистичность ее классовых интересов, ее бескомпромиссность по отношению к феодализму, решительность в искоренении всего, что связано с этим общественным строем.

Новый Государь Макиавелли — это не просто человек, обладающий теми или иными объективными и субъективными человеческими качествами и свойствами, и не просто идеальный образ или прообраз, с которым должны соотноситься реально существующие Государя. — нет, это прежде всего самая бескомпромиссная, самая решительная, самая беспощадная альтернатива нового буржуазного строя, нового буржуазного класса отживающему общественному и государственному строю феодализма, его порядкам, традициям, законам, морали, религии, философии, искусству, мировоззрению — словом, альтернатива всем формам бытия и сознания феодальной общественно-экономической формации. Вот почему Макиавелли так основательно, строго, тщательно, всесторонне, бережно и продуманно, как истинный зодчий-демиург, выстраивает осязаемый, как бы вырастающий из самой реальной жизни, зримый, живой и притягательный образ нового Государя. Вот почему каждое качество или свойство характера нового Государя являет собой по существу социальную категорию, а проявление этих качеств и свойств в конкретной деятельности, в реальной жизни — характер политических законов или закономерностей, поскольку от этих качеств и свойств зависит судьба нового государства и всех живущих в нем людей.

Здесь за внешним антропоморфизмом скрывается логическое построение новой социально-экономической и политической системы, за, казалось бы, обычными человеческими качествами Государя — интересы и требования нового класса и новой общественно-экономической формации во всех сферах материальной и духовной жизнедеятельности и, естественно, решительное отрицание интересов, традиций, требований и привилегий феодализма, из отношения к истории, теории и практики феодализма выстраивается история, теория и практика буржуазного общества, из ретроспективы как осмысления прошлого вырастает перспектива развития нового буржуазного строя и всех его отношений.

В свете этого становится понятно, почему Макиавелли так обстоятельно рассматривает такие понятия или категории, как щедрость и бережливость, жестокость и милосердие, любовь и ненависть и т. д. и т. п. Во все эти и подобные им понятия Макиавелли вкладывает, а точнее вскрывает в них, новое содержание и новый смысл, отражающие тенденции становящегося и развивающегося капитализма. Макиавелли до предела обнажает механизм действия феодальных отношений, ставших тормозом на пути развития современного ему общества, и одновременно набрасывает смелый проект их полного уничтожения и построения отношений, способствующих развитию общества буржуазного.

Анализируя первые названные им качества — щедрость и бережливость, Макиавелли, по сути дела, выявляет наряду с хорошими законами и хорошей армией как главными основами всех государств еще одну важную опору, без которой ни одно государство не может ни процветать, ни тем более вести войны с другими госу-

дарствами,—экономике, опирающуюся на хорошо отлаженную финансовую систему со строгим режимом экономии.

Обобщая исторический опыт ведения хозяйства теми или иными Государями, их отношение к экономическим и финансовым вопросам, проявлявшееся прежде всего в таких их личных качествах, как щедрость или бережливость, Макиавелли замечает, что те Государя, которые стремились быть щедрыми, вынуждены были в короткое время тратить все свои богатства и сбережения на поддержание и закрепление за собой славы щедрых Государей. После того как истощалась их казна, они вынуждены были идти на любые средства, чтобы выжать из своего народа путем жестоких налогов, поборов и угроз необходимые им деньги. Если Государь пойдет по этому пути, то постепенно он станет ненавистным для своих подданных и в силу бедности потеряет уважение. Таким образом, щедрость ведет к разорению Государя и страны, к обиде многих и к вознаграждению лишь некоторых.

Чтобы Государь не попал в подобное положение, Макиавелли советует ему не бояться прослыть скупым, ибо когда увидят, что благодаря его бережливости ему хватает доходов и на защиту и на походы, без того, чтобы отягощать народ налогами, то его сочтут щедрым: он будет щедрым для всех, у кого ничего не берет, а таких бесконечное множество, скупым же для всех, кому не дает, то есть для немногих. «Итак, Государю, чтобы не разорять своих подданных, чтобы иметь возможность себя защищать, не стать бедным и презираемым, не оказаться вынужденным сделаться хищным, следует очень мало считаться с прозвищем скупца, потому что это один из тех пороков, благодаря которым он царствует»<sup>37</sup>.

Правда, учитывая сложившиеся нравы, когда человек, идущий к власти, вынужден быть щедрым, чтобы добиться своих целей, Макиавелли считает возможным и даже необходимым в таких случаях не жалеть денег, особенно чужих. Если человек уже стал Государем, то щедрость вредна, если же он только идет к власти, то безусловно необходимо считаться щедрым: «...или Государь тратит средства свои и своих подданных, или чужие. В первом случае он должен быть бережлив, во втором — нельзя упустить ни одного повода к щедрости. Государю, идущему в поход с войсками, живущему добычей, грабежом, поборами, чужим добром, эта щедрость необходима, иначе за ним не пошли бы его солдаты. За счет того, что не принадлежит ни тебе, ни твоим подданным, можно быть много более тароватым, как были Кир, Цезарь и Александр: ведь расхищение чужого имущества не уменьшает твоей известности, даже кой-что прибавляет к ней; вредит только расточение своего. Ничто так не истощает себя, как щедрость. Проявляя ее, ты теряешь способность проявлять ее дальше и становишься бедным и презираемым или, стараясь избежать нужды, делаешься хищным и ненавистным. К вещам, которых Государь должен больше всего беречься, относится возбуждение к себе презрения и ненависти, а щедрость ведет тебя к тому и другому. Поэтому больше мудрости в том, чтобы остаться с именем скупца, которое приносит тебе бесчестье без ненависти, чем из желания быть названным щедрым неизбежно получить имя хищника, от которого будет и бесчестье и ненависть»<sup>38</sup>. Отсюда видно, что Макиавелли предлагает такие способы для достижения власти, ее удержания, ведения захватнических войн, которые наряду с режимом экономии относительно средств Государя и его подданных предполагали бы известное, можно сказать, хищническое расточительство в расходовании чужих средств. Здесь Макиавелли лишь констатирует то, что было узаконено в политической жизни того времени и что получит свое дальнейшее развитие в политической практике буржуазии и в обыденной повседневной жизни буржуазного общества.

Рассматривая далее такие качества Государя, как жестокость и милосердие, Макиавелли сразу же указывает на то, что «каждый властитель должен стремиться к тому, чтобы его считали милостивым, а не жестоким»<sup>39</sup>. Однако он тут же предостерегает против проявления этого милосердия некстати. Цезарь Борджа слыл беспощадным, но его жестокость восстановила Романью, объединила ее, вернула к миру и верности, а флорентийский народ, чтобы избежать нареканий в жестокости, допустил разрушение Пистойи. «Итак, Государь не должен бояться, что его ославят безжалостным, если ему надо удерживать своих подданных в единстве и верности.

<sup>37</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 280.

<sup>38</sup> Там же, стр. 281—282.

<sup>39</sup> Там же, стр. 282.

Ведь, показав в крайности несколько устрашающих примеров, он будет милосерднее тех, кто по своей чрезмерной снисходительности допускает развиваться беспорядкам, вызывающим убийства или грабежи; это обычно потрясает целую общину, а кары, налагаемые Государем, падают на отдельного человека. Из всех властителей новому Государю меньше других можно избежать молвы о жестокости, так как новые государства окружены опасностями»<sup>40</sup>. В доказательство своих рассуждений Макиавелли приводит стихи Вергилия, который устами Дидоны оправдывает бесчеловечность ее правления тем, что оно ново: «Трудные обстоятельства и новизна моего царства заставляют меня предпринимать все это и широко ограждать свои пределы сторожевыми силами» («Энеида», I).

На основании этих и подобных им рассуждений Макиавелли обвиняли в жестокости. И по сей день за ним следует эта недобрая слава. Однако подобные обвинения в адрес Макиавелли вряд ли имеют под собой почву. Ведь Макиавелли никогда и нигде не писал о том, что следует везде и всюду применять жесткие меры. Напротив, он предупреждал: «Все же Государь должен быть осмотрителен в своей доверчивости и поступках, не пугаться себя самого и действовать не торопясь, с мудростью и человеколюбием, чтобы излишняя доверчивость не привела к неосторожности, а слишком большая подозрительность не сделала его невыносимым»<sup>41</sup>. Применение жестких мер Макиавелли оправдывал только в необходимых и неизбежных обстоятельствах, и то, как мы видим, он советует применять их «с мудростью и человеколюбием», и применять направленно, целесообразно, и карать именно тех, кто этого заслуживает.

Опираясь на свой богатый жизненный и политический опыт, Макиавелли советует Государю, что всегда вернее внушить страх, чем быть любимым, ибо большинство людей неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы. Пока им делают добро, они выказывают свое расположение, но как только подвернется случай, они рады предать своего благодетеля и даже уничтожить его.

Макиавелли прекрасно видел, что когда-то возвышенные человеческие отношения — любовь, дружба, преданность, величие, благодарность, благородство души и т. д. — теперь стали продаваться и покупаться, как любые другие вещи. Поэтому новый Государь должен отдавать себе отчет в этом, а также в том, что выше всех этих чувств люди стали ценить имущество, деньги, богатство. И если уж что-то люди уважают, так это силу, силу, которая внушает им страх. «Государь, который всецело положится на их слова, находя ненужными другие меры, погибнет. Дело в том, что дружба, приобретаемая деньгами, а не величием и благородством души, хоть и покупается, но в действительности ее нет, и когда настанет время, на нее невозможно рассчитывать; при этом люди меньше боятся обидеть человека, который внушал любовь, чем того, кто действовал страхом. Ведь любовь держится узами благодарности, но так как люди дурны, то эти узы рвутся при всяком выгодном для них случае. Страх же основан на боязни, которая не покидает тебя никогда. Однако Государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не заслужить любовь, то избежать ненависти, потому что вполне возможно устрашать и в то же время не стать ненавистным. Он всегда этого добьется, если не тронет ни имущества граждан и подданных, ни жен их. Когда придется все же пролить чью-нибудь кровь, это надо сделать, имея для того достаточное оправдание и явную причину, но больше всего надо воздерживаться от чужого имущества, потому что люди забудут скорее смерть отца, чем потерю наследства. Кроме того, повод отнять имущество всегда окажется, и тот, кто начинает жить грабежом, всегда найдет повод захватить чужое; наоборот, случаи пролить кровь гораздо реже и представляются не так скоро. Когда же Государь выступает с войсками и под его начальством находится множество солдат, тогда безусловно необходимо не смущаться именем жестокого, потому что без этого в войске никогда не будет ни единства, ни готовности к действию»<sup>42</sup>.

Таким образом, Макиавелли советует применять жесткие меры только там, где это вызывается необходимостью. Принимая во внимание исторически сложившиеся реальные общественные отношения в различных государствах того времени и отно-

<sup>40</sup> Никколó Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 282—283.

<sup>41</sup> Там же, стр. 282.

<sup>42</sup> Там же, стр. 284—285.

шения, существовавшие между государствами, он считает силу более надежным союзником Государя, чем слова и чувства его подданных и их показную и весьма неустойчивую преданность. Только сила, которая вызывает уважение и страх как внешних, так и внутренних врагов, уберезет Государя и его страну от гибели. Но эту силу надо применять с умом, с мудростью и человеколюбием, вовремя, без колебаний, с достаточным оправданием и явной причиной. При этом, как истинный идеолог буржуазии, Макиавелли прозорливо объявляет неприкосновенность частной собственности жителя и семьи граждан. Все остальное зависит от самого Государя, которому Макиавелли советует опираться только на то, что зависит от него самого, а не на то, что зависит от других.

Недобрая слава Макиавелли и, соответственно, макиавеллизма связана во многом с содержанием XVIII главы, в которой излагаются основные принципы поведения Государя.

Если понимать все, что Макиавелли советует в этой главе новому Государю, буквально, то может сложиться впечатление о полном аморализме принципов, которые излагаются и защищаются Макиавелли. Надо заметить, что они так дословно и были поняты и восприняты подавляющим большинством читателей «Государя» и особенно власть имущими<sup>43</sup>.

Макиавелли начинает главу «Как Государя должны держать свое слово» с постановки проблемы, возникающей перед каждым Государем: «Как похвально было бы для Государя соблюдать данное слово и быть в жизни прямым, а не лукавить — это понимает всякий. Однако опыт нашего времени показывает, что великие дела творили как раз Государя, которые мало считались с обещаниями, хитростью умели кружить людям головы и в конце концов одолели тех, кто полагался на честность. Вы должны поэтому знать, что бороться можно двояко: один род борьбы — это законы, другой — сила; первый свойствен человеку, второй — зверю. Так как, однако, первого очень часто недостаточно, приходится обращаться ко второму. Следовательно, Государю необходимо уметь хорошо владеть природой как зверя, так и человека. Этому скрытым образом учили Государей старинные писатели, сообщавшие, как Ахилл и много других древних Государей были отданы на воспитание кентавру Хирону, чтобы он за ними наблюдал и охранял их. Иметь наставником полузверя, получеловека означает не что иное, как то, что Государю нужно уметь владеть природой того и другого; одно без другого непрочно»<sup>44</sup>.

Из этого ясно, что Макиавелли относит законы к презумпции человека, а силу — к звериному, животному началу и происхождению. Если все это понимать буквально, то уже в постановке проблемы содержится, так сказать, аморализм, ибо Государю советуют опираться не только на законы, но и на силу, и, может быть, главным образом на силу.

Однако Макиавелли не случайно вводит в свои суждения образ кентавра — он пытается соединить то, что устанавливается человеком в человеческом обществе, с тем, что имеет естественное, природное происхождение. Изучая современную жизнь, действия политических деятелей, Макиавелли убедился в непрочности, недолговечности и недостаточности даже самых хороших законов, поэтому он апеллирует к природному началу, к тому, что в лихую годину может служить надежной защитой для Государя и государства, — к силе, но к силе, применяемой и используемой с умом, с хитростью, а не вслепую.

Соединение человеческого и животного, звериного должно осуществляться посредством использования самого тонкого и могучего оружия, которым располагает человек и зверь: Макиавелли советует Государю быть лисицей, чтобы распознавать западню, и львом, чтобы устрашать волков, а не полагаться на голую силу. То есть Макиавелли советует Государю быть в политике не романтиком и не утопистом, а реалистом: основательно изучать сложившуюся ситуацию, взвешивать сложившееся положение дел, учитывать вероломство, непостоянство, хитрость и жестокость властителей, не считающихся ни с чем для достижения своих корыстных целей.

Естественно, напрашивается вывод, что если Государь будет вести себя честно среди своры других бесчестных и бессовестных Государей, то он быстро окажется

<sup>43</sup> См. об этом, например, статью И. С. Шарковой «„Анти-Макиавелли“ Фридриха II и его русские переводы» в книге «Проблемы культуры итальянского Возрождения». Л. «Наука». 1979, стр. 106—111.

<sup>44</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 286—287.



жертвой их вероломства и погибнет. Следовательно, чтобы обезопасить себя и не погибнуть, сохранить свою жизнь и жизнь и благополучие своих подданных, Государь обязан поступать так, как подсказывают ему обстоятельства. «Итак, разумный правитель не может и не должен быть верным данному слову, когда такая честность обращается против него и не существует больше причин, побудивших его дать обещание. Если бы люди были все хороши, такое правило было бы дурно, но так как они злы и не станут держать слово, данное тебе, то и тебе нечего блюсти слово, данное им»<sup>45</sup>.

Отсюда видно, что Макиавелли вовсе не проповедует аморализм, он скорее констатирует аморализм существующего общества, в особенности власть имущих, и призывает Государя к бдительности, к тому, чтобы не стать жертвой палачей, жертвой тех, кто в любой момент готов нарушить данное ими обещание, чтобы уничтожить своего союзника, друга и самого близкого человека в угоду своим низменным интересам и целям. Макиавелли, по существу, вскрывает аморализм уходящего феодального общества и аморализм нарождающегося буржуазного общества, вскрывает суть и содержание морали власть имущих, срывает с них все благопристойные маски, обнажая и демонстрируя их звериную сущность. Вот почему его политическая доктрина была встречена властью имущими в штыки: они объявили его учение аморальным только потому, что он вскрывал и обнажал аморальный характер их образа мыслей и их образа действий.

В этом смысле весьма показательна эволюция взглядов прусского короля Фридриха II, который, называя Макиавелли дурным и жестоким политиком, поступал так, как те политические деятели, которых описывал Макиавелли, что дало основание Вольтеру, поддержавшему в свое время замысел будущего короля написать против Макиавелли сочинение, заметить: «Вы узнаете о новой победе моего хорошего друга прусского короля, который так хорошо написал против Макьявелли и немедленно повел себя подобно героям Макьявелли»<sup>46</sup>. Таким героем Макиавелли считал Александра VI, который всегда и всех обманывал, меньше всего соблюдал данные им клятвы, не брезговал никакими средствами для достижения своих целей.

Макиавелли не аморалист, а реалист: он впервые в истории пытается выработать феноменологию политического сознания и политического действия, обращенную не в прошлое, а в будущее, не к абстрактному человеку и человечеству, а к конкретному носителю политической власти — новому Государю, основная миссия которого состоит в создании мощного единого национального государства.

Преобладание общих государственных интересов над частными, общеполитических целей над всеми другими определяет характер психологии нового Государя, психологии, которая по мере ее развития и конкретизации постепенно теряет индивидуальные черты, все более становится психологией социальной. Сквозь характер нового Государя все больше и больше проступают черты народного характера и характера народа, объединенного единой мечтой и целью, единой волей к борьбе за достижение этой цели. Для достижения цели, стоящей перед народом, Макиавелли считает все средства хорошими и пригодными. Макиавелли убежден в этом потому, что в реальной жизни под прикрытием самых возвышенных слов и нравственных ценностей осуществлялись самые низменные дела. Высокие добродетели и благородные заповеди часто служили оправданием самых кровавых и бесчеловечных злодеяний. Вот почему Макиавелли со всей откровенностью, на которую способен только глубокий и пронизательный ум, добрый и мужественный человек, со всей прямотой заявляет: «Итак, нет необходимости Государю обладать всеми описанными выше добродетелями, но непременно должно казаться, что он ими наделен. Больше того: я осмелюсь сказать, что если он их имеет и всегда согласно с ними поступает, то они вредны, а при видимости обладания ими они полезны; так, должно казаться милосердным, верным, человечным, искренним, набожным; должно и быть таким, но надо так утвердить свой дух, чтобы при необходимости стать иным ты бы мог и умел превратиться в противоположное. Тебе надо понять, что Государь, и особенно Государь новый, не может соблюдать все, что дает людям добрую славу, так как он часто вынужден ради сохранения государства поступать против верности, против любви к ближнему, против человечности, против религии. Наконец, он должен быть всегда готов обернуться в любую сторону, смотря по тому, как веют ветры и колебания счастья, и, как я говорил выше, не отклоняться

<sup>45</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 287.

<sup>46</sup> «Проблемы культуры итальянского Возрождения», стр. 107.

от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо»<sup>47</sup>. Ради достижения цели новый Государь не столько должен обладать общепризнанными добродетелями, сколько казаться обладающим ими, чтобы они не сковывали его действия, чтобы в случае необходимости он мог пренебречь этими кажущимися, а по существу формальными и пустыми добродетелями и пользоваться ими как средствами для достижения цели, по своему усмотрению. В мире, где царит несправедливость, в мире, где господствует сила, в мире, где насилие и вероломство возведены на уровень закона, в мире, где все продается и покупается, в мире, где все добродетели и все ценности давным-давно потеряли собственно человеческое содержание и стали формальными,— в этом мире все средства хороши, чтобы уничтожить этот мир и заменить его другим, более человечным и более достойным.

И все-таки, поскольку эти выхоленные, обезчелоченные добродетели еще имеют хождение и вызывают у людей признание и поклонение, то новому Государю не следует их отбрасывать, а стоит хотя бы внешне, хотя бы формально признавать их роль и значение, во всяком случае делать вид, что он считается с ними и обладает ими. «Итак, Государь должен особенно заботиться, чтобы с уст его никогда не сошло ни одного слова, не преисполненного перечисленными выше пятью добродетелями, чтобы, слушая и глядя на него, казалось, что Государь — весь благочестие, верность, человечность, искренность, религия. Всего же важнее видимость этой последней добродетели. Люди в общем судят больше на глаз, чем на ощупь; глядеть ведь может всякий, а пощупать только немногие. Каждый видит, каким ты кажешься, немногие чувствуют, какой ты есть, и эти немногие не смеют выступить против мнения толпы, на стороне которой величие государства, а ведь о делах всех людей и больше всего Государей, над которыми нельзя потребовать суда, судят по успеху. Пусть Государь заботится поэтому о победе и сохранении государства — средства всегда будут считаться достойными и каждым будут одобрены, потому что толпа идет за видимостью и успехом дела. В мире нет ничего, кроме толпы, а немногие только тогда находят себе место, когда толпе не на кого опереться. Есть в наше время один Государь — не надо его называть,— который никогда ничего, кроме мира и верности, не проповедует, на деле же он и тому и другому великий враг, а храни он верность и мир, не раз лишился бы и славы и государства»<sup>48</sup>.

Достаточно много внимания Макиавелли уделяет взаимоотношению нового Государя с народом. Прежде всего он предупреждает, чтобы новый Государь избегал таких дел, которые вызвали бы к нему ненависть и презрение: «...ненависть к нему вызывается прежде всего алчностью, захватом имущества подданных и жен их; от этого он должен воздержаться. Если не трогать имущество и честь людей, то они вообще довольны жизнью, и приходится бороться только с честолюбием немногих, которое можно обуздать разными способами и очень легко. Государя презирают, если считают его непостоянным, легкомысленным, изнеженным, малодушным, нерешительным; этого Государь должен остерегаться, как подводного камня, и надо ему умудриться сделать так, чтобы в поступках его признавались величие, смелость, обдуманность, твердость; по частным же делам подданных Государю надо стремиться к тому, чтобы приговор его был нерушим, и утвердить о себе такое мнение, чтобы никто не подумал обмануть Государя или перехитрить его»<sup>49</sup>.

Здесь Макиавелли формулирует довольно ясно и определенно неприкосновенность частной собственности и покоящихся на ней норм и правил буржуазной морали. Государю ни в коем случае не следует нарушать священных прав частной собственности и задевать честь своих подданных, в противном случае он вызовет к себе ненависть своих подданных, от которой ему будет трудно уберечься.

Столь же опасно для Государя и чувство презрения со стороны подданных — ему надо делать все возможное, чтобы сохранить в народе должное к себе уважение, а если это возможно, то и любовь.

Государю, как полагает Макиавелли, страшны две опасности: одна изнутри, от подданных, другая извне, от иноземных Государей. Против опасности извне защищаются хорошим оружием и хорошими союзами, а дела внутри страны всегда будут устойчивы, если все благополучно извне, лишь бы не начались заговоры и не пошла бы из-за этого смута.

<sup>47</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 288—289.

<sup>48</sup> Там же, стр. 289.

<sup>49</sup> Там же, стр. 290.

Против заговоров у Государя есть согласно Макиавелли одно из сильнейших средств, состоящее в том, «чтобы народ в целом не ненавидел и не презирал его»<sup>50</sup>. Государю очень важно завоевать расположение народа, тогда ему нечего и некого бояться: «Государю нечего обращать внимание на заговоры, если народ к нему расположен; но как только стал к нему враждебен и возненавидел его, Государь должен бояться всего, всех и каждого. И хорошо устроенные государства и мудрые Государи особенно усердно старались не озлоблять знатных и вместе с тем удовлетворять народ, сделать так, чтобы он был доволен, потому что в этом одно из главнейших дел Государя»<sup>51</sup>. В подтверждение своих выводов Макиавелли приводит пример короля Франции, который, чтобы избежать нареканий знати за покровительство простому народу, а нареканий народа за покровительство знати, учредил парламент, сдерживающий гордыню и властолюбие знати и ненависть народа к этой знати. Отдавая себе отчет в честолюбии и коварстве знати, а также учитывая огромную и решающую силу народа, Макиавелли формулирует положение, имеющее значение категорического императива: «Государь должен уважать знатных, но не возбуждать ненависти в народе»<sup>52</sup>.

Проблеме взаимоотношения нового Государя с народом и знатью Макиавелли уделяет достаточно много внимания, поскольку считает достижение определенного равновесия классовых сил одной из важнейших задач.

Исследуя эту проблему на конкретных примерах истории правления римских императоров, Макиавелли отмечает, что римские императоры должны были бороться не только с честолюбием знатных и с дерзостью народа, как это было в других государствах, но им приходилось выносить еще кровожадность и алчность солдат. В этом он усматривает одну из причин гибели многих римских императоров.

Макиавелли четко выявляет различие классовых интересов: народ дорожил спокойствием, а потому любил мирных правителей, а солдаты, естественно, любили воинственного, надменного, жестокого и хищного Государя. Те императоры, которые оказались неспособными держать в узде и народ и солдат, всегда погибали. Те же из них, которые поняли, что примирить эти два противоположных течения, эти две противоположные силы невозможно, предпочитали, чтобы избежать всеобщей ненависти, встать на сторону тех, кто был могущественнее, — на сторону солдат. Шло это на пользу или нет, зависело от того, насколько император заставлял солдат уважать себя.

Макиавелли отмечает, что такие императоры, как Марк, Пертинакс и Александр, все люди скромной жизни, ревнители справедливости, враги жестокости, человеческие и благожелательные, все, кроме Марка, кончили печально. В противоположность им императоры Коммод, Септимий Север, Антонин Каракалла и Максимин были согласно Макиавелли величайшими злодеями и хищниками — ради удовлетворения солдат они не останавливались ни перед каким насилием против народа. Но и все они, кроме Севера, кончили также плохо. Из этих наблюдений Макиавелли делает вывод: «...ненависть возбуждается одинаково и добрыми и дурными делами; отсюда следует... что Государь, желающий сохранить власть, часто бывает вынужден не быть добродетельным; ведь если развращена вся совокупность людей, в которых ты нуждаешься, чтобы держаться у власти, — будь то народ, или солдаты, или знать, — ты должен применяться к их прихотям, удовлетворять их, а в таком случае добрые дела — враги твои»<sup>53</sup>. В любом случае Макиавелли советует новому Государю следовать политике свирепейшего льва и коварнейшей лисицы, тогда ему удастся избежать главных причин гибели римских императоров, как, впрочем, почти всех власть имущих: ненависти или презрения подданных — народа, знати или солдат. В Римской империи солдаты были сильнее народа, поэтому императоры, как правило, заискивали перед солдатами, старались их ублажать. Современные Государи должны больше угождать народу, поскольку нет постоянных войск, сросшихся с правительством и с управлением провинциями. На основании рассмотрения истории правления римских императоров Макиавелли делает еще один принципиальный вывод: «...важнее удовлетворить народ, чем солдат, потому что народ сильнее солдат»<sup>54</sup>. Этот вывод постоянно подтверждался в последующей истории вплоть до настоящего времени. Ставка власть имущих на ар-

<sup>50</sup> Никколó Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 291.

<sup>51</sup> Там же, стр. 293.

<sup>52</sup> Там же, стр. 294.

<sup>53</sup> Там же, стр. 296—297.

<sup>54</sup> Там же, стр. 301.

мию, на солдат, на вооруженные силы, на их применение в агрессивной, захватнической политике если и приносила временный успех, то затем неизбежно следовало поражение.

Значение Макиавелли следует видеть не только в том, что он учил установлению новой власти, созданию нового государства, но в не меньшей мере и в том, что он учил сохранению уже существующего устойчивого и крепкого государства.

«Некоторые правители, чтобы спокойно владеть государством, обезоруживали своих подданных; другие старательно поддерживали в подвластных странах раздоры партий; третьи сеяли недовольство против себя же; некоторые старались привлечь на свою сторону людей, считавшихся в начале их правления ненадежными; иные возводили крепости, другие их разрушали и срывали»<sup>55</sup>. Эти обобщения реальной исторической практики и политической жизни Макиавелли делает предметом своего критического анализа. Ему ясно, что новый Государь не только не должен обезоруживать своих подданных, но скорее наоборот — «найдя их безоружными, он всегда их вооружал»<sup>56</sup>. Макиавелли видит здесь не просто техническую задачу — вооружить или разоружить подданных нового Государя, — отнюдь нет. Он видит здесь более важную и серьезную проблему — нравственную и политическую: привлечение подданных на сторону нового Государя. Врученное подданным оружие становится оружием самого Государя, а сами подданные превращаются из подозреваемых в сторонников новой власти, ибо оказанное им доверие (ведь всех вооружить нельзя) заставляет их чувствовать, что этим доверием они обязаны новому Государю. Большое доверие, большие опасности вызывают большую ответственность и большие обязанности. Отсюда Макиавелли делает вывод, что «новый Государь в новом государстве всегда создавал собственные войска»<sup>57</sup>. Он снова и снова призывает нового Государя создавать свою собственную армию. И в новом государстве, и в присоединяемых государствах следует «вообще устроить так, чтобы все вооруженные силы государства состояли из твоих собственных солдат, служащих тебе в твоей исконной земле»<sup>58</sup>.

Что касается поддержки и насаждения раздоров партий, то на этот счет Макиавелли высказывается достаточно определенно: подобная политика была правильной тогда, когда Италия находилась до известной степени в состоянии равновесия, а в его времена, как показывает история, подобная политика распрей приносила только вред, ибо города, в которых была рознь, при появлении неприятеля погибали. Самый убедительный пример — политика венецианцев, поддерживавших в подвластных им городах распри гвельфов и гибеллинов, чтобы они не объединялись против них. Как известно, это кончилось тем, что после поражения при Вайде венецианцы потеряли свои владения. Будучи сторонником сильной власти, Макиавелли убежден, что «подобный образ действия обнаруживает слабость Государя, потому что при твердом управлении такие смуты никогда не будут допущены; они выгодны только в мирное время, когда, пользуясь ими, можно легче властвовать над подданными, но как только наступает война, раскрывается ложь такого порядка»<sup>59</sup>.

Макиавелли справедливо полагает, что Государя становятся великими, когда преодолевают трудности и оказанное им сопротивление. Иногда судьба посылает Государю врагов, чтобы дать ему случай победить их и возвыситься. «На этом основании многие думают, будто умный Государь должен, когда представится случай, хитро возбудить против себя некоторых врагов, дабы, одолев их, еще больше увеличить свою славу»<sup>60</sup>. Известно, к каким роковым последствиям приводила эта широко укорененная в буржуазной политике практика.

Относительно того, что Государя, и особенно новые Государя, находили больше верности и пользы в людях, считавшихся в начале их правления ненадежными, чем в тех, кто сперва пользовался доверием. Макиавелли замечает, что «об этом нельзя говорить вообще, потому что все меняется в зависимости от обстоятельств»<sup>61</sup>. Если люди были в начале правления нового Государя его врагами, а теперь им нужна его поддержка, то Государь легко привлечет их на свою сторону. Они будут вынуждены честно служить, чтобы загладить создавшееся у Государя дурное мнение о них. А Го-

<sup>55</sup> Там же, стр. 303.

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Там же, стр. 304.

<sup>58</sup> Там же, стр. 304—305.

<sup>59</sup> Там же, стр. 305—306.

<sup>60</sup> Там же, стр. 306.

<sup>61</sup> Там же.

сударь всегда извлечет из них больше пользы, чем из тех, кто слишком убежден в беспорочности своей службы и потому пренебрегает его делами. Людей же, недовольных прежней властью, новому Государю лишь с большими трудностями и стараниями удастся привлечь на свою сторону, ибо ему невозможно будет их удовлетворить. Из наблюдений над подобного рода событиями Макиавелли замечает, что новому Государю «гораздо легче приобрести друзей среди тех людей, которые были ему сначала враждебны, погому что довольствовались прежним порядком, чем среди тех, кто из-за недовольства властью сделался его союзником и помог ему захватить государство»<sup>62</sup>.

Однако в целом мы видим, что Макиавелли в выборе друзей из бывших врагов не очень уверен, как он не уверен и в надежности существующих друзей Государя, поскольку реальная жизнь, реальные политические события были полны неожиданными и многообразными перипетиями. Все зависело от конкретных условий и обстоятельств: люди подозрительные оказывались честными и верными, а те, кто считался честным и верным, предавали. Отсюда и осторожность выводов Макиавелли.

Касаясь строительства крепостей, Макиавелли считает, что они могут быть как полезными, так и вредными — все зависит от времени. «Государь, который больше боится народа, чем чужеземцев, должен строить крепости, а правитель, который больше боится чужеземцев, чем народа, должен этим пренебречь... лучшая крепость, какая возможна, — это не быть ненавистным народу. Ведь если даже у тебя есть крепости, но народ тебя ненавидит, они тебя не спасут, потому что к народу, взявшемуся за оружие, всегда поспевают на помощь иноземцы... я буду хвалить и того, кто строит крепости, и того, кто этого не делает; вместе с тем я осужу того, кто, полагаясь на крепости, не посчитается с тем, что его ненавидит народ»<sup>63</sup>.

Макиавелли выстраивает внушительную программу, выполняя которую Государь может добиться того, чтобы его почитали. «Ничто не внушает такого почтения к Государю, как великие предприятия и редкие примеры, которые он показывает собою»<sup>64</sup>. В пример он ставит тогдашнего короля Испании Фернандо Арагонского, который из слабого короля благодаря молве и прославленности стал первым государем христианского мира. Его подвиги Макиавелли считает величественными и необыкновенными. Этот король спокойно и обдуманно готовил свои дела. Увлекая дворян подготовкой к войне, он приобретал высокое имя и власть над ними. Используя средства Церкви и народа на содержание войска, он кладет начало собственной военной силе, которая прославит его. Действуя во имя веры, он предавался благочестивой жестокости, изгоняя марранов из своего королевства и разоряя их. Прикрываясь той же религией, он захватил Африку, потом двинулся на Италию и напал наконец на Францию. Макиавелли высказывает в связи с деятельностью этого короля интересные соображения: «...так он все время совершал и готовил великие дела, чем и держал умы подданных, занятых мыслью об их исходе, в состоянии непрерывного напряжения и преклонения. Эти его предприятия были так связаны одно с другим, что в перерывах между ними у людей никогда не было ни времени, ни возможности одуматься и начать ему противодействовать»<sup>65</sup>.

По существу, Макиавелли излагает своеобразный кодекс поведения и действий нового Государя, его, так сказать, стратегию и тактику во внутренней и внешней политике. Все основные принципы этого кодекса направлены на укрепление власти нового Государя, на повышение его авторитета внутри страны и за рубежом, на прославление его имени, ума, добродетелей, доблестей. Макиавелли последовательно излагает содержание рекомендуемого им политического императива нового Государя: «Государю очень важно подавать собой редкие примеры в делах внутреннего управления... Это нужно в тех случаях, когда кто-нибудь сделает в гражданской жизни нечто особенное, хорошее или дурное, и надо избрать способ наградить или наказать его, о котором много бы говорили. Но, что важнее всего, — Государь должен суметь каждым своим поступком создавать о себе молву как о великом и выдающемся человеке. Далее, Государя уважают, если он настоящий друг или настоящий враг, т. е. когда он без всяких оговорок объявляет, что принимает чью-нибудь сторону против кого-либо другого. Это всегда лучше, чем не вмешиваться...»<sup>66</sup> Личная и гражданская жизнь:

<sup>62</sup> Никколó Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 307.

<sup>63</sup> Там же, стр. 308—309.

<sup>64</sup> Там же, стр. 309.

<sup>65</sup> Там же, стр. 310.

<sup>66</sup> Там же.

используются в интересах политических в той же мере, как и политическая власть используется в интересах гражданской жизни и в интересах возвышения, укрепления и величия власти нового Государя.

Макиавелли представляется здесь как реально мыслящий политик. Он не просто рассуждает, размышляет и взвешивает все за и против — нет, скорее он так излагает свои максимы политического действия, что они волей-неволей приобретают характер принципов такой политической линии, которая никогда не упускает из виду реальность, и как необходимость прокладывает себе дорогу через хаос случайностей, так и эта политика становится логикой политического поведения, политических действий. Может быть, не будет преувеличением сказать, что Макиавелли является основоположником реалистической политики, или политики политического реализма. Многие его советы звучат современно, а многие современные политические события развиваются как будто согласно его максимам.

Макиавелли рисует достаточно многосторонний облик нового Государя, соответствующий многообразным функциям политической власти нового времени: «Государь провялять себя покровителем дарований и оказывать уважение выдающимся людям во всяком искусстве. Он должен, кроме того, побуждать своих сограждан спокойно заниматься своим делом: торговлей, земледелием и всяким другим человеческим промыслом, чтобы один не воздерживался от улучшения своих владений из страха, как бы их не отняли, а другой не боялся открыть торговлю, опасаясь налогов; он должен приготовить награды и тому, кто пожелает все это делать, и тому, кто думает, так или иначе, о росте его города или государства. Наконец, Государь должен в подходящее время года занимать народ празднествами и зрелищами, и так как всякий город разделен на цехи, или трибы, правителю надо считаться с этими объединениями, бывать иногда на их собраниях, показывать пример приветливости и щедрости, однако всегда твердо охраняя величие своего сана, потому что ни малейшего умаления его не должно быть никогда и ни при каких обстоятельствах»<sup>67</sup>.

Макиавелли не обходит стороной и такой важный вопрос, как ближайшее окружение Государей — их советников. В контексте рассуждений Макиавелли этот вопрос имеет, пожалуй, более широкое значение, чем просто выбор подходящих для столь важного дела людей. «Немаловажным делом для Государя является выбор ближайших советников. Они хороши или нет, смотря по благоразумию правителя. Чтобы судить об уме Государя, надо прежде всего видеть его приближенных. Если они дельны и преданны, Государя всегда можно считать мудрым, потому что он сумел распознать годных и удержать их в верности себе. Но если они не таковы, то вполне возможно неблагоприятное суждение о Государе, потому что первую свою ошибку он делает именно в этом выборе»<sup>68</sup>. Ближайшие советники Государя — это те, кому доверяются самые важные и ответственные дела по управлению государством, кто облечен огромной властью и обязан проводить в жизнь основные идеи и замыслы Государя, осуществлять на деле его внутреннюю и международную политику. Это особо доверенные люди, на которых в первую очередь опирается в своей деятельности Государь. Именно поэтому Макиавелли считает, что выбор этих людей будет первой ошибкой или первой удачей нового Государя. Все зависит от его мудрости и способности распознавать людей.

Чтобы новый Государь не ошибся в выборе необходимых ему советников, Макиавелли полагает, что это зависит прежде всего от интеллекта самого Государя. «Ведь умы бывают трех родов, из коих один понимает все сам, второй усваивает мысли других, третий не понимает ни сам, ни когда ему объясняют другие; первые — это крупнейшие умы, вторые крупные, третьи бесполезные...»<sup>69</sup> Хорошо, если Государь обладает умом первого рода, когда он все понимает сам, — в этом случае ему нетрудно подобрать нужных ему людей, на которых он мог бы положиться и которым мог бы полностью доверять. Если же Государь обладает даже средним умом, способным усваивать мысли других, то и в этом случае он может подобрать подходящих советников, но он должен быть настолько рассудительным, чтобы распознавать добро или зло чьих-либо дел и слов, понимать дурные и хорошие поступки, за одни взыскивать, а за другие поощрять. В любом случае Макиавелли советует Государю проверять своих

<sup>67</sup> Там же, стр. 313.

<sup>68</sup> Там же, стр. 314.

<sup>69</sup> Там же.

советников или министров на деле. «Чтобы Государю узнать своего министра, на то есть следующий, всегда безошибочный способ: если ты увидишь, что советник думает больше о себе, чем о тебе, и во всех делах ищет собственной пользы, то человек такого склада никогда не будет хорошим министром, ты не сможешь на него положиться; тот, в чьи руки отдана власть, обязан никогда не думать о себе, а только о Государе и не смеет даже упоминать при нем о делах, не касающихся государства. С другой стороны, и Государь, чтобы поощрить усердие советника, должен о нем заботиться, оказывать ему почет, сделать его богатым, привязать его к себе, дела с ним и честь и укоры, дабы советник видел, что без Государя ему не устоять, дабы большие почести не вызывали в нем желания еще больших, большие богатства не побуждали его стремиться быть еще богаче, а тяжесть ропота кругом заставляла бы его бояться перемен. Итак, когда министры и Государя таковы, они могут доверять друг другу, но если дело обстоит иначе, конец всегда бывает печален или для одного, или для другого»<sup>70</sup>.

И до Макиавелли было известно, что всякий властитель имел близких, особо доверенных людей, облеченных большой властью. В этом смысле Макиавелли не говорит ничего нового. Новым здесь можно, пожалуй, считать то, что он ставит подбор советников Государю как важное государственное дело. Это не просто люди, преданные Государю, а государственные люди, заботящиеся о делах народа и страны, служащие верой и правдой народу и Государю.

Может быть, подобные требования в условиях эксплуататорского общества, в условиях ожесточенной классовой борьбы выглядят утопическими, тем не менее они соответствовали духу нового времени, борьбе с разложившимися феодальными порядками. Строить новое общество, новое единое итальянское государство, по убеждению Макиавелли, должны люди, беззаветно преданные делу свободы, единства и возрождения родины.

Политический реализм Макиавелли связывает свободу с истиной, правдой. Может показаться совершенно невероятным, что во времена, когда вся политика строилась по принципу «кто кого обманет» или «кто кого перехитрит», Макиавелли настаивает на том, чтобы Государь больше всего избегал льстецов, которыми полны дворцы, и окружал бы себя людьми, которые способны ему всегда говорить только правду, какой бы горькой она ни была. «Ведь нет средства оградиться от лести, кроме одного: люди должны знать, что они не оскорбляют тебя, говоря правду. Но если всякий может сказать правду в лицо, то пропадет почтение к тебе. Поэтому разумный Государь должен держаться третьего пути, выбирая в своем государстве мудрых людей, и только им он должен предоставить свободу говорить правду, притом только о делах, о которых он спрашивает, и ни о чем ином; спросить же Государь должен о каждом деле, выслушать мнение советников, а затем решить самому и по своему усмотрению. Обращаться с этими советниками и с каждым отдельно надо так: пусть считают, что они понравятся Государю тем больше, чем свободнее будут говорить. Помимо них, не надо слушать никого, без колебаний проводить принятое решение и твердо стоять на своем. Кто поступает иначе, тот или погибнет от льстецов, или часто меняет свои намерения вследствие разнородных советов: тогда его перестают уважать»<sup>71</sup>. Отсюда видно, что демократизм Макиавелли носит ограниченный характер. Ведь не ограниченная ничем власть принадлежит только Государю, все остальные, начиная от самых ближайших к Государю людей — советников и министров и кончая простым народом, должны или исполнять, или повиноваться воле Государя. Ничем и никем не ограниченные, безраздельные и безусловные власть и воля Государя, лежащие в основе построения нового государства и нового общества, диктуют соответствующий отбор и подбор людей, способных проводить политику нового Государя. Поскольку во всех делах решающее слово остается за Государем, то он должен каждое свое решение основательно обдумать, предварительно выслушав мнения своих советников. «Государь постоянно должен обращаться за советом, но только когда этого хочет он, а не другие. Мало того: он должен отбить у каждого охоту советовать ему в чем бы то ни было, если он сам об этом не просит, сам же должен быть щедрым вопрошателем и терпеливым слушателем правды о спрошенном; наоборот, он должен разгневаться, если увидит, что правду почему-то скрывают»<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 314—315.

<sup>71</sup> Там же, стр. 316.

<sup>72</sup> Там же, стр. 317.

Макиавелли опровергает распространенное мнение о том, что Государь, слывающий разумным, считается таковым не сам по себе, а благодаря хорошим советам, полученным от приближенных. Макиавелли считает это несомненной ошибкой, ибо «Государь сам по себе не мудрый не может иметь хороших советников, разве только он целиком доверится одному, который направляет бы его во всем и был бы человеком отменно умным. В таком случае это возможно; однако ненадолго, потому что такой руководитель скоро отнял бы у него власть; если же Государь, не будучи мудрым, спрашивает не одного, а нескольких, он никогда не получит согласных мнений и сам не сумеет привести их в согласие. Каждый советник будет думать о своей выгоде, а Государь не сможет ни исправить их, ни даже понять. Лучших найти не удастся, потому что люди всегда будут с тобой злы, если только необходимость не приведет их к добру. Итак, надо заключить, что хорошие советы, кто бы их ни давал, происходят от благоразумия Государя, а не благоразумие Государя от хороших советов»<sup>73</sup>.

Если правила, предлагаемые Макиавелли, соблюдаются Государями, то власть нового Государя делается крепче и обеспеченнее, а сам он становится как бы исконным. Новому Государю, не обладающему древней кровью, наследственной властью, необходимо проявить свои способности и силу в своих поступках и действиях. Главными деяниями, прославляющими нового Государя, являются согласно Макиавелли: основание нового государства, возвышение его, укрепление хорошими законами, сильным войском и достойными примерами. Поскольку события настоящего захватывают людей много больше, чем дела минувшие, то когда люди в настоящем находят благо, они радуются этому, не ищут ничего другого и будут всячески защищать нового Государя. И, напротив, Государь покрывает себя позором, если из-за собственного неразумия теряет власть. Макиавелли ссылается на печальный опыт итальянских Государей, которые лишились своих государств по ряду общих для них причин: плохого устройства войска, ненависти или враждебности к ним народа, а если пользовались расположением народа, то не смогли обезопасить себя от знати. Без подобных ошибок не лишаются государств жизненно сильных, способных выставить свои войска. «Итак, пусть наши правители, много лет властвовавшие в своих княжествах, обвиняют за утрату их не судьбу, а свою неумелость, в спокойные времена им никогда не приходило, что обстоятельства могут измениться (это общий недостаток людей — в ясную погоду забывать о буре), когда же наступили времена тяжкие, они думали о бегстве, а не о защите и надеялись, что народы, возмущенные наглостью победителей, призовут их обратно. Этот выход хорош, если нет других, но очень плохо упустить из-за него все прочие средства. Ведь никому не вздумалось бы упасть в надежде, что кто-нибудь тебя поднимет. Так не бывает, а если и бывает, то в этом нет для тебя безопасности, потому что подобная защита недостойна и от тебя не зависит; хороша, надежна, крепка только та помощь, которая зависит от тебя и от твоей собственной силы»<sup>74</sup>.

Таким образом, наделяя нового Государя неограниченной властью, Макиавелли в строгом соответствии с этим возлагает на него всю ответственность за состояние государства, за сохранение и укрепление и власти и государства. Макиавелли предупреждает Государя, чтобы он меньше всего полагался на судьбу, на других людей, на помощь извне, а больше бы уделял внимания развитию своего умения управлять людьми и государством, умения пользоваться данной ему властью, зорко следил за изменяющимися обстоятельствами, чтобы вовремя предупредить надвигающуюся беду и если не предотвратить ее, то хотя бы суметь ей достойно противостоять, всегда был на страже государственных интересов и даже в самые спокойные и счастливые времена думал о возможной опасности, чтобы вовремя принять все необходимые меры для защиты. Словом, Государь должен рассчитывать прежде всего на свое умение управлять государством и на созданные им самим вооруженные силы.

Италия во времена Макиавелли представляла собой своеобразную арену разного рода переворотов. Тем, кто не размышлял основательно над причинами подобных переворотов, они, естественно, представлялись проявлениями судьбы, фортуны, неожиданного счастья или несчастья. Считалось, что дела мира управляются богом и судьбой. Наблюдая за столь частыми в Италии переворотами, Макиавелли признается, что и он придерживался в известной степени распространенного мнения о событиях.

<sup>73</sup> Там же, стр. 317—318.

<sup>74</sup> Там же, стр. 319—320.



совершающихся наперекор всякой человеческой предусмотрительности. «Однако, дабы не была утрачена наша свободная воля, можно, думается мне, считать за правду, что судьба распоряжается половиной наших поступков, но управлять другой половиной или около того она предоставляет нам самим. Я уподобляю судьбу одной из тех разрушительных рек, которые, разъярившись, заливают долины, валят деревья и здания, отрывают глыбы земли от одного места и прибивают к другому. Каждый бежит перед ними, все уступает их натиску, не имея сил ни на какую борьбу. И хотя это так, оно все же не значит, чтобы люди в спокойные времена не могли принимать меры заранее, строя заграждения и плотины, дабы волны при новом подъеме или направлялись по отводу, или напор их не был так безудержен и губителен. То же происходит и с судьбой: она проявляет свое могущество там, где нет силы, которая была бы заранее подготовлена, чтобы ей сопротивляться, и обращает свои удары туда, где, она знает, не возведено плотин и заграждений, чтобы остановить ее»<sup>75</sup>. Если бы Италия, страна этих переворотов, была защищена достаточной силой, как Германия, Испания, Франция, то наводнение не причиняло бы стольких изменений или вовсе не случалось бы.

Революционный по своей сути дух Макиавелли не мог смириться с подчинением человека прихотям и капризам судьбы или бога, поэтому мыслитель призывает к сопротивлению судьбе вообще, к тому, чтобы поставить ей преграды, заранее подготовиться к ее ударам, чтобы они не могли принести значительных разрушений и нежелательных изменений. Хотя Макиавелли и признает за судьбой половинную долю происходящих событий, тем не менее вторую половину он отдает в руки самого человека, дабы не утратить свободную волю, творческую деятельность человека, его активность в самых различных областях жизни и деятельности.

Можно предположить, что под судьбой и божьей волей скрывалась историческая необходимость, но сам Макиавелли нигде не высказывается достаточно определенно на этот счет. Об этом можно только догадываться на том основании, что он судьбе и воле бога противопоставляет свободную волю человека.

Второй не менее важный момент заключается в том, что Макиавелли, наблюдая жизнь Государей, целиком полагающихся на счастье и погибающих, как только это счастье им изменяет, дает такое определение, которое можно считать по тем временам формулой конкретного историзма: «Утверждаю также, что счастлив тот, кто сообразует свой образ действий со свойствами времени, и столь же несчастлив тот, чьи действия с временем в разладе»<sup>76</sup>. На конкретных примерах Макиавелли демонстрирует, как разные люди разными путями достигают одних и тех же целей или одинаковые люди, идя разными путями, преуспевают одинаково, а иногда люди действуют одинаково, но одни достигают цели, другие нет. Все зависит, как убежден Макиавелли, от того, насколько люди применяются в своем поведении к свойствам времени. Если человек, каким бы он умным и мудрым ни был, не меняет своего образа действий применительно к постоянно меняющемуся времени, то он, как правило, погибает. Даже самому благоразумному человеку трудно приспособиться к изменениям времени, ибо трудно отступить от склонностей собственной природы. «...если бы вместе с временами и делами менялась его природа, то судьба была бы неизменной»<sup>77</sup>, — замечает Макиавелли. Следовательно, в частом изменении судьбы виноват в основном сам человек, который не может приспособиться к изменениям времени, не может изменять свой образ жизни соответственно духу времени.

Диалектика действительности определяет согласно Макиавелли диалектику поведения людей, диалектику поведения человека. Здесь коренятся основы политического реализма Макиавелли, и не только политического, а, скажем, и исторического. Ведь свобода воли человека действует не произвольно, а в соответствии с исторической необходимостью, а у Макиавелли — в соответствии со временем, с духом времени. Поэтому хотя Макиавелли и делит поровну долю участия судьбы и бога и долю участия свободы воли человека, все-таки то, как сложится судьба, как сложатся обстоятельства, в гораздо большей степени зависит от человека, от его воли, от его активной деятельности, чем от самой судьбы и от бога. «Итак, я заключаю, что раз судьба изменчива, а люди в поведении своем упрямы, то они счастливы, пока судьба в согласии с их поведением, и несчастны, когда между ними разлад. Полагаю,

<sup>75</sup> Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 320—321.

<sup>76</sup> Там же, стр. 321—322.

<sup>77</sup> Там же, стр. 323.

однако, что лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба — женщина, и если хочешь владеть ею, надо ее бить и толкать. Известно, что таким людям она чаще дает победу над собою, чем тем, кто берется за дело холодно. И наконец, как женщина, судьба всегда благоволит к молодым, потому что они не так осмотрительны, более отважны и смелее ею повелевают»<sup>78</sup>.

В последней, заключительной главе своего «Государя» Макиавелли буквально живописует, лепит трагический образ Италии: «...таким образом, теперь, желая познать доблесть (la virtù) итальянского духа, необходимо было, чтобы Италия опустилась до нынешнего предела и была больше рабой, чем евреи, больше слугой, чем персы, больше рассеянной, чем афиняне, без вождя, без законодательства, разбитой, ограбленной, разорванной, разваливающейся и испытывавшей все виды разорения... словно покинутая жизнью, ждет Италия того, кто может излечить ее раны, кто положит конец разграблению Ломбардии, хищению и поборам в Неаполе и Тоскане и исцелить давно загноившиеся язвы. Посмотрите, как она молит бога о ниспослании того, кто бы избавил ее от этих жестокостей и дерзостей варваров. Посмотрите еще, как она вся готова и расположена следовать знамени, лишь бы нашелся человек, который его поднимет»<sup>79</sup>.

Рассматривая все, что было сказано им в «Государе», и размышляя над тем, благоприятствуют ли его времена возвышению в Италии нового Государя, Макиавелли приходит к выводу: еще никогда не было более удачного, чем теперь, «времени, воздающего должное новому Государю», и «материала, которым мог бы воспользоваться благоразумный и добродетельный человек, чтобы придать ему новую форму, которая составила бы славу ему и благо всему населению Италии»<sup>80</sup>.

Причины подобного падения Италии Макиавелли видит в негодности старых учреждений и в слабости ее вождей, а также в наемных войсках. Исходя из этого, Макиавелли буквально скандирует программу-лозунг, программу-истину: «Здесь великая справедливость, потому что такая война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, когда оно является единственной надеждой»<sup>81</sup>.

Осуждая старые и существующие учреждения, Макиавелли тут же предлагает заменить их новыми, более действенными и совершенными: «Это происходит потому, что старые порядки не были хорошими и не было никого, кто мог бы найти новые; и ничто не принесит столько чести человеку, который начинает возвышаться, как найденные и созданные им новые законы и порядки»<sup>82</sup>. В них он видит величие государства, именно новые законы и порядки делают Государя предметом поклонения и восхищения. Еще и еще раз Макиавелли повторяет, что в Италии нет недостатка в материале, которому можно придать любую форму.

Макиавелли восхищается силой, ловкостью, мужеством, находчивостью итальянцев в различных поединках и схватках. Но как только они выступают вместе целым войском, так не выдерживают, терпят поражение. Причину этого Макиавелли видит в слабости вождей: «...все происходит из слабости вождей»<sup>83</sup>. Поэтому он возлагает надежды на нового Государя, на его понимание, на его умение руководить народом и страной в мирное и военное время, на его мудрость, смелость, хладнокровие и мужество.

И здесь снова, в который раз, Макиавелли призывает к созданию новой собственной армии, рассматривая ее «как подлинную основу любого военного предприятия, потому что нельзя иметь более верных, более настоящих, более хороших солдат, чем свои»<sup>84</sup>.

Макиавелли не просто призывает создать новую армию, но предлагает и средство для создания качественно новой армии — замену боевого строя: «...это будет сделано не генерацией оружия, но изменением порядков»<sup>85</sup>. Это изменение также составит репутацию и величие нового Государя.

<sup>78</sup> Там же, стр. 324.

<sup>79</sup> Niccolò Machiavelli *Il Principe. Opere scelte*. Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 115—116.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p. 115.

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 116.

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 117.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, p. 118.

Таким образом, процесс построения, или ментального созидания, Государя постепенно обретает все более и более осязаемые человеческие черты, черты государственного человека, или государственного деятеля. И тем не менее только в самой последней главе этот мифический антропоморфизм через постановку конкретных задач, через изложение конкретной программы, через обращение-призыв к конкретной личности и направленность всех этих характеристик, всей программы на конкретную цель, на достижение конкретно-исторических задач, начиная с данного момента, получает явственную форму конкретного человека.

Не вина Макиавелли, а беда Италии, что этот процесс растянулся на несколько столетий. Но зато именно ему принадлежит заслуга в политическом осознании этого кризиса, в указании и выработке средств преодоления бедственного положения Италии, в разработке и обосновании тех путей, следуя которым итальянский народ в конце концов добился создания единого национального самостоятельного и независимого государства. В этом историческом предвидении и предвосхищении состоит величайшая заслуга Макиавелли, его политической теории, политической философии, политического мировоззрения.

Последние слова заключительной главы звучат как призыв-завет, призыв-напутствие, призыв-надежда: «Нельзя, следовательно, упустить этот случай, дабы Италия увидела после столького времени ожидания появление своего избавителя. Не могу выразить, с какой любовью встретили бы его во всех провинциях, пострадавших от иноземных нашествий, с какой жаждой мщения, с какой несокрушимой верой, с какой благодатью, с какими слезами. Какие ворота закрылись бы перед ним? Какие народы отказали бы ему в повиновении? Какая зависть противостояла бы ему? Какой итальянец не оказал бы ему почтения? Каждому надоело зловоние варварского господства. Итак, пусть ваш знаменитый дом возьмет на себя обязательство с такой душой и такой надеждой, с которыми берутся за справедливые дела, чтобы под его знаменем облагородилось отечество и чтобы под его покровительством исполнилось то, что сказал Петрарка:

Доблесть с оружием в руках  
Выступит против бешенства,  
И бой будет кратким;  
Ибо древнее мужество  
Еще не умерло в итальянском сердце.

(Canz. XV, 93—96)».

Вся заключительная глава и ее последние слова, как бы концентрируя и аккумулируя в себе живительные нити всего процесса категориального анализа и теоретического построения нового мировоззрения, новой философии, нового Государя, получают вдруг ясную структуру, гармоничную архитеконику, законченное единство великого свидетельства и документа, в котором выражена целая эпоха итальянской истории, намечены возможные и необходимые пути ее дальнейшего развития, обоснованы задачи и средства для достижения заветной цели — объединения Италии, создания нового единого итальянского государства.

В заметках о политике Макиавелли Грамши дает важное, имеющее методологическую значимость определение сущности и основного содержания «Государя»: «...фундаментальный характер «Г о с у д а р я» есть не систематическая трактовка, а живая книга, в которой политическая идеология и политическая наука сливаются в драматической форме «мифа». Формы, в которых политическая наука обрисовывалась вплоть до Макиавелли — между утопией и схоластическим трактатом, — эти формы принимают в его концепции фантастическую и художественную форму, благодаря чему доктринальный и рациональный элементы воплощаются в кондотьере, который представляет пластически и «антропоморфно» символ «коллективной воли». Процесс формирования определенной коллективной воли для определенной политической цели представлен не посредством изысканий и педантических классификаций принципов и критериев метода действия, а как качество, характерные черты, обязанности, потребности конкретной личности, того, что заставляет работать художественную фантазию тех, кто хочет победить и дает самую конкретную форму политическим страстям»<sup>86</sup>.

Драма, разыгранная в голове великого флорентийца, представляла собой отражение и концентрированное выражение — простое и лаконичное по языку и глубокое,

<sup>86</sup> Antonio Gramsci. Note sul Machiavelli sulla politica e sullo Stato moderno. Opere, v. 5, Torino, G. Einaudi, 1952, p. 3.

сложное, диалектически противоречивое по содержанию — той действительной драмы, которая была присуща истории Флоренции, Италии, наконец истории Европы, истории противоречивой, драматической и часто весьма трагической, истории, в которой Макиавелли принимал самое активное участие, по крайней мере на протяжении почти двух десятилетий.

Макиавелли, как активный субъект истории, стремился свои действия осмысливать, а свои мысли проверять на деле, в действии. Однако этим не ограничивалось поле его политической, практической и интеллектуальной деятельности.

Граммши дает набросок структуры «Государя», его логическое построение, логику исследования и изложения. «Внутри томика Макиавелли рассматривает, каким должен быть Государь, чтобы вести народ к основанию нового государства, и исследование проведено строго логически, с научной отрешенностью; в заключение сам Макиавелли становится народом, сливается с народом, он не с народом «вообще», а с народом, который Макиавелли убедил своим предшествующим изложением, сознание народа находит выражение в Макиавелли, который вырабатывает его сознание, и осознает свою роль в выработке сознания народа, и ощущает свое тождество с народом: кажется, что вся «логическая работа» есть лишь саморефлексия народа, внутренний разум, осуществляющийся в сознании народа, завершающийся в страстном и непосредственном крике. Страсть, порожденная размышлениями разума о самом себе, вновь становится «аффектом», лихорадкой, фанатизмом действия. Вот почему эпилог «Государя» не является чем-то «приплетенным» извне, риторическим, но должен быть понят как элемент, который необходимым образом связан с произведением, и даже как такой элемент, который проливает подлинный свет на все произведение, делая его «политическим манифестом»...»<sup>87</sup>.

Утопическим элементом политической идеологии Макиавелли следует считать лишь то, что Государь был чисто теоретической абстракцией, символом вождя, идеальным кондотьером, а не исторической реальностью.

Что касается мифических элементов Государя, то как порождение конкретной фантазии они, выражаясь в драматической форме, стимулировали художественную фантазию тех, для кого это произведение было предназначено, придавая новые силы и максимальную конкретность политическим страстям. Мифические элементы, страстность, пронизывающие «Государя», исключительной силы драматизм изложения сливаются воедино в последней главе книги, в воззвании к «реально существующему» государю.

Макиавелли в известной мере перевертывает сложившиеся в истории отношения между идеологией и ее целями и идеалами, между идеологией и ее носителями — идеологами, между идеологией и теми, кто должен воплощать ее в жизнь, а главное — между идеологией и политикой.

Вычленение политики в самостоятельную науку — одно из самых важных достижений Макиавелли. Политика согласно Макиавелли есть символ веры человека и поэтому она должна занимать господствующее положение в мировоззрении.

Политическая идеология у Макиавелли направлена на достижение определенной политической цели — формирование коллективной воли, с помощью которой можно создать могучее, единое, унитарное итальянское государство. Оригинальность процесса формирования коллективной воли состоит в том, что Макиавелли представляет этот процесс в виде формирования качеств отдельной конкретной личности и в виде выработки таких категорий, которыми человек руководствовался бы в своей жизни и деятельности, — долга, обязанностей, потребностей и т. д., то есть антропоморфно. Поскольку подобный процесс стимулирует работу художественной фантазии и придает многообразию политических страстей конкретную форму, то политическая идеология, представленная Макиавелли, это не холодная утопия, а творение конкретной фантазии, воздействующей на рассеянный и распыленный (в политико-экономическом и культурном смысле) народ таким образом, что создает условия для порождения и организации коллективной воли.

Методологии Макиавелли присущ конкретный историзм (разумеется, в том содержании и в тех пределах, которые определялись уровнем развития общественно-экономической формации той эпохи, ее способом производства, уровнем развития производительных сил и производственных отношений, присущих переходному пе-

<sup>87</sup> Antonio Gramsci. Opere, v. 5, p. 4.

риоду от феодализма к капитализму). Макиавелли изучает общественные явления в их противоречивости, он опирается на факты реальной истории, на факты из жизни конкретного общества, будь то события из жизни Флорентийской республики или события из жизни Франции, Испании, других европейских государств. Поэтому совершенно неверно делать из Макиавелли «политика вообще», учение которого одинаково пригодно во все времена.

Но к изучению и толкованию Макиавелли надо подходить также конкретно-исторически: «Макиавелли нужно рассматривать главным образом как необходимое выражение его времени и как выражение, тесно связанное с условиями и требованиями его эпохи, которые следуют: 1) из борьбы внутри Флорентийской республики и из особой структуры государства, которое не смогло освободиться от муниципально-коммунальных остатков, то есть от формы, ставшей препятствием феодализма; 2) из борьбы между итальянскими государствами за установление равновесия в итальянской сфере, чему препятствовало существование Папства и другие феодальные, муниципалистические остатки формы государства-города, а не территориального государства; 3) из борьбы более или менее солидарных итальянских государств за европейское равновесие или из противоречий между необходимостью внутреннего итальянского равновесия и требованиями европейских государств в борьбе за гегемонию... Макиавелли является полностью человеком своей эпохи; и его политическая наука представляет собой философию времени, которая стремилась к организации абсолютных национальных монархий, политическая форма которых позволяет и облегчает дальнейшее развитие буржуазных производительных сил»<sup>88</sup>.

Тесная связь с условиями и требованиями того времени определила реалистический характер политической философии Макиавелли, ее цели, метод и структуру.

Исходя из требований своего времени, Макиавелли формулирует исключительно важную историческую задачу — создание единого унитарного итальянского государства. За этой внешне простой формулой кроется сложная и глубокая работа мысли: субъективная диалектика, отражающая и выражающая еще более сложную структуру диалектики объективной, диалектики социально-экономических и политических событий, сложнейшую расстановку классовых сил, слоев, групп, партий.

Исследуя структуру этой объективной диалектики, Макиавелли постепенно, в ходе диалектического анализа реальных противоречий связывает и выстраивает противоречия реальной действительности в тугой узел категориальной системы, в процессе построения которой постепенно нащупываются, затем начинают осознаваться и наконец намечаются цели, задачи, средства, последовательность в разрешении противоречий, определяются параметры субъекта и объекта исторического действия, вырабатывающих коллективную политическую волю, волю как деятельное сознание исторической необходимости, как главного героя современной ему исторической драмы.

В ходе анализа у Макиавелли зреет мысль, что вести народ к построению нового государства может лишь Государь — не конкретно-историческая личность, а нечто отвлеченное, символическое, обладающее такими качествами, которые в своей совокупности недоступны никакому живому государю, как это демонстрирует сам Макиавелли на многочисленных примерах из истории и современной ему жизни. Именно поэтому Макиавелли большую часть своего исследования посвящает вопросу, каким должен быть Государь, чтобы выполнить историческую задачу — построение нового государства.

Исследование проводится строго логически, с научной отрешенностью, то есть объективно, но вместе с тем Макиавелли постоянно имеет в виду тот объект, из которого он выводит основные характеристики идеального Государя, — народ, народ как реальный прообраз идеального Государя. Чем больше качеств извлекает Макиавелли из народа для Государя, тем активнее логика рассуждений подталкивает его к необходимости экстраполяции извлеченных из живой жизни и «живого материала» качеств на исторически конкретную личность, на живого государя, и, наоборот, чем живее, полнокровнее становится конструируемый им образ Государя со всеми необходимыми ему качествами и чертами характера, тем органичнее они экстраполируются на весь народ.

Поскольку Макиавелли схватывает самые основные и существенные интересы и чаяния народа, то сознание народа воплощается в его сознании, тем самым по-

<sup>88</sup> Antonio Gramsci. Opere, v. 5, pp. 13—14.

средством осмысления требований своего времени, их теоретического обобщения он вносит свою весьма серьезную лепту в формирование и развитие народного сознания. В конечном счете логическая обработка, логическое построение сознания претерпевают настолько радикальное преобразование, что логика исследования и логика изложения становятся тождественными становлению и формированию народного сознания и самосознания, а сознание и самосознание народа — сознанию и самосознанию Макиавелли. Отсюда чувство слитности и тождества Макиавелли с народом — с народом, с которым он вел диалог, с которым рассуждал, мыслил, беседовал и который он, кажется, убедил.

Размышления сознания исторического субъекта-объекта о самом себе, совпадение узловых моментов его рефлексии с основными категориями логического анализа исторических событий порождают исторически обусловленную страсть к действию, к активной деятельности, страсть-пафос радикального преобразования и созидания нового общества и нового государства. Момент совпадения, тождества народного сознания и сознания Макиавелли в процессе ментального, логического построения идеального Государя, а следовательно, и новой политической философии, нового мировоззрения внезапно прорывается в произвольном, страстном крике-радости, крике-призыве, крике-ликновании, когда все содеянное и возведенное предстает сразу во всем своем великолепии, когда весь трудный и тяжкий путь исследования и изложения, логического построения и созидания предстает в облике, может быть, лишь однажды за всю жизнь открываемой человеком великой истины, — истины познания, самосознания, действия и красоты.

С первых страниц «Государя» веет свежим дыханием жизни: Макиавелли исходит из реального жизненного опыта и пытается возводить свои теоретические построения на фундаменте этого опыта и на его конструкциях. Это сочинение, как, впрочем, и другие, является живым срезом, живой картиной того времени. Все действующие лица в этой исторической картине реальные — или современники Макиавелли, или те, которые когда-то существовали и вызываются им на арену действия для того, чтобы что-то доказать или что-то опровергнуть. Идет ли речь о римских императорах, о древних греках, об иудеях, персах, или о Франческо Сфорца, о герцоге Валентино, о короле французском Людовике XI или о турецком султানে, о Савонароле или Франческо Гвиччардини, о римских папах Юлии II, Льве X, Клименте VII или о Ганнибале — за всеми этими именами у Макиавелли ощущается реальная история, реальная борьба, реальные действия, люди, события. В выборе имен, лиц, событий, мест сражений у Макиавелли нет ничего случайного, лишнего, все выполняет определенную функцию, все направлено на порождение определенного смысла, все отливается в чеканные формулировки теоретических обобщений практического исторического опыта.

Так, рассматривая деятельность французского короля Людовика XI в Италии, Макиавелли подробно описывает его деяния, чтобы затем на его ошибках научить других — чего не следует делать или чего необходимо избегать. «Следовательно, Людовик сделал эти пять ошибок: уничтожил малых правителей; увеличил в Италии могущество тех, кто был могуч; ввел в нее могущественного чужестранца; не поселился в ней; не основал в ней колоний. И эти ошибки, пока он был жив, еще не повредили бы ему, если бы он не сделал шестой — отнимать государство у венецианцев, потому что если бы он не создал величие Церкви, не призвал в Италию испанцев, то было бы вполне разумно и необходимо их разорить; но раз он уже сделал и то и другое, то ему ни в коем случае нельзя было допускать разорения Венеции»<sup>89</sup>. Ибо пока венецианцы были сильны, они удерживали всех других от захвата Ломбардии, так же как никто не осмелился бы отнимать Ломбардию у Франции и передать ее Венеции. Из этого Макиавелли выводит общее правило, которое, по его мнению, никогда или редко бывает ошибочным: «Тот, кто является причиной становления могущества другого, погибает; потому что могущество вызывается им искусством или силой, и то и другое вызывает подозрение у того, кто стал могучим»<sup>90</sup>. Из этого общего правила логически следует вывод: не усиливай могущество другого, иначе погибнешь, лучше нарацивай свое могущество.

Если рассматривать эти правила вне связи с историческими условиями, в отрыве от эпохи, в которую жил Макиавелли, то они представляются безнравственными,

<sup>89</sup> Niccolò Machiavelli *Opere scelte*. Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 15–16

<sup>90</sup> *Ibid.*, p. 17.

недостойными благородных людей. Если же вспомнить, что в те времена отдельные княжества и государства вели друг с другом бесконечные захватнические войны, когда война была чуть ли не основным ремеслом государственных деятелей, то эти правила обретают определенный положительный смысл и содержание. Государь, следующий этим правилам, естественно, должен иметь преимущества перед теми, кто этим правилам не следует.

Важнейшее значение имеет исходная точка зрения, а именно — выделение политики в самостоятельную сферу, автономную дисциплину со своими специфическими законами и категориями, что, как мы уже говорили, составляет огромную заслугу Макиавелли. Правда, данный исходный пункт требует также некоторых уточнений.

Известно, что до Макиавелли в традиции европейской мысли политика, равно как и культура, рассматривалась в системе теоретического знания то как его составные части, органические элементы, то как нечто дополнительное, но, пожалуй, необязательное. Да и после Макиавелли эта традиция оставалась почти непоколебленной вплоть до возникновения марксизма. Даже классики немецкой идеалистической философии, может быть за исключением Фихте, рассматривали вопросы культуры и политики в последнюю очередь, собственно культурные элементы оставались на полях философии, метафизических исследований, то есть носили как бы маргинальный характер.

Макиавелли, как нам представляется, выделяя политику в автономную дисциплину, явился не только основоположником политической науки, политической философии, политического мировоззрения, но он впервые в истории европейской мысли все человеческое знание рассматривает под эгидой политики, понимая, что современная ему культура, в особенности гуманистическая (литература и искусство), несмотря на высокий взлет, уже подернулась пеленой разложения и упадка, из которого ее может вывести только развитие политического сознания и политического мировоззрения.

Политика развивается на почве богатой европейской культуры, но, в свою очередь, политика, формируя коллективное, скажем, общественное сознание и коллективную, общественную волю и направляя их на достижение главной цели в жизни тогдашнего итальянского общества — создание единого итальянского государства, поворачивала культурную регрессию лицом к реальным, жизненно важным проблемам, давая новые стимулы и раскрывая новые перспективы перед постоянно растущим и развивающимся пантеоном сокровищ европейской культуры, собравшим выдающиеся достижения человеческого духа как бы под одной крышей и не знавшим, что делать с этим несметным и бесценным богатством. От осуществления политических целей и решения политических задач будут зависеть дальнейшие судьбы культуры не только в общепитальянском, но и в общеевропейском, а значит, и в общечеловеческом масштабе. Как действенность и эффективность политики зависели от ее опоры на всю предшествующую культуру, так и дальнейшее развитие культуры зависело от разрешения важнейших политических проблем. Не включение политики в культуру и не включение культуры в политику, а вычленение политики в самостоятельную сферу для радикального решения социально-экономических, политических и культурных задач эпохи — вот что скрывается за автономией политики и политической автономностью. С этого момента параллельное движение и развитие философии, политики, права, морали будет все более и более сближаться и пересекаться, чтобы все больше и больше пронизывать политику научным знанием, нравственностью, культурой, а философию, нравственность, культуру поднимать на уровень политического сознания, содержащего в зародыше перспективы грядущего развития человеческого общества.

Макиавелли первым с особой остротой выразил специфическое противоречие итальянской истории, обусловленное расстановкой классовых сил и классовой борьбой внутри страны и на международной арене, — противоречие между мощным духовным потенциалом итальянского народа и совершенно не соответствовавшим ему слабым, хилым государственным устройством: отрыв культуры от политики, культурной деятельности от решения политических задач национального масштаба, как и отрыв политики от культуры, ее культурная необоснованность, отрыв политики от высоких идеалов, которые вырабатывались культурой, отсекали культуру от жизненных истоков, делали ее абстрактной, оторванной от реальной жизни, а политику

превращали в мелкое, провинциальное политиканство и торгашество, где уже не могло быть и речи о решении каких бы то ни было общенациональных задач. Этот затянувшийся на столетия кризис в истории Италии постепенно привел к глубокому разрыву между культурой и жизнью, между интеллигенцией и народом, между общественными идеалами и исторической реальностью. Естественно, этот процесс породил общее падение нравов, повсеместное разложение, когда безнравственность и пороки выдавались за нравственность и достоинство, когда парализовались инициатива, воля и активность народных масс. Внутренняя междоусобная борьба, распад, и разложение усиливались иностранным господством, эксплуатацией, грабежом и насилием.

С этой точки зрения основное содержание «Государя» Макиавелли — это своеобразный триптих, состоящий из морфологии народного сознания, размышляющего о самом себе и о собственных судьбах, учения о создании нового единого италийского государства, учения о Государе, формирующем коллективную национальную волю и коллективное национальное сознание, направленные на национальное объединение. В этом свете принципы, правила, нормы, категории и законы, открытые и сформулированные Макиавелли, обладают многозначностью содержания и смысла, полифункциональностью, многоплановостью, а нередко и глубокой диалектичностью.

Касаясь различных интерпретаций «Государя», Грамши замечает, что намерения Макиавелли в написании «Государя» были более сложные и более демократичные, чем принято думать, поскольку они вытекали из демократической интерпретации действительности.

Макиавелли справедливо полагал, что необходимость унитарно-национального государства была столь велика, что не могло быть разногласий относительно того, что для достижения этой самой высокой цели следует применять только такие средства, которые являются пригодными. В связи с этим следует понимать и соответствующее положение Макиавелли о воспитании народа. Для него воспитывать народ — это значит делать его убежденным и сознательным, следовательно, в соответствии с этим, чтобы достичь желаемой цели, необходимо придерживаться единственно возможной политики — политики реалистической и применять только такие методы, которые позволяли бы добиваться поставленной цели. В этом Макиавелли обогнал свое время на несколько столетий, ибо его позиция в этом смысле, по замечанию Грамши, была достаточно близкой позиции теоретиков философии практики, то есть философии марксизма. Однако надо иметь в виду, что «демократия» Макиавелли «является таким типом демократии, который соответствует его времени, то есть является выражением активного согласия народных масс на абсолютную монархию как ограничивающую и разрушающую феодальную и синьориальную анархию и власть пап, как основывающую великие национальные территориальные государства — функции, которую абсолютная монархия не могла выполнить без поддержки буржуазии и постоянного, централизованного, национального войска, и т. д.»<sup>91</sup> К этому следует лишь добавить, что в различных интерпретациях Макиавелли часто забывают, что «абсолютная монархия в те времена была формой народного строя и что она опиралась на буржуазию против нобилей, а также против клира...»<sup>92</sup>.

Грамши подчеркивал философское значение утверждения Макиавелли о том, что политика является самостоятельной областью деятельности с присущими ей законами и принципами, отличными от законов морали и религии, поскольку это утверждение обновляло все мировоззрение в целом, следовательно, имело революционное значение. Тот факт, что это утверждение не стало общепризнанной истиной, что оно продолжает оспариваться еще и поныне, наводило на мысль о том, что, может быть, та духовная и нравственная революция, элементы которой содержатся в зародыше в учении Макиавелли, еще не осуществилась, еще не стала общепризнанной формой национальной культуры, или, может быть, этот факт имеет лишь актуальное политическое значение, позволяющее выявить разрыв, существующий между правителями и управляемыми, указывающий на существование двух культур — культуры правителей и культуры управляемых — и на то, что руководящий класс, подобно Церкви, занимает особую позицию по отношению к рядовым людям, обусловленную тем, чтобы не отрываться от них и одновременно поддерживать среди них убеждение.

<sup>91</sup> Antonio Gramsci. Opere, v. 5, p. 117.

<sup>92</sup> Ibid., p. 118.



что Макиавелли — это дьявольское наваждение. Все это подводит к вопросу о значении Макиавелли для своего времени и о целях, которые он ставил перед собой, когда писал свои книги, и особенно «Государя».

Доктрина Макиавелли в его времена не была чем-то чисто книжным, монополией изолированных мыслителей, тайной книгой, распространяемой лишь между посвященными. Стиль Макиавелли также не является стилем авторов систематических трактатов, как это было во времена средневековья и Гуманизма, наоборот, это стиль человека действия, человека, который хочет вызвать действие, это стиль партийного манифеста.

В связи с этим различного рода абстрактно-философские (Кроче) и абстрактно-моралистические интерпретации учения Макиавелли, содержания этого учения, целей и задач, которые ставились, односторонни и ошибочны. Видимо, нельзя истолковывать доктрину Макиавелли только моралистически, как это делает Фосколо, потому что Макиавелли наряду с нравственными задачами решал и задачи политические. Вряд ли можно считать правильным и утверждение Кроче о том, что макиавеллизм, становясь наукой, в одинаковой мере служит и дворянам и разбойникам, чтобы защищаться и убивать.

Сам Макиавелли замечает, что вещи, о которых он пишет, применяются и всегда применялись самыми великими историческими личностями, поэтому вряд ли Макиавелли хотел поучать тех, кто уже знает, что делать и как делать, ведь его стиль не был стилем беспристрастной научной деятельности. «Следовательно, можно предполагать, что Макиавелли имел в виду тех, «кто не знает» (*chi non sa*), что он стремился политически воспитывать тех, «кто не знает», не негативное политическое воспитание тираноненавистников, как это, кажется, понимал Фосколо, а позитивное воспитание того, который должен признавать необходимые определенные средства, даже присущие тиранам, поскольку он хочет добиться определенных целей. Тот, кто рожден в традиционной обстановке государственных деятелей, почти автоматически приобретает характер реалистического политика благодаря всему комплексу воспитания, полученного им из семейной среды, в которой господствуют династические или фамильные интересы. Кто же, следовательно, «не знает»? Революционный класс того времени, итальянский «народ» и «нация», городская демократия, породившая из своей среды Савонаролу и Пьера Содерини, а не Каструччо и Валентино. Можно считать, что Макиавелли хочет убедить эти силы в необходимости иметь вождя, который бы знал, чего он хочет и как достичь того, чего он хочет, и признать этого вождя с энтузиазмом, даже если его действия будут противоречить или казаться противоречащими распространенной идеологии того времени, религии»<sup>93</sup>.

Таким образом, Макиавелли хочет воспитывать политически не князей и государей, а революционный класс того времени, итальянский народ и нацию, городскую демократию, то есть тех, «кто не знает», непосвященных, неосведомленных, но представляющих собой прогрессивную силу истории. Может быть, именно этим объясняется тот факт, почему Макиавелли написал «Государя» не как секретные или заповедные мемуары и не как инструкции советника государя, а как книгу, предназначенную для всех. Хотя макиавеллизм и принес улучшения и усовершенствования политической техники правящих консервативных групп, это не может скрыть его существенно революционного и демократического характера.

Грамши убежден в том, что Макиавелли, конечно, не хотел обучать государей максимам, которые они знали и применяли на деле, как раз наоборот, он стремился обучать революционный класс последовательности в искусстве управления и последовательности в достижении определенной цели — создании унитарного итальянского государства. И в этом смысле «Государь» — книга не академическая, а книга непосредственной революционной страстности, манифест партии, опирающейся на научную концепцию политического искусства. Макиавелли обучает также и последовательности в применении достаточно жестоких, «зверских» средств, но эта последовательность — необходимая форма определенной и актуальной политической жизни. То, что потом из содержания произведений Макиавелли могут извлекаться элементы чистой политики — это другой вопрос, который уже касается места, занимаемого Макиавелли в процессе формирования современной политической науки, которое согласно Грамши является не таким уж маленьким.

<sup>93</sup> Antonio Gramsci. Opere, v. 5, p. 10.

К этому необходимо добавить, что произведения Макиавелли являются произведениями индивидуалистического характера, выражением личности, которая хочет вмешаться в политику и в историю своей страны, и в этом смысле они являются произведениями демократического происхождения. Это не uomo singolare, не «единичный человек», благоговейно вззирающий на себя и свое окружение, это не человек, созерцающий человеческую красоту и красоту мира, а человек, достигающий и раскрывающий основные тенденции развития своей эпохи, ее главные требования и устремления, все, что мешало ее дальнейшему социально-экономическому, политическому и культурному развитию, и решивший активно вмешаться в политику и историю своей страны, чтобы коренным образом изменить их дальнейшее развитие.

Макиавелли написал не утопию, в которой уже было бы конституировано государство со всеми его функциями и со всеми его элементами, с подробнейшим описанием всех правил и норм общежития, всего жизненного уклада, жизнедеятельности его граждан,— нет, он написал книгу о непосредственном политическом действии. «В его трактовке, в его критике настоящего,— как подчеркивает Грамши,— он выразил общие понятия, которые тем не менее представляются в афористической форме, и выразил оригинальное мировоззрение, которое можно было бы назвать «философией практики», или «неогуманизмом», поскольку не признает трансцендентные или имманентные элементы (в метафизическом смысле), но основывается целиком на конкретном действии человека, который ради своей исторической необходимости преобразует и изменяет действительность»<sup>94</sup>. Трудно сказать, насколько прав Грамши, называя политическую философию Макиавелли философией практики, но то, что философия Макиавелли несла в себе гуманизм, весьма отличный от гуманизма многих выдающихся представителей эпохи Возрождения и особенно от гуманизма представителей эпохи Гуманизма, не подлежит никакому сомнению.

---

<sup>94</sup> Ibid., p. 90.

(Окончание следует)

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАМЯНОВ



## КЛАССИКА ЭКЗАМЕНУЕТ

### Проблема «проходного балла»

**Н**аша текущая литература — и это уже не раз отмечалось — все настойчивее призывает корифеев мирового искусства в учителя и наставники. Что ж, каждый из славной плеяды классиков в свой срок передал наличный запас идей, образных средств и «приемов» в общую копилку культуры: пользуйтесь, товарищи потомки!

Воспользоваться, однако, не просто.

Мы, конечно, легко обнаруживаем у современных авторов то неспешный разворот периодов с целыми гирляндами обособленных оборотов и однородных придаточных — «под Толстого»; то горячие самообнажения персонажей, которыми словно передалась карамазовская душевная дрожь; то мягко-лиричные, тонко ритмизованные описания природы, хранящие на себе отсветы чеховской или бунинской прозы... Однако у переимчивой литературы не очень много шансов на успех. Завороженная звучанием чужого сильного голоса, она в лучшем случае способна передать его модуляции. Это во-первых. Во-вторых, усилия воспроизвести или повторить (чей-то творческий почерк, рисунок, стиль и т. п.) стирают черты ее собственной неповторимости. В-третьих, при такого рода усилиях заметно расплывается энергия, необходимая автору для самостоятельных шагов, — заметно для читателя, который без труда различает, втянулся автор в дело, влег, что называется, в постройку или, отвлекаясь от главного, примеривается взглядом к тем или иным высоким образцам.

Переимчивую литературу всегда подводит поспешность. Ей не терпится сделать выбор в ряду славных имен и прикрепить для стажировки к одному или пусть нескольким корифеям.

Между тем выдающиеся мастера прошлого в деле наставничества — крепкие коллективисты; каждому, кто хотел бы стажироваться при облюбованном классике, приходится набрать некий «проходной балл», уяснить то, в чем классики едины, и лишь затем постигать многообразие творческих принципов, манер и т. п. А едины они в познавательной своей установке, обыкновении резче всего подавать предмет, когда он вроде бы распределен, выведен за черту прямых очевидностей.

В мире классического произведения — как посреди горного массива: дали раздвинуты, за горизонтом угадываются новые. И произнесенное слово рождает многоколенное эхо. Чем дольше оно не смолкает, тем отчетливей для нас присутствие автора, чья мысль активнее всего работает в глубине застрочного пространства. Там ее настояще владения, там она и сохранна, то есть не подвержена никакой эрозии, натиску новых веяний и т. п.

Глубина застрочного пространства «сет глаза», словно осенинская синь, и обмерам не поддается.

Но, помимо глубины, есть осязаемая предметность, есть уровень узнаваемых житейских, географических, календарных и т. п. очевидностей, вроде бы вполне подконтрольных обыденному сознанию. Вроде бы! Потому что и реалии здесь просвечены все той же синью.

А как ее приспособить к нуждам минуты, эту синь? Особенно в условиях разломов и кризисов, когда неотложные заботы одна другую нагоняют? Когда у делового сознания — первостепенной важности роль и полномочия сообразно такой роли? Ответы на самом виду...

Классика, подтянутая поближе к горя

чим точкам современности, долгие годы выглядела у нас чересчур молодцеватой, ясноокой, открытой и близкой позитивными идеями, а равно поучительными «заблуждениями».

Общение с великим художником происходило, так сказать, накоротке. До него было рукой подать: вот он, на первом плане своих правдивых картин. Вблизи от нас. Тем и интересен. Пусть даже не только тем: в неведомых даях его все равно искать некогда... Такова нормальная логика деловитости, расходящаяся, правда, с логикой искусства. Деловитость любит выманивать искусство на себя, для него же привычной самому вовлечая в свои просторы, রাখивая перед нами синь, которая «сосет глаза». И если долгое время мы общались с художественными авторитетами прошлого все больше на своем языке (во всяком случае, на языке своих нужд), то ведь и навыки соответствующие приобрели. Просто ли теперь их менять? Перестраивать внимание сообразно строю авторской мысли, которая зовет в собственные пределы или даже в беспредельность?..

Что же в свете сказанного означает отрадный тезис: «Нынешняя литература прилежно учится у классики»? И как протекают такого рода уроки? Хотя бы некоторые..

### С далеким опережением

Искусство, как известно, с охотой черпает свои сюжеты из судебной хроники. Потому хотя бы, что преступник — невольный ревизор сложившихся порядков и установлений: прочна ли их система, тверды ли ее основания?

И атакованная система не только отвечает карательной мерой. Она тут же принимается рефлексировать, оглядываться на себя, определяя, как серьезно, на какую глубину задета нарушением, настраиваясь на отпор, свежую активность перед лицом повторных нарушений.

Ну а если общественная мораль не просто ущемлена или подорвана? Если отринута начисто со всеми ее резонами, отброшена как предрассудок, вяжущий по рукам «сильную личность» либо скопище «сильных личностей»? Тогда отринутое правосознание вынуждено возражать всей глубиной своих резонов. И заодно самоопределяться, подвигая поближе к свету глубинные основания моральных норм и запретов.

В нашем столетии против капитальных

начал человечности поднялся преступник особого склада и закалки — военный (в лексиконе юристов для него даже не отыскалось готового определения). Поднялся, имея при себе, помимо обычных принадлежностей ремесла, еще и теорию, призванную упразднить «бессильный гуманизм», изгнать из обихода «химеру совести» и т. п.

Под дамочковым мечом пацистской доктрины оказались не только многие миллионы жизней, но и положительный опыт истории, вся цепь духовной преемственности, протянувшаяся к нам от самых ранних цивилизаций. Складывалось, таким образом, грандиозное противостояние сил, диктовавшее свой масштаб и жизнеохранительную гуманистическую мысль. Художественной в том числе. Тем не менее мы и по сей день сокрушенно повторяем, что трагическая правда войны не встретилась со своим Львом Толстым. И встретится ли?..

А ведь русская культура прошлого века словно уталада нынешнюю нашу потребность, духовную задачу — найти для события объемлющее слово — и даже путь решения сумела наметить.

Вряд ли сегодня покажется случайной чуткость отечественной классики к бонапартистским химерам, туманившим многие головы, к слабому или пусть пробному наклону умов и душ в сторону вседозволенности и возвышения над «толпой».

На Западе еще не вызрело до конца, не налилось страстью и зловещим пафосом учение о «сверхчеловеке», а Родион Раскольников уже протащил себя через свой кровавый эксперимент, Верховенский-младший попробовал на вкус идею «свеженькой кровушки», а толстовский Наполеон, сбившись с державного шага, испытал при Бородине пугающую тяжесть собственных головы и груди, вдруг напомнившую о возможности и для него самого страданий и смерти.

Впрочем, прежде Толстого и Достоевского тему, столь волновавшую обоих, затронул Пушкин. В «Моцарте и Сальери» он, как известно, приоткрыл тайную лабораторию «гения», утверждавшегося в праве на злодейство. Самый зачин маленькой трагедии, первые же слова Сальери: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше» — как бы сжатый парафраз опорных идей автора «Заратустры» и «По ту сторону добра и зла», которого и на свете пока не было... А другой писатель, последний из корифеев классического реализма и младший современник Фридриха Ницше, — Чехов уже ясно различит в идей-

ной разногласии эпохи зловещую доктрину селекционного отбора «нужных» людских экземпляров и отбраковки «негодных» (вспомним линию фон Корена в «Дуэли»).

Русский XIX век передал XX веку разветвленную линию защиты человека и человечности от новых эпидемий бонапартизма, от своекорыстного мифа об изначальном неравенстве людей, мифа, который настаивает на полной своей легализации и всепризнании. Притом линия защиты возведена с таким запасом надежности, так глубоко эшелонирована, будто откуда, из тех исторических далей, были угаданы и напор и новейшая оснастка враждебной силы.

Многозначительный, однако, и словно бы рукотворный узор проступает сквозь пеструю сеть событий в полосе двух смежных веков: спор этических принципов, кажется, столь непроходимый, вроде бы даже «кабинетный» рядом с действием тяжелых рычагов экономики, политических, социальных и т. п. факторов, был продолжен языком орудий и бомбовых ударов.

Наследники «бравурной» (по определению Чехова) философии Ницше, снизив его идеи до уровня вульгарной демагогии и одновременно возведя в ранг государственной религии, двинулись походом на землю Пушкина и Достоевского — родину великой гуманистической мысли, многими десятилетиями прежде распознавшей главного своего противника. Исходные рубежи, таким образом, определились задолго до решающей схватки.

И если бы в минуты роковые людям удавалось отключиться, перевести дух — не в житейском лишь смысле, а перевести свой дух на относительно ровный режим — и если бы перед участником схватки вдруг расчистились дали, то, возможно... Вполне возможно, он тут же и разглядел бы, как много путей выстраданного до нас опыта (гуманистической мысли, в частности) стянулось к зоне тревоги, насколько глубоко слои исторической памяти, распахнутые войной. Однако военная страда не очень охотно отпускала умы в дальнюю дорогу: дел хватало и под рукой. Хватало их и литературе.

А тема ждала. Нет, не тема скорее, а та часть трагической правды, которая неподъемна без опоры на традицию, протянувшуюся, условно говоря, от «Моцарта и Сальери» к истории Родиона Раскольникову и дальше.

Что мы, собственно, разумеем, жалуясь на отсутствие нового Льва Толстого среди мастеров военной прозы? По каким ли-

ниям у нас недобор? Батальным описаниям не хватает эпического размаха? Впечатляющей монументальности? Тексты рыхловаты и не просятся в хрестоматию? Авторской мысли недостает глубины?.. Стоп. Коли речь наша о глубине, значит, и о знаменитых «лабиринтах сцеплений», о задаче «сопратить значение всего», то есть о коренном свойстве авторского сознания, чья основная работа — в глубине повествовательных планов...

Итак, тема ждала, когда ею займутся. И в пору войны ждала. И позднее. Подступиться к ней мешало многое. Мешал, в частности, враг. То есть чувства, питаемые к врагу, на которого просто сил нет глядеть. Оно и понятно. Однако персонаж, представленный в основном реквизитом (стек для похлестывания по голенищу, фуражка со вздернутой тульей и т. п.), способен наглухо закупорить любые «лабиринты сцеплений»...

Когда «сорокóвые, роковые» заметно отдалились, а писатели-баталисты принялись заново штудировать классику, то все больше стал их привлекать масштабно мыслящий герой. В окопных или бивачных разговорах прибавилось философичности. Симпатичные лейтенанты узнавали в себе черты князя Болконского... Враг же оставался разносчиком коричневой заразы. Пыльным дьяволом. Но скучным (не в пример хозяину), даже если дотягивал до отметки «умный и коварный». Скучным оттого, что ничего не знал, кроме положенного по роли — социальной, а равно сюжетной.

Преступник Раскольников духовно самостоятелен, занят примеркой глобальных идей к своей персоне. А мелкие бесенята гитлеризма появлялись на страницах книг сразу в готовой словесной униформе, скроенной не ими, и лишь обдергивали ее на себе.

Раскольников и Сальери, прежде чем преступить моральный закон, поднимали взоры к небу, уличая царя небесного в конструктивных просчетах («Но правды нет — и выше»). А для традиционных персонажей во вражеских мушкетерах поднять глаза к небу значило и там увидеть фюрера...

Иначе говоря, линия давней распри человека со «сверхчеловеком» не могла пробиться через шеренгу пустоглазых персонажей, начиненных коричневой скукой. А отсюда и картина мирового катаклизма лишалась очень важных планов.

Где же выход? Вести в литературный оборот фигуру гестаповца эрдюта (штурм-

банфюрера, власовца и т. п.), обязав его рассуждать позатейливей, без геббельсовских штампов? Та же канитель и получится, только длинней: плетением логических петель в искусстве вообще задачи не решаются, даже частные, вроде развенчания антигероя. Это прекрасно понимает Адесь Адамович, опубликовавший в прошлом году повесть «Каратели» — произведение, для которого, кажется, давным-давно было припасено место в литературе.

Читаешь... Из кровавого тумана надвигаются на тебя мастера, лихие умельцы заплечного ремесла, вроде бы полностью открестившиеся от своего людского звания. Совесть каждого настолько загажена, вычернена ремеслом, что пути к возрождению наглухо перекрыты. И какой, собственно, прок вглядываться в эту аспидную черноту? Что в ней различить? Крутизну морального падения? Историю про лишней черпак лагерной баланды, в обмен на который...?

Таких историй у А. Адамовича немало. Авторскую мысль, однако, не тянет осесть в их пределах, дабы благополучно разрешиться назиданием. Хроника предательства, легко переводимая на язык судебного протокола, для нее разгонная полоса. Главное — сфера самосознания уже определившихся изуверов и нелюдей — начинается за чертой хроникальности...

У Достоевского в «Записках из мертвого дома» есть несколько страниц о каторжных палачах. Отмечены два их разряда — палачи добровольные и подневольные. Первые, по наблюдению писателя, живут как бы на отшибе, за полосой отчуждения, и никому не интересны; вторыми народ «гнушается до ужаса, до гадливости, до безотчетного, чуть ли не мистического страха». На первый взгляд странность, парадокс людской психологии. Что ж, если и парадокс, то ведущий кратчайшим путем к уяснению закономерности.

В самом деле, патологией каторжных не озадачишь: ее и так в избытке. Палач-доброволец — заведомый урод, отделенный от остальных противоположной страстью к мучительству. А подневольный подобен всем, только стал за черту. Остальные, может, и не хотели бы в его сторону глядеть, а взгляд сам собой тянется — за последнюю черту, которая даже для каторжных запретна.

Среди персонажей «Карателей» патологических садистов нет, преобладают подневольные «профессионалы». И, вероятно, остаточный свет нравственного закона в них все-таки брезжит. А если даже лу-

чик, всего лишь лучик такого света не погас, то можно ли вынести детское: «Дядя, хутчэй, дядя, скорей!» — услышать, тут же отогнать от слуха и надавить на спусковой крючок?..

В напряженном поле вопросов, подобных этому, и двигаются, переходят от рва к рву, от одного голосащего, охватяющего пламенем амбара к другому представленным нам карателям.

И еще вопрос: а как вообще удается людям загасить, замучить в себе свет? Что за средство хранят в душевных потемках против света и правды? Услужливую казуистику? Вроде бы так. «Мне рассуждать не приходилось — приказ выполнял», «Нельзя — другие бы расстреляли, и меня в той же яме» — стереотипные ответы, которыми пестрят материалы процессов над военными преступниками различных рангов и мастей. Вся внутренняя логика «Карателей» убеждает нас в подставном, обрядовом, даже придурочном характере таких отворочек.

Еще раз вспомним слова Достоевского о гадливости, чуть ли не мистическом страхе, вызываемом одним лишь видом подневольного палача. Что же, все страшатся, а палач ходит себе да ус покручивает? Ведь и он, в конце-то концов, того же психологического состава, как и прочие. И просто ли ему вырубить себя из этой сети нормальных, неискаженных реакций на грубое отклонение от нормы? Каким инструментом действовать? Затрепаным доводом «приказ выполнял»? Громящей формулой из геббельсовского набора? Нет, желаемой анестезии не получится. От чувства истины, пусть даже остаточного, логическим реквизитом не отгородиться. Тут страсть нужна, чтобы страх ею пограть, встречный иск нужен — ко всему людскому миру, оградившему себя законом и нормой. Что же до идей, зазывных формул, то они немалое подспорье и способны горячить кровь, когда маячат впереди по курсу, тыл ими прикрывать — ненадежное дело. Подведут.

Каратели из батальона Дирлевангера все это знали неплохо. Не умом — печенками, шкурой, которую было бы совсем трудно носить, разделяя они общую гадливость к себе. И, постигая карателей изнутри, мы все время угадываем за их жестом и словом глухое болотное брожение страстей, возгонку откуда-то от кишок, от поджилок вверх, к мозгу, натужной контрправды в противовес и в отпор настоящей правде.

Выясняется любопытное: едва ли не каж-

дый из кровавой братии культивирует в себе демоническую пронизательность и заодно умение смотреть на мир поверх «суеты».

Поднимет взоры повыше — перед ним Судьба, а у нее для каждого особый крест; приопустит, взглянет прямо перед собой да с прищуром — ненадежный народ по земле ходит, все от своего креста избавиться хотят. Кто красную книжечку в подкладке бережет на тот случай, если Советы вернутся; кто прикидывает, не податься ли в дс от всех-то дел... А жители местные, из-за которых такая работа на батальон легла... уловки изобретают, младенцев по закуткам прячут, удел свой обмануть хотят. Каратель же все зрит. И провести Судьбу не дает. Тем и греется.

Перед прищуренным взором подневольного палача — мировой порядок, вернее беспорядок всеобщей изворотливости, слабодушия перед выпавшим жребием. И когда палач грудью идет против беспорядка, то нагнетает в себe нужное для дела давление. В своих глазах он чуть ли не титан и богоборец, бросающий вызов стихиям. И много ли весят дежурные заклинания нацистов рядом с таким самочувствием, без которого палачу вряд ли удастся с самим собою поладить?!

Заметим: А. Адамович вовсе не намерен ловить карателя на готовом заученном слове из нацистского жаргона, выкрике, тупой барабанной формуле. Зачем ловить? В руках все равно останется одна лишь униформа, сотканная из коричневой сукки, как оно и случилось несчетное количество раз.

Сам же враг... Да он попросту не может совпадать с казенной попугайской «словесностью» (случаи совпадения — заведомая патология, неинтересная для искусства, как неинтересен был Достоевскому тип добровольного палача), даже если она накрепко присохла к его сознанию. Не может, ибо пропагандистский паек для всех одинаков, его и потребляют прилюдно, возле раздачи. А для себя необходим горячий приварок собственной стряпни — чтобы внутри поменьше сосало от страшного все-таки заплечного ремесла.

На редкость упорным получилось авторское дознание по делу палачей и предателей. Все ульки собраны, юридический, идеологический, нравственный аспекты дела вроде бы прояснены. В лексиконе преступника уже и слов, кажется, нет для дальнейших объяснений. На очереди просто мычание. А вопросы не иссякают. И ведут они в затененную сферу, где пре-

ступник наедине с собой вынашивает встречное презрение к миру, легенду какую-нибудь, по которой он выходил бы воителем, а не тупым мясником.

Самодельные легенды карателей через промежуточные смысловые звенья сцепляются с легендами палачей-распорядителей (включая Главного), которым, как мы узнаем, сухая пропагандистская ложка тоже рот дерет. И они ударяются в умственную самодеятельность. Нет, умственную — это неточно. Логические спекуляции не самая надежная опора в их сатанинском промысле. Приходится уравнивать напряжения, чтобы внутреннее отвечало тому, что снаружи — в стонущем потрясенном мире. Иначе расплющит.

И вот потрясатели вибрируют и пламенеют, расцвечивая официальную доктрину космическими узорами (тайные переглядывания Главного нациста с Ними, с Могучествами), ввязываясь в «поединки расовых воль», инсценируя в частном своем быту острые библейские сюжеты (Дирлевангер)... Адова кухня горячечных фантазий, полубредовых мистерий, разыгрываемых наедине с собой, взвинченных страстей. А комбинирующий рассудок — оформитель, канцелярия при этой адовой кухне.

Впрочем, не такую ли именно роль отводили рассудку великие трагики минувших эпох? Для А. Адамовича их опыт бесспорен и поучителен. Оттого столь непривычно проведенное им дознание, то есть непривычно исходное условие, по которому лютый преступник не изгоняется из трагедии, не втискивается в изолятор, где его будут портретировать по законам памфлета, агитлубка или фарса, а вынужден обнародовать искаженную свою человечность.

Критик Игорь Дедков, выступивший с оценкой «Карателей» на страницах «Литературного обозрения» (1980, № 6), не утаил от нас свою непосредственную, донаучную, так сказать, отзывчивость на прочитанное. «Фашизм фашизмом, — размышляет или скорее недоумевает он, — но бежал с канистрой вдоль кричащего сарая и плескал, плескал на бревна живой конкретный человек, и билось в нем сердце, и что-то поддельвала душа».

Смотрите: апокалипсическая эта картина вернула искусственному критику дар пронзительного детского вопрошательства: «Как он может плескать, ведь люди же сторают?!» Детское вопрошательство, о чем нетрудно догадаться, здесь сродни «почти мистическому страху», о котором писал Достоевский, — страху перед паучьей чер-

нотой, где угнездился палач, отложившийся от людского закона...

А впрочем, не лучше ли было И. Дедкову полистать свои конспекты студенческих времен и потверже опереться на логику? А. Лебедев, оппонирующий ему в том же номере «Литературного обозрения», примерно так и считает. По А. Лебедеву, дедковское рассуждение «фашизм фашизмом, но...» — совершенный наив. «Вся и соль-то дела, — поправляет он И. Дедкова, — тут именно в фашизме», который «стандартизует людей» и т. п.

Давным-давно не в меру искреннему человечеству был дан лукавый совет бояться первого душевного движения, потому что оно всегда неподдельно, а значит, нерасчетливо. Игорь Дедков не побоялся, и сразу вышло, будто он с теорией не в ладу. Впрочем, вышло ли? И так ли верна теория, если она в разладе с непосредственным чувством?

Вопрос И. Дедкова совсем не о том, кто и как дал человеку ту страшную канистру, а о том, как он ее взял, и как из человека вдруг вылез марсианин, и сколько вообще «марсианского» скрыто под спудом...

«Вся и соль-то дела тут именно в фашизме», — учит Дедкова его оппонент. Неверно учит. Если в фашизме вся соль, то с карателя и взятки гладки, повинен во всем один фашизм, ему и ответ держать, а не «стандартизованным» эсэсовцам и полициям. В прежние времена версия о «стандартизованных» исполнителях звучала как «среда заела». И начисто отвергалась всей школой русского реализма, опирающейся на принцип духовной неисчерпаемости человека, который ни в одну из своих ролей не вбирается весь и не волен объявлять себя продуктом среды либо пленником обстоятельств.

Так что же? Не права великая гуманистическая традиция, утверждавшая принципиальную несводимость человека к ролям и функциям, типовым ли, персональным — каким угодно? И совсем обратное доказал нацизм, усердно и вроде бы успешно практиковавший духовное оскотление личности, ее стандартизацию, роботизацию и т. п.? Вставляю «вроде бы», потому что последнюю истину о себе именно личность и хранит, та, которая обработке подвергалась. А кто услышит ее, истину эту? Трибунал? Перед трибуналом как раз роботов и корчат. Исполнителей... Художник может услышать. Если, конечно, задержится вниманием на такого рода предметах.

Алесь Адамович задержался. Не он первый, разумеется. Примерно под тем же углом зрения исследовал феномен нацизма эстонский прозаик В. Бээкман. В его романе-притче «Ночные летчики» центральный персонаж — задавленная, неухоженная человечность трех геринговских асов, которая в свой срок стала пробиваться наружу, да мстительно пробиваться, опрокидывая на пути все рассудочные заслоны...

Или Виталий Семин, у которого в «Нагрудном знаке OST» действует лагерный надзиратель Пауль, сотрясаемый душевными корчами, сивлившийся «что-то доказать» и себе и своим жертвам...

Или... Дело, впрочем, не в примерах, которые приходится по сусекам скрести. А. Адамович занялся сознанием и подсознанием военного преступника с особой пристальностью, выманив его на открытую арену, где вот он, закон, связующий людей в человечество, а вот место отрицателя: пусть выкладывает, с чем пришел, все выкладывает, раз на весь белый свет замахнулся!

На мой взгляд, главный урок «Карателей» как произведения искусства — гносеологический. Писатель разграничил сферы: выносить преступнику высшую меру наказания — прерогатива правосудия, прерогатива художника — высшая мера понимания, к которой в данном случае призывают еще и масштабы преступления. Допустить разноразмерности, удариться в памфлетность или поверхностный идеологизм («Вся... соль-то дела... в фашизме») значит оставить преступление нераскрытым.

Высшая мера понимания, подсказанная фантазмагорией геноцида, — внеюридическая и внерассудочная мера, именно та или близкая к той, что прилагалась к онтологическим преступникам, таким, как Сальери, Раскольников, Свидригайлов, Наполеон.

Вторая мировая война, можно сказать, обрекла опыт классики на продление. Дело было за сроками. Опыту классики долго мешала пробиться неразграниченность сфер. Военный прозаик, писавший фигуру врага, так тесно смыкался с юристом, судебным хроникером, памфлетистом, лектором на общественные темы, так охотно довольствовался полубъяснениями типа «вся... соль-то дела... в фашизме», что попросту терял себя в смежных профессиях.

Но вот прошло время, и опытный критик со смятением и болью отзывается на



рассказанное А. Адамовичем: «Фашизм фашизмом, но... сердце... душа». Что-то, видно, сдвинулось в нашем художественном сознании и в нашей читательской восприимчивости. Вперед сдвинулось, по направлению к классике, без помощи которой очень многие сегодняшние вопросы будут решаться искусством начерно, в первом формулировочном приближении.

Намеренно заостряя, скажу, что, оставив ученым запискам Толстого и Достоевского с их антибонапартизмом, Пушкина с его трагическим антигероем Сальери, мы очень многого не постигнем и в кровавом ужасе Хатыней и в победной весне 1945-го.

### «Нет надежды конца и уяснения»

Антигерои А. Адамовича, отлично чувствуя свою космическую изоляцию, именно к космосу обращаются за поддержкой и пониманием.

Оттуда, из надмирных просторов, на Главного нациста глядят «Глаза льда. Нет, огненные Глаза». Распорядителю карателей Дирлевангеру в химерических его видениях предстает «пльвущий над землей кристалл, цейсовские линзы, огромные, как глаза Космоса». Отринув от себя «человеческое, слишком человеческое» (название одной из книг Ф. Ницше), они вынуждены искать взамен утраченного какое-то новое сообщество, пусть даже сообщество фантомов, дабы, находясь в строю, восстанавливать в себе и не строевого, не формального, а чувствующего человека.

Значит, из космоса на них уставилось таинственное око. А земля разве незрячая? Тут ведь из каждой пары глаз не лед, не цейсовские линзы — теплая жизнь смотрит, уже оттесненная, возможно, к черному и страшному краю... Смотрит и дождалась наконец встречного взгляда. Палач-распорядитель, готовясь подать знак «поджигай!», вдруг недовольно поморщился: сколько же тут, в амбаре, детей... «Глаза, глаза, глаза — будто шевелящаяся поблескивающая икра». Сострадания ничуть не больше, чем у повара к живой рыбе, с которой он соскабливает чешую. Полная биологическая непричастность!..

С давних пор существует обычай — при исполнении смертных приговоров завязывать осужденным глаза. Гуманный вроде бы жест: пусть избавлена будет человеческая душа от последней жуткой очевидности. А может, тут другое? Может, у исполнителя рука дрогнет, если против про-

рези с мушкой — зрячее лицо с его подробной, отчетливой жизнью?..

Мы помним, как Пьера Безухова спас от расстрела странный миг, когда распорядитель его судьбы Даву, подняв голову от бумаг, встретился с ним глазами. До этого мига Пьер для наполеоновского маршала «был только обстоятельство... но теперь уже он видел в нем человека». Для пришедшего сюда же, на землю России, через сто тридцать лет после Даву эсэсовского майора Дирлевангера живые детские глаза — «шевелящаяся поблескивающая икра» и вообще местные жители не люди, а дезертиры с того света, нарушители порядка, предписавшего им не быть.

Ни малейшей отзывчивости на чужую боль. Простой рефлекс, заставляющий наши лицевые мьшцы зеркально повторять мимику страдающего возле нас человека, даже он погашен. У Толстого бестрепетный Наполеон и тот в какую-то минуту бородинского боя «на себя переносил те страдания и ту смерть, какие он наблюдал кругом».

А Дирлевангер? Хоть бы распалая себя эсэсовец этот, бесновался при карательных акциях, понятней бы как-то было. Узнавалась бы та болезненная черта жестокости, злобного азарта, которая столь резко выделена у Достоевского в эпизоде сна о загнанной лошади («Преступление и наказание»), где пьяной ораве не дают покоя глаза их жертвы и осатаневший хозяин клячонки, поощряя подручных, блажит: «По морде ее, по глазам хлещи, по глазам!»

Странный неуют испытывают насильники, когда на них глаза смотрят. Пусть и лошадиные. А тут детские — из тьмы амбара. И бестрепетная наблюдательность распорядителя — то ли марсианская, то ли людоедская: «шевелящаяся икра». О детских глазах!

Но разве следует отсюда, что он теперь экспонат куясткамеры и всему человечеству чужд? То есть ничего серьезного уже нам не откроет?.. Признать военного преступника монстром, гомункулусом, выращенным в нацистской колбе, значит согласиться, что эволюция ошиблась и в его случае решила начать с нуля.

Вопрос о двумерном или трехмерном изображении врага принадлежит скорее к сфере гносеологии, чем к области мастерства или писательской техники.

Для автора «Карателей», где на первом плане — выводок предателей и палачей, принцип неисчерпаемости, неоднородности человека, даже преступнившего последние

запреты, самоочевиден. То есть перед нами случай, когда уроки классики усваиваются не с середины, а с начала.

Не к тому, однако, клонится наша речь, чтобы провозгласить А. Адамовича передовиком учебы у корифеев. Речь идет о методике усвоения курса, в основе которого своя аксиоматика, видимо раньше всего и подлежащая усвоению.

Военные события пролагают к этой аксиоматике кратчайшие пути хотя бы потому, что, прокатываясь из края в край потрясенного мира, ставят человека в предельные условия, когда вот она, жизнь, а рядом смерть, вот честь, а рядом бесчестие — выбирай! И художественному зрению открыт весь путь от первичного импульса, от искры, высеченной острой ситуацией, внезапным ударом по чувствам, — к ясному, динамичному поступку.

В этой связи стоит сослаться на Василия Быкова, чей психологизм работает подчас как бы сквозь индивидуальную характерность героя. К примеру, восемнадцатилетний партизан Степка Толкач из повести «Круглянский мост» — один из самых интересных быковских персонажей, но не характеров. Внутренняя резкая определенность Степки даже помешала бы определиться дальнейшему плану драмы, разыгравшейся возле Круглянского моста.

Главному ее участнику как раз и пришлось быть немного телком, губошлепом, чей разум еще зыбок, отстает от гражданского чувства, незащищен перед чужой напористой логикой, особенно если та обосновывает идею пользы. Польза ведь в данном случае не что иное, как урон врагу, вклад в победу. Какой ценой будет нанесен урон? Любой! — считает участник диверсионного рейда Бритвин, Степкин антагонист и попутно искуситель, внушающий товарищам по диверсионной группе, как глупо упускать свой шанс из-за жалости к кому-то, а тем более из принципа. И Степка про себя соглашается: «Что ж, надо — так надо». А можно ли? — вопрос, до которого в Степкином рассуждении очередь не доходит: цикл у рассуждения короткий.

Зато когда Бритвин, следуя своим правилам, загубил на Круглянском мосту мальчика Митю, а Степке открылось случившееся... Нет, подождем о фактах. Тут важны авторские акценты.

Из-за чего, собственно, вспыхнула ссора между Степкой и Бритвиным, кончившаяся стрельбой и ранением Бритвина? Из-за гибели Мити? Но когда Степка мысленно поддакивал Бритвину («...надо — так надо»),

то и Митину жизнь ему доверял — распоряжайся, раз для пользы... Только тут вот что важно: доверял жизнь неузнанного или полуузнанного Мити, просто местного пацана, да еще полицая сына.

Если воспользоваться словом Толстого, Митя был для него обстоятельством. А к моменту взрыва на мосту из-за «обстоятельства» выступило лицо, отличное от остальных, голос стал различим и «тщательное внимание», с которым мальчишка слушал старших.

В общем, герою Быкова открылся человек — вне классификаций и усреднений.

В русском искусстве найдется немало примеров, где такие переломы (от расценности к интересу) — под особым смысловым ударением, и это не случайно, ибо здесь вплотную к житейским очевидностям подступает патетика человеческого существования. А настоящее искусство, даже не склонное брать высокие ноты, в глубине своей все равно патетично, поскольку хранит главную правду о человеке, не совпадающую с его характером и конкретной деловой ролью.

И когда у Толстого вдруг встречаются глазами Пьер Безухов и маршал Даву, то в это мгновение выходит наружу важнейшая правда о человеке как «сознательном — родовом существе» (Маркс)<sup>1</sup>. А когда у современного автора персонаж думает о детских глазах, что они как икра, то это момент глубочайшего угнетения все той же опорной правды, вне которой теряет смысл понятие «человечество».

В. Быков ничто не пишет о глазах Мити или Степки. Он лишь отмечает, что в Степкином взгляде появился человеческий интерес и живое участие. Отмечает не мимоходом, не в стороне от дела, а подводя нас к самой его сути, то есть к решающему столкновению персонажей-антагонистов. Что не совсем привычно для читателя батальной прозы, где у твердых фактов чаще всего не менее твердые основания.

И другое непривычно: Степка словно бы не хозяин своего ожесточения против Бритвина. Догадавшись, что Митя использован как живой детонатор, приспособление для подрыва моста, он «только какой-то самой упрямой и самой ясной частицей души» почувствовал всю мерзость бритвинского расчета. Упрямая «частица души» оказалась пронизательней Степкиного ума, застопоренного доводами о пользе.

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 42, стр. 93.

В зрелом реалистическом искусстве, если воспользоваться словами Маркса, человек присутствует «во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления»<sup>2</sup>. Проследивая на коротком и, видимо, решающем отрезке Степкиной судьбы логику «абсолютного движения» своего героя, В. Быков особенно пристален к глубинным мотивам его действий, ускользающим от слова-понятия.

Спросим себя: что за сила такая встала против Бритвина, если наивный, но неуступчивый Степка только «частицей Души» чувствовал свою правоту? Как имя той самой частицы, которая Степкой распоряжается, а он ею — нет? Можно перебирать варианты: совесть, подсознание, юношеский максимализм, нетерпимость к подлости. Все будет приблизительно и по-школярски плоско. Мы угадываем, что в частице этой — опыт поколений, живших до Степки, трудная история всего рода людского, отладившего за долгие сроки механизм самозащиты от скрытых или явных своих недугов. Механизм выживания. Угадываем, но точного имени не находим. И получается, что в остросоциальном конфликте участвуют какие-то не подотчетные деловой нашей логике силы. Непривычное новаторство В. Быкова? В определенном смысле да. Но достаточно нам оглянуться на образцы большой русской прозы, чтобы увидеть, насколько оно традиционно. Уточним, однако, рамки этой традиционности...

Толстой, как известно, не боялся открытых просветительских пассажей. Вставляя их подчас не без риска повредить художественную ткань. Есть такой пассаж и в эпизоде с Пьером и Даву, которые, как о том без обиняков говорит автор, вдруг «появились, что они оба дети человечества»... Кажется бы, все точки над «и» поставлены, подробность законсервирована, дальше ей прорастать некуда. Тем не менее она прорастает сквозь открыто патетическую надстройку, длится в душе Пьера новым размышлением о безликих силах («порядке, складе обстоятельств»), подчинивших себе и Даву и других, а дальше по «лабиринту сцеплений» вбирается в самые широкие и общие планы толстовского эпоса.

У нашего современника В. Быкова прямых авторских реплик или наводящих замечаний нет. Действие движется собствен-

ным ходом, сохраняя свою суверенность. И представить себе в этом тексте приподнятую фразу о «детях человечества» (или подобную) совершенно невозможно.

Вообще наши прозаики-баталисты предпочитают минимальную речевую (а значит, и психологическую) дистанцию между собой и рядовым тружеником войны, у которого на языке было не так уж много слов из высокого общегуманистического лексикона. В. Быков в этом смысле не исключение. Однако сквозь неприкрашенную, растушую вроде бы из себя правду партизанских будней у него проступает жестковатый каркас авторского плана, предвещающего объемную картину. Острее всего холодок этого каркаса ощущим в тех местах, где появляется Бритвин — заведомый антигерой, слишком, пожалуй, усердный в саморазоблачениях, словоохотливый прокламатор беспринципности и цинизма («А кто в разные там принципы играет...», «Терпеть не могу этих умников»).

В нашем критическом обиходе есть привычная формула-клише, применяемая при положительных, но не восторженных отзывах: «Рецензируемый роман (драма, повесть, поэма и т. п.) еще раз напомнил читателю о...». Следуя духу этой формулы, можно сказать, что быковский Бритвин еще раз обратил нашу мысль к давним предостережениям русских классиков против опасной активности прагматиков и манипуляторов (чужими жизнями), которые не колеблясь «перешагивают через кровь», как только в голове у них деловая задача решена и ответ сошелся.

Здесь, однако, не исключены вопросы: а разве Толстой, провозглашая идеал братства по человечеству, так уж нов и неожидан? разве в столь важном месте эпопеи он не стремился еще раз напомнить общеизвестную этическую максиму?

Да, вопросы соблазнительны, но лишь формально законны. Голос Толстого-проповедника вошел, вклинился в двуголосие эпизода с Пьером и Даву, когда там назрела патетическая кульминация, вошел, подчиняясь законам фути — для подхвата и развития темы, уже рвавшейся за рамки двуголосия. То есть толстовское прямое слово о братстве находится внутри поэтического ряда. А вроде бы непрямое слово Василя Быкова о бездушном прагматизме имеет отдельное вне- или допоэтическое звучание. Во всяком случае, некую жесткость авторского плана мы ощутим и в построении сюжета, и в расстановке фи-

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. 1, стр. 476.

гур, и особенно в энергичных саморазоблачениях Бритвина.

Разумеется, художественный вес «Войны и мира» и «Круглянского моста» неодинаков. Но не о художественном весе речь. Не об уровне талантов. И не об исполнительском мастерстве авторов. Речь скорее о настройке ими «инструментов». О способе настройки.

В одной из записных книжек Толстого находим характерную реплику, поданную им самому себе в ту минуту, когда искомая истина отдалась, обернувшись новым вопросом. Вот эта реплика: «Нет надежды конца и уяснения». Слова, за которыми опыт и навык всей высокой классики, даже в частности не сводимой к застывшему нравоучению.

У автора хорошей современной повести В. Быкова «надежда конца» есть. Во всяком случае, отрицательный Бритвин живет в зоне ответов, а не вопросов. Вопросы — удел неискушенного читателя, которого автор намного опередил в «ужасении».

Но зона готовых ответов — лишь ограниченный участок быковского повествования. Стоит Бритвину отойти в тень, уступив место импульсивному Степке Толкачу, как меркнут однозначные ответы. И разве Степкина линия завершается поучительным концом? Как раз неоднозначность, неокончателность делают историю Степки не только сюжетным, но и поэтическим центром повести. «Нет надежды конца и уяснения!»

Художественный строй «Круглянского моста» — пример неустойчивого равновесия. Пример представительный, где пестрота и дробность примыкающих сюда или роящихся вокруг частных случаев (эстетических), быть может не очень четких, смазанных, сгруппированы в своеобразную тезу и антитезу. Тезу — порыв и антитезу — стопор. Порыв за черту определенностей, вполне доступных непластическим формам познания, и стопор, удерживающий мысль в границах популяризаторства (задача — еще раз напомнить).

Искусство способно вобрать в себя проповедь, логическую выкладку, абстрактное рассуждение, но не способно с этого начинать.

Пластический образ, обремененный сознанием своей полезной цели, обычно ее не достигает. Тот же груз опережающего знания мешает новому искусству усваивать уроки классики, для которой всеведущие ученики малоперспективны. Впрочем, для многих современных авторов все это не секрет.

### Задерживаясь на старте

...На самом исходе ночи над озерным простором прокатывается странный звук, будто озеро пробудилось и глубоко вздохнуло: уыыыыыышш! И сонные, нахохленные люди, ожидающие рейсового катера, «все посмотрели на озеро, но в разные стороны, потому что никто не понял, в каком месте раздался этот загадочный звук»... Перелагаю и цитирую небольшой эпизод из рассказа Юрия Казакова «Ночлег», поражающий притлушенностью, почти неразличимостью собственного голоса автора на чрезвычайно насыщенном лирическом фоне и мягким, внезапным преобразованием предметных подробностей, которые словно заструились сновидческой дымкой.

Художник если как-нибудь и вмешивается в естественную жизнь образа, то не поощряя, не педалируя поэтическую тему, записавшуюся здесь на простор, а скорее сдерживая ее звучание. Чего стоит одно лишь суховатое «потому что», дающее перевес чисто прозаическому толкованию одновременного жеста многих (...«все посмотрели... в разные стороны, потому что никто не понял...»). Но есть однократное усилие стили и есть целостный контекст вещи. А по тайной логике контекста выходит нечто особенное, не вполне прозаическое: не оттого каждый в другую сторону поглядел, что у него своя сноровка место засекал по звуку, а оттого, что пассажир-полуночник из себя смотрит — встрепелнулся от грезы или думы своей рассветной и отыскивает на озере ее след, пока дневной трезвостью не оваяло. А художник одним-двумя штрихами всю эту погруженность в себя на миру, и зыбкость переходов, и отдельность каждой души, и слитность ее с утренним миром передал. Даже понадобилось во имя жанровой, новеллистической строгости чуть приглушить загадочную ноту, отодвинуть от первого плана текучую реальность, не поддающуюся ни обмерам, ни твердым обозначениям. Но именно она оставалась у Ю. Казакова главной. И в пластических описаниях. И в характерах. Причем совсем не просто было писателю в самую для него урожайную пору (рубеж 50—60-х годов) примирить со своей поэтикой рецензентов и обозревателей текущей прозы. Вот несколько строк из академически сдержанного, отчасти даже благожелательного отзыва о Ю. Казакове, опубликованного в свое время почтенным литературоведческим журналом: «Его своеобразие заключается в том, что

он сосредоточил внимание на произвольных, безотчетных душевных движениях человека» («Вопросы литературы», 1964, № 2). Весьма примечательная аттестация. В таком же примерно тоне натуралист-классификатор опишет необычный экземпляр растения, принадлежащего к давно известному семейству.

Значит, если интерес к «безотчетным движениям» — удел писателя-оригинала, то какие же движения душ рассматривает остальное искусство? Обдуманное и взвешенное? Прошедшие через ОТК рассудка? Нет, оставим впрямую и попытаемся в приведенном отзыве понять самое интересное — его безмятежный, справочный тон.

Быть может, опорой на опыт классики тверда эта аттестация? Ну хотя бы на Пушкина, чье имя — всегдашний синоним ясности и гармонии? Но такому предположению сразу же воспротивится даже школьный Пушкин, разъяряемый детшамкам. Воспротивится, в частности, любимейшая из его героинь Татьяна Ларина. Как мы помним, ум Татьяны усердно мистифицировал истинные мотивы ее финальной отповеди Онегину, и стоит нам принять за истину Татьянины резоны («Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что в высшем свете...»), как разом исказится и облик центрального героя и вся философия романа... Можно, кроме того, сослаться на толстовских князя Андрея и Пьера, к которым при всей силе их интеллекта важнейшие из духовных прозрений приходят на грани сна и яви. Или на персонажей чеховской драматургии, у доброй половины которых постоянно глаза на мокром месте — факт загадочный как для самих персонажей (хроническая безотчетность душевных процессов), так и для весьма именитых постановщиков чеховских пьес... А поэтика сновидений или галлюцинаций у художников крепкой реалистической закалки, таких, как Гончаров, Диккенс, Мелвилл, Лесков, Шолохов, разве не ведет нас к первоистокам важных, и притом «бесконтрольных», перемен в поведении персонажей, минуя контрольные посты их самосознания?

Вообще для аналитического искусства случаи устойчивой сбалансированности ума и сердечных запросов заманчивы не многим больше, чем городские парки для географических экспедиций.

Чувство, достигнутое и заприходованное умом, уже отчуждено от своей природы и способно служить лишь просветительским целям писателя. Недаром классиче-

ское искусство так любило уязвлять интеллект чрезмерностью его амбиций, с охотой задерживаясь на сюрпризах, неподносимых ему совестью либо интуицией.

И когда особенностью современного прозаика объявляется его интерес к произвольным движениям души, то содержателен прежде всего тон такой характеристики, глубина теоретического покоя, навешенного долгой полосой просветительских забот искусства, наложивших на него свою печать. И на сопутствующую критику, разумеется.

Просветительская мысль, всегда знающая маршрут следования и конечный свой пункт, предлагала и чувству встать в логический строй. Бесконтрольным, нестройным, так сказать, движением души отводились обычно боковые тропы. Однако же отводились, что само по себе неудивительно. Ведь даже поэтика классицизма предусмотрен элемент лирического беспорядка в упорядоченных и разграфленных системах. Да и мыслимо ли вообще искусство, у которого одни только дела и педагогические цели на уме, а весь гомон, вся броунова толчея жизни, смутность и перебивы людских настроений в полном небрежении?..

Конечно же, любой опытный литератор, если он и привык расчислять наперед смысловые итоги повествования, ни себе, ни детищу своему не враг и постарается быть хоть немножко фантазером, затейником и юмористом, а местами растроганным лириком и уловителем тайных запросов сердца. Но здесь вот что важно: в литературе выверенных итогов и предугаданных финалов всякие алогизм, неявность, открытая одной лишь интуицией, факультативны. Они в гостях, а не дома. Они внештатны и не имеют допуска к основным, работающим узлам повествования (по контрасту еще раз вспомним, насколько важна в структуре «Круглянского моста» неуловимая «частица души» Степки Толкача).

Как раз к концу 50-х годов мотивы ускользающие, неуловимые стали понемногу переходить в «штат». И с особым гостеприимством для них открылись двери в новеллистике Юрия Казакова, где какой-нибудь странный звук над рассветным озером, или вид пустых дач на зимнем взморье, или необычные краски заката подчас намного больше значили в сюжете, в поведении персонажа, чем его деловые заботы или даже свойства характера.

Тогдашний критик, приписывая Ю. Ка-

закову сугубый интерес к «безотчетным душевным движениям», отклонялся от истины. Сами слова были неточны — из одиозного, малопочтенного ряда. От безотчетных рукой подать и до иррационального, и до бездн подсознания, и до фрейдистских комплексов.

На ощупь выбранная фразеология заставляла резонировать далекие от дела категории. Только никаких «шахт» в глубину замкнутой психологии индивидуума Ю. Казаков рыть не собирался. Его занимал не герметизм человеческой души, а, напротив, ее разомкнутость, нетерпение, порыв — дотянуться до дальних далей и продлить себя через соприкосновение с голосами, ритмами живого всегдашнего мира.

И пробуждение в казаковском герое воспоминания о себе самом как о человеке и сегодняшнем и всегдашнем было одновременно оживлением большой художественной традиции, давшей вспышку на нешироком жанровом пространстве (рассказ, маленькая повесть).

Новеллистика Ю. Казакова с ее, казалось бы, периферийными, охотничье-отпускными либо анималистическими сюжетами, лишенная броских примет заободненности, неожиданно сделалась злобой дня и центром эстетических притяжений. Теперь, с временного отдаления, хорошо видно, как сама атмосфера казаковских рассказов расходилась вширь, вплывалась в интонационный, ритмический строй, стилистику прозы 60-х. Нетрудно оценить и то, сколь многим обязана этому городскому писателю наша деревенская проза, в особенности ее лирико-философская ветвь.

Новеллистикой Ю. Казакова уловлен момент, когда в духовном составе современника, вынесшего колоссальные исторические перегрузки, вдруг сдвинулся, ожил подпочвенный, так скажем, пласт памяти; когда человеку потребовалось вспомнить полужанное в горячке минувших лет: о духовных своих корнях, о природе, что не только вокруг, а и в нем самом, — вспомнить о себе как «мыслящем тростнике», которому и закат и рассветное озеро как своему знаку подают...

Чуткость к подспудному, к затаенным, дальним планам души — одно из капитальных свойств высокого искусства. И новый к ним интерес означает, помимо прочего, равнение на большую традицию, настроенность на ее позывные. Благодаря такому интересу и такой настроенности рассказы Ю. Казакова 50-х — начала 60-х оказались чем-то вроде вытяжного парашютика, сле-

дом за которым открылся просторный купол столь влиятельной теперь лирической прозы о деревне.

Психологизм признанных мастеров этой школы особенно чуток к той «самой упорной и самой ясной» частице души персонажа, которая столь властно распорядилась поступками быковского Степки Толкача. Повторяю: к «самой упорной и самой ясной» частице. Только у В. Быкова резче выделен момент упорства расстроенной души, а у прозаиков сельской темы — момент ясности.

Два разных акцента и, соответственно, две поэтики. Первая предполагает трудный — под сильным давлением обстоятельств — прорыв, выход из-под спуда глубинной человеческой правды, вторая — ее вольное истечение и родниковую прозрачность; в основе первой — напряженная конфликтность, в основе второй — элегическая исповедальность, лирическая инициатива повествователя, предпринявшего паломничество к прозрачным родникам.

Не случайно в роли хранителей незамутненных начал душевности выступают персонажи непризывных, так сказать, возрастов, чья репутация может быть утверждена лирически, без острых сюжетных осложнений, — старики и дети. Авторам не коллизия важна, не контрольные надломы или взрезы в системе житейских повторов, а сами лица хранителей, их внутренний свет, который хорошо виден и в ровные минуты, когда нет неурочных тревог. А впрочем, даже в условиях сюжетного непокоя эти персонажи душевным своим строем надсюжетны (бабушка из «Последнего поклона» В. Астафьева, знаменитые распутинские старухи) и, будучи в системе главной моральной инстанции, накрывают ее словно куполом верховным своим авторитетом. И распорядительная воля автора тут же, внутри купола, и смысловые итоги системы.

Оно и неудивительно: лирическим либо лиро-эпическим повествованиям о деревне выпала неотложная работа — приблизить к нашему зрению те духовные ориентиры, которые в авральную пору вроде как заштрихованы летящими линиями скоростей. Восстановительная в основе своей работа.

А восстанавливать не заново строить и не целиною идти. Тут начатое другими не позади, а впереди. Притом другие, начинавшие, не хуже нашего умели брать в расчет и глубину нравственного опыта земледельца, и укорененность прошлого в настоящем, и неисчерпаемость внутреннего

человека, и экологическую — пользуясь современным словом — взаимосвязанность всего со всем. Но беря в расчет, исходили из этого, а не шли к этому. Наша сегодняшняя мысль старается уразуметь то, что они подразумевали. Если воспользоваться спортивным языком, она проигрывает из-за задержек на старте, хотя все прибавляет шаг, ища сближения с высокой традицией.

Не так давно А. Адамович, выступая на сей раз в роли критика, выдвинул предположение: «Мне кажется, что военной литературе пути сегодня подсказывает именно деревенская проза» (статья «О войне и о мире»). Мысль эта далеко не беспочвенна, как небеспочвенным было бы чье-то суждение о сходстве характеров родных братьев или сестер: дескать, росли-воспитывались вместе, друг на друга сильно влияли... Кто же спорить станет? Наверно, влияли. Но если вести речь о чертах фамильного сходства, можно и о том вспомнить, что отец с матерью у детей общие.

У лучших образцов нынешней военной и деревенской прозы общая родословная, восходящая к богатейшему прошлому отечественной культуры и тем настойчивей напоминающая о себе, чем острее нужда современника, поспешающего вперед под яркой и тревожной звездой научно-технического прогресса, в осознании, скажем так, духовной своей традиционности.

Секреты человека традиционного, скрытого в человеке сегодняшнем, выведывает новейшая наша проза, осваивая попутно методику такой познавательной работы, завещанную высокой традицией, которая, как всегда, впереди.

### Вокруг духовности

Свою речь о главном и сокровенном в человеке классика любила начинать издалека — из того будничного, монотонно-скрыпучего далека, где царит сила привычки и заветная сущность, «нетронутая середина» (М. Пришвин) людских душ глубоко задвинута за быт, оттеснена с главных путей на запасные.

Как и в какой час она запросится оттуда на простор? — один из первоочередных для классической поэтики вопросов.

Переломным может стать час пропажи шинели у петербургского чиновника или начало иноземного нашествия, мигом колебавшего налаженный уклад... Перечень такого рода поворотных моментов был бы пестр и нескончаем. Но всякий раз ими обозначен особого рода сюжет, скрытый

за внешним узором событий, — сюжет порыва и удержания, разбега и встречи с преградой: все та же неуловимая «надбудничная сущность» персонажей порывается вдаль и ширирь, все тот же «порядок, склад обстоятельств» (Толстой) ставит пределы порыву.

Ну, а если заклиниванием каким-нибудь, силой волшебства убрать заслоны, упразднить давление среды, несвободу каждого от затягивающей каждодневности, инерции привычек?.. Где тогда искать неутомную сущность, которая, быть может, до тех пор и неутомна, пока стеснена? Каким образом она снова уплотнится без обжимающего пояса «порядка, склада» или даже обычной человеческой лени?..

Тут своего рода экология, зависимость, несогласное согласие порыва и удержания. Тут — попутно скажем — один из секретов реалистического метода, где быт не тюремщик духа (как у романтиков), а неузнанный им партнер, достойный пристального интереса и понимания. Не оттого ли, кстати, в рассказе Ю. Казакова «Ночлег» момент поэтической загадки приближен к навыкам делового сознания с помощью трезвого «потому что» («Все посмотрели... в разные стороны, потому что никто не понял...»)? Не в правилах и не в привычках реализма высокомерничать при виде устойчивого быта и поминутно объяснять деловому сознанию его изъяны и несовершенства.

Но реализм, вдруг обнаруживший свою задолженность перед сознанием философичным, взыскующим последних истин, способен отступить от давних привычек и в ударном темпе заняться восполнением пробелов. Не этот ли крутой поворот к загадкам и тайнам бытия отозвался у нас жаркой полемикой вокруг мифологизированной прозы, так перегрузившей читательский рацион духовными концентратами и специями, что любители словесности почувствовали жажду беллетристики (название статьи Л. Аннинского, открывшего дискуссию на страницах «Литературной газеты»)?

Миф либо легенда, вживляемые в структуру сегодняшней прозы, — это своего рода манок для духа, задвинутого за быт: «Выйди на волю, разверни свои силы, встретись с опытом давних поколений!» И, услышав зов манка, вострепнувшаяся духовность тут же вспарывает покровы быта, вырываясь на оперативный простор. Вдалеке от привычного круга забот ее ждут звездные туманности, загадки времени и пространства, верховные законы ми-

порядка, затейливо трактованные в древнейших сказаниях о богах и героях. Сегодняшние вопрошательство, философическая устремленность в далекую (от житейской надобности) даль, встретившись с легендарным сюжетом и отразившись от него, оказываются в итоге с прибылью: на них теперь некий отпечаток славного сюжета, блескучая пыль тысячелетий, с которыми автор вроде бы породнился по ходу дела.

И еще очень важный итог оживления легенды — налаженный маршрут между зонами времени (день нынешний — седая древность), сообщение туда и обратно, привносящее момент упорядоченности в прихотливое течение этой прозы.

В одном из таких повествований, сильно приправленных мифом, персонажу или голосу, представляющему автора, доверено характерное рассуждение об истории, адресованное некоему Звездному Брату: «Она воздвигает себе памятник неслыханной высоты, в котором пирамиды фараонов окажутся горстью камешков, вмурованных меж арматурою где-то в глубинах его фундамента» (А. Ким, «Луковое поле»).

При такой умонастроенности персонаж-распорядитель не станет поглядывать окрест из глубины обстоятельство. Ему нужна «неслыханная», орбитальная, скажем так, высота и свобода перемещения над житейской конкретикой. Именно благодаря высоте и свободе он не одинок и может аукаться со звездными братьями. Или с кем-либо из Христовых апостолов. Или с Гераклом. Или с былинными шлемоносцами.

При этом упорядоченность системы надо прежде всего искать на орбитальном уровне, ибо диктат обыденных обстоятельств здесь ослаблен, сами обстоятельства прорежены и легко пропускают сквозь неплотный свой строй восходящие токи духовности.

У одного из наиболее одаренных создателей мифопрозы (назовем ее так для краткости) А. Кима симпатичный автору персонаж поселяется на берегу океана, в заброшенной хижине, дабы без всяких помех осознать себя перед лицом вечности и «суметь понять душу времени». Ситуация решается лабораторно — введением фактора, при котором персонаж никому ничего не должен: у него смертельное заболевание. Фактор введен, задействован и тут же отодвинут в сторонку, дабы не мешать главному — лирико-философическим умозрениям, в которые, можно ска-

зать, глядится весь повествовательный контекст (повесть «Собиратели трав»).

В центре другой повести странник, «человек, назвавший себя Павлом» (не тайная ли мета апостольства?), анакорет и самодеятельный философ, воспринимающий людей отстраненно, мифологично и смутно, словно переселенцев из далеких миров. Появляется новое лицо — девушка-украинка, отдалившаяся от стайки подруг, чтобы ноги ополоснуть в канале. Появляется и сразу вливается в гостеприимную легенду Павла. Но и самой девушке славно грезится у бегущей воды. Она «с опаскою погружала в воду руки, а то как цопнэ и рванэ, приходило ей в голову, хотя и самой было смешно» («Луковое поле»).

Не успев отрекомендоваться и занять место в сюжете, новое лицо уже зазывает нас в свои видения. Тайное бежит впереди явного. И сквозь внутренние голоса персонажей, настаивающие друг друга, совсем не просто пробиться будничной разноголосице.

Характерно, что процесс ускоренной мифологизации искусства (захвативший сейчас литературы многих стран и народов) менее всего затронул военную прозу. Ее мастеров как-то не манит «неслыханная высота», откуда и пирамиды фараонов видятся горстью камешков. Быть может, оттого не манит, что раскаленный трагический материал в основе своей мифонепроницаем. Противясь любой эстетизации и философическому острашению, он не согласен выкладывать суть, очищенную от быта, хотя бы потому, что быт войны сущностен. И вопрошающему духу приходится уважать его законы.

Фронтовой быт строго окликает художественную мысль, решившуюся пройти через его порядки: «Не спеши воспарять! Задержись и вникни!» А порядки плотны. И с громоздким эстетическим реквизитом, с готовыми моделями из мифологического арсенала сквозь них не протиснешься.

Легко понять ленинградского прозаика В. Тублина, когда своему герою, спортсмену-лучнику, он подсказывает увлекательную фантазию о Шервудских лесах и легендарном Робин Гуде, который словно бы ожил в нем, мечтательном герое, или, во всяком случае, лук со стрелами ему завещал (повесть «Доказательство»). Сознанию тублинского персонажа необходима добавочная занятость, и оно охотно укрупняет ситуацию спортивных игр с помощью интересных исторических параллелей.

Для участника боя такие аналогии — ро-



скошь, да и батальная ситуация крупна без фантастических присочинений. И вряд ли кому из военных авторов при описании боя захочется сравнить, предположим, крупнокалиберную мину с палицей Геракла или солдатский маскхалат с тигровой шкурой из грузинского эпоса. Батальный материал заставляет художественную мысль работать в его глубине, проходя один пласт за другим и получая попутно крепкую демократическую закалку — онять же благодаря плотному контакту с материалом.

Слово автора, вобравшее горечь, озноб, насаду и гарь фронтовых будней, уже содержательно и утоляет читательскую жажду узнавания, «как все это было». Когда первая жажда утолена, наступает очередь более глубоких откликов на авторское слово. Или не наступает, если читатель привык прежде встречаться с материалом, а уже потом с автором. И какая-то часть аудитории останется при факте. Просто при факте, включенном в батальную фабулу.

Втягиваясь в глубь материала, художественная мысль будет незаметно отрываться от других групп читателей, которые взяли сколько могли или сколько привыкли брать, но сверх того удержали в себе образ движения, следования по маршруту, на который им вовсе не заказано вернуться. Все это пример или тип свободной конвенции с читателем и твердых обязательств перед материалом (вникать в его внутреннюю логику!), сложившийся на почве классического реализма, чей навык особенно актуален перед лицом такой строгой действительности, как война. Иначе говоря, строгая действительность содержит в себе гносеологический призыв к сосредоточенному упорству мысли, для которой «нет надежды конца и уяснения».

Не в пример батальным жанрам, где уже внешняя достоверность содержательна, изобразительное слово о налаженном мирном быте мертво или декоративно без вторых значений и обертонов.

Нынешняя мифологизированная проза как раз и начинает со вторых значений, уплотняя их с помощью межэпохальных параллелей и свободно обтекая вязкую будничность, где что ни конфликт, то капризное переплетение причин и следствий: задержался — распутывай. Мифологизированные системы (за вычетом тех, где персонажи издавна мыслят в категориях мифа, а не пришли к нему под водительством автора) для задержек и распутыва-

ний приспособлены слабо. Намного лучше — для авторских отступлений, исповедальных и философических монологов, часть которых, конечно, передоверяется персонажам. Однако, передоверяя, автор ревниво стоит у них за плечом, готовый в любой момент перехватить инициативу.

Авторская инициатива здесь исключает свободную конвенцию с читателем. Читатель вынужден сразу стартовать ввысь, в разреженную область умозрений, не успев нащупать твердую опору, загореться сюжетным интересом и взять сколько нужно или сколько захватит рука.

Уровень контакта с автором директивен и для всех один. Кто не усвоил исходных условий или замешкался, остается ни с чем. Таков неизбежный аристократизм этой прозы (весьма демократичной по составу персонажей, максимально приближенных к природным стихиям), нацеленной на расшифровку последних истин о человеке в системе бытия, то есть на уразумение того, что классика подразумевала.

Но последние истины, быть может, до той поры и остаются истинами, пока их подразумевают? Пока им не грозит вырождение в трюизмы? Увы, проза, откачнувшаяся от быта к мифу, взявшая особое шефство над скрытыми запросами духа, совершенно не умеет подразумевать. У нее что на уме, то и на языке. На языке даже больше. Сотканная из лирических рефлексий, проникновенных монологов о вечном, сновидческих наплывов и т. п., она бывает горяча и вдохновенна, но при этом безопорна в своих поэтических выплесках и струениях.

Сколько и на каких участках текста предвидится вставных легенд, монологов, реминисценций? Душа — мера. Вернее — дух, который, празднуя свой выход на большую арену, не желает подчиниться конструктивной логике, пока не вознаградил себя за прежнюю стесненность. В ней, кажется, и скрыта мера нынешней его раскованности.

Говоря о мифологизированной прозе, сознательно уклоняюсь от перечисления имен и названий (они, кстати, памятливы читателю по дискуссионным откликам на статью Л. Аннинского «Жажду беллетристики»), чтобы резче выделить существенное. Да, классика сегодня у всех на виду, и, кажется, ни для кого не секрет, что важнейшее ее отличие от неклассики — высота взгляда на мир, высочайший уровень отсчета ценностей.

В усвоении этой — весьма притягатель-

ной — истины текущей литературой замечен элемент внезапности, чему свидетельством необычный ажиотаж вокруг вечных, межэпохальных сюжетов и последних вопросов бытия. Не случайно возник и особый тип прозы, занятой ими, прозы узкого профиля, которая очень многое умеет по отдельности (запечатлеть ускользающие оттенки чувств, прихотливые видения, грезы наяву, мистерии возбужденного духа, найти ритм, согласный психологическому настрою персонажа, точную речевую краску и т. п.) и гораздо меньше в целом, то есть затрудняется осознать себя как целое.

Системе с объявленным сверхзадачей, разомкнутой в безграничность, трудно войти в границы, сомкнуться, дабы производить полезную работу всем своим составом. Мысль, не дотягиваясь до соседней мысли, вытаптывает занятую платформу и предается горячим манифестациям об актуальности вечных вопросов. Крутые подъемы такой манифестной речи даже чреваты иллюзией: вот он, дескать, голос классической традиции и вот столь чуткая к ней мифологизированная проза, прямо на глазах набирающая высокие баллы как восприимница творческих заветов.

Но культ духовности еще не культура преемства. А в чем-то и ущемление культуры, ибо означает вибрацию на месте, разведение и шумный выпуск паров взамен движения по маршруту, взамен сосредоточенной работы познания, к которой настойчивей всего и зовет традиция.

Из-за вибрации на месте познавательный механизм такой прозы оказывается расшатан еще до прямого употребления.

И выходит, что одна сторона традиции на свету, другая — в тени, по одному счету — наследование опыта, по другому — отклонение от него.

### Проза обязательств или проза осуществлений?

Не случайно в работах критиков стало мелькать сочетание «авторская проза», созданное по образцу «авторский кинематограф», «режиссерский спектакль» и неплохо передающее суть дела, если под сутью разумеешь лирическую раскованность прозаиков, их склонность солировать, перекрывая голоса персонажей, предаваться пространным медитациям о времени, загадках бытия и т. п.

Наименее податлива подобным веяниям опять же нынешняя баталистика. Но не только. Не податлива вся остроконфликт-

ная проза, привыкшая наблюдать героя на крутых изломах его пути, в испытательных условиях кризисов и переворотов.

Острые сегодняшние конфликты, однако, — род эстетического дефицита. Едва обнаруженные, они тут же расходятся по рукам, порождают десятки беллетристических версий, изнашиваются от дружного употребления, стареют в слове, не успев исчерпать свой социальный заряд (можно сослаться на коллизию гелммановской «Премии» или на популярный сюжет «браконьер и закон»). Они стареют, а спрос на крутую контрольную ситуацию остается. Притом спрос, исподволь поощряемый глобальными потрясениями XX века, то есть памятью о них, накрепко впечатанной в духовный состав современного искусства.

И даже если особенно не вдаваться в другие причины, нас не удивит обилие в текущей литературе прихотливых монтажей минувшего с настоящим, где настоящее горячо не само по себе, а за счет своеобразных займов у грозных лет: оно вбирает, усваивает энергию незавершенных драм военной, предположим, поры или бурных 20-х («Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева, «Бессонница» А. Крона, «Старик» Ю. Трифонова).

Источник сюжетного напряжения отдален, зато надежен. В глаза персонажам уже старость глядит, тем персонажам, что соединяют своим присутствием временные пласты. Но годы их весомы. И, говоря словами Блока, «от дней войны, от дней свободы — кровавый отсвет в лицах ест». Очень важный отсвет для нынешнего искусства, где не один ведь Василь Быков проникся интересом к «самой упрямой и самой ясной» частице души персонажа, в котором она могла бы и занеметь, частица эта, не получи он «от дней войны» ту памятную нам встряску, тот ожог совести...

Значит, на быковские дотошные вопросы отозвался растревоженный Степка. Отзовется ли на аналогичные вопросы персонаж помоложе, без «кровавых отсветов» в лице? Да еще при условии, что и сам автор подведен к своим вопросам не столько судьбой, сколько профессиональным навыком решать психологические задачи? Не придется ли автору брать слово самому, возмещая нехватку реального напряжения из запасов лирического чувства, философской и прочей эрудиции?..

Именно в таких случаях, когда прозаик, отчаявшись растормошить героев, все за

ветное выкладывает сам — о космосе их душ, тайнах бытия и прочем, — особенно наглядно его равнение на высокую традицию. То есть нагладен момент приобщения к ее опорной аксиоме: художник — тот, кто «по самой природе своей видит не только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной» (Блок).

Прозаик просигнализировал классической музе: вас понял! А в чем понял? Ответ найдем в медитативных пассажах о пространстве, вечности, трансэпохальных порывах духа... Квалификационный, в общем-то, самоотчет (вроде экзамена на чин), разминочные движения мысли, незаметно вышедшей на новый виток просветительства — все того же испытанного просветительства, которое гони в дверь, оно вернется через окно, резко распахнутое в область тайн и откровений. Вернется лирической риторикой. Иначе говоря, сегодняшняя «авторская проза», сместившаяся от быта к бытию, — это скорее проза обязательств (повышенных!) перед славной традицией, чем осуществлений.

Так что же выходит? Все преимущества на стороне остроконфликтного искусства? Лишь сигнал «тревога» — залог обнаружения моральных ресурсов личности, включая последние НЗ, а значит, и залог сближения с традицией? Видимо, в принципе так (а в пользу принципа свидетельствует хотя бы ведущее место трагедии в иерархии жанров). Но, с другой стороны, разве случайно Чехов избегал нагнетания страстей, стремясь и в рассказах и в пьесах воспроизводить течение серых будней (вспомните чеховское: люди в обычной жизни едят, пьют, волочатся, говорят глупости; так должно быть и на сцене)?..

В самом деле, что такое сюжет, как не своеобразный отпечаток действительности? И если он сплошная цепь тревог и авралов, то, видимо, взбудрен чем-то извне, заряжен грозовой атмосферой. Так по логике вещей? А если атмосфера не грозовая — ровная? Ей как просочиться в остроконфликтный текст? И щепетильные прозаики стараются избегать форсированных ситуаций, особенно если бурные потрясения века — за чертой их непосредственного опыта.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на Валерия Алексева, Владимира Маканина и Руслана Киреева, еще недавно числившихся молодыми. Трех авторов сближает интерес к типу рвача-самоеда,

рефлексивного прагматика, взятого в процессе вольной охоты как за бренными благами, так и за последней истиной о себе самом, таком приспособленном. Он охотится, и авторы за ним охотятся, пробуя выведать, что же подделывает «самая упрямая частица» его души, неостребованный (обстоятельствами) внутренний человек этого героя.

Но после Чехова мало кому удавалось выманить на свет упомянутую частицу души нерастраженного персонажа. И в руках у наших авторов остается тип, попавшийся в силки социально-психологического анализа, но утаивший искомую частицу («Последний шанс „плебея“» В. Алексева, «Портрет и вокруг» В. Маканина, «Победитель» и «Апология» Р. Киреева). А тип — это некая стабильность, даже в раздерганности своей сбалансированная и уравновешенная.

Но, судя по аналитическим установкам прозаиков, персонаж для них и загадка и определенность. Загадка потому, что ими воспринят завет классики «ищи внутреннего человека!»; определенность потому, что загадка героя как бы не вполне реальна, а герой — вот он, во плоти и реальных противоречиях.

А рядом с названными авторами вершат свою увлекательную алхимию прозаики мифологической школы, синтезируя из снов, легенд и видений чистый субстрат духовности.

Первые, взяв разбег в направлении внутреннего человека, делают остановку на уровне социального портретирования, вторые, отягощенные «волшебной» аппаратурой, вращаются вокруг собственной лирической оси.

А высокая традиция, ее сигнальные огни по-прежнему впереди.

Уровень социального портретирования, однако, не последний рубеж для авторов, привлеченных сигнальными огнями. К примеру, Владимир Маканин в последних вещах идет значительно дальше этого рубежа, не давая персонажам осесть в готовую типологию. Кстати, собирательное понятие «тип» мы встретим у него в авторской речи, а неподалеку окажется созвучное «типу» слово «стереотип». В том же лексическом ряду найдется четкая антитеза «стереотипу» — сочетание «живой человек».

Противоположение достаточно употребительное и очевидное? Да. Но ведь и взяли мы его там, где видней, — из прямых лексических повторов и подчеркиваний (повесть «Голоса»). А могли бы, сместившись

поглубже, понаблюдать, как охотно маканинские персонажи расслабляются, доверяясь инерции наработанных привычек, и как вроде бы убаюканное чувство, живая страсть в поисках выхода рвут страховочную сеть стереотипов. По характерному слову автора, происходит «выброс и выхлоп» энергии.

Характерное слово способно шокировать, грубо перадыгая нас из деликатной сферы человеческих переживаний куда-то на городской перекресток, где стадо машин урчит моторами и чадит бензиновой гарью. Что за вкус?! Весьма точный, по моему разумению, вкус. И стиль, отвечающий теме.

О чем, собственно, речь у В. Маканина? О механизме, приводном механизме психологических наших запросов, который порой очень многое решает за нас, то есть в обход нашей воли и трезвого самоконтроля. Наблюдая своих персонажей в их погоне за какой-нибудь неурочной радостью, отдушиной в тесном ряду забот, острым впечатлением, покоем, наконец, который нам только снится, писатель словно бы читает некую перфокарту, на которой все закодировано далеко вперед, включая оттенки состояний, вспышки самолюбия, мелкие сделки с совестью... т. п. Таким наблюдениям как раз и соответствуют краски, взятые из машинно-топливной сферы, и авторский тон саркастического «сочувствия» персонажу (большому мастеру уклоняться от перегрузок), чья инициатива легко и даже водевильно предсказуема.

А впрочем, интонационная партитура новых вещей В. Маканина, таких, как «Отдушина», «Река с быстрым течением» и особенно «Голоса», достаточно сложна. И с розыгрышем, пародией, усмешкой соседствует нешуточная озадаченность автора заветным словом персонажа, едва различимым за его бытовым говорком, то есть озадаченность недосказанностью этого слова (скрыто же в нем не исчерпанное бытом значение!). Впрочем, не только этого слова, а и неясностью голосов тех людей, которых, возможно, и на свете давно нет, но которым выпал шанс пробиться к людскому слуху через вынужденного своего потомка.

И не могут, по авторской догадке, не слышать голоса в его памяти, не мучить, не распирать его «генетической недоговоренностью». Причем собственное слово писателя интонировано таким образом, что, позабывшись (не без тревожной самооглядки, однако) чехардой «сте-

реотипов», мы как-то незаметно перемещаемся в иную реальность или в застрочную перспективу, где обитает «живой человек», не уместившийся в набор «стереотипов». Он ищет, как поразумней, по-человечней собою распорядиться. Наморщив лоб, слушает все те же голоса. Копит энергию, потребную для «выброса и выхлопа», которые бог весть когда и случатся.

Пока не случились, писатель аккуратно зондирует нерастревоженное «пугро» (маканинское словцо) своего героя, пользуясь интонационным, ассоциативным инструментом и отдавая себе — заметим! — ясный отчет в том, что по-настоящему его «живого человека» способен расшевелить «внешний... грубый толчок». Впрочем, маканинский персонаж — великий мастер преподносит сюрпризы и себе и окружающим, что называется, на ровном месте, не испытав перед тем никаких «грубых толчков» извне. Вот сидит, к примеру, пенсионер Савелий Грушков на лавочке, вдали от шума городского, вернее поселкового (место действия — заводской поселок где-то на Урале), листает юбилейное издание Данте Алигьери и нагоняет оторопь на соседей по бараку зловещими восклицаниями: «В ад — в ад — в ад!» (повесть «Голоса»). Проняло, выходит, Грушкова искусство бессмертного флорентийца. А ведь в допенсионную пору, кажется, ни одной книги толком не прочитал. Но зрело, судя по всему, в прежнем Грушкове, озабоченном и хлопотливом, свое подспудное слово. И вот подошел Данте, налег на один край грушковского сознания, где копились непроясненные мысли о последнем отчете каждого за все совершенное и за упущенное. Нежданно-негаданно потянуло поселкового пенсионера предрекать кому-то кару господню.

А дальше? Дальше в повести речь о другом. Опять же о поселковых стариках, только на сей раз поглощенных заботой не о душе — о теле. Парятся они в местной баньке. Артельно парятся, с чувством и толком. Без происшествий. Попарились — ушли... Эпизод этот можно рассматривать отдельно как мастерскую зарисовку с натуры, можно его изучению посвятить семинарское занятие в Литературном институте: не исключено, что студенты постигнут кое-какие секреты жанризма в прозе. Но помимо живописного штриха, ритма фразы и т. п., банный эпизод воздействует на наше восприятие и неявной своей стороной.

Легкой подсветкой, смещением акцентов прозаик создает в глубине жанровой картины особую, теневую, бестелесную реальность, где те же старики видятся, нет, полувидятся-полувоображаются уже шагнувшими за последнюю черту. Словно бы в клубах пара движутся куда-то гурьбой призрачные фигуры, не отзывчивые больше ни на что земное. Какое-то подобие молчаливых групп и процессов, пересекавших в «Божественной комедии» путь Вергилия и Данте. Случайная ассоциация? Нет, наверно. Ведь представление о Дантовом мире уже встревожено в читателе чуть раньше — рассказом о Савелии Грушковой, впадавшем в пророческий раж над страницами Данте. И я, читатель, различаю у Маканина переход внутренней темы от прежнего эпизода к новому. Улавливаю, как маканинский герой-повествователь, излагая и усмешливо комментируя дела житейские, выведывает потихоньку у своих стариков, что им говорят голоса, тревожат ли укорами, а может, напутствуют перед последней дорогой...

С выведыванием такого рода хорошо дружит поэтика мифа. И В. Маканин, кажется, уже делает шаги в эту сторону... Нет, полшага. Мифу он позволяет проникнуть в сюжет слабым веянием, намеком, легкой реминисценцией из «Божественной комедии». Не больше того. Для его аналитических задач вполне достаточно.

Маканинский психологизм малоучастлив к персонажу? Истину о человеке писатель чаще всего добывает методом глубоких и колких интеллектуальных прониканий? Пожалуй, так. Но разве насмешливая наблюдательность, острый анализ В. Маканина ставят его в литературе особняком?

Перевес холодных наблюдений ума над сердечным волнением критика неоднократно отмечала у таких популярных прозаиков, как С. Залыгин, Д. Гранин, Ю. Три-

фонов, Анар, Э. Ветемаа, Р. Киреев, которые — обратим внимание! — совсем не склонны ввергать своих персонажей (ретроспективные сюжеты, конечно, не в счет) в пучину драматических встрясок. Быть может, прямой напор аналитической мысли этих писателей призван как-то разогреть, дестабилизировать, что ли, устоявшийся материал? Не исключено. Стоит, однако, учесть и другое: культура «открытой» авторской мысли дает твердый сцеп с традицией, верней с одной из линий классического реализма, оставившего наследникам завет упорной и строгой аналитичности. Во всяком случае, на этом участке текущей прозы весьма уверенно набираются слагаемые того «проходного балла», о котором было сказано выше.

И все же... Разве в «Карателях» А. Адамовича не приоткрылась нашему взгляду сердцевина традиции или пусть грань ее, остро заточенная поворотными событиями XX века? Не отозвалась давняя нота тревоги, прозвучавшая еще полтора-два десятилетия назад в трагедии о Моцарте и Сальери?.. И, возможно, оживление этой ноты, мотива этого означает, что традиция все-таки задалась? Ищет дорогу вперед пошире той, что уже пробита? Рассчитывает продлить самые напряженные из своих линий?

У традиции высокий счет к восприимчивым, вышедшим навстречу с хлебом-солью (если позволительно чуть пофантазировать, то хлеб несет деревенская проза, соль мелкого помола, — городская, склонная к едкой аналитичности, а мифологизированные повествования — нечто вроде духовного, или, вернее, духовного, оркестра, без которого не обойтись в торжественную минуту), высокий счет и предварительный, организационный, можно сказать, вопрос: успели они или нет в отсутствие Льва Толстого усвоить, принять к руководству толстовскую максиму о том, что «нет надежды конца и уяснения»?

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**И. Грекова.** От драматургии к прозе. — **Ст. Золотцев.** Жизнь на родной земле. — **Алла Марченко.** Преодоление тяжести. — **Л. Аннинский.** «Волик... ты меня не узнаешь?». — **Леонид Бежин.** Мысль и образ.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**С. Кондрашов.** Иметь или быть. — **А. Д. Михайлов.** Уроки алхимии. — **А. Шарков.** Труды и свершения российских Колумбов.

## Литература и искусство

### ОТ ДРАМАТУРГИИ К ПРОЗЕ

**Александр Крон.** Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1980. Том I. Дом и корабль (роман). Как я стал маринистом (очерк). 543 стр. Том II. Бессонница (роман). Вечная проблема (очерк). Воспоминания. 511 стр.  
**Александр Крон.** Пьесы и статьи о театре. М. «Искусство». 1980. 528 стр.

**А**лександр Крон в нашей литературе явление примечательное. Оригинален путь его развития — из признанных мастеров драматургии в мастера прозы. Давно известно, что многие поэты, перейдя в зрелые годы, становятся прозаиками («Лета к суровой прозе клонят», — сказал еще Пушкин). Существует даже особый жанр литературы — проза поэта, отмеченный по сравнению с обычной прозой большей образностью, вольностью сближений, большим вниманием к музыке слова. Но с прозой драматурга, пожалуй, сталкиваешься впервые.

В наше время, когда репертуар театров переобременен инсценировками прозаических произведений (здесь не место анализировать причины этого явления или давать ему оценку), особенно привлекает внимание обратный путь: от драматургии к прозе. Начав с театра, рано узнав и полюбив «запах кулис», написав и увидев поставленными ряд пьес, имевших большой и длительный успех («Глубокая разведка», «Офицер флота» и другие), Александр Крон примерно к середине 60-х годов разочаровался в театре. «За последние годы я разлюбил театр», — признается он в очерке «Как я стал маринистом» (1965).

Мне представляется, что А. Крону, обогатившему запасом зрелых, выношенных мыслей, идей и образов, с течением времени стали тесны узкие рамки драматургических условностей. Понадобился более вольный, пространный разговор с читателем, более свободное и подробное изложение «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

О разнице между драматургией и прозой выразительно пишет, он сам в интересной статье «Смена объектива» (1979). Театр условен, утверждает он, проза тоже условна, но условия там и здесь разные. В самом деле, условность четвертой стены в театре заменяется в прозе условностью всевидящего автора, которому дано проникать в психологию героев, наблюдать изнутри их мысли и чувства. Условна и внутренняя речь героев, которая в натуре никогда не бывает такой складной и художественной, как в прозе.

«Глаз писателя в некоторых отношениях подобен фотообъективу», — пишет Крон, — для различной природы существуют разные типы объективов, более того — одна и та же натура, снятая различными объективами, дает несхожие изображения».

В чем разница между драматургическим

и прозаическим объективами? Прежде всего в том, что сценическое время течет иначе — быстрее, чем в прозе, более насыщено событиями, конфликты развиваются стремительнее, диалоги резче, «кинжальнее», менее похожи на сравнительно вялую, «рваную» бытовую речь. Драматургии противопоставлены долгие размышления, ей несвойствен пейзаж (в театре все это доделывается режиссером и художником). Временные рамки драмы жестко ограничены... Для драматурга в несравненно большей мере, чем для прозаика, важен «слух на живую речь». В статье «Моя анкета» (1961) А. Крон пишет: «Одни литераторы больше понимают, когда подсматривают, другие — когда подслушивают. Я больше понимаю на слух». «Сменив объектив», А. Крон показал, что его творчеству присущи оба чувства — и слух и зрение. На страницах его прозы звучит живая, острая речь и наряду с ней возникают пластические зрительные образы.

Испытывая потребность выйти за рамки драматургии, А. Крон пишет роман «Дом и корабль» — в сущности, «опыт романа», как удачно выразилась во вступительной статье Д. Тевекелян. Удался ли этот опыт? И да и нет. В романе много «местных» удач, автор выказывает в новом для него жанре художественной прозы незаурядные возможности. Удалось зримые, зорко подсмотренные портреты действующих лиц, особенно отрицательных героев, например Однорукова: «Большой рот растянулся в улыбке и стал очень похож на тигре, заключенное в круглые скобки», «Часы он носил на внутренней стороне запястья и смотрел на них так, как будто показывая циферблата были засекречены» — из этих остро подмеченных подробностей сразу виден характер подлеца-конъюнктурщика.

Привлекают внимание превосходно написанные пейзажи блокадного Ленинграда. К примеру: «Огромный город, как припавший к земле боец, лежал, укрывшись маскхалатом». Пейзаж — мрачный, утробный, воинственный — играет большую роль в романе «Дом и корабль», создавая как бы одну непрерывно звучащую ноту, на фоне которой разворачивается действие. Прекрасно выписаны подробности блокадного быта. Объектив писателя, как панорамирующая кинокамера, выхватывает из мглы то один, то другой предмет, казалось бы незначачие порознь, но важные в совокупности. В романе есть выразительные диалоги, блестящие словесные стычки, написанные пером опытного драматурга и словно бы ждущие немедленной реакции зрительного зала.

И все же автор поначалу не вполне почувствовал новые для него, менее жесткие ограничения прозы. Не столь очевидные, они существуют, и погрешности против них видны. Многие диалоги и монологи затянуты, центральный герой романа Горбунов — он же герой широко известной пьесы «Офицер флота» — кажется при жизни отлитым из бронзы. Читая страницы его бесед с юным Туровцевым, невольно думаешь, что автор поддался инерции драматургического правила: все существенное должно быть выражено прямой речью.

Кстати, любопытна история трансформации произведения, рассказанная в статье «Смена объектива». Спустя некоторое время после появления в печати романа «Дом и корабль» (1964), более современного, чем пьеса «Офицер флота» (1943), один из ленинградских театров попытался снова переделать роман в пьесу. Попытка не удалась, и автор наложил на инсценировку вето. Он вообще против инсценировок своей прозы, подчеркивая, что «смена объектива» — далеко не простое дело. «Предстоит труд, почти равный написанию новой пьесы, — пишет он. — Но тогда, может быть, и правильнее — оставить прозу в покое и написать новую пьесу?»

Настоящая удача А. Крона в прозе — это не столь давно появившийся роман «Бессонница», над которым автор работал десять лет, не пожалев труда на доскональное изучение проблематики, сложностей и быта своих героев. Вообще А. Крон не умеет и не может писать о том, в чем до конца не разбирается: такова природа его дарования. Ему несвойственны домыслы и догадки. Доскональное знание жизни и быта моряков, ученых-биологов сообщает его манере письма особый оттенок добротной достоверности, о которой стоит поговорить отдельно.

В наши дни наряду с традиционными жанрами деревенской и производственной прозы все громче заявляет о себе проза научная. Это и естественно — в эпоху НТР значимость науки в жизни общества резко повышается, стремительно растет и число людей, занятых наукой, ее творящих и обслуживающих. Научные профессии впервые в истории человечества становятся массовыми. Возникает закономерное стремление литературы (в первую очередь реалистической прозы) проникнуть в эту среду, осветить жизнь и быт тех, кого принято называть учеными. Мне лично этот термин не кажется удачным. Я предпочитаю более нейтральный — научный работник.

Со вступлением науки в массово-коллективную фазу смещаются привычные акцен-

ты. Отходит в прошлое жюльверновский Паганель, рассеянный чудака, одержимый и вдохновенный, не от мира сего. Наука превращается во вполне заурядную область человеческой деятельности, где, как и во всякой другой, есть свои вершины и свои равнины, свои озарения и свои будни. Для массового научного работника характерна не поза роденовского мыслителя, а разнообразные формы вполне конкретной, неромантической деятельности, включая такие, как раздобывание, согласование, отчетность и т. д.

Для того чтобы писатель-прозаик мог убедительно и интересно писать о науке и ее людях, он должен прежде всего знать эту область во всей ее плоти и крови, со всеми мелочами, сучками и задоринками. Почти-тительный и робкий восторг перед величием науки, ее тайнами и свершениями, как правило, не пробуждает ответной реакции читателя (эмоции вообще редко вызываются призывами к ним). Если писатель смотрит на науку и ее людей снизу вверх, благоговейно становясь на цыпочки, — дело плохо.

Сейчас, когда научная тема стала модной, нередко появляются произведения скоропелые, неквалифицированные, источник которых не личные наблюдения и размышления автора, а вычитанное у других. Знакомая с такими эрзац-научными поделками, часто хочется, как некогда Станиславский, воскликнуть: «Не верю!» Не верю, чтобы люди, непосредственно работающие с компьютерами, называли их в разговоре между собой умными машинами или восторгались перспективами искусственного интеллекта. Не верю, чтобы физик, работающий с лазером, называл его, устно или мысленно, мудреным прибором. Не верю, чтобы биологи в личной беседе впадали в пышнословие по поводу геной инженерии. На деле все это куда прозаичнее, заземленнее. Именно научная «земля» — почва, густо проросшая корнями и подробностями, — придает произведению достоверность и впечатляющую силу. Увидеть и передать эти подробности, разумеется, легче всего профессионалу, лично работающему в данной области науки. Но было бы нелепо требовать, чтобы о физиках писали только физики, о биологах — только биологи. Талант писателя, его вдумчивое внимание иногда позволяют ему обнаружить и высветить явления, невидные привычному глазу специалиста, слишком примелькавшиеся ему. Таков, например, в романе «Бессонница» мотив «обратного плагиата». Это явление, широко распространенное в научных кругах, обычно расценивается общественным

мнением как сравнительно невинное. Подумаешь, великое дело: не икс украл у игрека его научную работу, а, наоборот, игрек (один или с коллективом) добровольно сделал научную работу за икса или же довел до кондиции негодное иксово изделие. Грань между товарищеской помощью и прямой фальсификацией здесь порой неуловима. Александр Крон со всей резкостью ставит вопрос о коллективной ответственности за фальсификацию ученого, разделяемой всеми, делавшими за него работу. Невинная помощь на деле оборачивается разновидностью подлога.

Александр Крон в романе «Бессонница» не фамильярничает с наукой и не заискивает перед ней. Его отношения с наукой — на достойном уровне взаимного уважения, не снизу вверх, а глаза в глаза. Не случайна популярность романа в самых широких кругах научных работников, включая и биологов, находящихся в нем богатую почву для размышлений.

«Бессонница» — роман об интеллигенции, о мыслящих людях в первой шеренге нашего сложного времени. Пренебрежительное отношение к интеллигенции — заблуждение, еще не до конца изжитое в нашем обществе. «Не люблю, когда об интеллигентности говорят как о врожденном или приобретенном пороке» — эту мысль высказывает на страницах романа его ведущий герой профессор Юдин, и с ним нельзя не согласиться.

Когда произведение пишется от первого лица, у читателя почти неизбежно возникает иллюзия автобиографичности, тенденция отождествлять рассказчика с автором. Это приводит порой к курьезному результату, когда недостатки повествователя ставятся в вину самому автору. Профессор Юдин отнюдь не является «шагающим рупором» писателя А. Крона, а ведет свое собственное, отдельное существование.

Юдин — научный работник с головы до ног, человек одержимый и беспристрастный. Его интеллект силен и отточен, во многом рационалистичен. Любое явление, с которым сталкивается его жизнь, в том числе он сам с его мыслями, чувствами, поступками, становится для него предметом исследования. Отличительная его черта — объективность, порой переходящая даже в безжалостность. Монологическая форма его записок то и дело перебивается диалогом — спором пишущего с самим собой или с воображенным противником, и в этих спорах Олег Антонович далеко не всегда выглядит победителем. «Элементарная добросовестность исследователя, распространяю-



щаяся также на все случаи самоисследования, обязывает меня задать себе вопрос — а нет ли тут моей вины? Задаю и отвечаю: есть, и несомненная».

Своим мыслям Юдин — не только ученый, но и педагог, воспитатель — привык придавать броскую, емкую, афористическую форму. Текст романа густо насыщен афоризмами: «Самоутверждение отнюдь не противоречит самоотверженности. Самоотверженность есть высшая форма самоутверждения», «Ученый, по злому умыслу или по невежеству назвавший черное белым, здорового больным, а больного здоровым, негодное достойным, а доказанное ложным, не заслуживает звания ученого», «Раны надо не скрывать, а лечить. И сыпать на них соль», «С человеком, укравшим серебряную ложку, не обсуждают химические свойства серебра» и т. д.

Кратко и выразительно он пишет о проработочной дискуссии, сыгравшей в истории Института плачевную роль: «...это была трехдневная коррида, где у быков были заранее спилены рога, а для того, чтоб стать матадором, не требовалось ни умения, ни мужества».

Подобными отточенными, крепко сбитыми формулировками избобилуют ночные записи Олега Антоновича, в них он неизбежно до конца рационалистичен. Такой всепроникающий рационализм усложняет читательское отношение к герою. Профессор Юдин отнюдь не обаятелен, вряд ли его можно назвать добрым, хотя он делает много добра. Удачно сложившаяся карьера Юдина, его послевоенное генеральство, иногда проскальзывающие в его словах нотки пренебрежения к тем же старикам, не сумевшим «сохранить форму», — все эти черты и черточки могут создать впечатление, что пишет баловень судьбы, присяжный удачник, этаким сверхчеловек. Впечатление ложное. Как читатель помнит, не столь уж благополучен этот «баловень судьбы». Недаром в разговоре с Алексеем Шутовым, другом юности, Юдин полушутя называет себя неудачливым удачником.

Неблагополучие Юдина сильно маскируется юмором, которого у него хоть отбавляй. Особенно он проявляется в тех главах, где идет речь о прозе быта, о гримасах так называемого сервиса. Может возникнуть впечатление, что здесь Олег Антонович мельчит, разменивается на пустяки. Впечатление опять же ложное, оно резко опровергается самим Юдиным. С его точки зрения, жизнь, как и организм, не делится на высокое и низкое, на парадные фасады и задворки. Внимание Юдина к сфере быта

более чем оправданно: этот фактор входит важным элементом в его научную концепцию старения.

Второй по важности персонаж «Бессонницы» — академик Павел Дмитриевич Успенский. Образ Успенского, обаятельный и противоречивый, «со всем, что в нем было намешано, с его талантом, властолюбием, скромностью, жестокостью, щедростью, простодушием, цинизмом», едва ли не главная удача А. Крона в романе «Бессонница». Наплывами, воспоминаниями, отзывами близких проясняется прошлое, мы узнаем о постепенной деградации Успенского, его отходе от большой науки, о его погружении в суточный мир карьеры: «представительство, доклады, пленумы, сессии, конгрессы, заграничные поездки, борьба за мир», без чего он уже не мог жить. Не обойдены молчанием и пьяные загулы Успенского, его не всегда мужественное поведение в трудные минуты, его непривлекательная роль в организации дискуссии, вылившейся в избиение научных кадров. Странным образом все эти небезупречности не умаляют обаяния личности Успенского: он крупен, ярок, широк и пленяет воображение, порой оттесняя на обочину романа самого повествователя — Юдина.

Отношения между Юдиным и Успенским сложные. Они омрачены не только ревностью, но и воспоминаниями о дискуссии, в которой Успенский проявил себя не лучшим образом. И все-таки Юдин любит Успенского, не может противостоять его сложному обаянию, видит в нем по-прежнему своего учителя, помнит его молодым и прекрасным.

Большую роль в романе «Бессонница» играет Николай Митрофанович Вдовин. Это персонаж безусловно отрицательный, но далеко не однозначный. В науке он стоит немного, выведен в кандидаты Успенским и Юдиным с его лабораторией, сообщая делавшими ему диссертацию. Вместе с тем Вдовин не лишен деловых, организационных способностей, играющих немалую роль в наше время крупномасштабных научных исследований; в качестве «ломового коня», помощника директора Института, такой человек мог бы быть полезен. Вдовин не законченный, не безусловный подлец. Есть в нем и прямота, и ум, и своеобразное чувство чести: когда его громили, «принял на себя взрыв всеобщей ненависти, ни на кого не валил и не капал».

Разговоры Юдина со Вдовиным в конце романа, на «нейтральной территории» заповедника, очень любопытны. Автору удается показать своего противника во многом

правым, пронизательным. Слушая Вдовина, читатель и сам начинает колебаться: а не прав ли этот отрицательный герой?

Решает вопрос определенно не в пользу Вдовина одна некрасивая подробность: выясняется, что Николай Митрофанович из осколков кандидатской диссертации Илюши Славина, своего подчиненного и к тому же будущего зятя, намерен слепить себе докторскую. И Бета и Юдин уезжают из заповедника с твердым решением — заместителем директора Вдовину не быть. Невольно возникает вопрос: а если бы не плагиат, как обернулось бы дело?

Роман «Бессонница» в целом представляется мне несомненной удачей автора, сразу же выдвинувшей его в ряд заметнейших наших прозаиков.

Что касается недостатков произведения, то о них я буду говорить осторожно. Нередко критика встречает в штыки как раз те эпизоды и образы, которые наиболее дороги автору. Мне лично кажется, что роман «Бессонница», как та самая глубоководная рыба, о которой говорит Юдин, кое-где перенапряжен давлением материала изнутри, перегружен подробностями и сюжетными линиями. Кажется, вся парижская линия — совместная поездка Юдина и Успенского в Париж, посещение ночных увеселительных заведений, созерцание стриптизов — в романе неорганична. И совершенно излишним (опять-таки с моей

точки зрения!) выглядит появление под занавес внезапно возникшей дочки Юдина, Оли-маленькой, рожденной втайне от него его давнишней любовницей. Этот сюжетный ход скорее в традициях готического, чем современного реалистического романа. Впрочем, критические замечания — тонкое дело, здесь легко впасть в непонимание замысла автора. Сам А. Крон в статье «О гармонии и алгебре» (1971) хорошо пишет о поверхностном критицизме, о попытках грубо приоткрыть «черный ящик» творческой личности. «Лом для этой цели не годится. Между тем существует еще немало людей, убежденных, что «черный ящик» легко вскрывается простым консервным ножом. Достаточно перечитать некоторые критические статьи, призывающие «повысить требовательность в работе с автором», и список обязательных «поправок», составляемые иными редсоветами, чтобы понять, о чем я говорю». Сама будучи писателем и испытав на себе неприятные стороны «подхода с консервным ножом», я в этом вопросе солидарна с А. Кроном и прошу его считать мои «поправки» необязательными.

В конечном итоге важны не замечания и не возражения. Важно то, что «смена объекта» у драматурга А. Крона оказалась плодотворной и наша литература приобрела нового, весьма интересного и оригинально думающего прозаика.

И. ГРЕКОВА.



## ЖИЗНЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Леонард Лавлинский. Степной ночлег. Стихи и поэма. М. «Советский писатель». 1980. 151 стр.

Леонард Лавлинский. Ключ. Книга стихов. М. «Современник». 1978. 111 стр.

Не часто бывает в литературе такое явление: профессиональный критик, много лет работавший в этом жанре, вдруг выпускает уже в зрелом возрасте книгу стихов, затем еще одну, причем эти книги сразу привлекают внимание читателей и прессы. Принято считать, что поэзия — дело молодых, по крайней мере, заявляют о себе стихотворцы обычно в молодости... Но по-разному складываются судьбы поэтов, так же как и судьбы их книг. Действительно, как правило начиная со стихов, поэты нередко переходят на прозу, на критические исследования. К добрым исключениям из этого правила можно отнести рецензируемые книги Леонарда Лавлинского. У их автора за многие годы литературной деятельности сложилась репутация опытного исследователя поэзии, журналиста, редактора. Однако «Ключ» и «Степной ночлег» дают возможность судить о Л. Лав-

линском и как о незаурядном и самобытном поэте. Мне представляется, что необычность поэтической судьбы Л. Лавлинского не столь уж необычна: она коренится в ответственном и строгом, ревнивом отношении автора к созданию стиха. Легко почувствовать, что в книги вошли стихи, созданные не за краткий отрезок жизни, продиктованные долгой и упорной духовной работой. Вот строки, на мой взгляд точно подтверждающие это:

Поэзия — не вид самогипноза,  
А трезвая обдуманность борьбы  
И душу обжигающая проза —  
Среди тайги, встающей на дыбы,  
И ярость забайкальского мороза,  
И раскорчевка собственной судьбы.

Здесь выражено твердое убеждение автора: он идет не от внешних фактов своей биографии, хотя она явственно и зримо проступает на страницах «Ключа» и «Степного ночлега», а от важнейших примет эпохи,

от фактуры бытия, с которым неразрывно связана собственная «корчущая» судьба лирического героя.

На первый взгляд автора не влечет в творчестве «одной лишь думы власть», то есть какая-то одна магистральная тема. Взгляд художника жаден до разнообразных явлений настоящего и прошлого, до многих красок жизни и ее граней. Исток же вдохновения, основа духовности видятся автору в его родной донской земле. Свежестью и своеобразием мировосприятия дышат стихи первого сборника — «Тополя», «Казачье солнышко», «Донская баллада». Это и естественно: ведь ярче всего человек ощущает мир в детстве и ранней юности — даже если они нелегки, даже если совпали с лихой военной годиной. Стихи такого ряда (как и вообще многие вещи автора) трудно подпадают под какое-либо одно определение, например пейзажные, бытовые или исторические.

Л. Лавлинскому вообще свойственно стремление создавать такой центральный образ произведения, в котором читатель может увидеть, как в горниле души лирического героя идет сплав самых разных стихий жизни — и высокой мысли, и быта, и ощущения родной земли, ее людей, современников и предков. Отсюда богатый словарь его поэтики, берущий начало от народной речи, далекий от архаики и стилизации. Автор предпочитает стих, исполненный динамики, рельефные метафоры, точную рифмовку. Вот колоритные строки из «Старого базара»: «Толпа гудит стоуто, укропом надышала, где шевелит капуста зелеными ушами... Под стягами акаций Ростов гудит базаром, где весело толкаться славянам и козарам».

Я не ставил себе задачи сравнивать две книги Лавлинского, каждая из них имеет свое лицо, интересна по-своему. Но надо заметить, что в «Ключе» словно бы намечаются пунктиром многие тематические и нравственные линии, получившие более полное воплощение во второй книге. Чувствуется жанровая разница в разработке темы истории России, особенно в изображении судеб ее народных вождей. В «Ключе» запоминаются такие сильные и проникновенные вещи, как «Струги» и «Вольница», где автор обращается к образу Степана Разина. В новой книге Степан Разин становится героем уже крупного, эпического произведения — лирической поэмы «Разинские колокола». В поэме особенно проявилось своеобразие художественного видения и стиля Л. Лавлинского. Задача стояла труд-

ная: целый ряд известных советских поэтов писали о высокой и трагической судьбе вожака мятежных казаков. Автор «Разинских колоколов» сумел дать портрет своего Стеньки, донского казака, земляка. Поэма представляет как бы своеобразную сюиту из балладных вещей, связанных единым сюжетом, историко-философской мыслью. С одной стороны, дается жизнеописание героя, его путь от простого казака до народного вождя. С другой — мы видим жизнь самого народа, причем не только казачества, явственно слышим многозвучный голос далекой эпохи. И неожиданно, но очень органично входит в поэму современность: стенькинские туристы распевают песню о Стеньке и болью отзывается это в сердце слушающего их ветерана-фронтовика...

К «Разинским колоколам» примыкает ряд других произведений сборника о былинном прошлом страны, цикл «Скоморошные баллады». Меткое название — в них действительно слышна музыка древней Руси, — порочает причудливая вязь образов, фантазия автора убедительна, стихи обильно одобрены добрым лукавым юмором...

Обязательно следует сказать и о том большом месте, какое занимает в творчестве Л. Лавлинского тема братства многоязычных народов, мотив «чувства семьи единой». Автор остро различает буйные цвета и краски азиатской знойной почвы, но прежде всего его волнует жизнь и труд современников, обитающих на этой земле. Одним из самых обаятельных в книге оказалось мне стихотворение «Овцу туркменка силой валит на бок...»; запоминаются и экспрессивные строки, посвященные коллегам — поэтам из Средней Азии... Да, не пропали для Л. Лавлинского его журналистские наблюдения: они стали основой для многих страниц поэтических книг. «И не ведал, что рифмы накрутятся на машинные цепи колес», — пишет он о своей молодости. Гражданственность лирических героев-современников видится автору «Ключа» и «Степного ночлега» в их человечности, доброте, порой суровой, и в их неистовой влюбленности в жизнь на родной земле. Проникая взглядом в глубины истории, поэт неизменно ведет нить мысли к нашим дням и делам:

И еще сидит, не улетая,  
Дома птица красно-золотая  
И плетет сказанья Хохломы.  
Вечность создается по крохе —  
Это знали при царе Горохе,  
Только в оборот пустили мы.

Ст. ЗОЛОТЦЕВ.

## ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ

Имант Зиедонис. Дым я читаю вдумчиво... Избранное. На английском языке с параллельными русскими текстами. М. «Прогресс». 1980. 279 стр.

**В** предисловии к первому изданию «Эпифаний» Юрий Левитанский так определил их тональность: «...мироощущением, переплетением национального и общечеловеческого «Эпифаний» заставляют меня неожиданно вспомнить роллановского «Кола Брюньона». Он же обозначил и истоки как данной книги, так и вообще творчества Иманта Зиедониса — от самой земли, от латышского фольклора идущие простоватость, грубоватость и даже «раблезианский дух».

Все это за исключением слишком уж гиперболического сравнения с Рабле Ю. Левитанский, переводчик внимательный и ответственный, разумеется, не выдумал, не навязал. «Эпифаниям» от себя, а почувствовал в поэте, вычитал в тексте. Зиедонис ведь и в самом деле никогда не позволяет себе забыть, что он плоть от плоти народа «едоков» и «рыбаков». Чтобы убедиться в этом, прочтите рыбацкую «Молитву», где поэт, обращаясь к владыке морскому, «большому вечернему солнцу», просит дать его соплеменникам «насущенного хлеба», «выдать тайные рыбы трассы»:

Там плавают их имущество,  
Вкусы, мечты рыбацкие.

Там плавают их мотоциклы,  
Яблони, клумбы, террасы...

(Перевела Ю. Мориц)

В той же подчеркнуто несентиментальной манере написано и стихотворение, посвященное памяти матери. И здесь усилия поэта направлены на то, чтобы не оскорбить истинного горя, простого и грубого, чересчур нарядной и уже потому фальшивой грустью-печалью:

Это памятник ей.  
Чугунный котел.  
Опущенный чугунный котел.  
С ложками стойте...

Ложки скрестите  
И вспомните молча,  
Что братья вы — от одной тарелки,  
Братья — от одного котла,  
Вы, паломники с ложками...

(Перевела Ю. Мориц)

Больше того, создавая свой поэтический мир, Зиедонис стремится так организовать и его протяженность и его рельеф, чтобы в сотворенной воображением державе поместилась вся Латвия, чтобы ни одна тропинка или болотце, ни один цветок, ни один старинный мотив из тех, что еще прячутся в рукавах старой дедовской шубы, не были забыты. Всему нашлось место: и липким от желто-жаркой пылицы одуванчикам, и кошачьей лапке, и погремушкам мака, и июнь-

ским ночам, душным от сиреневого изобилия, и горькому сухоцвету, которым латышские хозяйки украшают пространство между двойными рамами, словно бы загодя готовят клумбы ледяного зимнего сада... Все поместилось: и женственная домовитость деревенского утра («Мать поднялась спозаранок. Огонь в очаге разожгла»), и завьюженные вечера, когда стоит на мгновение поверить в миражи и призраки сумерек, как звякнет дверной колокольчик и некто странный, в «непонятной одежде, видать, домохозяйки», возникнет в проеме дверном, озадачит еще более странным вопросом: «На концах ваших пальцев пылают ли свечи?» — и исчезнет, оставив смутные следы на заснеженном крыльце да сохраненное в тайниках наследственной памяти воспоминание о таких же беззвездных и безлунных ночах, когда в деревенских избах под жужжание прялки слагались страшные сказки... В такой вечер, растревоженный явлением странника, «похожего на сухой можжевельник», поэт и сам не прочь погадать «на олове» («Вот Новый год на олове гадает»), на дыме, поднимающемся из печной трубы:

Дым я читаю вдумчиво  
переводить его надо вдымчиво  
у дыма нет словаря  
в нашем с тобой языке.

(Перевела Ю. Мориц)

Тоска по утраченному современной цивилизацией безбуквенному словарю природы, желание сохранить хотя бы остатки поэзии, созданной великой земледельческой культурой (поэзии не только словесной, но и бытовой), — один из ведущих сюжетов лирики Зиедониса, хотя его в отличие от некоторых очень молодых латышских поэтов никак не назовешь фольклористом даже в самом условном смысле этого слова. В его книгах мы почти не встречаем откровенных стилизаций или импровизаций на народные темы. А те, что есть, словно бы прячутся за жанр; да и жанр не выдерживается строго — всегда остается некая щель, сквозь которую в слегка стилизованный стих врывается современность со всеми ее проблемами и противоречиями — ритмами и стилем городской суеты... Суеты, от которой Зиедонис не отворачивается с высокомерием олимпийца, наоборот — охотно втаскивает, втаскивает ее в свои стихи: «Когда рядом со мною жарят блины — я расту». И еще: «Я чувствую, как я созреваю, когда рядом находятся тяжелые вещи»...

Такое сближение могло бы показаться претенциозным, но только не в случае с Зи-

едонисом, ибо он, судя по всему, не относится к поэтам того типа, которые, «подобно медведям, сыты тем, что сосут свою лапу»... Чтобы стих жил и дышал, ему необходима непосредственная, прямая помощь живой жизни в любых, самых будничных ее проявлениях. Даже эстетическая плотность его зависит от того, какое количество «грубой» жизни поэт может притянуть, подобно магниту, или впитать, как губка.

Эту свою особенность сам И. Зиедонис с присущим ему юмором обозвал клеptomанией («Навязчивость, мания, страсть — что-то украсть у матери и спрятать тайком у жены, что-то украсть у жены и спрятать тайком у себя, что-то украсть у себя и спрятать тайком в стихи, что-то украсть у своих стихов и спрятать гораздо глубже и что-то украсть — еще глубже! — и не знать, куда это деть»).

Навязчивая эта мания красть все подряд — от подсвечников и запаха блинов до тесноты трамвайной — и приводит, видимо, к тому, что в запаснике всегда остается некий избыток, который невозможно спрятать в стих, не преодолев условной поэтичности. И Зиедонис, дабы расширить диапазон лирического звучания, заменяет лидирующее соло многоголосьем и, раздавая «ноты», не делает разницы между одушевленными и неодушевленными хористами. В его хоре все равноправны — жемчужина, кольцо, моллюск, свеча, подсвечник, ветер... И это не прихоть и не каприз, а осознанное стремление к тому, чтобы живая жизнь могла высказать себя, минуя традиционного посредника, привыкшего рассказывать о кольце, о свече, о моллюске...

Словом, доказательств уважения к материалу (для преодоления сопротивления которого поэту необходим дар — чувствовать не только правоту, но и красоту тяжести) в поэзии Зиедониса больше чем достаточно. Как тут не вспомнить (ассоциация и по сходству и по смежности) на все лады обыгрываемый Зиедонисом образ камня: камня, растущего внутрь, камня, вообразившего себя крылатым, перелетным и т. д. и т. д. Да и само слово камнесобранность — то главное слово, какое поэт в качестве автохарактеристики настойчиво рекомендует читателям, — не позволяет сомневаться, что Зиедонис искренен, утверждая: единственная музыка, свойственная ему, это музыка тяжести. Но если данная автохарактеристика верна, точнее универсальна, то как объяснить появление в грубой и простой «симфонии тяжести» таких изящных *leggierissimo*, как, скажем, «Ветер у дверей»?

Кто этот ветер тоньше таволги?  
Мы никого просить не думали,  
И все ж, пока нас дома не было,  
Нам кто-то ветер к двери приколол.

«Чтоб к чьей-то двери был приколот  
ветер, —  
Прошелестел краеугольный камень, —  
Такое не увидишь каждый день!  
Он ни воды не требует, ни хлеба,  
Он только неба жаждет, только неба.

Вот только, правда склонен похичать  
Все тонкое, все тонкие предметы.  
Сам тонок, тоньше таволги, к тому же  
С тончайшим обоняньем. И не злой.

Но — берегите тонкие предметы!»  
(Перевел Ю. Левитанский)

И в легчайших — «тоньше таволги» — стихах не обошлось, как мы видим, без «краеугольного камня». Две ипостаси лирического героя встретились в зеркале одного произведения, встретились, но не слились в один лик: «камнесобранность» — сама по себе, а ветер, способный похичать «все тонкие предметы», — сам по себе...

Противоречие? Но ведь Имант Зиедонис и не скрывает, что постоянство — приверженность к определенному кругу идей, состояний, настроений, — в сущности, чуждо ему. В плане этих размышлений, на мой взгляд, очень показателен его двойной автопортрет:

Недорисованный некто в альбоме  
Виден мне сквозь туман  
В белых перчатках, как в старом  
доме  
Плохо закрытый кран.  
И след за ним в безупречных  
складках,  
Жестче тугой струи,  
Некто законченный, в черных  
перчатках,  
Точной над «i».

Час диалектики признаков шатких:  
Четкий рисунок смывает —  
И возвращается в белых перчатках  
Тот, что течет, сквозит.

(Перевел А. Кушнер)

Сделаем скидку на чрезмерную, на нынешний вкус, изысканность рисовальной манеры, в которой выполнен этот графика-поэтический сюжет. Дело, в конце концов, не в манере. Как ни четок образ того Зиедониса, которого Ю. Левитанский так прочно связал с Кола Брюньоном и так щедро награждал «раблезианским духом», он все же знает и иные, куда более смутные, «недорисованные», недопроявленные состояния души...

Взять хотя бы стихотворение «Никого не ждал — и входит...». Оно вполне могло бы сойти за вариацию на фольклорную тему, если бы в нем с непривычной для Зиедониса открытостью не было выражено чувство, от которого он никогда не может избавиться

ся, но которое обычно тщательно скрывает, маскирует, утаивает,— чувство предельного одиночества на миру, на пиру, в любви... Одиночества столь непреодолимого, что кажется: даже звезда говорит ему «вы»...

Никто не ждал — и входит  
Одиночество-сестрица...  
Стелет простынь, чай готовит.  
Дыры штопает исправно  
И не спит, не спит ночами  
Одиночество-сестрица...

(Перевела Ю. Мориц)

Все вроде так прочно стоит на месте, вросло ногами в землю — и дома, и клумбы, и яблони... И вдруг наступает момент, когда прочность и устойчивость перестают быть прочностью и устойчивостью — все сдвигается и начинает скользить-ускользать:

И яблоко, плывущее сквозь ночь  
Без яблони, без ветви, — мной  
любимо.

И яблоня, которая сквозь ночь  
Без корневища проплывает мимо...  
(Перевела Ю. Мориц)

Все окружающие поэта предметы словно бы меняют свои «сущности» и привычки. Багровый тюльпан, например, по своей воле, но неизвестно по каким причинам вылезает из стакана, разгуливает по тропинкам ночного сада... Да и поэт в «час диалектики» словно бы помимо своей воли оказывается настроенным не на постоянно устойчивое, а на вечно изменяющееся. «...то ли ветер меняется, то ли стража меняется, то ли голос меняется»...

Можно по-разному оценивать «Эпифанию» Зиедониса, по-разному определять их жанр — то ли стихи в прозе, то ли проза в стихах. Суть не в жанре. Суть, видимо, в том, что Зиедонису стало тесно в самом что ни на есть свободном и просторном стихе, и он, устав от необходимости прятать «цветочную пыльцу» жизни в регламентированные традицией соты, выпустил одержимую страстью познания душу в мир, отправил ее «в люди» в надежде, что этот эксперимент не только позволит ему найти форму для не укладывающегося в стихи вечного «избытка», но и изменит «медоворот» в его, Зиедониса, поэтическом мире: не даст утечь в океан-море тому нектару жизни, что, так

и не став медом искусства, не поместившись в стихах, «прочь льется», «пропадает», а восковые ячейки между тем заполняются переработанным рафинадом, то есть вторичной, из поэзии же, а не из жизни добытой поэтичностью.

Не будем гадать, что даст Зиедонису-поэту это отклонение в сторону полупрозы... Но одно несомненно: в «Эпифаниях», написанных в сверхсвободном жанре, жанре, которому все позволено, Зиедонису удалось преодолеть собственную тяжесть, освободиться от вечного гнета «музыки тяжести» и сосредоточить внимание на не просто тонких, а сверхтонких отношениях между предметами, явлениями, состояниями...

Вместо пространных доказательств я позволю себе всего лишь одну цитату из «Эпифаний» — одну из тех, что составляют главную прелесть этой книги, оправдывая, кстати, и ее иноземное название («Отраженье. Откровенье. Тончайший импульс...»):

«Случаются дни, когда вещи можно перетасовать, как карты, привести их в самый нелепый порядок — и они группируются в самых неожиданных для тебя комбинациях, о которых ты не имел ни малейшего представления — шапка, твой гордый головной убор, опрокидывается навзничь, и кто-то бросает в нее серебряную монету; некий мужчина электронасосом перекачивает воду из одного озера в другое, а ты малым наперстком перетаскиваешь эту воду обратно, и оба вы одинаково сильны, наперсток торжествует победу над электронасосом; камень перевортывается брюхом своим к солнцу; красавица зубная щетка тщательно чистит зубы некоему топору, он блаженно улыбается, а острая пила умирает в одиночестве.

Вот это лишь поначалу кажется непонятным. Но в жизни все это существует и все это можно увидеть. Есть такие дни, когда все это можно увидеть — невидимые связи между вещами, казалось, никак не связанными между собою».

Все это в жизни есть, и все это и в самом деле можно увидеть, и «Эпифании» Зиедониса дарят нам один из таких дней.

Алла МАРЧЕНКО.



## «ВОЛИК... ТЫ МЕНЯ НЕ УЗНАЕШЬ?»

Леонид Зорин. Старая рукопись. Роман. «Север», 1980, №№ 8—9.

**В**роде бы триумфатором вернулся. Еще бы — московский журналист, представитель столичной прессы. Недаром, значит, ехал: не пропал в столице. Когда-то бегал по этим вот улочкам, а теперь — шутишь!

Что ж удивляться, что в допотопных домишках южного города иные местные интеллектуалы хранят в папочках вырезки его статей. Да что интеллектуалы — какая-нибудь случайно встреченная на улице рас-

плывшаяся полуседе́я тетка с потертым портфелем, отдуваясь от жары, и та окликнет: «Простите... вы... Ромин?»

Однако есть и обратная сторона у этого триумфа. Есть горечь, которая скрыто разведает душу удачливого журналиста, вернувшегося по редакционному заданию в родной город. Виду зоринский герой, конечно, не подает; он безукоризненно воспитан; он сохраняет хорошую мину при любой игре, а игра его нехороша, и он это знает. Бродя по забытым улицам, он ищет встреч и боится их. Он мучительно рефлектирует над тем, как сложилась его жизнь. В этой рефлексии — главный интерес и главная странность романа Леонида Зорина.

Странно то, что, внешне всецело попадая в канон «прозы возвращений», широко распространенной в свое время в нашей литературе, да и теперь еще далеко не изжитой, Л. Зорин по интонации и трактовке темы решительно выпадает из обоих привычных вариантов этого канона — он заставляет нас задуматься над драмой отнюдь не тривиальной.

Это не победоносное восхождение талантливое человека, покинувшего родной угол по зову времени, хотя какими-то дальними корнями зоринский сюжет и соприкасается с тем возбужденным исходом в столицу, который начался еще в 20-е годы и широко продолжился в предвоенное десятилетие. — в том потоке, который в шутку можно было бы назвать «потоком вундеркиндов», веселые посланцы юга были особенно заметны; недаром же «южнорусская школа прозы» отмечена на литературоведческих картах того времени. Так что подчеркнута южная окраска фактуры зоринского романа имеет, пожалуй, и свой содержательный аспект.

Есть у этого сюжета второй, более поздний вариант, я назвал бы его «покаянным возвращением». Здесь ностальгия, чувство непоправимой ошибки и растроченной молодости, плач на могилах и припадание к корням. Это началось позже, в конце 50-х годов, а в 60-х стало широким явлением литературы и окрасилось скорее северными, чем южными красками. С этой частью канона зоринская проза тоже взаимодействует, и тот факт, что она опубликована в северном журнале, пожалуй, не кажется мне случайным. Зорин строит свой роман как бы на литературной меже, разом задевая, используя и «дразня» две схемы. Однако смысл его истории не совпадает ни с той, ни с этой.

Владимир Ромин уехал в столицу не затем, чтобы сделать карьеру: не бог весть

какую карьеру он и сделал, хотя и стал неплохим журналистом. И не за шикарной жизнью он гнался: не бог весть как шикарно он устроен на своей московской жилплощади; во всяком случае, мотаясь по командировкам, он вынужден просить соседей присматривать за малолетним сыном — жена от Ромина ушла, видимо не выдержав того... вот тут нам надо не ошибиться, поэтому поищем слово... того заводного, эгоцентричного, углубленного в себя, одержимого своими фантазиями, тихо безумющего духа, который бьется в этом хорошо воспитанном человеке. Пытаясь определить психологический тип, выявленный в романе Л. Зорина, я действую на ощупь: вроде бы у нас нет принятого определения для беспокойства такого толка, и когда я называю его комплексом вундеркинда, то имею в виду весьма широкий и почти метафорический смысл слова. Это какая-то изначальная нетерпеливая жажда «осуществиться не здесь» — выпрыгнуть за пределы данности, в следующий уровень. Это непрерывный лихорадочный поиск «следующего этапа». Это настоящий экстаз «предбытия»: готовность к чему-то, чего нет и в обыденности быть не может. Давая блестящий портрет души своего героя, Л. Зорин не строит иллюзий. Напротив, он дает ему большей частью жесткие определения... вернее, самоопределения, потому что роман написан от лица героя: «юный нахал», «молодое бревно», «какой болван». Ромин готов признать себя идиотом и психом, он легко согласится с тем, что выпадает из нормы в худшую сторону, но он неотвратимо выпадает. И не в худшую, а в любую сторону. «Моя вспыльчивость и мое занудство». Хоть туда, хоть сюда, но он не останется в тисках нормы, он нормы не вынесет, и это самая драматичная из основ его характера и самая глубинная из причин его драмы. «Тонкая кожа» и «какой-то странный надрыв», доставшийся ему «с генами», вечный вызов будням, и сумасшедшее нетерпение, и вообще это капитальное ощущение, что данность — неистинна, а истина должна быть где-то за данностью, за горизонтом, где-то завтра — не здесь и не сейчас... Жизнь в этой системе воспринимается как прелюдия, как черновик, как косный материал для воплощения идеала, находящегося где-то за пределами жизни. Отсюда «агасферова» горячка, непрерывная смена внешних целей, которые возникают от невозможности признать смысл того «косного» и «привычного», что есть, что дано, что досталось. Л. Зорин с поразительной точностью подмечает нечто перевоздано-детское в

этом типе душевной организации: «...детство и есть единственная реальность...»

Новизна и значимость романа Л. Зорина не в том, что он открыл этот тип мироориентации — он его не открыл; тип этот вечен в истории культуры. Но Л. Зорин с точностью опытного психолога и с зоркостью настоящего реалиста показал историю этого типа в наше время. Его кризис. Его тихую катастрофу.

Фактура выписана прекрасно. Четкость, с которой зоринский герой фиксирует в людях обыденное, повторяющееся, будничное, выдает в авторе «Старой рукописи» умелого драматурга, привыкшего твердой и быстрой рукой врезаться в текучий поток жизни силуэтные контуры, ставить перед нами мгновенно узнаваемые фигуры. Вот образец такого «типологического» зрения: «Сразу можно было понять, что Нину Константиновну не устроил бы (в качестве мужа.—Л. А.) ни симпатяга сослуживец, ни самостоятельный холостяк, созревший на пятом десятке для брака, ни даже физик с аквалангом». Три мгновенных силуэта — какая стремительная и чисто типажная зоркость! А ведь тут не только профессиональная хватка драматурга. Самое интересное не это, а то, что в этой зоркости как раз сказывается склонное к крайностям, нетерпеливое, воспаленное, беспощадное к пошлости состояние духа, которое является в романе Л. Зорина темой и сутью раздумий. Герой-рассказчик плохо и неохотно видит «душевную середину» в человеке, ту повседневную, мягкую, оболочивающую углы и помогающую терпеть нестерпимое «ауру» сочувствия, которая, конечно, неотделима от чувствительности и беззащитна перед обвинениями в сентиментальности. Если уж пробивается зоринский рассказчик в глубь души, то сразу ищет последние глубины, уходит в беспредельность, и бьется над невозвратимостью времени, и мучается оттого, что на этом крайнем рубеже контакт с личностью уже неощутим.

До всякого контакта с личностью герой полуавтоматически схватывает в человеке тот «пошлый силуэт», который принадлежит типажу, типу — толпе. Оттого и контакт затруднен. Искал ведь Олю, тайно мечтал встретить на этих улицах свою далекую юношескую любовь, а когда столкнулся с нею, то прежде чем узнать, мгновенным беспощадным зрением выхватил начинающую полнеть стандартную провизоршу — среднеарифметический силуэт с клеймом «как все».

Изматывающая зоркость. Но в своеобразной силе ей не откажешь. С какой ле-

дяной трезвостью разгоняет Л. Зорин романтические туманы, что окружали его героя с юности! Какая-нибудь красавица, по которой сходил с ума весь город, Анечка Межебовская... Следует мгновенный абрис: «Высокая, тоненькая, с шелковистой копной черных волос над пронзительно синими глазами, с гордым, чуть вздернутым носиком, с крупными мягкими губами, даже зимой сохранявшая на своих свежих тугих щечках бронзовый оттенок загара...» Вокруг стандартного ангела круги стандартной пошлости: вечные домогательства молодых остоолопов, фарисейская преданность некрасивых подруг, неукротимая зависть смазливеньких девочек. И впереди стандартный конец: неудачное замужество, призрачное счастье, в которое нельзя поверить, потому что ангел написан рукой Мефистофеля..

Анечка Межебовская, подобно многим другим эпизодическим силуэтам романа, создает фон действия, замечательно соответствующий центральному сюжетному рисунку. Рисунок прост и четок (возникает театральная метафора: три фигуры, выхваченные прожектором, а сзади тьма: то ли черные бархаты, то ли ободранные колосники — ощущение вакуума и бездны с мелькающими силуэтами). Итак, трое. Между двух женщин мечется и маячется Владимир Ромин. Между Олей, давней любовью, и Ниной Константиновной, новой знакомой, к которой привело Ромина редакционное задание.

Задание это — повод приехать в родной город — при всем том, что оно в сюжете романа выполняет роль служебную, выводит нас на самую ось содержательной проблемы. Дело в следующем. Уроженцем южного города, из которого когда-то нагрянул в столицу Волик Ромин, является еще один человек, известный в свое время историк, ныне уже умерший. В память об этом ученом роминская газета решила подготовить материал, за которым Ромин и приехал к племяннице историка Нине Константиновне. Так завязан внешний сюжет. Но важнее тут сюжет внутренний: в фигуре историка Ивана Мартыновича Каплина как бы пробует-ся обратный вариант собственной роминской судьбы. Ромин честолюбивым юнцом кинулся в столицу. Иван же Мартынович уже сложившимся и известным ученым вдруг покинул столицу, отбыл в «глухую» периферию и умер там в безвестности.

Вопрос стоит с почти школьной ясностью: если Ромин так необъяснимо несчастен, так, может быть, истина в обратном движении? И тогда Иван Мартынович, променявший



шум и свет столицы на провинциальную тишину, должен быть счастлив?

Честно сказать, это обнаружившееся в сюжете уравнение меня читательски не очень-то увлекло. Меня сразу потянуло в другую сторону. Зоринский вопрос о том, где произрастает мыслящему тростнику: в шумном и обманном Вавилоне или в благонамеренной надежной провинции — показался мне несколько нарочитым; предполагаемые крайние ответы на этот вопрос выглядят игрой. Главным же вопросом показался мне другой. Если весь духовный состав зоринского героя есть лихорадочное бегство «за грань данного», если в повседневной действительности видит его герой только пролог к чему-то, только черновик чего-то, только ответ чего-то, тогда вот вопрос: ответ чего? черновик чего? пролог к чему? Чем утолится это мучительное бегство из настоящего в будущее? В чем именно реализуется это романтическое нечто, влекущее героя к горизонту? Я шел «за край» с нарастающим любопытством; интригующий образ Историка, который знает про нашу жизнь что-то главное, притягивал меня как обещанная разгадка; добытая Роминим «заветная тетрадь», которую бережно сохранила Нина Константиновна, казалась тем залогом, которым оправдывается и будет снято роминское честолюбие.

И когда вместо этой тоненькой тетрадки Л. Зорин подложил своему герою (то есть мне, читателю) изрядную по толщине старую рукопись, где оказался любовный дневник, я не мог не испытать некоторого разочарования. Не потому, что эта вставная новелла нехороша сама по себе. Напротив, сама по себе она весьма хороша — история любви рассеянного, углубленного в себя ученого и робкой студентки, сначала боготворящей профессора, а потом, когда набрала она силы «по общественной линии», оставляющей его с чувством жалости и горечи, — даже на фоне мастеровитой зоринской прозы эта вставная новелла выделяется крепостью письма и пронзительной глубиной печали.

И не то чтобы такой «лирический срез» сюжета показался мне у Л. Зорина неожиданным: у него ведь и в драматургии всегда любовь пробует твердыня жизни: так в «Варшавской мелодии», так в «Покровских воротах» и даже в «Историческом театре» у Л. Зорина решается все любовью.

Вставная повесть о любви Ивана Мартыновича и о его бегстве из столицы разочаровала меня не сама по себе, а тем, что, занимая в сюжете зоринского романа разре-

шающее (по замыслу) место, она вовсе не разрешает главный вопрос романа, а лишь дублирует его. Провинциальное самоизгнание Ивана Мартыновича, которое могло бы подкреплять либо опровергать и пародировать романтический отъезд из провинции в Москву молодого Ромина, но так или иначе добавлять что-то к этой сюжетной линии, добавляет лишь той же самой красивой грусти по поводу того, что обыденная реальность «неисправима». Конечно, энергичная возлюбленная Ивана Мартыновича, быстро обогнавшая своего профессора на стезе делового продвижения и превратившаяся из восторженной студентки в могущественную начальницу, совсем не тот вариант, что бедная Оля, затерявшаяся провизором в жалкой аптеке, но это два варианта одного и того же: это практическая реальность, от которой в страхе отшатываются высокие и хрупкие душой зоринские мечтатели.

Честно сказать, я-то ожидал найти в заветных тетрадках Ивана Мартыновича отнюдь не лирический дневник. Я ожидал (не смейтесь только!) исторической концепции. Пусть спорной, пусть безумной, пусть беззащитной и беспочвенной, но отмеченной гением хотя бы в фигуральном смысле. Только существенная, содержательная идея могла бы художественно оправдать и бегство из столицы блестящего ученого, и бегство в столицу молодого провинциального честолюбца. Каждый из них бежал от обыденности. Однако, чтобы относиться к обыденности с таким нетерпением, надо иметь веские духовные основания. Иными словами: «гениальная» или «безумная» концепция нужна не только историку, о котором идет слава чудака и анахорета. Эта концепция нужна и журналисту Ромину. Иначе зачем горел сыр-бор? Образно выражаясь, вундеркинд должен что-то выложить на стол. Художественной логике это не противопоказано. Прецеденты, думал я, имеются.

В моем читательском сознании мелькали дерзкие параллели от Томаса Манна, изложившего в «Докторе Фаустусе» музыкальные идеи Шенберга, до Леонида Леонова, вложившего в уста профессора Вихрова своеобразную научно-художественную концепцию русского леса. Я был уверен, что Л. Зорин попробует! Я думал, что автор «Царской охоты» и «Декабристов», «Диона» и «Медной бабушки» интересен как раз самобытным отношением к истории. Что у Л. Зорина даже в критических статьях поворачивает «историческая страсть». Что именно этим запомнился мне зоринский этюд о Пушкине и Вяземском в «Литера-

турном обозрении». Согласитесь, что у меня были основания ожидать если не открытий, то хоть откровений, а если не откровений, то хоть дерзких гипотез от Ивана Мартьяновича.

Увы, все соскочило на лирику. Что же до беглых намеков по части истории, разбросанных там и сям в записках Каплина, то это именно заметки, фигуральные подступы, не более. Мысль о важности «рубежных зон» в историческом развитии. Мысль о трагичности морального выбора в ситуации исторической неотвратимости... Но это только входы в дело — самого же дела нет: все дробно, пестро, разбросано. Да кое-где и небрежно, пожалуй. Не буду придирааться к тому, что журналист В. Ромин вслед за историком И. Каплиным пишет Аддисона через одно «д» и два «с», — с кем не бывает! Но ведь и по существу есть пробоуховки. Например, мысль о тихом героизме масона Алексея Кутузова, новиковского подвизника, который имел мужество не отступить от Радищева. Не знаю... Когда пытали и ссылали Радищева, Кутузов уж три года как жил себе в Германии, в приличном удалении от Шешковского и в некоторой, скажем так, безопасности, — ну и отчего ж не сочувствовать тихо однокашнику, которого в далекой России ссылают в Сибирь? Допускаю тут психологические контрдоводы, однако дело не в той или иной частности. Дело в том, что мысли, ради которых жил замечательный историк Иван Каплин, ради которых разбирает его архив журналист Владимир Ромин и ради которых углубляется в свои сомнения сам Леонид Зорин, зыбковаты. Не оттого, что у автора нет материала или собственных идей. Они есть. Но ощущение такое, что не хватало решимости собрать все это в одно целое. Недостало дерзости поставить на своем. Не оказалось стержня, вокруг которого со смыслом завертелось бы все: и тяга в столицу, и тяга из столицы, и молодое честолюбие, и старая ностальгия.

Упрекаю ли я автора? Не знаю... Может быть, именно это отсутствие стержня, вакуум воли, ощущение пустоты там, где должна сверкать и ослеплять героев безумная, фантастическая мысль, и есть главная горькая истина, тот последний штрих, которым завершается в романе Л. Зорина портрет определенного человеческого типа и очерк определенного жизненного явления. Из конкретно-исторического контекста это явление не выбросишь, а без него контекст неполон. Я имею в виду те мощные миграции, что сопутствовали революционной эпо-

хе и оставили яркий след в культурной жизни последующих десятилетий. Чтобы не растекаться по древу литературоведения (с его «южнорусской школой»), сошлюсь на одно воспоминание. В свое время я слышал выступление Михаила Светлова, который в свойственной ему юмористической манере рассказывал на одной из встреч с читателями, как он вдвоем с приятелем принимал решение ехать в столицу. «Я его спросил: что, в Москве пижут лучше нас? Нет? Так поехали!» Это было яркое движение «рубежной эпохи», давшее нашей литературе Олешу и Катаева, Ильфа и Петрова, Бабеля и Багрицкого, яркие и терпкие краски юга. Прошло много времени, пока это движение стало слабеть и иссыхать, пока спокойные краски севера уравнивали в общем балансе его горячую экспансию.

Герой Леонида Зорина включается в это движение на его излете. Вот почему так остро чувствуется отсутствие в его жизни «всесобирающей идеи», без которой «завоевание столицы» грозит обернуться насюком очередного бальзаковского Люсьена де Рюбампре. В сущности, Л. Зорин написал эпитафию, трезвую и горькую. И это ценность, от которой надо отсчитывать все достоинства его прозы и все недостатки ее, которые, как известно, суть продолжение достоинств.

К финалу действие слабеет, вянет, гаснет, словно бы идет по кругу. Но в минорности и бесплотности последних глав есть своя пронзительная правда — правда горького трезвения. Миражи рассеялись. Чувство к Оле невосвратимо: в нем не осталось ничего реального. Нереальна и Иина Константиновна, утешившая героя в его гостиничном одиночестве, и Л. Зорин очень точно пишет ее «невесомые руки» и «бескостные пальцы». Горек финальный апофеоз героя, когда-то «завоевавшего» Москву: как спешит он с вокзала в свою столичную коммуналку, как боится, что соседи оставили в одиночестве его маленького сына. Задыхающийся бег по лестнице (нет терпения дожидаться лифта!); жив ли мой птенчик, мой щегленок, моя последняя надежда? — вот реальный жизненный итог того путешествия «к истокам», которое предпринял московский триумфатор.

Итог печальный. И все-таки звучит для меня неубитая, живая струнка в печальной повести, и она, эта струнка, делает зоринскую прозу глубоко близкой мне, хотя я не убежден, что мы с автором одно и то же слышим в этой музыке... Ведь когда оплывшая полуседеющая тетка останавливает Владимира Ромина на улице — что он думает о ней? Боже, думает он, во что превратилась

Анечка Межебовская! И глядя на нее с ужасом, прибавляет про себя, наверное: этого еще мне не хватало...

А я думаю: какое все-таки счастье, что она жива. И хоть в старой неудачнице не осталось уже ничего от пленительной Анечки давних лет, это она. Она! Мне достаточно факта! Личность неизмерима качествами, личность — «это т»... Я не смею винить ту девушку, что она не сумела быть счастливой, я не смею даже вглядываться

★

## МЫСЛЬ И ОБРАЗ

А. Ф. Лосев. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М. «Искусство». 1980. 766 стр.

Вот уже восемнадцать лет, как регулярно, том за томом выходит в свет это во многих смыслах уникальное издание — «История античной эстетики». Уникально оно и систематичностью охвата явлений древнегреческой и древнеримской культуры, и фундаментальностью научного аппарата, и новаторской смелостью суждений, и пластической гибкостью языка, остроумием, блеском и, наконец, попросту своим небывалым объемом. Том за томом прописывалась, продумывалась и как бы проминалась (хочется употребить именно это слово, имеющее некую осязательную окраску) напряженной авторской мыслью духовная история эллинизма — атомистов, Гераклита, Анаксагора (I том), Платона и его великого учителя, героя его диалогов Сократа (II и III тома), Аристотеля, уже отваживавшегося спорить с самим Платоном (IV том), и многочисленных представителей римской эстетической традиции: Плутарха, Лукиана, Цицерона и Вергилия (V том). В итоге представлена вся история всей античной эстетики — вдумаемся в значение этого факта. В гуманитарной науке все реже встречается определение «научный труд». Оно выглядит как бы слегка устаревшим, излишне академичным, так сказать, профессорским (20 печатных листов — обычный издательский предел для монографии). Куда более престижными и пользующимися спросом стали броское эссе или изящный этюд. Однако «История античной эстетики» — это в подлинном смысле слова научный труд, и тем более удивительно, что все эти объемистые тома по 700—800 страниц мелкого шрифта принадлежат перу одного человека — Алексея Федоровича Лосева. Ученый, приближающийся к своему девяностолетию (он родился в 1893-м) и почти потерявший зрение, совершает поистине титаническую работу по исследованию ан-

в эту растрепанную седую уставшую женщину. Я не оцениваю ни ее жизни, ни ее карьеры. Извне не поймешь. Надо вселяться внутрь. Вживаться в личность. Надо вытерпеть ее жизнь. Вы-тер-петь.

Мысленно вселяясь в эту тяжело дышащую, «оплавленную тетку», я останавливаю приезжего столичного журналиста и зываю в нем к личности: «Простите... вы... Ромин?... Волик... ты меня не узнаешь?»

Л. АННИНСКИЙ.

тичности. В своей новой книге он пишет: «...из общей истории философии и литературы мы прекрасно знаем целые сотни примеров, когда в зрелом возрасте писатели создавали гораздо менее зрелые свои произведения и когда в старости писатели и художники создавали свои наивысшие шедевры». Наверное, вторая часть фразы справедлива и по отношению к самому ученому. Сейчас, когда опубликован V том его монументальной серии (не забудем, что параллельно публиковались исследования Лосева о логике символа, эстетике Возрождения, античной философии истории, переводы античных трактатов) и ясны масштабы сделанного, труд ученого можно смело охарактеризовать как подлинное подвигничество в науке.

Что же отличает Лосева как философа, истолкователя древних текстов, писателя? В рецензируемой книге ученый приводит высказывание неоплатоника Порфирия о его учителе Платине: «...продумав про себя свое рассуждение от начала и до конца, он тотчас записывал продуманное и так излагал все, что сложилось у него в уме, словно списывал готовое из книги». То же ощущение спонтанности мышления при строго продуманном плане, живой и сиюминутной пульсации мысли возникает и при чтении Лосева. Он менее всего склонен представлять на читательский суд застывший результат заранее проведенного, а затем зафиксированного письменно исследования. Изложенные в книге мысли как бы хранят тепло их непосредственного рождения. Они возникают сейчас, на наших глазах. Читать Лосева увлекательно потому, что он вовлекает в процесс поиска, принимает и отбрасывает рабочие гипотезы, меняет формулировки, постоянно уточняет выводы. Предпочитая гегелевскую манеру изложения, он дробит страницу на многочисленные параграфы и подпарагра-

фы, любит короткий абзац, позволяющий не растекаться мыслью по древу, не ленился придумывать заголовки даже для самых маленьких отрывков. Его книгам присуще то, что хотелось бы назвать пафосом оглавления. Мало существует авторов, у которых оглавление обладало бы такой завораживающей силой воздействия на читателя. Прочитав названия лосевских разделов («Теплый и ласкающий эйдос», «Золотые оковы эйдоса в отношении материи», «Серьезные и интимные стороны учения об Уме и Душе»), уже невозможно отложить книгу в сторону. Попробуем и мы перелистать ее страницы и хотя бы вкратце познакомиться с их содержанием.

В центре внимания автора один из интереснейших и сложнейших периодов в истории европейской культуры — период эллинизма. Рушится древний мир, могучая твердыня Рима как бы медленно оседает под вулканическими толчками истории. Варвары отнимают у римлян одну провинцию за другой. В воздухе витают смутные пророчества о конце света, о всеобщей катастрофе. Люди переживают состояние страха, подавленности, депрессии. Что в этих условиях могла им дать философия? Отвечая на этот вопрос, автор пишет: «Когда люди теряют свою материальную базу и у них нет никакой перспективы на материальное возрождение и когда их духовный склад не может примириться с этой материальной катастрофой (а античный человек всегда отличался именно таким духовным складом), тогда люди начинают искать правды на небе, начинают углубляться в себя, уповать на вечное бытие и искать своего самоутверждения именно в этом последнем». И далее: «...невозможно не видеть корней этой отрешенной философии в той социальной катастрофе, которая разыгралась в то время, потому что новая социальная эпоха с ее культурой и идеологией еще не давала в то время прочных ростков, а тысячелетняя рабовладельческая культура уже разрушалась, и людям было некуда деваться».

В эллинистическом сознании, порожденном небывалым для античности политическим универсализмом Римской империи, сплелись самые различные мировые веянья. Эллинизмом едва ли не впервые был дан такой срез всех духовных исканий века, запечатлен универсум мирового сознания. Классическое эллинское язычество противостояло нарождавшемуся христианству (хотя А. Ф. Лосев остерегается сопоставлять христианский монотеизм

и неоплатоническое Единое). В эллинистическую философию мощным потоком вливается Восток. Тридцатидевятилетний Плотин собирается изучать персидскую философию и для этой цели примыкает к походу императора Гордиана. Развертывается небывалая для языческого сознания деятельность Филона Александрийского, толкователя Библии. В начале III века появляется жизнеописание Аполлония Тианского. По словам А. Ф. Лосева, «путешествие Аполлония в Индию и его пребывание там — настоящая волшебная сказка».

В эти века мир предстает как единая культурная целостность, сцементированная мощью четырех империй — Индией, Китаем, Римом, Парфией. Все они словно пронизаны единой кровеносной системой, поэтому и духовные процессы в них частично совпадают. В Китае на базе древнего даосизма создается учение неодаосизма, в эллинистической зоне возникают неопифагореизм и неоплатонизм. Основная часть книги А. Ф. Лосева посвящена неоплатонизму в его эстетическом аспекте. По существу, эстетическим является не столько предмет исследования Лосева, сколько его метод, позволяющий максимально приблизиться к античному пониманию мира (в этом смысле характерно высказывание ученого: «И так как все существующее с точки зрения античности было эстетическим, то поэтому оно и не получало такого названия и эстетики вовсе не существовало как отдельной науки»). Анализ античной эстетики позволяет как бы отслотить от нее позднейшие напластования и вычленить ядро исконно античного мировосприятия.

Эту реконструкцию А. Ф. Лосев совершает виртуозно. Картина развития неоплатонизма предстает у него в пластически-зримых, выпуклых и рельефных образах. Вот его собственное признание на этот счет: «...античная диалектика, и особенно диалектика неоплатонизма, основывается на очень интенсивных зрительных образах (разрядка А. Ф. Лосева.— Л. В.). Уже у Платона и Аристотеля зрительная область играет большую роль даже в самых отвлеченных рассуждениях. Что же касается неоплатоников, то они превратили зрительные и световые восприятия в самую настоящую мистику, и без упоминания о свете и о зрении у них не обходится буквально ни одна страница».

Этот принцип поддерживается при анализе основных категорий неоплатонизма: Единого, Чисел, Ума, Души, Космоса, Материи. Единое А. Ф. Лосев определяет как

наивысшую ступень и последнее завершение всего бытия: «Оно представляет собою охват всего существующего в одной неделимой точке, которая настолько полно и всесторонне охватывает все сущее, что кроме него уже больше ничего не остается другого, так что нет ничего такого, от чего оно чем-нибудь отличалось бы» (отметим, что эти слова могли бы служить лучшей характеристикой и китайского Дао). Числа трактуются А. Ф. Лосевым как инобытие Единого, а Ум — как его дальнейшая эманация, результатом которой является определенным образом оформленный смысл. Мировая Душа, в свою очередь, выступает как совокупность многих отдельных смыслов (они отождествляются также с богами).

Зримо и выпукло охарактеризованы А. Ф. Лосевым неоплатонические понятия Космоса и Материи. Пластически-рельефный, телесный Космос служит для Лосева одним из центральных первообразов античного сознания в целом, как бы сотканного из тончайших телесных интуиций. Неоплатонический Космос — наиболее утонченная, иерархически расчлененная, насыщенная духовным Светом данность. Множество глубоких нюансов найдет читатель и в лосевском определении материи, которая трактуется прежде всего как конструктивно-диалектический принцип. У Платина материя и космос тесно связаны:

«...Платин ни на одну минуту не забывает своей концепции материи, которая тоже ведь должна исчерпать самое себя, то есть как служить воплощением идеальной красоты космоса, взятого в целом, так и служить принципом воплощения и всех отдельных элементов этого космоса, которые могут быть безобразными в той же степени, в какой и прекрасными... Поэтому нет ничего удивительного в том, что какой-нибудь бог по своей формальной структуре вполне идеален, а по своему материальному содержанию вполне безобразен и даже является преступником. Большего бабника, чем античный Зевс, вообще трудно найти в разных мифологиях земного шара. Тем более нет ничего удивительного в том, что отдельные элементы космоса далеки от морального и физического совершенства, что, конечно, не мешает им в другом месте и в другое время быть вполне прекрасными и идеально красивыми».

Это пронизательно подмеченное противоречие прослеживается ученым и в сфере этики. По мысли ученого, ни Платин,

ни вся античность не знают абсолютного блага; высшее благо, Ум и Мировая Душа служат лишь абсолютизацией чисто материальных сил природы. Вывод исследователя таков: «Кто не проникает в это платоническое учение о трех ипостасях до такой степени, чтобы находить в них не только абсолютное и предельное совершенство, но и бесконечно разнообразное приближение к этому пределу, включая бесконечное безобразие, тот просто еще не знает, что такое античность и что такое именно языческая античность».

Каковы черты чисто писательского стиля А. Ф. Лосева? Право же, его повествование порою приобретает такое напряжение художественной формы, что невольно ловишь себя на мысли: а ведь это не только исследование — это некий философский роман, персонажами которого являются идеи, образы, категории, а сюжетом — их столкновения и борьба. Нельзя не заметить того очевидного факта, что работы таких исследователей, как М. М. Бахтин, Н. И. Конрад, Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, А. Ф. Лосев, заставляют расширить наше представление о чистой литературе и отчасти вернуться к тем временам (древность, средневековье, Возрождение), когда литературой считались и научный трактат, и философский комментарий, и критическое эссе. Темы и сюжеты Лосева создают особые условия и для стилистической жизни слова, и им безусловно достигнута та индивидуальная узнаваемость стиля, которая является недостижимой мечтой для многих профессиональных прозаиков. Речевая стихия у него дышит, живет, колеблется, как бы волнуемая подспудным ритмом.

Постоянному читателю Лосева (а такой воспитанник им читатель у него есть) наверняка памятливы его общие характеристики (так именуются некоторые разделы его книг) Сократа, Платона, Аристотеля, как бы скульптурно вылепленные словом. Памятны и его пересказы взглядов античных эпикурейцев и стоиков. Все это многообразие литературных приемов, полифонизм различных складов научной речи присутствуют и в новой книге ученого.

Ученый, широко признанный во всем мире и уже создавший целую библиотеку трудов по античности, продолжает напряженно работать. Впереди — новые книги, новые открытия, и хочется думать, что круг постоянных читателей Лосева будет все расширяться.

Леонид БЕЖИН.



Политика и наука

## ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ

Геннадий Герасимов. Общество потребления: мифы и реальность. М. «Знание», 1980. 238 стр.

Берясь за описание американской жизни, одни наши соотечественники больше полагаются на собственные впечатления, наблюдения и переживания; и это прекрасно, так и совершаются самые интересные, личностные открытия Америки, если, конечно, увлекшийся автор не заслоняет своей личностью предмет изображения. У других открытия сделаны заранее, заочно, появление там, на американском берегу, требуется им лишь для эффекта присутствия; этот творческий метод хорошо (хотя и применительно к домашним обстоятельствам) охарактеризовал Твардовский: «...приедут, пылью той подышат, потычут палочкой в бетон, сверяя с жизнью первый том...» Третьи избрали изучение Соединенных Штатов своей профессией, имя им — американисты, у них глубокие специальные познания, будь то американская политика, наука, литература и искусство, но, будучи специалистами, они адресуются больше к себе подобным, чем к широкой публике. Четвертых можно поставить на первое место по охвату аудитории, оперативности и общественной значимости их труда, плюсы и минусы которого равно проистекают из полной погруженности в сегодняшний день. Это корреспонденты, комментаторы, журналисты-международники, объясняющие десяткам миллионов людей свежие события и текущее положение дел в той стране, которая, кажется, никогда не выпадает из нашего поля зрения.

Каждодневными усилиями журналистов, статьями и монографиями ученых, заметками писателей — особенно за 70-е годы — Америка была как бы приближена к советскому читателю: лучше, объемнее, вернее он увидел устройство американской жизни и самого американца, уяснил особенности делания американской политики, которая сказывается на всем международном климате, перемежая тепло и холод, нагоняя тучи военной опасности. И можно лишь приветствовать любое ценное и полезное добавление в этот совокупный труд. Таковым, несомненно, является книга Геннадия Герасимова, проработавшего шесть лет в Нью-Йорке корреспондентом АПН.

В своих книжках журналисты нередко

тяготеют к жанру путевых заметок. Но Герасимов, чтобы передать свои впечатления, избрал не дорогу, а тему, важную, стержневую тему, без которой современную Америку попросту нельзя понять.

Общество потребления — в определенном смысле это и есть американский образ жизни как в его внешних, вещественных, зрительных проявлениях, так и во внутренних, сокрытых, психологических, как в его облике, так и в сути. Тут мифы и реальности Америки, драмы и комедии американца и те подлинные национальные кошмары, от которых невозможно очнуться, потому что мучают они наяву. Общество потребления — это и есть та сеть, которой американский капитализм ловит многомиллионный косяк среднего класса, предчувствуя — и получая — наиболее массовый улов. Общество потребления — излюбленное поле, на котором сеют и выращивают одномерного, механического человека — потребителя, прежде всего и только потребителя — на потребу ищущего прибылей бизнеса. Наконец, американское общество потребления — это не ржавые оковы, а позлащенные цепи, свержающая изобилием товаров буржуазная витрина, поставленная на виду у всего мира как пример для подражания, причем витринный этот блеск, как мы хорошо знаем, способен и заморозить — за ним немалые накопленные богатства, подлинные материальные достижения.

Тема весьма нелегкая. Что же помогает Герасимову справиться с ней? Знаний об Америке ему поистине не занимать. Как человек, наблюдавший автора на тамошней почве, я мог бы подтвердить, с каким завидным неистощимым любопытством — профессиональным и человеческим — Герасимов вникал в чужую жизнь, стремясь ее постигнуть. Автор на редкость начитан, вооружен десятками, если не сотнями ссылок на работы известных и не очень известных американских ученых, писателей, журналистов. Кое-где, правда, текст кажется перегруженным их высказываниями, и вряд ли такой перебор можно полностью оправдать спецификой самой серии «Империализм. События. Факты. Документы», в которой выпущена книжка. Но так или иначе, цитаты приведены не для вя-

щей наукообразности, они работают, влетены в повествование, льющееся легко и естественно. Легко, но убедительно писать о трудном и сложном, к тому же чужом, — это редкое умение. У Герасимова оно есть. Его остроумие обнаруживает ум, живость не мешает пронизательности. Вот, к примеру, в содержательной главе «Американский кентавр» он, описывая перипетии многолетнего «романа» американца с его автомобилем, сообщает: «...автомобиль уничтожил свыше 2 миллионов американцев. За 200 с небольшим лет национальной истории страна потеряла убитыми во всех войнах гораздо меньше — 652 тысячи человек. Получается, что автомобиль — враг страшнее любого „врага внешнего“».

Или в главе «Пришествие солипсизма» автор рассказывает об увлечении американцев разного рода чертовщиной, мистикой, астрологией. Как возникла эта любовь к «новой целухе» у людей, имеющих репутацию наипервейших в мире рационалистов и прагматиков? Герасимов предлагает читателю ряд объяснений, и вот одно из них, касающееся так называемой ТМ, то есть трансцендентальной медитации: «...подход ТМ к проблеме созвучен убеждениям многих американцев в существовании однозначных технических ответов на все возникающие вопросы. Болит голова? Глотайте таблетку экседрина. Болит душа? Записывайтесь на курсы ТМ». В этой шутке большая серьезная правда о механистичности, вошедшей в поведение американца.

Ирония — естественная реакция на другую, и чуждую, жизнь, удивляющую своей непохожестью. Многие из писавших об Америке — от Маяковского до Бориса Стрельникова — пользовались иронией, сознавая, что она к тому же эффективное оружие в идеологической полемике. Я бы отдал ей предпочтение перед тяжеловесной, раздражающе напористой памфлетностью, взбирающейся на кафедру непогрешимости. Ирония Герасимова, я бы сказал, изыщна. Она хорошо передает его убежденность, свидетельствует о чувстве превосходства над противником и его идеалами.

Из умело подобранных, зачастую поразительных фактов, живых описаний, афористичных высказываний американцев и самого автора перед нами возникает своеобразный словесный коллаж Америки, подкрепленный выразительными снимками и карикатурами, пестрый, кажется, слишком пестрый, но не более пестрый, чем сама американская действительность. Со всех

сторон американца обступают и атакуют крикливые нахальные зазывалы общества потребления. Тут и вещи, под которые создаются новые искусственные потребности, и зрелища, приспособленные для рекламы вещей, и огулупляющая, но служащая интересам прибыли «массовая культура», и культ автомобиля («Начали с автомобилей для людей, а кончили людьми для автомобилей»), и гороскопы, расходящиеся многомиллионными тиражами («Вы получаете собственную личность в уже готовом виде и в подарочной упаковке»), и, конечно, вечный двигатель ненасытного, неуемного потребительства — психология «джонсизма», которая заставляет завидовать соседу, не его знаниям, душе, культуре, а его материальному преуспеянию, его достижениям в погоне за долларом.

Какой же человек получается в итоге? Какой человек нужен? Это самый главный и самый тревожный вопрос. «Погоня за успехом в его американском понимании порождает специфическую общественную атмосферу, которую и называют «крысиными гонками», — пишет Герасимов. — Разумеется, первыми финишируют самые проворные. Конкуренция требует качеств, не согласующихся с правилами человеческого общежития. «Крысиные бега» порождают «прикладное» отношение к людям. Когда говорят «мой друг», почти всегда подразумевают «полезный мне знакомый, которому я тоже полезен». Обстановка подножек и обгонов способствует душевному оскудению и отмиранию самой потребности дружить или любить. Дружба и любовь требуют, как в Америке говорят, эмоциональных инвестиций, а душевные силы важно держать мобилизованными для борьбы за успех. Так путь к богатству и славе ведет также и к моральной деградации».

И в этих словах жестокая неотвратимая правда...

Разумеется, тему, избранную Геннадием Герасимовым, исчерпать не менее трудно, чем и саму нынешнюю Америку. И все же, на мой взгляд, кроме характерных штрихов, автор мог бы дать и более основательную и подробную характеристику конечного продукта общества потребления — среднего американца. Стоило бы детализировать и усилить имеющиеся в книге предостережения по поводу бацалл потребительства, которые размножаются не только в Америке и особенно опасны в атмосфере дефицита.

Наконец, на этой интересной книге лежит все-таки некий налет торопливости.

Будучи журналистом-международником, я, как мне кажется, могу догадаться о причине этого налета, поскольку сам оказывался в положении Геннадия Герасимова, и, конечно, не только я один. Это положение человека, вернувшегося после длительной, на годы растянувшейся корреспондентской заграничной командировки насыщенным, как губка, впечатлениями и знаниями, которые, увы, лишь на треть, на четверть и того меньше нужны ему в его повседневной работе. Накопленное им не только его личный, но и наш общий, общественный, редкий капитал, и реализовать его можно лишь в итоговой книге, которая выразила бы на качественно ином уровне то, что увидено, прочувствовано и осмыслено. Но кто, кроме самого владельца, думает об этом общественном капитале, находящемся в личном пользовании? Где взять время для написания книги, если вернувшийся

корреспондент уже работает в жестком ритме своей газеты или агентства? Хорошо, если главный редактор расщедрится на месяц-другой внеочередного отпуска — крайне мало, но если и этого нет? Либо забудь о своем багаже, либо урывками и чуть ли не украдкой нянчи и расти свою книгу как незаконнорожденное дитя. Эта проблема, на мой взгляд, заслуживает внимания — и решения, сочетающего личный и общественный интерес.

Что же касается книги Герасимова, то, несмотря на сделанные оговорки, хочется снова подчеркнуть главное — она дает яркое впечатление о том, как «рождалось, процветало и заходило в нынешний тупик общество потребления» и как оно продолжает плодить людей, «нацеленных на то, чтобы что-то иметь, а не на то, чтобы кем-то быть».

С. КОНДРАШОВ.



## УРОКИ АЛХИМИИ

В. Л. Рабинович. Алхимия как феномен средневековой культуры. М. «Наука». 391 стр.

Времена повышено эмоционального отношения к алхимии — и восторженной веры и яростного отрицания — прошли настолько давно, что теперь только дремучий невежда может увидеть в серьезном разговоре о ней опасный подкоп под основы материализма. Между тем серьезный разговор об алхимии в наши дни не только возможен, но и нужен. Не потому, конечно, что старые алхимические рецепты превращения металлов в золото стали вдруг актуальными, а потому, что изучение этого старинного ремесла (и мирозерцания!) очень многое прояснит и объяснит в тысячелетней культуре средних веков, интерес к которой в последнее время поразительно и закономерно вырос.

Ленивая и нелюбопытная мысль всегда встречается в штuki все сложное и непонятное. Ее первая реакция — отмахнуться, перечеркнуть, на худой конец принизить. Произошло так не только с алхимией, этим очень своеобразным порождением средневековья, но и с самими средними веками, недавно еще воспринимавшимися как бесполезная пауза в развитии человечества. Все, что было в средневековье несомненно ценного, все, что пережило века, рассматривалось как пленительный отголосок античности или предвестие Ренессанса. Так, не вполне средневековыми оказывались и лирика трубадуров, и рыцарский роман, и

пламенеющая готика, и уравнительные ереси. Средневековью же оставались крестовые походы, презрение к миру, слепая вера. И алхимия, но не как ремесло, а как сгусток суеверия и мракобесия. Ныне столь односторонний подход и к средним векам вообще и к алхимии в частности отошел в прошлое. Немалый вклад в прояснение самоценности цивилизации той эпохи внесли ученые многих специальностей — историки, историки культуры, историки науки и техники. Значительны здесь и достижения русской медиэвистики: как не вспомнить замечательные работы Н. А. Морозова, Л. П. Карсавина, В. П. Зубова и других. Не была обойдена вниманием ученых и алхимия. И не случайно.

Фигура алхимика столь же характерна для средневековья, как и фигуры рыцаря или монаха. Пусть она менее репрезентативна, не на первом плане, как они, но она неперемнная часть картины той эпохи. Однако привлекательность ее не только в этой обыденности и типичности для своего времени. Место алхимии в средние века, как увидим, особое. Научными бдениями алхимиков над их ретортами и тиглями не исчерпывалась, конечно, тогда прикладная наука, да и все, что накопил многовековой опыт этих искателей философского камня, давно уже осмыслено и использовано сов-



ременной наукой — химией. Что касается забавных суеверий и трагических заблуждений алхимиков, то увлекательный рассказ о них мог бы стать занятной книжкой, увлекательным чтением в часы досуга.

Книга В. Рабиновича совсем о другом. Впрочем, есть в ней упоминания и о сломанных человеческих судьбах, и о людском легковерии и коварстве, о дерзких мошенниках и мрачных фанатиках. Но далеко не случайно история алхимии не выделена в исследовании в открывающую его специальную главу.

На первый план выдвигается не анализ алхимических прозрений и просчетов, то есть не алхимия как таковая, не средневековое ремесло и не средневековая наука, а алхимия как одно из проявлений средневековой культуры. Разговор идет об алхимии и ради нее. Но она оказывается не единственным объектом разговора. Возможно даже — не главным. Главное — это средневековая культура. Алхимия же является медиатором: культура средних веков раскрывается на этот раз сквозь алхимическую призму.

Книга В. Рабиновича не для легкого чтения. Речь в ней идет о вещах достаточно сложных и говорится о них без популяризаторского упрощенчества. Более того: захватывающий если не поэзией, то своеобразной поэтикой исследуемого им сложного феномена, автор строит книгу немного как алхимический трактат. Движение мысли идет по спирали, и после каждого витка мы как бы снова оказываемся на исходных позициях, снова перед нами уже растолкованный, прочувствованный текст: «Чтобы приготовить эликсир мудрецов, или философский камень, возьми, сын мой, философской руги и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва» — и т. д. Но следующий виток мысли (и глава книги) — это и повторение пройденного и приобретение нового знания.

В каждой из глав алхимическое мышление, алхимическое творчество рассмотрены с новой точки зрения, точнее, в них высвечены новые грани, выявлен новый смысл. И в то же время главы-витки прочно спаяны — и тем, что толкуют они один и тот же алхимический рецепт, и тем, что иногда возвращаются вспять или забегают вперед: опираются на уже осмысленное и истолкованное или мимоходом намечают круг будущих проблем и их решений.

Такой подход не столько остроумен, сколько необходим: и алхимический рецепт и вся средневековая культура многознач-

ны, многослойны, многосмысленны, они предполагают многократное к себе обращение, они не раскрываются однажды и вдруг. Вот только выбор числа этих глав-витков, видимо, связан с некоей данью уважения средневековой, когда число семь почиталось самым абсолютным числом. «Семерка, — рассказывает наш автор, — знак полноты и совершенства, высшая степень восхождения к познанию и премудрости, свидетельство магического могущества, хранилище тайны». Ну что же, пусть будет семь глав, а не девять (трижды три) или двенадцать (трижды четыре).

Итак, глав семь. Их последовательность не случайна: от простого к более сложному, или от поверхностного к глубинному, или еще вернее — от частного к общему, если угодно, глобальному. Нам нет, однако, нужды повторять этот путь, поэтому позволим себе начать с конца.

В последней главе автор еще раз возвращается к своему пониманию средневековой культуры, которая истолковывается как «культура текста, как комментаторская культура, в которой слово — ее начало и ее конец — все ее содержание». Сказано верно. И выводы из этого положения делаются правильные.

Во-первых, неизбежность, бесконечная авторитетность, даже святость текста. Любого. Вовсе не непременно религиозного. Причем текст понимается В. Рабиновичем универсально: это совсем не обязательно письменный текст. Это некое целое, несущее определенную информацию (при таком подходе и готический собор в своей совокупности будет текстом). С устойчивостью средневекового текста мы сталкиваемся постоянно. Это действительно один из основных, основополагающих признаков эпохи, ее культуры. Этой освященностью объясняется и поражающая нас иногда неизменность текста эпических поэм, просуществовавших в устной передаче не одно столетие, или повторяемость приемов средневековых архитекторов и скульпторов.

Эта святость и неизбежность текста обобщается, по сути дела, отсутствием эволюция. Не культуры в целом, конечно, а ее отдельных блоков, составных частей. Культура меняется, и порой разительно, но сами составляющие ее блоки остаются неизменными. Происходит их перегруппировка, замена старых новыми, изменение удельного веса составляющих культуру отдельных блоков в ее общем балансе. Так произошло и с алхимией. Она знала этап рождения, этап многовекового нерасчленимого бытия и этап гибели, стремительной

и необратимой. Поэтому нет истории алхимии вне ее выходов за собственные пределы, вне контактов с окружающей ее культурой. Как замечает В. Рабинович, «чтобы рассказать историю алхимии — а значит, и официального средневековья — нужно рассказать историю этого самого и».

Это относится ко второму выводу из понимания средних веков как культуры текста. Средние века были временем универсального комментирования. Комментарии — во многом самый распространенный тип средневекового умствования. Он предполагает как непрерываемую авторитетность комментируемого (текста, события, философской мысли), так и достаточную свободу комментирующего. Но свобода эта заключена в жесткие рамки тезиса и антитезиса, утверждения и отрицания. Так возникает «мышление в черно-белых оппозициях как стиль, как единственно возможное в средние века мышление». Это придает мышлению внешне противоречивый характер — не в том смысле, что это мышление неполноценно, неумело, ущербно, а в том, что оно строится как последовательная система оппозиций, как, по образному определению В. Рабиновича, «турнир антитез».

Как показывает автор, это свойство умственной деятельности средних веков не отрицает ее другой особенности — рецептурности («Рецептурный характер средневекового мышления — фундаментальная его особенность»). Действительно, все средневековое мышление, все формы умственной деятельности телеологичны, то есть предполагают наличие определенной цели. Это следует понимать достаточно широко. Рецептурен, конечно, не только алхимический рецепт, не только всякие практические руководства и наставления, на которые столь богато было средневековье. «Рецептурным оказывается и искусство. Разве Дантов «Ад», например, с его иерархией кругов и рвов (в пределах каждого круга) не предполагает рецептурно однозначную иерархию человеческих грехов? Это выраженный в негативной форме (даны лишь запреты) величественный моральный рецепт». Эта верная мысль вносит дополнительное уточнение в наше представление, скажем, о системе иерархии жанров литературы средневековья. Оказывается, что выделение так называемой дидактики является неправомерным. И проповедь, и житие, и полупристойный шванк или фарс (называем лишь наиболее популярными, если угодно, народные жанры литературы того времени) по-разному, но непременно поучительны, дидактичны, то есть рецептурны.

Но рецептурность алхимии несколько иная. Как пишет В. Рабинович, «алхимический рецепт, будучи рецептом средневековым, отличается от рецепта официального средневековья стремлением сотворить мир уникальным смещением вещи и понятия, реалии и универсалии, предмета и имени». Вот именно. Алхимия — это и картина мира и размышление о нем. И более того — своеобразное миротворение («...алхимическое рукотворение — это космостворение»). Вещь (элемент), качество вещи, ее высший принцип непрерывно замещают друг друга, перемешиваются, сливаются. Между прочим, потому такое огромное философское значение приобретает в алхимии категория цвета («Цвет, бывший символ, становится исходной вещью, требующей бесчисленных символических заменителей»). Уже не вещь входит в соприкосновение с другой вещью, а цвет как одухотворенное существо и как духовное начало вступает в реакцию с другим цветом. Так в алхимии, в ее мировидении. Но только ли в ней? Вспомним, например, цветовую гамму Дантова «Рая». И там цвет как бы становится действующим лицом, хотя и воспринимаемым чисто метафорически. Трактовка цвета в алхимии и более практична и одновременно универсальна и фундаментальна. Это связано с особой функцией символа в алхимическом рукоделии и алхимическом мирозерцании.

«Алхимический символ, — пишет В. Рабинович, — многосмыслен, многоцветен. Он — также и средство изображения, а потому наряду с прочим всегда метафора, обретающая новые смыслы». В целом же автор полагает, что средневековье «принципиально антисимволично». Так ли? Не будем ссылаться на авторитеты, хотя в данном случае, то есть при разговоре о средневековой культуре, это было бы вполне в духе эпохи. Обратимся к некоторым литературным феноменам, лежащим целиком или частично вне пределов алхимии. Одним из популярных жанров средневековой словесности были bestiarii, или книги о животных. Они обычно строились как серия (определенным образом подобранная) литературных портретов тех или иных животных, небольших поэтических рассказов о них. Каждый такой рассказ неизменно завершается неожиданным, с нашей точки зрения, толкованием только что описанного. И тут оказывается, что каждый элемент рассказа обладает своим микросмыслом. Но этот микросмысл, как и полагается в символе, сосуществует с первоначальным, несколько не уничтожая его. Как и bestiarii,

строится и знаменитый латинский сборник «Римские деяния». Столь же символичны многие эпизоды рыцарских романов, особенно романы о поисках таинственного Грааля, о котором ученые-медиевисты спорят уже второе столетие. В недавнем исследовании П. Дюваль (оно, к сожалению, не попало в поле зрения автора рецензируемой книги) показывается связь легенды о Граале с алхимическими концепциями.

Вот мы и снова вернулись к алхимии. Специфичность ее символотворчества, как верно показано В. Рабиновичем, заключается не только и не столько в эвристичности (то есть поисках истины, когда последняя прямо не дана), а в связи с магией и мистикой, которые объективно противостояли и официальной науке и официальной философии, предполагая почти неограниченные возможности человека-творца. Здесь особенность места алхимии в средневековой культуре и одновременно залог ее расцвета и тогда, когда сама эта культура приходит в упадок, изживает себя. Не случайно и натурфилософские и мистические откровения алхимии были подхвачены возрожденческой наукой и философией. Тем самым алхимия оказывается и детищем средних веков и пародией на них, то есть их отрицанием. Эта двойственная роль алхимии в культуре средневековья верно подмечена автором книги и прослежена в большом и малом — и в замысловатом алхимическом рукоделии и в алхимическом мнении о мире.

Но действительно ли алхимия была пасынком средневековья? Действительно ли ее пути и пути средневековой культуры никак не совпадали или совпадали лишь внешне? Двойственность места алхимии в современной ей культуре автор книги из виду не упускает и в противоречие не впадает. Алхимия и входит в средневековую культуру как ее часть (весьма своеобразная), и постоянно претендует всю эту культуру собой подменить. Поэтому-то и возможно на примере алхимии выявить

многие фундаментальные черты культуры средних веков.

Одна из черт этой культуры — стремление к универсальности, всеобъемлющему охвату, исчерпыванию предмета до конца. Этой тенденцией заразился и автор книги. Текст ее производит двойственное впечатление: то многословности, то напряженной сжатости, чуть ли не конспективности. Первое впечатление — от движения мысли по спирали, о чем уже говорилось. Второе — от насыщенности изложения примерами, фактами, сопоставлениями, выводами. Подчас за слишком броскими парадоксами и эффектными афоризмами автора стоит огромный историко-научный и историко-культурный материал, который мог бы быть развернут в специальную главу, на худой конец мог бы быть изложен не в одной фразе, а на десятке страниц. Эта густота мыслей и фактов делает чтение книги В. Рабиновича трудным, но увлекательным делом. Именно делом, а не забавой. Книгу нельзя читать в метро или во время обеденного перерыва: неизбежная остановка в чтении будет и остановкой в развитии мысли, что отразится на ее понимании.

Сжатость текста не вредит его точности. Но точность эта особого рода. Это строгое следование и научной концепции и значению слова. Слово, поэтическое слово, играет в книге заметную роль, обнаруживая в авторе не только ученого, но и поэта со своим видением мира, своим слогом. Впрочем, как поэт он уже давно известен.

...Средневековые книги поражают и привлекают нас не только своим содержанием, но и внешним видом — манерой письма, заставками, миниатюрами, переплетом. Книга «Алхимия как феномен средневековой культуры» им сродни: это удача не только автора, но и художника Г. Дмитриева; не только серьезный научный труд, но и примечательный памятник полиграфического искусства.

А. Д. МИХАЙЛОВ,  
доктор филологических наук.



## ТРУДЫ И СВЕРШЕНИЯ РОССИЙСКИХ КОЛУМБОВ

Русская тихоокеанская эпопея. Составление, исторические очерки, комментарии и примечания В. А. Дивина, Г. Н. Исаенко, К. Е. Черевко. Хабаровское книжное издательство. 607 стр.

...1513 год. Заря великих географических открытий. Лишь через восемь лет каравеллы Магеллана бросят якорь у Молуккских островов, хотя сам этот архипелаг, возделенные острова Пряностей, уже известны европейцам. Наслышаны о нем и в Мо-

скве. И член посольства царя Василия III к императору Максимилиану Григорий Истома высказывает дерзкую мысль. Для того чтобы приплыть в Индию, в Индонезию, необходимо бороздить сперва воды Атлантики. Можно следовать вдоль берегов Азии

на восток. Двенадцать лет спустя русский посол Дмитрий Герасимов повторяет в Риме: возможно достигнуть Китая, отправясь из устья Северной Двины и плывя вдоль северных берегов Сибири.

Именно в те времена, в эпоху, когда практически доказывалась истина — круг земной вовсе не круг, а шар, когда пошла, все убыстряясь, генеральная ломка веками охраняемых церковью ложных представлений о географии и наша планета стала понемногу принимать перед пораженными взорами людей свой истинный облик, — именно в эти десятилетия открывалась русская страница в летописях освоения Земли и Мирового океана, слагались первые строфы русской дальневосточной и тихоокеанской эпопей. По верному замыслу составителей сборника исторических очерков и документов «Русская тихоокеанская эпопея» его название «отражает народный характер вольного движения русских крестьян к побережью Тихого океана, а затем и на его острова, масштаб целенаправленной деятельности русских правительственных, научных и промысловых экспедиций, а также передает в какой-то мере высокий национально-патриотический пафос первопроходчества». Добавим: и гуманность русского первопроходчества.

Открытие Мексики, Перу, Амазонки, открытие морского пути в Индию, Индокитай и Китай сопровождалось неслыханными жестокостями, геноцидом, а также свирепой борьбой европейских государств за сокровища, по словам К. Маркса, «добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств». Парадоксально, что эти массовые убийства совершались в то самое время, когда в Европе обретало права гражданства понятие «гуманизм»...

Конкистадор (завоеватель) — так уже современники называли Кортеса, Писарро, Бальбоа, чаще не задумываясь над зловещим смыслом этого слова. Предшественники флибустьеров и работорговцев, сэра Фрэнсиса Дрейка и Моргана, до безумия отважные, не раздумывая рискующие жизнью своих соратников и своей собственной, зачастую неграмотные, сущие дикари, если сравнивать уровень их культуры с уровнем истребленных ими народов. Печальная судьба североамериканских индейцев и другие примеры показывают, что нередко истребление коренного населения обширных пространств считалось западными «цивилизаторами» лучшим способом его «приобщения к культуре». С горечью и возмущением об

этом еще в XVIII столетии писали Даниель Дефо и Иоганн-Готфрид Гердер.

Ничего подобного мы не обнаруживаем, обращаясь к деятельности русских крестьян, администраторов, ученых, промышленников в Сибири, на Дальнем Востоке, островах Тихого океана, в Америке. Разумеется, главной задачей этой деятельности было развитие производительных сил отдаленного края. Но она проводилась совершенно другими методами, чем выкачивание сокровищ «рыцарями первоначального накопления».

«Дальний Восток и Северную Америку открывали и осваивали не «ссылыные, картожники и авантюристы», как утверждают буржуазные и маоистские историки, а лучшие представители народных низов России и русской науки», — справедливо отмечается в книге. Если уж говорить о ссылных, то здесь придется назвать имя Александра Радищева, читавшего в сибирской ссылке книгу путешественника и коммерсанта Г. И. Шелихова, учредителя Северо-Восточной (в дальнейшем Российско-американская) компании, о странствовании последнего «по Восточному океану к Американским берегам» и лично с ним знакомого; или вспомнить известного гидрографа и картографа, сподвижника Петра I Федора Соимонова, в 1740 году сосланного в Сибирь по делу Волянского, а впоследствии — на посту начальника Второй Камчатской экспедиции и сибирского губернатора — проявившего себя талантливым и гуманным администратором. В книге документально обоснован вывод: «...заселение и освоение новых земель на Дальнем Востоке в целом имело мирный, трудовой характер в отличие от правительственной, военной колонизации стран Азии, проводившейся державами Западной Европы».

Из первого же документа, приводимого в сборнике, — отписки якутского воеводы Петра Головина царю Михаилу Федоровичу — видно, что воевода, приводя в 30—40-х годах XVII века «под царскую высокую руку» тунгусов и облагая их ясаком (податью), заботится о том, чтобы ясак был «тем иноземцом вмочь» (то есть посилен), чтобы их не ожесточить и «не отогнать». Сподвижник Ивана Москвитина, первым достигшего в 1639 году Охотского моря, Нехорошко Колобов говорил на «роспросе» у воеводы Василия Пушкина, преемника П. Головина, что «доуры русских людей желают видеть, для того что называютца им братьями».

В. И. Беринг, А. И. Чириков, Г. И. Шелихов были основателями первых школ для ительменов, алеутов, айнов. «Должен отдать

народу сему справедливость в остроте ума, ибо дети их весьма скоро понимали свои уроки», — писал Шелихов, «сей русский Кук», основавший «без войск, без громоздких сил», как говорил в эпитафии ему поэт И. Дмитриев, первое постоянное российское поселение у берегов Америки (на острове Кадьяк). Учредители Российско-американской компании, усматриваем мы из ее «Исторического календаря», считали правильным проявлять внимание к потребностям и запросам местных жителей; наиболее способные из молодых островитян, желающих учиться наукам и ремеслам, направлялись в Петербург для обучения кораблестроению и навигации.

В книге цитируются выводы сподвижника М. В. Ломоносова академика Санкт-Петербургской Академии наук С. П. Крашенинникова, в течение четырех лет (1737—1740) путешествовавшего по Камчатке. Любопытность ительменов, коряков, эвенков, отмечал Крашенинников, их наблюдательность «столь удивительны, что большего не только в других отдаленных диких народах, но и в самых политических не можно надеяться». Лишь в уровне образованности видит он разницу между племенами, жившими в условиях первобытнообщинного строя, и цивилизованными народами.

Конечно, царское самодержавие превратило Россию, особенно в эпоху империализма, в тюрьму народов. Но все же история русских географических открытий дает основание утверждать: наиболее дальновидные деятели России, в том числе официальной, предпочитали иной образ действий. Так, президент Берг-коллегии Михаил Соймонов (сын сибирского губернатора) считал нужным «приведенных в подданство на дальних островах (Курильской гряды. — А. Ш.) «мохнатых» курильцов (айнов. — А. Ш.) оставить свободными... да и впредь... стараться дружелюбным обхождением и ласковостию для чаемой пользы в промыслах и торговле продолжать заведенное уже с ними знакомство». Назначая «географическую и астрономическую экспедицию» под начальством И. И. Биллинга, выполнявшую на протяжении десяти лет обширную программу научных и иных работ, как бы подытожившую то, что было сделано русскими мореплавателями в XVIII веке, петербургское правительство предписывало в указе от 8 августа 1785 года, подписанном Екатериной II: «Буде посредством сей экспедиции открыты будут вновь земли или острова... и буде тамо есть дикие или непросвещенные жители, то, обходясь с ними ласково и дружелюбно, вселить хорошие

мысли о россиянах и одарить разными вещами, по надобности или обычаю им нужными, а тайонам, или старшинам, или лучшим и почетным из числа тех жителей дать сделанные на таковой случай медали, чтобы носить на шее в знак всегдашней к ним дружбы россиян...» Сохранившийся список алеутских вождей, которым были вручены эти памятные медали, представляет интерес: в нем перечислены жители островов, добровольно принявшие российское подданство, подчас и православие, принявшие русские имена, ставшие называть по-русски свои селения и т. д.

В книге приведено свидетельство английского мореплавателя Джорджа Ванкувера. «...я с чувством приятного удивления, — писал он в 1795 году, — видел спокойствие и доброе согласие, в каком они (русские. — А. Ш.) живут между сими грубыми сыновьями природы (в Америке. — А. Ш.). Покорив их под свою власть, они удерживают влияние над ними не страхом победителей, но благосклонным обращением».

Конечно, вовсе не бескорыстной была эта «ласка», которая практически ничего не стоила Санкт-Петербургу. Но «государственная польза», свою приверженность которой при всяком удобном случае афишировала матушка государыня, подсказывала: подобного рода политика принесет гораздо больший дивиденд, чем вооруженная «демонстрация флага», к чему так охотно прибегали иные европейские дворы. К тому же она, по крайней мере внешне, отвечала традициям доброжелательства, дружелюбия, уважения к человеческому достоинству иноплеменников, которые закладывались русскими путешественниками, где бы они ни появлялись, еще со времен Афанасия Никитина.

Но вернемся к этапам тихоокеанской эпопеи. В 1571 году, по сведениям русского миссионера на Аляске Германа, в Америке поселились первые русские — выходцы из Новгорода. В следующем столетии движение первопроходцев в Восточную Сибирь, в области Крайнего Севера и Дальнего Востока, к Тихому океану становится все более оживленным. Они следовали двумя путями: северным, вдоль берегов Ледовитого океана, и южным, главным образом по сибирским рекам.

Русские открытия и в северной и в южной части Дальнего Востока фиксируются на русских, а начиная с 70-х годов XVII века и на западноевропейских картах (по данным, полученным из России). Это «чертежи» Полякова, Ремезова, Годунова, это карты, изданные бургомистром Амстердама

Витсеном; на последних ясно обозначены Сахалин («Амурский остров») и Курилы («Столп каменной»). Самими западноевропейцами была документально признана неудача английских, голландских, датских и иных попыток пройти Северным морским путем в Японию, Китай, Индию. Между тем еще в 1527 году один из пионеров английского экспансионизма, Роберт Торн, писал королю Генриху VIII, что для открытия новых земель «остался один путь — северный, ибо, как мы видим, из четырех стран света три уже открыты другими государями» и что открыть эти северные земли, «как мне кажется, являясь только вашей миссией и долгом». Но лишь русским мореплавателям было суждено вписать новую главу в историю великих географических открытий.

Эта глава теснейшим образом связана с завершением ликвидации феодальной раздробленности России, с образованием единого всероссийского рынка. «...новый период русской истории (примерно с 17 века), — писал В. И. Ленин, — характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это... вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок».

Подвергаясь в центре России жестокой эксплуатации, все более закабалемый крестьянин мог обрести волю лишь в отдаленных краях, в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке. И здесь, вновь отмечают составители, «перспективы выхода из состояния изоляции, заинтересованность абorigенов в развитии торговых отношений с русскими, ликвидация междоусобиц среди племен тайги и тундры способствовали тому, что принятие ими русского подданства носило в основном мирный характер».

Это был процесс прогрессивный по своей сущности. В книге приводится глубоко верное суждение академика Е. М. Жукова: «...важнейшим фактором исторического развития Сибири является прямой контакт местного населения с трудовыми слоями русского народа, распространение более совершенных трудовых общекультурных навыков и повышение производительности труда местного населения, благоприятное влияние политических ссыльных, контакт с российским пролетариатом».

Великого мужества и упорства потребовало от русских крестьян, промысловых людей, ученых освоение огромных неизведанных областей с дремучей тайгой или голой

тундрой, суровым климатом, морозами, пургой. Множество трудностей пришлось преодолеть, множество лишений перенести. Нельзя без волнения читать строки из челобитной Ивана Реброва царю Алексею Михайловичу: «И будучи я, холоп твой, на тех твоих государевых службах... без твоего, государева, хлебного и денежного жалованья служил на тех, государь, реках (Яне, Индигирке и Оленьке.— А. Ш.) и на море, нужу, и бедность, и голод, и холод терпел, и душу свои сквернил, ел всякое скверно: и сосновую кору, и траву... И за те мои смертные службы, за кровь и за раны я, холоп твой, твоим государским жалованьем ничем не пожалован». Или из отписки Семена Дежнева о постигшем его кораблекрушении: «А было нас на коче всех 25 человек, и пошли мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и боси... обночевались, почели в снегу ямы копать... а достальные люди тут остались, потому что з голоду итти не могут... а осталось нас от 25 человек всего нас 12 человек».

Время двигалось вперед, шире становились масштабы экспедиций, совершенствовалась их организация, оснащенность, возникали новые конкретные задачи. Вот оценка экспедиций Беринга и Чирикова, данная гениальным Ломоносовым, который с 1758 года возглавлял Географический департамент: они, эти экспедиции, «изведав и описав почти все берега сибирские, чего бы нам без их походов знать было невозможно, и сверх того подали пример, что впредь с лучшим основанием и порядком воспоследовать желаемого исполнения». Заметим, что можно было бы и полнее осветить роль Ломоносова в тихоокеанской эпопее, если не путем публикации соответствующих документов (составители избегают перепечаток, что же касается ломоносовских документов, то они в основном уже напечатаны, и, видимо, по этой причине в сборнике приводится только один из них — о результатах анализа камчатской меди, хотя и он уже был опубликован), то, например, путем более подробной характеристики во введении.

«Десятилетиями готовилось первое русское кругосветное плавание, мысль о котором возникла еще в начале 30-х годов XVIII века. Но сначала надо было привести в порядок флот, пришедший в упадок после смерти Петра I. Правительственное решение о посылке вокруг земного шара экспедиции в составе двух морских шлюпов («Соловки» и «Холмогор»), двух кораблей меньшего водоизмещения («Сокол» и «Турухтан») и

транспортного судна было подписано 28 декабря 1786 года; во главе ее был поставлен молодой, но опытный и образованный капитан 1-го ранга Г. И. Муловский. Все приготовления были завершены к осени следующего года. Однако начавшиеся русско-турецкая, а затем русско-шведская войны заставили отказаться от многообещающего замысла. Несмотря на это, значение состоявшейся экспедиции исключительно велико: она, как говорится в сборнике, «по масштабности стратегического замысла и программы научных исследований заслуживает достойного места в истории русского мореплавания XVIII в.».

В августе 1803 года из Кронштадта отправилась в дальний путь шлюпы «Надежда» и «Нева». Россия вышла на просторы Мирового океана...

Ничто не проходит бесследно. Все зачастую уникальные материалы сборника — «расспросные речи», «скаски», челобитные, «доношения», — написанные русскими первопроходцами, представляют возрастающий научный и политический интерес потому, что, с одной стороны, у нас в стране уделяется все больше внимания развитию Дальнего Востока и Сибири. С другой стороны, установление приоритета в открытии, описание освоения тех или иных земель не праздное занятие и представляет не только академический интерес. В наше время, в частности, это приобрело исключительную остроту. Разоблачение фальсификации исторических фактов и явлений, с помощью которой китайские гегемонисты и японские реваншисты пытаются обосновать территориальные притязания к СССР, имеет важное значение.

В этой связи особый интерес представляют документы, повествующие об открытии русскими Сахалина и Курильских островов. Еще в 1697 году отряд В. Атласова обследовал Камчатку и собрал сведения о Курильских островах. Затем в 1711 и 1713 годах Курилы обследовал И. Козыревский. То, что именно русские первые открыли и освоили Курильские острова, признают и объективные японские историки. Так, профессор Е. Корияма в книге «Изучение истории японо-русских отношений в конце периода бакумацу» (XVII—XVIII века), опубликованной в 1980 году, используя архивные документы на японском и русском языках, доказывает, что Курильские острова, включая Кунашир и Итуруп, не могут считаться «исконно японскими землями», что попытки японских политиков утверждать

подобное не обоснованы исторически.

В книге Е. Кориямы показывается, как последовательно посланцы правительства России осваивали и включали все острова (северные и южные) в состав Российского государства. Айны — коренное население островов Кунашир и Итуруп, — как показано в книге, приняли русское подданство еще в 1778 году, за двадцать лет до того, как японский отряд Кондо объявил в одностороннем порядке эти острова японскими владениями. То есть первые посланцы японского правительства появились на Курилах после того, как все острова были обжиты русскими, имели русское название, были включены в состав России. Такова историческая правда.

Заключительный раздел книги, озаглавленный «Нерушимое наследие», и знакомит читателя с международными договорами, закрепившими права русского народа и других народов СССР на Забайкалье, Приамурье, Чукотку, Камчатку, Сахалин, Курильские и другие острова. Эти договоры, другие документы, начиная с датированных XVII веком и кончая зафиксировавшими результаты второй мировой войны, ясно свидетельствуют: претензии китайских гегемонистов, как и идеологов японского реваншизма, не имеют под собой ни малейших оснований. Они лишь увеличивают международную напряженность в Азии. Бесспорно, что выдвигание этих претензий на руку лишь кругам, заинтересованным в создании и поддержании в районе Дальнего Востока и Тихого океана крупнейшего очага напряженности, существование которого идет вразрез с интересами укрепления мира во всем мире.

Советский Союз считает неотложным развивать отношения между азиатскими государствами независимо от существующего в них строя, на основе отказа от применения силы и разрешения всех спорных вопросов мирными средствами, невмешательства во внутренние дела, расширения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Это подразумевает и безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности государств, безоговорочное признание их существующих границ.

Труд, подготовленный учеными дальневосточниками, представляет ценность и тем, что способствует осуществлению этих благородных целей.

**А. ШАРКОВ,**  
доктор экономических наук.

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ГАЛИНА ДЕМЫКИНА. Просторный человек. Роман. М. «Советский писатель». 1980. 384 стр.**

«Просторный человек» — роман современный и глубоко человеческий, в нем неразрывно спаяны радость творческого труда и гражданская боль за огрехи нерадиво вспаханного житейского поля; его героям выпадают нелегкие испытания, тесно переплетаются в их жизни успехи и горести, устремления и надежды. «...жил человек до тридцати лет; и в деревне жил, и в городе — безалаберно, бедолажно, томился. А потом — случайно свел! — увидел море. И — точно воскрес, и связал с ним судьбу, и оказался счастливым». Море здесь, конечно, лишь аллегорическое обозначение счастья, к которому каждый из нас тянется всю жизнь.

Есть в книге два противозначных символа: названия пригородных поселков — Синеречье и Козыриха. Борьба между все еще живучими тенями прошлого и сегодняшним, между эгоизмом и любовью к человеку, стяжательством и бескорыстием — таков идейный и эстетический стержень романа, его глубинная суть. Но символика романа — это необходимо подчеркнуть — скрыта плотной и многоцветной тканью событий, она не риторично-назидательна и нигде не кажется обнаженной.

Из Синеречья приходят в роман и главная его героиня, милая, сердечная, всегда готовая отозваться на чужое горе медсестра Ася, и ее старшая подруга Анна Сергеевна, экономист и журналистка. Муж Аси — Владислав Коршунов, всеми силами стремящийся добиться известности, высокого положения, славы, «пират пера». «Я должен вырваться на поверхность... Я хочу стать самым сильным», — твердит он. А Ася счастлива на своей скромной работе в больнице, где может облегчить чьи-то страдания. На ней все еще лежит отсвет милого Синеречья.

Какие разные люди Ася и Коршунов! И все же первые годы они любили друг друга, в это вершишь. Потом росла рядом дочка, вот уже восемь, уже четырнадцать. И понадобилось полтора десятка лет, прежде чем простодушная Ася разглядела подлинное лицо мужа. В Москве она жила как бы в двух разных, несприкасающихся мирах. Один мир Коршунова, который он сам же называл пестрой ярмаркой честолюбий, другой — населенный близкими Асе людьми с просторными сердцами: врач Дима, художница Татьяна Всеволодовна, географ Александр Афанасьевич, больные Аси и многие другие. Именно из этого мира пришла к Асе — как второе дыхание — большая и чистая любовь к чу-

даковатому ученому-генетику Вадиму. Ася все чаще вспоминала пророческие слова бабушки о Коршунове: «...это же чужой человек. По духу, по строю души чужой». И все внимательней вслушивалась в гневные выкрики мужа, у которого что-то не ладилось там, в «его мире». Привыкнув к безропотности Аси, он перестал ее стесняться: «Если на твоей стороне те, кто в фокусе, ты — король!», «Не верю. Никому и ничему. И ни во что, поняла?» И скрипел зубами: «Потому что еще не самый. Но буду. Уж я им тогда! У, гады, гады!» А если Ася пыталась робко возражать, он кричал ей: «Трава! Ты не человек, а трава! Растение!» В конце концов после долгих мучений Ася вынуждена согласиться с бабушкой Алиной: нельзя жить двойной жизнью. И уходит из дома.

Нечто похожее происходит и с Анной Сергеевной. Человек, которого она любит много лет, предаёт ее, пишет разгромную статью о ее добротной работе и пытается оправдаться: «Мне пришлось. Тебе этого не понять... И потом — если б не я, это сделал бы кто-нибудь другой, только грубее и злей».

Таковы две основные сюжетные линии романа, но, конечно, ими далеко не исчерпывается содержание книги, в ней много судеб, много раздумий о нашем сегодняшнем бытии.

Писательница не ставит точек над описанными ею событиями, она предоставляет читателю самому решить: что же дальше? Но она предсказывает будущее хотя бы тем, что кратко сообщает о судьбе «пирата пера»: «Он пропал. Кругом пропал!» И, вероятно, та же судьба ждет Василия Котельникова, подло обидевшего Анну Сергеевну. «Я верю в просторного человека, — заключает свое повествование автор. — Верю в корни, питающие его. И в высоты, ему доступные». Козыриха уходит из нашей жизни, а рекам Синеречья предстоит разливаться все шире и шире.

**Арс. Рутко.**



**АНДРЕЙ ЧЕРНОВ. Городские портреты. М. «Молодая гвардия». 1980. 32 стр.**

Маленькая книжка стихов Андрея Чернова вошла в серию «Молодые голоса». Автор — из детей послевоенного поколения. Военные помнят разруху, голодуху, холод. Послевоенные все это знают по рассказам, по кинематографу.

Азартно, как в кино, гремит пальба...

Так фронтовик не скажет. Смерть и судьба для человека, пережившего войну, не философские категории, не аллегории, как в цитированном стихотворении, а нечто испробованное и пережитое.



Но молодые упорно пишут о смерти и о судьбе. Пересказывают слышанное от отцов. И что важно — пересказывают по-своему. Да, они еще живут в атмосфере национальной эпопеи. И пытаются осмыслить то, что пережито Россией. Зачем? «Зачем мне знать — что там, в нач., когда не знаю — что в конце?» А зачем нужно познать начала, чтобы понять будущее. Этот ответ вычитывается из всей книги молодого поэта.

Отечественная война еще близка, еще жива в памяти современников. Но и она, в сущности, для нового поколения — история. И в этом смысле равна другим событиям прошлого. У молодых есть потребность заглянуть в другие войны, в другие времена, сравнить их с нашими, понять их поступательный ход, психологию исторического действия. По-своему это поколение уже искушенное. Если не опытом жизни, так чтением и размышлением, на которые отпущено им время. Есть простор для игр ума, для «моделирования» истории, как модно сейчас говорить.

И Андрей Чернов пишет поэму «Петр Кириллович», где Пьер Безухов встречается на почтовой станции с Онегиным, а потом выходит на Сенатскую. Не случайно, что эта поэма — самое интересное в книге. Потребность отыскать корни настоящего в прошлом, частая у молодого поколения и порой приводящая к хаосу безответственных ассоциаций, у Чернова подкреплена серьезными знаниями, чувством истории, ощущением ее фактуры. Андрей Чернов знает, что история не однолинейна, что психология участников события не тождественна самому событию, что замысел приводит к неожиданным результатам и что смысл события понимается в сопоставлении реального хода истории с нравственным потенциалом ее действующих лиц. Это очень важные вехи понимания подлинной истории родины. Некая зрелость мысли, покрывающая порой незрелость судьбы.

Самопознание через познание исторического процесса — так бы я определил суть первого поэтического дерзания Андрея Чернова. Андрей Чернов не уходит в историю, а исходит из нее. Уже за рамками поэтической книги он обращается к истоку русской литературы — «Слову о полку Игореве». Ему принадлежат оригинальный перевод «Слова...» и серьезные комментарии к тексту. Он написал свежую работу о звуковом устройстве «Слова...». Дух исследования, эксперимента объединяет его литературоведческий труд с поэтическим.

Стих Чернова еще во многом не устоялся, не вырос в самостоятельность интонации. Здесь он еще ученик. Непроявленность собственной судьбы порой отражается в стихах как некоторая рациональность, мысль не всегда обретает поэтическую плоть. Но подлинность ума в книге есть. Основные линии прочерчены. Поэтому, вероятно, она сразу вызвала интерес читателей и привлекла внимание критиков. Для начала это хорошо.

А. Самойлов.

**АРКАДИЙ АДАМОВ.** Мой любимый жанр — детектив. Записки писателя. М. «Советский писатель». 1980. 312 стр.

Автор известных детективных романов взялся за исследование своего жанра, не дожидаясь поры, когда этим займется литературоведы. И поступил разумно.

А. Адамов создал панорамное повествование, охватившее историю детективной литературы от новелл Э. По, А. Конан Дойля и Г. К. Честертона до современных зарубежных и советских романов, повестей и рассказов. В книге с различных точек зрения проанализированы десятки произведений, но поскольку при этом автор соблюдает определенную последовательность, перед читателем возникает цепь детективных сюжетов, соединенных по принципу преемственности. Мы встречаемся с проницательным и отважным сыщиком Дюпенем, с которым впервые познакомились в новеллах «Убийство на улице Морг» и «Тайна Мари Рож», с его наивным, но очень добропорядочным собеседником. Мы исследуем вместе с автором тайны преступления, постигаем противоречивость и гуманизм Шерлока Холмса и комиссара Мегрэ, высокую справедливость инспектора Лосева.

Автор критикует эстетику устрашающего детектива, весьма распространенного теперь на Западе, раскрывает художественные достоинства произведений, пронизанных духом гуманизма, смело отвечающих на вопрос, почему совершилось преступление. В одном ряду оказываются столь различные детективные романы, как «Женщина в белом» У. Коллинза и «Чисто английское убийство» современного английского писателя С. Хэйра — произведение, пронизанное антифашистскими идеями. Когда А. Адамов пишет о советском детективном романе (о произведениях Е. Рыса, А. Безулова и Ю. Кларова, Аркадия и Георгия Вайнеров), он отмечает не только достоинства, но и недостатки в осуществлении художественного замысла, откровенно раскрывает слабые стороны некоторых собственных произведений. Эта трезвость оценок очень привлекательна. Интересно с научной точки зрения определение писателем специфической природы детективного сюжета, который требует «точного, умелого, сложного расчета, чтобы его сердцевину, некую важную и опасную тайну, обычно столь волнующую читателя, раскрыть не просто, не случайно, не сразу, а непременно в трудной борьбе, где проявляются и формируются характеры людей...».

Немало страниц в книге отдано воспоминаниям автора о сотрудничестве с проницательными и отважными работниками МУРа, о встречах с попавшими за решетку правонарушителями. Их жизнь воспроизведена в повестях А. Адамова «Дело пестрых», «Черная моль», «Стая», диалогии «Инспектор Лосев» и других произведениях. Да, один только шаг порой отделяет жизненный материал от самого искусства. И мы ощущаем это в последней главе книги, где писатель рассказывает о себе, о своей творческой работе, о том, как следователи, инспекторы милиции и пра-

вонарушители, увиденные им в жизни, перевоплощаются и становятся в романах художественными персонажами.

Но все бесспорно в этой книге. Известно, например, что существуют детективные произведения различных жанров: романы, повести, рассказы, пьесы, киносценарии. Автор же единственным признаком жанра считает детективный сюжет и речь ведет о романах и новеллах так, будто у них одинаковые емкости. Возражения вызывает и тезис писателя, согласно которому в детективном сюжете «недопустимы какие-либо параллельные линии». Думаю, вполне допустимы и порой очень обогащают его. В качестве примера можно привести роман П. Вале и М. Шеваль «Наемные убийцы» или разобранный в книге А. Адамова роман австралийского писателя Дж. Уотена «Соучастие в убийстве». Рационалистичность детективного повествования сама по себе не исключает многоаспектности художественного анализа, осуществляемого и в рамках параллельных линий.

И. Дубашинский.

Даугавпилс.



**Ф. С. НАРКИРЬЕР.** Французский роман ваших дней. Нравственные и социальные искания. М. «Наука». 1980. 342 стр.

Все растущий интерес к современной французской литературе определял увеличение за последние годы переводов французских произведений, а также появление многих работ советских литературоведов по ее актуальным проблемам. В них значительно раздвигаются рамки исследования литературного процесса в современной Франции.

Книга Ф. Наркирьера входит в ряд подобных работ. На основе анализа конкретного художественного материала Ф. Наркирьер приходит к обобщающим выводам, утверждая, что с первой половины 70-х годов «очевидным становится определенный поворот литературы и искусства к реализму». Наблюдая после 1968 года «процесс политизации искусства и литературы», автор закономерно останавливает внимание на возрождении французского исторического романа, в котором особенно ощущается связь истории с напряженной социальной борьбой, развернувшейся сегодня.

В кратком обзоре состояния современного французского исторического романа справедливо акцентируется традиция «Страстной недели» Л. Арагона, где народ представлен как решающая сила истории. Из тематического многообразия современных исторических романов выделены две темы: крестьянское восстание камизаров в XVIII веке и Парижская коммуна. Первой из них посвящены романы Ж.-П. Шаброля «Божьи безумцы» (1961), М. Оливье-Лакана «Огни гнева» (1969), А. Шамсона «Великолепная» (1967), а также близкие им проблемно и тематически книги о религиозных войнах («Козел отпущения» Ж.-П. Шаброля, «Судьба Франции» Р. Мерля и др.). Сопоставление этих произведений с

рядом других позволило автору проследить традицию исторического романа во Франции, оттенить сходство и различие трактовок одних и тех же исторических событий и личностей, показать художественное своеобразие романов. Романы прогрессивных писателей о Парижской коммуне («Пушки пляшут польку», «Красный петух» А. Лану, «Пушка «Братство» Ж.-П. Шаброля, «Семьдесят два солнечных дня» П. Гамарра и др.) с их правдивым изображением революционных событий противопоставлены подделкам буржуазной литературы под исторический роман.

В текст книги Ф. Наркирьера введены результаты анкетирования автором французских писателей, его личная переписка с ними. Это расширяет наше представление о непосредственном участии писателей в литературном процессе.

Тема Сопrotивления и второй мировой войны у французских романистов рассматривается исследователем как связующее звено между историческим и социальным романами современности.

Ф. Наркирьер также находит свой подход и к социальному роману у современности. Он останавливается на произведениях, остро изображающих кризис капиталистического общества, буржуазной цивилизации. С другой стороны, автор книги отмечает сближение реализма критического и социалистического в лучших произведениях Р. Мерля, А. Стиля, А. Ремакля, Р. Шатоне, А. Вюрмсера и других, особо акцентируя при этом проблему активно действующего героя.

Автора давно интересуют проблемы католической литературы во Франции. Подробно остановившись на судьбе выдающихся писателей Ф. Мориака и Ж. Грина, автор показывает эволюцию наиболее значительных романистов-католиков, выступивших после войны (Ж. Кейроля, А. Лезора, Л. Эстана), — эволюцию «от религиозных философских систем к демократическому мировосприятию», к реализму в художественном творчестве.

Не ставя перед собой задачи нарисовать исчерпывающую картину французской литературы наших дней, Ф. Наркирьер намечает наиболее характерные тенденции ее развития, пути поисков общественного и нравственного идеала.

Основной мыслью этой книги является утверждение преобладающего значения реализма в современной французской литературе, где принципиальный спор между модернизмом и реализмом решается теперь в пользу последнего.

О. Соловьева,

кандидат филологических наук.



**Н. Н. БАРАНСКИЙ.** Избранные труды. Становление советской экономической географии. М. «Мысль». 1980. 287 стр.

«Предметом экономической географии является изучение хозяйственного своеобразия стран и районов, изучение пространственных различий... а также пространственных сочетаний в хозяйстве» — это определение принадлежит человеку, чье имя известно не только специалистам, но и

всем, кто учился в нашей средней школе в 30—50-х годах: многим памятли учебники Н. Н. Баранского по экономической и физической географии СССР. Основатель советской школы экономической географии. Организатор высшего географического образования в Советском Союзе. Заниматель комплексного подхода в исследовании экономики в связи с природными условиями, при котором физическая и экономическая география не противостоят друг другу, а объединяются в лоне единой географии, о которой еще Ломоносов сказал (и эти слова любил повторять Баранский), что она «вся вселенная обширность единому взгляду подвергает...».

Выпуск избранных трудов Баранского приурочен к столетию со дня его рождения. Открывающий книгу биографический очерк ярко и красочно дополнен отрывком из воспоминаний самого Баранского, к сожалению очень кратким. Начинается он вопросом: «Каким образом я, старый большевик, отдавший лучшие годы своей жизни и молодости... сначала на подготовку себя к революционной деятельности (1896—1902)... а затем на самую эту деятельность (1902—1910), стал потом заниматься экономической географией, да еще с таким азартом, что забывал за ней все на свете?»

Путь его в науку был в самом деле необычным. Исключенный из Томского университета за активное участие в организации студенческой демонстрации и забастовки, Николай Баранский проводит в 1901 году научное обследование быта переселенцев алтайского села Чистюнька. Эта, по сути, первая его работа в области экономической географии была успешной. Но продолжил свою жизнь в науке он лишь через семнадцать лет.

В годы подготовки первой русской революции его партийная кличка — Николай Большой — широко известна по сибирским городам и станциям. Один из руководителей Сибирского социал-демократического союза, стоявшего на искровских позициях, он участвует в Таммерфорской конференции РСДРП. После разгрома революции 1905 года Баранский проявляет исключительную энергию, восстанавливая партийные организации ленинского направления в городах Сибири и Урала. Трижды он попадает в тюрьмы. И в эти же годы успевает завершить свое высшее образование. В революционере-пропагандисте продолжалось созревание ученого. Сам он так писал об этом: «...поездки по революционным делам... показали мне наглядно, до чего значительно изменяются от места к месту и природа, и люди, и их хозяйство. А в этом ведь суть экономической географии и интереса к ней».

Научно-педагогическая деятельность Баранского началась в 1918 году, когда он стал впервые читать лекции по экономической географии. Но увлекала его и работа по организации рабочего контроля (он был членом коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции). «Это была настоящий "кусочек социализма"», — вспоминал Баранский, всегда ненавидевший казенщину и бюрократию. Но из РКИ он ушел, взявшись с одобрения В. И. Ленина за составление учебника экономической географии.

И в науке он остался революционером — свои идеи ему пришлось отстаивать в борьбе с господствовавшим отраслево-статистическим направлением, которое он называл противоестественным. Со студенческих лет запомнились афоризмы-лозунги профессора Баранского: «Ни о каком выпрыгивании из природы не может быть и речи», «Власть человека над природой не означает его освобождение от нее!», «География останется географией!», «Карта — альфа и омега географии, ее второй язык», — и о внимании к разнообразию природы: «Того, что есть везде, в географии не должно быть нигде!».

Четко и ясно эти идеи раскрыты в статьях, помещенных в сборнике (а также в вышедшем вслед за ним, тоже в «Мысли», томе работ Баранского «Научные принципы географии»). Борьба ученого за целостность географии как науки и против пренебрежения законами взаимоотношений общества и природы необыкновенно актуальна теперь. Баранский выступал за учет всего комплекса связей в природе и обществе, за «географическое мышление... не замыкающееся в рамках одного «элемента» или одной «отрасли»... а «играющее аккордами»...». Он учил обращать внимание прежде всего на своеобразие явлений и их различия в пространстве. А эти принципы легли в основу современного экологического мышления.

Не могут оставить равнодушными мысли Баранского о «значении географии в целом для формирования национального самосознания и роста национальной культуры». Его идея «Большой географии СССР», по сути, остается неосуществленной...

**В. Маркин,**

*кандидат географических наук.*



**Ю. Н. СЕМЕНОВ.** Социальная философия А. Тойнби. Критический очерк. М. «Наука». 1980. 200 стр.

Известному английскому историку и социологу А. Дж. Тойнби, которого так щедро награждают на Западе эпитетами «великий мыслитель современности», «Вольтер XX века», «властелин дум» и т. п., посвящены десятки книг и сотни критических статей. И это не случайно. За восемьдесят шесть лет жизни Тойнби успел написать около тридцати книг, посвященных самым различным областям гуманитарного знания, не говоря уж о статьях, опубликованных как в научной, так и в периодической печати и вызывавших интерес не только у специалистов, но и у читающей публики. Тот интерес, с которым относились и относятся поныне к творчеству этого крупного ученого, вполне обоснован, ибо никому из западных ученых не удалось с такой остротой поставить вопрос о путях решения всемирно-исторических задач, как это сделал Тойнби, да и сама личность ученого, бывшего свидетелем всех общественных катаклизмов, которыми богат наш бурный век, сумевшего в своих трудах не только зафиксировать то, что видел, но и осмыслить, дать теоретическое толкование социальным, экономическим и политиче-

ским событиям, которые были в центре всего мира,— такая фигура не может считаться равнодушным любого человека, мало-мальски заинтересованного в истории общественной мысли XX века.

В советской философии и историографии существует обширная критическая литература по Тойнби. Но, несмотря на огромное количество исследований, у нас не было монографии, в которой был бы дан полный, всеохватывающий анализ социально-политических взглядов этого ученого, взятых в целостности и динамике их развития. Существующий пробел во многом заполнился с выходом книги профессора Ю. Семенова.

Социальная философия А. Тойнби состоит из самых разных причудливо сплетенных философских, теологических и социологических элементов, при этом включая в себя много острых реальных проблем современного общественного развития, для которых он пытается найти оптимальные решения. Несомненное достоинство книги Ю. Семенова в том, что именно эти злободневные и острые проблемы, от своевременного и правильного решения которых зависит судьба всего человечества, стали основным объектом его анализа. В монографии рассматриваются такие вопросы, как создание общества свободных и равноправных людей, достижение постоянного мира, глобальная экологическая ситуация, и наряду с ними более частные, но весьма интересные проблемы локальных цивилизаций, религиозная концепция прогресса и циклическая теория Тойнби. Ю. Семенову удалось соединить в своей работе очень подробно, толково и объективно изложение идей английского мыслителя с критическим их анализом и изложением собственных взглядов, отражающих марксистский подход к решению важнейших проблем современности. Именно это сочетание делает книгу Ю. Семенова особенно интересной.

Обилие самых разнообразных трактовок социально-политических взглядов Тойнби, бытующих в критической литературе, которая тоже не ускользает из поля зрения автора, объясняется прежде всего тем, по мнению Ю. Семенова, что взгляды ученого всегда рассматривались в статике, без предварительного и тщательного анализа философско-методологических позиций, на которых они основываются. И, желая избежать ошибки своих предшественников, сперва анализирует и раскрывает перед читателем философско-методологические позиции Тойнби, основывающиеся на эклектическом сочетании объективного идеализма с субъективным идеализмом и агностицизмом, а потом переходит к рассмотрению его социально-политических идей, отражающих современные мировые события и противоречия. Такой подход является удачей в анализе взглядов Тойнби на решение вставших перед человечеством глобальных проблем.

Какой же путь указывает Тойнби современному человечеству к решению социальных противоречий и достижению им духовной гармонии? Путь к уничтожению

эксплуатации человека человеком и созданию общества свободных и равноправных людей лежит через создание универсальной мировой религии всеобщего братства. По его мнению, существующая национально-государственная структура мира является основным препятствием к ее созданию, и поэтому он предлагает уничтожить национальный суверенитет, создать универсальное государство с мировым правительством, а потом на его базе объединить четыре «высшие религии» — индуизм, христианство, ислам и буддизм — в единой церкви. Анализируя утопический и реакционный характер этой теории, Ю. Семенов отмечает, что только с полным исчезновением антагонистических классов в мире все формы общественного сознания станут принципиально едиными, а идеологии — общечеловеческими. Причем это будет не духовное единство, навязанное сверху, а органически возникшее единодушие по основным мировоззренческим вопросам.

Надежды на достижение постоянного мира между народами и уничтожение угрозы мировой термоядерной войны Тойнби тоже связывает с созданием мирового государства с наднациональным правительством: решить эти проблемы может лишь глобальная интеграция на основе США и СССР, причем наиболее якобы желанный политический руководитель будущего мира — США. Делая вывод о несостоятельности этой идеи, ее утопический и реакционный характер, автор книги утверждает, что сегодня реальной дорогой мира является только политика мирного сосуществования и разрядки напряженности.

Весьма своеобразны советы Тойнби для выхода из сложившейся глобальной экологической ситуации. Средство спасения — возврат человечества к установкам пантеизма и принципам некоторых восточных религий (например, синтоизма). Но поиск путей решения экологической проблемы в сфере идеологии утопичен. Угроза глобальной экокатастрофы — в существовании эксплуататорского строя вообще и капитализма в частности, в неудержимой погоне за прибылью, за наживой. Да и сам Тойнби не был чужд скептицизма там, где речь шла о будущем капитализма: «Моя надежда относительно двадцать первого века заключается в том, что он увидит установление в глобальном масштабе общества, которое будет социалистическим на экономическом уровне и свободомыслящим на духовном уровне». Вынужденные признания Тойнби не делают его марксистом, а представляют собой результат общего морально-политического и духовного кризиса капитализма, дальнейшее существование которого таит в себе угрозу самим основам цивилизации.

Хотелось бы отметить, что, за какую бы проблему автор ни брался, пусть она и освещена в нашей литературе, он всегда умеет выделить, вычленив в ней актуальное, современное и, самое главное, сказать свое, новое слово в оценке социальной и политической философии Тойнби.

Г. Ерицян.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. Жуков.** Страда и праздник. Повесть о В. Подбельском. («Пламенные революционеры») 319 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Кривицкий.** На том берегу, или Кое-что о Пентагоне и его окрестностях. Изд. 2-е, дополненное. 304 стр. Цена 60 к.

**Материалы XXVI съезда КПСС.** 223 стр. Цена 50 к.

**Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.** 95 стр. Цена 20 к.

**Политическая экономия.** Словарь. 494 стр. Цена 2 р. 60 к.

**М. Яновлев.** 17 лет в Китае. 320 стр. Цена 75 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ч. Амирэджиби.** Дата Туташкиа. Роман. Перевод с грузинского. 591 стр. Цена 2 р. 80 к.

**В. Бэекман.** И сто смертей. Роман. Перевод с эстонского. 439 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Кушнер.** Канва. Из шести книг. Стихи. 207 стр. Цена 85 к.

**Д. Лихачев.** Литература — реальность — литература. 215 стр. Цена 90 к.

**Л. Мартынов.** Золотой запас. Книга стихов. 247 стр. Цена 70 к.

**В. Орлов.** Альтист Данилов. Роман. 463 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Г. Панджикидзе.** Год активного солнца. Роман. 342 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Писатели Балтики рассказывают...** Сборник воспоминаний, дневников, записей. 430 стр. Цена 2 р. 10 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Э. Динкинсон.** Стихотворения. Перевод с английского. 174 стр. Цена 50 к.

**Э. Йонелло.** Сквозит изо всех дверей. Роман. — **В. Мери.** Манильский канат. Кварты. Повести. Рассказы. Перевод с финского. 622 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Французская повесть XVIII века.** Перевод с французского. 543 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Ф. Шиллер.** Драмы. Перевод с немецкого. («Классики и современники») 374 стр. Цена 1 р. 70 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Н. Думбадзе.** Избранное. В 2-х тт. Т. I. 432 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Нешонов.** Грушевый цвет. Роман. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Н. Кончаловская.** В поисках Вишневецкого. Жизнеописание советского хирурга. 159 стр. Цена 35 к.

**Г. Федосеев.** Последний костер. Повесть. 240 стр. Цена 75 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Л. Дубенская.** Рассказывает Надя Леже. Предисловие Ж. Торез-Вермеерш. 329 стр. Цена 1 р. 80 к.

**И. Жерневская.** Рождение после смерти. Научно-художественная книга. 190 стр. Цена 50 к.

**К. Икрамов.** Скворечник, в котором не жили скворцы. Повести. 238 стр. Цена 55 к.

**Н. Рыленов.** Лирика Вступительная статья и составление А. Туркова. 175 стр. Цена 40 к.

**Ю. Федосюн.** Русские фамилии. Популярный этимологический словарь. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 239 стр. Цена 55 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Г. Боровик.** Момент истины. Повесть. 110 стр. Цена 35 к.

**Е. Дубровин.** Глупая сказка. Роман. 302 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Е. Карпов.** На семи холмах. Очерки. («Писатель и время») 79 стр. Цена 10 к.

**Люди великого города.** Сборник. Составители А. Медников, П. Поляшук. 396 стр. Цена 90 к.

**Г. Марков.** Соль земли. Роман. В 2-х книгах. 591 стр. Цена 2 р. 90 к.

## «ПРОГРЕСС»

**К. Вуден.** Они плачут, когда другие смеются. О несовершеннолетних заключенных Америки. Перевод с английского. 303 стр. Цена 80 к.

**Н. Льюис.** Сицилийский специалист. Роман. Перевод с английского. 338 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Мутный поток.** Последние дни венгерского фашизма. Перевод с венгерского. 208 стр. Цена 40 к.

**Б. Эджевит.** Избранные стихи. Циклы «Вселенная», «Человек», «Общество». Перевод с турецкого. 72 стр. Цена 30 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Л. Каландадзе.** Литературные зарисовки. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 250 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Ф. Кривин.** Принцесса Грамматина, или Потомки древнего глагола. Сказки для грамотных. Вступительное слово Л. Ленча. Ужгород. «Карпаты». 255 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Муравьев.** Московские литературные предания и были. «Московский рабочий». 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Новикова, С. Пушкина.** Свадебные песни Тульской области. Тула. Приокское книжное издательство. 238 стр. Цена 1 р.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашкун** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнич, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 25/IV 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 11/VI 1981 г.  
A 10617 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл. печ. л.)  
Тираж 350.000 экз. Зак. 1452.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии  
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,  
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02847.

Цена 70 коп.

Л 0 60

70636